

Молодые годы короля Генриха IV, Генрих Манн

I. Пиренеи

Происхождение

Мальчик был маленький, а горы были до неба. Взбираясь от тропки к тропке, он продирался сквозь заросли папоротника, то разогретые солнцем и благовонные, то обдающие свежестью, когда он ложился в тени отдохнуть. Вздыхался утес, за ним бушевал водопад, словно свергаясь с небесной выси. Мальчик окидывал взглядом поросшие лесом горы – а глаза у него были зоркие, они различали на той вон далекой скале, меж деревьев, маленькую серну, – терялся взором в синеве глубокого, точно парящего неба, кричал, задрал голову, звонким голосом, от полноты жизни. Бегал, разувшись, по земле, всегда был в движении. Без конца вдыхал теплый легкий воздух, точно омывавший все тело внутри и снаружи. Таковы были его первые труды и радости. Мальчика звали Генрих.

У него были маленькие друзья, они ходили не только босые и простоволосые, но в лохмотьях, полуголые. От них пахло потом, травами, дымом, как и от него; и хотя он не жил, подобно им, в хижине или в пещере, но ему нравилось, что от него пахнет, как от других мальчиков. Они научили его ловить птиц и жарить их. Вместе с ними подсушивал он свой хлеб между горячими камнями, натерев его сначала чесноком. Потому что от чеснока вырастешь большой и будешь всегда здоров. Другое средство – вино, они пили его, когда и где удавалось. И вино было у всех в крови – у крестьянских ребят, у их родителей, у всей страны. Мать поручила Генриха заботам одной родственницы и воспитателя, чтобы сын рос, как растут дети в народе. Впрочем, и здесь, в горах, он жил в замке; замок назывался Коаррац. Местность называлась Беарн. А горы были Пиренеи.

Говор здесь был звучный, много гласных и раскатистое «р». Когда его матери приспело время родить, она, по приказу деда, запела хорал, прося мать Божию подсобить ей: «Adjutat me a d'aqueste hore»[1. – Да поможет она мне в этот час (гасконск.).] Это было местное наречие – все равно что латынь. Поэтому мальчик легко научился говорить по-латыни, но только говорить: дед запрещал ему учиться писать; да и

спеху не было, ведь он еще мал.

Старик Генрих д'Альбре умирал внизу, в своем замке По, а тем временем в Коарраце молодой Генрих болтал по-латыни, взбирался на лесистые склоны, гоняясь за маленькими сернами – их называли isards, – которые все-таки оставались недоступными. И, может быть, последний хрип старика совпал с радостным криком внука, когда тот купался вместе с мальчиками и девочками в ручье ниже большого водопада, рассыпавшего сверкающие брызги.

Тела девочек чрезвычайно занимали его. Поглядишь, как эти существа раздеваются, ходят, говорят, смотрят – оказывается, они устроены совсем по-другому, чем он, особенно плечи, бедра, ноги. Одной девочкой – грудь у нее уже начала развиваться – он особенно пленился и решил, что будет за нее бороться. А это, как он заметил, было необходимо: сама-то она выбрала не его – рослый парнишка постарше, с красивым глупым лицом, ей больше приглянулся. Почему – Генрих не стал спрашивать; может быть, этим прекрасным созданиям и не нужно никаких почему, но он-то знал, чего хочет.

И вот маленький мальчик вызвал большого на состязание, кто из них перенесет девочку через ручей. Ручей был не глубокий, но в нем встречались водовороты и гладкие камни, – ступишь на них неловко – и они выкатываются из-под ног. Соперник тут же поскользнулся, девочка тоже упала бы, если бы Генрих не подхватил ее. Ему-то в этом ручье был знаком каждый камешек, и он перенес ее, напрягая все свои силенки: ведь она была претяжелая, а он – всего только худенький малыш. Выйдя на берег, Генрих поцеловал девочку в губы, и она, изумленная, не сопротивилась; он же сказал, ударив себя в грудь:

– Тебя перенес через ручей принц Беарнский!

Крестьянская девочка взглянула на его детское взволнованное лицо и расхохоталась; этот смех отозвался болью в его сердце, но не лишил отваги. Она уже подбежала к своему незадачливому поклоннику, когда Генрих крикнул: «Aut vincere aut mori!»[2. – Победить или умереть! (лат.).]. Это было одно из тех изречений, которым научил мальчика его воспитатель. Генрих сильно надеялся поразить им своих приятелей. Новое разочарование – крестьянским ребятам наплевать было и на принца и на его латынь. Победа и смерть были им одинаково неведомы. Итак, ему оставалось одно: он опять вошел в ручей и шлепнулся в воду нарочно – еще смешнее, чем перед тем его соперник. Состроил глупую рожу, захромал, как тот, стал браниться, подражая его голосу, и все так похоже, что

ребята, глядя на шутника, невольно расхохотались. Даже прелестную девочку он заставил рассмеяться.

А потом тут же ушел. Хоть и было Генриху тогда всего четыре года, однако он уже ощущал, что такое успех. Сейчас он добился его, но в его груди боролись противоречивые чувства. Месть свершилась, но воспоминание осталось. Несмотря на уверенность в себе и отвагу, тоска и влечение к девочке не исчезли.

Мать позвала его домой, и вначале он только и говорил, что о девочке. Тем временем умер дед, Генрих его уже никогда не увидит. Но гораздо хуже то, что его девочка далеко и ее сюда не пустят.

— Пошли же за ней, мама, я хочу на ней жениться. Правда, она больше меня, да ничего, я подрасту.

И только новые впечатления точно ветром смели его прежние чувства. Причиной тому оказалась молодая фрейлина его матери.

В По держали маленький двор, вернее, это был просто расширенный круг семьи. Старик д'Альбре был сельский государь. Свой сильно укрепленный замок он перестроил, и благодаря новым веяниям замок стал даже красив и затейлив. С балкона открывался вид на глубокий дол внизу; там ласкали взор виноград, маслины, зеленые леса, меж ними сверкали речные излучины, а дальше синели Пиренеи.

Горы тянулись, как непрерывное шествие, — больше нигде таких не увидишь, леса зеленели до самого неба; и радовался глаз, скользя по ним, особенно глаз владельца. Старик д'Альбре, сельский государь, владел склоном Пиренеев по эту сторону хребта, со всеми прилегающими к нему холмами и долинами и всем, что там произрастало и множилось: плодами, скотом, людьми. Он владел самым южным уголком Западной Франции: Беарном, Альбре, Бигоррой, Наваррой, Арманьяком — старой Гасконью. Он именовался королем Наварры и был бы, вероятно, просто подданным короля Франции, обладай тот всей полнотой власти. Но королевство было расколото надвое католиками и протестантами — притом во всех своих частях и уже давно. А для провинциальных государей, подобных королю Наваррскому, это служило самым подходящим предлогом, чтобы сделаться самостоятельными и отнять у соседа

вооруженной рукой все, что удастся, — хотя бы только холм с виноградником.

Да и по всей стране грабили и убивали во имя обеих враждующих вер. Люди относились к различиям этих вер с глубочайшей серьезностью; между теми, кому раньше и делить было нечего, возникла теперь смертельная вражда. Иные слова, особенно слово «обедня», имели столь великую власть, что брат брату становился чужаком, — уже не родная кровь. Почиталось естественным призывать на помощь швейцарцев и немцев: если они исповедовали истинную веру, то есть либо ходили к обедне, либо не ходили, — этого было достаточно, чтобы предпочесть их инакомыслящим соотечественникам и предоставить им право участвовать в грабежах и поджогах.

Эта религиозная воинственность всего населения была его правителям бесспорно выгодна. Разделяли они его верования или не разделяли, но, пользуясь междуусобицей и разбойничая во имя религии, они могли расширять свои владения или, встав во главе маленьких, незаконно созданных отрядов, вести за чужой счет жизнь, не лишенную приятности. Гражданская война стала для иных прямо-таки ремеслом, хотя для большинства жителей она была бедствием. Зато им оставалась их вера.

Старик д'Альбре был добрый католик, но без крайностей. Никогда не забывал он, что и его подданные-протестанты плодят детей, а те становятся полезными работниками, пахут землю, платят подати, приумножают богатство страны и своего господина. Поэтому он спокойно разрешал им слушать протестантские проповеди, а его солдаты охраняли пасторов не хуже, чем капелланов. Вероятно, он понимал и то, что число протестантов, называвших себя гугенотами, все возрастает, и это скорее на пользу его самостоятельности, чем во вред, ведь двор в Париже, на самом деле, уж чересчур католичен. Сам же он принадлежит к числу тех феодальных сеньоров, для которых главное — не допускать, чтобы король Франции забрал в свои руки слишком большую власть. За последнее время они пользовались для этой цели гугенотами, ревнителями молодой, новой веры, которые общались с истинным богом, хотя от этого мягче не становились.

Гугеноты были бунтовщиками и против светской власти и против духовной. Даже в Беарне мужики уже потребовали: пусть им покажут, где это в библии сказано про налоги. А нет, так они и платить не будут! Ну, старик умел с ними ладить, он и сам ведь был вроде них. Пошуметь они любили, но неизменно сохраняли трезвость суждений. И сражались храбро, не забывая в то же время о своей выгоде.

Подобно им, старик носил баскский берет, когда не надо было надевать шлем и панцирь, и любил свой родной край, как самого себя, — именно вот этот кусок земли, который он мог охватить взглядом и всеми другими своими чувствами. Когда родился на свет его внук Генрих, дед постарался, чтобы это произошло в замке По, и только по его требованию дочери Жанне пришлось на сносях совершить путешествие. Мало ему было и того, что она во время родовых схваток пела на местном наречии хорал «Adjutat me a d'aqueste hore», чтобы внук его был жизнерадостным и не знал уныния. Едва мальчик родился, как старик дал ему понюхать местное вино, и, когда дитя качнуло головкой, признал в нем свою плоть и кровь и тут же натер ему губы чесноком.

Так, после двух мальчиков, которым не суждено было выжить, этот все-таки уцелел, поэтому старик завещал дочери все свои владения и свой титул. Теперь Жанна стала королевой Наваррской. Ее супруг, Антуан Бурбон, командовал войсками французского короля, так как состоял с ним в дальнем родстве и был его генералом. Большую часть времени он проводил в походах. Жанна страстно его любила, пока он не начал домогаться других женщин; однако она никогда не возлагала на него особых надежд, к тому же ему было суждено рано умереть. Ее притязания шли гораздо дальше того, о чем мог мечтать он: ведь ее мать приходилась родной сестрой Франциску Первому — тому самому королю, которому так не повезло в сражении при Павии против Карла Пятого; однако власть французской короны внутри страны Франциск расширил и укрепил.

После смерти отца Жанна д'Альбре сделалась непомерно важною дамой, но земель Беарн, Альбре и Наварра, составлявших целое королевство, ей все-таки казалось недостаточно. У ныне царствующего короля Франции из дома Валуа оставалось еще четыре сына, поэтому, побочная ветвь Бурбонов едва ли могла рассчитывать

получить власть в скором будущем. Однако Жанна дерзко предрекла сыну своему Генриху самую необыкновенную судьбу, о чем позднее вспоминали с удивлением; должно быть, она имела дар ясновидения. Но ею руководило только честолюбие, эта страсть выковала в столь хрупкой женщине нестигаемую волю, и это наследие, которое она оставила сыну, немалым грузом легло на его судьбу.

Едва мальчик к ней вернулся, как Жанна прежде всего стала преподавать ему историю их дома. Она не замечала, что он все время жмет к хорошенькой фрейлине или, как в Пиренеях, босиком выбегает играть на улицу, влекомый любопытством к девочкам, этим столь загадочным для него созданиям. Но Жанна не видела действительной жизни, она жила мечтами, как это бывает у слабогрудых женщин.

Королева сидела в своих покоях, одной рукой обхватив Генриха, который охотнее резвился бы, как козленок, другой прижимая к себе его сестричку Екатерину. Жанна нежно склоняла голову с тускло-пепельными волосами между головками обоих детей. Лицо у нее было тонко очерченное, узкое, бледное, брови страдальчески хмурились над темными глазами, лоб уже прорезали первые морщины, и углы рта слегка опустились.

— Мы скоро поедem в Париж, — сказала она. — Наша страна должна стать обширнее. Я хочу прибавить к ней испанскую часть Наварры.

Маленький Генрих спросил: — А почему же ты не возьмешь ее себе? — И тут же поправился: — Пусть папа ее завоюет!

— Наш король дружит с королем испанским, — пояснила мать. — Он даже позволяет испанцам вторгаться к нам.

— А я не позволю! — тотчас воскликнул Генрих. — Испания — мой враг и врагом останется! Оттого что я тебя люблю! — пылко добавил он и поцеловал Жанну.

А она пролила невольные слезы, они текли на ее полуобнаженную грудь, к которой, словно желая утешить мать, прижался маленький сын.

— Неужели мой отец всегда слушается только короля Франции? Ну, уж я-то ни за что не стану! — вкрадчиво заверил он мать, чувствуя, что ей эти слова приятны.

— А мне можно с вами ехать? — спросила сестричка.

— Фрейлину тоже надо взять, — решительно заявил Генрих.

— И наш папочка там с нами будет? — спросила Екатерина.

— Может быть, и будет, — пробормотала Жанна и поднялась со своего кресла с прямой спинкой, чтобы не отвечать на дальнейшие расспросы детей.

Путешествие

Несколько времени спустя королева перешла в протестантскую веру. Это было немаловажное событие, и оно отозвалось не только на ее маленькой стране, которую она по мере сил старалась сделать протестантской; оно усилило боевой дух и влияние новой религии повсюду. Но сделала это Жанна по той причине, что ее супруг Антуан и при дворе и в походах брал себе все новых любовниц. И так как он был сначала протестантом, а потом, по слабости характера, снова вернулся в лоно католической церкви, то она сделала наоборот. Может быть, она переменила веру и из подлинного благочестия, но главное, чтобы бросить вызов своему вероломному супругу, двору в Париже, всем, кто обижал ее или становился поперек дороги. Ее сын когда-нибудь станет великим, но лишь в том случае, если он поведет за собой протестантские полки, — материнское честолюбие давно ей это подсказало.

Когда, наконец, наступило время отъезда в Париж, обняла Жанна своего сына и сказала: — Мы едем, но ты не думай, будто делается это ради нашего удовольствия. Ибо мы отправляемся в город, где почти все — враги нашей веры и наши. Никогда не забывай об этом! Тебе уже семь лет, и ты вошел в разум. Помнишь ли, как однажды мы уже являлись ко двору? Ты был тогда совсем крошка и, пожалуй, забыл. А отец твой, может быть, и вспомнил бы, да слишком у него память коротка и слишком многое он порастерял из того, что было когда-то.

Жанна погрузилась в горестные думы.

Генрих потянул ее за рукав и спросил:

— А как тогда было при дворе?

— Покойный король еще здоровствовал. Он спросил тебя, хочешь ли ты быть его сыном. Ты же указал на своего отца и говоришь: «Вот мой отец». Тогда покойный король спросил, хотел ли бы ты стать его зятем. А ты ответил: «Конечно», и с

тех пор они выдают тебя за жениха королевской дочери; они на этом хотят нас поймать. Я тебе к тому говорю, чтобы ты им не очень-то верил и был начеку.

— Вот хорошо! — воскликнул Генрих. — Значит, у меня есть жена! А как ее зовут?

— Марго. Она дитя, как и ты, и еще не может ненавидеть и преследовать истинную веру. Впрочем, я не думаю, чтобы ты женился на Маргарите Валуа. Ее мать, королева, — уж очень злая женщина.

Лицо матери вдруг изменилось при упоминании о королеве Франции. Мальчик испугался, и его фантазия получила как бы внезапный толчок. Он увидел ужасающую, нечеловеческую морду, когтистую лапу, здоровенную клюку и спросил: — Она ведьма? Она может колдовать?

— Уж наверно, ей очень хотелось бы, — подтвердила Жанна, — но самое гадкое не это.

— Она изрыгает огонь? Пожирает детей?

— И то и другое; но ей не всегда удается, ибо, к счастью, бог покарал ее за злобу глупостью. Смотри, сын мой, обо всем этом ни единому человеку ни слова.

— Я обо всем буду молчать, мамочка, и буду беречься, чтобы меня не сожрали.

В ту минуту мальчик был поглощен своими видениями и не допускал, что может когда-либо позабыть и эти видения и слова своей матери.

— Главное — крепко держись истинной веры, которой я научила тебя! — сказала Жанна проникновенно и вместе с тем угрожающе; и ему опять стало страшно, еще страшнее.

Вот первое, что Генрих узнал от своей матери о Екатерине Медичи. Затем они в самом деле пустились в путь.

Впереди, в большой старой обтянутой кожей карете ехали воспитатель принца Ла Гошери, два пастора и несколько слуг. За каретой скакали шесть вооруженных дворян — все протестанты — и следовала обитая алым бархатом карета королевы,

где сидела Жанна с обоими детьми и тремя придворными дамами. Замыкали поезд
опять-таки вооруженные дворяне – ревнители «истинной веры».

В начале путешествия все было еще как дома – язык, лица, местность, пища. Генрих и его сестричка Екатерина переговаривались через окно с деревенскими ребятами, то и дело бежавшими рядом с каретой. По причине июльской жары окна экипажей были закрыты. Несколько раз ночевали еще в своей стране, останавливались и в Нераке, второй резиденции. Вечером собиралось все протестантское население, пасторы говорили проповеди, народ пел псалмы. Некоторое время дорога вела через Гиеннь, когда-то Аквитанию, где главным городом был Бордо, а представителем французского короля считался Антуан Бурбон, супруг Жанны. Потом пошли чужие края.

Потянулись места, которые этому сыну Пиренеев и во сне не снились. Как странно люди были одеты! Как они говорили! Понять понимаешь, а ответить не можешь. Летом реки здесь не пересыхали, как он привык к тому у себя в Беарне. Ни одной маслины, даже ослики попадались все реже. По вечерам королева и ее протестанты были одни среди неведомых людей и выставляли стражу: здешним католикам нельзя было доверять. Вчера пасторы начали было проповедовать, но значительно превосходящие их числом враги изгнали верующих из пустой и унылой молельни, стоявшей далеко за городом; вынуждена была поспешно бежать с детьми и королева Наваррская. Тем счастливее чувствовали себя путешественники, если где-нибудь большинство населения оказывалось их единоверцами. Тогда Жанну принимали как провозвестницу истинной религии, ее ждали, слухи опережали ее приезд, все хотели поглядеть на ее детей, и, подняв их на руках, она показывала их народу. Пасторы проповедовали, верующие пели псалмы, потом все садились за праздничную трапезу.

На восемнадцатый день пути они переправились через Луару под Орлеаном. Жанна объехала город стороной, вооруженные гугеноты верхами скакали возле самой королевской кареты и обступили ее еще теснее, когда показались посланцы французской королевы. Это были придворные, они учтиво приветствовали Жанну, но они привели с собой личную охрану, состоявшую из католиков, и те возмели намерение ехать ближе к карете, чем гугеноты. Однако свита Жанны и не думала уступать, завязалась рукопашная. Маленький Генрих высунулся из окна и подзадоривал своих на беарнском наречии, которого католики не понимали.

Внезапный ливень остудил воинственный пыл дерущихся, они поневоле засмеялись и снова стали учтивы. Небо в темных тучах нависло над непривычными для южан тополями, в которых шумел ветер. Здесь было свежо в августе и как-то неприятно.

— Что там за черные башни, мама, и почему они горят?

— Это солнце садится позади замка Сен-Жермен, куда мы едем, дитя мое. Там живет королева Франции. Ты ведь помнишь все, что я тебе рассказывала и что ты обещал мне?

— Я все помню, мамочка.

Первые встречи

Генрих сразу же повел себя как молодой забияка, гордый и воинственный. Правда, сначала он видел только слуг: они разлучили его с матерью и оставили при нем в комнате лишь воспитателя, а затем подали на стол мясо, одно мясо! Когда и на другой день ему предложили одно только мясо, он стал настойчиво требовать южных дынь, — сейчас была как раз их пора. Генрих расплакался, отказался есть, и для утешения его отправили в сад. Дождь наконец перестал.

— Я хочу к маме. Где она?

Ему ответили: — У мадам Екатерины, — и Генрих испугался, ибо знал, что это королева. Он больше ни о чем не спрашивал.

На нем было его лучшее платье, за ним шли два господина — воспитатель Ла Гошери и Ларшан, беарнский дворянин. Дойдя до лужайки, он повстречался с тремя мальчиками, их тоже сопровождала свита, но она была многочисленнее. Генрих сразу же заметил, что они держатся не так, как дети, которым хочется поиграть; особенно старший — он вилял бедрами и задирает голову, точно взрослый щеголь; его белый берет украшали перья.

— Господа, — обернулся Генрих к своим спутникам, — это что за птица?

— Осторожнее, — прошептали они, — это король Франции.

Обе группы остановились друг против друга, молодой король стоял перед маленьким принцем Наваррским. Он словно застыл на месте, ожидая, когда Генрих

подойдет поближе. А тот, не спеша разглядывал его. У Карла Девятого не только берет был белый, он был весь в белом с головы до ног. Шею охватывало белое жабо, лицо словно лежало на нем, он слегка отвернулся, смотрел, чуть скосив глаза. Его взгляд, хитрый и грустный, как будто говорил: «Я про тебя уже все знаю. К сожалению, мне про всех вас нужно все знать».

А Генриху вдруг стало весело, впервые после приезда. Он готов был звонко рассмеяться, но те, за спиной, опять прошептали: «Осторожнее!». Тогда семилетний мальчик ударил себя в грудь, склонился перед двенадцатилетним до земли и описал правой рукой широкий круг у своих ног. Он повторил этот маневр справа и слева от короля и, наконец, даже за его спиной, причем кое-кто из господ придворных улыбнулся. Но Ларшан, дворянин из свиты Жанны, — тот опустил перед Карлом на одно колено и заявил:

— Сир! Принц Наваррский еще ни разу не видел великого короля!

— Ну, сам он никогда им не станет, — небрежно уронил Карл, и губы его под, мясистым носом снова крепко сомкнулись. Теперь рассердился Генрих: его ласкающие, приветливые глаза гневно блеснули, и он воскликнул:

— Не вздумайте сказать это при моей матери, да и при вашей, которая правит за вас!

Слова эти были, пожалуй, слишком унизительны, чтобы их воспринял слух короля; господа, сопровождавшие Карла Девятого, испугались. Он же лишь опустил веки, но в это мгновение Карл запомнил кое-что навсегда.

А Генрих сразу же успокоился и непринужденно заговорил с двумя другими мальчиками.

— Ну, а вы? — спросил он, желая их подбодрить, ибо они показались ему не в меру смущенными. Все это происходило потому, что сам он еще не получил придворного воспитания.

— Меня называют монсеньер, — ответил один из младших мальчиков, ровесник Генриха. — Это мой титул, я ведь старший из братьев короля.

— А меня зовут просто Генрих.

— О, меня тоже! — с чисто детской живостью воскликнул монсеньер, и оба принялись внимательно друг друга разглядывать.

— А у вас нет дынь? — спросил Генрих, сразу устремившись к цели. Младший из королевских братьев рассмеялся вопросу Генриха, словно то была шутка. Видно было, что этот малыш редко бывает шумлив и весел.

Над детьми зеленела листва высокого дерева, в ней запела какая-то птица, все трое посмотрели кверху. Потом они увидели, что король проследовал дальше и за ним — вся свита. Оба спутника принца Наваррского беседовали с французскими придворными, это их отвлекло. А Генрих прошептал:

— Нужно снять башмаки.

Сказано — сделано. Мальчик начал взбираться по стволу. Достигнув вершины, он заявил двум стоявшим внизу:

— Сейчас я спрячусь. А вы что же, боитесь?

Когда он на самом деле совсем исчез среди листвы, они не захотели отстать от него, тоже засунули в кусты свои башмаки и стали карабкаться на дерево.

— Здесь они нас ни за что не найдут, — сказал Генрих. — Они везде нас будут искать, а вы пока сведите меня, знаете куда?.. Нет! Гнезда не трогайте! Видите, у птиц желтые клювы? В точности такие же птички свили себе гнездо перед моим окошком дома, в По.

Вернулось несколько придворных, они поглядели по сторонам, посоветовались и направились в другую сторону. Все три мальчика тут же слезли с дерева и наконец отвели Генриха туда, куда ему хотелось: на огород. Желанные плоды лежали на черной земле, он сел, зарылся в нее руками и босыми ногами и, ликуя, пробормотал:

— Вот здесь хорошо!

Воздух благоухал душистыми травами, Генрих наслаждался, он чувствовал на губах вкус всего: лука, чеснока, салата.

— Ну, а вы?

Они же стояли и смотрели на свои зарывшиеся в землю ноги. — Земля — это грязь, — заявили братья короля. Тут Генрих заметил неподалеку одного из садовников. Узнав принцев, этот простак хотел было убраться от них подальше.

Но Генрих крикнул: – Пойди сюда, не то, смотри, тебе плохо придется! –
Тогда
увалень, согнувшись в три погибели, приблизился неслышными шагами.

– Возьми нож! Взрежь-ка самую спелую. – Уничтожив добрую половину, он
заявил, что дыня водянистая и кислая. – Получше-то у вас нет?

Парень стал оправдываться: все время, дескать, шли дожди. Генрих небрежно
бросил: – Я тебя прощаю.

Затем, не переставая есть, принялся расспрашивать об огороде и о том, как
живется садовнику.

– Приезжай в Наварру, – заметил он, – вот там дыни так дыни! Я угощу
тебя!

Не строй дурацкой рожи! Не знаешь, что такое Наварра? Это такая страна,
побольше Франции будет. И дыни там огромные, куда больше здешних.

– И пузо у тебя тоже огромное! – заметил второй Генрих, которого называли
монсеньер. Ибо его чужеземный кузен съел всю дыню один и даже спросил: –
Что,
если я взрежу еще одну?..

– Обжора, – добавил Генрих Валуа, однако это не прошло ему даром. Генрих
Бурбон крикнул:

– А хочешь, я дам тебе под зад?! – и уже вытащил было ногу из земли; но
не
успел он подняться, как Валуа убежал, его младший братишка, плача,
последовал
за ним. Генрих остался победителем.

Мимо него проскакал кролик, Генрих бросился догонять его. Кролик
спрятался,
мальчик опять поднял его, но тот не давался в руки. Генрих совсем
запыхался от
этой погони.

– Генрих! – Перед ним стояла его сестричка, а рядом с ней другая девочка.
Она была выше Екатерины, а по годам – ему ровесница. Генрих уже
догадался, кто
это. Но сначала слова не мог вымолвить от изумления. Сестричка Генриха
заявила:

– Вот мы и пришли! Марго хотелось поглядеть на тебя.

– Вы всегда такой грязный? – спросила Маргарита Валуа, сестра короля.

– Мне захотелось дынь, – отозвался он, и ему стало стыдно. – Пойдите, я
и
вас угощу.

– Благодарю, мне нельзя...

– Ах, да! Вы можете запачкать ваше нарядное платье.

Она улыбнулась и подумала: «И лицо тоже. Я ведь накрашена, а этот мужлан даже не замечает».

Какая девочка! Он никогда еще таких не видел. Его маленькая Екатерина, которую он так крепко любит, рядом с ней прямо скотница, несмотря на свой праздничный наряд. Цвет лица у Маргариты напоминал розы и гвоздики, да и те

могли бы ей позавидовать. Белое платье плотно облегалo стан, а от бедер расширялось книзу пышными жесткими складками, поблескивая золотой вышивкой и

разноцветными камнями. Белыми были и ее туфли, на них налипло немного земли.

В неудержимом порыве Генрих опустился на колени и снял губами грязь с туфель

Марго. Затем поднялся и сказал:

– У меня руки в земле.

И вдруг рассердился, ибо девочка надменно усмехнулась. Генрих отвел сестру в

сторону и зашептал ей, но так, чтобы гордячка непременно услышала:

– Я сейчас задеру ей юбку, надо же посмотреть, какие у нее ноги, – может, не

такие, как у всех девочек. – Тут улыбка маленькой принцессы одеревенела. А он

еще добавил: – И нос у нее слишком длинный. Знаешь что, Катрин, забирай-ка ты ее обратно!

Лицо красивой девочки искривилось: сейчас заплачет. Через мгновение Генрих

стал опять изысканно вежлив. – Мадемуазель, я просто глупый деревенский мальчишка, а вы прекрасная девица, – сказал он с отменной учтивостью.

Сестра заявила:

– А она умеет говорить по-латыни.

Тогда он обратился к Марго на этом древнем языке и спросил, не обручена ли

она уже с каким-нибудь принцем. Девочка ответила «нет»; таким образом он узнал,

что история, рассказанная ему его дорогой матерью, была только сказкой, ей все

это приснилось. Вместе с тем он подумал: «Чего нет, то еще может быть».

А пока

заметил:

– Ваши два брата удрали от меня.

– Верно, мои братья испугались вашего запаха. Так не пахнет ни от одного

принца, — сказала Маргарита Валуа и наморщила свой слишком длинный носик. Генрих Бурбон оскорбился, он гневно спросил:

— А вы знаете, что это значит: *Aut vincere aut mori*?

Она ответила: — Нет, но я спрошу у своей матери.

Вызывающе смотрели дети друг на друга. Маленькая Екатерина испуганно проговорила: — Осторожно, кто-то идет.

Подошла дама явно из числа придворных, может быть, даже воспитательница принцессы, ибо она тут же выразила свое недовольство:

— Что это за чумазый мальчишка? С кем вы беседуете, сударыня?

— Говорят, это принц Наваррский, — отозвалась Маргарита.

Дама тотчас низко присела: — Ваш отец прибыл, сударь, и желает вас видеть.

Но сначала вам следует умыться.

Враги

Тем временем мать Генриха, Жанна д'Альбре, вела беседу с Екатериной Медичи.

Екатерина выказала неожиданное дружелюбие, покладистость, предупредительность и, видимо, старалась обходить все спорные вопросы. А протестантка, разгорячившись, либо совсем этого не замечала, либо сочла за уловку.

— Истинная религия и ее враги никогда не стоворятся, — упрямо повторяла она.

Затем произнесла, точно давая клятву: — Будь у меня по одну руку все мое королевство, а по другую мой сын, я скорее утопила бы обоих на дне морском, чем отступилась.

— А что такое религия? — спросила толстая черная Медичи тощую белокурую д'Альбре. — Право же, пора бы нам с вами и за ум взяться. Из-за наших вечных междоусобиц мы теряем Францию: я ведь вынуждена впустить испанцев — одна я не справляюсь с вашими протестантами. При всем том я вовсе не чувствую к вам ненависти и, если б можно было, охотно откупила бы у вас вашу веру.

— Вот и видно, что вы дочь флорентийского менялы, — презрительно отозвалась

Жанна. Королеве Наваррской пришлось перед тем выслушать нечто показавшееся ей

гораздо более оскорбительным. Однако Екатерину трудно было смутить.

— Вы радоваться должны, что я итальянка! Никогда французская католичка не

стала бы вам предлагать столь выгодные для вас условия мира. Пусть ваши единоверцы свободно исповедуют свою религию, я дам им надежные убежища, укрепленные города. За это я требую только одного: перестаньте разжигать ненависть к католикам и нападать на них.

— «Я бог гнева, — говорит господь».

Жанна, взволнованная до глубины своего существа, невольно вскочила. Екатерина же продолжала спокойно сидеть в кресле, сложив на животе мясистые ручки, покрытые ямочками и перстнями.

— Вы гневаетесь, — сказала она, — потому что бедны. Все дело в том, что междоусобная война для вас выгодна. Я предлагаю вам деньги, тогда и воевать будет незачем.

Столь чудовищное непонимание и презрение окончательно вывели Жанну из себя.

Ей хотелось наброситься с кулаками на эту бабищу. Запинаясь, она проговорила:

— А сколько получают любовницы моего мужа за то, чтобы толкать его на борьбу против истинной веры?

Екатерина молча кивнула, будто она именно этих слов и ожидала. Отлично! Наконец-то гостя все выложила. Нашлась воительница за веру! Просто-напросто

ревнует. Отвечать незачем, все равно белобрысая особа с козьим лицом ничего не

услышит. Жанна, не в силах владеть собой, едва добрела до стены и, словно лишившись чувств, повалилась на большой ларь. В это мгновение открылась дверь,

расписанная и позолоченная, но окованная железом. Стража стукнула об пол алебардами, и в залу вступил король Наваррский, держа за руки своих двух детей.

Антуан Бурбон шел, виляя бедрами, как ходят обычно любимые женщинами красавцы-мужчины, да он и был красавцем. Король держался так на всякий случай,

еще не уяснив себе, что здесь происходит. Окна были скрыты в глубоких нишах, и

каждый, кто попадал в эту комнату, сначала ничего не видел, кроме сумрака. У

дальней стены королю Наваррскому почудилось какое-то движение, он тотчас схватился за кинжал. Тогда Екатерина от души рассмеялась, хотя и потихоньку, себе под нос.

— Смелей, Наварра! Вы же понимаете, что я нигде не прячу убийц, особенно когда имею дело с таким мужчиной, как вы!

Нельзя было не уловить в ее тоне совершенно явного пренебрежения, но Антуан был слишком упоен собой. Он решил больше не обращать внимания на подозрительную стену и низко склонился перед Екатериной. Затем сказал с подобающей торжественностью:

— Вот сын мой Генрих, мадам, он просит вашего покровительства. — Сестричка не шла в счет, от стыда она опустила взор.

Генрих так был поглощен разглядыванием королевы, что даже забыл отвесить ей поклон. Ведь перед ним, посреди огромной комнаты, на том месте, куда больше всего падало света, сидела та самая страшная и злая мадам Екатерина, да, это была она. Занятый впечатлениями путешествия, новыми знакомствами в саду и особенно дынями, он о ней совсем позабыл; и только сейчас вспомнил тот образ, который перед тем нарисовал себе: непременно когти, горб, нос, как у ведьмы. Такой он ожидал ее увидеть. Однако ничего этого не оказалось. Уж очень она была обыкновенная. В кресле с высокой прямой спинкой Медичи казалась маленькой и ужасно жирной, рыхлые белые щеки, глаза, как черные угольки, но потухшие. Генрих был разочарован.

Поэтому он окинул повеселевшим взором залу, и что же? О! Он видел зорче своего отца, да и любил сильнее. Мальчик бросился прямо туда, где полулежала, привалившись к стене, Жанна. — Мама! Мама! — позвал он и при этом успел подумать: «Значит, все-таки та что-то сделала с ней».

— Что над тобою сделала эта злая мадам Екатерина? — настойчиво шептал он, целуя мать.

— Ничего. Мне просто стало дурно. А теперь давай встанем и будем вести себя как можно учтивее. — Жанна так и сделала.

Обняв маленького сына, она подошла к мужу, улыбнулась ему и сказала: — Вот наш сын, — однако не сняла руки с его плеча. — Я взяла его с собой, чтобы ты опять свиделся с ним, дорогой супруг, ты ведь так редко приезжаешь домой. Особенно же хочется мне представить королеве Франции ее маленького солдата, он будет служить ей так же доблестно, как служит отец.

— И хорошо сделала, что привезла, — добродушно отозвалась Екатерина. — Что до меня, то жили бы мы лучше мирно всем королевством, как одна семья.

— А мне тогда, пожалуй, пришлось бы пахать мои земли? — с неудовольствием спросил вояка Антуан.

— Вам следовало бы больше уделять внимания жене. Она вас любит, и к тому же у нее случаются припадки слабости. Впрочем, я могу дать ей хорошее лекарство.

Жанна содрогнулась; она слишком хорошо знала, каковы лекарства этой ядосмесительницы! — Уверю вас, в нем нет нужды, — торопливо возразила она Екатерине.

Когда Жанна поднялась с ларя и приблизилась к королеве, ей пришлось сделать немалое усилие, чтобы овладеть собой; однако сейчас она притворялась уже без труда, не хуже самой Екатерины. А та продолжала разыгрывать материнскую заботливость.

— Вашей жене, Наварра, я предложила свою дружбу и, полагаю, она желает мне добра не меньше, чем я ей. — Жанна невольно и быстро подумала: «Мой сын будет великим, и я еще с вами справлюсь. Да, я еще с вами справлюсь, и мой сын станет великим. Я племянница Франциска Первого, а это — дочь лавочницы!»

Однако восхищенное и ласковое выражение ее лица ничуть не изменилось, да и лицо Екатерины, — что бы она там про себя ни таила, — продолжало оставаться по-матерински благосклонным. Только тем и выдала себя Медичи, что детей словно вовсе не заметила, даже стоявшей перед нею испуганной девчурки. А еще мать из себя корчит!

— Всею душой готова быть вам другом! — воскликнула Жанна в восторге, что поймала противницу.

Былая любовь

Антуан Бурбон был искренне рад исходу этого разговора. Когда они остались в своей комнате одни, он обнял сначала жену, потом сына и показал ему в окно маленькую лошадку, которую проводили по двору: — Это тебе. Можешь сейчас же покататься на ней верхом.

Генрих убежал вприпрыжку. Сестричка пошла следом, ей хотелось полюбоваться на брата.

Теперь на лице Жанны уже не было и следа того восхищения, которое она старалась выказать Медичи. Довольный супруг не сразу заметил происшедшую в ней перемену. Она же, как бы в рассеянности, взглянула на него и спросила:

— Да, как зовут ту женщину, с которой тебя теперь видят всего чаще? Ну, она еще сопровождала тебя в походе, да, вероятно, и сюда приехала?

— Все это сплетни! — Он еще имел дерзость самодовольно ухмыльнуться, и Жанна при виде этой ухмылки едва сдержалась.

— Неужели ты все забыл? — вдруг спросила она низким и певучим голосом. В иные мгновения у Жанны появлялся этот удивительный голос, подобный органу, слишком сильный, слишком звучный для столь слабой груди. Услышав его, муж был глубоко взволнован, перед ним тотчас же встало все, что ей хотелось напомнить ему. Слова уже были не нужны. Ведь они горячо и долго любили друг друга.

Жанна досталась ему после того, как она в одиночестве упорно боролась, не желая принадлежать никому, кроме Антуана. Еще до их знакомства ее против воли выдали за другого, причем в церковь отнесли на руках: она уверяла, будто не может идти; и в самом деле, платье на ней было слишком тяжелое от драгоценных камней. Но еще больше весила ее воля, хотя Жанна и была тогда совсем девочкой. Пусть ее выдали насильно, все-таки через несколько лет настал день, когда к ней пришло счастье именно с тем, с кем она хотела быть счастливой. Однако дни цветения миновали, рано увяла и она сама и ее счастье. Теперь у нее остался только сын, и это сокровище оказалось драгоценнее всего, чем она раньше владела. Если бы Антуан только захотел понять, как это важно: у них есть сын!

Волнения мужа, вызванного ее голосом, конечно, хватило ненадолго, а ее болезненный вид отнюдь не мог воскресить воспоминаний о днях бывшей любви. Антуан слишком привык жить сегодняшним днем и его страстями — какой-нибудь осадой, интригой, молодой бабенкой. Правда, после того как Жанна произнесла: «Неужели ты все забыл?», — ему на миг захотелось ее обнять, но это уже не было созвучным порывом тех чувств, которые когда-то владели ими, а лишь любезностью,

поэтому Жанна отстранила его.

Все же Антуан принялся уверять жену, что чрезвычайно доволен ею и рад ее сдержанности. А Жанна заявила в ответ: она меньше всего желает быть отравленной. Притом не столько помышляет о себе, сколько об интересах религии.

— Ты, в сущности, поступил правильно, дорогой супруг, что снова сделался католиком и стал служить французскому королю.

— Мне обещали испанскую Наварру.

— Они тебе не дадут ее, испанский король им нужен, чтобы бороться с нами, протестантами. Своих маленьких целей ты не достигнешь, но ведь ты действуешь ради других, гораздо более важных, о которых предпочитаешь не говорить. — Она сказала это, ибо ей претила мысль, что он посредственность и лишен высшего честолюбия.

Муж слушал ее, пораженный. Но он не ответил, он был смущен, ему не хотелось огорчать ее, ибо он не видел в ней бывшего душевного здоровья. Жанна не считала его достойным обнять ее; но в том, что касается их дома, они должны по-прежнему доверять друг другу. Она сказала:

— Иначе и быть не может, Францией должен в конце концов править протестантский государь. Мы самые решительные, ибо исповедуем истинную веру.

А у них там только эта старуха с прогнившей бледной плотью, она-то ни во что не верит!

— Кроме астрологии, — поддержал он Жанну, довольный, что хоть в чем-то они сошлись. И добавил: — Но у нее три сына!

— Она родила их слишком поздно, а до того была долго бесплодна, и ты только посмотри на этих трех, которые еще живы! — уверенно продолжала Жанна. — Четвертый-то уже успел умереть, он умер шестнадцати лет от роду и королем был всего семнадцать месяцев. Его брат, Карл, правит на несколько месяцев дольше, а глаза у него такие, точно ему сто лет.

— После него останутся еще двое, — заметил супруг.

— Все равно, мать уморит их. Эта женщина даже не взглянет на ребенка, если

он входит в комнату. Для нее королевство существует лишь до тех пор, пока она сама жива. Если бы она веровала, то понимала бы, что десница господня, ниспослав ей детей, благословила ее плоть и кровь не только на сегодня и на завтра, а на веки веков!

Жанна д'Альбре произнесла эти слова кротко, но решительно. Супругу стало не по себе. Да, Жанна — необыкновенная женщина. Чтобы снова почувствовать твердую житейскую почву под ногами, он сказал:

— Тебе следовало бы напомнить мадам Екатерине, что покойный король обручил нашего сына с их дочерью.

— Она мне об этом сама напомнит, — ответила Жанна, — а я еще подумаю, не слишком ли мой сын хорош для принцессы из ее угасающего рода.

Наконец Антуан рассердился: — На тебя не угодишь! Покойный король был здоровяк, он погиб на турнире. Валуа не виноваты, если какая-то Медичи плохо растит их детей.

— Не забудь, кстати, и о постыдных нравах, которые она привила этому двору!
— заметила Жанна.

Хотя муж и чувствовал, что гроза приближается, он не мог скрыть своих чувств. На него нахлынули воспоминания о тех знаках благосклонности, которыми его дарили женщины при этом дворе, и невыразимое блаженство охватило все его существо; и это отразилось на его лице.

А Жанна, за мгновение перед тем столь сдержанная и благоразумная, вдруг потеряла всякую власть над собой, ее обличающий голос загремел: — Эти католики — идолопоклонники, они любят только плоть! Чисты и строги лишь приверженцы истинной веры, им даны огонь и железо, чтобы искоренять всякую гниль!

Явись, господь, и дрогнет враг

Может быть, ее голос услышали в прихожей: во всяком случае, дверь распахнулась, вошли несколько протестантов и возвестили, что прибыл адмирал Колиньи, он поднимается по лестнице, идет сюда, вот он. Все расступились, протестантский полководец вошел, прижал руку к груди в знак приветствия. Даже

король Наваррский склонил голову перед старцем, а тем самым и перед партией, вождем которой был Колиньи. И если другие поддерживали ее лишь ради собственных выгод, в этом старце чувствовалась бескорыстная суровость мученика, о чем говорил и его неукротимо упрямый, скорбный лоб.

Жанна д'Альбре обняла адмирала. Казалось, именно его не хватало ей, чтобы отдаться вполне своему воодушевлению. Она позвала всех своих людей, обоих пасторов, сына и дочь. Подвела сына к адмиралу, тот положил на голову мальчика правую руку и не снимал до тех пор, пока говорил первый пастор. А пастор этот совершенно ясно и недвусмысленно возвещал наступление царствия божия, и притом вскорости. Оно уже при дверях! Все почувствовали его близость, было ли это высказано вслух или только разумелось. В битком набитой комнате люди толкали друг друга, каждый старался пробраться вперед, чтобы схватить, чтобы овладеть всей силой, всем царством, все это — во славу божию

Второй пастор запел: «Явись, господь, и дрогнет враг». Все подхватили проникновенно и с упоением, готовые бесстрашно принять смерть и заранее уверенные в своей победе. Ибо где же они поют так громко, где защищают так открыто свою веру? Да в доме самой королевы Франции! Им было дано дерзнуть, и они дерзнули!

Колиньи обеими руками высоко поднял принца Наваррского, над молящимися, он дал ему на всю жизнь надыхаться воздухом того, что перед ним совершалось, почувствовать, каковы все эти люди. Ведь каждый был здесь героем благочестия и торжественно исповедовал свою веру. Генриха охватило глубокое волнение, его душа рвалась к ним, он видел, как плачет его дорогая мать, и тоже плакал. Отец же, напротив, опасаясь последствий этого великого праздника, приказал запирать все окна, поэтому в комнате стало нестерпимо душно.

Все это было, конечно, весьма опасным нарушением дозволенных границ; Жанна и сама признала, что зашла слишком далеко, — супругу не пришлось даже усердствовать, доказывая ей это. Тогда Жанна решила как можно больше уступать королеве Екатерине, ибо едва ли можно было надеяться, что Медичи не узнает о тайном сборище. Когда, однако, обе добрые подруги снова встретились, выяснилось, что хозяйка решительно ничего не знает или предпочитает не знать о

предосудительном поведении гостя. Вместо того чтобы как-то выразить Жанне свое недоверие, королева-мать стала просить о помощи против врагов.

Самую большую опасность для правящего дома представляли в ту пору Гизы, их Лотарингская ветвь, которая притязала на французский престол. Тут Жанна поняла, что в сравнении с ними маленькое семейство Бурбонов считается безвредным. Эти герцоги выказывают себя гораздо католичнее королевы, кроме того, они богаты. Все это благоприятствует их намерениям; и Гизы уже начали похвалиться перед народом Парижа, что они, мол, и есть спасители королевства. А бедных королей Наваррских здесь никто не знает, они прибыли из отдаленной провинции, да и провинция эта еретическая — там постоянный очаг восстания. При виде Жанны д'Альбре мадам Екатерина каждый раз начинала благодушно мурлыкать, как старая кошка, а Жанна чувствовала себя униженной, хотя и таила это про себя.

Она была умна и шла на все, чего требовала старая кошка. А та просверлила дырку в стене своего кабинета, чтобы видеть и слышать, не злоумышляют ли против нее Антуан Бурбон и кардинал Лотарингский. Жанне приходилось вместе с ней подслушивать и подглядывать, хотя один из тех, за кем она шпионила, был ее собственный муж. Но дело было вовсе не в нем, его даже не боялись: именно это казалось Жанне особенно унижительным, однако она и виду не подавала. Страшилась старая кошка только главы дома Гизов, богатого кардинала, который мог подкупить всех ее слуг и даже самого короля Наваррского: достаточно было посулить Антуану испанские Пиренеи — это же ничего не стоило, — а потом не дать.

Екатерина, а с ней и Жанна разгадали немало козней, чинимых кардиналом, который принимал многих господ в комнате Антуана, считая, что это вызовет меньше всего подозрений. Жанна только диву давалась, до чего же легкомыслен ее супруг! Он, видимо, даже не все понимал, о чем говорилось в его присутствии, и через дырку в стене она видела по его лицу, что думает он только о даме своего сердца, — лишний повод не делать ему никаких намеков и не выдавать своей подружки Екатерины. Она даже решила любой ценой не допускать себя до открытого столкновения с его возлюбленной. Так изо дня в день упражнялась Жанна в молчаливом самообладании: интересы ее сына и религии требовали, чтобы она поддерживала дружбу со старой кошкой.

Однако то, чего Жанна так страшилась, все же произошло. Эта дама, супруга маршала, с ней, наконец, встретилась; мало того, осмелилась ей представиться и даже, видимо, рассчитывала на то, что Жанна ее поцелует. И тут, несмотря на все благие намерения, королева Наваррская не выдержала. Ее муж, единственный мужчина, за чью любовь она боролась, лежал в объятиях этой женщины, на ее обнаженной груди, а Жанну каждый час его любви к другой делал все старше и немощнее. С возмущением уставилась покинутая супруга на хорошенькое, даже пленительное личико дамы. От сознания, что вся земная жизнь — сплошной обман, комок подступил ей к горлу. Если Жанна даже не хотела этого, она против воли повернулась к даме спиной.

Однако супруга маршала не намерена была терпеть подобное обхождение и не намерена была отступать. В то время, когда королева Наваррская здоровалась с другими, дама стояла тут же, лицо ее уже не было пленительным, и она сказала достаточно громко, чтобы все услышали:

— Ты ко мне задом повертываешься и поцеловать не желаешь? Ну что ж! Клянусь святым Иоанном, тем меньше поцелуев ты получишь от своего муженька; получу все я!

Жанна окружила себя плотным кольцом приятельниц, чтобы без урону выбраться отсюда. Соперница была рослая, решительная особа, и для королевы столкновение могло кончиться плохо. Несколько дворян, прислушивавшихся к их ссоре, охраняли Жанну во время ее бегства.

Однако лишь позже поняла она, что этот случай грозит ей большими неприятностями. Никогда еще она не видела своего мужа в таком гневе. Антуан заявил, что он ее бросит, заточит, и Жанна знала, что подстрекает его не только любовница. Подглядывая через дыру в стене, Жанна убедилась, что кардинал Лотарингский вертит беднягой Антуаном как ему угодно и что его главная цель — устранить Жанну; тогда у дома Гизов не будет больше соперников, а протестанты лишатся своей королевы.

Жанна отлично понимала, что спасти ее может только мадам Екатерина. Благодаря дырке обе узнали, что нашептывают Антуану его друзья: ему-де следовало бы жениться на юной Марии Стюарт. Мария была вдовой старшего сына

Екатерины Медичи – одного из ее многочисленных сыновей, которые по очереди носили титул короля, но всякий раз правила за них она сама. Екатерина считала, как и Жанна, что этому союзу необходимо помешать. Ей лично мужчина в доме не нужен, пусть даже такая тряпка, как Антуан. Обе женщины были на его счет одинакового мнения.

Это же обстоятельство заставило Екатерину вспомнить о другом плане – о предполагаемом обручении ее дочери Марго с маленьким Генрихом Наваррским. Медичи прямо заявила: если взять в дом и навсегда связать с ним принца крови и ближайшего родственника, это принесло бы королевству истинную пользу. Придворный астролог открыл ей, что такой брак был бы одним из самых успешных ее деяний. Но, к сожалению, пока еще слишком рано, уж очень оба юны. И в подтверждение своей искренности королева-мать заключила Жанну в объятия; однако от объятий старой кошки Жанну охватила дрожь. Ей невольно вспомнились кое-какие слухи, ходившие относительно ее подруги: мадам Екатерина будто бы отравила некоего вельможу, чтобы предоставить его доходы другому. В то же мгновение Екатерина сказала, сжав Жанну покрепче:

– Ради своих друзей я на все пойду.

Быть может, это было сказано случайно. Но слова Екатерины еще раз показали матери Генриха, сколь важно любой ценой сохранить благосклонность Екатерины. Однако все в душе Жанны возмущалось против ее собственных решений, она не умела долго оставаться послушной велениям разума. Как бы глубоко ни прятала она свои истинные чувства, правда вдруг прорывалась наружу и вещала во всеуслышание. Тогда в тоне хилой королевы Наваррской появлялись властные и торжественные нотки, ибо говорила она от имени истинной веры. Даже во время их первого разговора она уже предъявила свои требования, позабыв про все злоешие слухи, ходившие насчет мадам Екатерины.

– Марго должна принять протестантство! Иначе мой сын не может на ней жениться!

Жанна не знала, как Медичи отнесется к ее заявлению; но та по-прежнему выказывала дружелюбие, она даже стала как будто еще доверчивее. Призналась, что и сама подумывает, не перейти ли ей со всеми своими детьми в новую веру! Может

быть, протестанты все же окажутся сильнее и с их помощью ей удастся свалить Гизов. О самой вере и речи не было, и Жанна укорила ее за это; однако проповедь, которую королева Наваррская тут же произнесла, на ее подружку Екатерину ничуть не подействовала. Медичи попросту возразила, что лучше не открывать своих карт и пусть пасторы ее подруги Жанны продолжают проповедовать при закрытых дверях.

Затем она распахнула одно из окон и подозвала Жанну. В саду играли Марго и Генрих. Он раскачивал качели, на которых сидела девочка; сегодня на ней взамен роскошной одежды было лишь платье из легкой ткани, и оно развевалось при каждом взмахе доски. Генрих присел на корточки и, когда она пролетала над ним, крикнул:

- А я вижу твои ноги!
- Нет, не видишь! — крикнула сверху Марго.
- Как солнце в небе! — настаивал он.
- Неправда!
- И они ужасно толстые!
- Сейчас же останови качели!

Но он не послушался, и качели остановились сами. Марго слезла, она сначала оперлась на его руку, потом что есть силы ударила его по лицу.

— Я это заслужил, — сказал он и сморщился от боли. Потом тут же схватил край ее платья и поцеловал.

— Ну, вот опять! — сердито заявила она. — Ты всегда такой учтивый, такой паинька, мне это не нравится. Сегодня ты в первый раз говоришь со мной, как надо.

— Потому что я теперь знаю наверное: у тебя ноги, как у всех девочек, только покрасивее.

— Нет, ты еще не знаешь. Вот погоди, пока мы подрастем.

Она смолкла и лишь глядела на него, шевеля высунутым между губ розовым кончиком языка. Лицо ее своими красками напоминало персик, нарисованный на

фарфоре, ненастоящий. Мальчуган никак не мог понять, отталкивает она его от себя или же подзадоривает; желая, наконец, это выяснить, он обнял ее и насильно поцеловал. У Марго дух захватило, и она засмеялась счастливым смехом.

— А ты умеешь целоваться лучше, чем...

— Чем кто? — спросил он и топнул ногой.

— Никто, — обиженно ответила она.

Наверху мадам Екатерина захлопнула окно и тем помешала Жанне окликнуть сына.

— Наши дети сговорятся, — заметила толстуха с обычной добродушной иронией.

Тощая страдальчески побледнела, но все же промолчала.

После этого случая Жанна крепко взялась за сына, как делала, когда они еще были дома. Давно уже он не слышал нравоучений, а теперь мать ежедневно внушала ему: пусть не забывает, они здесь воинствуют на вражеской земле, идут против всех за веру; они должны твердо отстаивать ее и распространять, глумиться над обедней и над изображениями святых, и многое в том же роде. Генрих верил в свою мать; все, о чем она говорила, вставало перед ним в ярких образах. Насчет Марго она не проронила ни слова — верно, ей было стыдно той сцены, которую они обе подглядели, и она сердилась на Екатерину, зачем та показала ей.

И все-таки Генрих понял, нечистая совесть открыла ему, чем была недовольна мать; и вот однажды мальчик заявил Маргарите — притом у него лицо было такое, что она испугалась — о ее ногах больше не может быть и речи, никогда; их будут поджаривать в аду. Она ответила, что не верит этому, но на самом деле перепугалась и пошла спрашивать мать.

Первая разлука

Мадам Екатерина узнавала другими путями о происках Жанны. Нетрудное дело: ведь ее маленький сын так несдержан! Себя-то протестантка кое-как принуждала к терпению и скрытности, но Генриха она и не старалась обуздать. Она полагалась на то, что истина, исходящая из уст младенцев, свята и неприкосновенна.

Генрих с радостью угождал матери, особенно в таком веселом занятии, как глумление над католиками. Он сделался главарем целой шайки мальчишек и всем внушал, что нет ничего смешнее монахов да епископов. Скоро в этой шайке оказалось все молодое поколение двора, и даже королева-мать не знала истинных размеров заговора, ибо кто осмелился бы открыть ей, что в нем замешаны ее собственные сыновья. Сначала Генрих завербовал младшего из трех принцев, и тот стал участвовать в новой забаве; они рядились священниками и в таком виде бесчинствовали на все лады: врываются самым неучтивым образом на важные совещания, мешали влюбленным парам да еще требовали, чтобы целовали их кресты. Для них это было как бы веселым карнавалом, хотя время для карнавала стояло самое неподходящее — осень.

Младший принц, д'Алансон, оказался наиболее предприимчивым, Правда, первый и удирал. Однако и второй, Генрих, именуемый монсеньером, пожелал участвовать в дерзких проказах; а под конец не утерпел и сам Карл Девятый, христианнейший король, глава всех католиков. Вырядившись епископом, он лупил своим посохом придворных кавалеров и дам, чему они из верноподданнических чувств не смели противиться. Смеяться этот мальчик не умел, только лицо его бледнело да косой взгляд становился еще недоверчивее, и он так возбуждался, что под конец ему делалось дурно. А кто в простоте душевной радовался, глядя на все это? Ну конечно же, Генрих Наваррский...

Придворные называли юных заговорщиков «шалунешками» и делали вид, будто это лишь милые шутки. А мадам Екатерина пребывала в неведении, пока однажды у ее двери не раздался внезапный шум, и она в первую минуту решила, что ей пришел конец. У нее находился лишь один итальянский кардинал, и тот уже озирался, ища, куда бы спрятаться. Но тут дверь распахнулась, и появился осел, на нем ехал Генрих Наваррский, одетый в пурпур и со всеми знаками высокого церковного сана. За ним следовало много молодых господ постарше, с подвязанными к животу подушками, в одеяниях всевозможных монашеских орденов; они прищипывали своих серых скакунов и галопировали по залу, распевая литании. Пешие вспрыгивали друг

другу на спину, но не всем удавалось удержаться, некоторые падали, увлекаемая за собой мебель, и в зале с паркетом гулко отдавались крики боли, треск дерева, цоканье копыт и взрывы хохота.

Вначале смеялась и королева-мать – уж по одному тому, что это оказались не убийцы. Однако когда она в конце концов узрела среди озорников своих собственных сыновей – принцы охотно ускользнули бы от ее внимания, – терпение Екатерины лопнуло. Все же она этого не показала, она притворилась, будто сердится лишь для виду, с чисто материнской строгостью стала уговаривать всех мальчиков, что святыню следует почитать, пусть поиграют во что-нибудь другое. Принцам она не выговаривала особо. Только маленькому Наварре добродушно закатила оплеуху.

Екатерина узнала истинный образ мыслей своей подруги Жанны еще осенью, когда они вместе просверлили дырку в стене. Теперь ей важно было одно: в какой мере протестантка может стать опасной; но это обнаружилось лишь в январе, когда Жанна совершенно открыто поехала в Париж, чтобы оживить религиозное рвение своих единоверцев и подстрекнуть их к бунту. Екатерина разрешила им проповедовать открыто, и королева Наваррская сейчас же злоупотребила дарованной ей свободой. Медичи и тут промолчала, оставила Жанну своей наперсницей; она, как обычно, предпочитала ждать, пока события сами не придут к неизбежной развязке. Но, даже решив, что эта минута наступила. Екатерина предпочла остаться в тени; бедный Антуан передал ее приказ, воображая, будто это его собственный: Жанне предстояло покинуть двор, и, что хуже всего, без сына.

Отец оставил мальчика при себе, чтобы помешать влиянию матери и сделать из него доброго католика. Еще и двух лет не прошло, как отец хотел сделать из него доброго гугенота, – Генрих отлично помнил, но сказать об этом вслух было бы слишком опасно и для отца и для него самого. Он понимал уже сейчас, что многое в жизни решают более сильные побуждения, чем простая правдивость. Когда его мать Жанна прощалась с ним, он плакал, – ах, если бы она знала, как много дорогого он оплакивает! Мальчику было жаль ее, самого себя ему не было так мучительно жаль как ее. Она ведь всегда являлась для него воплощением его высшей веры: на первом месте для него была мать, потом религия.

Разрыдалась и Жанна, целуя сына; ей разрешили поцеловать его только один раз, и уже пора было ехать в изгнание; Генриха же вопреки ее воле должны были

отдать в католическую школу. Правда, Жанна взяла себя в руки и строго-настрого

запретила ему ходить к обедне – никогда, иначе она лишит его права на престол.

Он обещал ей, и горько плакал, и решил служить только добру, но не потому, что

так безопаснее, теперь он уже не искал безопасности. Его дорогая матушка уезжала в изгнание за истинную веру. А отец отвергал эту веру, –

вероятно, и он

выполнял свой долг. Родители разлюбили друг друга, они стали врагами, каждый из

них боролся за сына, и Генрих чувствовал, что под этим кроется много загадочного. Будь у мадам Екатерины в самом деле горб и когти, красные глаза и

сопливый нос, тогда он понял бы. А так – стоит растерянный маленький мальчик,

один, перед ненадежным, необъяснимым миром, а ведь ему самому предстоит вот-вот

вступить в этот мир!

Его отдали в Collegium Navarra[3. – Наваррский коллеж (лат.)], самую аристократическую школу города Парижа; брат короля, тот, кого именовали монсеньером, и еще один их сверстник, Гиз, также посещали ее. Оба были тезками

принца Наваррского, и их звали «три Генриха».

– А я опять не был у обедни, – с гордостью заявил принц Наваррский двум своим товарищам, когда они встретились наедине.

– Да ты спрятался!

– Это они сказали? Ну, так они врут. Я им напрямик выложил все, что думаю, и они испугались.

– Молодец! Валяй и дальше так, – посоветовали ему товарищи, а он в своем рвении и не приметил, что они ведут с ним нечестную игру.

Генрих предложил:

– Давайте нарядимся опять, как тогда, напялим епископские тиары и проедемся на ослах.

Для виду они согласились, но выдали его духовным наставникам, и в следующий

раз мальчика пороли до тех пор, пока он не пошел вместе со всеми к обедне. Пока

на том дело и кончилось: Генрих слег, оттого что призывал к себе болезнь и

страстно желал заболеть.

У его постели сидел в те дни некто Бовуа — единственный человек, которого мать оставила при нем. Этот Бовуа поспешил перейти к врагам своей госпожи, и Генрих понял, что поркой он обязан не только проискам своих друзей — маленьких принцев: его выдал и этот шпион.

— Уходите, Бовуа, я не хочу вас видеть.

— И вы не хотите прочесть письмо вашей матери королевы?

Тут мальчик, к своему великому изумлению, узнал, что его дорогая матушка выражает предателю свое удовлетворение и благодарность, а тот сообщает ей обо всем, что здесь происходит. «Оказывайте моему сыну поддержку в его сопротивлении и блюдите его в истинной вере! — писала Жанна. — Вы правы, что по временам доносите на него ректору и его бьют плетью; он должен приносить эту жертву, лишь благодаря ей можете вы оставаться подле него, а я могу извещать моего дорогого сына о том, что я предпринимаю».

Затем следовало еще многое, но Генриху необходимо было сначала хорошенько разглядеть человека, сидевшего у его постели, — мальчик ожидал открыть в нем невесть что, а на деле оказалось — просто довольно полный господин с широким лицом и приплюснутым носом. Было также ясно, что он сильно пьет; по его внешности Генрих никогда бы не заподозрил, что это человек необычный. А теперь оказывается, он вот какой изворотливый да хитрый, а на вид такой немудрящий и все-таки верный слуга!

Господин де Бовуа лучше читал по лицу принца, чем тот по его лицу. Поэтому де Бовуа кротко заметил, и его тусклые глаза блеснули:

— Всего нет нужды открывать всем и каждому, кто ты.

— А вы, небось, и сами не знаете, — нашелся восьмилетний мальчик.

— Главное — всегда оставаться там, где хочешь быть, — отвечал пожилой придворный.

— Это я запомню, — начал было Генрих и хотел уже добавить: «Но вам доверять

больше не буду», — однако не успел: Бовуа внезапно отобрал у него письмо матери

— неуловимым, до жути ловким движением; листок бумаги исчез в один миг, а воспитатель продолжал уже совсем другим тоном:

— Завтра вы встанете и по доброй воле пойдете к обедне, ибо сейчас вы еще слабы и едва ли будете в состоянии выдержать плети, а ничего иного вы и не заслуживаете, раз вы отказываетесь повиноваться.

Бовуа выразался так многословно и так тянул, что Генрих все же в конце концов успел расслышать крадущиеся шаги за дверью возле его кровати. Он не обернулся, но притворно заплакал; они ждали, пока шпион не удалился. Тогда доверенный Жанны торопливым шепотом сообщил мальчику остальное содержание письма, опасаясь, как бы им опять кто-нибудь не помешал.

Оказывается, Жанна д'Альбре затеяла открытую и всеобщую междоусобную войну — ни больше, ни меньше. Своего супруга она уже не щадила и потому не щадила никого. Ей нужны были люди и деньги для ее деверя Конде, знатного дворянина, не делавшего различия между своей личной властью и религией. Но Жанне было все равно; она решила, что именно он поведет протестантские войска. В Вандомском графстве, где она пребывала в изгнании, Жанна подвергла разграблению церкви. Чтобы добыть деньги, она не гнушалась осквернением могил, даже тех, где лежала родня ее мужа! Ничто ее не страшило, ничего для нее не существовало, кроме ее решений.

Казалось, все это она сама говорит сыну, он слышал возле самого уха ее страстный голос, хотя это был только торопливый и сбивчивый шепот чужого человека. Генрих вскочил с постели, он сразу выздоровел. И в дальнейшем мальчик опять терпеливо сносил всевозможные страдания, лишь бы они спасали его от хождения к обедне. А частенько он обо всем забывал, становился весел, ибо таким был по природе, шумно возился с другими мальчишками, уже не замечая высоких и мрачных стен школьного двора, чувствовал себя свободным и победителем, действительно верил в то, что скоро-скоро к нему явятся враги и смиренно будут просить его — пусть замолвит за них словечко перед его матерью, чтобы она простила их.

Однако вышло иначе. Жанна проиграла и была вынуждена бежать, но сын ее не дождался конца затеянной ею борьбы: первого июня Генрих сдался, — он упорствовал с марта. Отец сам повел его к обедне, сын поклялся остаться верным католической религии, и взрослые рыцари ордена целовали его как своего соратника, чем он, несмотря на все, очень гордился. А немного дней спустя его дорогая матушка поспешно скрылась. Бовуа с укоризной сообщил ему об этом, хотя

еще до того, как все рухнуло, сам дал Генриху совет снова стать правоверным католиком. Ускользая от своих врагов, Жанна из северной провинции за Луарой бежала на юг и добралась до границ своей страны, причем ей все время грозила опасность попасть в руки генерала Монлюка, которого Екатерина отправила в погоню за королевой Наваррской.

С каким замиранием сердца следил за ней сын во время этого путешествия! Ведь он ее послушался! Он ее предал! Не оттого ли все их несчастья? Ей он писать не решался. Одному из приближенных матери он слал письмо за письмом, это были вопли смятения и боли: «Ларшан, я так боюсь, что с королевой, моей матерью, случится в пути что-нибудь недоброе».

Так бывало днем; но ведь ночью ребенок спит, и ему снятся игры. Да и в дневные часы он иногда обо всем забывал: и о несчастьях и о своем ничтожестве в этом мире. И он делал то, чему никто и никакое сцепление обстоятельств не могли воспрепятствовать: он становился коленом на грудь побежденного во время игры товарища. Потом поднимал его на смех и отпускал. Это было ошибкой: прощенные ненавидят сильнее, чем наказанные, однако Генрих до конца своей жизни так этого и не понял.

Среди товарищей он не пользовался особой любовью, хотя ему удавалось вызывать у них и страх и смех. А он домогался их уважения, надеялся поразить их своими шутками, совсем не замечая при этом, что, когда они смеялись, они переставали уважать его. Он представлял собаку, либо, смотря по их желанию, швейцарца, либо немца – междоусобная война привлекала в Париж чужеземных ландскнехтов, и Генрих видел их. Однажды он крикнул: – Давайте сыграем в убийство Цезаря! – И сказал Генриху-монсеньеру: – Вы будете Цезарем. – И Генриху Гизу: – А мы будем убийцами. – И пополз по земле, показывая, как надо подкрадываться к жертве. А жертву охватил ужас, монсеньер закричал и бросился наутек, но оба преследователя уже схватили его.

– Что ты делаешь? – вдруг спросил сын Жанны, – Ведь ему больно.

– А как же я его иначе убью? – возразил Гиз. Однако мгновенного промедления было достаточно, чтобы Цезарь взял верх, он стал немилосердно лупить Гиза, и уже теперь Генриху пришлось удерживать его, чтобы он не прикончил своего убийцу.

Принц Наваррский предпочел бы опять вернуться к шутке. Но те двое не понимали, что можно сражаться и вместе с тем относиться к этому легко. С тупым и угрюмым упорством они рычали: «Убей его!» Генриха же увлекала только игра.

Он был ниже ростом, чем большинство его сверстников, очень смугл, а волосы русые, лицо и глаза живее, чем у них, и на выдумки он был проворнее. Иной раз все они обступали его и разглядывали, словно это было какое-то диво — ученый медведь либо обезьяна.

Несмотря на всю пылкость своего воображения, он обладал способностью вдруг видеть правду, а они недоуменно переглядывались, они не понимали, что он говорит, в его речи еще слишком преобладал родной говор. Остальные два Генриха заметили, например, что слово «ложка» он употребляет в мужском роде, но сказать ему не сказали, а сами стали повторять при нем ту же ошибку. И он чувствовал, что есть у них всех какое-то преимущество перед ним. В те времена Генриху часто снились сны, но о чем? Утром он все забывал. И лишь когда ему стало ясно, что его мучит тоска, ужасная, нестерпимая тоска по родине, он понял и то, что встает перед ним в каждом сновидении: Пиренеи.

Когда умер отец

Он видел Пиренеи, покрытые лесами до самого неба, ноги несли спящего, точно ветер, и на вершинах он оказывался огромным, одного роста с горами. И он мог наклониться до самого замка По и поцеловать в губы свою дорогую маму. От тоски по родине он опять заболел, как перед тем из-за обиды. Сначала решили, что у него оспа, но оказалась не оспа. Тогда отец увез его в деревню: Антуан Бурбон снова отправлялся в поход, и его маленькому сыну незачем было оставаться одному в Париже. Однако заброшенности в деревне Генрих боялся не меньше, чем одиночества в Париже, он умолял отца: пусть возьмет его с собой в лагерь. Антуан этого не сделал уж потому, что там у него была возлюбленная.

Он уезжал верхом, и Генрих проводил его немного на своей лошади. Мальчик не в силах был с ним расстаться, никогда еще он так не любил этого статного

мужчину с бородой и в доспехах! Ведь это его отец; пока они еще вместе, — ну, до перекрестка, ну, до ручья! — Я обгоню тебя, давай поспорим? Я знаю короткую дорогу и за лесом опять окажусь с тобой рядом! — так он хитрил до тех пор, пока отец, рассердившись не отправил его домой.

Но не прошло и полутора месяцев, как Антуана не стало. Листва на деревьях засохла, и к его сыну прискакал гонец с вестью, что король Наваррский убит.

Принц, его сын, чуть не вскрикнул. Но вдруг, решительно подавив рыдания, спросил:

— А это правда?

Ибо теперь считал уже за правило, что люди его обманывают и ставят ему капканы.

— Ну-ка, расскажи, как было дело.

С недоверием слушал он сообщение о том, что король, находясь в окопе, велел принести себе туда обед. Паж, наливавший ему вино, уже был ранен пулей. Другая поразила насмерть капитана, который стоял неподалеку на открытом месте и справлял нужду. Надо же было королю стать на то же место — и, конечно, следующая пуля угодила в короля, когда он мочился.

Только тут Генрих дал, наконец, волю слезам. Он понял, что это правда, потому что узнал беззаботную храбрость отца. Мальчика терзала сердечная боль, зачем сам он был в это время далеко, зачем не смог участвовать в той битве и делить с отцом опасность, как делил ее этот слуга, которого отец любил.

— Рафаил! — воскликнул он, обращаясь к слуге. — Король меня любил?

— Когда он скончался от раны — было это на корабле, который вез его в Париж..

— Кто находился при нем? Я хочу знать!

О любовнице, на чьих руках умер Антуан, слуга умолчал.

— Я один находился подле него, — заверил он принца. — Когда государь мой почувствовал, что дело идет к концу, а было это в девять часов вечера, он схватил меня за бороду и сказал: «Служи хорошенько моему сыну, а он пусть хорошенько служит королю!»

Генрих все это ясно увидел перед собой, он перестал плакать и сам схватил гонца за бороду. Ему казалось, что нет ничего прекраснее, чем вот так умереть

за короля Франции, как умер его отец Антуан.

Память об отце определила два ближайших года жизни маленького Генриха. Матери своей он за все это время так и не видел. Жанне неотступно угрожал Монлюк; этим постоянным давлением на нее мадам Екатерина достигла того, что их отношения стали более сносными. Подобные дела Медичи умела улаживать, ибо ей неведома была та страстная ненависть, которая кипела в сердце Жанны д'Альбре; Екатерина действовала просто, сообразуясь с обстоятельствами. Самым сильным ее врагом по-прежнему оставался дом Гизов, протестанты были пока обезврежены. Тем более могла она воспользоваться ими для своих целей и прежде всего их духовной предводительницей. Тщательно все обдумав, мадам Екатерина решила так.

После смерти Антуана Бурбона юный принц Наваррский сделался, как и отец, губернатором провинции Гиеннь и адмиралом; сто телохранителей получил он, однако вынужден был остаться при дворе. Его заместителем на юге назначили, разумеется, Монлюка, того самого Монлюка, на которого так обижалась Жанна. За это ей даровали право воспитывать своего Генриха, как ей захочется, хотя сама она не могла при этом присутствовать. Она сейчас же вернула ему в качестве учителя честного старика Ла Гошери, а общее руководство принцем было доверено хитрецу Бовуа, и к обедне можно было уже не ходить. Генрих снова оказался протестантом, но это его больше не трогало.

Он сказал себе: «Я родился католиком, моя дорогая матушка сделала из меня гугенота, им я и останусь, хотя отец меня опять посылал к обедне, вернее, посылала мадам Екатерина, и рыцари ордена целовали меня. Если б я теперь стоял на поле боя, среди сторонников истинной веры, как мне и подобало бы, — тут у мальчика заколотилось сердце, — рыцари уже не целовали бы меня. Наоборот, мне пришлось бы, пожалуй, их просить об этом, ибо они могли бы победить нас, и тогда я опять стал бы католиком. Что ж! Таков этот мир».

Но еще сильнее забилося у него сердце. «Нет! — подумал он. — Победить или умереть», *aut vincere aut mori* — этот девиз он написал даже на билетике какой-то лотереи, и мадам Екатерина спросила его, что эти слова означают. Тогда он ответил, что смысла их не знает.

Странное посещение

Генриху шел одиннадцатый год, когда его взяли в большое путешествие короля Карла Девятого по Франции.

Королева-мать решила, что всему королевству пора лицезреть ее сына и что первый принц крови, Генрих Наваррский, должен везде показываться в его свите – хоть и протестант, а все же только вассал. Кто опять перебежал дорогу хитроумной толстухе и расстроил ее планы? По крайней мере вообразил, что расстроил? Жанна д'Альбре; она появилась внезапно. В город, где тогда находился двор, она въехала, точно какая-нибудь независимая государыня, при ней триста всадников и не меньше восьми пасторов

И тотчас горячо накинулась на мадам Екатерину: та до сих пор не выполнила своих обещаний. Помимо этого, она только и успевала, что помолиться вместе с сыном. Ведь она оставила его своей доброй подруге как залог их соглашения, а Монлюк запретил в Беарне проповеди, и поговаривают, будто протестантам угрожает еще кое-что похуже, а именно – встреча Екатерины с Филиппом Вторым Испанским, этим злым демоном юга и архиврагом истинной веры. И вот Жанна потребовала правды. Жанна заявила о своих правах.

Однако никто не выказывал большего равнодушия к любым договорам, чем мадам Екатерина, когда уже не видела в них пользы для себя. И она, по своему обыкновению, лишь тихонько засмеялась: – Милая подружка, теперь вы здесь, вы моя, а мне именно этого и хотелось.

Так оно и было на самом деле, ибо Филипп довел до ее сведения, что отправит послов по ту сторону Пиренеев не раньше, чем королева Наваррская исчезнет из своих родных мест. Поэтому Жанна почти ничего не добилась – сунули ей малую толику денег на жизнь, на ее всадников да пасторов, – и уезжай себе обратно в графство Вандом, как два года назад. Двор же продолжал путешествие на юг.

Жанна простить себе не могла, что попалась в ловушку. Однажды ее сыну пришлось ночевать в нижнем этаже постоянного двора, так как здешний замок оказался недостаточно просторен для столь многолюдного общества. Вдруг среди ночи мальчик вскочил. Зазвенело стекло, раздался стук упавшего тела. Генрих изо всех сил навалился на какого-то человека, пока тот еще не успел подняться, и

принялся громко звать на помощь. Появились огни и люди, неизвестному изрядно намяли бока. Когда Генрих разглядел незнакомца, он замолк, пораженный. Мальчик сразу понял, кто его прислал и зачем. Но поостерегся признаться хотя бы одному человеку, что его дорогая мать старалась похитить своего сына. Ни разу не проговорился и его воспитатель Бовуа. Оба печально поглядывали друг на друга, иногда старший укоризненно покачивал головой, а младший виновато опускал ее.

Есть в Провансе одно местечко, называется оно Салон; там жил в те времена некий примечательный человек, и Генриху Наваррскому довелось узнать его. Было раннее утро, одиннадцатилетний мальчик стоял посреди комнаты голышом, камердинер собирался подать ему сорочку. Тут вошел Бовуа, а с ним тот человек. «Что нужно Бовуа? — думает Генрих. — Может быть, это лекарь? Но я ведь не болен».

А тот человек спрашивает: «Где же принц?» Останавливается в пяти шагах от него и не видит, хотя Генрих совсем голый. Бовуа не отвечает, он ждет — почтительно, даже можно сказать робко, если Бовуа способен быть робким. А слуга отступает в угол и уносит с собой сорочку.

Мальчик испытывает странное чувство: он одинок, раздет, виден весь — все недостатки, все дурное. Он начинает бояться, как бы все это не кончилось поркой! О ты, старик, такой изможденный, седые волосы, как сталь, а щеки, точно ямы, ведь вот же я, взгляни на меня и потом уйди!

А старик давно его видит, изучает тело и лицо маленького человека, только никто этого не знает: его зрение затянута пленкой, он видит из дали гораздо более далекой, чем пять шагов. К тому же незнакомец уклоняется в сторону, делает нелепые телодвижения, прыгает вперед, назад, толкает Бовуа, просит извинения, все время что-то бормочет и слишком поздно догадывается поклониться. Он неловко размахивает своей огромной шляпой, она выскальзывает у него из рук, летит прямо под ноги принцу. И тут Генрих совершает нечто не соответствующее его сану. Неизвестно почему, он поднимает шляпу и подает тому человеку, а тот самое большее — лекарь, хотя для лекаря слишком неловок.

И вот они стоят друг перед другом, тощий смотрит вниз, а малыш усиленно задирает голову, но тщетно; неуловим взор этого существа, он точно пелена, опущенная на щеки и шею, так что остается лишь туловище без головы, а вместо головы завеса. Мальчику страшно, но боится он уже не порки.

Незнакомец перестал бормотать, он думает: «Что я говорю?» Он чувствует: «Это дитя, что-то еще несбывшееся, беспредельное, ведь ребенок, хоть он и слаб, обладает большей силой и властью, чем те, кто уже много прожил. Он несет в себе жизнь, и потому он велик. Только ребенок велик! Какое смелое лицо!» – говорит он себе в ту минуту, когда Генриху страшней всего.

– Это он, – произносит незнакомец вслух, обращаясь к Бовуа, который ждет терпеливо. – Если бог вам дарует милость дожить до тех пор, вашим государем будет король Франции и Наварры.

Вот и все, что он говорит вслух, и уже не делая попытки еще раз поклониться, идет к выходу. Бовуа распахивает перед ним двери.

– Благодарю вас, – говорит Бовуа. – До свидания, господин Нострадамус [4. – Нострадамус Мишель (1505–1566) – знаменитый астролог. Был лейб-медиком Карла Девятого.]

А Генрих чувствует, что незнакомец не из тех, с кем можно еще раз свидеться. Именно поэтому тот человек останется у него в памяти навсегда.

Встреча

Но Генриха и так повсюду донимали слухами и пророчествами. Невозможно было забыть происходившего в те дни. Куда бы ни приехал со своими протестантами принц Наваррский, ревнители истинной веры приветствовали его в необычайной потайности, расстроенные и встревоженные.

– Не ездите дальше, принц, оставайтесь с нами, скорее мы все до одного умрем, чем отдадим вас врагам. – И везде он слышал одно и то же. Седовласый гугенот, которого внуки принесли к Генриху, поднял дрожащую руку и, благословляя его, произнес глухим и глубоким старческим голосом:

– Хвала господу, что дал мне увидеть вас! Когда всех нас уничтожат, вы, государь, отомстите и поведете истинную веру к победе.

Потом раздалось со всех сторон уже знакомые Генриху заклинания: пусть, ради господа бога, не ездит дальше.

Позднее Бовуа ответил на вопросы Генриха так:

— Не давайте себя запугать! Эти люди боятся? Тем ревностнее будут они служить нашей вере. Они ожидают всяких бед только от того, что королева-мать решила встретиться с испанцами. Мы, однако же, знаем мадам Екатерину: она скорее схитрит, чем пойдет на кровавую резню.

— А если испанский дьявол ей прикажет? — заметил Генрих, даже не ожидая ответа, так уверен он был в смертельной ненависти Габсбурга, которая есть и будет вовеки.

Бовуа попытался объяснить мальчику, что Екатерина, быть может, ничего страшного и не замышляет, а хочет лишь оправдаться перед всемирным католицизмом, что не всегда посылала против своих протестантов войска, но иногда старалась поймать их в сети уступчивости. В худшем случае она попросит у Филиппа помощи на том, дескать, основании, что иначе ей не усмирить своих подданных-реформистов.

Тщетно старается Бовуа, доводы учителя не убеждают Генриха, его воображение полно страшных картин, оно непрерывно работает, его возбуждают все эти встревоженные лица, перешептывания, намеки, предостережения, которые сопровождают мальчика во время всего путешествия. А в конце пути должно произойти то событие, предощущением которого полна его душа; что именно, он не знает, но чувствует: неведомое уже при дверях, и если даже оно не свершится, он все равно готов увидеть его и услышать.

Так Генрих достиг в свите сильнейших города Байоны, совсем поблизости от земли Беарн, его родины. Здесь можно ждать всего, это ведь те места, — да, те самые, — где он жил с отцом и матерью в раннем детстве. Здесь он чувствовал себя дома. Мягко, словно родные, искони знакомые звуки его французского имени, журчит река Адур; а вон те ступки света, чьи очертания теряются в темно-синем небе, те вершины — это его горы, это Пиренеи. Однако Генриху, столь горячо тосковавшему по ним, теперь ни разу не пришло на ум там укрыться.

Когда, наконец, испанцы приехали, оказалось, что это всего-навсего молодая женщина, Елизавета Французская, королева Испании, родная дочь Екатерины, и в качестве начальника ее свиты — герцог Альба. С ним-то мадам Екатерина и вела с глазу на глаз важнейшие переговоры.

Зала охранялась снаружи. Первой появилась старая королева, она прошла вдоль

ряда окон и подняла все занавеси. На противоположной стене висели только картины. Затем она села на высокое кресло с прямой спинкой, откуда видны были двери. Позади нее чернел камин. Его огромное отверстие было полно зеленых веток: стояла середина июня.

Герцог Альба вошел, откинув голову, выступавшую из жестких брыжей. Он не склонил ее и шляпы не снял. На ходу он старался не сгибать колени, лицо у него было немолодое, но гладкое. Никакие испытания не смогли бы на нем оставить своих следов, так оно было надменно.

Альба остановился, однако не из почтительности, а в позе обвинителя, и сразу же, без всякого вступления, объявил королеве, что его государь, великий король Филипп Испанский, ею недоволен. Она слушала без возражений, да герцог и не ждал их, но все говорил суровым и жестким тоном о том, что она пренебрегла своими обязанностями по отношению к святой церкви и к ее земной деснице, держащей меч, — к дому Габсбургов. Екатерина слушала молча, пока он не кончил.

Потом спросила своим жирным голосом, сколько же ей предлагает испанский король за то, чтобы она все королевство сделала католическим. — Это ведь стоит недешево, — добавила она.

— Нисколько. Не торгуйтесь, а не то вам придется впустить наши войска и признать дона Филиппа верховным сувереном вашего королевства.

Екатерина ответила, и тут ее голос дрогнул: господь не захочет этого, ведь доверил же он именно ей, Екатерине, французское королевство и послал сыновей. Однако она обещает королю Филиппу, что больше не станет вызывать его гнев и терпеть протестантскую ересь, у нее-де всегда были самые благие намерения, но недостаток силы приходилось восполнять изворотливостью.

— Сколько стоит здесь у вас удар кинжалом? — спросил Альба.

Екатерина несколько раз шумно вздохнула, она сделала попытку усмехнуться, во всяком случае в ее тоне прозвучала ирония.

— Десять тысяч ударов кинжалом стоят столько же, сколько пушки, сожженные города и междоусобная война.

— При чем тут десять тысяч? — презрительно отозвался Альба. — Я имею в виду

один-единственный. — Лишь теперь соблаговолил он приблизить свое лицо с узкой, острой бородкой к уху сидевшей в высоком кресле королевы. И сказал:

— Десять тысяч лягушек — это все-таки не лосось.

Екатерина сделала вид, будто обдумывает его слова, хотя отлично поняла их смысл: чтобы выиграть время, она повернулась к дверям, потом к высоким окнам.

Про камин позади ее кресла она забыла. Затем так понизила голос, что даже Альба

с трудом разбирал ее слова:

— Под лососем вы должны разуметь по крайней мере двух особ.

Теперь заговорил шепотом — и он. Они шептались довольно долго. Потом их головы отодвинулись одна от другой, герцог отступил, все такой же деревянный, напыщенный, как и в начале разговора. Старая королева грузно поднялась, он протянул ей кончики пальцев и повел к двери, он шествовал торжественно, она ковыляла, переваливаясь.

Оба давно уже вышли, а в зале все еще царил беззвучная тишина. Было слышно, как перед дворцом сняли караул. Лишь тогда зеленые ветки в огромной пасти каминной засветились, и оттуда вылезла маленькая фигурка. Фигурка обошла вокруг кресла, где только что сидела Екатерина. Генрих опять увидел обоих злодеев, точно они еще были здесь. Он еще раз услышал все, что они друг другу шептали, даже неслышное, даже те два имени, которые подразумевались. Генрих уже отгадал их: имя адмирала Колиньи и — его сердце содрогнулось — имя его матери, королевы Жанны.

Он сжал кулаки, слезы гнева выступили на глазах. Вдруг он завертелся на одной ноге, рассмеялся, весело выругался. Этому ругательству он научился на родине от старика, от деда д'Альбре, — святыя слова, искаженные до неузнаваемости. Потом он звонко крикнул, и откликнулось эхо.

Moralité

Ainsi le jeune Henri connut, avant l'heure, la méchanceté des hommes. Il s'en était un peu douté, après tant d'impressions troubles replies en son bas âge, qui n'est qu'une suite d'imprévus obscurs.

Mais en s'écriant allègrement Ventre-Saint-Gris au moment
même où lui fut révélé tout le danger effroyable
de la vie, il
fut connaître au destin qu'il relevait le défi et qu'il gardait
pour
toujours et son courage premier et sa gaîté native.

C'est ce jour la qu'il sortit de l'enfance[5. - В оригинале
moralités (поучения) даны только по-французски, без
немецкого перевода.]

Поучение

Так юный Генрих познал до срока людскую злобу. Он уже догадывался о ней
после стольких мрачных впечатлений, полученных им в раннем детстве,
которое
представлялось ему лишь вереницей удивительных неожиданностей. Однако,
весело
воскликнув: «Клянусь святым Пупом», в ту самую минуту, когда ему
открылись все
грозные опасности жизни, он заявил судьбе, что принимает ее вызов и
сохранит
навсегда и свое изначальное мужество и свою прирожденную веселость.

В этот день и кончилось его детство.

II. Жанна

Крепость на берегу океана

Все это я отлично видел и слышал, — рассказывал Генрих своей дорогой
матушке, когда они в первый раз получили возможность побеседовать
наедине.

Произошло это лишь в Париже, хотя Жанна присоединилась к королевскому
двору,
едва только он пустился в обратный путь.

— И знаешь, мама, что мне кажется? Альба заметил меня. Зелень в камине
была
недостаточно густая, я задевал за ветки, они шевелились.

— Он мог подумать, что это ветер. Неужели он бы тебя не вытащил оттуда?

— Другой бы так и сделал, но не этот испанец. Видел я его лицо, не
человек
он! И если бы он счел нужным, так просто сунул бы в листву свою шпагу и
спрашивать бы не стал, кто там прячется. Но для этого он слишком
надменен, да и

потом он был уверен, что ничего нельзя разобрать, когда говорят так тихо.
Нет!

— воскликнул Генрих, заметив, что Жанна хочет возразить ему. — Для меня не слишком тихо! Я твой сын, потому я и понял, что они против тебя замышляют.

Жанна взяла руками его голову и прижалась щекой к его щеке.

— Люди не прочь прихвастнуть даже постыдными деяниями.

— Люди, но не чудовища! — отозвался Генрих горячо и нетерпеливо. — А уж до чего оба смешные! — Он вдруг вырвался из рук матери и, передразнивая Альбу, сначала торжественно прошествовал по комнате, а затем проковылял, переваливаясь, как Екатерина. «У него прямо дар подражания», — отметила про себя Жанна; все же она не рассмеялась, и сын понял, что его рассказ заставил ее призадуматься.

Потом она так устроила, что им обоим удалось покинуть двор и бежать. Действовала она столь осторожно, что даже Генрих ни о чем не догадывался. Началось это с поездки в одно из ее поместий, которая завершилась вполне безобидным возвращением. И лишь второе путешествие, предпринятое Жанной вместе с сыном по нескольким провинциям, где у него были земли, кончилось бегством на юг. Был февраль, когда они приехали в По; принцу Наваррскому шел четырнадцатый год, и тут он получил первые наставления, как управлять государством и как вести войну, что, впрочем, одно и то же.

Жанна обращалась с собственными подданными, словно с врагами, ибо в отсутствие королевы они взбунтовались против истинной веры, и вот нежная Жанна превратилась на время в свирепую повелительницу. Она отправила против бунтовщиков своего сына, при нем многолюдный штаб из дворян и пушки, и приказала отомстить за одного из убитых единоверцев; солоно пришлось тогда мятежникам.

Вскоре после того ее родственник Конде задумал, ни много, ни мало, как напасть на короля Франции и его двор. Медики сочли, что сигналом к новым волнениям и на севере и на юге послужило бегство ее подружки Жанны; и, как обычно, когда обстоятельства складывались не в ее пользу, она решила поторговаться. Мадам Екатерина послала к Жанне одного сладкоречивого царедворца, — носившего, к тому же, звучное имя; но сколько тот ни ораторствовал, Жанна понимала, что ее хотят снова заманить ко двору и прибрать к рукам.

Поэтому она напрямик потребовала для своего сына наместничества над всей Гиеннью, обширной провинцией с главным городом Бордо; до сих пор Генрих носил только титул наместника. Но так как Екатерина и теперь ничего не пожелала дать ему, все стало ясно. Тогда Колиньи и Конде немедленно продолжили поход. Жанна подозревала, что враги хотят теперь силой завладеть принцем Генрихом; особенно герцога Лотарингского она считала способным на все. Он был опаснее, чем королевский дом, который уже держал власть в своих руках. Гиз же еще только воцарился к ней, а Жанна д'Альбре знала по себе, что это значит.

Поэтому она решила переехать в ту местность, где находились главные протестантские твердыни; местность называлась Сэнтонж и лежала к северу от Бордо, на побережье океана. Генрих был радостно взволнован, тогда как мать мучили сомнения. — Почему ты плачешь, мама?

— Потому что я не знаю, что хорошо и что дурно.

Вечно сатана старается помешать всякому благому начинанию, и, как бы я ни поступала, я боюсь, что действую, по его наущению.

— А Бовуа говорит, что я уже большой, могу идти на войну и сражаться.

— Да кто такой сам Бовуа? Разве сатана никогда не говорил через него?

— Сейчас он пользуется устами господина де ла Мот-Фенелона. — Это был посланец Екатерины. — А я сразу же узнаю голос лукавого! — воскликнул Генрих.

На это Жанна промолчала. Она была счастлива: Пусть хоть четырнадцатилетний мальчик знает, что хорошо и что нет. Когда она смотрела на его полудетское решительное лицо, она начинала презирать окружавших ее господ, не советовавших ей порывать с двором, — ведь сами они были либо светскими щеголями, либо просто слабыми душонками. В такие минуты она уже не опасалась нашептываний сатаны и заранее торжествовала победу. Ее сын достаточно подрос, чтобы подержать в руках оружие, а это — главное.

Она спросила только для очистки совести:

— За что же, сын мой, ты будешь сражаться?

— За что? — переспросил он, удивившись, ибо совсем позабыл о цели борьбы,

радуясь, что сможет наконец схватиться с врагом.

Жанна не настаивала, она думала: «Поймет! Коварство врагов, особенно же коварство судьбы, подскажет ему ответ. Мысль о том, что он сражается за истинную веру, будет каждый раз придавать ему силы. Да, наверное, и кровь заговорит: ведь дядя Конде – ему более близкая родня, чем любой из католических князей. А кроме того, королевство ждет умиротворения, через нашу победу», – про себя добавила Жанна, вспомнив о своих высших обязанностях. «Но главное, – вернулась она опять к прежней мысли, – это служение богу. Вся жизнь моего милого сына должна быть как бы отлита из одного куска, и эту цельность ей даст вера».

Так ошибалась королева Жанна, предсказывая будущее своему веселому драчуну. Она знать ничего не хотела о ногах принцессы Марго, хотя собственными глазами видела, насколько он занят ими, когда стояла у окна со своей подружкой Екатериной. Забыла она и о том, что в монастырской школе Генрих все-таки отрекся от своей веры и пошел к обедне. Правда, он некоторое время мужественно сопротивлялся, но что может сделать ребенок, когда все на него наседают? Что может сделать даже взрослый, если ему хочется иметь друзей и наслаждаться жизнью, а не разделять участь мучеников? Королева Жанна принадлежала к числу тех, кто, несмотря на все пережитые испытания и гнусные козни врагов, сохраняют до конца своей жизни душу, доверчивую и простую. Зато, даже старея, они еще способны любить и верить.

Генрих знал Жанну лучше, чем она знала его; поэтому он редко просил у нее денег. Он пристрастился к игре, любил попировать, добывая себе средства тем, что нежданно-негаданно посылал людям на дом долговые расписки. Расписку либо возвращали обратно, либо присылали деньги; но от матери он эти проделки тщательно скрывал. Только война может погасить его долги, – наконец решил молодой человек. Не только возвышенные и бескорыстные побуждения заставляли его желать междоусобной войны: он был в таком же положении, как и другие голодные гугеноты. Но это шло на пользу дела, которому он служил, ибо тем горячее и убежденнее он говорил и действовал.

Жанна тронулась в путь вместе с ним; по дороге к протестантской крепости Ла-Рошель они опять замешкались, встретив того же самого посланца французского короля. Он осведомился у Генриха, почему принц стремится во что бы то ни стало

— в Ла-Рошель, к своему дяде Конде.

— Чтобы не тратиться на траурную одежду, — тут же нашелся Генрих. — Нам, принцам крови, надо умереть всем сразу, тогда ни одному не придется носить траур по другому. — Этот господин, видно, считал Генриха дураком, иначе он не стал бы восстанавливать его против родной матери. Не называя ее имени, он завел разговор о поджигателях междоусобной розни.

— Довольно одного ведра воды! — воскликнул тут же Генрих. — И пожару конец!

— Как так?

— Пусть кардинал Лотарингский вылакает его до дна и лопнет! — А если господин придворный не понял, значит, он менее смьшлен, чем пятнадцатилетний мальчишка. Жанна больше всех умела ценить находчивость Генриха. Она была так поглощена сыном, что не слишком спешила и чуть не попалась в лапы к Монлюку, который опять следовал за ней по пятам. Но все же и мать и сын благополучно достигли укрепленного города на берегу океана, и какая это была огромная, светлая радость — наконец увидеть вокруг себя только лица друзей! Потому-то и блестяли их взоры, плакали они или смеялись. Колиньи, Конде и все, кто уже были в Ла-Рошели и тревожились за них, праздновали встречу такой же сердечной радостью.

А это немало — город, полный дружелюбия и безопасности, когда позади целая страна ненависти и преследования! Сразу исчезают недоверие, осторожность, забота, и на первых порах избегнувшему беды достаточно того, что он свободен, что он вольно дышит. Обо всем, что тебя мучило и терзало, можно рассказать вслух, а остальные смотрят на тебя и словно говорят твоими устами. Ты уже не одинок и знаешь, что тебя окружают только те, кого тебе не нужно презирать. Избави нас от лукавого! Проведи чрез все опасности тех, кого я люблю! И вот мы здесь!

Он стоял у самого моря. Даже во мраке ночи Генрих мог, не боясь нападений, ходить в гавань и на бастионы. Мощно катились перед ним морские валы, сшибаясь, переваливаясь друг через друга, и в их реве слышался голос дали, его не знавшей, а в морском ветре он ощущал дыхание иного мира. Его дорогая мать

уверяла, что если сердце в груди бьется уж слишком сильно, то это бог. А сын ее Генрих опьянялся мыслью о том, что не перестанут водяные громады греметь и катиться, пока не домчатся до невысоких побережий нового материка – Америки. Рассказывают, что она дика, пустынна и свободна; свободна, думал он, от зла, от ненависти, от принуждения верить либо не верить в то или а другое, смотря по тому, придется ли за это пострадать или удастся получить власть. Да, по ночам, окруженный морем, стоя на камнях, залитых пеной, юный сын Жанны становился таким же, как его дорогая мать, а то, что он называл Америкой, было скорее царствием божием. Временами звезды поблескивали между мчавшихся, почти незримых облаков; вот так и душа пятнадцатилетнего мальчика, подобная облаку, мгновениями пропускает свет. Позднее это будет ей уже не дано. Земля у него под ногами будет становиться все плотнее и вещественнее, и к ней прилепится он всеми своими чувствами и помышлениями.

Цена борьбы

Принц Наваррский торопил стариков с началом похода. Не нужно никаких совещаний, никаких речей. Представителям города на их приветствия он отвечал:

– Я так хорошо говорить не умею, а сделать сделаю кое-что получше. Да, сделаю!

Наконец-то увидеть врага, рассчитаться с ним, наконец-то вкушать наслаждение местию!

– Это же вопиющее дело, матушка: французский король прибирает к рукам все твои земля, его войска покоряют нашу страну! Я хочу сражаться! И ты еще спрашиваешь, за кого? Да за тебя!

– А письмо судебной палате в Бордо моя подружка Екатерина ловко смастерила. Оно должно лишить меня всех моих владений, я будто бы здесь в плену, а разве она сама не замыслила того же? Нет, тут убежище, а не темница, хоть и нельзя мне выезжать из города и пользоваться моими угодами. Но да будет эта жертва принесена богу! Иди и порази его врагов! За него сражайся!

Она сжала виски сына своими иссохшими руками и формой головы и чертами лица
он был очень похож на мать: те же высокие узкие брови и ласкающие глаза,
тот же
спокойный лоб, темно-русые волосы, волевой маленький рот; все в этом
худощавом
юноше, казалось, расцветает, я этот расцвет словно в обратном порядке
отражал
увядание матери. Он был здоров и строен, его плечи и грудь становились
все
шире. Однако он не обещал быть высоким. Нос был длинноват, хотя пока его
кончик
лишь чуть-чуть загибался к губе.

— Я отпускаю тебя с радостью, — заявила Жанна тем низким и звучным
голосом,
какой у нее бывал, когда она как бы поднималась над собою. И лишь после
его
отъезда она дала волю слезам и расплакалась жалобно, точно ребенок.

Немногие плакали в городе Ла-Рошель, глядя, как войско гугенотов
выступает
через городские ворота. Напротив, люди радовались, что близится час
господен,
победа его. У большинства воинов семьи остаюсь в стане врага, были
оторваны от
отцов и мужей, солдаты крепко надеялись отвоевать их у противника. Ведь
это
несказанное облегчение — идти на такую войну!

И все же поборники истинной веры были разбиты. Два тяжелых поражения
нанесло
им католическое войско, а ведь численность их была не меньше: по тридцать
тысяч
стояло с обеих сторон. К протестантам ходили подкрепления с севера
Франции и с
юга. Кроме того, они могли рассчитывать на поддержку принцев Оранского и
Нассауского и герцога Цвейбрюкенского. Ведь для истинной веры нет границ
между
странами и различий между языками: кто стоит за правду, тот мне друг и
брат. И
все-таки они дважды потерпели тяжелое поражение.

А вышло это потому, что Колиньи слишком тянул. Следовало гораздо
стремительнее пойти на соединение с иноземными союзниками и перенести
войну в
сердце Франции. Вместо того Колиньи позволил врагу напасть на него
врасплох, в
то время как протестанты еще очень мало продвинулись вперед; тогда он
призвал
на помощь Конде и пожертвовал принцем крови, лишь бы спасти свое войско.
Под
Жарнаком от пули, посланной из засады, Конде пал. В армии герцога
Анжуйского

была великая радость, труп положили на ослицу и возили повсюду: пусть солдаты
глядят на него и верят, что скоро вот так же прикончат всех протестантов.
Но
Генрих Наваррский, племянник убитого, решил, что он лучше знает, в чем
воля
господня. Теперь пришел его черед, вождем стал он.

До сих пор Генрих скакал на своем коне перед войском, только и всего; но
разве не таился в этом глубокий смысл – мчаться навстречу врагу, когда ты
невинен, чист и нетронут, а враг погряз в грехах и должен быть наказан?
Впрочем, это – его дело, тем хуже для него, а мы целый день в движении,
по
пятнадцать часов не слезаем с седла, мы великолепны, неутомимы и не
чувствуем
своего тела. Вот Генриха подхватывает ветер, он летит вперед, глаза
становятся
все светлей и зорче, он видит так далеко, как еще никогда, – ведь у него
теперь
есть враг. А тот вдруг оказался не только в ветре, не только в дали. Он
возвестил о себе: пролетело ядро. Звук у выстрела слабый, а ядро в самом
деле
лежит вот тут, на земле, тяжелое, из камня.

В начале каждого боя Генриха охватывал страх, и приходилось преодолевать
его. «Если бы мы не ведали страха, – сказал ему один пастор, – мы не
могли бы и
побеждать его во славу божию». И Генрих делал над собой усилие и
становился на
место того, кто падал первым. Так же поступал его отец, Антуан, и пуля
попала в
него. В сына пули не попадали, страх исчезал, и он мчался со своими
людьми
окружать вражескую артиллерию. Когда это удавалось, Генрих радовался,
словно то
была веселая проказа.

Теперь дядя Конде погиб – и беззаботному мальчику пришлось стать
серьезным,
возложить на себя бремя ответственности. Его мать Жанна поспешила к нему,
сама
представила войскам нового вождя – сначала кавалерии, потом пехоте. А
Генрих
покаялся своей душой, честью и жизнью всегда служить правому делу, и
войска
восторженно приветствовали его. Зато теперь ему приходилось не только
нестись
верхом навстречу ветру, но и заседать в совете. Довольно скучное дело,
если бы
не смелые шутки, которыми он развлекался. Огромное удовольствие доставило
ему
одно письмецо к герцогу Анжуйскому. Так именовался теперь второй из
здравствующих сыновей Екатерины, – раньше он был просто монсеньером; его
тоже

звали Генрих, один из трех Генрихов былых школьных лет в Париже. А теперь они шли друг на друга войной.

И вот этот самый Генрих-монсеньер обратился к Генриху Наваррскому с высокомерным и нравоучительным посланием о его долге и обязанностях перед государством. Это бы еще куда ни шло, но как ужасен был витиеватый, напыщенный слог!.. Либо секретарь, должно быть, иноземец, потея от натуги, постарался сделать его возможно цветистее, либо сам монсеньер уже не знал, что придумать повычурнее да пожеманнее: точь-в-точь его сестрица Марго! Принц Наваррский в ответном письме высмеял всю эту достойную семейку. Писавший-де выражается так, точно он из другой страны и простой разговорной речи обыкновенных людей не знает. Ну, а правда, конечно, там, где правильно говорят по-французски!

Генрих ссылался на язык и стиль. Но при этом не смог скрыть и своих погрешностей, не доходивших до его сознания: ведь и сам он родом был бог весть откуда и тоже говорил вначале несколько иначе, чем парижане. Потом он научился речи придворных и школяров, а под конец – речи солдат и простого народа, и их язык дал ему всего ближе. «Своим языком я избрал французский!» – воскликнет он позднее, когда снова отдаст себе отчет в своем происхождении. Однако сейчас ему хотелось верить, что этот язык для него был первым и единственным. Он нередко спал на сене вместе со своими солдатами, не снимая платья, как и они, умывался едва ли чаще, и пахло от него так же, и так же он ругался. Одну гласную Генрих все еще произносил иначе, чем они, но этого он не желал замечать: он забыл, как некогда на школьном дворе два других Генриха, подталкивая друг друга, презрительно улыбались тому, что он употреблял слово «ложка» в мужском роде. Он и до сих пор так говорил.

Иногда Генрих отчетливо видел военные ошибки, которые допускал Колиньи. Это бывало в те минуты, когда жажда жить и мчаться вперед на коне не захватывала его целиком. Обычно ему казалось, что важнее биться, чем выигрывать битвы, – ведь жизнь так долга и радостна. Адмирала, старика, нужно почитать, он хорошо изучил военное дело; только поражения, победы и опыт многих лет дают такое знание. Но этому воплощенному богу войны с трагической маской статуи Генрих не

поверял своих сомнений; он делился — ими лишь с двоюродным братом Конде, сыном убитого принца крови, которого Колиньи принес в жертву.

Они сходились в том, что обычно сближает молодежь: старик-де отжил свое. Теперь ему все не удастся, и — раз уж мы заговорили об этом — скажи, когда он брал верх? Впрочем, не будем грешить: однажды — все старики это помнят — он спас Францию во Фландрии, при... ну, как называется этот город? Тогда Гизы еще затеяли войну против нашего исконного врага Филиппа Испанского. Но дело было давным-давно, в незапамятные времена, кто теперь помнит все это? Господин адмирал отсоветовал начинать, поход, в последнюю минуту предотвратил поражение, самолично засев в неукрепленном городе; а кто получил награду? Не он, а Гизы, хотя они были виновниками войны. Это еще хуже, чем если бы он... а, а! — вспомнил, Сен-Кантен называется эта дыра... — чем если бы он сразу же отдал ее испанцам. Уж кому не повезет...

Что правда, то правда, в свое время он отнял у англичан Булонь. Это всем известно. Он командовал французским флотом, и когда я с камней в Ла-Рошели смотрел в ту сторону, где лежит Новый Свет, мне думалось, что господин адмирал Колиньи первый из французов попытался основать французскую колонию. Четырнадцать эмигрантов и два пастора отплыли в Бразилию, но, конечно, ничего из этой затеи не вышло. Старика постигла та же участь, что и большинство людей: он все поставил на карту и проиграл. Если уж не повезло...

Колиньи нередко побеждал, верно; но ведь то были победы над королем Франции, которого он всего-навсего старался помирить с его подданными — протестантами — и вырвать из рук Гизов. Поэтому господину адмиралу приходилось без конца подписывать дутые договоры, а потом война начиналась сызнова. Адмирал хотел доказать своей умеренностью, что он в конце концов не мятежник против короля, и все-таки однажды сделал попытку даже захватить в плен Карла Девятого, и тот ему никогда не мог простить, что вынужден был бежать. Либо ты, во имя божие, мятежник против короля, либо не наступай с войском на Париж, а уж если наступать, то не давай водить себя за нос, вместо того чтобы взять приступом столицу королевства, разграбить ее и стереть с лица земли весь королевский двор! И вот, как только двору угрожает опасность, король выпускает эдикт,

обещающий протестантам – свободу вероисповедания, а на другой же день тут же нарушается. Да если бы и соблюдался, так что были бы наши братья по вере? За двадцать миль приходится ехать или бежать гугеноту, когда он хочет присутствовать на богослужении – нам разрешено иметь слишком мало молитвенных домов! Нет, не нравится мне побеждать без толку.

Конечно, он превосходный полководец и герой благочестия. Ведь ревнители истинной веры в меньшинстве, и если нас боятся, так лишь потому, что боятся господина адмирала, и если посылают к нам посредника для переговоров, те спрашивают: «Знаете ли вы, для двора вы звук пустой, все дело в господине адмирале?» А теперь взгляни на него, что же осталось от всех его успехов, от жизни, полной самых благоусилий? Говорят, до той, давнишней победы под Сен-Кантенем, которая для него обернулась так несчастливо, а для его врагов – Гизов – так удачно, он был всемогущим фаворитом. Еще царствовал ныне покойный король, он любил Колиньи, озолотил его, мадам Екатерина еще пикнуть не смела, а ее сын Карл был еще дитя. Это времена его славы, мы их не застали. Теперь и мы здесь, что же происходит вот в эту самую минуту, когда мы с тобой беседуем? Враги в Париже распродают с молотка его мебель из Шатильонского замка, который они предали огню. Колиньи приговорен к удушению и повешению на Гревской площади как мятежник и заговорщик против короля и королевской власти. Имущество его конфисковано, дети объявлены бесправными и лишенными честного имени, и тому, кто выдаст его – живого или мертвого, – обещана награда в пятьдесят тысяч талеров. Мы, молодые, всегда должны помнить: господин адмирал пошел на все ради истинной веры и унизился ради величия господня. Иначе это было бы непростительно!

– Он убил старого герцога Гиза, – единственное, что он сделал ради самого себя, и мне, говоря по правде, это понравилось больше всего. Мстить нужно, – заявил молодой Конде. А его двоюродный брат Генрих ответил:

– Я не выношу убийц, да господин адмирал и не убийца. Он только не остановил убийцу.

– А что говорит его совесть?

– Что тут есть разница. Совершить убийство мерзко, – возразил Генрих. –

Подсылать убийц – недопустимо. Не удерживать их, пожалуй, можно, хотя не хотел бы я оказаться перед такой необходимостью. А все-таки следовало бы заставить кардинала Лотарингского вылакать полную бочку воды. Только он и его дом виноваты во всех несчастьях, постигших Францию. Они предают королевство в руки Филиппа Испанского в надежде, что он посадит их на престол. Они одни вызывают к нам, протестантам, ненависть короля и народа. И они хотели убить Колиньи, они первые начали, он только опередил их. Может быть, ему не надо было это отрицать. Я лично верю, что господь оправдает его.

Конде заспорил, он думал не только об убийстве герцога Гиза, но и о своем отце, принесенном в жертву адмиралом и павшем под Жарнаком.

– Господин Колиньи не любил моего отца за то, что у него было слишком много любовниц, иначе он бы не погубил его. Но господин адмирал умеет договариваться со своей совестью, а ты, видно, учишься у него! – заявил юноша вызывающим тоном.

– Смерть твоего отца была необходима для победы истинной веры, – мягко пояснил Генрих.

– И для твоей тоже! С тех пор ты стал у нас первым среди принцев!

– Я был им и до того по праву рождения, – быстро и с внезапной резкостью отозвался Генрих. – Увы, это бесполезно, если нет денег и есть могущественные враги и к тому же сражаешься как беглец, которого стараются поймать. А что мы делаем, чтобы все это изменилось? Разве мы наступаем? Я – да! Двадцать пятого июня, – этого дня я никогда не забуду, – это был мой день и моя первая победа! Но разве я могу похвалиться перед стариком моей первой победой?

– Да и схватка-то была пустычная. Адмирал ответил бы тебе, что хоть ты и порезвился под Ла-Рошелю, а все же нам пришлось засесть в укреплениях и ждать немцев. А когда рейтары наконец явились, помнишь, что было? – Голос Конде звучал громко и гневно. – Тогда мы поспешили отправить как можно больше войск королеве Наваррской, чтобы они очистили ее страну от врагов. И теперь за это расплачиваемся.

– Ничем ты не расплачиваешься, – сказал Генрих. – У тебя что ни день, то новая девчонка.

– И у тебя тоже.

Оба подростка выпустили из рук поводья, остановились и в упор посмотрели друг на друга. Конде даже погрозил кулаком. Но Генрих не обратил на это внимания; напротив, вдруг обвил руками шею двоюродного брата и поцеловал его.

При этом он подумал: «Немножко завистлив, немножко слаб, но по крайности все же не друг, а если нет, так должен стать другом!»

Обнял кузена и Конде. Когда они опустили руки, глаза у него были сухи, а у Генриха влажны.

Все же посылать войска в Беарн стоило, ведь они там побеждали. Господам в Париже придется над этим призадуматься, решил сын Жанны, мадам Екатерине тоже, пожалуй, станет душновато под ее шубой из старого жира. Мы стоим с большей частью нашей армии в Пуату, на полпути к столице королевства, и мы его завоюем любой ценой! Вперед!

Оба потребовали свидания с адмиралом, и Колиньи принял их, хоть и трудно было ему придать своим чертам выражение решимости и непоколебимого упования на бога: уж слишком много ударов обрушил на него господь за последнее время! Однако старый протестант выказал себя твердым в несчастье, он знал, что ему предстоят суровые испытания. Ведь никому нет дела до того, какая тоска овладевает им в иные часы ночи, когда он остается один и даже к всевышнему уже не находит пути. Все же он выслушал взволнованных подростков с полным самообладанием.

Двоюродный брат был необузданнее Генриха. Безо всяких учтивостей он потребовал, чтобы Колиньи шел на Париж. Бросил ему упрек в робости за то, что старик не предпринимает решительных шагов, — осадил Пуатье, и ни с места, никак взять его не может. Враг же этим пользуется и собирает свои силы.

Адмирал задумчиво смотрел на обоих, на того, кто кипел, и на того, кто молча ждал. Умудренный опытом, старец отлично понимал, чью именно волю и мысль выражает этот юноша, потому и ответ свой обратил не к Конде, а к Наварре. Колиньи объяснил: позиции врага на пути к Парижу слишком сильны, и не остается ничего иного, как искать соединения с войсками, отосланными на юг; кроме того — тут он многозначительно поднял палец, — ему ведь надо позаботиться и об иноземцах: они должны получить свое жалованье. Иначе они сбегут. Сам он уже пожертвовал фамильными драгоценностями, не допустив, чтобы наемники самочинно

добывали себе вознаграждение. Но об этом он умолчал; христианину не подобает кичиться своими жертвами, и человеку гордому также. Колиньи предоставил молодому принцу Генриху, разглагольствовать и предъявлять ему незаслуженные обвинения.

— Вы позволяете им грабить страну. Я, правда, молод, господин адмирал, и воюю не так давно, как вы. Но я никогда не думал, что чужеземцы, вместо того чтобы сражаться бок о бок с нами, будут жечь наши деревни и пытаться наших крестьян, вымогая у них последние крохи. Деревенские жители убивают мародеров из вашего войска, ибо это хищные звери, мы же расправляемся все ужаснее с людьми, которые говорят на нашем языке.

— Они не признают нашей веры, — отозвался протестант, трагически насупившись. Генрих стиснул зубы, иначе у него вырвались бы слова — он с ужасом слышал, как они уже звучат у него в душе, — слова возмущения против религии.

— Не может быть, чтобы все это свершалось по воле божией! — воскликнул он.

Колиньи решительно отрезал:

— В чем воля божия, — это вы узнаете, мой принц, в конце похода. Но господь бог, видно, хочет еще сохранить меня для угодных ему деяний: стража опять поймала убийцу, подосланного ко мне Гизами.

Про себя он решил держать этого молодого критика как можно дальше. Перед битвой под Монконтуром, которую адмиралу опять было суждено проиграть, он отправил обоих принцев, ради их безопасности, в тыл, хотя один бушевал, а другой горько плакал. Потом снова появилась Жанна д'Альбре, и они стали держать совет. После нового поражения протестантское войско лишилось еще трех тысяч солдат, и не оставалось ничего другого, как отвести его на юг, не ожидая, чтобы его меньшая часть присоединилась к нему на севере.

Жанна, как обычно, привезла с собой своих пасторов. Она втайне совещалась с Колиньи, и после этих совещаний павший духом старик еще раз стал победителем. Ибо та внутренняя победа, которую мы одерживаем в своей душе, — это главное, военная победа идет за ней по пятам: так верила Жанна. После совещаний ее пасторы запевали псалмы, а войско и его полководец чувствовали себя опять благочестивыми и сильными.

И вот войско двинулось форсированным маршем, и обе его разобщенные части

действительно соединились. Протестанты прошли через всю страну вплоть до графства Невер. И отсюда они стали угрожать Парижу. Двор сейчас же зашевелился.

Колиньи еще продвигался вперед, а госпожа Екатерина и Жанна уже торговались.

Войско еще наступало, а мир был уже подписан, и лишь тогда оно остановилось.

Этим договором протестантам была дана свобода вероисповедания.

Генрих радовался вместе с матерью: он видел, что она счастлива. И даже сам

чувствовал себя счастливым, пока ни о чем не задумывался. Однако во время наступления он заболел, ему пришлось застрять в каком-то городе, и тут, на

досуге, он припомнил все ужасы этой войны и навсегда запечатлел их в своей

памяти. А может быть, он и заболел от злодейств, совершенных протестантским

войском, как некогда свалился как будто в оспе лишь потому, что его принуждали

сделаться католиком.

Генрих не скрыл от адмирала мучивших его сомнений. Он сказал:

— Господин адмирал, вы и вправду верите, будто свободу совести можно предписать всякими соглашениями и постановлениями? Вы великий полководец, вы

ушли от врага и угрожали королю Франции в его столице. А народ в тех провинциях, куда мы принесли бедствия войны, все равно будет твердить о мятежниках, которых называют гугенотами, и не даст нам спокойно молиться там,

где мы только что грабили и убивали.

Но победитель Колиньи отвечал:

— Принц, вы еще очень молоды, кроме того, вы лежали больной, когда мы пробивались вперед. Люди скоро все забывают, и только господь будет помнить, на

что нам пришлось пойти ради его святого дела.

Генрих не поверил; но если это правда, думал он, то тем хуже, что самому господу богу, а не только ему, Генриху, пришлось увидеть, как несчастных людей

подвешивают, чтобы они показали, где у них спрятаны деньги, а под ногами разводят огонь! Боясь сказать лишнее, он отвесил победителю поклон и вышел.

Семейная сцена

За этим последовало недолгое время, когда Жанне и Генриху могло показаться,

что они живут на мирной земле, без ненависти, без коварства. Жанна управляла своей маленькой страной, он – обширной провинцией Гиеннь. Ей уже не надо было карать, ибо ее подданные снова сделались добрыми протестантами. Генрих же от чистого сердца представлял короля Франции. В самом деле, почему он должен быть исконным врагом королевского дома? Нет, столь глубоких корней поучения матери в нем не пустили. Молодому человеку иногда следует и позабыть о честолюбии. Поэтому, когда Генриху исполнилось восемнадцать лет, он в течение нескольких быстро пролетевших месяцев твердил: «Довольно я сделал для жизни! Женщины так прекрасны, и искать их благосклонности – дело более увлекательное, чем война, религия или борьба за престол!»

Он разумел молодых женщин и те мгновения, когда они словно уж и не человеческие существа, а скорее богини – до того прекрасно их торжествующее тело. Каждый раз, когда он познавал их и убеждался, что они из плоти и крови, они все же продолжали казаться ему созданиями другого мира, ибо воображение и желание тотчас снова их преображало. К тому же это были все новые женщины, так что он не успевал в них разочаровываться. Генрих слишком часто их менял. Поэтому он еще не догадывался, что в их восхитительных телах вместо владевших им возвышенных чувств чаще всего живут лишь расчет да ревность. И если одна начинала ненавидеть его, то он был способен полсуток мчаться верхом без отдыха, чтобы за свою пылкость добиться награды от другой. И та ждала его – ее взор сиял, лицо ее было ликом вечной любви. Он падал к ногам какой-нибудь новой возлюбленной и целовал край ее одежды, наконец достигнув блаженной цели после долгой, бешеной скачки. Слезы туманили ему глаза, и сквозь их пелену женщина казалась ему вдвое прекраснее.

Однако в то время, как Генрих жил для молодых женщин, несколько более зрелых дам без его ведома занимались его судьбой. И первая – мадам Екатерина. Однажды утром, в Лувре, она удостоилась высочайшего посещения своего сына Карла Девятого. Карл был еще в ночной сорочке – так спешил к матери этот рыхлый молодой человек. Не успев прикрыть за собою дверь, он воскликнул:

– Я же говорил тебе, мама!

– Твоя сестра впустила его?

– Да. Марго спит с этим Гизом, – сердито подтвердил Карл.

– А что я тебе говорила? Потаскуха, – выразилась мадам Екатерина с той точностью, какой требовали обстоятельства.

– И вот вам благодарность за то, что ей дали хорошее образование! – гремел

Карл. – Знает латынь: уж такая ученая, что даже за обедом читает! Танцует паванну, хочет, чтобы ее воспевали поэты, – перечислял он, горячася все больше,

– завела позолоченную карету, на головах лошадей – плюмажи шириной с мою задницу. Но я знаю, что она проделывает: я подсмотрел! С одиннадцати лет эта дрянь такими делами занимается.

– Ты же и сводил ее, – уточнила Екатерина. Но Карл не дал прервать себя. Он

знал всех любовников своей сестры и, бранясь, перечислил их. Потом вдруг обмяк,

умаялся от своей ярости, – при его комплекции подобные волнения были очень

вредны. Лицо Карла побурело, задыхаясь, он с размаху повалился на кровать матери, так что взлетел пух от подушек; потом пробурчал:

– А мне-то какое дело? Горбатого могила исправит, так и будет путаться либо

с Гизом, либо еще с кем-нибудь. Плевал я на нее.

А его мать смотрела на него и думала: «Всего несколько лет тому назад у него

был такой благородный вид – прямо портрет на стене. А сейчас – еще немного, и

будет просто мясник, а не король. Как это я так маху дала! Да ведь не я, а все

эти паршивые Валуа. Кровь рыцарей-варваров сказывается вновь и вновь, и вот

опять видишь этакого, из той же породы», – рассуждала дочь Медичи – потому, что

ее малоизвестные предки жили в удобных комнатах, а не в конюшнях и военных

лагерях.

Она сказала своим однообразным, тусклым голосом: – Коли твоя сестра так ведет себя, мне скоро придется, пожалуй, взять Генриха Гиза в зятя. И кто

тогда, мой бедный мальчик, возьмет верх – ты или он?

– Я! – прорычал Карл. – Я король!

– Божией милостью? – спросила она. – Одно пора бы уже зарубить себе на носу:

каждый король должен сам помогать этой божией милости, или ему не удержать престол. Сейчас ты король, мой сын, потому, что я, твоя мать, еще жива!

Все это она сказала особым тоном, который был знаком Карлу с детства: слыша его, сын невольно вставал. Он и сейчас поднялся с кровати, где сидел в одной сорочке, из-под которой выпирали жирная грудь и живот; он стоял перед маленькой толстой старухой, готовый выслушать ее волю.

— А я не хочу, — отрезала она, — чтобы Марго вышла за Гиза, для меня его род слишком силен. Моя воля в том, чтобы она получила в мужа заурядного молодого человека, который будет нам служить.

— И кто же это?

— Он должен быть из хорошей семьи, но невлиятельной и в Париже неизвестной. Главное — я хочу иметь его под рукой. Тот, кто достигаем, уже не опасен.

Своих врагов нужно держать при себе, в доме.

— Но ты имеешь в виду не...

— Я как раз договариваюсь с его матерью, главное — пусть присылает его сюда, чтобы он прежде всего был в моей власти.

— Он же еретик! Моя сестра и еретик — о таком союзе никогда не помышляли всерьез!

— А если бы твой брат д'Анжу женился на английской королеве? Елизавета ведь тоже еретичка, и притом великая государыня, собственной милостью.

— Она убивает своих католиков, — сказал Карл скорей со страхом, чем с возмущением. Его мамаша слишком хитроумна. Даже религия не может обуздать в ней дух предприимчивости. Она изрекает самые чудовищные вещи, сохраняя при том полную непринужденность.

— Пусть английские католики сами о себе заботятся, да и французские тоже, — ответила она.

Карл опустил глаза и что-то буркнул, на большее он не дерзал. — Ведь существует еще испанский король, — проворчал он наконец.

— Моя дочь, королева Испании, умерла, — заявила Екатерина без всякой скорби.

— Отныне мне приходится опасаться со стороны донна Филиппа, как бы он не воспользовался моими затруднениями. Поэтому мои протестанты мне нужны. — И про себя добавила: «А когда у меня больше не будет в них нужды, я поступлю с ними в точности, как поступает королева английская со своими католиками».

Но зачем ей было открывать все это своему бездарному сыну? И она перешла к тому, для чего он ей был нужен.

— Твою сестрицу пора наконец образумить.

— Верно! Эта история с Гизом..

— Который сядет на твое место, — быстро подсказала она.

Карл зарычал:

— Подать мне сюда сестру! Я покажу ей, как отнимать у меня престол!

И он уже бросился было вон из комнаты, но мать успела схватить его за рубашку.

— Не смей! Гиз может быть у нее, а он вооружен.

Карл сразу же остыл.

— И потом, если они тебя увидят, она ни за что сюда не придет. Я желаю, чтобы это дело обсуждалось келейно, здесь, у меня, и больше нигде.

Она хлопнула в ладоши и сказала тут же вошедшей фрейлине:

— Попроси принцессу, мою дочь, явиться ко мне, я должна сообщить ей важную новость. Заверь ее, что новость приятная.

Затем они стали ждать — Екатерина сидела неподвижно, сложив руки на животе, а ее тучный сын нетерпеливо бегал по комнате; его ночная сорочка развевалась, он уже заранее сердито сопел и рычал.

Наконец двери широко распахнулись; вошедшая вызвала бы своим видом восхищение у каждого, но только не у этих двух. Невзирая на ранний час, Маргарита Валуа была одета в платье из белого шелка, все осыпанное блестками.

На ней были красные туфли и рыжий парик, а лицо свидетельствовало об умении принцессы придавать ему с помощью притираний тот самый оттенок, который бывает у рыжеватых блондинок.

Она вошла, как того требовал избранный ею тип красоты, — величавой и вместе легкой поступью. Вот так она вошла бы в пиршественный зал. Но достаточно ей было взглянуть на мать и на брата, как она поняла, что ее сейчас ожидает. Жеманное личико застыло, гордая улыбка сменилась выражением ужаса, Маргарита невольно отступила. Однако поздно: Екатерина уже сделала знак, и двери снаружи захлопнули.

— Чего вы от меня хотите? — спросила Марго жалобным голоском, который тут же сорвался. Карл Девятый посмотрел на свою мать, и так как она сделала вид, будто не замечает его взгляда, понял, что ему разрешается все. Взревев, кинулся он на сестру. Сорвал с нее рыжий парик, и ее собственные, черные волосы, растрепавшись, упали ей на лоб; теперь она уже не смогла бы придать себе величественный вид, даже если бы хотела. Царственный брат хлестал ее по щекам, справа, слева, — пощечины так и сыпались на нее, сколько она ни старалась уклониться.

— С Гизом спишь! — ревел он. — Престол у меня отнимаешь! — хрипел он.

Румяна остались на его пальцах, вместо них на щеках Марго проступили багровые полосы. Так как она извивалась и откидывалась назад, кулаки брата обрушивались на ее полные плечи.

— У-у, толстозадая!

Тут он судорожно захохотал и сорвал с нее платье. Едва он коснулся ее тела, как ему неистово захотелось измолотить ее всю. Наконец у девушки вырвался вопль — вначале она просто онемела от ужаса; пытаясь спастись, она бросилась в объятия матери.

— Ага, попалась, — вымолвила мадам Екатерина и крепко схватила принцессу, а Карл Девятый снова начал ее бить.

— Перекинь-ка ее через колено! — посоветовала мадам Екатерина, и он сделал это, несмотря на отчаянное сопротивление своей жертвы. Одной рукой он, словно клещами, продолжал сжимать стан сестры, а другой бил ее по обнаженным пышным ягодицам. Однако мадам Екатерина, видимо, сочла, что этого мало, и решила подсобить ему по мере возможности, но, увы, в ее мясистых ручках было слишком

мало сил. Тогда она наклонилась над безупречно округлым задом дочери и укусила его.

Маргарита взвыла, точно зверь. Карл, в изнеможении, наконец, выпустил сестру, просто уронил на пол и стоял, тупо уставившись на нее, словно, пьяный.

У мадам Екатерины тоже перехватило дыхание, и в ее тусклых черных глазках что-то посверкивало. Но она уже снова сложила руки на животе и сказала с обычным хладнокровием:

— Вставай, дитя мое. На кого ты похожа!

Она кивнула Карлу, чтобы тот протянул руку сестре и помог ей встать. Потом сама начала оправлять одежду дочери. Как только принцесса Марго поняла, что опасность миновала, она тотчас снова приняла надменный и властный вид.

— Все разорвал! Болван! Позови мою камеристку!

— Нет, — решила мать. — Лучше, если это останется между нами.

Она сама зашила порванное белое шелковое платье, расправила его и собственноручно наложила на щеки дочери румяна, стертые слезами и пощечинами.

По приказу матери Карл отыскал сорванный им с головы Марго парик — он оказался под кроватью, — стряхнул с него пыль и надел ей на голову. Теперь это была опять та же гордая и пленительная молодая дама, которая перед тем вошла в комнату.

— Иди, читай свои латинские книги, — пробурчал Карл Девятый. А Екатерина Медичи добавила:

— Но не забывай нравоучения, которое ты сейчас от меня получила.

Англия

Еще одна могущественная женщина интересовалась судьбою Генриха, в то время как сам он был занят больше всего удовольствиями. Елизавета Английская принимала в своем лондонском замке своего посла в Париже.

— Ты на один день опоздал, Волсингтон.

— На море была буря. Вашему величеству доставили бы, наверно, только мертвого посла. И боюсь, он не смог бы сообщить вам все, что имеет сообщить.

— Для тебя, Волсингтон, это было бы лучше. Смерть в море не так мучительна, как на эшафоте. А ты ближе к топору и плахе, чем полагаешь.

— Умереть за столь великую государыню — самое прекрасное, чего может пожелать человек, особенно если он выполнил свой долг!

— Свой долг? Ах, вот как, свой долг! Так что же, по-твоему, самое прекрасное, свинья? — Она ударила его по щеке.

Он видел, что она хочет его ударить, но сам подставил щеку, хотя знал, насколько тяжела эта узкая рука. Королева была женщина рослая, белокожая, неопределенных лет, держалась она очень прямо, словно на ней был панцирь, и рыжие волосы — такой парик Марго Валуа надевала только к некоторым платьям — были у нее свои.

— Французский двор что ни день все больше сближается с королем Испанским, а ты мне — ни слова! Мне грозит величайшая опасность потерять мою страну и мой престол, а ты только поглядываешь!

— Очень сожалею, но я должен признаться в еще более тяжелой провинности. Я сам распустил эти слухи, но только они ложные.

— Ты распространяешь мне во вред ложные слухи?

— Я подстроил нападение на испанское посольство, там нашли письма, они служат явным доказательством испанских козней. Но все это неправда, Все это было сделано ради блага вашего величества.

— Ты, Волсингтон, тайный католик. Стража! Возьмите его! Ты давно у меня на примете. С удовольствием погляжу, как тебе отрубят голову.

— А владельцу этой головы очень хотелось бы рассказать вам еще одну занятную каверзу, — заявил посланник, уже стоя между двумя вооруженными людьми. — Дело в том, что я только что обещал вашу руку некоему принцу, которого вы совершенно не знаете.

— Вероятно, этому д'Анжу, сыну Екатерины? — Она сделала знак страже, чтобы они отпустили посла. Раз тут замешаны брачные планы, она должна их сначала узнать.

— Боюсь, что д'Анжу был бы ошибкой. Мне ведь известно, вы не слишком высокого мнения об этих Валуа, и не без основания. Нет, это один протестантик с юга. Валуа намерены взять его в зятя, это неглупо. Он мог бы выбить их из Франции.

— Но тогда они вторгнутся во Фландрию. Брак принцессы Валуа с принцем-протестантом — я, конечно, знаю, с кем — означает войну между Францией и Испанией и вторжение во Фландрию. Объединенной Франции я не желаю. Пусть междоусобная война там продолжается. И я в тысячу раз охотнее увижу во Фландрии испанцев, — они гораздо скорее будут обессилены своим папизмом, чем Франция, если она объединится под властью протестанта.

Чтобы лучше слышать самое себя, длинноногая Елизавета принялась крупным шагом ходить по зале. Она нетерпеливо махнула страже рукой, чтобы те удалились, а Волсингтон отступил в дальний угол комнаты, освобождая место своей повелительнице. Но вдруг она остановилась перед ним.

— Так я должна, по-твоему, выйти за молодого Наварру. А собой он каков?

— Недурен. Но дело же не только в этом. Впрочем, ростом он ниже вас.

— Я ничего не имею против маленьких мужчин.

— Как мужчины они даже выносливее.

— Ах, что ты говоришь, Волсингтон! Ведь я на этот счет совсем неопытна! Ну, а с лица?

— У него лицо смуглое, как маслины, и овал безукоризненный.

— О!

— Только вот нос слишком длинный.

— Ну, в жизни это даже преимущество.

— Да, длина. Но не форма. Кончик загнут. И, боюсь, со временем он загнется еще больше.

— Жаль! Впрочем, все равно. Я же не собираюсь брать себе в мужа какого-то желторотого птенца. А как он? Очень юн, да? — настойчиво допытывалась эта женщина неопределенных лет. — Ты, что же, подал ему на мой счет какие-нибудь надежды? Он был, конечно, в восторге?

— Он восторгался вашей красотой. Портрет великой государыни он покрыл поцелуями и оросил слезами, — усердно врал посол.

— Я думаю! А от союза с Валуа ты его отговорил?

— Я же знаю, что вы этого союза не одобрили бы.

— Пожалуй, ты не так уж глуп! Если только не предатель.

Ее тон был резок, но милостив. Посол понял, что казнь ему больше не угрожает,
и низко склонился перед Елизаветой.

— Господин посол, — снова заговорила королева, наконец опускаясь в кресло, —
я от вас еще жду, чтобы вы сообщили мне о переговорах между обеими королевами.
Только смотрите мне в глаза! Я разумею Жанну и Екатерину. Ведь ясно, что ни без
той, ни без другой судьба Франции не может быть решена.

— Я не только восхищаюсь вашей проницательностью, она меня просто пугает.

— Я понимаю, почему. Вам, вероятно, никогда не приходило на ум, что к моим
послам, которые являются моими шпионами, тоже приставлены шпионы и они следят
за вами.

Тут Волсингтон выказал величайшее изумление, хотя отлично все это знал.

— Сознаюсь, — смиренно промолвил он, — что я заговорил сначала о маленьком
принце Наваррском, а не о его матери потому, что моя государыня — прекрасная
молодая королева. Будь моим государем старый король, я бы вел с ним беседу лишь
о матери принца. Ибо опасна только королева Жанна.

Он увидел по ней, что уже наполовину выиграл: поэтому в его голосе продолжали звучать сугубая преданность и проникновенность.

— Мне придется поведать вашему величеству одну весьма печальную историю, которая показывает, до чего люди коварны и лживы. Вот как бедную королеву Жанну
провел один англичанин! — Казалось, посол сам потрясен до глубины души, он
предостерегающе поднял руку.

— Нет, не я. Мы должны всегда вести себя достойно. Это был всего лишь один

из моих уполномоченных, и замысел был его. Я предоставил ему свободу действий, и вот он отправился в Ла-Рошель, где можно было наверняка застать всех друзей королевы Жанны, в том числе и графа Людвига Нассауского. Мой агент подговорил этого немца улечься в постель и разыграть тяжелобольного, так что Жанна в конце концов посетила страдальца...

Посол продолжал свой рассказ, развертывавшийся в духе шекспировских комедий; но тем бесстрастнее была его серьезность и тем больше наслаждалась королева. Уже немало посмеявшись, она заявила:

— Если этот Нассау — такой болван, то нечего строить из себя хитреца. Отговаривает Жанну от брака ее сына с француженкой, когда это единственное, что могло бы помочь и немецким протестантам и французским! Значит, она так всему поверила? И что я возьму в мужья ее сына? И что ее дочь сделается королевой Шотландской?

— Люди обычно склонны принимать слишком ослепительные перспективы за правду именно потому, что они ослепляют, — торопливо подсказал посол. Елизавета же, явно довольная, продолжала:

— Вот, значит, как обстояло дело, когда вы меня сватали за маленького Наварру? Почему же вы сразу всего этого не выложили? Неужели я должна сначала отрубить вам голову, Волсингтон, чтобы услышать от вас что-нибудь приятное?

— Тогда это бы вас меньше позабавило, чем сейчас, я же только и забочусь о том, как бы услужить моей великой государыне, даже рискуя собственной головой.

— Этой вашей остроумной проделки я не забуду.

— Она родилась целиком в голове моего агента, некоего Биля.

— Так я вам и поверила. Вы хотите скромностью увеличить ваши заслуги. А все-таки не забудьте пожаловать вашему Билю соответствующее вознаграждение. Но не слишком большое! — тотчас добавила Елизавета: она была скуповата.

Козни, западни и чистое сердце

Третьей зрелой дамой, озабоченной судьбой Генриха, была Жанна, его мать, но из всех трех лишь она одна трудилась ради него самого. Поэтому она не доверяла искренности двух других королей и полагалась только на себя. Жанна действительно навестила графа Нассауского на одре болезни, ибо ей все уши прожужжали о том, как ужасно стонет ее близкий друг. Правда, он лежал на подушках весь багровый и разгоряченный, но скорее от вина, нежели от лихорадки, так, по крайней мере, показалось Жанне. Все же она заставила его сначала выложить все те приятные новости, какие сообщил для передачи ей англичанин Биль, его собутыльник: о нападении на испанское посольство, о найденных там бесспорных доказательствах того, что французский двор ведет двойную игру. Жанне-де предлагают в невестки принцессу Валуа, а в то же время опять стакнулись с Филиппом Испанским. Как же может Екатерина при этом выполнить условие, поставленное Жанной, и вместе с протестантским войском освободить Фландрию от испанцев?

Жанна размышляла: «От кого бы ему все это знать, как не от англичан, которые и подстроили нападение на посольство?» Во время беседы Жанна пощупала у толстого Людвигу лоб и за ушами и нашла, что он здоров как бык. Поэтому она велела своему хирургу войти и дать больному кое-какие целебные средства, которые ему, хочешь не хочешь, а пришлось проглотить. Через короткое время бедняга ужасно вспотел: лекарство подействовало и на желудок, ввиду чего Жанне пришлось ненадолго выйти из комнаты. Когда же она возвратилась, ее жертва оказалась куда податливее и без обиняков призналась, что все сведения идут от господина Билия, а он бесспорный агент Волсингтона.

— Но он мой друг, — заявил доверчивый Нассау, — и вы можете верить решительно всему, что он сказал. Мне он лгать не станет.

— Милый кузен, свет и люди очень испорчены — я не говорю о вас, — снисходительно добавила Жанна. В ответ немец-протестант, выказывая истинную и горячую заботливость, стал заклинять ее — пусть ни за что не соглашается на брак сына с француженкой. Ведь тогда ее сын опять попадет в лапы католиков, протестанты лишатся своего предводителя, сам же принц решительно ничего не выиграет, только изменит истинной вере. Да и потом — чем он будет в качестве супруга принцессы Валуа? Ведь не королем же Франции! — А вот еще в одной стране, — и здесь Нассау сделал многозначительную паузу, — он может быть

королем. И великим королем! Его сестра, ваша дочь Екатерина, мадам, тоже делается королевой. Все это настолько послужит делу истинной веры, что уж по одному этому должно осуществиться, — добавил добряк, — и я твердо верю, что господь бог повелел мне открыть все это вам.

Жанна видела, что о своем Биле он уже забыл.

Людвиг говорил горячо, потом вдруг, охваченный слабостью, упал на подушки, и Жанна оставила его, поручив заботам своего врача. Ей было жаль, что пришлось столь сурово, обойтись с этим честнейшим человеком, но иначе из него правды не выудишь. Ибо, к сожалению, оружием лжи служат не только люди, лишенные чести.

С последним вздохом, который слетел с его губ перед обмороком, Людвиг Нассауский успел назвать ей имена тех, кто предлагает брак и престол ее детям: Елизавета Английская и король Шотландский. Другая мать решила бы, что это, пожалуй, слишком большая удача, но не Жанна д'Альбре: она нашла ее совершенно естественной, если вспомнить высокое происхождение королевы Наваррской, успехи протестантских войск и святое достоинство истинной веры. Ей и в голову не пришло, что Елизавета, желая воспрепятствовать союзу Жанны с французским двором, может с помощью ни к чему не обязывающих намеков сделать обманное предложение. Королева Жанна была слишком горда и не допускала мысли, что кто-то способен воспользоваться ею как средством и помешать Франции объединиться и окрепнуть.

На другой день она сказала Колиньи: — Всю ночь я старалась выпытать у господя бога, в чем же его истинная воля; следует ли моему сыну стать королем в Англии или же во Франции? А как полагаете вы, господин адмирал?

— Полагаю, что мы этого знать не можем, — ответил он. — Бесспорно одно: самые ревностные гугеноты, ваши надежнейшие приверженцы, будут очень недовольны, если принц, ваш сын, вступит в союз с заклятыми врагами истинной веры. Ну, а будет ли господь бог против этого, я не могу утверждать, — осторожно закончил адмирал.

— А он и не против, — решительно заявила Жанна. — Он открыл мне, что к этому делу я должна подойти чисто по-мирски, имея в виду единственно лишь честь и благо моего дома — а их он почитает и своими! Вот что господь мне открыл.

Колиньи сделал вид, будто она убедила его. На самом деле он, конечно, и сам не доверял англичанам и их планам, ибо судил как солдат. Ведь английская протестантка должна была бы помочь ему освободить Фландрию от испанцев, но именно этого она делать не желала. А католический двор Франции охотно обещал ему поддержку. Поэтому адмирал был за брак принца Наваррского с Маргаритой Валуа и если приводил возражения, то лишь такие, которые бы еще больше укрепили Жанну в ее решении. Жанна твердила о том, что англичане – исконные враги их страны. Колиньи же возражал, что сейчас этой вражды нет – как будто недостаточно и того, что, женившись на английской королеве, принц терял решительно все – свою национальность, свои шансы на французский престол.

Жанна ссылалась на то, что Елизавета слишком стара, ей уже не родить сына, а ее супруг не может надеяться на личное участие в государственных делах. Колиньи заметил, что ведь существует еще сестра принца, принцесса Екатерина, у нее-то уж наверняка будут дети от короля Шотландского. А он является законным наследником английского престола, если Елизавета умрет, не оставив потомства. Однако его дальнейших возражений мать Генриха не стала бы и слушать: адмирал видел это по вспыхнувшему в ней гневу. Как? Обойти ее Генриха? Принести его в жертву? Чтобы ее жизнерадостный мальчик влачил бессмысленное существование, словно унылый узник, прикованный к какой-то английской старухе? Только сейчас она поняла, насколько ужасными могут быть последствия, если она из этих двух решений изберет неправильное.

Тут нежная Жанна порывисто вскочила с места, она забегала по комнате, как забегала и Елизавета Английская, когда в беседе с послом были столь живо затронуты ее интересы. Конечно, Жанна – другое дело: она вышла из себя, лишь когда стал решаться вопрос о счастье сына. И она повелела своим вторым, необычным голосом, подобным звукам большого колокола: – Больше ни слова, Колиньи! Позовите сюда моего сына!

Дойдя до двери, он передал ее приказ. Пока они ждали, старик преклонил колени перед королевой и сознался: – Я приводил все эти доводы лишь затем, чтобы вы их отвергли.

– Встаньте, – сказала Жанна. – Вы, конечно, надеялись, что королева Екатерина поручит вам верховное командование во Фландрии? Впрочем, не мне

упрекать вас в корысти! Если бы мой сын уехал в Англию, а дочь в Шотландию, я бы оказалась просто-напросто одинокой женщиной, которая не в силах нести на себе бремя государственных забот, и я не могла бы ждать от французских дворян ни уважения, ни послушания. Если это было моим сокровеннейшим побуждением, пусть меня судит бог.

— Аминь, — сказал Колиньи, и оба, склонив головы, пребывали в неподвижности, пока в комнате не появился Генрих. Он вошел быстрым шагом, слегка запыхавшись, его глаза блестели, должно быть, он бежал за какой-нибудь девчонкой. Во всяком случае, юноша не чувствовал, подобно этим двум пожилым людям, необходимости тут же ответить перед богом за дела и помыслы миновавшего часа. Но он сразу проникся их серьезностью.

Королева Жанна села, предложила также сесть принцу и адмиралу; она все еще не решила, с чего начать. Колиньи сделал ей знак, почтительный и вразумляющий. Адмирал хотел этим сказать, что лучше начать ему. И так как она кивнула, он действительно заговорил первый.

Совет трех

— Принц, — начал Колиньи, — на этом совете речь пойдет о будущем нашей религии или о будущем королевства, а это одно и то же. Здесь, и теперь же, должно быть принято великое решение, и принять его должны вы. Воля божия будет выражена вашими устами. Прислушайтесь же к тому, что внушает вам господь. Я со своей стороны готов перед этим склониться.

Жанна хотела что-то сказать. Старик почтительно, но твердо остановил ее: он еще не кончил.

— Два могущественных двора помогают вас, принц Наваррский, и знаете ли вы, сколь неизмеримо многое в судьбах века грядущего зависит от того, который из них вы выберете?

Последовавшая за этими словами пауза была сделана адмиралом не в расчете на какое-либо замечание со стороны собеседников, напротив, он хотел, чтобы у обоих дух захватило. И в самом деле, Жанна была потрясена до глубины души. Генрих отлично заметил, как под влиянием тревоги изменилось ее лицо; поэтому глаза его тотчас наполнились слезами. Рывание родилось где-то в недрах его тела, быстро, как мысль, подступило к горлу, он сдержал его, и только глаза блеснули влагой.

Несмотря, однако, на затуманенный слезами взор и выражение глубочайшей растроганности, Генрих подумал про себя: «А, старый болтун! Неужели он не мог сказать все это проще? Я ведь давно знаю, что мне придется жениться либо на моей толстушке Марго, либо на старой англичанке. Нассау мне на этот счет уже все уши прожужжал. А что я буду делать в Англии? Марго – другое дело, она мне давно обещала, что я увижу ее ноги».

Колиньи наклонился к Жанне и шепнул: – Не будем торопить его! Он получит внушение свыше. – Генрих понял, с какой тревогой ожидает от него ответа его дорогая мать. И от этого он воспарил духом и с суровой решимостью, изумившей его самого, сказал:

– Я хочу служить Франции. Я избираю истинную веру и поэтому избираю Францию.

Как только эти слова были произнесены, протестант Колиньи встал со своего кресла. Он простер руки, словно принимая самого господа. Генрих же обнял старика. Затем отер поцелуями слезы на лице матери

Совет продолжался, но уже далеко не так торжественно. Они согласились, что все выгоды для них в союзе с Парижем, а не с Лондоном. Генрих даже спросил: да было ли английское предложение сделано всерьез? Может быть, этим хотели только расстроить брак во Франции? Жанне пришлось сделать над собой немалое усилие, чтобы допустить эту мысль, – так противилось ее самолюбие. Но мудрость и рассудительность ее юного сына утешили ее гордость. Генрих заявил, что охотно уступает блестящее положение супруга английской королевы своему двоюродному брату герцогу Анжуйскому. – Все-таки одним меньше! – тут же добавил он. Собеседники отлично его поняли. Жанна согласилась, что не следует раздражать

мадам Екатерину, раз уж она вознамерилась женить герцога в Англии. Тут Жанна повторила слова сына: «Все-таки одним меньше». Потом заговорила, глядя перед собой в пустоту комнаты: — Сначала их было четверо. После Карла остаются всего двое. Карл же из стройного, изящного мальчика сделался обыкновенным пошлым толстяком, хотя и носит сан короля. А временами у него на теле выступает кровь.

При этих словах и молодой ее собеседник, и старый, насторожившись, вытянули шеи. Однако Жанна даже не посмотрела на них. Она кивнула, как женщина, которая знает, что к чему, когда речь идет о человеческом теле и совершающихся в нем процессах. — Из них течет кровь, — пояснила Жанна, — она не льется, а медленно сочится из пор. У всех четверых сыновей старого короля та же болезнь, и старший уже умер от нее.

— Что же, и остальные умрут? — спросил Генрих, похолодев.

Колиньи жестко ответил: — Валуа преследуют нашу веру. Это кара.

— Они истекают кровью не потому, что они Валуа, — заметила Жанна, — это у них от матери, которая долго была бесплодна.

Мужчины выпрямились; они уже перестали понимать. Да и Жанна отыскала эту связь между явлениями лишь потому, что столько ночей не спала, терзаемая удушьем и какой-то жуткой щекоткой под черепом, во всей голове. И так как ни один врач не мог объяснить причину, ей оставалось утешаться мыслью о том, что человеческие судьбы по воле господней свершаются скрыто в телах людей еще до того, как эти судьбы станут для всех очевидными. Вот Жанне суждено пострадать и рано покинуть этот мир, после того как она родила своего избранного богом сына. А ее подруга Екатерина, наоборот, обречена дожить до старости и видеть, как один за другим угасают все ее столь поздно зачатые сыновья. Мать Генриха и рассчитывала на это, притом с чистой совестью и без всякой жалости.

— Итак, я отвечу теперь послу, что не буду противиться союзу с ее домом, но она должна выполнить известные условия.

— Строжайшие, нерушимые условия, — решительно подхватил Колиньи. — Двор

заявит, что он против Испании. Французские войска вторгнутся во Фландрию, и поведу их я.

— А принцесса Валуа должна стать протестанткой, — заявила Жанна; Генрих был так изумлен, что даже издал какое-то восклицание. Марго и религия! Религия и влюбленная Марго! Он не знал, куда деться, так неудержимо хотелось ему расхохотаться. Наконец он спрятался в глубокой оконной нише, спустил занавес и фыркнул, прикрыв рукою рот.

Его мать торжественно произнесла:

— Мой сын благодарит господу за то, что его будущая супруга будет спасена. — Однако Колиньи решил, что требовать этого от бога, пожалуй, слишком смело. И он едва не заявил вслух, что принцесса ведет недостойный образ жизни. Она находится в предосудительных отношениях с герцогом Гизом, и их связь широко известна. Как христианин, он должен был бы сказать об этом, но как придворный промолчал и вместе с королевой стал ждать, пока Генрих снова не присоединился к ним. Когда тот вернулся, мать принялась уже гораздо обстоятельнее объяснять ему все опасности, связанные с этим браком.

— Помни, для них всего важнее, чтобы ты был в их руках. Основное правило мадам Екатерины — чтобы ее враги всегда находились у нее в доме; а после сыновей, которые так легко истекают кровью, ты первый имеешь все права на французский престол. Я отлично знаю, что она надеется с твоей помощью отделаться от Гизов — их род кажется ей более опасным, чем наш, — презрительно пояснила она, — и все же главное для королевы — заманить тебя к своему двору. Но этому я воспрепятствую, я сама туда поеду вместо тебя, а тогда увидим, кто кого.

Колиньи угрюмо кивнул.

— А я буду следовать по пятам вашего величества. Все наши требования должны быть приняты, иначе протестантское войско во главе с принцем Наваррским пойдет на Париж. Тогда уж никакой пощады не будет!

Юноше подумалось, что и до того пощады было маловато! Внутренним взором он увидел, как корчатся подвешенные к стропилам крестьяне, а у них под ногами

пылает огонь. Но как тут возражать, если даже его дорогая, умудренная опытом мать утверждает: таков закон жизни и настоящая борьба за веру и за престол иной быть не может. Да и заслуживают ли лучшей участи мадам Екатерина и ее католики, раз даже его мать им не доверяет?

— Мама, — воскликнул он, — не поедешь ты туда! Они сделают с тобой что-нибудь злое! — Генрих выкрикнул это, словно перепуганный ребенок. Жанна притянула к себе сына, положила его голову на свои колени и так сказала — и ему, и себе, и своему сердцу:

— Когда женщина одна-одинешенька — это самое безопасное. И если некому защитить ее — бог защитит. Но что я перед богом теперь? Когда-то я представляла собой нечто бесконечно важное — сосуд веры. Теперь он опустел и может разбиться.

Ей чудилось, что она говорит вслух, на самом деле она произнесла это в своих мыслях; но этими словами Жанна д'Альбре приносила в жертву свою жизнь.

Их совещание кончилось. Сын и адмирал простились с нею.

Воистину... одна-единственная

Выйдя из зала, Генрих встретил своего кузена Конде и Ларошфуко — это был тоже один из тех молодых людей, с кем он позволял себе откровенничать.

— Итак, я женюсь на сестре французского короля. К тому же это единственная должность при дворе, которая еще не занята. Там уже есть канцлер, секретарь, казначей и шут. Не хватает только рогоносца — вот я им и буду.

Он подпрыгнул и рассмеялся с такой заразной веселостью, что оба невольно последовали его примеру, хотя и были неприятно поражены его словами.

Королева Наваррская возвратилась к себе в Беарн. Стояла осень, Жанну снова посетил посланец от Екатерины — его звали Бирон, — и теперь она уже не ответила ему отказом. Она только поставила самые первые, предварительные условия: бесчисленные несправедливости, содеянные по отношению к протестантам, необходимо исправить, надо очистить один город на юге, удалить из Парижа некий кощунственный крест. Она заявила напрямик, что обмануть ее не удастся, как иных

прочих, столь доверчиво приезжавших ко двору!

Была осень, потом пришла зима, и лишь тогда она решительно двинулась в путь.

Перед тем Жанна болела лихорадкой, ее сын упал и расшибся; казалось бы, эти

происшествия должны послужить ей предостережением. Однако мать и сын все-таки

распростились друг с другом; это произошло в городе Ажене, января месяца тринадцатого дня, в год семьдесят второй. Ни синева неба, ни залитая солнцем

дорога — ничто не предвещало, что их прощание последнее. Лошади тронули, колеса

обитую кожей кареты покатались, еще было видно, как бледная Жанна и ее дочка

Екатерина кивают и улыбаются. А сын стоял возле своего коня и смотрел то на

мать, то на сестру. Он заметил, что глаза матери за последнее время еще больше

ввалились, чернота под ними уже дошла до скул. Затем он увидел, как улыбка на

ее лице окаменела, и понял, что она уже не различает его лица — ведь расстояние

становилось все больше, да и слезы мешали.

А брат и сестра — глаза у них были молодые — еще несколько мгновений проникновенно смотрели друг на друга. Взгляд Генриха как бы говорил сестре: —

Помни. — И она отвечала ему: — Знаю. — Он говорил: — При первом намеке на опасность сейчас же шли гонца. — Она же с тоской молила: — Поскорей бы ты

опять был сами! — Его глаза еще успели бросить ей вдогонку: — Береги нашу дорожку

мать, береги! — Но тут карета скрылась за поворотом, и все исчезло.

Пыль,

поднятая последним всадником, еще стояла над озаренной солнцем дорогой, затем

рассеялась и она.

В течение шести месяцев Генрих получал письма от Жанны — самые драгоценные

письма в его жизни. Ибо скольких женщин он ни боготворил, скольким ни отдавал

свою силу, он всегда чувствовал, что, в сущности, лишь одна-единственная действительно боролась за него и дышала ради него последними остатками своих

легких.

Когда в феврале Жанна добралась до Тура, она охотно повернула бы обратно, но

было уже поздно. Слушая речь тех господ, которых Екатерина выслала приветствовать ее, она сразу же поняла, что ее действительно хотят обмануть.

Королева-мать и король, ее сын, тогда находились в Блуа, однако они выехали ей навстречу. И тут уж Жанна д'Альбре не пожелала потерять даром ни одного мига своей столь драгоценной жизни: она немедленно потребовала, чтобы невеста ее сына перешла в протестантство. Самым опасным было то, что королева-мать не отказала ей напрямик; Медичи – притворилась, будто даже мысли не допускает, что это говорится всерьез: просто одна из причуд, возникшая в затуманенном мозгу нервической, экзальтированной особы, которую приходится успокаивать неизменным игривым благодушием, а уж за этим у Екатерины дело не станет. Страшная старуха всегда была готова к смешкам да шуткам, в течение всей зимы и до мая, – словом, все то долгое время, пока они торговались в замке Блуа. Однако Жанна, чувствуя, что силы ее убывают и что она вынуждена как можно расчетливее тратить их, ни разу не потеряла самообладания – ведь это сократило бы еще на несколько дней ее жизнь.

– А старая королева все шутила: – Послушайте, милая подружка, что будет за дело вашему ретивому петушку до того, какой веры моя хорошенькая курочка, когда он ее... – Она выговаривала эти слова громко и смачно, так что слышали и другие и начинали хохотать. Если бы даже Жанна дала волю своему гневу, ей бы все равно не перекричать этот хохот. Поэтому она и сама улыбалась деланной, кривой улыбкой, но в этой улыбке чувствовалось что-то совсем другое, чем в единодушной веселости остальных. Жанна изо всех сил старалась держаться с тем спокойным превосходством, которое так естественно для здоровых людей. Только бы не выдать себя, не показать, как она больна! Ведь тогда она окажется во власти врагов.

Екатерина придавала своей лжи вид шутки – тем труднее было с ней бороться. Она беззастенчиво утверждала, что воспитатель принца Наваррского сообщил ей, будто принц, что касается до него, хоть сейчас готов обвенчаться по католическому обряду, и даже заочно, пока он еще сидит у себя на юге, – настолько-де ему не терпится.

Жанна сухо ответила: – Удивляюсь, что мне решительно ничего не известно о желаниях моего сына, а вы, мадам, так хорошо о них осведомлены!

— Он вам, наверное, тоже хотел сказать, да позабыл за своими галантными похождениями, — съязвила Екатерина и повертела толстыми бедрами — вот-вот пустится в пляс на своих куцых ножках.

А затем, когда изнемогшая Жанна удалилась к себе, страшная старуха изобразила своим приближенным все это навыворот. Жанна сама-де упрашивала, чтоб непременно взяли в зятя ее сына, католиком либо протестантом — все равно, только бы поскорее. К Жанне все потом приставали с этим, и протестанты гневно корили ее; а бесчисленные почетные фрейлины Екатерины не давали королеве Наваррской покоя со своими грезами о волшебном принце, приезде которого они радовались, как дети. Впрочем, эти почетные фрейлины уже никому не могли принести почета, а лишь подарить удовольствие, что они и делали по малейшему знаку своей бесстыжей госпожи. Но они добросовестно выполняли возложенное на них поручение — показать чувствительной Жанне развращенность французского двора во всей наготе, чтобы тем успешнее подорвать ее силы. Едва наступал вечер, и даже раньше, королевский двор уподоблялся непотребному дому. Только Марго, невеста, держалась в стороне.

Флорентийский ковер

Мать Генриха не могла отрицать, что принцесса Валуа ведет себя вполне благопристойно, да и сложена безупречно, хотя уж чересчур затягивается. У Марго было белоснежное лицо, спокойное и ясное, как небо, — так, по крайней мере, выразился некий придворный по имени Брантом; но Жанна отлично умела разобраться, что здесь от жеманства, а что от белил. Тут их накладывали так густо, как, пожалуй, только в Испании. Да и придворные, конечно, преувеличивали прелести своего божества, точь-в-точь как идолопоклонники. Жанне довелось наблюдать из безопасного отдаления некую безбожную процессию, главным действующим лицом которой был отнюдь не поп и даже не епископ: предметом единодушного поклонения дворян и народа оказалась Марго, сверкающая жемчугами и камнями, осыпанная ими, как звездами, с головы до пят. Престолюдины стояли на коленях по обеим сторонам улицы. А кто шел в процессии, тому казалось, что толпа несет его. Над всей этой давкой стояло многоголосое бормотание, похожее на молитву. Вероятно, это было кощунством.

Когда Марго вернулась в замок, Жанна попросила ее к себе в комнату, и та явилась тотчас, как была, в торжественном наряде и во всех драгоценностях.

Жанна невольно отметила, что у прославленной красавицы щеки уже слегка отвисли

или, по крайней мере, отвиснут, когда она станет чуть постарше, и что со временем это будет вылитая старуха Екатерина.

— Дорогая дочь, — начала Жанна ласковее, чем хотела бы. — Ты красива и добра. Такой и оставайся — это мое единственное желание. Поистине твой муж

будет счастлив.

— Мне хотелось бы надеяться, дорогая матушка, что, хваля мою внешность, вы

не льстите мне. Что же касается моих нравственных качеств, то позвольте признаться вам, они еще ничтожнее, чем физические. Я не получила никакого воспитания, или, вернее, — крайне беспорядочное.

— Говорите вы, без сомнения, очень складно, — ответила Жанна, снова обращаясь к будущей невестке на «вы». А тем временем Марго вспомнила, как ее

мать и брат в виде назидания отлупили ее за то, что она спала с Гизом.

Ах,

когда-то ей доведется снова испытать эти радости? Мадам Екатерина отправила его

подальше отсюда, лишь стало известно, что едет свекровь. Теперь ему приказано

жениться, и ее красавчик для нее потерян. У бедняжки едва слезы не выступили на

глазах. Хорошо еще, что она вовремя вспомнила о своих накрашенных веках — ведь

с них сошла бы вся краска — и о гладком лице — струйки соленой влаги сейчас же

проложили бы на нем бороздки. Главное — удержать первые слезы...

А Жанна продолжала: — Мой сын — деревенский юноша, а все же он королевский

сын. И он солдат, поэтому у него есть и чувство чести и подлинное благородство —

два качества, необходимые истинному солдату.

— Великодушие и честь — одно и то же. Я читала у Плутарха...

— И моему сыну я давала Плутарха. Он хорошо умеет выбирать себе образцы среди великих людей. Не думайте, будто он беден духом, хоть я и говорю, что он

прост. Его шутки идут от живости чувств, а не от мудрствовании лукавых или

гробов повапленных.

Марго тут же подхватила ее слова: — Ну да, в нем течет королевская кровь, но

совершенно здоровая, а его дух не сознает своей утонченности. — Этот портрет был полной противоположностью ее самой, поэтому ей и не трудно было его набросать. А Жанна, ошибочно полагая, что столь горячей похвалой своему сыну ей уже удалось затронуть чувства будущей невестки, неосмотрительно продолжала откровенничать:

— О! Как бы я желала, милая дочь, чтобы вы, поженившись, оставили этот двор. Здесь все растленно. Бесстыдство до того доходит, что женщины сами предлагают себя мужчинам.

— А Вы тоже заметили? — вздохнула Марго. — Конечно, нравы здесь дурные.

— Живите в мире и согласии да подальше отсюда! У меня есть поместья в Вандоме, там вы будете правителями, а тут, при французском дворе, вам придется вести праздную жизнь, подражая той бесполезной роскоши, какую я видела сегодня, во время процессии — да ста тысяч талеров не хватит на такие драгоценности, которые были на иных! Но господь хочет, чтобы ему служили иначе, не кичились бы своей праведностью, а боролись во имя божие. Дорогая дочь! Все мы грешны, однако протестанты преданы не только царствию земному: в этом наше оправдание; мы умеем терпеть бедность, жить под угрозой и смиренно ждать — во имя свободы, а она — в боге.

Королева Жанна наконец перевела дух, она, не отрываясь, вглядывалась в белоснежное лицо принцессы Марго, которая совсем закрыла глаза. А Марго в это время думала: «Да, они опасны! Моя мать совершенно права, они очень опасны. И нужно принять против них какие-то решительные меры, что, впрочем, как я сильно подозреваю, мама и намерена сделать. Только откладывает, пока под ее надежную опеку не попадет и мой Генрих — этот деревенский паренек, честный солдат с пылким сердцем и еще кое-чем, что для меня лично гораздо важнее всего прочего». Так размышляла Марго, а Жанна в это время стиснула рукой ее колено. Своим жестом она словно хотела закрепить право на эту девушку, и вместе с тем в нем была мольба:

— Приди к нам! — Это был опять ее необычный голос, подобный звону большого колокола — Прими истинную веру! Ты станешь счастливее, чем могла когда-либо себе представить. Наша страна познает единение и мир.

— А за чей счет? — спросила сестра Карла Девятого, все еще не размыкая век.
«Конечно, это невозможно, — решила Марго про себя. — Кроме того, эта странная женщина, кажется, совсем голову потеряла. Ее рука, лежащая на моем колене, напрягается: да, она, бесспорно, оперлась на меня, а одна нога начинает подгибаться. Если я сейчас не удержу ее, она упадет мне в ноги».
Принцесса торопливо схватила Жанну за кисть руки.

— Мадам, вы слишком высокого мнения обо мне. Может быть, я, как вы перед тем выразились, только гроб повапленный. Однако мой брат — король Франции. Мой отец тоже был королем, оба католики, в этой вере я выросла. Изменить тут мы ничего с вами не можем, даже если бы я и хотела. Все мои предки-короли были католиками, и я не вижу, как бы я могла посещать ваши проповеди, но это еще не значит, что ваш сын обязан ходить к обедне: я буду терпимой.

— Итак, ты хочешь остаться с ним при этом развратном дворе? — Голос Жанны зазвучал холодно, трезво, сейчас она сказала «ты» только из пренебрежения. Все же она подавила закипевшую в ней ненависть во имя своих высоких и неизреченных целей. Кто, в конце концов, эта девушка, от которой так навязчиво пахнет мускусом? И разве ее злая воля может что-нибудь задержать или изменить?

— О! — слегка вздохнула Марго и снисходительно, даже с жалостью к этой несчастной женщине сказала: — Ваш сын, конечно, скоро научится придворным манерам. Я готова его защищать. Правда, сделаться протестанткой я не могу, но с честным, искренним протестантом мы поладим — я это чувствую. — Она продолжала свои рассуждения, ибо принцесса Валуа умела быть красноречивой. Однако каждое ее слово было не к месту и только озлобляло мать Генриха; но этого принцесса знать не могла. Напротив, увлекшись, Марго даже приплела сюда сестричку своего жениха, незаметную девочку, о которой никогда раньше и не вспоминала. Правда, она назвала ее имя еще и потому, что дверь в соседнюю комнату или, вернее,

висевший на двери ковер чуть шевельнулся. Тогда Марго сказала более громко:

— Если б даже я не видела в вашем сыне, мадам, своего друга и господина, то ваша прелестная дочь завоевала бы для него мое сердце. У нас тут таких девушек не встретишь, я впервые вижу подобное создание, и, простите за ученое сравнение, нежный облик вашей Екатерины напоминает мне одну из царственных пастушек древности.

Вслед за этими словами действительно вошла Екатерина. Ее мать Жанна, не обратившая внимания ни на флорентийский ковер, ни на его движение, испугалась, на миг она была готова даже поверить в сверхъестественные способности своей будущей невестки, тем более что Екатерина была босая и распущенные волосы падали волной на ее белое ночное платье. А упомянутые принцессой пастушки только и могли быть такими же белокуроыми и с такими же невинными личиками. Что же касается Марго, то она разыграла изумление, однако не нарушая ни вкуса, ни меры. Она просто встала и приоткрыла объятия, протягивая руки навстречу милой девочке.

А королева Жанна почуяла «гроб повапленный» и возмущенно отвела глаза — ведь она чуть было не поверила, что перед нею действительно призрак. Ее дочь тем временем доверительно и простодушно рассказывала этой восхитительной Марго:

— Я немного кашляю, и мне сегодня велели полежать и пить молоко ослицы. Если бы вы видели, мадам, моего молочного братца, ослика, ах, какая прелесть!

— А как ты мила, моя детка! — воскликнула мадам, обняла ее и наговорила пропасть ни к чему не обязывающих, ласковых слов. Может быть, Екатерине они и были приятны, что до Жанны, то она уже не слушала, она внимательно разглядывала эту чужую бездушную комнату. Везде у них одно и то же! Та же богатая роспись на стенах, те же резные лари, низкие, тяжелые потолки, кровати с занавесками и балдахин, окна в глубоких нишах; всюду словно притаился какой-то загадочный полумрак, везде какие-то западни и закоулки; в самой этой роскоши и пышности, если к ним присмотреться, чудится что-то недоброе; таковы же здесь и люди! Да, и люди — Жанна это ощутила и, сама не зная почему, содрогнулась.

Принцесса Марго знала больше, чем Жанна. О многом она догадывалась, подслушивая разговоры, которые велись придворными, а когда шептались ее царственный брат и их мать, она невольно следила за выражением их лиц. И вот сейчас, держа в своих объятиях невинную девочку Екатерину, Марго почувствовала, как в душе у нее шевельнулось что-то ей до сих пор неведомое — может быть, совесть. А может быть, это были та гордость и то чувство собственного достоинства, для которых всякое коварство презренно. Екатерина же выводила своим дрожащим, звенящим голоском: — Вы так прекрасны, мадам, вот если бы сегодня вас видел мой брат! Будьте к нему благосклонны!

— Да, да, — ответила Марго, но про себя добавила, негодуя все сильнее: «Нельзя так! Я должна им открыть всю правду».

— Где же ваша собачка, мадам? Я никогда не видела такой прелестной собачки!

— Она ваша, я дарю ее вам. — Марго выпустила девочку. «Я должна их предостеречь!» — Мне хотелось бы дать вам один совет. — Марго наклонилась к Жанне, настойчиво посмотрела ей в глаза. Впервые почувствовала она, как ей изменяют выдержка и находчивость, — уж слишком необычным было ее намерение. Марго не знала, как начать, она с трудом переводила дыхание, даже нос ее стал как будто длиннее. — Но никто не должен знать, что это я вам сказала.

«Да, это зловещая роскошь, под нею что-то притаилось», — подумала Жанна. И она ответила: — Я же знаю, что со мной хитрят и хотят меня обмануть.

— Это бы еще ничего! Уезжайте отсюда, мадам, и как можно скорее! — выкрикнула, вернее, взвизгнула, Марго, — в ней говорило уже не величие души, как ей того хотелось, а лишь охвативший ее внезапный и нестерпимый ужас. И вдруг беззвучно добавила: — Нас, наверное, никто не слышит? Ну, так берите вашу прелестную девочку и бегите с нею на юг, может быть, еще не поздно! Если вы хотите чего-нибудь добиться, то вам нельзя быть здесь, а, уж вашему сыну — и подавно!

Однако в эту, быть может, честнейшую минуту своей жизни Марго встретила со стороны Жанны только упорство и недоверие. Жанна заранее решила никаким угрозам не поддаваться. Принцессе так и не удалось вызвать на этом стареющем лице

тревогу, поэтому она нерешительно потянулась к молодой в надежде, что хоть та ей поможет. Марго оторвала свой взгляд от Жанны и стала смотреть на Екатерину, но ее взгляд по-прежнему предназначался Жанне. Пусть видит, какую тревогу в светлых глазах девочки вызовет Марго силой своих черных глаз. Вот в них мелькнула догадка. А сейчас это ужас!

Однако Жанна продолжала упорствовать в своем нежелании понять принцессу, а когда увидела, что ее дочь побледнела и едва стоит на ногах, окончательно рассердилась.

— Довольно! — твердо заявила она, — Иди и ложись обратно в постель, дитя мое! — И лишь после того, как Екатерина прикрыла за собою дверь и флорентийский ковер перестал шевелиться, Жанна ответила на совет и предостережение принцессы Валуа.

— Поверьте, мадам, я все поняла. Вы хотели вызвать во мне колебания и страх, это вам поручено, конечно, вашей матерью. Ну так вот, расскажите ей, удалось ли вам сокрушить меня! Я же, со своей стороны, могу сообщить вам, что господин адмирал добился от короля всего, чего мы, протестанты, желали. Вам лично незачем принимать какое-либо окончательное решение относительно вашего вероисповедания, пока вы не услышите, что французский двор объявил войну Испании. Но вы об этом услышите! Во всяком случае, мой сын и ваш жених придет сюда, только когда наша партия обретет полную силу.

— Ну, разумеется, мадам, — согласилась Марго. Тощая грудь королевы бурно вздымалась, когда она произносила эти горделивые слова. Но сестра Карла Девятого, вернувшись к обычному равнодушию, уже не видела причины ни для тревог совести, ни для порывов благородства. Она уже повторяла про себя, как и в начале беседы: «Да, они опасны! Они очень опасны. Моя мать права, против них надо принимать какие-то решительные меры. Но они сами себя погубят. Античный рок, да и только!» Так рассуждала эта ученая особа.

— Разумеется, мадам, — сказала Марго, — я обдумаю ваши слова. — Глубокий реверанс. — И если окажется, что правы именно вы, тогда и ваша вера, вероятно, станет моею. Надеюсь, господин адмирал привезет сюда принца, моего жениха, чтобы мы встретились здесь все вместе. — Глубокий реверанс, пахнуло мускусом, и мадам Маргарита удалилась.

Когда Жанна открыла дверь в комнату дочери, та посмотрела на нее в упор своими голубыми, широко раскрытыми от ужаса глазами. Жанна подошла к ее кровати, и девочка, обняв мать за шею, прошептала:

– Мне страшно, мама! Мне страшно!

Письма

Потом обе написали в По, Генриху. Писались письма обычно в разных комнатах замка Блуа, и Екатерина тайком совала свое письмо нарочному, с которым отправляла письмо Жанна. Мать давала сыну советы: почаще слушай проповеди, каждый день ходи на молитвенные собрания. Волосы зачесывай кверху, но не так, как носили раньше! Первое впечатление, которое ты должен тут произвести, – это изящество и смелость. Однако сейчас сиди в Беарне, пока я не напишу тебе опять.

А Екатерина сообщала брату: «Мадам подарила мне прелестную собачку, потом угостила меня роскошным обедом. Она очень ласкова ко мне. Ну, а если я теперь скажу тебе, милый братец, что мне все-таки страшно, я отлично знаю, что ты не поймешь меня. Прощаясь, ты наказал мне: «При первом признаке опасности – немедленно гонца!» Признаков опасности я никаких не вижу, а письмо с гонцом все-таки шлю. «Береги ее! – приказал ты мне взглядом при нашем расставании – береги нашу дорогую матушку!» И вот на днях наша дорогая матушка уедет со всем двором в Париж, где у нас столько врагов. Я, конечно, не буду глаз с нее спускать, но как бы мне хотелось, чтобы ты опять был с нами!»

В мае Жанна д'Альбре написала сыну из Парижа, где остановилась в доме принца Конде. Писала она вечером, окно было открыто, лампа мигала под теплым дыханием ветерка.

«Портрет мадам я здесь достала и посылаю тебе. Надеюсь, ты будешь доволен. Кроме наружности мадам, которая действительно очень хороша, мне здесь мало что нравится. Королева Франции обходится со мной по-скотски, твоя Марго, как была, так и осталась паписткой, все мои труды пошли прахом. Одно только доставило мне большую радость: наконец-то я смогла сообщить Елизавете Английской, что твой

брак с Марго – дело решенное. Сын мой, не знаю, буду ли я всегда подле тебя, чтобы оберегать от соблазнов этого двора. Не позволяй же совращать себя ни в жизни, ни в вере!»

А сестра, запершись в другой комнате, с трудом выводила: «Спешу скорее сказать тебе два слова о том, что с нами случилось сегодня. Мы ходили по лавкам – мама все покупает к твоей свадьбе. Нынче были у живописца, который делает портреты мадам, и хотели выбрать самый красивый. Вдруг перед лавкой собираются какие-то люди, поднимают крик и шум. Брань становится все более громкой и угрожающей, так что нашей охране приходится в конце концов разгонять толпу. Мама уверяет, что буянили просто парижские лодыри и от этого в Париже никуда не денешься, но я уверена, что шум был поднят из-за твоего брака. Здешний народ не желает его и на каждом шагу заводит ссоры с протестантами. Многие из дворян нашей свиты признались мне в этом, – вернее, я заставила их признаться. Ведь я уж вовсе не такое дитя, как думают. У злой старой королевы целый полк фрейлин, а у фрейлин – всюду друзья, и эти дамы их натравливают на нас, особенно же на господина адмирала, который прибыл сюда с пятьюдесятью всадниками. Мадам Екатерина в ярости, потому что господин адмирал так упорно защищает наше дело. Я не решусь сказать – так неосмотрительно, ибо я только девочка. Обо всем этом приходится писать тебе очень наспех: под окошком верховой ждет, чтобы я бросила ему письмо, да и лампа догорает, а мне нужно к письму еще приложить печать».

Пока Екатерина капала воск на конверт, на носике лампы в последний раз вспыхнул свет, и она погасла. У Жанны лампа продолжала гореть, она писала:
«Колиньи настроен решительнее, чем когда-либо, и очень меня утешает. Он требует начать войну во Фландрии, и королева не в силах этому воспротивиться, хотя и уверяет, будто никто нас не поддержит – ни Англия, ни немецкие князья-протестанты. Но она, в конце концов, просто злая старуха, а ее сын, король, боится господина адмирала и поэтому любит его, он зовет его отцом. Когда они опять свиделись, Колиньи опустился перед королем на колени, но в мыслях своих и намерениях он смиренно склонился перед богом, а отнюдь не перед

Карлом Девятым, который готов следовать во всем его воле, осыпает его милостями и уже не принимает без него никаких решений. Король подарил господину адмиралу 100000 ливров, чтобы тот восстановил свой замок Шатильон, который сожгли. Там господин адмирал теперь и живет. Король же остался в Блуа из-за своей возлюбленной. Господин адмирал прав: это даст нам возможность воспользоваться подходящей минутой и вырвать власть у мадам Екатерины. Пора настала, сын мой, собирайся в дорогу и выезжай!»

Вот что писала Жанна, и нарочный, беарнский дворянин, спрятал письма в надежное место, чтобы при первых проблесках зари пуститься в путь. По крайней мере, он считал, что у него на груди письмо королевы и письмо ее дочери будут в полной сохранности. Однако не успел он дойти до дома, где жил со своими товарищами, как на него напали пьяные; хотя было темно, он все же разглядел, что это люди из личной охраны французской королевы. Дворянин защищался, однако сильный удар сбил его с ног. Когда он, наконец, поднялся, негодяев и след простыл, а с ними исчезли и доверенные ему письма.

Они незамедлительно оказались в руках Медичи, и она вскрыла их, не коснувшись печатей. И вот, запершись на ключ в своей опочивальне, мадам Екатерина читала о тех планах, которые ее противница и та девочка невольно ей выдавали, и испытывала при этом особое удовольствие. Она испытывала его потому, что раскрытие заговоров обычно вливало в нее новые живительные силы. Каждое наше деяние жизни и людей как бы укрепляло зло в ее собственной природе и в образе мыслей, побуждало к деятельности. Медичи сидела в своем неказистом деревянном кресле и смотрела перед собой в пустоту, а не на письма — она уже знала их наизусть; из шести обычно горевших в ее комнате восковых свечей осталось только две: другие она погасила собственными пальчиками. Жирные желтые складки ее отвисших щек и подбородка были окаймлены бледным сиянием огня, а на верхнюю часть лица падала глубокая тень, в которой ее черные, обычно тусклые глаза горели, точно пылающие угли. И какие бы картины этот взгляд, обращенный внутрь, ни созерцал, — когда она окидывала им комнату, то улавливала только смутно выступавшие из мрака детали росписи стен: там раскрытый в крике рот, тут занесенный нож. А когда сквозняк относил пламя свечи в другую сторону, выступала чувственная улыбка нимфы и протянутая рука.

Мадам Екатерина размышляла о том, что вот, оказывается, судя по дерзкому

письму противницы, та намерена лишить ее власти. Видно, эта сумасбродка Жанна вообразила, что уже стала здесь госпожой, что мадам Екатерина всеми покинута, а ее сын, король, – только орудие в руках мятежника, которого королевский суд приговорил к повешению на Гревской площади. «Но ведь приговор–то не отменен, милая подружка! – думала королева. – И уверены ли вы в том, что мой сын Карл иной раз не испытывает раскаяния? А если он сам не одумается, так побоится своего брата герцога д'Анжу. Этот сын – мой любимец за то, что не терпит женщин. И я угрожаю старшему вмешательством младшего. Карл знает, как быстро у нас отправляют людей на тот свет. Нет, милая подружка, что бы вы там ни вообразили, а короля испанского я гневить не буду и отнюдь не намерена помогать голландским гезам, не то Филипп отдаст мой престол Гизам, и тогда я в самом деле пропала. С Гизами, этими сверхкатоликами, я должна покончить так же решительно, как и с вами, протестантами. Но всему свой черед. Потерпите немного, дорогая подружка. Вам еще предстоит испытать кое-что весьма для вас неожиданное и удивительное. Что я сказала? Испытать?»

Мадам Екатерина была погружена в свои думы, но даже не замечала этого. В подобные минуты ее фантазия жила царственной жизнью, преодолевая страх, она дорастала до измышлений самых дерзких и гнусных. В таких случаях воображение заводит человека дальше, чем любое деяние, и все-таки за мыслью следует деяние.

Притом Екатерина вовсе не забывала о действительности, она слышала решительно все, что творилось в этот час в ее замке. Лувр закрывался и запирался наглухо в одиннадцать часов, и уже началась беготня придворных, желавших выйти вовремя; сейчас стража прокричит в третий раз, и ворота захлопнутся. Еще гремел по всем коридорам тяжелый шаг королевских лучников, очищавших здание от тех, кто замешкался. Но едва лучники прошли, как у дверей, которые были только притворены, послышалось таинственное перешептывание – это женщины начали впускать мужчин. Мадам Екатерина отлично была осведомлена о придворных нравах и поощряла их. Когда к ней явился начальник охраны короля и спросил, какой будет пароль на эту ночь, королева ответила: «Amor» [б. – «Любовь» (лат.)].

Она дала капитану еще какие-то приказания, но для этого заставила подойти вплотную к ее креслу и заговорила совсем тихо. В результате все шесть свечей

желтого воска в ее прихожей были погашены, и ни один из больших полотняных фонарей не озарял в эту ночь своим рассеянным светом дворцовые лестницы. Когда пробило двенадцать, в спальню старой королевы вошла закутанная в плащ фигура, сопровождаемая факельщиком, и лишь после того, как офицер удалился, вошедший запер за собою дверь и распахнул плащ. Это был Карл Девятый. Мать, сидевшая на том же месте, что и много часов назад, повернула к нему массивное старое лицо, мерцающий свет упал на него сбоку, и сын содрогнулся.

— Я позвала тебя, сын мой, оттого, что время настало, и прийти тебе следовало именно ночью. Пора действовать. Прочти вот эти письма. — Едва Карл разобрал первые строки, как он стукнул кулаком по столу. Однако на лице его отразилась не только ярость, но еще более сильное чувство — страх. Он недоверчиво взглянул на мать, как всегда, искоса. А Екатерина подумала: «Какой запущенный молодой человек! Как хорошо, что у меня есть еще двое! Мой второй сын признает только мальчиков; единственная женщина, которая будет властвовать над ним, — это я. Последний сын — своевольный упрямец, с ним надо быть начеку, чтобы он не навредил мне!»

— Я всегда забочусь о твоём благе, сын мой, — продолжала старуха. — Ты слишком поразрастил свои силы в Блуа, у подружки; а теперь, чтобы спасти свой престол, тебе очень пригодятся силы твоей матери, которые ей удалось сберечь.

— Убей их! Убей их! — задыхаясь, прохрипел Карл, и жилы его угрожающе вздулись. Лицо короля не столько разжирело, сколько отекло. Борода была редкая и короткая, рыжеватые усы свисали с верхней губы, а нижняя губа, в знак глубокого отвращения к миру обычно поджатая, теперь отвалилась, ибо беднягу терзал нестерпимый страх. При словах «убей их» он невольно выставил голову из накрахмаленных брыжжей, причем в его огромных ушах блеснули, закачавшись, две крупные жемчужины.

Старуха сказала: — Господин адмирал, которого ты зовешь отцом... впрочем, зови — так мы его скорее обманем. Этот бунтовщик совершенно открыто угрожает нам, а его убогая королева с козьей рожей бросила мне в лицо, что не боится

меня. «Я знаю, — говорит, — что вы не пожирательница детей», — вот как она выразилась. Но, смею тебя уверить, на этот счет пиренейская коза сильно ошибается. У нее, например, у самой есть дети, и я как раз намереваюсь их сожрать. Девчурка написала это трогательное письмо, и братец непременно должен его получить. Тем вернее его рыцарский дух и отвага приведут его сюда, и тогда он будет служить живой приманкой для всех этих опасных гугенотов. Париж и так уж кишмя кишит еретиками, а в свите весельчака-принца их понаедет сюда целая орда.

Екатерина совсем понизила голос — до едва слышного шепота: — Тут-то мы их и скапаем. У всех этих гасконских крикунов будет одна общая шея, и тогда отрубить голову окажется совсем не трудно. Тише! — властно остановила она Карла, ибо тот, видимо, опять собрался завопить: «Убей их!» Впрочем, и сама мадам Екатерина внутренним взором тревожно вглядывалась в приоткрывшуюся бездну, все еще не решив, должно ли за мыслью последовать в свое время и деяние. С расстановкой, слово за словом, стала она припоминать:

— Герцог Альба однажды сказал мне: «Десять тысяч лягушек — это еще не лосось», а я ответила ему: «Вы, должно быть, разумеете под лососем двух людей?»

Королева мать смотрела на сына долго и пристально, хотя он отвечал ей лишь косящим взглядом. — Правда, и нас только двое, — добавила она внезапно, снова дав волю своему жирному-благородному голосу. Но сын до того испугался, что стал искать стул, чтобы опереться, и, не найдя, сел прямо на пол перед матерью. — Сиди, сиди! — сказала Екатерина. С этой минуты она говорила, не отрывая губ от его уха и притом так долго, что майское утро уже забрезжило сквозь занавеси, когда король наконец ушел от мадам Екатерины.

Чтобы не было бледности

Из-за угла вышел офицер с факелом, он прождал там всю ночь, хотя, вероятнее всего, — подслушивал у дверей. Карл последовал, за ним, терзаемый ненавистью и страхом. Капитан, провожая его в спальню, резким окриком разбудил стражу,

уснувшую в прихожей; люди повскакали со скамеек и стукнули о пол алебардами.

Карл испытующе окинул своим косящим взглядом лица солдат, одно за другим, по мере того как их выхватывал из мрака свет факела. Затем ушел спать.

Однако заснуть он не мог; перед его закрытыми глазами мелькало множество лиц

— все враги, враги, и среди них — последние, кого он видел: лица его собственных гвардейцев. Один раз ему представилось, будто дверь отворяется, это

тянулось мучительно долго, пока он, наконец, не почувствовал, что глаза у него

на самом деле закрыты. Тогда он осторожно приоткрыл веки: ничего, кроме бледного мигания фитиля, плавающего в масле. Но Карл уже не в силах был выносить тревожное молчание этой ночи, он встал со своего ложа, как был, в

ночном белье, крадучись, проскользнул в боковую дверь, окольными путями добрался до своей прихожей. Солдаты охраны спали на скамьях, но среди них,

выпрямившись и скрестив руки на груди, стоял капитан, и неожиданно, появившийся

король перехватил его чересчур сосредоточенный взгляд. Такой взгляд бывает

только у заговорщиков. Заметив, что его накрыли с поличным, этот негодяй напустил на себя скучающий вид; но подозрения короля становились все мучительнее. Карл так и остался на пороге комнаты; сначала он отглянулся, как

будто за ним шли следом его защитники, потом, сложив руки рупором, зашептал:

— Амори, я только на тебя надеюсь, ты мне друг. Но когда свет твоего факела

упал на лейтенанта, я понял, что он предатель. Затей с ним ссору, и чтобы я

его больше не видел! Иди во двор. Я сейчас пришлю его.

Капитан повиновался, а Карл начал шептаться с проснувшимся лейтенантом.

Он

советовал ему не ждать драки. — Бей — и делу конец! А потом кричи, как будто он

напал на тебя!

Затем король проскользнул обратно в свою спальню и появился снова, лишь когда услышал, что солдаты подняли шум. — Что тут происходит? Дорогу! — приказал он необыкновенно властным тоном. Люди позади него смолкли, Карл, вздрагивая от утреннего ветра и бушевавших в нем чувств, перегнулся через перила винтовой лестницы. В сером утреннем свете глубоко внизу лежало неподвижное тело. А рядом кто-то размахивал руками и звал на помощь. За спиной

Карла прозвучал спокойный голос матери: — Прикажи ему замолчать и пусть поднимется сюда. — Только сейчас Карл заметил, что она выслала солдат из прихожей. Он сделал знак стоявшему внизу убийце. Тем временем мадам Екатерина,

задав несколько коротких вопросов, уже успела узнать, что натворил ее

неповоротливый, но своенравный сын.

— Линьероль, — обратилась она к лейтенанту, когда его голова появилась над ступеньками лестницы. — Вы оказали королю важную услугу.

— Не стоит благодарности, мадам, — беззаботно отозвался молодой человек. И тут же все выложил: — Да ведь капитан Амори был тайный гугенот, разве вы не знали, мадам? Он разгадал ваши планы относительно его партии, и нынче очень был взволнован. Этой ночью я от него и узнал, какие дела предстоят. Что ж, я готов участвовать! С радостью! Превеселенькая будет резня!

Карл Девятый, который был в одной сорочке, слыша эти слова, затрясся от холода и страха. Ноги не держали его, и он прислонился к стене. Хорошо еще, что юный Линьероль стоит, вытянувшись перед ним, а мадам Екатерина с обоих глаз не спускает. Своим жирным и благодушным голосом она заявила: — Вы сегодня показали себя, молодой человек, и заслужили стаканчик. Идемте! — Переваливаясь, повела она лейтенанта в свою опочивальню, открыла низенький, приземистый шкафчик, украшенный деревянными резными конусами, и налила ему вина.

— А теперь отправляйтесь-ка спать, — сказала она, когда лейтенант допил стакан и как-то вдруг весь ослабел. — Можете сегодня быть свободным, — ласково добавила Екатерина. Но он, видно, уже не понял ее, он вышел, пошатываясь. Королева проводила его взглядом до лестницы, а он, внезапно выпрямившись, как палка, грохнулся вниз головой. Тогда Екатерина Медичи с довольным видом закрыла дверь.

— Шею он себе сломал, — добродушно заметила она. — Это нужно было, сын мой, для того, чтобы у тебя опять появился румянец на щеках. Все кончилось благополучно. И мы с тобой такие бледные, наверно, только из-за тусклого рассвета.

В тот же утренний час

В Нераке тот же утренний час розовел на цветах апельсиновых деревьев в саду, где он застиг Генриха Наваррского, который все не мог оторваться от Флеретты, семнадцатилетней дочки садовника.

— Пора, иди, мой любимый. Сейчас встанет отец — вдруг он увидит тебя здесь,
что он подумает?

— Ничего плохого, сердце мое. Верный слуга моей матери не может думать, что
я хочу его оскорбить.

— Но любовью ко мне ты и не оскорбишь его. Только меня ты своим отъездом
очень обидишь.

— Да ведь принцу приходится разъезжать по своей стране. То он едет в
ратное
поле, то...

— А еще куда?

— Для чего тебе знать, Флеретта? Узнав, ты счастливей не станешь, а мы
должны быть счастливы до тех пор, пока нам уже нельзя будет оставаться
вместе.

— Правда? И ты счастлив со мной?

— Счастлив! Как еще никогда! Разве я видел такой восход? Он румян и
нежен,
словно твои щечки. Никогда его не забуду. И память о каждом цветке в этом
саду
сохранится в моей душе навеки.

— Заря коротка, а скоро отцветут и цветы. Я останусь здесь и буду ждать
тебя. Куда бы ты ни уехал, что бы с тобой ни случилось, помни обо мне и о
комнате, в которой благоухало садом, когда мы любили друг друга, и о моих
губах, которые ты..

— Флеретта!

— ...сейчас в последний раз поцеловал. Теперь иди, не то сюда за тобой
придут, а я не хочу, чтобы другие видели твой прощальный взгляд!

— Тогда опустим наш последний взгляд в колодец. Пойдем, Флеретта. Обними
меня за шею! А я обниму твой стан! Теперь мы оба смотримся в зеркало
воды, и в
нем встречаются наши глаза. Тебе семнадцать лет, Флеретта.

— А тебе восемнадцать, любимый.

— Когда мы станем совсем стариками, этот колодец все еще будет помнить
нас,
и даже после нашей смерти.

— Генрих, мне уже не видно твоего лица.

— И твое померкло внизу, Флеретта.

— Но я слышала, как упала капля. Это была слеза. Твоя или моя?

— Наша, — услышала Флеретта его уже удалявшийся голос; а она еще отирала слезы. — Флеретта! — донесся до нее последний зов Генриха; затем он скрылся из глаз, и она почувствовала, что этот зов относится уже не к ней: возлюбленный посылал имя этого миновавшего часа часу грядущему, который ей неизвестен и в котором скоро затеряется легкий звук ее имени.

Генрих сел на коня. Майский ветер приятно обдувал его высокий прямой лоб и слегка вдавленные виски и приподнимал пряди русых кудрей. В комнатухе у девушки он не успел их пригладить, и они легли мягкой волной. Пока он не отъехал метров на сто, в его ласкающих глазах еще лежал, как тень, след прощания, затем скачка прояснила их. Во рту он держал цветок: это все еще была Флеретта [7. — «Флер» — по-французски «цветок»]. Когда Генрих присоединился к своим спутникам, он выронил цветок.

А Флеретта, дочка садовника, семнадцати лет, принялась за свою обычную работу. Так она работала еще в течение двадцати лет, потом умерла; в то время ее любимый был уже великим королем. Она его больше не видела — только один-единственный раз, могущественным государем, когда он по воле загадочной судьбы возвратился в свой родной Нерак, чтобы снова изведать счастье, но уже с другими. Почему же все-таки люди утверждали, что она умерла из-за него? Со временем они даже отодвинули ее смерть в далекое прошлое, на тот день, когда он покинул ее, и рассказывали, будто она бросилась в колодец — тот самый, над которым оба однажды склонились, — когда ей было семнадцать, а ему восемнадцать лет. Откуда пошел этот слух? Ведь в то мгновение их же никто не видел!

Иисус

Генрих все еще ехал по своей стране, как и полагается князьям: они едут либо в ратное поле, либо к невесте. Генриху Наваррскому предстояло жениться на Маргарите Валуа, и для этого надо было совершить длинный путь из его Гаскони в Париж. Однако бедра у него были крепкие. Всадники по четырнадцати часов и больше не слезали с седла, но из-за лошадей все же приходилось останавливаться

на отдых, ибо у юношей не всегда водились в кошельках деньги для покупки новых:
пришлось бы потихоньку уводить коней прямо с пастбища.

Впереди обычно скакал Генрих, окруженный своей свитой, а за ними следовали еще многие. Один он никогда не оставался. Да и никто не оставался один в этом отряде, кругом слышался непрерывный топот копыт, стоял запах конского и людского пота, преющей кожи и сырого сукна. Не только белый жеребец Генриха нес его дальше и дальше — вся сомкнувшаяся вокруг него кучка его молодых единомышленников, тоже искавших приключений и таких же благочестивых и дерзких, как он, увлекала его вперед с неправдоподобной быстротой, — прямо как в сказке, мчали принца его товарищи из деревни в деревню. Распускались на ветках деревьев белые и алые цветы, из голубой небесной дали веяло мягким ветром, молодые удалцы шутили, спорили, пели. Иногда они делали привал, поедали груды хлеба, красное вино словно само собой лилось в глотки, такое же родное, как здешний воздух и земля. Девушки с золотистой кожей приходили и садились на колени к смуглым юношам. А те заставляли их визжать или краснеть — одни обняв слишком смело, другие прочитав столь же дерзкие самодельные вирши. В пути они частенько спорили между собой о религии.

Всем, кто окружал Генриха, было не больше двадцати лет или около того, все они были полны задорного упрямства, не желали признавать ни земных установлений, ни сильных мира сего. Властители, уверяли юноши, отвратились от бога. А господь бог смотрит на все совсем иначе, и образ мыслей у него примерно такой же, как у них, двадцатилетних юнцов. Поэтому они были убеждены, что их дело правое и что им сам черт не брат, а уж французского двора они боялись меньше всего. Пока отряд еще ехал через южные провинции, к нему навстречу выходили старики-гугеноты и, воздев руки к небу, заклинали принца Наваррского остерегаться врагов и беречь себя. Он знал, что долгий опыт сделал их недоверчивыми. — Но, дорогие друзья, теперь все пойдет по-другому. Я ведь женюсь на сестре короля. Вам будет дана свобода веры, вот вам мое слово.

— Мы восстановим свободу! — кричали всадники вокруг него.

— И власть народа!

— И право! И право!

— А я говорю: свободу!

Это слово звучало все громче. Вооруженные и воодушевленные им, поскакали они толпой на север. Многие, быть может, большинство, представляли себе дело так, что вместо тех, кого они сейчас называли свободными, власть и наслаждения будут вкушать они сами. Генрих вполне понимал этих людей, он умел распознавать их среди прочих и, пожалуй, даже любил — ведь с ними было легко. Однако не они были его друзьями. Друзья — народ тяжелый, всегда чувствуешь себя с ними как-то натянуто и начеку, и всегда нужно быть готовым дать в чем-то ответ.

— А в целом, — говорил Агриппа д'Обинье, ехавший рядом с Генрихом в толпе его спутников, — ты, принц, являешься только тем, чем тебя сделал наш добрый народ, потому и можешь быть выше его, ибо творение иной раз выше художника, но горе тебе, если ты станешь тираном! Против явного тирана сам господь бог дает все права самому ничтожному чиновнику.

— Знаешь, Агриппа, — отозвался Генрих, — если это так, то я буду добиваться места самого ничтожного чиновника. Но только, поверь, все это измышления пасторов, король остается королем!

— Ну, тогда радуйся, что ты всего лишь принц Наваррский.

Д'Обинье был коротышка, его голова почти не выступала над головой лошади, Генрих и то был выше. Когда Агриппа говорил, то подкреплял свои слова решительными взмахами руки; пальцы у него были длинные, а большой палец искривлен. Рот широкий и насмешливый, глаза смотрели на все с любопытством; будучи вполне мирским юношей, он, однако, в тринадцать лет решительно воспротивился, когда захотели сделать из него католика, а в пятнадцать уже сражался за истинную веру под началом Конде. Восемнадцатилетний Генрих и двадцатилетний Агриппа были давние товарищи, они сотни раз уже успели поспорить друг с другом, сотни раз мирились.

Он ехал справа от Генриха. Слева вдруг раздался звучный и строгий голос, читавший стихи:

Всегда вы кровь готовы проливать,
Чтоб ваши приумножились владенья
Ценою этой страшной хоть на пядь.
Состроив добродетельную мину,
Торгуют судьи правдой и добром.

Едва ли впрок пойдет наследство сыну,
Коль вором был отец и подлецом[8. - Перевод Вл. Микушевича.]

— Друг дю Барта, — заметил Генрих, — откуда у такого добродушного петушка, как ты, берутся столь ядовитые стихи? Да от тебя девушки бегать будут!

— Я и не им читаю. Я читаю эти стихи тебе, милый принц.

— И еще судьям. Смотри, дю Барта, не забудь про судей! Не то останутся тебе для обличения только твои злые короли!

— Вы злы от слепоты, да и все мы, люди. Пора нам исправиться. Забыть о девушках — это мне пока не по силам, но от любовных стихов я совсем хочу отучиться. Буду впредь сочинять только духовные.

— Что же, умирать собрался? — спросил молодой принц.

— Я хочу когда-нибудь пасть в битве за тебя, Наварра, и за царствие божие.

После этих слов Генрих смолк. Стихотворение «О короли, во власти ослепленья» осталось у него в памяти, и он втайне решил, что никогда не будут из-за него люди лежать убитыми на поле боя, платя своей жизнью за расширение его королевства.

— Дю Барта, — вдруг приказал он, — а ну-ка выпрямись в седле, как только можешь! — Верзила-дворянин повиновался, и принц посмотрел на него снизу вверх не только насмешливо, но и с восхищением.

— Тебе там сверху еще не видно прелестной мадам Екатерины со всем ее непотребным домом? Ведь ее распрекрасные фрейлины ждут вас, не дождутся.

— А тебя, скажешь, не ждут? — спросил Агриппа д'Обинье, многозначительно подмигнув. — Впрочем, нет, ты же теперь добродетельный жених. Но, насколько мы тебя знаем... — Тут все расхохотались. А Генрих громче всех.

Сзади кто-то крикнул: — Будьте осторожны, господа! Любовные приключения с фрейлинами, как известно, уже многих наградили таким подарком, которого они не забудут до своей блаженной кончины.

Молодые люди рассмеялись еще веселее. Но в это время какой-то человек протиснулся к принцу и поехал рядом с ним, оттеснив остальных. Всадник не обращал никакого внимания на то, что его возмущенные спутники были готовы тут же наброситься на него с кулаками. У этого юноши лицо было особенно выразительным, но оно казалось слишком маленьким, так давил на него огромный

лоб. Глаза эти много читали, и их взгляд уже был скорбен, хотя господину Филиппу дю Плесси-Морнею шел всего двадцать четвертый год, а было ему суждено прожить семьдесят четыре.

— Я только что слышал веление божие! — возвестил он, обращаясь к принцу.

—

Господь приказал мне обратиться с речью к Карлу Девятому, и пусть эта речь побудит его объявить свободу вероисповедания и подняться на защиту Нидерландов от Испании.

— Лучше уступи свою речь господину адмиралу, — посоветовал Генрих. — Он-то заставит себя выслушать. Нас они еще не боятся. Но, надеюсь, скоро будут бояться.

Генрих и дю Плесси могли беседовать друг с другом, не таясь, ибо ехавшие вокруг них молодые люди увлеклись перечислением всех удовольствий, ожидавших их при французском дворе. Говорилось вслух и об опасностях, приводились примеры. Упомянуто было также название той болезни, которой все так боялись. Тут Морнеем овладело великое воодушевление, и он воскликнул:

— Пусть я заражусь! Но Карл Девятый все-таки даст нам свободу веры!

— Ну, тогда ты будешь выглядеть довольно постыдно!

— Все мы выглядим довольно постыдно. Это все пустяки в сравнении с вечностью. Разве и наш Иисус — не такой же опозоренный человек, распятый бог? А мы все-таки в него верим! Верим в его учеников, в этих подонков человечества и к тому же евреев! Что он оставил после себя, кроме жалкой женщины, постыдного воспоминания и славы глупца, каким его почитали сородичи? И если императоры боролись против его учения мечом и законом, то как же боролся каждый в собственной душе с самим собой! Боролась плоть против духа! И все-таки народы покорились слову немногих мужей и царства поклоняются — кому же? Какому-то распятому Иисусу. Иисус! — воскликнул Морней так горячо, что все прислушались и посмотрели вокруг: с какой же стороны явится тот, кого он призывает? Ибо ни один из них не сомневался, что Иисус явится к ним и будет с ними, когда придет час, его час.

Для них все чудеса его были свежи, язвы кровоточили, и неудержимо лились

слезы из глаз обеих Марий. Голгофу они видели отсюда своими земными очами — оголенный, тусклый холм, а позади клубятся темные тучи. Гугеноты ехали среди Иисусовых маслин и смоковниц, они сидели однажды вместе с Иисусом на браке в Кане Галилейской. Его история сливалась с их действительностью, они впервые ощущали его как часть самих себя. Он был такой же, как и они, только святостью превосходил он их и, как дерзнул выразиться дю Плесси-Морней, своим позором. И если бы сын человеческий вдруг появился из-за ближайшей гряды скал, чтобы повести их за собой, он, конечно, ехал бы не на смешном и нелепом осле, а на статном боевом коне, и сам был бы в колете и панцире, а они окружили бы его и кричали: «Сир! В прошлый раз вас победили враги, они распяли вас. На этот раз, с нами, победите вы! Убивайте их! Убивайте их!»

Так воскликнули бы в этой толпе гугенотов люди обыкновенные и немудрящие, увидев перед собой живого Иисуса из плоти и крови. На место иудеев и римских воинов прошлого они бы теперь поставили современных им папистов и прежде всего постарались бы за их счет обогатиться. Однако не таким простым представлялось все это Генриху и его ближайшим друзьям. Когда они думали о возможном появлении Христа, их охватывали сомнения. Дю Барта спрашивал своих спутников, можно ли, если бы Иисус вернулся и все началось сызнова, посоветовать ему не идти на распятие, если оно было предопределено и должно было послужить спасению мира. Долговязая фигура юноши сторбилась, ибо никто ему не ответил. Дю Плесси изобразил еще более яркими красками то, что он называл позором распятого, но в чем, однако, и была сила его и слава. Морнея, несмотря на его сократический склад, тянуло ко всяким крайностям, и он чувствовал себя при этом столь хорошо, что дожил до семидесяти четырех лет. Беднягу же дю Барта оскорбляли людская слепота и низость, а также невозможность что-либо улучшить в мире или узнать, как это сделать; по этой причине ему и суждено было рано умереть, хотя он погиб в грохоте сражения. Что же касается Агриппы д'Обинье, то его охватил неудержимый творческий порыв в тот самый миг, когда дю Плесси так горячо призывал Иисуса. С этой минуты Агриппа начал сочинять и, кажется, был бы готов, если Иисус явится очам смертных, приветствовать и его в стихах. Все, что

позднее было создано Агриппой, родилось из того часа и того огня. Это наполняло его счастьем, и этим он нравился своему принцу. С другой стороны, Генриха привлекал и дю Барта с его беспредельной верностью. И его пленял дю Плесси с его склонностью к крайностям.

Но в душе Генрих сознавал, и притом гораздо глубже остальных, что, говоря по правде, на общество господ нашего Иисуса Христа ему и его товарищам едва ли можно рассчитывать. По его мнению, надежды на такую честь у них было не больше, чем у католиков. Никто ведь еще не доказал ему, что господь предпочел именно протестантов, хотя они, вероятно, и любили его сильнее. Но, невзирая на эти таившиеся в нем сомнения, он разделял все чувства своих сотоварищей. После призыва к Иисусу слезы выступили на глазах и у Генриха. Однако он не был уверен, что они действительно вызваны мыслями о господе. Пока они закипали в груди и поднимались к горлу, еще может быть. Но когда они блеснули на глазах, уже нет. Лик Иисуса заслонился образом Жанны, и Генрих заплакал потому, что никогда еще мать, представ внутреннему взору сына, не казалась такой бледной. В сопровождении своих пасторов, которые всюду проповедовали, много лет ездила она по стране, не имея где преклонить голову, как Иисус; подобно ему, терпела ненависть и презрение, изменчивость боевой удачи и опасности, как он, бежала от врагов — она, женщина, его дорогая матушка. Это был тяжкий путь, и она шла им ради истинной веры. Может быть, сейчас он уже привел ее на Голгофу. Ибо, в конце концов, она все же была в руках Екатерины, так как господин адмирал распустил протестантское войско и только угрожал старой королеве. И до тех пор, пока новый поход не принесет ей новых опасностей, повелевала Екатерина. Даже путешествие в Париж, к невесте, Генрих совершил по ее приказу: на этот счет он себя не обманывал. Он умел трезво смотреть на жизнь. Колиньи могла отвлечь его вера, Жанну — высокое упорство, но Генриха трудно было обмануть.

Ее новое лицо

Он прятал письма матери на груди, и ему очень хотелось снова их все

перечестъ, также и письма его сестрички. Но Генрих никогда не оставался один, быстро мелькали дни при ярком свете солнца и ночи при звездах... Они ехали не одну неделю, природа уже стала северной, но теперь это не поражало Генриха. Сколько принц Наваррский себя помнил, под копытами его коня всегда бежала земля его королевства, ибо пока он ехал верхом, оно тоже не оставалось на месте: оно жило, стремилось вперед, несло его с собой. И ему казалось, что такое движение не имеет ни начала, ни конца; он не всегда ощущал его лишь как собственное движение — нет, это текло своим путем само королевство, в темные загадочные судьбы которого Генриху предстояло вмешаться. Где-то на его пути залегла ночь под кронами деревьев и подстерегала его.

— Агриппа, скажи по правде, что нас ожидает при французском дворе?

— По правде? — повторил д'Обинье. — Между прочим, твоя свадьба, которую, вероятно, отпразднуют с большой пышностью... А если тебе уж так хочется знать, то все страдания святых мучеников.

— Ты говоришь — все, потому что сам не знаешь, какие именно?

— Так оно и есть, Генрих. Ведь и ты испытываешь странное предчувствие в тот час, когда над нами кружат летучие мыши и светляки. При свете дня оно исчезает.

Они говорили шепотом. Все это не предназначалось для посторонних ушей.

— Мы ночуем сегодня в деревне?

— В Шонее, мой принц.

— Шоней в Пуату. Хорошо. Там я приму решение.

— Насчет чего?

— Ехать ли дальше. Мне нужно в тишине посоветоваться с самим собой и спокойно перечестъ письма королевы, моей матери. Позаботься о том, Агриппа, чтобы у меня наконец была отдельная комната.

Но после того, как они угощались в течение двух часов, сидя за длинными столами перед харчевней в Шонее, принц Наваррский уже не помышлял об уединении, напротив, он сделал знак какой-то пышнотелой девице, чтобы она поднялась впереди него по лестнице, или, вернее, по стремянке, ведущей на чердак.

Приближаясь к этой лестнице, он услышал неистовые вопли; особенно выделялся басовитый голос какой-то бабищи, которая, вытащив другую жалобно визжавшую женщину из каморки, волокла ее вниз. Кто-то светил им огарком, стоя возле лестницы, — оказалось, Агриппа д'Обинье. Видимо, он-то и позвал мать девицы и выдал своего друга Генриха, но он ничуть не был смущен, а, наоборот, смеялся. Генрих сейчас же выхватил кинжал из ножен.

— Ах, ты! — гневно накинулся он на приятеля.

Что же делает стихотворец Агриппа? Он вырывает одну из перекладин лестницы, словно желая воспользоваться ею как оружием... Лестница шатается, обе женщины с воплем прыгают вниз, падают на обоих мужчин и сбивают их с ног. Тут уж Генрих думает только о том, как бы выбраться из свалки. Это ему удастся, но огарок погас, и его обступает глубокий мрак. А где же остальные? Исчезла даже лестница! Наконец он ощупью нашел выход из харчевни и уснул в кустах, сквозь которые блестели звезды.

Когда Генрих проснулся, стояло раннее июньское утро — тринадцатый день месяца; ему было суждено навсегда запомнить этот день. Жаворонок, заливаясь песней, вспорхнул с поля в еще бледную синеву неба. Над головой принца благоухала сирень, неподалеку журчал ручей, трепещущие тополя заслоняли от него деревню. Свежесть утреннего часа настроила его беззаботно, он прошелся вдоль тополей быстрым, легким шагом раз, другой, третий — просто чтобы подышать этим воздухом и порадоваться началу дня. Но потом он все же вспомнил о письмах, которые намеревался перечесть и обдумать. Юноша остановился, вытащил их из-за пазухи и пропустил между пальцами, словно колоду карт. А зачем читать? Все ведь сводилось к тому, что он должен жениться на толстухе Марго, на «мадам», как ее почтительно называла сестренка. В этом вопросе обе дамы, Екатерина и Жанна, оказались — в кои-то веки! — одного мнения, а дальше видно будет, справится ли господин адмирал с ядосмесительницей, останется ли моя супруга паписткой и попадет ли за это в ад! «Весьма сомнительно, — размышлял он. — Я и сам не раз становился католиком и уже был готов для геенны огненной. Все может случиться,

заранее не угадаешь.

Одно можно сказать наверное: ни за что моя строгая мать-гугенотка не допустила бы у себя при дворе такой распушенности, когда женщины сами зазывают к себе мужчин. Об этом она и пишет, ее слова я наизусть запомнил».

Вот тут-то оно и случилось: он вдруг увидел перед собою мать – но совсем иначе, чем обычно видит внутренний взор; несравненно яснее предстало перед ним лицо королевы Жанны – в каком-то пространстве, которое не было, однако, сероватым воздухом утра. Внутри у него вспыхнул гораздо более резкий, яркий и страшный свет, и в нем Генрих увидел мать уже усопшей. Это не были запомнившиеся ему черты живой Жанны, когда громоздкая, обитая кожей карета увозила ее, а он смотрел ей вслед, стоя подле своей лошади. Нет, ввалившиеся щеки и тени – душераздирающие тени, подобные тоске обо всем, что утрачено, они окутывали ее всю, такие прозрачные, будто под ними скрывалось Ничто. О, большие глаза, уже не гордые, любящие или гневные, какими вы были когда-то! Наверно, вы меня уже не узнаете, хотя и увидели столь многое, чего мы здесь пока еще не видим!

Сын упал на поросший травой холмик; всего за минуту перед тем у него было так легко на сердце, и вот он уже охвачен смертельным страхом – не только потому, что у его дорогой матушки было это новое лицо, но главное оттого, что оно уже являлось ему во сне, он сейчас вспомнил когда: четыре ночи тому назад... Продолжая сидеть на холмике и машинально тасовать письма, Генрих считал, думал, и сердце его сжималось. Случайно взглянув на письма внимательнее, он заметил, что два из них, очевидно, были вскрыты тайком еще до того, как он сломал печати! Четыре ночи тому назад? Едва заметный надрез вокруг печатей был сделан весьма искусно, потом сверху накапали воску, чтобы все скрыть. Но почему мать явилась четыре ночи назад – и вот опять, только что?

Последняя строка в последнем письме была: «Пора настала, сын мой, собирайся в дорогу и выезжай». И тогда ему стало ясно, что королева Жанна хотела отнять власть у мадам Екатерины, а Медичи прочла ее письмо. «Моей дорогой матушке грозит смертельная опасность!» – Он вдруг понял это, мгновенно вскочил с холмика, побежал между тополями. – Д'Арманьяк! – крикнул он, увидев своего слугу раньше, чем тот его. – Д'Арманьяк, сейчас же на коней! Я не могу терять

ни секунды.

— Но, господин мой! — решился возразить слуга. — Все еще спят на сене, и хлебы еще только сажают печь.

Непреложные факты обычно сразу же успокаивали Генриха. Он уступил: — Ну, что ж, до Парижа все равно еще ехать пять дней. Я хочу искупаться в ручье. Принеси мне, д'Арманьяк, чистую сорочку!

— Я как раз нынче хотел ее выстирать. Я полагал, что здесь мы отдохнем. — И слуга-дворянин подмигнул своему господину. — Особенно по случаю свалившейся лестницы. Нам следовало бы ее опять приставить да наверстать упущенное.

— Негодяй! — воскликнул Генрих, искренне возмущенный. — Достаточно я и без того извалялся в соломе. — Затем резким тоном приказал: — Когда я вернусь с купания, чтобы все лошади были оседланы. — И тут же побежал к ручью, на ходу сбрасывая платье. Потом отряд действительно пустился в путь; но не прошло и четверти часа, как они увидели, что им навстречу скачет во весь опор гонец, он подъехал, не спрыгнул, а свалился с коня и, став на ноги, пошатнулся; кто-то поддержал его за спину, а он прохрипел: — Я... из Парижа... в четыре дня вместо пяти. — Лицо его пошло белыми и багровыми пятнами, язык вывалился изо рта, и, что казалось еще более тревожным, из широко раскрытых, смятенных глаз выкатились крупные слезы. И такая тишина воцарилась вокруг гонца, что было слышно, как они падают на его колени.

Генрих, сидя в седле, протянул руку, взял поданное ему письмо, однако и не подумал вскрыть его; напротив, рука его бессильно повисла, он опустил голову и сказал среди великой тишины раскинувшихся вокруг просторов с затерянной в них горсточкой людей, сказал вполголоса: — Моя дорогая матушка умерла. Четыре дня тому назад. — Он обращался к самому себе, остальные это ясно почувствовали. И они сделали вид, что не слышат, — пусть сообщит им вслух; бережность и чуткость выказали даже самые отчаянные буяны. Наконец новый король Наваррский прочел письмо, снял шляпу, и все тоже сняли; и тогда он сказал им:

— Моя мать, королева, скончалась.

Иные из его спутников переглянулись, на большее они не отважились.

Подобное

событие не из тех, с которыми легко примиряешься: оно влекло за собой величайшие перемены; перемены ждут и их самих, но какие, они еще не знали.

Жанна д'Альбре воплощала для них слишком многое, и она не смела умирать.

Она

вела их вперед и кормила их. Она помогала им добывать хлеб, который растет на

пашнях, и хлеб вечной жизни. Наши свободы! Жанна д'Альбре добилась их для нас!

Наши крепости — хотя бы Ла-Рошель на берегу океана — она их для нас завоевала!

Наши молитвенные дома на городских окраинах! Она их сохранила; мир в наших

провинциях, наши женщины, возделывающие поля под покровом господним, пока мы

скачем на конях в ратное поле и бьемся за веру, — всем этим была Жанна д'Альбре! Какая же судьба постигнет нас теперь?

Эта мысль сменилась ужасом, затем гневом, и сейчас же неудержимо вспыхнуло

подозрение, что кто-то в этом повинен, что тут действовала рука преступника,

ибо столь великое несчастье не может совершиться само собой. Покойница мешала

сильным мира сего, и вполне ясно, кому именно. В этом растерявшемся отряде люди

понимали друг друга без слов, у них были одни и те же мысли и чувства. В толпе

слышались отдельные бессвязные возгласы, как будто их издавал спящий, лишь

постепенно они становились громче, сливались в гневный ропот, угрожающе нарастали; и наконец из кучки гугенотов вырвались слова, словно кинжал,

выхваченный из ножен, словно кто-то их произнес со стороны, другой вестник,

незримый: — Королеву отравили!

Все наперебой стали повторять их, каждый произносил вслух, как бы вслед за

незримым вестником:

— Отравили! Королеву отравили! — И сын умершей повторил их вместе со всеми,

и он получил эту весть, как остальные.

И тут произошло нечто неожиданное: юноши протянули друг другу руки. Они не

стovarивались, но это была клятва отомстить за Жанну д'Альбре. Ее сын схватил

руки своих друзей — дю Барта, Морнея и д'Обинье. С Агриппой он объяснился, сжав

его пальцы и как бы желая сказать: «Вчера поваленная лестница, возня с женщинами, а сегодня вот это. В чем же мы можем упрекнуть друг друга, в чем раскаиваться? Такова жизнь, и мы пройдем через нее рука об руку». И своего слугу д'Арманьяка, которого он перед тем так разбранил, Генрих тоже взял за руку. В это время чей-то голос начал: — Явись, господь, и дрогнет враг!

Сначала пел один Филипп дю Плесси-Морней, ибо среди всех он был наиболее склонен к крайностям: в его душе обитала слишком неугомонная добродетель. Но когда он повторил первую строку, к нему присоединилось еще несколько голосов, а вторую уже пели все. Они спешили, молитвенно сложили руки и пели — горсточка людей, которой не видел никто, кроме, быть может, господа бога, — ведь ему они и воссылали этот псалом; пели, как будто звонили в набат, воссылая ему псалом!

Явись, господь, и дрогнет враг!
Его поглотит вечный мрак.
Суровым будет мщение.
Всем, кто клянет и гонит нас,
Погибель в этот грозный час
Судило провиденье.

Последний вестник

Они допели до конца, потом смолкли, ожидая слова своего юного вождя. Ведь он стал королем Наварры здесь, на этой чужой проезжей дороге, и должен им сказать, куда теперь ехать, что делать. Дю Барта наклонился к Генриху, проговорил вполголоса: — Ваша мать погибла первой. Вторым будете вы сами. Поверните обратно!

— Соберем наших единомышленников! — посоветовал ему Морней. — Ревнителю истинной веры сбегутся к вам со всего королевства. Мы двинемся на этот преступный двор, и никто нас не одолеет.

Д'Обинье же сказал гораздо спокойнее:

— Вам нечего бояться за себя, государь, пока жив хоть один из этих людей...
— Эти люди смотрели на него, и он продолжал: — Старик пожертвовал ради нашего дела всей своей жизнью, я знаю, я слышал, что говорил ночью адмирал своей супруге. — И точно он был ясновидцем, Агриппа стал повторять слова Колиньи, сказанные им жене.

Так как д'Обинье был поэтом, он мог поведать о ночной беседе супругов так, будто сам присутствовал при ней:

— Уверена ли ты, что никакие испытания не могут тебя поколебать? — спрашивал Колиньи супругу. — Положи руку на сердце, проверь себя, останешься ли ты твердой, если даже все отпадут и тебе придется с позором, который обычно идет вослед за неудачей, удалиться в изгнание? Смотри! Даже король Наваррский готов отступить — он женится на родной дочери той, кто наш главный враг.

Тут уж Генрих не выдержал. Он вскипел: — Не мог адмирал этого сказать! А если ты, Агриппа, считаешь, что мог, значит, лжет твоя муза! Я тверд в нашей вере... А теперь едем дальше!

Но этого-то и хотел Агриппа, считая, что спокойных убежищ на свете нет, и чем больше его внутреннее прозрение открывало ему опасности человеческой жизни, тем решительней поэт устремлялся вперед.

Всадники снова двинулись в путь под затянутым облаками небом. Но вскоре дорогу им преградили какие-то люди с воздетыми руками. И все твердили одно и то же: «Королеву Жанну отравили». Однако никто не мог объяснить, откуда это стало известно. Под конец всадники уже перестали спрашивать, кто они, из какой деревни. Достаточно было того, что они идут бог весть сколько времени, чтобы увидеть нового короля Наваррского и поведать ему то, что они знают. Многие уже так устали, что их первоначальный гнев угас и они в страхе бормотали, как заклинание, те же зловещие слова.

Даже на самых беззаботных искателей приключений подобные встречи оказывают свое действие. А тут произошла еще одна, решающая. На лесной опушке они неожиданно столкнулись с дворянином — неким Ларошфуко, все его отлично знали, он был другом их короля. И этот дворянин тоже имел измученный вид человека, проскакавшего в четыре дня путь, на который нужно пять. Всего несколько слов сказал он юному королю, но Генрих сейчас же натянул поводья и повернул обратно. Тогда повернул и весь отряд и, ни о чем не спрашивая, в глубоком молчании возвратился в Шоней.

Приехав туда, Генрих прежде всего отыскал уединенное тенистое местечко под сенью тополей и приказал Ларошфуко, гонцу его матери, в точности все ему

поведать. Последние земные мысли умирающей Жанны перед тем, как ее дух вознесся к богу, были о сыне. Она не хотела, чтобы он из страха отказался от своего путешествия: об этом и речи не было. Однако она продолжала считать, что в Париж он должен явиться только как сильнейший.

Ее совет был подсказан опытом последних месяцев, а этот опыт был тяжел и горек. Она полагает — и чтобы высказать эту мысль, королева еще раз нашла в себе силы для своего необычного голоса, похожего на звон колокола, — что свадьба ее возлюбленного сына послужит началом решающих событий, но они могут стать решающими либо для него, либо для его врагов. Последние ее помыслы были мужественно устремлены навстречу всем опасностям жизни и на то, как их победить. Были времена, или ей казалось, что были, когда порок все же пугливо прятался от людских глаз. А сейчас — так велела она передать своему Генриху — он дерзко поднял голову и глумится над добродетелью. Затем, уже в предсмертные минуты, она, обращаясь к богу, произнесла слова псалма:

Явись, господь, и дрогнет враг!

Последний вестник извлек ее завещание и, коснувшись его губами, вручил королю. Однако в нем она не обмолвилась ни словом о своих сокровеннейших тревогах, ибо под конец не доверяла даже бумаге. Она поручала заботам Генриха его бедную сестренку. И тут Генрих, наконец, зарыдал, — он еще не пролил ни одной слезы.

Сквозь слезы он то и дело восклицал: — Бедная сестренка! Так назвала ее наша мать! — И сердце подсказало ему: «Она должна быть здесь! Мы же одни на свете! Ничего и никого нет у брата и сестры, кроме друг друга! Все остальное — обман души и зрения, все эти женщины, и возвышенные чувства к ним, и страх, как бы ни одной не упустить! А на самом деле я всегда упускаю только одну, и каждый раз — только ее! У нее мне еще никогда не приходилось просить любви или искать понимания. Мы с ней дети одной матери, и нам нечего таить друг от друга. Говорят, у нее мой смех. А сейчас она плачет теми же слезами, но даже эти слезы, которыми она оплакивает нашу мать, не упадут на мои руки. Она далеко, она всегда от меня далеко, и мы не едины в нашей высшей скорби — ее и моей!»

Тут он узнал от гонца, что его сестра Екатерина тоже хотела ехать. Все уже было готово: и лошадь во дворе и карета за городскими воротами. Однако сестру задержали – не силой, но под всякими ловкими предложениями, пока Ларошфуко наконец не уехал, да и ему не легко было вырваться: пришлось действовать очень решительно.

– Значит, ее держат в плену? – спросил брат, глаза у него были уже сухие и гневные, рот горько скривился.

Нет, он ошибается. Ее окружают заботами и вниманием, особенно Марго, его невеста, и даже старуха Екатерина. Свадебное торжество, которого, видимо, ждал с нетерпением двор, так омрачено смертью королевы Наваррской, что нельзя допускать новых прискорбных случайностей. Не хватало еще, чтобы случилась беда с сестрой, болезненной молодой девушкой, ведь она, может быть, даже унаследовала от матери слабые легкие.

Генрих близко нагнулся к Ларошфуко и, содрогаясь, спросил:

– Значит, дело только в легких?

Последовало долгое молчание. Наконец вместо ответа дворянин пожал плечами.

– Кто подозревает яд? – спросил Генрих. – Только наши друзья?

– Еще больше подозревают другие, ибо они знают, на что люди там способны.

Генрих сказал: – Я предпочитаю не знать. Иначе мне пришлось бы только ненавидеть и преследовать. А слишком большая ненависть лишает сил.

У него всегда было такое чувство, что жить важнее, чем мстить, и тот, кто действует, смотрит вперед, а не назад, на дорогих покойников. Однако оставались его сыновние обязанности, из-за них он сдерживал себя и, ожидая подкрепления, день за днем сидел в Шонее, хотя и рвался отсюда. Его гугеноты на конях стекались к нему со всех сторон, да и сам он высылал им навстречу проводников, чтобы те показывали дорогу. Ему хотелось явиться в Париж с большими силами, как того требовала Жанна. Он успел передать и ее последние распоряжения своему заместителю в королевстве Беарн. Когда письмо было дописано, Генрих заметил, что не подчеркнул в ее поручениях того, что касалось духовной жизни, а ведь

матери она была дороже всего! Сын только подивился — как мог он совершенно забыть о религии? — и сделал необходимую приписку.

Гонец, принесший ему весть о смерти королевы и о крайне подозрительных обстоятельствах, при которых она произошла, потратил четверо суток на путь из Парижа. Генрих же ехал из Шонья в Пуату три недели. Когда Генрих встретил его, тот совсем изнемогал. Генрих делал привалы, останавливался для ночевки, принимал пополнения, пил вино и смеялся. Да, смеялся. Истомившиеся гугеноты дивились, въезжая в его лагерь; а он махал руками, приветствуя их, и шутил на их южном наречии. В тот час, когда гонец пустился в путь со своей скорбной вестью, сыну во сне привиделась мать, у нее было новое лицо — лицо вечности, а незадолго до приезда гонца Генрих опять вспомнил это лицо. Но теперь он уже не видел его, и оно больше не являлось ему никогда. Позднее он стал вспоминать Жанну в цветущую пору ее жизни, вспоминал ее ум, и волю, и как она руководила им в годы его отрочества; но и для этого надо было представлять себе ее образ, ибо образы не умирают.

Moralité

Voyez ce jeune prince déjà aux prises avec les dangers de la vie, qui sont dêtre tué ou dêtre trahi, mais qui se cachent aussi sous nos desirs et même parmi nos rêves généreux. C'est vrai qu'il traverse toutes ces menaces en s'en jouant, selon le privilège de son âge. Amoureux a tout bout de chemin il ne connaît pas encore que l'amour seul lui fera perdre une liberté qu'en vain la haine lui dispute. Car pour le protéger des complots des hommes et des pièges que lui tendait sa propre nature il y avait alors une personne qui l'aimait jusqu'à en mourir et c'est celle qu'il appelait la reine ma mère.

Пучение

Взгляните на сего молодого принца, он уже вступил в единоборство с теми главными опасностями, которые нам посылает жизнь, — быть убитым или преданным, — а также с теми, какие таятся в наших желаниях и даже в наших великодушных мечтах. Правда, он проходит шутя меж всеми угрозами, но такова привилегия юности. Влюбляясь на каждом шагу, он еще не ведает, что именно любовь лишит его той свободы, которую тщетно домогалась отнять у него ненависть. Ибо для защиты его от людских злоумышлений и капканов, расставляемых его собственной природой, жила на свете одна женщина, и она его столь сильно любила, что от этой любви умерла — та, кого он называл «моя мать-королева».

III. Лувр

Пустые улицы

Сын покойной, ехавший на свою свадьбу, весело поглядывал по сторонам и наслаждался быстрой рысью своего коня. Ветер уже доносил ароматы двора — кушаний, раздушенных людей, женщин, которых не надо просить, а, наоборот, они нас просят. Генрих решил, что добьется у них успеха, ибо он действовал отважнее других и был уверен, что его душевные и физические качества произведут должное впечатление на прекрасный пол. Марго тоже останется им довольна. Когда он думал о ней, ему приходили в голову самые остроумные шутки. Друзьям нельзя, конечно, в этом признаться, но прошлое его невесты, о которой ходила дурная слава, ничуть его не отталкивало, наоборот, оно сулило ему немало. В таком состоянии молодой путешественник находил, что большинство любопытных деревенских девушек вполне заслуживают внимания, частенько слезал ради них с коня и целовал их. И, уже убежав от него, они долго дивились тому, как хорошо умеет целоваться принц-гугенот.

В значительно разросшемся отряде задние ряды всадников говорили другое, чем передние, ибо последние из примкнувших к нему еще кипели гневом на убийство их королевы. Они-то ехали вовсе не на праздник, а на торжество своей мести: каждому придворному были они готовы бросить вызов. Иногда их настроение

передавалось и передним рядам, овладевало даже Генрихом и его друзьями.
Тогда
Морней начинал вещать о чрезвычайных опасностях, ожидающих их при дворе,
дю
Барта, как обычно, сокрушался о греховности человеческой природы, а
Агриппа
д'Обинье дивился премудрости божией, ради нашего же блага посылающей нам
врагов. И тогда Генрих возражал ему с перекошенным ртом, и его смятенный
взгляд
был полон ужаса и гнева:

— Посылать нам старую отравительницу я его не просил! Этого долга за ним
не
было!

Да, по временам, когда его душа как бы впитывала в себя всю ненависть
товарищей, он вдруг спрашивал себя: «Да что я, с ума сошел? Мне жениться
на
дочери убийцы, когда гроб моей матери, может быть, еще не предан земле?
Кто
окажется следующей жертвой? А я подгоняю коня и спешу не только
пожертвовать
своей честью, но и жизнью? Яд — это, должно быть, ужасно», — думал Генрих
и
ощущал уже заранее какой-то неведомый холод и оцепенение.

Ужас и ненависть придавали его слуху особую чуткость к голосам в задних
рядах, возмущавшимся миролюбием их поездки. Ведь мир все равно нарушен!
Нет,
надо собрать войско, вернуть адмирала! Пусть Париж, и так уже трепетавший
перед
ними, теперь увидит в них не только любезных гостей! Поэтому отряд делал
частые
остановки, чтобы посоветоваться, медлил. Поэтому бесплодно проходили
недели. Но
когда все, даже Агриппа, начинали колебаться, король Наваррский вдруг
отдавал
приказ: — На коней! Вперед! — и, сидя в седле, распевал, как ребенок,
который
едет через темный лес.

Так достиг он места, откуда уже было поздно возвращаться, ибо здесь его
ждали первые придворные из числа тех, кому надлежало торжественно
встретить
жениха принцессы Валуа; среди них был и его дядя — кардинал Бурбон. С
этой
минуты весь отряд непокорных гугенотов оказался как бы пленником
кардинала,
ехавшего в своем красном плаще рядом с их королем. На другой день,
девятого
июля, они достигли предместья Сен-Жак. И тут они возликовали. Правда, это
была
горькая радость: во главе дворян-протестантов, ожидавших своего Генриха,
ехал

сам несравненный Колиньи, герой их благочестивых войн. После ухода королевы Жанны от всех сражений за веру только и осталось им, что этот старик. Благодаря этим двум людям – Жанне и господину адмиралу – они уже не были преследуемыми еретиками. Они явились сюда как некая сила и сейчас войдут в город! Спутников Генриха охватило бурное воодушевление, они замахали шляпами, на смуглых лицах задрожали бородки, и они единодушно приветствовали своих славных любимцев. Генрих и Колиньи обнялись. Гугеноты кричали: – Да здравствует господин адмирал! – Они бушевали: – Да здравствует наш Генрих!

Это была сельская латынь, которой здесь никто не понимал.

Однако странным было то, что, несмотря на шумный въезд отряда, улицы продолжали оставаться безлюдными. Генрих раньше, чем его всадники, заметил, что товары в окнах лавок убраны, ставни заперты. В его сердце еще таилась надежда, что у городских ворот его встретят старейшины с обнаженной головой, если не все, то хотя бы несколько; но из ратуши нет никого, да и вообще не видно горожан. Только кошка перебежала улицу под самыми копытами лошадей. Отрядом овладело чувство тревоги, люди притихли.

Улицы были узкие, дома по большей части тесные и убогие, с островерхими крышами, деревянные балки поддерживали камень, нередко встречались наружные лестницы. Деревянные части домов были ярко раскрашены, у каждого дома был свой святой, и, казалось, только он один и смотрел с перекладины ворот вслед гугенотам. Те несколько раз слышали брошенное им вдогонку: «Разбойники!» – и можно было подумать, что это крикнул святой.

Некоторые церкви и дворцы были в новом духе и бросались в глаза своей пышностью и красотой – уже не камни, а дивная поэзия и волшебство, точно перенесенные сюда из иных миров. У некоторых всадников при виде этого словно ширилась грудь от счастья, и в сердце своем они приветствовали языческих богов на крышах и порталах, даже фигуры мучеников на храмах, ибо эти святые имели сходство с нагими гречанками. Однако для большинства суровых борцов за веру смысл увиденного ими оставался закрытым. И было у них только одно желание – опрокинуть идолов, рассеять наваждение. Потому что идолы самонадеянно жаждали

затмить самого господа бога.

Молодой король Наваррский, ехавший между кардиналом и адмиралом, внимательно разглядывал Париж; это был незнакомый город, никогда еще Генрих его как следует не видел: ребенком его держали, как в плену, в монастырской школе. До его ушей доходили враждебные возгласы, он замечал, как люди пытаются выглянуть в глазок наглухо закрытых ставен. Все, что ему довелось увидеть во время своей первой поездки через город, были любопытные служанки и уличные девки, да и те прятались в глубокой тени. По две высывались они из закоулков, там блеснут светлые глаза, тут вспыхнут рыжие волосы, смутным пятном выступит из сумрака белая кожа. Казалось, они-то и воплощают в себе тайну этого враждебного города, и Генрих поворачивался в седле и тянулся к ним, как и они к нему. Ты, белая и румяная, покажись, покажись, ты, плоть и кровь, горячее, чем языческие богини, твои краски нежны и смелы, такие расцветают только здесь. Всадники нежданно сворачивают за угол, и там стоит одна, вполне осязаемая в солнечном свете, она застигнута врасплох, она хочет бежать, но встречается взглядом с королем разбойников и остается, оцепенев, привстав на цыпочки, словно готовая упорхнуть. Она стройна и гибка, точно поднявшийся из земли стебелек риса, кончики ее длинных-длинных пальцев слегка отогнуты назад, лебединая шея упруга. Кажется, в ее пленительном смятении и женский испуг и жажда, чтобы ее сейчас же обняли. Когда Генрих поймал ее взгляд, в нем была веселая насмешка, а когда он наконец был вынужден отвести свой взор, ее глаза уже отдавались, затуманенные и ничего не видящие. Да и он опомнился не сразу. «Она моя! – сказал он себе. – Другие – тоже! Париж, ты мой».

Было ему тогда восемнадцать лет. И лишь в сорок, когда борода его уже седела и он стал мудрым и великим, он завоевал Париж.

Сестра

В эту минуту его двоюродный брат Конде заявил: – Мы прибыли. – Уже стража княжеского дворца окружила лошадей и повела их через передний двор. Генрих с

кузеном поднялись по широкой лестнице, однако Конде пропустил его вперед, а может быть, сам Генрих обогнал его, взбежав наверх, ибо там ждала его женская фигура. «Ты! Только ты!» Бешено застучало его сердце, он не в силах был слова вымолвить. Они обнялись, он поцеловал сестру в одну и другую щеку, такие же мокрые от слез, как у него. Брат и сестра не говорили о матери. Вновь и вновь узнавая знакомые черты, каждый из них целовал лицо другого – родное с детства и навеки. Они молчали, а на них смотрели вооруженные слуги, стоявшие у каждой двери.

Из одной двери, наконец, вышла старая принцесса Конде, обняла Генриха и прочла молитву. Потом, заметив, что он запыхан и устал, приказала принести вина. Генриху не хотелось задерживаться, он спешил в Лувр, чтобы предстать перед королевой, однако двоюродный брат сказал ему, что ни его дяди кардинала, ни других придворных, встречавших его в предместье, уже нет. Они простились, и их свита разошлась. Но перед тем они настояли, чтобы сопровождавший Генриха большой отряд гугенотов был распущен. Королю Наваррскому разрешили иметь при себе только пятьдесят вооруженных дворян, а он привел с собой восемьсот. Конде сказал:

– Ведь с ними можно было захватить Париж. От страха жители позапирались в своих домах. Была минута, когда двор перед тобой дрожал. О чем же ты думал?

Генрих возразил: – Об этом – нет. Но если бы следовало так поступить, мне бы тоже это пришло в голову. А теперь о другом. Я жду не дожусь увидеть королеву Франции.

Его сестричка вполголоса, но решительно попросила его: – Возьми меня с собой. Я же часть тебя, и нам предназначена одинаковая доля.

– Ну конечно! – воскликнул он. Перед невинной девочкой Екатериной он старался держаться бодро и уверенно. – Значит, и женюсь не я один. Твой брат Генрих раздобудет тебе красивого мужа, сестричка! – Затем обнял ее и убежал.

Королевский замок

А внизу поредевшее войско Генриха, в котором оставалось все же больше сотни всадников, продолжало толпиться во дворе и на улице. Тридцати из них он поручил охранять сестру. С остальными поехал к замку. Вот, наконец, и мост через реку – «Мост ремесленников», откуда королевский замок еще кажется новым и роскошным. Однако если пройти улицу под названием «Австрия», то он представится довольно жутким сооружением – не то крепость, не то тюрьма, насколько можно судить по первому взгляду, брошенному на эти черные стены, грузные башни, островерхие крыши, широкие и глубокие рвы с вонючей, застоявшейся водой. У тех, кто хочет туда войти, невольно сжимается сердце, и особенно трудно тому, кто только что был в широких полях, под высоким небом. Но Генрих хочет войти, чем бы это ни кончилось: там ждут его приключения. Свободный ум юноши подсказывает ему, что волшебством его не возьмешь. Старая ведьма, которая представлялась ему в детстве такой страшной, все еще сидит, как паук в паутине. Его бедная мать попала в нее. Но уж тем зорче будет остерегаться он.

Кони, гремя копытами, вступают на мост. В памяти Генриха быстро проносится воспоминание о реке, оставшейся позади, – то последняя радостная картина широкого мира, светлые облака плывут в небе, вода поблескивает между челнами с сеном, тяжеловозы тащат по берегу грузы под крик и гогот простого люда, который ни о чем не догадывается.

«Но здесь убили мою мать – убили! здесь!» Им вдруг овладевает ярость. Бурно разрастается, ослепляет. Кто-то трогает его за плечо – один из друзей, и Генрих слышит, как тот говорит: – Они заперли за нами ворота.

Его мысль сразу становится холодной и ясной. Охрана Лувра в самом деле поспешила отрезать Генриха от моста, и его вооруженный отряд не успел проехать. Люди Генриха подняли шум. Он приказал им успокоиться, обрушился на привратников и, конечно, услышал в ответ лишь отговорки: для стольких протестантов-де и места не хватит!

– Так потеснитесь!

— Да вы не беспокойтесь, господин король Наваррский, в Лувре хватит места для всех гугенотов, которые войдут в него! Чем больше, тем лучше. — Тут лучники и аркебузиры решительно встали по краям моста и крепко сжали в руках оружие.

Генрих оглядел своих немногочисленных спутников, затем во главе отряда проехал еще ровно двадцать футов, как он прикинул на глаз, потом копыта снова застучали по доскам — это был подъемный мост. А вот и двери — двери Лувра, темные и массивные, меж двух древних башен. И наконец свод, настолько низкий, что всадникам пришлось спешиться и вести лошадей в поводу. Одной рукой они взяли за уздечку, другая невольно легла на рукоять пистолета, И еще двадцать футов отсчитал Генрих, весь охваченный тревожным ожиданием. Так он вошел во двор.

Во дворе была теснота, но, невзирая на множество людей, все выглядело вполне мирно. Здесь были только мужчины — всех сословий, вооруженные и безоружные, предававшиеся самым разнообразным занятиям: придворные спорили или играли в кости, горожане входили и выходили из дверей присутствий, помещавшихся в нижнем этаже самого старого здания. Прервав свою работу в жарких кухнях, повара и слуги выбегали подышать холодноватым воздухом: на этом дворе людей прохватывала дрожь даже в июле. Посередине еще виднелся фундамент разрушенной башни; это была самая толстая башня замка, с древних времен громоздилась она здесь, бросая тень на весь двор. Лишь король Франциск, двоюродный дед Генриха, снес ее. И все-таки света было в этом дворе не больше, чем на дне колодца. Он так и назывался: Луврский колодец.

Приезжие затерялись в пестрой толпе. Генрих и его спутники не увидели здесь ни одного знакомого лица. Но когда они попытались пробраться со своими лошадьми через толпу, королевская стража остановила их.

— Назад, господа! Да, да, без возражений! Вернитесь! Назад, через мост, конюшни снаружи, никаких исключений, особенно для гасконцев, у которых даже слуг нет.

Вот как их встретили! Генрих не открыл, кто он, запретил говорить и остальным и в ответ только начал потешаться над молодым офицером, начальником охраны. Это продолжалось до тех пор, пока тот не схватился за шпагу; тогда долговязый дю Барта обезоружил его и крикнул, пожалуй, слишком громко: — Это же король Наваррский!

Вокруг них уже толпился народ; послышался шум и спор, лейтенанта с трудом оттащили от его противника, так как он не желал отпустить гугенота: — Он такой же король Наваррский, как я король Польский. — Наконец кто-то растолкал толпу глазующих слуг, и Генрих увидел, что это его собственный слуга Арманьяк, которого здесь уже знали. Арманьяку удалось убедить их, что это правда, впрочем, лишь пустив в ход все свое красноречие. Заверения простых людей успокоили и господ, и все отступили на почтительное расстояние от будущего зятя французского короля.. Д'Арманьяк держался рядом со своим господином, а по другую сторону шел молодой офицер, опасавшийся еще каких-либо недоразумений. Когда они очутились, у подножия лестницы, офицер сказал, стараясь оправдать свое усердие:

— Еще и месяца нет, как тут вот лежал мой начальник с перерезанным горлом. А мой предшественник, некий господин де Линьероль, упал с лестницы и убится насмерть; как это случилось, никто не знает.

Стремясь загладить свою вину, он выдал тайну, прошептал: — А прямо над лестницей-то и живет королева, мадам Екатерина. — Испугавшись этих слов, он вдруг умолк и не сделал дальше ни шагу.

Д'Арманьяк проводил Генриха в его комнату. Этот дворянин, исполнявший должность слуги, опередил своего господина и уже успел все приготовить — даже бак, до половины налитый водой и столь огромный, что, не будучи великаном, король вполне мог сидеть в нем. А какие одежды тут были разложены — молодой сельский государь никогда таких не носил! Сплошь белый шелк, затканый блистающими узорами, самый красивый свадебный наряд в мире. Генрих догадался, что за его изготовлением наблюдали глаза матери, и его собственные сейчас же наполнились слезами.

Королева Жанна не заказала ему траурной одежды, — значит, она не ожидала смерти и была сражена внезапно. Нет, это была не болезнь, а яд. Генриху казалось, что теперь он уверился окончательно, и в ту минуту он был даже этому

рад. Сейчас он предстанет перед убийцей его матери.

Злая фея

Генрих приказал доложить о себе старой королеве, и, когда он был готов, за ним явились два дворянина. Долго шли они втроем по дворцовым комнатам, не обменявшись ни словом, и он понял, что молчат они из осторожности. В другое время он забросал бы их вопросами, но сейчас был одержим одной-единственной мыслью — он думал только о ненависти. Но вот провожатые распахнули двери в приемную королевы, почтительно склонились и оставили его одного. У двери, в которую вошел Генрих, словно застыли два коренастых швейцарца, а двое, охранявших вход во внутренние покои, скрестили перед ним алебарды. Все четверо казались изваянными из камня, их светлые глаза были устремлены прямо перед собой. Они не видели чужеземца и не поняли бы его, даже если бы он громко воскликнул: «Мою мать отравили!»

Так как Генриху пришлось ждать, то, ему взбрело на ум спрятаться за оконным занавесом. Когда войдет отравительница, пусть не знает, что он тут, а он подглядит, какое у нее будет выражение лица. Но — в окно светило полуденное солнце, а позади тщательно ухоженного сада он увидел светлые воды реки и все то, с чем он, подъезжая к воротам замка, уже распростился — ничего не ведающий шумный люд, шаткие высокие возы с сеном, скрипучие лодки и повозки. Бросился ему в глаза и длинный, озаренный солнцем дворцовый фасад, который был виден весь из этой угловой комнаты; фасад был великолепен, прямо какое-то чудо. Казалось, здание перенесено сюда по волшебству из сказочных миров мечты. В почтенном городе Париже местами вас встречали такие неожиданности, которые никак не вязались с его обитателями. Этот фасад был выше французского двора: он как бы поднимал его из Луврского колодца, где останки дряхлой башни догнивали на могиле столетий. Словом, это была блистательная, обращенная в будущее сторона очень мрачных, древних времен. Увидев дворцовый фасад, Генрих Наваррский понял, что хотя владелица замка и отравительница, но что она вместе с тем и фея. Правда, нужно всегда остерегаться ловушек лукавого, а такой ловушкой может оказаться даже прекрасный фасад. «Обман чувств, наваждение!» —

подумал молодой протестант, — или же это подумала покойница, воспользовавшись живым мозгом своего сына? Королева Жанна не раз бывала в этой комнате. Здесь она добивалась прав для своей веры и своего сына, здесь боролась и изнемогала, и, может быть, здесь ей был предложен стакан воды, куда старая волшебница что-то подсыпала.

Генрих круто обернулся. Он не слышал даже шороха, однако Екатерина Медичи уже успела, переваливаясь, дойти до середины комнаты. Он узнал только ее силуэт, так как был ослеплен светом, она же отыскивала взглядом молодого человека и рассматривала его. А где ее руки — она спрятала их в складках платья? Королева была в черном, она заговорила своим тусклым голосом. «Вот она — жива!» — с горечью подумал сын покойной. Охваченный ненавистью, он слушал, как Екатерина заверяла его, что глубоко скорбит о своей дорогой подруге Жанне и так рада, что он, наконец, здесь у нее. Этому он охотно верил, но решил про себя, что еще заставит старуху пожалеть об этом. Тем временем его глаза привыкли к сумеркам, царившим в комнате. Да, Екатерина прятала руки! А еще приплела десницу господню! Сын покойной Жанны прикусил язык, иначе он не сдержался бы и потребовал: «А ну-ка, покажите ваши руки, мадам!» Впрочем, она и показала их, Вытащила из складок юбки мясистые ладони с жирными отростками вместо пальцев, на которые ему так хотелось взглянуть, и, усевшись, положила их на стол.

В гневе Генрих сделал к ней шаг, другой. Эти шаги были слишком торопливы и не обдуманы. Ведь перед старой королевой стоял широкий массивный стол, а за ее спиной — четыре здоровенных швейцарца с длинными пиками. Она могла не тревожиться и говорить благодушным тоном.

— Как мне жаль вас, молодой человек! Всего восемнадцать лет, не правда ли, и уже круглый сирота. Но я буду вам второй матерью, буду направлять каждый ваш шаг, ведь шаги молодежи часто бывают слишком торопливы. И я знаю, молодой человек, что вы поблагодарите меня за это, у вас натура живая и искренняя. Мы оба заслужили того, чтобы понимать друг друга.

Его охватил ужас. Казалось, на столе стоит незримый стакан с ядом, и жирные отростки старухи уже подкрадываются к нему, а ее устами говорит бездна. Это

колдовские чары, их нужно разрушить! Вероятно, какие-то заклинания и магические знаки заставили бы это свинцовое лицо с отвисшими щеками лопнуть и растаять в воздухе! Однако не о таких фокусах думал Генрих в этот решающий миг; ему открылось нечто иное: он вдруг почувствовал в глубине души, что убийца его матери достойна сожаления, как та башня в Луврском колодце — остаток погребенных столетий. И все-таки башню скоро снесут окончательно. Может быть, Екатерина сама сделает это. Ей или ее поколению ведь уже пришлось возвести прекрасный, озаренный полуденным солнцем фасад дворца. Сама же она еще сидит здесь, как воплощение черного и неразумного прошлого. Зло, когда оно уже одряхлело, вызывает смех, даже если продолжает убивать. И, несмотря на его запоздалые злодеяния, оно порождает в нас жалость своей слабостью, своей ветхостью.

Поэтому юноша воскликнул звонко и уверенно: — Поистине вы правы, мадам! Я когда-нибудь, бесспорно, скажу вам спасибо! Да будут мои поступки так же непосредственны, как и ваши! Я постараюсь понравиться столь великой королеве.

Преувеличенной иронии подобного обещания она, конечно, не могла не заметить; но он и не скрывал ее. Черные, без блеска глаза Екатерины, вдруг ставшие колючими, действительно впились в его лицо, в котором не отражалось решительно ничего, кроме юношеской отваги. Под ее пытливым взглядом Генрих продолжал:

— От вас, мадам, я надеюсь услышать о кончине моей бедной матери-королевы больше, чем мне могут сообщить другие. Она имела счастье быть с вами близкой, и во всех своих письмах моя бедная мать всегда отзывалась о вас с высокой похвалой.

— Я думаю! — заметила Екатерина. Она вспомнила последнее письмо, в котором Жанна д'Альбре льстилась надеждой отнять у нее власть и которое Екатерина собственноручно вскрыла и снова запечатала. Об этом письме вспомнил и Генрих.

А старуха стала еще проще и сказала: — Дитя мое! — сказала прямо-таки дружелюбно.

— Дитя мое, мы не случайно здесь одни. Вы поступили хорошо и правильно, что прежде всего явились ко мне, иначе я сама пригласила бы вас, чтобы дать некоторые разъяснения по поводу смерти вашей матери, моей дорогой подруги. Тот,

кто не знает, как было дело, может в самых естественных событиях усмотреть тайну, и это вызовет в нем озлобление.

«Ловко разыграно!» – подумал он и ответил: – Вы совершенно правы, мадам, я сам в этом убедился. Никто из тех, кто видел мою мать-королеву незадолго до ее смерти, не поверил бы, что ее жизнь уже под угрозой.

– А вы, дитя мое? – напрямик спросила Екатерина, и притом с такой материнской заботливостью, как будто она самая честная старуха на свете. Вот он, этот миг! Ведь именно ради этих слов Генрих явился сюда. И сейчас он должен крикнуть: убийца! Так представлял он себе расплату с мадам Екатериной до того, как этот миг настал. Однако юноша медлил. Его жгучая ненависть натолкнулась на неожиданное препятствие. – Я жду ваших разъяснений, – изумленно услышал он собственный ответ.

Двое в черном

Она кивнула с довольным видом. Затем слегка повела плечом, подавая знак двум швейцарцам, охранявшим вход во внутренние покои. Солдаты опустили пики, распахнули обе половинки двери. Тотчас вошли двое одетых во все черное мужчин – высокий и поменьше. Они были с непокрытой головой, без оружия, но на их лицах лежала печать какого-то скорбного достоинства. Они склонились, как и полагалось, сначала перед королевой Франции, затем перед королем Наваррским, потом замерли, ожидая знака, приказа королевы, и, как только она милостиво опустила руку, заговорили, обращаясь к Генриху:

– Я Кайар, бывший лейб-медик ее величества королевы Наваррской. – Эти слова произнес долговязый и, видимо, сам глубоко проникся их торжественностью.

– Меня зовут Дено, я хирург. – Это был совсем другой тип, он с удовольствием обошелся бы без казенной скорбности.

– По приказу ее величества, я, Кайар, член факультета, четвертого июля, во вторник, был вызван в дом принца Конде и нашел королеву в постели, у нее был приступ лихорадки.

«Стакнулись, — подумал Генрих, — и теперь будут без конца разглагольствовать». Он сел.

— А какое лечение вы применили? — спросил он вторично мужчину в черном. — Клистир?

— Это не мое дело, — ответил хирург, — этим вот он занимается, — и толкнул локтем своего коллегу.

Врач побелел от гнева, однако продолжал с полным самообладанием:

— Я, Кайар, член факультета, незамедлительно произвел обследование и установил, что правое легкое у королевы весьма сильно поражено. Заметил я также необычное затвердение и предположил наличие опухоли, которая могла прорваться и вызвать смерть. Согласно этому, я и записал в своей книге: ее величество королева Наваррская проживет не более четырех — шести дней. Это было четвертого, во вторник. А в воскресенье, девятого, наступила смерть. — И он протянул Генриху упомянутую книгу с записями.

Генрих бросил беглый взгляд на каракули врача. Второй, одетый в черное мужчина построил такую рожу, которая ясно говорила, что заявлениям первого никакого значения придавать не следует, разве что комическое, и, видимо, решив, что пора высказаться, начал очень просто:

— Я всего лишь хирург Дено и совсем не знаменит, ваше величество, вероятно, никогда не слышали даже моего имени. Но вы, бесспорно, знаете прославленного господина Кайара, красу факультета. Его вскормила наука, а я всего лишь скромный ремесленник и работаю пилой. Он предрекает людям точный час их смерти, вопрошая, если нужно, даже звезды. Я же вскрываю тела людей после их смерти и притом все-таки кое-что нахожу, чего отрицать нельзя, ибо мои находки можно увидеть и ощупать. Но потом оказывается, что все это уже заранее было записано в сивиллиной книге великого Кайара, почему я остаюсь его ничтожным помощником.

— И он отвесил врачу низкий поклон.

А тот принял похвалу как нечто вполне заслуженное. — Так вот, — продолжал Кайар, — когда королева скончалась, я, следуя ее воле, выраженной еще при жизни, поручил здесь присутствующему хирургу Дено произвести вскрытие ее тела.

Сын покойной вскочил: — И вы это сделали? И вы осмелились?

Кайар продолжал хранить вид скорбный и достойный. — Не только тело ее величества приказал я по ее велению вскрыть, но и голову. Ибо королева страдала от мучительной щекотки в голове и опасалась передать какую-то неведомую болезнь своим детям. Она настаивала, хоть я и напоминал ей о том, что ничто не передается по наследству без воли господней.

— Докажи! — воскликнул Генрих и топнул ногой. — Иначе я ни одному слову твоему не поверю!

Тут врач и в самом деле извлек какой-то свиток, протянул его Генриху, и юноша прочел имя своей матери, написанное ею самой, это было несомненно. А сверху другим почерком были записаны ее распоряжения, о которых рассказал врач.

— И что же вы нашли? Скорей, я хочу знать!

Теперь заговорил хирург. — В теле оказалось все так, как и предвидел господин Кайар, — уплотнение пораженного легкого и опухоль, которая, лопнув, явилась причиной смерти. А в голове — вот что.

Точно фокусник, чуть улыбающийся удавшемуся фокусу, он указал на стол, где лежал большой, весь исчерченный лист бумаги. Еще за мгновение перед тем стол был пуст. Генрих склонился над листом и вздрогнул: на бумаге выступали контуры черепа, это был череп его матери. А хирург продолжал:

— Когда я распилил голову королевы..

— В моем присутствии, — торопливо вставил врач.

— Иначе череп и не удалось бы вскрыть.. Итак, когда я вскрыл его, я обнаружил под черепной коробкой какие-то пузыри, наполненные водянистой жидкостью, которая, вероятно, еще при жизни королевы разлилась по мозговой оболочке.

— Отсюда и необъяснимая щекотка, — заметил врач. Хирург толкнул его в бок и пропищал:

— Он вот объяснил! А я бы не смог. Только рисунок сделан мною. Видите, где я держу палец?

Но долговязый, хранивший торжественный вид, попросту отбросил палец своего подчиненного; тот прямо посинел от злости.

Пока врач подробно и с непоколебимой убежденностью объяснял значение линий и точек, Генрих, хотя и слушал его, однако в то же время продолжал наблюдать за мадам Екатериной. И она сначала склонилась над чертежом, внимательно разглядывая его, хотя, наверное, видела не в первый раз. Но чем яснее становилась болезнь ее милой подруги, тем больше откидывалась назад мадам Екатерина, пока снова не приняла прежнее положение в своем кресле с прямой спинкой.

— Это такой редкий случай, — заметил врач, — и настолько подозрительного свойства, что мой учитель и предшественник наверняка бы предположил здесь колдовство, я же верю только в природу да в волю божию.

Мадам Екатерина ободрительно кивнула и поглядела на сына своей подруги, — да, перед ним лицо доброй, простодушной женщины, быть может, искушенной и многоопытной, но в этой смерти она тоже ничего не понимает, она искренне встревожена загадочной немилостью судьбы. «Если б только я мог проникнуть в бездну ее взгляда!.. — думает сын отравленной Жанны. — Хотя почему она непременно должна быть отравлена? Все могло произойти вполне естественным путем. В искренности врача сомневаться не приходится, как, впрочем, и в ограниченности его познаний. А пузыри под черепом у моей матери? Чем они вызваны? Ядом? Ах, если бы я мог проникнуть в бездну этого черного взгляда и нащупать руками, что там прячется! Я хочу знать наверняка!»

Почти победительница

Его душевная борьба едва ли могла ускользнуть от умной старухи, однако Екатерина сделала вид, будто ничего не замечает. Она держалась так, словно ее единственная цель — смягчить горе скорбящего сына. Прежде всего она подала знак обоим лекарям, и они, поклонившись, удалились с тем же достойным и скорбным выражением, с каким вошли. Затем Медичи, видимо, решила дать ему опомниться, но воцарившееся молчание продолжалось, может быть, слишком долго: ненависть Генриха, на время утратившая свою напряженность, проснулась с новой силой. Он вспомнил о вскрытых письмах: именно после того, как они были отправлены, умерла его мать! Сам того не замечая, он большими шагами забегал по комнате. Мадам Екатерина спокойно следила за ним, и он, заметив это, снова почувствовал в душе смятение. Юноша внезапно остановился перед ней, окрестив руки, в недопустимо

вызывающей позе. Слово «убийца» уже грозило сорваться с его губ. Никогда еще он не был так близок к этому. Однако она предупредила взрыв и начала мирно и неторопливо:

— Милый мальчик, я рада, что вы теперь знаете столько же, сколько и я. Мне было приятно видеть, как вы тоже постепенно убеждались в истине. Теперь мы можем похоронить печаль в глубине наших сердец и обратиться к радостному будущему.

— А череп? — угрожающе бросил Генрих в лицо королевы, тяжелое и серое, как свинец. Затем поискал глазами на столе — листок с рисунком исчез; от изумления у него прямо руки опустились. Впервые мадам Екатерина не сдержала насмешливой улыбки, отнюдь для него не лестной. «Вы даже этого не заметили, милый мальчик», — точно говорила эта улыбка.

Как ни странно, неудача успокоила Генриха и настроила его самым деловым образом. Ничего не поделаешь. Екатерина взяла верх. Договориться с ней нужно. И он тут же забыл о ненависти и недоверии, точно их и не было. При его характере это было нетрудно. С чувством облегчения уселся Генрих против старухи, а, она одобрительно кивнула. — Нас с вами ожидает немало хорошего, — сказала Екатерина.

Генрих не ответил, и она продолжала: — Теперь мы друзья, и я могу сказать откровенно, почему я отдаю вам свою дочь: из-за герцога Гиза, который мог бы стать опасен моему дому. Он ведь был вашим школьным товарищем, и вам, вероятно, известно, что Генрих Гиз упорно домогается любви парижан... Он старается выказать себя более усердным христианином, чем я, а я, как известно, изо всех сил защищаю святую церковь!

При этих словах какая-то искорка сверкнула в ее непроницаемом взоре, а Генрих тут же забыл, что ему хотелось заглянуть в глубины ее души, и беззвучно рассмеялся вместе с нею: хоть в неверии своем созналась, и то хорошо. Презрение к ханжескому фанатизму сближало их. Впрочем, лицо ее тотчас опять стало серьезным.

— Но он добился того, что папа и Испания поддерживают его. На их деньги этот ничтожный лотарингец мог бы выставить против меня большое войско. Если так

будет продолжаться, этот Гиз, пожалуй, весь Париж поднимет. Больше того: он может нанять убийц. А чего он в конце концов добьется? Франция делается испанской провинцией.

Мадам Екатерине было все равно, что ее случайный собеседник – незначительный молодой человек. Она предавалась со страстью своему излюбленному занятию – заглядыванию в бездну.

– Ведь и я, – продолжала она вполголоса, – могла бы доставить приятное испанскому королю. Он злится на меня за то, что я шажу моих протестантов..

– Екатерина смолкает, она долго что-то обдумывает. Ее сжатые губы шевелятся, и это заставляет Генриха насторожиться больше, чем ее слова. – Нанимать убийц? – бормочет Медичи.

И она могла бы это сделать! Но только ей это ни к чему: ее собственная жирная ручка отлично умеет приготовить ядовитое питье! Он пристально наблюдал за ней, и она вскоре заметила его настороженный взгляд..

– Мои протестанты мне так же дороги, как и все остальные французы, – заявила она по-прежнему невозмутимо. И закончила, слегка подчеркивая свои слова: – Я ведь королева Франции.

– Это ваш сын – король, – необдуманно поправил он ее, вспомнив рассказ своей матери Жанны о том, что король страдает каким-то ужасным недугом и что оба брата Карла, ныне здравствующие, обречены на ту же болезнь, – старшим она уже овладела.

«Кто эта одинокая старуха, – спрашивает себя Генрих, – которая, видимо, надеется пережить всех своих сыновей? До остальных французов ей, в сущности, так же мало дела, как и до нас, протестантов». Вслух он сказал:

– Как прекрасен ваш замок Лувр, мадам! Но все, что придает ему блеск, идет с вашей родины. Архитектура ведь итальянская, – «так же, как и искусство изготовлять яды», хотелось ему добавить. Она пожала плечами, ибо из этих двух искусств первое было ей совершенно чуждо. Да и свою Флоренцию она ничуть не любила: в молодости она была там несчастна и подверглась изгнанию.

Однако мадам Екатерина умела быть только собой и ничем иным; этим она и была
сильна, пока жизнь ее не сломила.

Сейчас она подозрительно уставилась на юношу: — Вы говорите о короле?
Разве
вы виделись с ним раньше, чем со мной?

Он с живостью отрицал. Екатерина заговорила еще тише: ее слов не должны
были
слышать даже швейцарцы у дверей, хотя они все равно ничего бы не поняли.
—

Король бывает иногда не в себе, — зашептала старая дьяволица. Я никому не
говорю об этом, но на него иногда накатывает ярость, и он тогда бредит
убийством, бойней. Это у него от болезни, — настойчиво бормотала она.

А Генрих подумал: нечего сказать, в хорошую он входит семейку; впрочем,
ничего здесь нового нет. Но мать кровоточивых сыновей уже снова
успокоилась. —

Остальные два у меня удачные, особенно д'Анжу. Подружитесь с ним, мой
мальчик.

А главное, держите всегда нашу сторону против лотарингцев! Вы будете так
же
командовать нашим войском, как ваш отец, — вы можете, — и пригодитесь нам
не
меньше, чем он. Зато вы получите мою дочь. Но и тут, смотрите,
остерегайтесь
герцога Гиза. Женщины считают его красавцем.

А Генрих думает про себя: «И спят с ним. Нечего морочить мне голову,
мадам!

Мы друг друга знаем, и мне известно, какова та девушка, на которой я
женюсь.

Только моя дорогая мать не догадывалась...» — шептало ему его любящее
сердце.

И он сказал с вызовом: — Потому-то вы, мадам, и отослали Гиза до моего
приезда.

А старуха отвечала еще спокойнее: — К вашей свадьбе он вернется. Иногда
бывает лучше, чтобы на глазах у молодой девушки не торчал мужчина,
который

пользуется слишком большим успехом. А мне, старухе, следует постоянно
надзирать

за ним. Я хочу, чтобы все мои враги были собраны тут, у меня, в Лувре. К
ним

принадлежит и он, в этом не может быть сомнения.

Столь бесцеремонная откровенность могла бы оскорбить Генриха, хотя он уже
с

юных лет не верил в доброкачественность человеческой природы. Но

Екатерина

слишком уж обнажала жизнь. С другой стороны, в нем брало перевес какое-то
доверие, мало-помалу возникавшее в его душе во время их беседы. Когда

восемнадцатилетний юноша слышит столь лестное мнение о себе, он в конце концов попадает на удочку. «Мне лично этой знаменитой ведьмы бояться нечего, да и матери моей ничего она в питье не подмешивала». И если бы сейчас перед ним стоял на столе стакан, он был бы готов залпом выпить его.

Вместо этого мадам Екатерина подала знак, стража тут же распахнула наружные двери, и на пороге появились те двое дворян, которые проводили Генриха сюда. Слегка удивленный, Генрих простился и последовал за ними.

Нечистая совесть

Он заговорил со своими провожатыми. Один из них был первым дворянином короля, его звали дю Миоссен; это был человек крайне осторожный и тщательно скрывавший, что он протестант. Генрих сказал ему это прямо в лицо; по некоторым безошибочным приметам он умел распознавать ревнителей истинной веры. Принц спросил, смеясь:

- Вы что, боитесь парижан? Народ нас, верно, недолжбливает?
- Если бы вопрос шел только о народе, — загадочно ответил Миоссен.
- Стыдитесь! У первого дворянина короля должно быть больше гордости!

Затем Генрих покинул обоих придворных и ускорил шаг, ибо в глубине парка, содержащегося в образцовом порядке, заметил самого Карла Девятого; тот был один и возился со сворой собак, которые оглушительно лаяли. Генрих окликнул его. Но король не слышал, а в это время внимание Генриха привлекло нечто другое: он стоял под окном той комнаты, из которой только что вышел. И вот перед ним озаренный солнцем фасад во всей своей неправдоподобной прелести, быть может, искушение лукавого, но во всяком случае, если даже наваждение, то чарующее наши чувства. И тут же он понял, что мадам Екатерина отпустила его в слишком уж выгодную для нее минуту, когда он наконец решил, что его мать все-таки не была отравлена. Именно в тот миг, когда он этому поверил, Екатерина отпустила его. Она видела его насквозь с грубой прозорливостью, он же тщетно старался проникнуть в глубины ее непроницаемого взгляда. И тогда юношу охватил страх: в нем опять ожило то первоначальное ощущение, с которым он вошел в

комнату наверху, – вошел как судия и мститель. «Убийца!» Дважды удержался он и не произнес этого слова, и не только из осторожности, как опытный царедворец, но и потому, что старуха действительно внушила ему какое-то дурацкое, слепое доверие. «В таких случаях молодость – плохой советчик, по крайней мере меня она обрекла на полное бессилие!»

Он быстро отыскал знакомое окно. Нет, он все-таки не ошибся! Лицо тут же снова исчезло, Генрих не успел его рассмотреть; за ним следили, он чувствовал это. Проверяли, осталось ли что-нибудь от его ребячьей доверчивости? «Самая малость, мадам Екатерина! Я знаю далеко не все, и даже отчего умерла моя мать-королева, не знаю наверное! Но я не забуду никогда, что из двух искусств ваших соплеменников – составления ядов и благородного зодчества – вам доступно только первое. Вы злая фея, если только вы фея. Мне предстоит здесь изведать, что такое ужас, но при этом я должен смеяться. А про своего толстого сына она сказала, будто он бешеный».

Генрих снова направился к Карлу Девятому, но уже гораздо медленнее. Тот все еще не замечал его. Вернее, он отвел свой косящий взгляд и сделал вид, будто занят только собаками. Две собаки подрались. Король, начал науськивать их друг на друга, и они сцепились еще яростнее. Тогда он крикнул, перекрывая лай и рычание:

– Обе надоели! Пусть загрызут друг друга!

После такого приема, еще более глупого, чем неучтивого, Генрих повернулся, чтобы уйти. Тогда, Карл бросил свое занятие и пошел за ним. – Наварра! Что вам сказала моя мать-королева? – И скосил глаза. А Генрих решил: «Он, видно, ждал меня здесь внизу с большим нетерпением».

– Мы говорили все больше о черепах да об убийствах. Было очень весело, мадам Екатерина мне нравится, впрочем, и я ей тоже.

Карл вздрогнул, задрожал и пошатнулся.

– Ради господина, Наварра, я знать ничего не хочу об убийствах! Совсем недавно

два человека из моей личной охраны прикончили здесь друг друга, как вот эти злые собаки. У моей матери-королевы голова всегда набита всякими ужасами.

— А она то же самое говорит про вас, — вставил Генрих. У короля Франции словно язык прилип к гортани, он даже весь как-то съежился. Хотя на него, по выражению его матери, иногда нападало бешенство, страх все же пересиливал ярость. Так случилось и тут. Карл был в белом шелку, и поэтому казалось, что он даже не побледнел, а пожелтел.

И тут у сына умершей Жанны вспыхнуло новое подозрение: совесть Карла явно была нечиста. Этот сын и эта мать, объявлявшие друг друга сумасшедшими, — раскрытия каких тайн они опасались? Юноше невольно пришли на память слова друзей: «Вы будете второй жертвой. Соберите ревнителей истинной веры! Конечно, было бы благоразумнее покинуть, пока не поздно, этот разбойничий притон.

— Взять сестру — и прочь отсюда вместе с моими всадниками! Однако я не сделаю этого, ведь я для того и приехал ко двору, чтобы познать, что такое страх; и потом куда идут две девушки, впереди них, словно на поводу, выступают павлины с искрящимся оперением. Одна из них — Марго, родная дочь отравительницы» — это первая мысль, которая проносится в голове Генриха. Но ее сейчас же нагоняет вторая: «Марго стала красавицей!»

Лабиринт

Он радостно сделал к ней несколько шагов: — А, милая Марго! — громко воскликнул он. Карл Девятый удивленно обернулся, потом опять занялся своими собаками. Принцесса Валуа произнесла первые слова, только когда Генрих уже стоял перед нею; она сказала: — Надеюсь, ваше путешествие было благополучным?

— Ваш образ неизменно стоял передо мной, — поспешил он заверить ее. — Но в действительности вы несравненно лучше, чем на портрете. А кто ваша хорошенькая подружка?

— Мадам де Сов, — вместо ответа властно обратилась к ней Марго. — Отведите же птиц обратно! — Тогда фрейлина хлопнула в ладоши, и павлины в самом деле

пошли перед нею. Она все же успела произвести оценку этого юного провинциала, — достаточно ей было бросить на него насмешливый взгляд из-под высоких бровей.

Этот будет для женщин легкой и безобидной добычей! «Как в руках принцессы, так и в моих», — мысленно добавила она и удалилась, очень стройная и изящная.

— У нее нос слишком длинный, — заметил Генрих, когда фрейлина скрылась.

— А у меня? — капризно спросила Марго, ибо нос у той был ничуть не длинней, чем у принцессы, только более прямой.

— Одно несомненно, — сказал он, — у Матильды гонкие губы.

— У Шарлотты?

— Видите, вот вы и выдали ее имя. — Он был весьма доволен тем, что перехитрил Марго, так как ясно, чувствовал ее сопротивление.

— Мне больше нравится, когда губы полнее и мягче, и зубы должны быть не такие мелкие и ярче блестеть... — При этом он посмотрел на ее рот, потом взглянул ей прямо в глаза — но отнюдь не дерзко, — решила она про себя: недостаточно дерзко. Его взгляд был нежен и полон желания, Генрих попытался обнять ее этим взглядом, но очень учтиво и почтительно, не как ту соблазнительную девку на углу улицы. Из Марго, с ее полными ногами, вышла довольно-таки властная дама! Поэтому-то он и не брал ее приступом, да и глаза у нее отнюдь не стали покорными, незрячими и затуманенными. «Дочь убийцы! — вспомнил он и испугался. — Стала красавицей, пока мать творила черные дела!»

А Марго думала: «На мои ноги он все-таки поглядывает!» Ибо отлично помнила, что еще в детстве обещала ему, на качелях, и он тогда уже хотел это получить. А теперь что стоит между ними? Почему он оробел? Однако ее белое, как снег, лицо хранило глубокую безмятежность. Генрих не умел различать, как его дорогая матушка, что у Марго от жеманства, что от белил. Впрочем, Жанна считала фигуру девушки безупречной; это мнение разделял и ее сын, и его даже не отталкивало то обстоятельство, что Маргарита чересчур уж затянута. Не мог также предвидеть сын Жанны, что ее щеки когда-нибудь отвиснут. Хотя она уже не так обильно украшала себя с головы до ног сверкающими жемчугами и драгоценными камнями, как во время некоей процессии, Генриху она показалась великолепной и сулила всем его чувствам небывалые радости.

Он думал: «Строй из себя принцессу сколько хочешь, скоро мы все равно будем лежать вместе в кровати».

А в ее надменно откинутой голове проносились мысли: «Буду я когда-нибудь снова спать с Гизом? Едва ли, потому что этот мне нравится. Деревенский юноша — и все же королевский сын, как выразилась его мать».

А он думал: «Марго, Марго, с Гизом ты больше спать не будешь: тебе и меня хватит с избытком».

Тем временем она уже давно начала по-латыни какой-то холодный комплимент его походам и воинской славе. А он заверил ее на том же языке, что восхищен ее ученостью и образованностью, а также величием ее осанки. Каждый из всех сил старался щегольнуть самыми изысканно построенными фразами, но думали оба о другом.

Вдруг Марго переменяла тему разговора.

— Вы уже говорили с моей матерью.

Генрих вздрогнул, точно его поймали на месте преступления: ведь, что бы он ни говорил, о чем бы ни думал, в душе его неизменно жило одно: «Марго — дочь убийцы!»

— И с глазу на глаз, — добавила принцесса. — Относительно прискорбного события, как я полагаю? Примите мое искреннее соболезнование. — Ее подведенные синим веки заморгали, наконец блеснула слезинка. Он тут же схватил ее за руку и прошептал: — Пойдемте отсюда! — Ибо чувствовал за спиной косящий взгляд Карла. Учтиво провел ее Генрих по открытой садовой аллее, но едва они очутились за какой-то изгородью, юноша взволнованно спросил:

— Вы видели мою мать перед кончиной? Отчего она умерла? О, отвечайте! — Но принцесса, конечно, молчала.

— Вы ведь знаете, какие ходят слухи? — настойчиво продолжал он. — Скажите мне, что вы на этот счет думаете! Не хотите? Ах, Марго! Это дурно с вашей стороны!

Не отвечая, она пошла вперед по дорожке, извивающейся между двумя высокими

изгородами, и они очутились в лабиринте, где было сумеречно, даже когда светило солнце. Но чутье подсказывало ей, что лучше, если Генрих не будет сейчас слишком отчетливо видеть ее и она его. Он шел, прижавшись к плечу девушки, при каждом шаге касался ее, и она ощущала на своей шее его дыхание.

— Мне ужасно тяжело. Я словно брожу ощупью и никак не могу найти выход. — Так же блуждали они теперь по узким извилинам лабиринта. — Я всегда, всегда помнил о тебе! — проговорил он вдруг так горячо и трепетно, что Марго приостановилась и посмотрела на него: на глазах у юноши стояли слезы. Это были, без сомнения, искренние слезы, и вместе с тем он был уверен, что она наконец будет тронута и выложит всю правду.

— Я ведь сама наверняка ничего не знаю, — взволнованно начала она и вдруг смолкла на полуслове.

— Но у вас есть основания что-либо предполагать? Какой-нибудь повод?

— Нет! Нет! — Она словно заклинала его молчать. Тщетно!

— Мы ведь должны пожениться. Но, вы понимаете, почему я сейчас не целую ваше прекрасное лицо и не поднимаю вам юбки? У вас есть тайна от меня, и это сильнее всего остального.

Девушка только застонала. Однако он не давал ей пощады.

— Никогда еще моя страсть к вам не была так глубока, как теперь. Я смогу любить отныне только одну-единственную! — воскликнул Генрих и сам поверил своим словам. — Ах, Марго, Марго! Ведь вы дочь женщины, которая, может быть, убила мою мать!

Внезапно наступившее молчание и ужас, охвативший девушку, явились как бы ответом на его слова. Наконец Марго разрыдалась, она поняла, что стала теперь по-новому дорога сыну бедной королевы Жанны и что в той любви есть что-то грозное. Она сделалась для него каким-то роковым символом, образом из античной трагедии, тогда как сама по себе она довольно заурядная, добродушная девушка, не умеет противиться своим вожелениям и бывала за это иной раз даже порота; считает в порядке вещей, что при их дворе людей убивают и что каждого, кто становится поперек дороги ее матери, умеют ловко устранить. Сама Марго жила

среди всех этих злодеяний, нисколько ими не смущаясь, и частенько отдавалась увлечениям, в то время как рядом совершались убийства.

— Вы, может быть, дочь той женщины.. — повторил, он, теперь уже лишь для собственного спасения, лишь из-за того ужаса, который все больше овладевал его душой, как бы предостерегая от бурно разраставшейся страсти.

— Может быть, — сказала она с глубоким равнодушием. И в самом деле, без всяких доказательств, она была глубоко уверена, что и это злодейство могло быть совершено ее матерью с таким же успехом, как и все остальные, поэтому ей стало еще более жаль его, чем если бы он уже не сомневался и решительно бросил ей в лицо обвинение. Он был беззащитен, у него были ласкающие глаза, его мать убита ее матерью. А он готов ради Марго забыть обо всем. Это и особенно его полная невинность и непричастность к таким делам тронули ее сердце, оно пылко забилося, и Марго охватило нетерпеливое желание, чтобы юноша наконец оторвался от своих дум и кинулся на нее.

Он уже готов был это сделать, уже протянул к ней руки. Но в последнее мгновение он вскрикнул от ужаса, и она тоже вскрикнула — лишь поэтому, что его чувства стали полностью ее чувствами. Но увидела она далеко не то, что увидел он. Его блуждающий взгляд случайно задержался на одном из погруженных в зеленый сумрак закоулков лабиринта: оттуда им навстречу плыла призрачная фигура, словно желавшая встать между ними. Восемнадцатилетний юноша потерял голову, и прозвенел его отчаянный вопль:

— Мама!

Неизвестно, сколько времени продолжалось видение. Но вдруг он почувствовал, что Марго припала к его груди, ощутил желанную, покорную тяжесть ее тела, — она сама бросилась к нему, прижалась и проговорила, плача и смеясь:

— Там же просто зеркало, чтобы люди еще больше запутались среди дорожек; никто к тебе не шел, только я, твоя Марго! И теперь я — вот, потому что теперь я люблю тебя!

А сама думала: «Две слезы уже скатились у меня по щекам, посмотрим, выдержат ли румяна». Он же думал: «Теперь ей Гиз будет уже не нужен», — и стал мять ее

широкую жесткую юбку. Ибо при самых возвышенных побуждениях люди не забывают и о самых низменных.

Однако эти кошунственные мысли носились, как беспомощные челны по бурному морю, и это была страсть. Всюду вокруг них – нечистая жизнь, тайные злодеяния, и только они двое вырвались на просторы пьянящей бури. В это море хотим мы кинуться, и никто о нас больше никогда не услышит! Они замерли, обняв друг друга: прекраснейшие мгновения, единственные и незабываемые. И когда, гораздо позднее, им доводилось встречаться и они уже не раз испытывали друг к другу презрение и даже ненависть, они вспоминали о тех минутах и вдруг становились опять юношей и девушкой из лабиринта, где стоял этот душный и пряный запах...

Марго высвободилась первая. Ода просто изнемогла, чувства такой силы были ей еще неведомы. Забыл обо всем и Генрих. Как ни странно, но в первую минуту пережитое показалось ему постыдным, он уже готов был посмеяться и над нею и над собой. За таким подъемом обычно следует смущение, поэтому они продолжали блуждать по узким извилинам лабиринта, и Марго уже не могла найти выход. Но когда выход вдруг оказался перед ними, она остановила Генриха и сказала:

– К сожалению, ничего не выйдет. Я не буду твоей женой.

Впервые с детских лет назвала она его на ты – и только, чтобы отказать ему.

– Нет, Марго, мы должны пожениться. Иначе не может быть, – рассудительно настаивал он. А она:

– Разве ты не видел ту, которая хотела стать между нами?

– Моя мать сама желала этого брака, – торопливо сказал Генрих, чтобы пресечь все дальнейшие возражения. Она же промолвила, изнемогая, задыхаясь: – Мы этого не выдержим.

А имела она в виду, что им не выдержать такой страсти со столькими подводными рифами – грехом, происками, подозрениями; да еще покойница сует между ними свое несчастное лицо и мешает целоваться! Марго могла бы, если бы захотела, все свои мысли переложить в латинские стихи; но она этого не сделала, в ее чувствах не было тщеславия. Она смирилась, хотя смирение и было не

свойственно вольнодумной принцессе Валуа. В ней вдруг проснулось сознание христианского долга, а вместе с ним и потребность в человеческом самоуважении.

Нет, решительно в этом лабиринте с Марго произошло слишком много необычного, так не могло продолжаться. Все же она заявила:

— Тебе надо бы уехать отсюда, сокровище мое.

— Слышать, что меня так называют твои губы, и покинуть тебя?

— Это безнравственный двор. Я занимаюсь науками, чтобы ничего не видеть. Моя мать верит только своим астрологам, а те предсказали ей смерть королевы

Жанны, — вероятно, другие поручили им это сделать. И мало ли что еще они ей нашептали!

У Марго могли быть всякие предположения относительно будущих событий, но, вместо того чтобы обратить подозрения Генриха на ее мать, она предпочла свалить всю вину на астрологов.

— Поскорей уезжай! — повторила она.

— Вот еще! Точно я боюсь! — Его возмущение все росло. — Не хватало только, чтобы я закутался с головою в плащ и Париж освистал меня, когда я буду удирать!

— Это в вас говорит глупая гордость, сударь.

— А у вас, сударыня, на уме не то, что на языке. Уж не герцог ли Гиз?

Столь жестоко не понятая в своих самых чистых побуждениях, принцесса Маргарита сверкнула гневным взором на бессовестного, и он не успел опомниться, как она вышла из лабиринта.

Танец-приветствие

Выбравшись из темного лабиринта, ослепленный ярким сиянием дня, Генрих все

же увидел, что Марго ушла недалеко. Ее брат, король, перехватил ее и сжимал ей

плечо так крепко, что лицо девушки скривилось от боли. Притом он злобно сопел и

что-то выговаривал ей, а что, не разобрать. Ясно, что Карл слышал их последний

спор. Обо всем, предшествовавшем этому спору, он знать не мог. Но Генрих затрепетал от воспоминаний, что-то поднялось у него в груди.словно горячий

ключ, забивший из недр скалы. То же самое, конечно, чувствует и она. И напрасно она с этим борется!

Тем временем Марго удалось вырваться из рук брата, она выпрямилась, гордо и гневно стала перед ним.

— Вы не принудите меня, сир, выйти за гугенота. Мне всегда претили ваши интриги. Всем отлично известно, что я католичка, и я не собираюсь менять веру.

Карл Девятый сначала был изумлен столь неожиданным упорством своей сестрицы.

Она осмелилась назвать планы их матери, мадам Екатерины, интригами!

Затем он

пошел на попятный; кроме того, король заметил Генриха и громко заявил: — На

этот счет не беспокойся, моя толстуха, католичкой ты останешься и при своем

гугеноте! — И добавил вполголоса несколько слов: может быть, это была угроза,

может быть, он произнес имя их матери, ибо принцесса на миг испуганно отвела

взор и покосилась на верхнее окно. Брат, видимо, решил, что сопротивление ее

сломлено, взял за руку и неторопливо повел к предназначенному ей господину и

повелителю.

— Вот тебе моя толстуха Марго, — обратился Карл Девятый к Генриху Наваррскому.

И тут же продолжал: — Наварра, мы с тобой еще не поздоровались, я был занят собаками. Но мы наверстаем упущенное и выполним все в подобающей форме.

Он тут же отошел на двадцать шагов, хлопнул в ладоши — вероятно, он уже успел распорядиться, и даже весьма обстоятельно: задержавшись в лабиринте,

влюбленные дали ему эту возможность. Правда, все могло быть подготовлено и

другой особой; притом еще обстоятельнее.

С двух сторон, из-за Луврского замка, выходявшего своим прекрасным фасадом в

парк, появились две процессии разодетых придворных, одна двинулась в сторону

короля Франции, другая обогнула короля Наваррского. Перед домом выстроились

солдаты: слева швейцарская стража, справа французская гвардия. Те и другие

ударил в барабаны, и под вихрь барабанной дроби придворные заняли свои места.

Тотчас из ближайшей залы донеслись торжественные и нежные звуки скрипок и

флейт.

Тем временем средние двери дворца распахнулись. Оттуда вышли дамы – множество прекрасных фрейлин, но все они, подобно жемчугам, окружающим крупные бриллианты, только сопровождали обеих принцесс-жеманниц, а те, подчеркивая свою изысканность, держали друг друга лишь за кончики высоко поднятых розовых пальчиков и делали шажки так осторожно, будто ножки у них из стекла. Это были Маргарита Валуа и Екатерина Бурбон. Но как ни заученно выступали они, в их движениях чувствовались живость и своеволие. В такт музыке они проследовали между двумя рядами придворных. Солнце озаряло принцесс с головы до ног, и, когда они остановились и обернулись, чтобы видеть торжественную церемонию, которая должна была сейчас начаться, все на них засверкало, переливаясь блеском: парча, диадемы, нежная, холеная кожа. И все-таки они являлись лишь второстепенными фигурами, дополнительным украшением этого праздника. Присущий обоим насмешливый ум на этот счет их не обманывал; и самолюбивой Валуа и простодушной дочери Бурбонов это показалось забавным, и они сообщили друг другу о своих впечатлениях легким пожатием пальцев.

Встретились глазами и брат с сестрой – Генрих с Екатериной. И глаза их как бы сказали друг другу «Помнишь наш маленький замок в По, огород и дикие горы? К чему все эти фокусы! Однако внимание: нам и этому нужно учиться. Откуда у тебя такое красивое платье? А у тебя? От нашей дорогой матери, от кого же еще!»

Их разговор без слов продолжался лишь мгновение. Карл Девятый уже начал большой церемониал. Генрих услышал за своей спиной чей-то голос, может быть, он принадлежал д'Обинье, Конде или Ларошфуко, а может быть, и молодому Лерану: – Сир, – прошептал этот голос. – Точно подражайте во всем королю Франции!

– Кажется, это будет в первый раз, – отозвался Генрих, однако был тут же вынужден признать, что Карл в совершенстве владеет ритуалом. Король Франции – он был в белой шелковой одежде, коротких панталонах с буфами, длинных чулках и в берете с пером – сделал шаг, всего один шаг, но – этот шаг послужил сигналом для его братьев, герцогов Анжуйского и Алансонского, и они тут же встали у него

за плечами. Подобное сочетание трех фигур имело глубокий смысл, и оно означало:

«Я и мой дом». В этом сочетании было столько гордости и величия, что преждевременно опустившийся Валуа вдруг снова, как в юности, блеснул утонченностью своей породы. В ту же минуту оркестр заиграл громче: вступили деревянные трубы. До того музыка звучала пленительно, теперь она торжественно и важно, все нарастая, пока вновь не грянула дробь барабанов.

А над королем, над его сказочным дворцом, над залитой блеском свитой простиралось высокое, легкое, светлое небо. Звуки разносились далеко, особенно по водам Сены, которая была отделена от ограды изысканного парка лишь заброшенной и, пустынной полосой берега. По береговому откосу уже карабкался кое-кто из прибрежных жителей, самые ловкие пытались даже одолеть стену. Стража просто-напросто спихивала их вниз древками алебард; поэтому все, кому удавалось подсмотреть кусочек происходившего в парке представления, которое давали сильные мира сего, были очень довольны, и даже те, кто ничего не видел, весело шумели, как и полагается народу.

А в это время одно из окон верхнего этажа, выходящих в парк, тихонько скрипнуло, правда, этого скрипа никто не слышал, и между створами показалось высунувшееся из-за штор свинцово-серое лицо. Похожие на угли глаза старухи следили за тем, что происходило внизу; все это было ею же самой придумано и подготовлено: торжественная встреча короля-католика с королем-гугенотом, участие в ней обоих братьев короля, похвальба огромной, блестящей свитой — такое зрелище неизбежно должно было вызвать у сопляка-беарнца и его оборванцев ощущение, что сами они люди ничтожные, и укрепить их доверие к королевскому дому.

Об этом и размышляла старуха со свинцово-серым лицом, и улыбка морщила ее тяжелые щеки.

Только Марго могла видеть ее со своего места, и вдруг, неведомо почему, принцесса почувствовала дурноту. «Что я делаю! Ведь этого-то я и не хочу, и добром это не кончится! Если я дам зайти сближению еще дальше, случится что-то ужасное. Как раз сейчас мне следовало бы опять сойтись с Гизом, — хотя с нынешнего дня между нами всему конец, — чтобы, несмотря на все, расстроить мой брак с Генрихом, которого я люблю, как собственную жизнь».

Марго была одна со своими предчувствиями, со своей совестью. Все, даже ее возлюбленный Генрих, целиком отделились внешней стороне совершавшейся церемонии.

Впрочем, эта церемония вскоре опять захватила ее, и, как обычно, внешние события заглушили голос совести. А Генрих тем временем все подмечал.

Кроме лица

в окне, от него ничего не ускользнуло: ни поистине царственный размах празднества, ни выражение на лицах его участников, ни даже голоса народа, который по-своему принимал участие в этом балете. Так называл юноша про себя

торжественную церемонию, участником которой оказался. Смутные предчувствия его

не тревожили, зато ему не изменяло критическое остроумие, и никакой показной

блеск не мог затуманить зоркость его взгляда. Поэтому Генрих, видя вокруг себя

множество лиц, готов был поклясться, что их выражение заранее заказано и заказ

оплачен и выполнен.

Несмотря на все эти наблюдения, он тщательно подражал каждому движению Валуа: делал те же па, так же долго держал ногу поднятой и опускал ее почти на

то же место, чтобы шествовать как можно медленнее и торжественнее. Рядом с

Генрихом, вернее, несколько отступя, следовал его двоюродный брат Конце — единственный представитель бурбонского дома, который оказался налицо. Как только король Франции и его братья пригласительным жестом простирали руку ладонью вверх, прижимали ее к сердцу или снимали шляпу, Генрих и его кузен

спешили проделать то же самое; они тоже были в положенной роскошной одежде —

почти единственные среди гугенотов. Обе группы продолжали двигаться друг другу

навстречу под звуки музыки, точно исполняя некий священный танец, соответствовавший высокому сану короля — избранника и помазанника божия. Они

все более сближались, и каждая уже не производила впечатления какого-то нераздельного целого — уже бросались в глаза детали, а они всегда

вызывают

разочарование, нарушая словно бы уже достигнутое единство. И все более подозрительными становились те, кто надел на свое лицо заказанную ему личину.

«Взять хотя бы де Нансея, — он мне вовсе не друг! Остережемся его! Он начальник личной охраны короля. Я заранее уверен, что мне еще придется увидеть

его настоящее лицо, когда оно не будет почтительно улыбаться по заказу. Самое

главное — внушить им такое уважение, чтобы никакие балеты были уже не нужны.

Все это лица людей, которые нам ничего не забыли, а мы им. А какова, например,

вон та улыбка? Кажется, это некий де Моревер?»

— Кузен, того придворного зовут не Моревером?

«И это называется улыбкой? Но ведь совершенно ясно, что ему гораздо больше хочется убивать, чем кланяться! Моревера я возьму себе на заметку».

И все же самые убедительные открытия бледнеют и на время забываются, если к ним случайно примешивается личное чувство неловкости, вызванное хотя бы ощущением того, что ты смешон. Но именно это и произошло, когда Генрих, подойдя ближе, увидел иронию на лицах тех, кто находились в задних рядах и считали себя в полной безопасности. Генрих сразу понял, что давало королевским придворным сознание их превосходства: убогий вид его свиты. Этого открытия он все время тайне опасался и потому собрал вокруг себя тех, кто был одет получше. Их было, увы, немного, и, подойдя вплотную к партии Карла, они уже не могли заслонить остальных, шагавших позади, — толпу людей в потертых колетах и запыленных башмаках. Гугеноты явились сюда в том виде, в каком были, когда их наконец после долгого ожидания у ворот подъездного моста впустили в этот ненавистный Лувр — притом, разумеется, лишь самую ничтожную часть отряда. Но у них лица были не заказные, а настоящие, шершавые и обветренные, в отличие от гладких лиц придворных, и, не поддаваясь их слащавой любезности, они хранили выражение суровости и благочестия. Там — тщеславный блеск и ледяная чопорность, здесь — неприкрытая бедность, которая явилась сюда требовать своих прав. Ведь Генриха вели войну ради того, чтобы жить, а иные — ради высшей жизни, и называли они ее иногда верой, иногда свободой.

Впервые за все время, что Генрих был здесь, ему вдруг стало весело. Он готов был громко расхохотаться и, вероятно, с большим правом, чем царедворцы, которые только усмехались. Вместо этого, став перед Карлом Девятым, он сначала ударил себя в грудь, а затем низко склонился и описал правой рукой круг у своих ног. То же самое Генрих проделал справа и слева от короля Франции и, вероятно, повторил бы поклон даже за его спиной. Но Карл привлек шутника в свои объятия и напечатлел на его щеках братский поцелуй, причем тайком ткнул его кулаком в

бок. И тот и другой отлично поняли смысл этого жеста. Сейчас опять происходит та же пародия на почитание, которую некогда разыграл семилетний мальчик, встретившись с двенадцатилетним.

— Ты все такой же шут, — сказал Карл, но шепотом, и никто, кроме Генриха, его не слышал. Затем торжественно представил ему своих братьев, как будто вместе с одним из них Генрих не протирал штаны на школьной скамье, а позднее не стоял против него на поле брани. А сколько шалостей они вместе устраивали! Тем временем наверху снова скрипнуло окно — его закрыли, ибо цель комедии была достигнута и проделка удалась. Теперь у деревенского увальня должно было сложиться впечатление, что эти Валуа — несколько странное, а в общем неплохое семейство; так говорила себе старая королева, которая тоже была не лишена известной доли юмора.

Но вот в оркестре все инструменты отступили перед арфами, и это послужило знаком для дам. А чтобы они его не пропустили, первый дворянин короля де Миоссен еще кивнул им. И дамы действительно двинулись с места, впереди обе принцессы. Они едва касались друг друга высоко поднятыми пальчиками, да и ножки их словно не ступали, а парили над землей. Остановившись со своей свитой молодых, нежноцветных фрейлин перед обоими королями, жеманницы-принцессы плавно опустились на колени, вернее, почти опустились, ибо все это совершалось только условно, так же как и целование руки у короля Франции, причем благородство его движений казалось в этот миг поистине неподражаемым. Он сделал вид, что поднимает сестру, а затем подвел к ее повелителю, королю Наваррскому. И на этот раз Карл уже не сказал: «Вот тебе моя толстуха Марго».

Что же касается до самого Карла, то он подал руку Екатерине Бурбон. С ней открыл он шествие. И процессия под медлительную музыку чопорного танца двинулась вокруг парка к птичнику. Здесь можно было полюбоваться причудливыми пернатыми «с островов». Они искрились и сверкали в солнечных лучах не хуже самих принцесс. Особой диковинкой была огромная клетка, ее непременно следовало показать гостям. И она в самом деле произвела сильное впечатление.

— Эге! — воскликнул один из гугенотов. — Говорящую птицу и я бы завел, да только если она умеет служить обедню! — Его спутники громко рассмеялись. Но придворные Карла не смеялись.

Эти птицы «с островов» обладали не только даром речи: иные, особенно самые

мелкие и пестрые, так звонко чирикали, что заглушали даже веселый гомон народа за стеной парка. Мало-помалу прибрежные жители все же одолели стену, многие уже сидели на ней и громко восхищались представлением, в котором участвовала вся знать. Однако мужчины, дамы и птицы находились слишком близко к любопытным, поэтому стража стала гнать народ более решительно. Какого-то парнишку, который, видимо, намеревался спрыгнуть в парк, столкнули обратно, но уже не древком алебарды, а острым концом. Слабо вскрикнув, он свалился за стену и исчез: это видели и слышали немногие, но в числе их были Генрих и Марго.

— Первая кровь! — сказал Генрих Марго.

А она стала белей своих белил.

— Приятное предзнаменование! — огорченно пробормотала принцесса.

Генрих же вскрикнул:

— Все эти пернатые твари напоминают мне о жареных курах и о том, что многие из нас давно ничего не ели!

Голодная свита встретила его слова шумным одобрением. А царедворцы Карла смиренно ждали, пока их королю заблагорассудится кончить церемонию.

Когда это наконец произошло, общество, еще не входя во дворец, разделилось. Оба короля, принцессы, принцы — среди них Конде и фрейлина Шарлотта де Сов — воспользовались скрытой в стене лестницей, знаменитой лестницей тайных посещений, милостей и злодейств. А свита поднялась по предназначенной для всех широкой лестнице.

За королевским столом

Наверху в замке были накрыты столы — один для королей, в парадной зале, и несколько для их приближенных в вестибюле. Хорошенькие фрейлины из свиты принцесс исчезли, но до обеда гости это едва ли заметили. Лишь позднее, когда настроение повисилось, они вернулись целой толпой.

Король Наваррский вылил в тарелку с супом целый стакан вина, что весьма удивило короля Франции и принцессу Валуа, потом стал есть много и торопливо, и

во время этого занятия Генриху было не до разговоров. Ему хотелось одного —
услышать, о чем там толкуют его люди со здешними придворными. Однако музыка играла слишком громко.

Некий господин де Моревер, сидевший в другой зале, выказывал особенное уважение к выдавшему виды колету своего соседа — долговязого дю Барта. Почтительно осведомился этот царедворец, во скольких же походах участвовала сия столь поношенная часть одежды. Протестант, еще не имевший привычки ни к зубоскальству, ни к бездушной учтивости двора, угрюмо задумался, потом сказал:

— Мы провели много дней в седле. Но если даже человек, хочет объехать вокруг всей земли, он все равно едет навстречу своей смерти. Мы с вами едем врозь, Моревер, но оба умрем. — Тут он выпил, заставил выпить и Моревера.

Дю Плесси-Морней не нуждался в вине, чтобы довести до белого каления сидевшего против него де Нансея. — А ведь мы могли бы взять вашу столицу! — крикнул ему Морней через стол. — Однако мы так добры, что решили жениться на ней!

Капитан де Нансей вспыхнул, схватился за кинжал, однако господин де Миоссен и д'Обинье удержали его.

— Хоть бы вы даже закололи меня, а все-таки моя вера самая правильная! — заявил Морней, перегнувшись через стол. И только после этого основательно принялся за еду, ибо, несмотря на свою пылкую неустрашимость, принадлежал к числу тех, чьих жертв господь бог, очевидно, не требует. Такого рода добродетельным людям в жизни везет. Это было ясно каждому, ибо сократовское лицо Морнея расцветало и распускалось при вкушении обеденных радостей, и де Миоссен, чтобы обелить себя, указал на поглощающего яства героического ревнителя веры, когда Агриппа д'Обинье упрекнул первого дворянина за холодность и двоедушие: — Нас гнетет владычество нечестивых, и суд над нами творят враги господни. А вы, Миоссен, хотя вы один из наших, служите им. Разве можно вступать в сделку со своей совестью? — продолжал поэт, глядя поверх головы охваченного яростью де Нансея, который не слышал его слов. Первый дворянин только пожал плечами. Перед непосвященными он не станет говорить о том, каково у него на душе. Будучи протестантом и в то же время первым дворянином

короля-католика, он старался, используя свое положение при дворе, оказывать помощь единоверцам. Но он знал, что они все-таки будут нападать на него.

Агриппа ясно высказал свое мнение: — Есть такие люди, которые предают бога и продают нас. Мы же теряем все, что у нас есть, даже свободу исповедовать нашу веру. И нам остается одно: полное слияние со Христом и с ангелами. Только это дает радость, свободу, жизнь и честь!

Даже для умеющего владеть собой царедворца это было уж слишком. Неизвестно, что задело де Миоссена сильнее — обвинение в предательстве или та небесная победа, какой похвалялся Агриппа. Во всяком случае, первый дворянин тут же поменялся местами с де Нансеем и сел рядом с Агриппой.

— Гугеноты только и умеют проповедовать, — прорычал взбешенный де Нансей некоему господину де Моревеверу. А тот ответил:

— Погодите! Погодите! Они еще и кровь свою проливать научатся! — У него был задранный кверху острый нос и близко посаженные глаза.

В этом углу собрались только придворные. Пока длился банкет, гости, сначала сидевшие попеременно, сами собой разделились на два лагеря. На нижнем конце стола тесной кучкой собрались ревнители истинной веры. Между ними и католиками образовалось пустое пространство.

Де Миоссен вдруг увидел себя окруженным своими старыми друзьями и разлученным с новыми. Сначала он побледнел, затем чувство чести победило; он остался и начал так:

— Кто долго проживет здесь, невольно начинает колебаться, и под конец его охватывают сомнения: верно ли, что мы одни правы перед господом? Радуйтесь, — добавил он, торопясь, чтобы Агриппа не прервал его, — с вами этого не случится, но может случиться с вашим молодым королем, он, как мне сдается, любит в жизни не только слияние со Христом и святыми ангелами.

— Мы не должны бояться смерти! — Агриппа не дал так легко сбить себя с толку. — Смерть — наше прибежище в житейских бурях. И если бы мы сгорели в огне, его пламена взвились бы, опережая нас, к вождьенному престолу предвечного.

Это было красиво сказано, но вызвано вовсе не жадной смертью, а, наоборот, глубокой убежденностью в том, что сам он, Агриппа, проживет еще очень долго. А как раз в этом молчаливый Миоссен отнюдь не был уверен. Он смотрел на Агриппу задумчивым взглядом до тех пор, пока тот не почувствовал, что разговор уже давно перестал быть просто застольной беседой.

— А что бы вы сказали, д'Обинье, если бы те факелы, которые должны осветить нам путь к вечности, вспыхнули не через двадцать лет, а завтра же, и не в неведомой точке земли, а в замке Лувр?

Никто уже не прерывал Миоссена; он мог спокойно продолжать свою речь среди бряцания цимбалов и звона кубков.

— Мне известно слишком многое. Тяжесть фактов труднее нести в себе, чем веру. Решение в Лувре почти принято, но еще не окончательно. Какое? Этого я не открою даже самому себе. Во всяком случае, сначала должна состояться свадьба. Ваш король и наша принцесса — такая прелестная молодая пара, что их чувство могло бы смягчить даже злодея. Скажите своим людям: пусть не смеют больше никого задирать — ни придворных, ни народ. Дело дошло до крайности, близок последний час. И как бы кое-кто из нас весьма скоро не вознесся к вожделенному престолу предвечного!

Миоссен встал и закончил, все еще склонившись над столом: — Чуть было не сказал лишнее.

Только виски у него были седые; но сейчас, когда он возвращался к придворным французского короля, стало заметно, что и плечи его сутулятся больше, чем следует в таком возрасте. Встретил Миоссена некий господин де Моревеер — острый нос, близко посаженные глаза, сначала он посмотрел на Миоссена сверлящим взглядом и потом уже сказал:

— Все-таки дорвались до своих гугенотов, Миоссен, и все-таки сказали лишнее!

Оба господина стояли, друг против друга, выпрямившись во весь рост, ярко освещенные, перед коротким коридором, соединявшим вестибюль с парадной залой. В вестибюле пиновала свита, а в зале — оба короля. Генрих сидел как раз напротив этого коридора, почему оба придворных были ему хорошо видны. Миоссен

стоял несколько боком, король Наваррский заметил лишь его седеющие волосы и сутулые плечи; другой же был повернут к Генриху прямо лицом, и то, что Генрих увидел на этом лице, заставило его призадуматься. Юноша даже прервал на полуслове свою беседу с королем Франции. Карл последовал за его взглядом и, когда понял, на кого Генрих смотрит, нахмурился.

— Кузен Генрих, — торопливо сказал он, — рядом с вами сидит кое кто покрасивее тех, кого вы так пристально разглядываете.

Это было, конечно, правдой, ибо подле Генриха сидела Марго, и если не своей чарующей внешностью — она могла бы околдовать его одним только грудным и певучим голосом, которым принцесса произносила в данную минуту весьма ученые и вместе с тем двусмысленные тирады. В учености и в остроумии они были с Генрихом достойными соперниками. И то, что они говорили друг другу, подражая древним, те слова, которые принцесса беспечно роняла своими розовыми губками, потребовали бы от другой, столь же гордой и утонченной дамы, немалого усилия над собой, но Марго этим ничуть не затруднялась. Она говорила настолько громко, что то и дело кто-нибудь из сидевших рядом вступал в беседу и подчеркивал ее смысл. Немалую отвагу и изящество проявила также мадам де Сов — вздернутый носик, лукавые глаза, круто изогнутые, очень тонкие брови, чересчур высокий лоб, хрупкая фигурка — хотя это было одной видимостью. По всему было заметно, что в любви она весьма вынослива, на этот счет она с Генрихом уже сталкивалась — с помощью слов и без них.

О! Конечно, он любил Маргариту Валуа! При звуках ее голоса — грудного и, когда она хотела, лениво-томного — в недрах его существа вспыхивало волнение, горло сжималось, взор становился влажным. Он нередко видел предмет своих чувств словно сквозь дымку, как видят счастье, которое все еще остается землей обетованной. Не раз был он готов соскользнуть со своего кресла и пасть перед нею на колени: но он боялся людей. Ибо Карл Девятый был пьян, и ему взбрело на ум — «продернуть дружка толстухи Марго», а его братья — герцоги Анжуйский и Алансонский, устав от долгого сидения за столом, начали ссориться. Да и ответы Генриха королю Франции уже становились вызывающими. Кузен Конде толкнул его в

спину, чтобы предостеречь. Что касается двух королевских братьев, то различие во мнениях побудило их перейти к действиям: принцев пришлось разнимать.

Лицо герцога Анжуйского было в крови. Он отступил по ту сторону стола и сказал своему кузену, Генриху Наваррскому:

— Ты хоть был честным противником, когда мы с тобой сражались, и чаще всего я тебя побеждал.

— Причиной тому были только твои письма, д'Анжу, язык в них такой деревянный и напыщенный, будто их писал испанец, меня обращал в бегство твой стиль. Вернее, у меня делалась лихорадка, и я уже не мог сражаться. Если бы ты в самом деле победил меня, я бы не сидел здесь, не сидел рядом с твоей сестрой.

Тогда герцог Анжуйский притих и даже струсил, хотя в нем все еще говорил хмель.

— Видишь, Наварра, у меня на щеке кровь. Но это вздор. Мой братец д'Алансон ненавидит меня, как ненавидит тот, чья очередь наступит еще не скоро. Но страшное дело — как меня ненавидит мой царственный брат, а ведь я его ближайший преемник. Наша мать хотела бы, чтобы на престоле сидел я, а Карл знает, как опасно становиться ей поперек дороги, Он боится, вот и бесится. Выпей со мной, Наварра! Мы честно поднимали меч друг на друга, и я тебе доверяю наши семейные тайны. Вхожу я вчера к своему венценосному брату и вижу: он бежит по комнате, точно зверь в клетке, а в руке у него обнаженный кинжал. Смотрит на меня искоса, ты ведь знаешь его взгляд. Ну, думаю, конец мне, дело ясное. И только он повернулся спиной, я шмыг за дверь, беззвучно, словно мышь, и, уходя, поклонился ему уже не так низко, как кланялся, когда входил, можешь мне поверить.

— Я всему готов поверить, — отозвался Генрих, а про себя вспомнил еще раз о том, что его мать отравлена.

Затем он сказал: — Ваша семья опасна, ее чар нужно остерегаться. Я не уберегся. — Тут Генрих обернулся, и сердце у него екнуло и неистово забилось, так ослепило его лицо Маргариты Валуа; а ведь это было лицо принцессы из черного дома.

Она же продолжала вести ученую и двусмысленную беседу с кем придется. Его бросило в жар, уже он готов был потребовать объяснений от Конде и герцога Алансонского. Вдруг он увидел у нее на платье цвета своего дома. Марго

стговорилась с подружкой, и они выткали на своих юбках, не слишком заметно, его цвета: синий, белый и красный. «Цвета дома Бурбонов. Значит, она давно обо мне думала, давно уже ее тянуло ко мне, как и меня к ней, она носит мои цвета, и, когда она отказывалась выйти за меня, это был на самом деле только искусный прием, чтобы я полюбил ее еще сильнее. Да, Марго меня любит!»

От этой мысли он потерял голову и потребовал: — Пойдемте отсюда! — Он хотел ее увести, чтобы остаться с нею наедине. Однако Марго притворилась, будто ничего не слышит. А его сестра Екатерина наклонилась к нему и сказала:

— Не забывай: ведь мы в Лувре!

И Генрих тотчас опомнился и кинул быстрый взгляд вокруг себя: парадная зала, на резном потолке столько золота, что ее принято называть «золотая комната». Она выходит окнами на две стороны. С юга, с реки, уже широко надвигаются фиолетово-сизые сумерки. «Вот как мы засиделись за столом! С другой стороны, через западное окно, в золотую комнату льется золотой луч уходящего дня, он искрится и сверкает вокруг пьяного короля и вокруг влюбленного, а влюбленный — это я. Посмотри-ка на Катрину! Моя сестренка повернула ко мне свое рассудительное личико, оно не похоже на лицо нашей дорогой матери, но говорит мне то же, что говорило когда-то только ее лицо. Ты права, сестра, мы в замке Лувр, где у нас нет друзей, мы здесь с тобой совсем одиноки».

Маргарита Валуа снова одарила его звуками своего богатого грудного голоса, и он опять чуть не поддался ее обаянию, какими бы ни были ее речи — скромными или нескромными. Но, к сожалению, Генрих уже не мог не прислушиваться к спору, разгоревшемуся в вестибюле. Заглушая цимбалы и литавры, оттуда давно доносились крики и угрозы, и, видимо, каждую минуту готова была вспыхнуть драка. Маргарита Валуа уже не заслоняла от него происходившего — ни ее голос, ни ослепительное лицо, ни пьянящее благоухание. Ему вдруг открылось, что все это лишь соблазн и наваждение, а там его призывает действительность и требует, чтобы он исполнил свой долг. Ведь его мать отравлена! О, эта мысль, от которой останавливается сердце! За его спиной и дальше за стенами золотой залы, начинались покои

убийцы. А между той, которая подстерегала его там, притаившись, и врагами здесь, в любую минуту готовыми напасть на его людей, находится он, и он любит, любит Маргариту Валуа, а старая королева подглядывает за ними через дырку в стене.

«Сестра, хоть ты смотри на все своим ясным и строгим взором! Ведь и я в глубине души остаюсь трезвым, несмотря на то, что связался с пьяницами и убийцами. Да, правда: все трудности нашего положения ничего не могут изменить в моей страсти к мадам Маргарите, которая кажется благородной, как на портрете, а что она думает на самом деле, неизвестно. Это я узнаю позднее, в ее объятиях, а может быть, даже и тогда не узнаю. Догадываешься ли ты, сестрица, что я не хочу покидать этот двор! Из-за Марго я люблю и его, со всей его наглостью и всеми опасностями. Наша мать нашла его еще более развратным, чем предполагала, и ей хотелось, чтобы мы с женой жили подальше отсюда, в мирной сельской глуши. Здесь, говорила королева Жанна, женщины сами заывают к себе мужчин. Шарлотта де Сов тоже даром времени не теряет, так почему же я должен отвечать ей холодностью? И все-таки жизнь свою я отдал бы только ради Маргариты Валуа. Сестра! Ты еще раз хочешь напомнить мне о нашей матери? У меня и так разрывается сердце!»

И, точно эти слова были произнесены вслух, Екатерина Бурбон действительно вдруг перегнулась через стол и проговорила: — Помни о нашей матери!

А восемнадцатилетний юноша, которого уже трепали все штормы жизни, ответил в глубочайшем согласии с сестрой: — Я помню.

Его кузен Конде вернулся из вестибюля: — От твоего имени я отослал наших людей.

Генрих вскочил:

— И ты осмелился? Мы не можем бежать с поля боя!

— Тогда прикажи им перебить придворных, всех до одного. Прикажи сейчас же, пока еще не поздно.

Слышался топот ног: уходя, гугеноты все-таки выкрикивали угрозы, оборачивались, приостанавливались, хоть им и ведено было отступить по приказу их государя.

Конде охватила ярость: — Мне-то что! Пусть будет резня, я сам возьмусь за

кинжал. Ну? Говори!

Но Генрих молчал. Он отлично понимал все то, о чем забыл в своем волнении Конде: да, с этого пришлось бы начать – прикончить Карла Девятого и его братьев. В Лувре нельзя оставить в живых ни одного из тех, кто не захотел бы

сдаться, и только тогда можно думать о Париже. Какое жуткое безумие!

Золотая

комната навеяла его, а еще раньше – старая убийца у своей дыры в стене!

Карл

Девятый тупо, как баран, глядел на эту дыру. Его братья стояли в дверях, продолжая подзадоривать спорящих. Генрих протиснулся между ними, вышел в вестибюль и остановил своих людей. Одну минуту гугеноты колебались, пока достаточное число их не опомнилось. Они сдержали свое возмущение, так бурно

рвавшееся наружу, и удалились через большую парадную залу, где уже стужались

сумерки; войдя в нее, они совсем примолкли.

А в зале тем временем появились слуги с факелами, за ними следовали красивые

фрейлины – не те несколько дам, которые лицедействовали в саду, нет, целый

полк. (Но и этим еще не исчерпывалось число всех придворных дам, которыми командовала мадам Екатерина, точно особым родом штурмовых отрядов.)

Вошедшие

стремительно бросились ко всем угрожаемым позициям, даже диких гугенотов надеялись они укротить. Поскорее зажгите же свечи, слуги! Четыре ряда

люстр, по

пять в каждом, – ведь девушки покрашены именно для такого освещения!

Разбойники, которых называют гугенотами, выдадут им все свои замыслы и тайны, и

мадам Екатерине в точности обо всем будет доложено.

– Осторожность! – предостерегающе бросил Генрих Агриппе, а тот передал это

слово дальше, точно пароль.

– Ну, дружба, господа! – вдруг необычайно легкомысленно и весело крикнул король Наваррский придворным, которые толпились в вестибюле, словно ожидая

нападения. – В присутствии дам даже наши грубые колеты станут мягкими, как

шелк. – Он бросил это таким тоном, словно желал посмеяться над своими единомышленниками, и столь понравился господам придворным, что некто де Моревер

даже облобызал ему руку, И Генрих не вырвал ее, хотя по телу у него пробежала

дрожь отвращения.

Когда он возвратился, слуги уносили Карла Девятого в его опочивальню, ближайший из жилых покоев замка. А в самом дальнем из этих покоев всего несколько часов назад Генрих беседовал со старухой Медичи и старался разузнать,

была ли отравлена его мать-королева. Теперь туда скрылась и мадам Маргарита; что же тут удивительного, ведь она дочь Екатерины! Удалились и ее братья и мадам де Сов. Подле стола, в достаточной мере опустошенного, и опрокинутого кресла, на котором перед тем сидел Карл, Генриха поджидали только его сестра и кузен Конде. Она взглянула на брата, не решаясь говорить, пока не закроется дверь. Да и тогда ее шепот был едва слышен. Генрих нахмурился, ничего не ответил и быстро заморгал глазами. Екатерина взяла кузена под руку, и оба прошли мимо Генриха в вестибюль, свернули направо и, пользуясь потайной лестницей, спустились во двор.

Харчевня

Там они тотчас исчезли из глаз. Луврский колодец был полон глубокой тьмы. В некоторых комнатах, на разной высоте, чуть мигал красноватый свет, и только по нему было заметно, как плотен мрак между высокими стенами. Генрих стоял без движения, пока не услышал чей-то шепот: — Сюда! — Он обогнул несколько выступов и, следуя за голосом, повторявшим «Сюда!», вошел в неосвещенный коридор. Король Наваррский и его первый камердинер д'Арманьяк проскользнули в какую-то комнату, где едва мерцал одинокий светильник, а по углам угрюмо громоздились тени.

Слуга-дворянин запер тяжелую дверь и начал так: — Стены здесь толщиной в три фута, окно — на высоте десяти футов от земли. Люди, живущие в этой пещере, сейчас сидят в кабаке, поэтому можно быть совершенно спокойным, никто нас не подслушает.

— Освети все-таки углы!

Глядите-ка! В углу нашли хорошенькую фрейлину! Она не пожелала танцевать в парадном зале под двадцатью люстрами с восковыми свечами: она прокралась вслед за королем гугенотов, чтобы узнать, как он сегодня проведет вечер, и донести мадам Екатерине, которая обычно весьма милостиво выслушивает подобные сообщения. Поэтому пришлось прекрасную фрейлину увести и запереть в полнейшей темноте.

— Я потом ее выпущу, — сказал д'Арманьяк. — А сейчас задача в том, чтобы вашему величеству выбраться из замка неузнанным.

— Ничего не выйдет, старой королеве обо всем доложат.

— Доложат, да слишком поздно. Хорошо, если бы тот, кому следует сегодня опасаться встречи с вами, поглядел, как я переодену короля Наваррского. Тут уж никто вас не узнает. — И он принялся за дело. В конце концов его государь стал похож на беднейшего из своих подданных: лицо он ему измазал чем-то черным и прилепил бороду.

— Я нарисовал вам морщины, — сказал первый камердинер. И Генрих тотчас ссутулился, как старик. Дал ему д'Арманьяк и мешок хворосту. Почему именно хворост?

— Оттого, что это самый легкий груз. Вас зовут Жиль, и у вас в Париже сестра.

— И я тащу ей хворост?

— Нет, окорок, который лежит под ним. Когда вас обыщут у ворот Лувра и найдут припрятанную ветчину...

— Тогда поверят, что я и в самом деле Жиль. Отличная мысль! А пароль какой?

— Ветчина.

И они досыта посмеялись, так как никто не мог их услышать за этими стенами в три фута толщиной. Потом Генрих пустился в путь и благополучно прошел через подворотню, где охрана играла в карты. Он только крикнул: «Ветчина!». На мосту его осмотрели внимательнее, заставили вывалить хворост и окорок отобрали.

— А теперь, старый еретик, катись отсюда в харчевню, где служит твоя знаменитая сестрица!

Перейдя мост, молодой король поплелся в город, прихрамывая и стибаясь, точно кирпичи ташил. На улице Австрия ему как на зло не попало ни души; продолжая прихрамывать — уже из чистой любви к искусству, — он миновал еще несколько темных улиц и наконец в погруженном во мрак переулке увидел чуть освещенный подвал. Людские тени и поющие голоса уже издали возвещали о том, что здесь

харчевня. Входная дверь и дверь в залу были приотворены, так как камин, где жарились на вертеле куры, дымил. Вертелом занималась одна из служанок, а две другие наливали посетителям вино, садились к ним на колени и вместе с ними пели. Хозяин стучал по столу ладонью в такт песни. Он походил на крестьянина, к одежде пристала солома... Гости были вооружены, даже один карлик, который ужасно сипел. Песенка была превеселая – о глупенькой служанке, полюбившей гугенота за то, что у него были такие роскошные усы; но добром это не кончилось. Нельзя было даже окрестить младенца, родился он с лошадиным копытом и вскоре свернул голову родной матушке, так что лицо у нее оказалось совсем назади!

Комната освещалась только пылавшими в очаге поленьями: огненные блики плясали вокруг орущих ртов, на лбах перекладиной лежала тень. Генриху, смотревшему с улицы, эти лица казались звериными мордами, харчевня – каким-то вертепом глупости. Его роль незаметного старика стала ему отвратительна. С другой стороны, влекла мысль – появиться одному и без оружия среди шести здоровенных негодяев. В дверях его бесцеремонно оттолкнул какой-то долговязый мальчик, который тут же вошел и громко пожелал всем доброго вечера. Генрих узнал незнакомца по голосу и еще больше по фигуре. Честному дю Барта не помогло то, что он повернулся к Генриху спиной. Он сказал:

– Я зашел, чтобы получше расслышать вашу веселую песенку!

Их было шестеро, но только карлик отозвался из-за тяжелого дубового стола:

– Ну-ка ты, жердь, сними мне с жерди колбасу.

Долговязый дю Барта действительно потянулся к свисавшим с потолка колбасам.

– Только если ты еще раз прокаркаешь мне песенку про гугенота!

Карлик смутился, а одна из служанок повисла на руке высокого гугенота и принялась успокаивать его:

– Да это не про тебя поется! В конце концов петь-то можно или нет? Если бы ты невзначай сделал мне ребенка, я бы не боялась, что он родится косолапым. – Тут все три женщины взвизгнули. Мужчины, сидевшие за столом, хмуро молчали; они и глазом не повели, невзирая на странное поведение хозяина! А этот наглец

прокрался за спиной дю Барта к огню, схватил горящую головешку и уже нацеливался, куда бы ткнуть еретика. Но тут вмешался Генрих: он бросился вперед, схватил негодя за руку, вытащил несколько сучьев из своего мешка, зажег их о полено предателя-хозяина и стал размахивать перед его злобной рожей, пока тот, отпрянув, не бросил головешку обратно в огонь. Тогда Генрих уронил на пол и свои сучья.

— Ну-ка, беги, подлец, и тащи господину вино, только смотри, чтоб не кислое!
У меня все деньги вышли, но я могу тебе дать еще хворосту в уплату!

— Выпей со мной, — сказал дю Барта, словно обращаясь к старому товарищу. Они уселись на свободном конце стола, поближе к двери, и их отделило от остальных гостей этой харчевни то же пространство ненависти, что и в Лувре, за столом короля.

Хозяин поставил на стол кувшин с вином и пробурчал, ни на кого не глядя:

— В моей деревне они совали людей ногами в огонь.

Он не сказал, кто, но оба гугенота поняли и так, о ком идет речь. Ведь они знали, что вели себя частенько прямо как разбойники! На лице дю Барта появилось то выражение разочарованности и безнадежности, какое у него обычно появлялось, когда он начинал сочинять стихи и сетовать на людскую греховность и слепоту.

Молодой король Наваррский чуть не воскликнул: «Я давно уже говорил об этом адмиралу! Но ведь они не нашей веры, — вот и все его оправдания, когда мы грабили людей и пытали. По этим вот парням видно, до чего можно довести народ спорами о вере».

Но одна эта мысль уже была кошунством, и сын королевы Жанны ужаснулся. Кроме того, он надеялся, что дю Барта действительно его не узнал и оказался здесь случайно. Поэтому Генрих прикусил язык и промолчал. Впрочем, у хозяина было заготовлено для них еще немало любезностей.

— Завтра утром мне идти исповедоваться, — буркнул он, отворотившись. — А священник запретил давать этим разбойникам пить и есть. Понаехали в Париж целой оравой и ну нападать на честных христиан да портить девушек. И еще пьют-едят на даровщинку! Вот, кажется, первый, который не жулик, — добавил он льстиво и

вместе презрительно. Генрих, возмущенный, вскочил со скамьи.

— Сиди! — прикрикнул на него дю Барта.

Невероятно, как все-таки он мог узнать Генриха! «Ведь я же человек бедный, маленький», — говорил себе Генрих, словно так оно и было. Лицо грязное, морщины, седая борода, вдобавок и голос скрипучий.

— Будьте настороже, сударь! Рыжий негодяй незаметно вытаскивает нож!

— Вижу, — отвечает дю Барта.

Рыжий негодяй попытался под прикрытием остальных выбраться из своего угла.

Карлик, голова которого едва возвышалась над столом, стараясь отвлечь от рыжего внимание гугенота, прогундосил: — А у коробейницы мальчуган пропал!

— Гугеноты убивают детей! — подтвердили остальные; видно, им было наплевать, что тут посторонние. — Они совершают ритуальные убийства, все это знают.

Эта сцена едва ли кончилась бы благополучно, но тут появились новые гости.

Вошли четверо гугенотов, двое были из отряда Генриха. Генрих знал их имена и

военные подвиги. Два других казались весьма сомнительными: не будь они ревнителями истинной веры, их можно было бы назвать головорезами. С их приходом

силы обеих партий за столом сравнялись. Поэтому рыжий негодяй отказался от

своего намерения, и противники спрятали оружие.

Конники заявили дю Барта, что, блуждая по Парижу, набрали в темноте на двух единоверцев. Иначе они не нашли бы никакой харчевни. Однако все их обличие

доказывало обратное: должно быть, они успели побывать уже в нескольких харчевнях и вели себя там не слишком благопристойно, ибо вид у них был растерзанный. Генрих вдруг забыл, что представлялся убогим стариком, и властно

прикрикнул на своих всадников: — Это еще что? Собрать головорезов?

Затевать

драки? Вы позорите нашу партию!

Они громко расхохотались, а дю Барта решительно толкнул Генриха в бок, и тот

понял, что властный окрик при столь нищенской внешности делает его просто смешным. Поэтому он замолчал и больше не вмешивался. Новые посетители, позвенева

в карманах деньгами, выложили на стол задаток и потребовали себе кур, которых,

видимо, вертели над огнем уже достаточно, — золотисто-коричневая корочка

аппетитно поблескивала; затем вновь пришедшие великодушно пригласили поужинать с ними и господина дю Барта и смешного старичишку. Однако ужин они проглотили

как-то удивительно быстро и все время прислушиваясь к далеким ночным шумам. А

на то, чтобы полюбезничать со служанками, у них, должно быть, совсем не оставалось времени. Едва насытившись, они поспешили прочь — и конники и головорезы. Сначала были слышны шаги, потом раздался топот ног, словно кто-то убежал.

На всякий случай дю Барта заметил: — Теперь, хозяин, ты уже не посмеешь уверять, будто гугеноты тебе не платят. — Ответом ему было молчание; а тем

временем загремел четкий шаг, блеснул свет факелов: ночной обход. В дверях

появились офицер и солдат:

— Где тут гугеноты?

— Вот они! — воскликнул хозяин, тыча пальцем в сторону долговязого и старичишки. — Кур жрут, а денюжки их мне сразу показались не католическими. —

Рыжий мальч, уродливый карлик и три женщины подтвердили это, хотя их не спрашивали. Лишь после строгого допроса они нехотя признались офицеру, что

здесь пировали и другие. — Но платили-то эти двое! Ясное дело: напали на какого-нибудь прохожего и пообчистили ему карманы. — Жалобщиков тоже забрали.

Дю Барта уже не обращал внимания на Генриха, он пошел впереди с офицером. Можно было догадаться, что именно он открыл офицеру, ибо стража вдруг изменила

свой путь. Вскоре они дошли до одного здания, которое Генрих узнал: это был

дворец Конде. Генрих сразу же направился бы сюда, если бы его не соблазнило и

не отвлекло ночное приключение с переодеванием. Короля Наваррского уже давно

ждали, слуги с фонарями услужливо бросились к нему навстречу — они были, видимо, предупреждены насчет его странного вида, ибо склонились перед ним до

земли.

То же самое сделал вдруг и дю Барта.

Последний час

Генриха сначала провели в комнату, где он почистился и переоделся, а потом в

другую: там сидел адмирал Колиньи. Старик хотел было встать, но Генрих опередил его и удержал в кресле. Была здесь также и принцесса де Бурбон, и она преклонила перед братом колени: — Я ваша покорная служанка, братец, прошу вас, позвольте мне тоже послушать, какое решение вы и господин адмирал примете в этот последний час.

Она сказала это с той же многозначительностью, с какой произнесла за столом слова: «Помни о нашей матери». Серьезностью и торжественностью тона она хотела заставить брата окончательно опомниться. Екатерина знала слишком хорошо, кто у него на уме, знала, что он ради этой женщины может все забыть. Екатерина была еще дитя, и ее голос срывался; однако, она сказала то, что хотела. И теперь из полосы света отступила в тень.

Генрих обратился к Колиньи:

— Ваше желание, господин адмирал, встретиться со мною тайно отвечало и моему, я пришел.

— Королева Франции ни о чем не подозревает? — спросил Колиньи.

— Я в этом уверен, — ответил Генрих, хотя был совсем не уверен. Колиньи продолжал:

— Узнайте же то, о чем вы пока еще не можете быть осведомлены: нас в Париже не любят. Ваш брак тут ничего изменить не может; нас ненавидят, потому что ненавидят истинную веру.

«И, может быть, еще и потому, что вы слишком часто разрешали грабить», — добавил про себя Генрих, вспомнив харчевню. И какая безмерная ненависть должна жить в сердцах людей, принадлежащих к тому же народу, — не против религии, а против ее сторонников, если простолюдin выхватывает из очага пылающую головешку, стремясь убить своего гостя только потому, что этот гость — гугенот!

— Нельзя было доводить их до крайности, — сказал Генрих. — Ведь мы все французы.

Колиньи ответил: — Но одни заслужат небесное блаженство, другие — адские муки. И это так же верно, как то, что ваша мать жила и умерла протестанткой.

Сын королевы Жанны склонил голову. Что тут возразишь, если великий

сподвижник его матери пользуется ею как оружием? Оба они, и старик и покойница, были заодно против него, они были современниками, и оба остались непоколебимо верны своим убеждениям. Но отстаивали они их при дворе до последней минуты так резко и непримиримо, что катастрофа оказалась неизбежной. «Как же это? Значит, моя дорогая мать сама виновата в том, что ее убили? Нет! Нет! Уж пусть лучше виной будут легкие, а мадам Екатерина ей никакого яда не подсовывала!»

В этот миг его сестра осторожно поставила подсвечник между ним и господином адмиралом: пусть каждый как можно яснее видит другого, ведь очень многое зависит от того, чтобы они поняли друг друга. Но юноша увидел перед собою дряхлого старика, а не бога войны, которого он знал прежде.

Раньше Генриху адмирал всегда казался неуязвимым, словно отлитым из единого куска металла; не то чтобы Колиньи неизменно побеждал — нет, но он был воплощением войны и притом носил маску самой святой из войн — войны религиозной. В нем было что-то от существа, стоявшего выше человека, — такие лица можно встретить на изваяниях, украшающих снаружи стены соборов. Так, по крайней мере, казалось Генриху, когда он еще был мальчиком, да и в позднейшие годы, даже если он позволял себе критиковать Колиньи как полководца. Теперь все исчезло в одно мгновение, и вместо монументального благочестия и мощи Генрих увидел воочию окончательное поражение жизни, которое и называется старостью. Напрасно адмирал еще силился принять решительный вид: блеск его глаз уже померк, щеки стали дряблыми, даже борода поредела, только энергические складки, ушедшие от переносицы в грозную тучу лба, противились одряхлению; оставалась надежда на победу или нет, — герой был, как всегда, готов принести свою жизнь на алтарь господень.

Перед Генрихом сидел чужой старик, но он был соратником его дорогой матери, и ее смерть оказалась для него тяжелым ударом, поистине более тяжелым, чем для ее родного сына, ведь жизнь сына не иссякла и продолжалась без нее.

— Она спокойно почилла? — смиренно спросил Генрих.

— Она почилла в боге, как надеюсь умереть и я. — В его тоне слышалась

отчужденность — «что до меня, то я скоро буду с нею», словно хотел сказать Колиньи. «А ты, молодой человек, останешься здесь и отдались от нас».

Генрих это почувствовал, он возмутился:

— Господин адмирал, ваша воля расходилась с волей моей матери-королевы. Я знаю, она писала мне. Вы тщетно пытались принудить французский двор объявить войну Испании. А моя мать хотела сначала женить меня.

— Этого пока еще не случилось.

— И вы этого не желаете.

— Дело зашло слишком далеко, отступать уже поздно. Но одно мы еще можем — затем-то я и пригласил вас сюда сегодня ночью. Я хочу попытаться еще раз воспользоваться своей властью полководца и отдать приказ — такому приказу обязаны подчиняться даже вы, молодой государь.

— Я вас слушаю.

— Потребуйте гарантий до свадьбы. Клянусь богом, вы должны оградить нашу веру раньше, чем другие добьются своего и мы будем им не нужны. Когда бракосочетание?

— Еще через целых восемь дней! — воскликнул Генрих. Он уже не видел перед собой старца: за пламенем свечей ему представилась Марго.

Колиньи сказал: — Вам следует обратить внимание на то, как они спешат. Вас

хотят оторвать от ваших людей. Вас заставят отречься от истинной веры!

— Неправда. Она этого не требует.

— Кто? Принцесса? Да она же не имеет никакого влияния! Ну, а ее мать? Я предсказываю вам — запомните это: вы станете пленником.

— Вздор! Меня здесь любят.

— Как любят всех нас, гугенотов.

Тут Генрих прикусил язык, и Колиньи продолжал:

— Несмотря на все почести и увеселения, каких вы только ни пожелаете, вы все-таки окажетесь пленником этих людей и никогда уже не будете в силах следовать собственным решениям. Королевский дом Франции принимает вас по одной-единственной причине: чтобы религия королевы Жанны лишилась своего вождя.

Это было до ужаса близко к правде; загадка старости и ее прозрений внезапно

взволновала юношу — по крайней мере в ту минуту. Что таится в ее глубине? Не

рассмотреть! Быть может, сокровенное знание отживших свой век старцев подобно свече, зажженной чужой рукой в покинутом доме?

— Потребуйте гарантий. До свадьбы! Пусть ваша личная охрана состоит только из ваших людей, пусть все сторожевые отряды Лувра состоят наполовину из наших единоверцев; кроме того, мы должны иметь в Париже свои оплоты.

— Все это легко потребовать, господин адмирал, но трудно получить. Я предложу вам кое-что получше. Давайте сразу же нападём на них, возьмем в плен короля Франции, обезоружим его солдат и займем Париж.

— Хорошо, если бы вы предложили это серьезно, — произнес Колиньи сурово, ибо наступала решительная минута: сейчас судьба заговорит устами этого юноши. Однако губы юноши кривятся, он усмехается.

— Что ж, и кровь должна пролиться? — спросил Генрих.

— Да, немного — вместо большой крови, — загадочно ответило сокровенное знание, которое в данном случае было, очевидно, только старческой болтовней.

Генрих повернулся лицом к свече: пусть Колиньи видит, что он в самом деле бесстрашен, а не насмешничает из слабости. У него был в те дни профиль настоящего гасконского солдата, угловатый, угрюмый, решительный — пока только обычный профиль солдата, еще без того отпечатка, которые накладывают скорбь и опыт. Молодой человек сказал:

— Мне или совсем не следовало являться в Париж, или только тогда, когда я буду сильнейшим: такова была последняя воля моей матери. Однако вы сами, господин адмирал, распустили протестантское войско и правильно сделали; кто же едет на собственную свадьбу во главе армии, готовой к наступлению? И вот я здесь! Даже без пушек я оказался сильнейшим, как и хотелось королеве, ибо я ничего не боюсь и у меня есть выдержка. Спросите мадам Екатерину и Карла Девятого — я обоих заставил относиться ко мне с уважением, — спросите наконец некоего господина де Моревра — он мне руку поцеловал.

Это говорил восемнадцатилетний гасконский солдат, и его речь становилась все запальчивее, ибо старик горестно молчал.

— Спросите всех моих сверстников, что они предпочтут: борьбу партий из-за веры или победу над Испанией, достигнутую общими усилиями? Нам предстоит задача

— сплотить эту страну против ее врага; тут мы все сходимся, мы, молодежь!

—

воскликнул он. Словом «молодежь» он подчеркивал их самое бесспорное преимущество и наносил старику самый сокрушительный удар. Молодежь — это не те, у кого он подметил лица предателей во время приветственного балета в королевском парке, и не те, кто держал себя столь вызывающе за королевской трапезой. Молодежь — это некая община, на стороне которой сама жизнь, и старика она не хочет признавать.

Кроме того, Генрих Наваррский, впоследствии король Франции и Наварры, предвосхитил на какое-то мгновение то, что должно было стать делом его жизни — только его! — и с присущей ему горячностью распространил эти задачи на всю общину, которую назвал молодежью и которой на самом деле не существовало. Его молодые друзья отнюдь не сочувствовали браку Генриха с принцессой Валуа — ни д'Обинье, ни дю Барта, ни Морней, ни весь отряд конников, с которым он сюда прибыл, ни их единоверцы по всей стране. Обо всем этом он сейчас позабыл, с воодушевлением отстаивая свою миссию. А сколько раз еще в ходе грядущих событий будет он испытывать одиночество, несмотря на теснившуюся вокруг него толпу, становиться жертвой предательства и казаться неуверенным, несмотря на душевную твердость! Но всего этого он тогда не знал и спорил, обратив к сидевшему перед ним обломку миновавшего века свое смелое и устремленное к будущему, хотя еще и не отчеканенное жизнью лицо.

Этим двум людям уже не о чем было говорить друг с другом; сестра Генриха вовремя вышла из тени на свет.

— Дорогой брат, — начала она своим трогательным голосом, который, наверное, бы дрогнул, но она заставила его звучать твердо и не срываться даже на высоких нотах, когда испуганно договаривала концы слов. — Дорогой брат, вы будете великим королем, и я почтительно склоняюсь перед вашим ложем. — Странная формула, но в ней звучала такая вера, что он устыдился. За этим крутым, выпуклым лобиком, должно быть, таилась упрямая вера их матери. И еще одно было у его сестры: ясное прозрение его будущего величия, а также роли, предназначенной ей самой, — склоняться перед его парадным ложем. Однако сейчас девушке предстояло сообщить ему подлинную волю их матери.

— Она до самого конца не решила окончательно, следует ли вам вступить в брак с мадам Маргаритой. Нет, брат мой! Ибо мать наша знала, что ее отравили.

О! Опять его потряс, как вихрь, тот же испуг. Генрих сначала отшатнулся, затем склонился вперед и приник лбом к плечу сестры.

— Какие слова она сказала?

— Сказала она не больше того, что вам передал господин Ларошфуко. Я заверяю вас, наша мать знала все, а потому она и завещала, чтобы вы или вовсе не приезжали сюда, или только, когда будете сильнейшим.

В правде ее слов нельзя было сомневаться, ведь это говорилось с таким напряжением и в самом Генрихе рождало такой ужас!

— Она хотела того же, что и господин адмирал? — покорно спросил он.

— Она хотела большего. — Сестра словно выростала и вместе с нею выростал и ее детский голос. Она отстранила от себя брата, так что ее вытянутые руки легли

ему на плечи. Глядя ему прямо в глаза, она сказала: — Прочь из Парижа, брат! На

рассвете нужно собрать всех наших людей и уйти, даже если придется пробиваться.

Разослать верховых по всей стране! Королева Жанна! Королева отравлена! Народ

поднимется, даже из земли восстанет войско, которое полегло на полях сражений.

Тогда вы, брат мой, будете наступать, чтобы жениться. Такова воля нашей матери.

Именно в этом и состоит ее завещание и ее приказ.

Тут Екатерина сняла руки с его плеч и отошла, точно вестник, который выполнил свое дело и умолк. Да и стоило ей это слишком больших усилий: она

задышалась. Здесь, в замке, стояла тягостная духота, вместе с тем Генрих чувствовал, что происходит что-то странное. Этот разговор в запертой комнате

привел к тому, что уже все трое начали задышаться и утратили ощущение действительности. Господин адмирал стоял позади своего кресла, скрестив воздетые к небесам руки, взгляд его был также устремлен вверх, и лишь для всевышнего произносил он слова псалма:

Заставь, господь, их всех бежать.
Пускай рассеется их рать,
Как дым на бранном поле.
Растает воск в огне твоём.
Восторжествуем мы над злом,
Покорны божьей воле.

Генрих распахнул одно из окон в ночной мрак. Вдали молнии рассекали небо, и горячий ветер гнал все ближе к городу вспыхивающие пламенем облака. Юноша знает ничего не хотел о том, что враги ползут и окружают его, словно дым. Он не желал призывать гнев божий на головы злых. Он страстно рвался к тому приключению, которое называлось Марго; но оно также называлось Лувр; и с такой же страстью бросал он вызов судьбе.

Он обернулся и сказал: — Я не могу тебе поверить, сестра. Наша мать не знала, отравлена она или нет, и она не могла желать, чтобы я, словно трус, бежал отсюда, а потом вернулся во главе моего войска. Никогда ее решительный, бестрепетный голос не отдал бы мне такого приказания.

— Братец, ты сам себя обманываешь, уверяю тебя. В нас течет одна кровь, и нет у нас больше родных на всем белом свете; то, в чем я уверена, должен и ты в глубине своей души ощущать, как правду.

Однако он продолжал спорить: — Пусть она и в самом деле сказала это в тоске последних минут, но никогда бы наша отважная мать этого не повторила, вернись она на землю.

— О, если бы она вернулась! — воскликнула сестра, поворотившись к двери. А брат добавил: — Если ты сказала правду, она вернется!

Брат и сестра стояли рядом лицом к дверям и всеми силами души вызвали умершую: пусть двери откроются, и та, чей образ нерушим, переступит порог.

Горячий порыв ветра пахнул им в затылок, гроза надвигалась, голубоватые молнии

скрещивались и сливались, оставляя после себя густой мрак; дрожь ужаса пробегала по телу. Колиньи, стоявший позади брата и сестры, уже не молился, он

ждал, как и они. И двери распахнулись. При вспышке какого-то света за ее спиной

все трое увидели возвращавшуюся королеву Жанну. Свечи, горевшие в комнате,

внезапно погасли, и вместе с сокрушающим ударом грома она вошла.

— Моя королева Жанна! — проговорил адмирал Колиньи и прижал руку к груди, точно приветствуя живую. Брат и сестра одновременно сделали к ней шаг, тихий

возглас радости сорвался с уст дочери, а сын уже раскрыл рот, чтобы громко

воскликнуть: «Вот и вы, дорогая матушка!»

Однако этого не произошло: ибо вошедшая дама кивнула сопровождавшим ее людям с фонарями, и те окружили ее. Королева Жанна вдруг приняла образ принцессы Валуа, мадам Маргариты, Марго.

Они не сразу поверили своим глазам. Появление королевы Жанны казалось им гораздо более естественным, чем другой дамы, и к тому же эта могла опять превратиться в ту. Однако она не превратилась, у нее осталось прекрасное и утонченное лицо сестры Карла Девятого, и заговорила она присущим ей голосом — трудным и звонким, как золото.

— Сир! — обратилась она к Генриху Наваррскому. — Мы искали вас в замке и не нашли. Одна из фрейлин моей матери рассказала нам странную историю о каких-то темных подвалах. Стража у наружных ворот Лувра выпустила человека, видимо, переодетого; он отправился искать приключений. И хотя ваш друг дю Барта следовал за ним по пятам, мы все же были в некоторой тревоге за этого человека, ведь в ночном Париже небезопасно.

— Кто же тревожился, Марго? — прервал ее Генрих.

— Я, — ответила она с благородной прямоотой. — Я обо всем рассказала матери и заявила, что сама хочу привести его обратно под охраной моих солдат.

— Вернее будет сказать, мадам Екатерина послала вас за мной, чтобы я снова оказался в ее власти...

— Меня ваши слова очень удивляют, — отозвалась мадам Маргарита своим звучным голосом. — С этого дня, который тянется уже довольно долго, вы ведь знаете меня так же хорошо, как и я знаю вас. — И она протянула ему руку.

Такие руки великие мастера ваяют из мрамора, подобного воску, — полная кисть, стройные, изящно разделенные пальцы, отогнутые на концах, накрашенные ногти безупречно овальной формы. Ни кольца, ни украшения: нагая рука.

Генрих взял ее, поднес к губам и ушел вместе с Марго, не оглядываясь.

Moralité

Vous auriez beaucoup mieux fait, Henri, de rebrousser chemin tandis qu'il

était temps encore. C'est votre soeur qui vous a dit, elle si sage, mais qui ne le sera pas non plus toujours. Il est trop clair que cette cour oûte; regne une fêche mauvaise ne se contentera pas de vous avoir tué; la reine votre mère mais que vous deviez payer encore plus cher votre entêtement de vous y attarder et votre goût du risque. Il est vrai qu'en change ce jour vous fait connaître le côté; le plus quivoque de l'existence, qui ne se passe plus qu'autour d'un abîme ouvert. Le charme de la vie en est rehaussé et votre passion pour Margot, que le souvenir de Jeanne vous défend d'aimer, en prend une saveur terrible.

Пучение

Вы сделали бы гораздо лучше, Генрих, если бы повернули обратно, пока еще не поздно. Это же вам посоветовала и ваша сестра, — ведь она такая разумная, — впрочем, и она не всегда будет разумной. Достаточно ясно, что этот двор, где царит злая фея, не удовольствуется тем, что он убил вашу мать-королеву: вам придется заплатить еще дороже за ваше упрямство, которое побудило вас тут задержаться, и за вашу любовь к риску. Правда, пребывание здесь даст вам познать самую обманчивую сторону жизни, которая отныне будет протекать по краю разверстой бездны, что еще увеличит для вас прелесть бытия, и ваша страсть к Марго, которую память о Жанне вам запрещает любить, обретет от этого грозную сладость.

IV. Марго

Выставленный на высоком помосте

Нынче, восемнадцатого августа, большой праздник: сестра короля выходит замуж за принца из дальних краев. Говорят, он хорош собою, как ясный день, и богат, как Цутон, ибо у него в горах растет золото. Приехал он сюда с целыми тюками

золота, его всадники все в золоте и кони тоже. До этого принца, живущего за горами, дошел слух про нашу принцессу: она, мол, так хороша и учена, что ни одна королевская дочь с ней не сравнится. Знаменитый астролог показал ее принцу в волшебном зеркале, она улыбалась, она говорила, он не устоял перед ее голосом, перед ее взглядом и пустился в дальний путь.

Не надо было запирать окна да закрывать ставни, когда на прошлой неделе принц вступал в Париж с громадной свитой. По крайней мере своими глазами увидели бы, что тут правда, что нет. Ведь плетут-то разное. Рассказывают, например, о недавних нападениях на почтенных граждан; у иных эти разбойники, которых зовут гугенотами, даже карманы пообчистили. Мы, как стемнеет, больше не выходим на улицу, мало ли что может случиться.

И еще во многом люди идут против правды и порядка. Нынче наш король выдает сестру за чужеземца, а тот будто бы из еретиков и даже ихний король. Разве господь бог такие дела разрешает? Наш священник рвет и мечет. Но, говорят, папа дал согласие. Что-то не верится! Тут что-нибудь да не так. Видно, гугеноты всякими угрозами заставили нашего короля пойти на это, а послание святого отца они подделали. Всем известно, какие они хитрецы и насильники. С незапамятных времен, еще когда мы были вот такими, воюют они против католиков, грабят и жгут, даже самого короля хотели в плен взять, а теперь вдруг свадьбу играют. Это добром не кончится. Уже есть и вещи знаменья.

Что до меня, то я нынче еще крепче запру свой дом. Говорят, вчера вечером наша знать по случаю обручения пировала и плясала во дворце короля. Люди видели: Лувр был освещен словно адским пламенем. А невеста возьми да и исчезни, точно ее черт уволок. Конечно, всему, что болтают, нельзя верить. Должно быть, она просто спала во дворце епископа, что против собора, — она там нынче будет венчаться и слушать обедню. Двор собирается щегольнуть небывалой пышностью, а свадебный наряд невесты стоит столько, сколько целых два дома в Париже. На это надо пойти поглядеть. Многие собираются, и все почтенные горожане туда уже отправились. Солнце светит. Пойдем-ка и мы.

Так думал и говорил простой люд и почтенные горожане, когда, пообедав

пораньше, устремились со всех концов города к церкви Нотр-Дам. Не то чтобы один утверждал одно, а другой обратное, но по пути каждый повторял все, что было сказано остальными, поэтому иной раз сам себе противоречил. Происходило это потому, что парижане сторали от любопытства, предвкушая зрелища самые разнообразные – поучительные и устрашающие, пышность и злодейство. Толпа переносила на события свои обычные страхи и тревоги, и хотя каждый старается, чтобы эти тревоги не смутили покой его домашнего очага, на улице им невольно поддаются и бедные и богатые.

Одно из первых нарушений тех законов, по которым живет толпа, – это задержка. Толпа всегда неудержимо стремится вперед, к чему бы это ее ни привело, и, не будь охраны, она в своем движении опрокинула бы деревянные сооружения, воздвигнутые к празднику на Соборной площади. В предвидении этого и выставлен отряд швейцарцев; скрещенными аллебардами они оттесняют ее обратно в улицы. Ни просьбами, ни проклятиями не тронешь этих чужаков: они же ни слова не понимают по-нашему. Швейцарцы – народ кряжистый; рукава у них – точно окорока, отчего эти молодцы кажутся еще шире, белобрысые бороды лежат на удивительно пестрых полукафтаньях. Поступь у них медвежья; но кто ловок да увертлив, легко их перехитрит. Поэтому многим все же удается прорваться, хоть ползком, ныряя под древки копий. Потом их все равно прогоняют, но они успели на все наглядеться, разинув рот, и сейчас же окажется, что все-то они знают лучше остальных, да и вообще многое знают и спорят без усталости, надсаживая глотки.

– Мы из цеха плотников, и нам пораньше прочих все стало доподлинно известно. Ведь это мы строили перед главным порталом собора вон тот большой помост, на нем папа будет самолично венчать нашу принцессу Марго с королем Наваррским.

– И вовсе не папа, а один босой монах, мой знакомый, он хвастал, что будет их венчать. Он все наперед предсказал! Эх, вот горе-то, что приходится держать язык за зубами!

– То же самое и я могу вам открыть: вот помяните мое слово, король Наваррский станет рогоносцем. Что? Об этом запрещено говорить? Сам ты рогоносец! Спросите у людей!

— Я вам не стану отвечать, как вы того стоите, потому я человек миролюбивый,
а вот господин гугенот — вон рядом с вами стоит — другое дело. Как бы он вас не отколотил!

— Добрые христиане! Вы ведь и сами замечаете, что здесь, как и повсюду в Париже, слишком много еретиков. Им даже больше чести оказывают, чем нам: видите, охрана пропускает их!

— Да ведь жених тоже из таких. И выходит, добрые христиане, что вы попадаете в лапы к нечестивым. Горе вам!

— Добрые христиане! Чужеземцы, налетевшие на Париж, подобно сонмищу саранчи, кое-кого из нас уже убили, ограбили, опозорили, сожгли да повесили. Не дайте свершиться еще большему злу, не допускайте этого брака!

— Эй, а вы кто такие, чернохвостые? Спрячьте-ка лучше свои рожи под клобуками! Бродят тут эти испанские монахи и нас подзуживают: разнесите, мол, помост, когда ваш король сестру выдавать будет! Вашему испанскому Филиппу это, конечно, было бы на руку! Куда же вы вдруг провалились? Ага! Как вас признали, так вы и спрятались!

— Все равно эти бандиты, эти гугеноты, будут гореть в геенне огненной, а по справедливости им следовало бы гореть уже сейчас, в этой жизни!

— И все-таки папа приедет и самолично будет их венчать. Уж вы со мной не спорьте! Мы, плотники, своими руками построили вон ту деревянную галерею, от самого епископского дворца до собора. Кто же, как не папа, пройдет по ней, коли она обошлась двору в такие денежки?

— Вы, плотники, нынче хорошо заработали!

— Да нет, во всяком случае меньше, чем суконщики! Те вон всю галерею обтянули белым, нашей богатой работы совсем и не видно.

— Лучше всего дела идут у трактирщиков.

— Нет, у портных: ведь они шьют праздничные платья для всего двора.

— Нет, у девок: гостей-то, видишь, сколько — понаехало!

— С гугенотами мы еще сочтемся. А сейчас они очень поддерживают торговлю.

— Посторонитесь. Ишь, встали! Рассуждают тут насчет торговли и загораживают от нас нарядных господ! Видите: выходят из епископского дворца, вон их сколько, еще... еще... Они проходят перед нами по всей длиннушей галерее, будто милость нам оказывают! Ну, конечно, милость, по крайности вид у них такой, когда они важно шествуют, будто им невдомек, что каждый сверкает, как павлин на солнце, и на него глазеет весь Париж. Вот в том-то и состоит знатность — ведать, мол, ничего не ведаю! А вон гляди — фу ты, ну ты! Дамы пошли! Против них мужчины, что зола против огня! Кажется, сейчас только солнышко взошло. И как подумаешь, что все эти чудеса — дело рук наших портных, да парикмахеров, да ювелиров, так нашему брату-ремесленнику, пожалуй, и загордиться можно!

Впрочем, от многоопытных зрителей не укрылось и то, что, когда шествие подошло к собору, произошла заминка. Совершенно так же, как если бы они были

обыкновенными простолюдинами, некоторые благородные гости решили протолкаться вперед, чтобы первыми подняться на высокий помост и захватить сидячие места.

Началась даже драка, и офицерам гвардии пришлось водворять мир среди французской знати. В конце концов надлежащий порядок все же был восстановлен.

Король, кардинал, жених с невестой, королева, принцы, принцессы, свита из дворян и фрейлин, а также духовенство, окружавшее кардинала, — все были водворены по местам согласно своему сану, о котором прежде всего свидетельствовало разнообразие их одежд.

Весь цвет королевства был выставлен напоказ на высоком открытом помосте; вельмож оведали летние ветерки, над их головой голубело испещренное белыми

облачками небо. Сюда были устремлены глаза стоящих широким полукругом домов —

всюду раскрытые окна с вывешенными наружу коврами и расфранченными жителями.

Внизу, вдоль стен, и на улицах наступила тишина, люди снимали шляпы, молитвенно

складывали руки, опускались на колени. А сейчас же за помостом с цветом французского королевства, как памятник всем ушедшим поколениям, высился собор.

И его колокола возносили в небеса свой звон, предназначенный для вечности.

Именно так совершал кардинал Бурбон бракосочетание короля Наваррского с принцессой Валуа.

Когда все кончилось, пришлось, конечно, слезать с помоста, и шпаги

запутывались в шлейфах. Однако зрители ничего не заметили, ибо господа тут же вошли в собор. Там, разумеется, за много часов до венчания уже собрались те, у кого были собственные места на скамьях: дворяне и богатая чиновная буржуазия, и уж не этих знатоков можно было ослепить заученным величием осанки! Правда, как только показался Карл Девятый, они тотчас – в знак благоговения – опустили на колени, но на этом дело и кончилось, и тем зорче подмечали они потом все промахи и недостатки.

Кардинал-то как постарел, а Карл Девятый похож на мясника: все высматривает своим косящим взглядом, какого бы теленка ему прирезать. А его супруга, Елизавета Австрийская, как вырядилась – роскошнее, чем сама невеста! Да ей только это и остается, ступить не умеет, двух слов связать не может, разве что по-испански либо по-немецки, но уж никак не по-французски. Чересчур дебелая для своих двадцати лет, поэтому на интимных сборищах попросту обходятся белее, а на официальных она все равно что мебель. Карл изменяет ей направо и налево. Это насчет Елизаветы Австрийской. Подобные замечания делались главным образом прозорливыми дамами. А теперь перейдем к новобрачным! Ничего не скажешь, красивый, веселый малый, сильные бедра, плечи широки не по росту – ведь, несмотря на высокие каблуки, он чуть повыше нашей Марго. А она-то уж, конечно, надо отдать ей справедливость, как всегда, совершенство, умеет показать себя во всей красе.

Мужчины говорили: как этот Наварра лезет с нею вперед! Положенная дистанция между ними и Карлом Девятым все уменьшается, это же просто неприлично! Видно, захудалый дворянчик никак не дождет своей счастливой судьбы. И ведь только он один этой судьбы не знает. Нам-то всем отлично известно, какова его драгоценная супруга! Под платьем у нее карманы, и в каждом сердце убитого любовника. Если хотите знать, это смерть от любви. Да, такая смерть бывает. Не верите? Спросите соседа, он верит; разве она не могла научиться у своей премудрой мамы готовить некое питье? Ну-ну, потише! Потише! Мадам Екатерина – единственная, кого здесь нет, но как раз она-то все и слышит.

Тут опять заговорили женщины. Смотрите! Герцог Гиз! К самой свадьбе, а все-таки вернулся! Значит, можно начинать сначала. Ну нет! Разве вы не знаете?

Она же теперь влюблена в красавца ла Моля. Вот он идет. Который же это?

Первый

был у нее в одиннадцать лет. Я всегда напоминаю об этом моему мужу: пусть не забывает, что есть особы и почище меня.

Мужчины еще раз обсудили нарушение положенной дистанции. Этот Наварра вот-вот толкнет короля или кардинала, он на все способен. Сколько же денег

можно без риска ссудить ему под его могущественное королевство? Пожалуй, мешок

с него ростом, не больше! Милый мой, как вы злы! Что это за мешок ростом с

короля! Да и король-то — протестант!

Придворные дамы шептались на своих скамьях.

Неужели французскому королевскому дому непременно надо было брать гугенота?

Подумайте сами, моя милая, разве такая спешка — ведь это все состряпали наспех!

— прилична и не кажется вам подозрительной? Разрешение папы приходит вдруг с

молниеносной быстротой, хотя перед тем все время твердили, что его святейшество

запрещает этот брак! Если вам уж очень хочется знать, я, так и быть, скажу по

секрету, что никто этой самой папской грамоты своими глазами не видел. Получено

только письмо от посланника из Рима — если оно действительно написано в Риме, а

не составлено по указке мадам Екатерины.

Тут же рядом шушукались придворные. А все-таки остается впечатление, что все

это козни королевы-матери. Пока еще ее планы неясны, но их смысл может открыться раньше, чем мы думаем, и оказаться еще ужаснее. Ведь Карл Девятый

поручил протестанту де ла Ну командовать войсками, которые должны вырвать из

рук испанцев крепость Монс. Де ла Ну уведет с собой своих самых боевых единоверцев, и, адмиралу здесь, в Париже, туго придется без них. Чудные дела

творятся. Ничего сказать нельзя — запрещено! И знать запрещается.

Говорят,

свадебные торжества будут необычайно пышные.

То же единодушно утверждали и дамы; но и дамы и мужчины из всех представленных здесь сословий буквально онемели, когда заметили происходящее на

хорах. Вместо того чтобы прослушать обедню, король Наваррский бросил молодую

королеву, а сам с несколькими протестантами из своей свиты удалился через

боковую дверь. Хотя такой выходки и можно было ожидать, но все-таки это был скандал. Каждому известно, что, когда начинается обедня, черт при первом же слове поджимает хвост и наутек; но неужели новобрачный не мог хоть соблюсти приличия и потерпеть? Хорошо, что каждого из ушедших заприметили. Ну, да этим нахальным штучкам теперь скоро положат конец.

Госпожа Венера

Обойдя собор, Генрих вернулся во дворец епископа. Его сопровождали только ревнители истинной веры, тут были и те, кого он уже давно не видел, но в этот великий день и они были тут. Среди них оказался и его прежний воспитатель, Бовуа, некогда столь ловко покрывавший проделки Генриха в Collegium Navarra, когда мальчик выдерживал трудную борьбу, чтобы не идти к обедне.

— Бовуа! — восторженно воскликнул Генрих. — Разве мы оба не пошли в гору? У вас теперь красивый дом в Париже, я женюсь на сестре короля, а насчет хождения к обедне никто и не вспоминает.

Грузный старик отвечал: — Сир, я стал ленив и тяжел на подъем. Потому и коротаю свои последние деньки в наглухо замкнутом доме, люди дают мне всякие мерзкие прозвища и пишут их на дверях.

Он подмигнул. Толстяк охотно напомнил бы своему воспитаннику многое, о чем тот среди победных настроений позабыл или что не соответствовало этим настроениям. Несколько голосов потребовали вина. Но Генрих был пьян от одних мыслей о Марго. Кажется, ждать уже невозможно, время тянется нестерпимо, и все-таки оно мчится на крыльях счастья, а старик Хронос катит на легком шаре Фортуны. В четыре часа пришли доложить, что обедня сейчас кончится. Новобрачный отправился в собор и увел жену. В присутствии короля Франции Генрих поцеловал ее: гугенот с юга поцеловал принцессу Валуа. Это зрелище заставила умолкнуть немало злых языков. Весь двор опять проследовал по праздничной галерее во дворец епископа, и вновь любовались повадками знати все зрители — простолюдины и почтенные горожане. Обед состоялся во дворце, а вечером праздник

продолжался в замке Лувр. Его стены увидели бесконечные танцы, которые были прерваны только шествием серебряных скал. Через огромную залу под двадцатью люстрами проплыли с помощью мощных незримых механизмов десять сверкающих глыб, и на первой из них, олицетворяя собою бога Нептуна, восседал сам Карл Девятый, почти голый, ибо любил хвастать своим телосложением. За ним следовали его братья, а также другие дворяне, переодетые богами и морскими чудищами. Машины громыхали, и полотняные скалы морщились длинными складками. И все-таки нельзя было не подивиться тому искусству, с каким все это было сделано, тем более что музыканты пели французские куплеты, сочиненные лучшими поэтами.

Ужин начался поздно, и, когда сели за стол, некоторые пары уже условились пожениться, подобно Марго и королю Наваррскому, который хоть и не любил обедни, но тем сильнее любил принцессу. Прекрасным фрейлинам старой королевы было разрешено сегодня покорять гугенотов сколько им вздумается. По отношению к Агриппе д'Обинье это оказалось нетрудным; возгораясь пламенными чувствами, он пообещал каждой все, чего бы та ни пожелала. Дю Барта духом остался тверд, и только плоть его сдалась. Мысли третьего друга новобрачного, Филиппа дю Плесси-Морнея, витали где-то далеко. Он принадлежал к тем натурам, которые даже посреди оргий сохраняют отсутствующий вид и чрезмерную чистоту. Как раз в такие минуты люди и доходят до крайностей: одни — в своих пороках, другие — в добродетелях. Его сократовское лицо было просветлено гневом, и он воскликнул, покрывая шум оргии:

— До чего же дошло наше ребячье неразумие! Мы готовы поменяться местами со скоморохом, играющим в трагедии роль короля! Он тащит за собой на подмостки золотую парчу, а через два часа возвращает ее старьевщику вместе с деньгами за прокат. О том, что под нею прячутся грязные лохмотья, насекомые и болячки, мы не думаем, а ведь сколько раз, изображая государя, он вынужден почесываться и, хвастаясь своим величием, корежится от нестерпимого зуда!

Раздались негодующие возгласы. Но кто их слушал? Брат Карла Девятого и его будущий преемник, — когда Карл наконец изойдет кровью, — да, сам герцог Анжуйский радостно хлопнул Филиппа по плечу и шепнул ему на ухо: — Этот

скоморох и есть мой братец! От меня вам нечего скрывать ваше мнение, я разделяю его. Меня влечет к вам, протестантам, ваша прямота и откровенность — эти качества бывают только при глубочайшей вере в бога.

Сближение принца крови со скромным солдатом господа вызвало подражание; а может быть, оно само было только одним из многих братаний, начавшихся между католиками и протестантами? Они уже сжимали друг друга в объятиях, например, господин де Леран обнимал капитана де Нансея. Молодой Леви, виконт де Леран, выделялся среди своих сверстников, это был настоящий паж — красивый, стройный, живой. Силач де Нансей прижимал его к себе с такой силой, точно хотел в приливе любви раздавить ему грудную клетку; но юноша выскользнул у него из рук, словно кусок масла, и вдруг укусил толстяка за ухо. Миг сомнения — что же теперь будет? — затем взрыв дружного хохота: такова была эта ночь.

У нее было, несомненно, лицо Венеры: даже скептики, вроде дю Барта, — правда, их было немного, — увидели его совершенно явственно. Но и от них ускользнуло то обстоятельство, что это все подстроено мадам Екатериной. Она выслала в бой свой летучий отряд, и, следуя ее приказу, фрейлины сделали то, чего не мог сделать никто: они уничтожили все различия между религиями. Господь бог никогда еще их не смешивал, и — вот нынче ночью за дело взялась, правда, на свой особый лад, госпожа Венера. Из всех языческих божеств ей в известном смысле меньше всего присущи обман и коварство, и если она что обещает, то немедленно и дает. Во всяком случае, при французском дворе, где все должно было служить целям мадам Екатерины, любая пара после стовора тут же удалялась. Поэтому часть гостей все время исчезала в комнатах фрейлин, предаваясь там беспорядочным наслаждениям при открытых дверях, причем вновь прибывшие искали свободного места, а того, кто еще был занят с дамой, ожидающие своей очереди подбадривали с ревнивым сочувствием. Затем возвращались к танцам.

Временами огромная зала оказывалась наполовину пустой, и музыка на хорах гремела слишком гулко, как в пустом помещении. Еще оставались пьяницы, оставались философы. Нежно склонившись к Марго, еще сидел здесь Генрих. Над новобрачными пестрым шатром свешивались знамена французских провинций, знамена, взятые в былых сражениях, в далеких странах. Но влюбленным казалось, будто они

наедине. Генрих говорил ей, что он ее любил всегда, всегда любил только ее.

Марго отвечала и лично от себя и от имени своего сердца, уверяя, что и она тоже. Она верила Генриху, а Генрих ей, хотя оба знали, что на самом деле не всегда было так. Но сейчас оба чувствовали, что теперь это стало правдой. Вот он — мой единственный возлюбленный. Я не знал ни одной женщины, кроме вот этой, с нее начнется моя жизнь. Он моя весна, без него я бы скоро состарилась.

— Генрих! Ты сложен с такой соразмерностью, какой требует канон античности.
Клянись честью, ты заслуживаешь награды!

— Марго! Я с радостью готов разделить с тобой эту награду: сколько ты захочешь и выдержишь.

— Доказательство не терпит отсрочки... — начал ее звучный голос, а прекрасное лицо досказало остальное. Он быстро вскочил с колен, и они вступили на тот путь, по которому уже прошли многие. И хотя это путь плоти, но бывает, что и плоть может одушевиться. Когда они вышли из большой залы, Генрих схватил ее и понес. Он нес Марго перед собой. Солдаты отдавали им честь и что есть силы стучали сапогами. Пьяные, уже свалившиеся на пол, пытались проводить их взглядом.

Однако осуществлению страстного намерения мешал брачный наряд принцессы: он топорщился на бедрах четырехугольником, и Марго была заперта в нем, точно в ящике. Тут молодой любовник выказал и осмотрительность и многоопытность. Он не стал грубо мять блистающую оболочку, но мгновенно раскрыл ее. «Не сравнить с Гизом, — еще успела подумать Марго, — хотя тот выше ростом и по внешности сразу скажешь, что дворянин!» Но вот оболочка, точно раковина, открыта, и жемчужина обнажена. Вместо того чтобы подольше соблазнять его этой драгоценностью, Марго приказала коленям слегка ослабеть и подогнуться, сделала вид, что падает, дала себя подхватить и потом бросить туда, куда ей хотелось, — на ее знаменитую кровать, обтянутую черным тяжелым шелком. «Этот любит женщин и тем меньше знает их! Этого я сумею удержать...» — хотела еще сказать про себя Марго. Но уже погасли слух и зрение — к большой выгоде остальных чувств.

Австрийский дом

Генрих один вернулся в большую залу. Там стало многолюднее, чем до его ухода, ибо теперь здесь находилась королевская чета. Карл Девятый успел прикрыть свою наготу, но зато напился. – Вон возвращается дружок моей толстухи

Марго! – воскликнул Карл, увидев Генриха. По всему было заметно, что и остальные в курсе дела и ждут возвращения счастливого супруга. Лишь королева не смеялась; она, как обычно, не обнаружила никакого движения ума или чувств.

Никто не мог вспомнить, какой у нее голос. Елизавета Австрийская сидела, выпрямившись и не шевелясь, на возвышении в особо предназначенной для этого части огромной залы; вокруг нее как бы сама собой образовалась пустота, никакой охране не приходилось отгонять любопытных. И королева высилась там в своем золотом платье, окаменевшая и неуязвимая, точно статуя святой, даже лицо от толстого слоя белил уже не казалось человеческим. За ее широкой юбкой скрывались два испанских священника; но сами они видели все.

Карл Девятый повис на руке зятя. Он шепнул Генриху на ухо, однако достаточно громко, какую-то непристойность насчет собственной сестры. Генрих с отвращением подумал: «Если он упадет, пусть валяется! Может быть, дать ему подножку?» Однако он не сделал этого и наконец дошел до того места, куда Карл влек его всей своей тяжестью: это была пустынная часть залы, где сидела королева.

– Вот она... восседает... – заикаясь, бормотал Карл, – а поди-ка, опрокинь! Кажется, сдохнет, трупом станет, а все будет торчать тут, выпрямившись, во всем своем золоте. Австрийский дом – для меня постоянный кошмар, а она – я же с ней спал! – она преследует меня даже во сне! У этой женщины голова медузы... прямо кровь стынет! Она дочь римского императора – ну скажи, Наварра, может на ней человек жениться? Мой дед, Франциск Первый, лежал в оковах в Мадриде, и за то, чтобы его отпустить, император Карл Пятый потребовал в качестве заложника его родного сына. Они оскорбляли моего отца, а меня угнетают, пользуясь этой дочерью императора Максимилиана. Они держат под своим каблуком всю Европу. Их золото, их хитрости, их священники сеют раздоры в моем народе, а их войска

опустошают мою страну. Наварра! – бормотал Карл Девятый, словно
затравленный. –
Отомсти за меня! Потому и сестру тебе отдаю! Отомсти за меня и мое
королевство!
Мне это заказано; я побежденный, который теперь уже не сможет бороться. Я
так и
буду влачить свои дни с отчаянием в сердце. Помни обо мне, Наварра! И
берегись,
– последние слова едва различимым шепотом соскользнули с его губ в ухо
Генриха,
– берегись моей матери и моего брата д'Анжу! Что бы с тобою ни случилось
в
будущем, не вини меня за это, Наварра, ибо мною руководит только страх.
Никому из смертных неведом такой чудовищный страх.

Вдруг король сипло взвизгнул. Его охватил ужас: из-за спины королевы на
него
глянули две пары колючих глаз; один миг – и они исчезли, словно только
померещились. Карл зашатался, он ухватился за Генриха, никого больше не
оказалось рядом с ним на этом месте, видном отовсюду. Его зять-гугенот в
душе
потешался над ним и этим побеждал нараставший ужас. Король смолк, и
выжидающе
смолк в огромной зале весь его двор – что свидетельствовало о какой-то
бесспорно враждебной настороженности. Генрих это сразу же почувствовал, и
его
сметливый ум подтвердил возникшее ощущение. Всем этим фанатикам, врагам
его
веры, неприятно видеть, что Карл, их государь, доверчиво разгуливает с
Генрихом. Женитьба на Марго стала им всем поперек горла, в этом он
никогда не
сомневался, и они не могли не выказать недовольства, даже против своего
желания. Сегодня госпожа Венера зовет к смешению всех, кто бы ты ни был.
И
все-таки среди гостей началась какая-то не то давка, не то свалка:
католики
оттеснили протестантов в самый конец залы. А сами сгрудились тесной
толпой у
невидимой черты, отделявшей от всех королеву, и, казалось, насторожились.

Генрих бросил на них быстрый взгляд. Здесь только те, кто вооружен, –
хотя
лица пока скорее любопытствующие, чем враждебные. Впрочем, этим людям
было бы
нелегко овладеть им: в глубине его протестанты сомкнули ряды, готовые
ринуться
ему на помощь. Что касается фрейлин, то их словно ветром развеяло, и они,
щебеча, наблюдали издали, как приближается гроза.

Карл, хотя и был пьян, ощутил вокруг себя эту пустоту, и внезапная
предгрозовая тишина взбесила его. – Вина! – прорычал он. – Я хочу пить с
королевой, пока она не свалится! Смотрите все! Несмотря на все свое
золото,
свалится она, а не я.

Королева, едва ли поняв, что он говорит, продолжала сидеть неподвижно, как идол. А сам он, вероятно, устав от брани и богохульств, так отяжелел, что зять-гугенот уже был не в силах поддерживать его, и оба, вероятно, упали бы.

Кто-то подскочил и успел поддержать Карла. Генрих поднял глаза и неожиданно

увидел перед собою лицо некоего господина де Моревера: оно было искажено ненавистью. В следующее мгновение еще кто-то оттеснил Моревера — Герцог Гиз.

— Что это вам вздумалось, де Моревер! — торопливо проговорил он. — Убирайтесь-ка отсюда, да поскорее! Вот еще нашелся! — Он подхватил Карла. — Помогите, Наварра! На нас возложена миссия поддерживать престол и служить опорой королю.

— Для того-то мы и явились сюда с нашими дворянами из Лотарингии и Беарна, — заявил Генрих тем же напыщенным тоном и так же выпрямился, как и молодой герцог, который был высок ростом и белокур. Их взгляды скрестились поверх пьяного короля; время от времени им приходилось ставить его на ноги, когда он готов был совсем опуститься на пол.

— Посадите же меня рядом с Габсбургшей, — молил Карл Девятый, обливаясь слезами. — Ведь и я вроде как святой — посвятите вас. Вы же оба задирали юбку моей толстухе Марго. Сначала ты, но тебя она бросила... — И он свалился на Генриха Гиза, а тот толкнул его на Генриха Наваррского. — Тебя она не бросит, — хныкал он, припав к груди своего зятя. — Она любит тебя, я тебя люблю, а наша мать мадам Екатерина даже очень тебя любит.

— Дьявол! — завопил он вдруг, ибо испанские священники опять напугали его: он успел уже об них позабыть. Но когда рассмотрел эти черные фигуры и перехватил их подстерегающий взгляд, ему стало совсем не по себе.

— Знаю я, чего вы от меня хотите, — бормотал он, повернувшись в их сторону, хотя они тут же снова скрылись. — Отлично знаю. Так и будет, в точности. Вы и в ответе. А я умываю руки.

Он уже настолько отрезвел, что мог держаться на ногах без посторонней помощи, поэтому герцог Латарингский и король Наваррский отпустили его. У Генриха руки были теперь свободны, и он оглянулся вокруг. Что-то изменилось в толпе у незримой черты — в ней чувствовались не только любопытство и настороженность. Угрожающе смыкалось теперь вокруг Генриха кольцо католиков,

оно было в движении, ибо в задних рядах протестанты схватились с католиками
врукопашную, стараясь протиснуться вперед. Кое-кто из начальников взобрался на
стулья, только дю Барта, пользуясь своим ростом, командовал стоя. Вдруг поднялся крик, никакое королевское присутствие уже не могло помешать всем этим
людям нарушить установившееся было человеческое дружелюбие, и их прерывистое,
бурное дыхание говорило о том, что последняя узда сорвана. Кровь неминуемо
должна была пролиться.

Как раз в решающую минуту позади Елизаветы Австрийской зашевелились два испанских священника. Они куда-то нырнули — и помост с креслом королевы без
видимой причины поехал как бы сам собой прочь из залы. Он двигался толчками и
рывками, как движутся театральные декорации; так же двигались в начале праздника серебряные скалы, несшие на себе голого короля и других морских
богов. Однако дело шло, и, подскочив в последний раз, седалище дома Габсбургов
благополучно перевалило через порог. Еще не закрылись двери, как все увидели,
что чья-то рука откинула ковер, покрывавший помост, а из-под ковра с трудом
выползли на четвереньках оба испанских священника и, задыхаясь от усталости,
поднялись на ноги.

Король Наваррский неудержимо расхохотался, и на его смех ни один человек в
зале не смог бы обидеться: до того он был весел и искренен. Он точно отмел все
злые помыслы и на время утишил в каждом его воинственный пыл. Это сейчас же
понял некий коротышка, отличавшийся несокрушимым присутствием духа;
коротышка
стоял позади всех на стуле, кое-кто знал и его имя: Агриппа д'Обинье. И тут же
запел приятным звонким голоском:

— Королева Наваррская, тоскуя, льет слезы на своем прославленном ложе из черного шелка. Но разве мы знаем, что ждет нас завтра? — Так пойдете же и
проводим к ней жениха.

Его песенка имела успех, однако для большей убедительности он перешел на стихи:

Смерть ближе с каждым даем. Но только за могилой
Нам истинная жизнь дается божьей силой,
Жизнь бесконечная без страха и забот.

Пути знакомому кто предпочтет скитанье
Морями бурными в густеющем тумане?
К чему блуждания, когда нас гавань ждет?

На первый взгляд все это как будто и не имело никакого отношения к происходящему, разве только комическое; поэтому стихотворец вызвал всеобщий смех и оказался победителем. Карл Девятый тут же заявил громогласно, что со всей свитой намерен сопровождать зятя Наварру к ложу сестры. И он взял за руку молодого супруга. По другую сторону Генриха стал герцог Лотарингский; это была самая захватывающая подробность всей сцены: бывший любовник провожает супруга к брачному ложу молодой супруги. За ними рядами выстроились гости, без различия вероисповедания. Те, кто уже готов был начать драку, с удовольствием согласились на отсрочку, и шествие двинулось. Но по пути в него влилась большая толпа фрейлин. Где бы процессия ни проходила, открывались двери и выбегали знатные дамы: они считали неудобным не принять в ней участие. Мужчины постарше, которые уже успели задремать, вскакивали от шума и тоже присоединялись, кто в чем был. Гордо выступал де Миоссен, первый дворянин, в сорочке и меховом полукафтанье, но без штанов. Впереди торопливо шла стража с факелами, освещая старинные каменные переходы; уже почти никто не понимал, в какой части дворца они сейчас находятся, и толпа колесила по одним и тем же коридорам, усердно распевая:

Пути знакомому кто предпочтет скитанье
Морями бурными в густеющем тумане?
К чему блуждания, когда нас гавань ждет?

— Тут! — наконец заявил Карл Девятый. Однако это была вовсе не та дверь. Словно огромный червь, шествие извивалось по тесным коридорам, пока наконец, не добралось до двери Марго. Тогда Карл обратился с последним напутствием к счастливому мужу: — Ты счастливец, Наварра, ибо принцесса, славнейшая и благороднейшая во всем христианском мире, уберегла для тебя свою невинность, чтобы ты ее похитил; она терпеливо ждала тебя, и вот, видишь, ты стучишься к ней! — С этими словами он сам грохнул кулаком в дубовую дверь. Потом расцеловал зятя в обе щеки и заплакал.

Однако невеста не отворяла, хотя шум стоял такой, что разбудил бы и

мертвого. Наконец все затихли, прислушиваясь. Этим воспользовался герцог Гиз и громогласно заявил:

— Клянусь всеми святыми, а в особенности святым Варфоломеем! Будь это я, дверь сама бы распахнулась, ибо меня она знает.

И тут все поняли, даже те, кому это еще на ум не приходило, что Гиз обижен и теперь злится. А король Наваррский легко нашелся и ответил:

— Вы же видите, дверь только из-за вас не открывается, чтобы не вышло ошибки.

Но Гиз настаивал:

— Только из-за вас — она привыкла к лучшему.

Карл Девятый повелительно крикнул: — Всему свой черед! Сейчас впереди не поединок, а брачная ночь.

Несмотря на эти слова, оба кавалера принцессы Марго встали у ее двери в боевой позиции: нога выставлена вперед, грудь — колесом, на лице угроза. Вся процессия, до последних рядов, замерла, женщины потребовали, чтобы

мужчины подняли их на руки: им тоже хочется увидеть соперников — Наварру в белом шелке и Гиза в голубом, — как они впилась друг в друга глазами и огрызаются. Конечно, не будь Гиз отвергнутым женихом, пришлось бы признать, что за ним

немалые преимущества: высокий рост, опасная ловкость, злая четкость черт — они

сейчас тем грознее, чем обаятельнее представляются в обычное время. Ответ Наварры очень прост и состоит в одном: он в точности подражает Гизу; несмотря на небольшой рост, Генрих сейчас тоже кажется крупным хищником — играть он

умеет. И тут же выставляет зверя в смешном виде, как будто нечаянно, но в этом все дело: зверь потягивается, изгибается, готовится к прыжку, Генрих даже становится светлым блондином, и на подбородке у него словно развеваются желтые

прядки волос — до того совершенно подражает он изысканному северному говору лотарингца.

— Я начал с деревенских девчонок, — говорит он, — а теперь хочу только принцессу. Принцесса питала пристрастие к лотарингцу, и вот она уже требует Наварру.

Более дерзко не мог бы выразиться и сам Гиз, его торжественное выступление

сорвано соперником: у него выбито из рук его главное оружие, уже не говоря о смехе, который слышится в толпе. Смех так и просится наружу – здесь его подавили, там он прорвался, и вдруг дубовая дверь распаивается, на пороге стоит принцесса и смеется. И так как она тоже смеется, то начинает неудержимо хохотать весь двор.

«К чему блуждания, когда нас гавань ждет?» – нарочно гнусит с хрипотцой Карл Девятый. Хохот, принцесса втаскивает супруга в комнату, дверь захлопывается. Хохот!

Щрам

Они остановились, глядя друг на друга, а в коридорах, удаляясь, еще шумела свита. Теперь придворные направились к флигелю, стоящему напротив, отблески факелов перебежали с одного окна на другое; и начинался рассвет. А народ там, в городе, народ, просыпавшийся в тот же час в лодках на реке и в домах на берегу, не мог не говорить: «Лувр-то опять сверкает адским огнем. Кто знает, что нас ждет впереди?»

Некоторое время они молча смотрели друг на друга, затем мадам Маргарита сделала своей безукоризненно прекрасной рукой движение сверху вниз, означавшее: раздевайтесь, сир. Сама она сбросила с себя ночное платье лишь на краю кровати: она знала недостатки своей фигуры и знала, что когда она лежит, они не столь заметны. Главное же, ей хотелось обстоятельнее рассмотреть весь облик и сложение этого нового мужчины. Ибо мадам Маргарита была тонкой ценительницей гармонической стройности – будь то мужские тела или латинские стихи. Ее новый возлюбленный возился со своими брыжжами – праздничный наряд из белого шелка было трудно расстегнуть. Рукава с буфами должны были делать его шире в плечах и еще в талии. И бедра от этого казались широкими и сильными, и длиннее выглядели по-юношески худые ноги: в известной мере, конечно, можно создать искусственно такое впечатление! Поэтому ученая дама ждала, когда он разденется,

с некоторой тревогой. Но, оказывается, он в действительности даже лучше, чем сулила его оболочка. Мадам Маргарита произвела некоторые сравнения и впервые вынуждена была признать, что все требования античности, которые она уже начинала почитать легендой, нашли себе в этом юноше живое воплощение, и притом настолько, что ее лицо еще в течение некоторого времени сохраняло выражение достойного глубокомыслия и ученого любопытства. И лишь когда она почувствовала, как в нем назревает страсть, кровь закипела и в ней. И она перестала быть ученой ценительницей прекрасного, когда прикоснулась к его сильному и напряженному телу.

Никогда еще оба они не были так неутомимы в наслаждении; тут сказалось и сходство их натур, которые могли поспорить друг с другом в выносливости. И если Генрих в позднейшие годы и плененный другими женщинами пытался отрицать, что когда-либо любил Марго, и, вспоминая об этой ночи и о многих других, употреблял слова, которыми пользуются даже люди слабые и ничтожные, желая порисоваться, то именно Генрих подтвердил бы, что да, так в жизни бывает: восторг плоти может достигнуть столь великой силы, что ощущаешь близость смерти. И, может быть, в такие минуты человек, который ощущает в себе избыток жизненных сил, ближе к ней, чем ему кажется. Люди просто позабыли осветить все закоулки своей природы. «Смерть ближе с каждым днем» – эти возвышенные слова Генрих слышал совсем недавно, они выражали его сокровеннейшие предчувствия. И они же были последнее, что пронеслось в его мозгу, утомленном любовью.

Наступил короткий отдых, ибо даже во сне не оставляла его забота о наслаждении: еще! еще! Поэтому он вскоре проснулся и, не успев открыть глаза, стал целовать лежавшее рядом с ним тело, и губы его натолкнулись на шрам. Он сейчас же взглянул, пощупал: он-то знает толк в шрамах. Они бывают от ударов, пуль, укусов, раны наносятся и на поле боя и на ложе страсти. Для определения их причин крайне важно, на какой части тела они находятся. Если у солдата шрам на том же месте, что у Марго, – значит он хоть раз в своей жизни да удирал галопом от врага. Поэтому не следует быть трусом; и даже королю Французскому и Наваррскому, именуемому Генрихом и известному своей отвагой, предстояло еще

получить такую же рану и на том же месте. Но сейчас речь идет об одной из самых красивых частей женского тела, и эта женщина моя, только моя, — а ее, оказывается, кто-то уже кусал, значит, неправда, что она моя! Поэтому он стал трясти ее, а так как она не сразу очнулась, сам повернул ее к себе и, глядя в ее еще сонное лицо, гневно опросил:

— Кто укусил тебе зад?

— Никто, — ответила Марго. Это был именно тот ответ, которого он ждал.

Он крикнул в бешенстве:

— Лжешь!

— Я говорю правду, — уверенно отозвалась она, села на постели и встретила его ярость с невозмутимым достоинством в лице и в голосе, а сама подумала:

«Увы, он заметил шрам слишком рано. Через неделю он и внимания бы не обратил».

Мадам Маргарита уже знала это по опыту.

— Но ведь видны же зубы! — настаивал он.

— Это только похоже на зубы! — возразила она, и чем неубедительнее был ответ, тем убедительнее был тон.

— Нет, зубы! Зубы Гиза!

Она предоставила ему повторять это сколько вздумается. Когда-нибудь ему надоест, а моя грудь, которую я к нему тихонько поддвигаю, чтобы он взял ее в руки, заставит его позабыть про зад.

Она снизошла до того, что пожала своими роскошными плечами и бросила вскользь: — Не Гиза и вообще ничьи. — Но это еще больше разозлило его.

«Как, однако, трудно, почти невозможно защищаться от несправедливого обвинения!

За

многое он имел бы полное право упрекнуть меня, а вот выискал же то, в чем я не

виновата! Неужели я действительно должна рассказать ему, как моя мать и мой

брат король однажды утром избили меня, чтобы я порвала с Гизом и вышла за Наварру? Неужели он не узнал старые, кривые зубы мадам Екатерины?»

— Ну, скажи! Скажи! — стонал он, судорожно сжимая ее.

«Вот ревнивый! А если я скажу? Но что он тогда сделает? Поверит ли будто только из-за него, чтобы я вышла за него, меня выпороли и искусали? Нет. Не

поверит! Да еще придется сознаваться, что я шла прямо от Гиза! Приятное

положение, нечего сказать».

Вдруг он отпустил ее и стал колотить подушки. Вместо нее он обрабатывал кулаками ее постель черного шелка, весьма знаменитую, ибо многое совершалось на ней. «Но ведь удары предназначаются мне!» Она уже отодвинулась от него, готовая спрыгнуть с кровати. «Сейчас и до меня очередь дойдет! Вот лупит!» И Марго почувствовала, что уважает и любит его — его одного. Поэтому она окончательно решила ни в чем не сознаваться, а он, задыхаясь, вне себя, твердил: — Сознайся! Сознайся!

Вдруг Генрих заговорил совсем другим тоном: — Ты ни за что правды не окажешь. Да и как может сказать правду дочь женщины, которая мою мать...

Вот оно, это слово; вот она, эта мысль. До сих пор Марго лежала, а он смотрел на нее сверху. Но после этой мысли, после этого слова она тоже поднялась, оба насторожились, прислушиваясь к тайным отзвукам сказанного им, и испуганно посмотрели друг на друга. Первым движением Марго было прикрыть свою наготу, а Генриха — покинуть ее ложе. Пока он торопливо одевался, их взгляды украдкой искали друг друга: он хотел наконец, понять, кто же перед ним, какова эта женщина, которая могла так его унижить. А она желала проверить, действительно ли утратила его. Нет, он вернется и будет тем преданнее, что с этой ночи их связывает грех. И до тех пор, пока Марго называет это грехом, Генрих не будет знать пресыщения. «Дорогой мой Henricus, — подумала она по-латыни. — Я тебя ужасно люблю!»

А он уже стоял перед ней одетый, в белом шелку, возился с брыжгами и по-солдатски отрубил:

— Я еду сегодня же к войску во Фландрию.

— А я дам тебе святого, чтобы он охранял тебя, — сказала она и склонилась над стоявшим в стороне ящиком с книгами — ее неизменными товарищами, когда с ней не было мужчины; вынула одну, вырвала из нее страницу и протянула ему.

Прекрасна была рука и решителен жест. Она отлично слышала его с трудом подавленное рыдание и все-таки, больше не взглянув на него, снова улеглась в постель; когда он закрывал за собою дверь, Марго уже засыпала. «Ибо, ежели кто изнурен любовью, — успела она еще подумать, — тот неподходящая фигура для трагедии».

И вот ей приснился сон.

Предостережение

Генрих покинул спальню слишком рано. После вчерашней оргии замок Лувр еще не очнулся, и его обитатели еще не вернулись к тому состоянию, в котором

имели обыкновение замышлять злодеяния. Во всяком случае, так казалось Генриху.

В залах и коридорах ему приходилось переступать через спящих, — чудилось, что они

скорее оцепенели, чем спят. Они свалились там, где их застало последнее отправление тела, соитие, глоток вина или даже удар. В открытое окно заглядывали ветки цветущих роз, а под окном валялись люди в испачканной последствиями чревоугодия пестрой одежде, и солнце ярко освещало их.

Взоры

бродившего в одиночестве молодого человека проникли и в потайные комнаты, двери

которых позабыли замкнуть те, кто удалился туда, чтобы предаться всевозможным

извращениям любви. Снаружи, привалившись к стене и держа в руках алебарды,

спали часовые. Собаки шурились на него, собирались залаять, но, видимо, решали

отложить свое пробуждение.

Странствующего по Лувру юношу сбивали с толку все эти покои и закоулки.

Блуждая по обширным залам новых зданий и по ходам и переходам старых, он в

конце концов заплутался, если только его блуждания имели какую-либо определенную цель. Привалившись к проломанным каменным перилам, спал какой-то

толстяк в высоком белом колпаке, съехавшем на его потный лоб, и Генрих решил,

что он находится неподалеку от кухонь. Дворцовая челядь тоже вчера погуляла

вовсю, но вид изнуренных тел еще отвратительнее, когда они валяются среди отбросов и грязной посуды. Король Наваррский в своих белых шелковых одеждах

отпрянул от них и пошел прочь; в конце концов он попал в какой-то затянутый

паутиной полутемный подвал с дверями, окованными железом, точно в каземате; он

как будто уже видел такое помещение в подземельях старого замка.

Генрих остановился, ожидая, чтобы глаза привыкли к темноте, и вдруг услышал

чей-то шепот: — Тише... — И из сумрака появилась фрейлина. Он повлек ее под находившееся у самого потолка отверстие. — Только не на свет! — умоляюще проговорила она. — Я ведь еще даже не накрашена. Наверно, просто уродина.

— А что ты тут делаешь? Мне кажется... Ну, конечно, это ты. Тебя мой д'Арманьяк тогда запер, ты ведь шпионила за мной. Видно, опять этим занимаешься?

— Ради вас, сир. Я ваша служанка и никому не буду верной и преданной, кроме моего господина, а господин этот вы.

Он закинул ей голову так, чтобы свет упал на лицо. Оказалось, прехорошенькая, совсем юная фрейлина, слегка расплывшиеся румяна не портили ее.

Он поцеловал ее в губы и тут же убедился: «Да, эта девушка принадлежит мне,

иначе она бы так не затрепетала. Как эти создания изменчивы, ничего в них нельзя угадать заранее. Если бы я тогда не спугнул эту шпионку и не обезвредил, быть может...»

— Значит, я тебе теперь нравлюсь? Что ж, это хорошо, потому что и я нахожу, что ты очень мила, — сказал он с присущей ему обаятельной ласковостью. Правду

он сказал или нет, но от его слов ее лицо просияло. А сердце Генриха действительно раскрылось, как всегда перед женщинами. И для этой фрейлины настала ее минутка, когда она благодаря ему познала вполне заслуженное счастье.

— Что ты для меня хочешь сделать? — спросил он тут же. Но ей сначала надо было отдышаться.

— Отдать свою жизнь, сир. Ее отнимут у меня, наверное. Мадам Екатерина, конечно, узнает, что я была здесь. Ей тоже хорошо служат.

— А на что ей твоя жизнь?

— Тише. Она здесь, недалеко. Я застала ее несколько минут назад, когда она кралась прочь из своих покоев. Я лежала на ковре и притворилась, будто сплю.

Нет, я была одна, одна, — заверила его девушка. — В моей комнате оказалось много посторонних. А она тихонько крадется мимо, неслышно отворяет дверь своего

сына д'Анжу, уводит его с собой. А своего сына-короля не берет. По пути она скребется еще у нескольких дверей, и несколько человек следуют за ней по одному.

Я иду последней. О боже, это ведь игра в прятки со смертью! — Было слышно, как

у фрейлины стучат зубы. — Вы должны все увидеть своими глазами, сир. —

Она взяла его за руку, повела в полный мрак. «Мадемуазель! А может, ты все-таки

любовница врага, и он подстерегает меня здесь? Нет. Как раз в этом подвале ее запер д'Арманьяк, она знает здесь каждый камень. Куда же мы идем? Мы ощупью поднимаемся. Ага! Перекладина стремянки! И я должен лезть по ней? Мадемуазель, держи ее крепче, она соскальзывает. Лестница очень высокая, однако наверху какой-то просвет. Можно выбраться на чердак, лечь плашмя на выступ, а возле него есть небольшое отверстие, из него видно нижнее помещение. Даже ребенку через него не пролезть. И все-таки я вижу комнату, что-то вроде комнаты. Мадам Екатерина не привыкла к таким, однако все же вон она сидит. Кресло с прямой спинкой стоит у дальней стены, свет падает на королеву сверху, и лицо кажется мертвенно-тусклым. Или еще от чего-нибудь у ее кожи такой свинцовый оттенок? Она в своей обычной вдовьей одежде, остальные — кто в чем встал с постели. Вон Гизы, вон д'Анжу». — Мадемуазель, вы знаете некоего господина де Моревра? — «Впрочем, это не он, что ему тут делать?» — Тише, говорит королева.

«Нет, они слишком далеко, внизу, слова теряются, точно в расселине скалы. Мне кажется, она замышляет что-то против своего сына-короля, иначе зачем бы она тайком от него забралась сюда? Он ведет переговоры с Англией и с протестантскими князьями. Колиньи он называет отцом. Она ненавидит Карла. Ее истинный сын — д'Анжу. Достаточно на него посмотреть, на его изуродованные уши. У него толстые губы, и весь он какой-то черноватый, как и духи, которые окружают его. На месте не сидит, никак не дожидается того, что должно произойти. Теперь королева прикладывает палец к губам. Молчи, любимчик! Да, и любимчик здесь!» — Мадемуазель, тебе известен некий любимчик, похожий на учителя танцев? Его имя не дю Га?

«Она не отвечает, и мы тоже должны быть осторожны. Здесь стовариваются кого-то погубить, Если жертва не Карл, то я. Пусть попробуют! В Париже полным-полно гугенотов. В подвал, вон куда спрятались наши враги, чтобы сострять убийство, а сами сидят бледные как смерть, особенно кардинал Лотарингский. Надвинь шляпу поглубже, старый козел, чтобы не видно было твоих хищных клыков. Чем только он нынче ночью не занимался! Вон отходит с Гизом в угол, совещаются. Красивый малый, этот Гиз. Достаточно рослый, чтобы, упав, растянуться во весь рост. Гиз, мой Гиз, я ведь первый принц крови после

кровоточивых Валуа, и не ты, а я получил их сестру.

Что это — как он раскричался, унять не могут, наконец даже слышно стало! Другого нужно убить при дворе... Кого? Карла? Меня? Не может быть, чтобы господина адмирала: он же едет к войску во Фландрию. У д'Анжу глаза разгорелись от жадности. Значит, Карла, ненавистного брата. Нет, мадам Екатерина не хочет, она приказывает замолчать! Карлу и так недолго жить осталось. Она шепчет что-то, все невольно наклоняются к ней, особенно этот — как его? — ну, у него чересчур близко посаженные глаза, я еще перед тем удивлялся, зачем он тут. Но это же нелепо, ведь они ничего не могут сделать. Однако Гиз его одного отводит в сторону... А, вспомнил: некий де Моревер.

Что такое? Кажется, у д'Анжу припадок? И часто это с ним бывает? Он больше не намерен ждать смерти человека, из-за которого родной брат стал ему злейшим врагом. Кого же он имеет в виду? Неужели все-таки Колиньи? Да нет, пустая болтовня, разве у него хватит сил выполнить то, что они замышляют! Впрочем, и его мамаша, видимо, чем-то разгневана, она удаляется. Пора и мне... Гиз выходит, он позаботится, чтобы остальные могли благополучно возвратиться в замок. Вот будет смешно, если мы с ним столкнемся! Скорее вниз по стремянке». —
Мадемуазель, куда вы запропастились, мадемуазель? — «Оставила меня одного, а теперь выбирайся, как знаешь».

Однако он выбрался; он спешил обратно через людские, и челядь, просыпаясь и бессмысленно тараща глаза, смотрела ему вслед; дверь, через которую он снова вышел на старый двор, оказалась как раз напротив того места, где только что разыгрались описанные события, — позади знаменитой потайной лестницы фаворитов и заговорщиков, которым открыт доступ в покои короля. По ту сторону лестницы одновременно с ним появился Гиз. Генрих опередил его, сделал прыжок и встал на первую ступеньку; тут-то его и заметил герцог Лотарингский.

— Откуда ты взялся так рано, Наварра?

— Разве уж так рано, Гиз? Но, видишь ли, моя почтенная теща принимает меня в любое время.

— Ты был у мадам Екатерины? Наверху?

— А где же еще? — Генрих ударил себя в грудь, разыгрывая человека, похваляющегося высокой честью, которая на самом деле вовсе не была ему оказана.

Тогда рослый лотарингец преисполнился сознанием неизмеримого превосходства:

«Иду с тайного совещания от моей королевы и встречаю тщеславного лгунишку, который уверяет, будто его принимали в тот же час!» Просияв красивым лицом, подбоченясь и изогнув стан, Гиз заявил:

— Значит, она сама тебе все сказала; а я повторяю, и самым решительным образом: ты победил, Наварра. Французский двор намерен объявить войну Испании, ибо, как говорит в своем послании твой адмирал, французам необходима внешняя война, которая была бы справедливой и вместе с тем нетрудной и выгодной. Иначе они будут грабить и громить друг друга. Он знает нас, твой герой и учитель!

— Послание составлял Морней, а он каждую мысль доводит до крайности.

— И это нам услышать не вредно. Значит, вот вы как смотрите на дело?..

— А вы нет?

— Мы только защищаемся. Вы, протестанты, намерены вызвать ужасную резню среди французов: это видно из слов вашего Колиньи или вашего Морнея. И ради нашего блага мы предпочитаем воевать против Филиппа — вместе с вами. До свидания, увидимся во Фландрии — или никогда!

Рослый блондин только сделал вид, что уходит. Он тут же снова обернулся.

— Наварра! Играй честно, как я. Да, я и вправду стянул войска в Париж, когда ты подъезжал со всеми своими дворянами.

— Это далеко не все. — Их глаза встретились на одном уровне, ибо маленький Наварра стоял на ступеньке.

— Мои выступают сегодня во Фландрию. Действуй, как я, Наварра!

— Я веду ту же игру — и по склонности и по привычке. Помнишь наши школьные годы, Генрих Гиз?

— Тогда ты затевал игру, Генрих Наваррский. Цезаря убивали. Игра доводила нас до неистовства.

— Тебя и д'Анжу. Вы готовы были по-настоящему прикончить меня. Такие

воспоминания остаются на всю жизнь, мой друг.

— Дружба, возникшая в ранней юности, — это единственное, что умирает лишь вместе с нами. Я не стыжусь своих слез, — с напыщенной чувствительностью продолжал Гиз и выжал или попытался выжать из себя несколько слезинок. «Я бы

искуснее все это разыграл», — подумал другой, стоявший на ступеньке.

Однако

король Наваррский чувствовал скорее стыд, чем удовлетворение. Ведь перед ним

его смертельный враг, хотя бы по одному тому, что не получил принцессы.

Оба

заставляют свой голос трогательно дрожать. И лгут друг другу каждым

словом и

движением. А ведь действительно вместе росли. Да, позор! И от стыда, что такова

жизнь, стоявший на ступеньке слегка втянул голову в плечи и при этом

упустил из

своего поля зрения стоявшего наверху. Генрих все еще не поднимал головы, как

как

вдруг что-то зашелестело у него на груди, он сначала даже не понял, что,

и стал

шарить рукой. Он все еще шарил, когда услышал внезапный возглас: — Стой!

—

Генрих поднял голову и увидел перед собою совсем иного человека —

звериное,

злое лицо, уже никаких подслащенных воспоминаний, а неприкрытая

действительность: рука, сжимающая занесенный кинжал.

Генрих звонко расхохотался, словно самые страшные открытия и есть самые веселые.

— Я тоже мог бы поплакать, и поудачнее, чем ты.

— Ты смел — и я дарю тебе жизнь.

— Или еще потому, что иначе тебе не сдобровать, — при этом короткий

взгляд в

сторону. Мгновенно, точно зверь, Гиз оборотился: позади стоял гугенот с

обнаженной шпагой.

— Мой государь и повелитель говорит сущую правду, — сказал человек в

потертом кожаном колете — у его владельца было загрубевшее солдатское

лицо и

бородка клином. — Господину герцогу стоило только руку поднять: не успел

бы он

ударить моего короля, как некий гасконский дворянин, по имени д'Арманьяк,

имел

бы честь рассечь герцога Лотарингского на две половинки.

Этот певучий голос южанина первым нарушил в то утро спертую тишину двора, прозванного Луврским колодцем. Прибежала стража, стоявшая под воротами, которые

вели к мосту. Все двери вокруг распахнулись, и из них выскочили люди. Никто еще не успел ничего сообразить, как Гиз исчез. Д'Арманьяк, давно уже вложивший оружие в ножны, усердно всех расспрашивал, что же тут, собственно, произошло.

— Да два купца подрались из-за пошлин, которые им надо уплатить казне.

Так он громогласно заявил, уходя, своему королю, а на ухо неприметно шепнул:

— Только поскорее прочь отсюда!

Слуга-дворянин умел пышно хвастаться, но умел и перехитрить опасность — смотря по обстоятельствам.

Знал он также мало кому известную дорогу, по которой они могли незаметно добраться до комнаты его государя.

— Посмотрите, сир, на вашу великолепную белую свадебную одежду, она вся в пыли и в паутине. Камердинер это сразу видит, а герцог — нет, иначе у него еще раньше возникло бы подозрение, может быть, даже слишком рано, когда меня еще не было подле вас.

— Ты тут?

— Не отстаю ни на шаг. Не упадите!

Здесь коридор круто загибался, и на самом повороте лежал какой-то не слишком длинный тук, несколько короче человеческого роста. Но, странное дело, из-под мешковины высовывались ноги в маленьких башмачках. Значит, все-таки человек! Какими маленькими кажутся ноги, когда они... Господин и слуга переглянулись. Взгляд слуги советовал быть осторожным. Но господин все же откинул мешковину на том месте, где ожидал увидеть незнакомое ему лицо. У мертвых всегда незнакомые лица, и они всегда неожиданны для тебя. Генрих отпрянул, у него вырвался хриплый возглас. Слуга без церемонии зажал ему рот рукой. — Тише, сир! Скорей сюда, пока нас не застигли! — Он схватил короля и потащил его к какой-то двери, распахнул ее, оба вошли, и он неслышно притворил ее за собой.

— А теперь можете кричать сколько угодно. Я убедился, что снаружи ничего не слышно. Гнусное преступление, такое же, как они сами, — заявил протестант с глубокой убежденностью. И так как его господин безмолвствовал и стоял

недвижимо, точно оцепенев, Д'Арманьяк добавил: — Мы бы этого не сделали. Такая красивая барышня, такая ласковая, людям добра хотела. Я знаю одного пастора, который втайне наставлял ее. Она бы перешла в истинную веру...

— Тебе известно ее имя?

— Нет. Может быть, Катрина, может быть, Флеретта. Бедная дворяночка, как я — бедный дворянин.

«Я имени ее не знал и спрашивать о нем теперь не смею. Выплачу и скорбь и ярость в себе самом, и пусть ни капли не выльется наружу. Она погибла за меня, из любви ко мне погибла. Что я обещал еще нынче утром королеве Наваррской — моей жене? Отправиться к войску, во Фландрию. И уже забыл об этом».

Вслух он сказал: — Сегодня же мы едем во Фландрию.

— Вот это правильные слова, сир. В бою я могу сам напасть, могу и убежать. Здесь нет. А в коридоре наткнешься на кусок мешковины — должен через него перешагнуть и молча идти дальше.

Д'Арманьяк говорил еще что-то, приготовляя деревянную лохань, в которой Генрих обычно купался. Когда тот начал раздеваться, выпал свернутый лист бумаги. Он-то и зашелестел у него на груди. Этот листок дала ему Марго: на нем — святой, который охранит его; посмотрим, кто же именно.

Там оказалось изображение человеческого тела после вскрытия — листок из анатомического атласа. Каждый орган был обозначен на полях латинским названием, написанным рукою ученой принцессы, и ею же пририсован маленький кинжальчик, острие которого направлено на вскрытое тело с точным знанием соответствующего места, названного также по-латыни.

Таково было мнение принцессы Валуа. И она тоже хотела предостеречь Генриха. «А если бы я знал это раньше? Выхватил бы я кинжал прежде Гиза?» — Нет, — вслух ответил Генрих самому себе. Слуга удивленно посмотрел на него.

Сон

И вот ей приснился сон.

В этом сне Марго была самой госпожой Венерой и в виде мраморной статуи

охраняла вход в лабиринт из высоких кустарников, прохладная тень которых падала на ее белую спину: она явственно это ощущала, ибо мрамор был наделен чувствительностью и в нем обитало сознание. Она знала, что позади нее, справа и слева от беседки, стоят два воина, готовые убить друг друга из-за ее благосклонности; но ни один из них не приподнял хотя бы на дюйм свой обнаженный меч, так как оба, подобно ей, были статуями, замкнуты в каменную оболочку и прикованы к пьедесталу. Между тем достаточно было ее мысли, и тот, кого бы она отвергла, упал бы и разбился.

Она созерцала своими пустыми глазами пейзаж, где все: серебрящаяся река, блистающие берега, дворцы и другие статуи – смотрело только на нее, госпожу Венеру. Повсюду вместо людей стояли статуи, и они говорили, не издавая ни единого звука. То, что будет, от тебя зависит. Решайся, пока не наступила ночь. Еще озаряет тебя с высоты божественное солнце, разогревая твои гладкие бедра, и проникает в тебя так, что в тебе даже начинает биться сердце. Вместе с уходящим, остывающим днем утратишь и ты свое тепло, свою жизнь. Мрак пробудит черные силы, и свершится это чудовищное злодеяние, которого ты не хотела. Ты была лишь суетна, госпожа Венера, – не тепла, не холодна и не решительна, – ибо твои чувства вялы и сознание слабо. – Решайся! Решайся! – воскликнули вдруг все статуи, но уже не беззвучно, а словно чирикавая, и довольно пронзительно чирикавая, как те птички «с островов».

Вдруг все стихло, и наступила некая пустота – и в созданиях и в сознании. Вселенная как бы запнулась, и в тишине этой всеобщей и грозной запинки прозвучал неслышанный дотоле голос, мощный, но глохнущий в необъятных далях пространства. Марго, пришлось собрать во сне все свои силы и думать четче, чем она когда-либо думала, бодрствуя. Тогда она, наконец, узнала лик событий: перед ней была лоджия, расположенная в середине большого дворца, и там стоял бог. Он ждал. Вначале он не говорил, ибо предоставил ей возможность опомниться, чтобы она не умерла, узрев его. Он имел образ статуи, одежда на нем лежала ровными древними складками, дул сильный ветер, но он не шевелил их.

Лоджия тянулась вдоль фасада Лувра, хотя в действительности никакой лоджии там не было. Вместе с тем знакомое здание заслонялось прообразом дворца,

который мы всю жизнь таинственно несем в себе; вспоминаем о нем, как о чем-то
виденном нами в нашем самом первом, самом прекрасном путешествии, и чего
никогда не увидим своими глазами; да его и не найдешь нигде. Здесь же он
возник, блистая непреходящим великолепием и творениями великих мастеров,
и
назывался Синай. Таково было его имя. А посередине каменной глыбой дыбится
бог,
он не выше среднего роста — но вот он поднимает веки — душа моя блаженно
трепещет, и мне хочется воскликнуть: «Да, господи!», — хотя я еще не
слышала,
в чем его воля. Но эту волю я знаю, и она говорит мне: не убий.
Шевельнулась
его короткая, курчавая, черная, как смоль, борода. К его губам приливает
кровь,
они становятся темно-альми, и он окликает меня. «Принцесса Валуа!» —
зовет
господь. Я вздрагиваю, я не в силах отвечать от страха, ибо позволила
себе
увидеть во сне, будто я госпожа Венера. То было лишь наваждение. И только
вот
это — действительность, только это — святая правда. «Мадам Маргарита», —
зовет
господь. — Да, господи!

Так она отозвалась. Правда, это не был ее обычный, низкий и звучный
голос:
он перешел к богу, и это он говорил ее собственным голосом, но гораздо
более
мощным. Она же только лепетала перед богом. Но бог услышал ее и принял ее
ответ. И чтобы она хорошенько его поняла, он сказал это по-гречески. Он
по-гречески сказал ей:

— Не убий!

Спасение

И она сейчас же проснулась, сейчас же оделась и поспешила к матери.
Королева. Наваррская прихватила с собою стражу, чтобы, если понадобится,
ворваться силой. Однако Марго впустили беспрепятственно, и она тут же
поняла,
почему: у мадам Екатерины находился Карл Девятый, и он был взбешен. Он
бранился
и клялся, что король здесь он и он будет повелевать, а не заговорщики,
которые
сходятся в тайных подземельях.

Его рев раздражал мадам Екатерину, которой необходимо было кое-что
обдумать.
Кроме того, она не чувствовала себя в безопасности; Марго больше чем кто-
либо
могла это прочесть по ее лицу, неподвижному, как маска. Мать приветливо

встретила свою дорогую девочку и указала ей на ее излюбленную скамейку. Какой бы там Марго ни была, но она оставалась прежде всего маменькиной дочкой и больше всего на свете любила посиживать на этой скамеечке, возле старухиной юбки, запустив в волосы обе руки и читая огромные, переплетенные в кожу фолианты. Обычно она наваливала их себе на колени по нескольку штук зараз. Она и сейчас взяла по привычке книги со стола, принялась даже перелистывать их, но взор ее блуждал, она поглядывала то на брата, то на мать.

Карл Девятый был поражен, что его бессвязная брань и крики почему-то не производят решительно никакого впечатления на старуху и она лишь молча наблюдает за ним. Тогда он решил показать себя еще более твердым и грозным. Он вытянул шею, его рыжеватые усы опустились, и он устрояюще потряс руками — даже не руками, а кулаками, он стиснул кулаки. При этом он исподтишка следил за матерью, стараясь понять, какими бедами она еще ему грозит.

— Ты хорошо спала, матушка? — спросил он.

— Твой праздник был слишком шумным, мой сын.

— И все-таки ты поднялась весьма рано, а с тобой и еще кое-кто, в частности, мой брат д'Анжу. Я все знаю. Вы замышляете коварные планы против меня, против государства, иначе вы бы не совещались в таком гнусном месте: посмотреть сверху — прямо преисподняя.

— Это только так кажется, сын мой, если стоишь на стремянке.

— Значит, ты не отрицаешь этого, матушка, и правильно делаешь, ибо лицо, которое вас там застало, готово все повторить в твоём присутствии.

— Едва ли.

А сыну послышалось: «Ты дурак». И дочь поняла: ей не жить. Марго склонилась над книгой, Карлом овладел новый приступ ярости. Он прикажет немедленно арестовать своего брата д'Анжу, кричал он. Родная мать покушается на его жизнь и намерена возвести на престол его брата. — А я призову на помощь моих протестантов! Теперь я буду править, опираясь только на господина адмирала Колиньи! — уже совсем по-мальчишески заорал он и тут же ужаснулся собственной дерзости. То, что последовало, отвечало его худшим опасениям: мать заплакала.

Мадам Екатерина любила во всем соблюдать постепенность. Сначала она помахала короткими ручками, и ее крупное, тяжелое лицо понемногу уподобилось невинному личику горько обиженной девочки. Потом она закрыла его пальчиками, однако, высматривая между ними, внимательно следила за всем происходящим и при этом скулила и взвизгивала. Все выше и пронзительнее скулила она, но по ее пальцам не стекало ни единой слезинки. Мадам Екатерина научилась притворяться чрезвычайно убедительно, только подделывать слезы она не умела. Карл заметил лишь то, что ей удалось. Марго видела остальное.

Среди всхлипываний старуха, наконец, проговорила:

— Позвольте мне, сир, вернуться к себе на родину. Я уже давно дрожу за свою жизнь. Вы подарили своим доверием моих заклятых врагов...

Она надеялась, что тут-то он и испугается, и он в самом деле испугался. Да ведь ему только хотелось узнать, что они сегодня утром решили... беспомощно лепетал Карл...

— То, что пойдет на благо вашего королевства, — ответила она; и притом ответила крайне сухо, а лицо опять казалось такой же непроницаемой маской, как и перед тем. Трудно было даже поверить, что ею только сейчас была разыграна сцена плача. Голос ее зазвучал взыскательно и строго.

— И решать пришлось без вас, — продолжала она. — Ибо решение это требует действий необычных и достойных великого государя, но тебе они не по плечу, мой бедный сын. — Все это говорилось с той же укоризненной строгостью (особенно резкий поворот после сцены смирения). Мадам Екатерина опять сидела перед ним, словно облеченная высшей властью, словно она никогда и не просила разрешения удалиться во Флоренцию, откуда ее когда-то выгнали.

Карл смотрел на свои ноги, а в голове у него все путалось, мешалось и кружилось. Ему приходили на память все намеки, которые мать делала в те дни, когда положение еще не было таким острым, как сейчас; тогда он не препятствовал ее кровавым планам и относился к ним так, словно это был только кошмарный сон. Даже сама мадам Екатерина предавалась им лишь как опасным упражнениям ума, заглядывающего в бездну. Все же Карл очень хорошо запомнил имена Амори и

Линьероля, принесенных в жертву его страху, хотя опасность была тогда гораздо меньше. А за это время он, желая доказать свою самостоятельность, вошел в сношения с гугенотом Колиньи, стал звать его отцом и во всем следовать его советам. И вот Карл оказался накануне войны с Испанией. И австрийский дом все теснее обвивал свои щупальца вокруг страны, оставшейся в одиночестве — в руках этого дома был юг, вся середина Старого Света; распорядился он также странами Нового Света и их золотом, господствовал над церковью, а через нее над всеми народами, в том числе и над народом Карла; в его собственном замке, на его ложе улегся этот дом в лице эрцгерцогини, столь окаменевшей от золота и власти, что ее невозможно было опрокинуть!

«Что же теперь делать? — спрашивал себя с отчаянием Карл Девятый, глядя на свои ноги. — Все вокруг только и носятся с кровавыми планами, только и думают о том, как бы убить, разница лишь та, что Гизы, да и моя мамаша, желают убивать французов, они желают истреблять моих подданных, а господин адмирал хочет убивать испанцев: это мне больше нравится. Правда, если он вернется победителем, тогда и я вынужден буду его бояться, ибо он окажется сильнее меня. Пока же сильнее нас обоих Гизы. Мать стоит за то, чтобы Гизы сначала напали на сторонников «истинной веры». Я же должен покамест спокойно сидеть в Лувре и выжидать. А потом мои свежие войска накинута на ту партию, которая уцелеет, и отправят ее главарей еще тепленькими на тот свет».

Он поднял глаза, словно спрашивая, как же ему ко всему этому отнестись. Мать ободряюще кивнула. Не раз наставляла она сына, и он научился понимать ее — правда, до известной черты, а дальше — ни с места. Там она становилась непроницаемой, а он слабел. Быть может, он и проник бы в ее замыслы, почувал бы самое главное в ее плане, если бы что-то не мешало ему, какое-то сопротивление его мышления. «Самое гнусное решение они приняли только сегодня утром в подвале, — сказал себе Карл. — У меня сосет под ложечкой и все нутро холодеет, неужели никто не поможет мне?»

Едва он это подумал, как выступила вперед его сестра и твердо заявила: — Никакого убийства не будет — я запрещаю.

Мадам Екатерина просидела несколько мгновений с открытым ртом. Что это на девочку нашло? — Ты? Запрещаешь? — раздельно повторила Медичи. Карл тоже проговорил с изумлением:

— Ты?!

— Я, — твердо повторила Марго. — А через меня некто другой. — Она имела в виду мраморного бога с красными губами.

«Наварра начинает угрожать! — пронеслось в голове мадам Екатерины. — Тем скорее я должна действовать».

— Кто может что-либо запретить королю Франции? — заметила она с холодным удивлением.

Принцесса не ответила: она состроила капризную гримасу.

Карл спросил: — Мне тоже хотелось бы знать, кто здесь повелевает? — Неудачный вопрос, ему же во вред; но любопытство взяло верх. Да и матери все еще кажется, что она чего-то не расслышала. «Странная девочка. То сидит над книгами, то спит с мальчишками. Уже из-за Гиза были неприятности. Что же, она опять хочет получить порку?»

— Если ты ничего не желаешь объяснить, — мадам Екатерина все еще сохраняла снисходительный тон, — то как же ты хочешь, чтобы тебя поняли?

— Ты отлично понимаешь меня. Никаких убийств!

— Кто говорит об убийствах? Но что касается враждующих партий, то нам, к сожалению, каждый день приходится видеть, как они накидываются друг на друга: то католики твоего Гиза, то гугеноты твоего Наварры. Мне очень жаль тебя, дочка, ты, конечно, уже успела убедиться, что у каждого из них есть свои преимущества. Ну, скажи, как нам все это прекратить?

Но и зловещему добродушию матери Марго опять противопоставила повеление, полученное ею во сне. Никаких убийств! Глаза у нее были широко раскрыты, и сквозь свою желто-бледную мать она словно видела лицо бога, к губам которого прилила темно-алая кровь.

— Мы сами не должны совершать никаких убийств; тогда и партии не будут нападать друг на друга. Ведь знак-то всегда подаем именно мы.

— Мы, — повторила мадам Екатерина, уже не сдерживая своего раздражения; она чуть не задохнулась от злости. Оказывается, эта ученая особа, расходующая слишком много постельного белья, следила за всем гораздо внимательнее, чем

можно было ожидать, в те дни, когда она так безобидно держалась за материнскую юбку! И сама открыто в этом признается:

— Я ведь не дуручка, мама. И частенько слышу такие речи, истинный смысл которых вскрывается только потом. Моему брату, королю, вы говорите то, чего он сам еще не понимает. Но я-то ученая; я понимаю язык птиц, — добавила она, точно по наитию. Однако это было просто воспоминанием о бесчисленных статуях из ее сна, которые явственно говорили с ней, хотя они только щебетали, точно самые мелкие птички «с островов».

— Как ты думаешь, сын мой, не дать ли нам твоей сестрице опять маленький урок? Он на нее однажды очень хорошо подействовал. Вы помните, сир, то утро, когда наша толстуха Марго проспала с Гизом несколько дольше, чем следовало? — Тусклые глаза из-под маски как будто слегка блеснули.

Но теперь Карл не имел желания сечь свою толстуху Марго. В голове у него кое-что кое с чем связалось; сопротивление его мышления вдруг исчезло. Он воскликнул:

— Она права, что запрещает убийства! Я тоже запрещаю!

— Уходите! — Мадам Екатерина жестко и холодно указала им на дверь, возле которой сегодня даже не было охраны. Поэтому старуха опасалась худшего, и ее непоколебимое самообладание далось ей нелегко. Карл, этот потомок рыцарей-варваров, мог просто заточить ее в темницу; ведь ее сын д'Анжу, хоть он ей во много раз ближе Карла, не заступится за нее; что случилось, то случилось. А в этой чересчур любознательной девице она сейчас впервые увидела для себя угрозу. Однако Екатерина не потеряла власти над собой. — Уходите! — Но, увы, они не ушли.

— Адмирал Колиньи должен жить!

— Король Наваррский должен жить!

Они крикнули это одновременно; оба имени словно старались заглушить друг друга. Старуха пожала плечами.

— Вот видите, у вас нет единогодушия.

— Я хочу того же, что и моя толстуха Марго.

— Мой брат король меня поддержит.

Значит, перед ней союзники. Но как только мадам Екатерина чувствовала, что она уже не сильнейшая, она прибежала к хитрости.

— Давайте заключим договор, милые дети. Вы назвали два имени: ни одному из этих лиц я не желаю никакого зла. Я пальцем не пошевельну для того, чтоб кто-нибудь из них погиб. Но если один все-таки погибнет, тогда, дорогие детки, не требуйте от меня, чтобы я продолжала защищать другого. Да это было бы уже и не в моих силах, — добавила она скорее жалобно, ибо ее дочь вдруг точно выросла. Королева Наваррская стала даже выше ростом благодаря знанию и воле.

— Я понимаю язык птиц, — бросила она свысока бедной старухе. — Двуязычные речи вашего величества надо толковать так, что вы сначала прикажете умертвить господина адмирала, а затем короля Наваррского, моего супруга.

— Ну, что ты говоришь!

— Она догадалась! — вдруг радостно воскликнул Карл. — Моя толстуха Марго — умница, она все знает! Но господин адмирал должен жить. Я приказываю. Он мне отец.

— Ну, что ты говоришь! — повторила старуха, отвернувшись от своего сына-тугодума, и обратилась к несравненно более сообразительной дочери. — Сама подумай, может ли кто-нибудь из нас запретить человеческим страстям и ненависти партий толкать людей на убийство?

— Но не на убийство короля, моего мужа!

— Я так же мало могу воспрепятствовать этому, как и ты. Никто не знает, с чего именно начнется.

— Ты знаешь.

— Ты знаешь! — зарычал Карл.

Старуха вздрогнула, потом напустила на себя скорбь, благородную скорбь; никаких слез и нытья, осанка женщины, возложившей на свои плечи тяжелый груз многих печальных, но необходимых деяний, за которые придется нести ответственность.

— Вот тут, — сказала она, повертев указательным пальцем у виска, — стоит во

весь рост дом Валуа. Не у вас. Вы молоды и следуете своим прихотям.. Я одна поддерживаю своим разумом это великое бремя, иначе все бы рухнуло – и наш дом тоже.

Это было ее самой искренней минутой; и эта искренность оказала свое действие. Старуха и сама не понимала, почему после этих слов оба союзника притихли. Это несколько сбило ее с толку, она переоценила свой успех и тут же совершила ошибку, заявив:

– Пусть ты влюблена, но ты моя дочь. А мы знаем, что в конце концов остается после всех наших бурь – только мы сами. Маленький Наварра, как и все твои мужчины, старается изо всех сил. Но настанет утро, когда ты уже не найдешь на своем ложе отпечатка его тела. В первый раз ты спросишь: куда же он делся. И во второй раз спросишь. А в третий уже не спросишь, и уже не захочешь непременно знать во всех подробностях, как он исчез.

Однако Медичи разглагольствовала напрасно. Марго повторила голосом бога:

– Сказано: не убий.

– Вот еще новости, – пробормотала мадам Екатерина, покосившись на потолок.

– Или я приму протестантство.

– Или она примет протестантство! – зарычал Карл; и огорченная мамаша вынуждена была признать, что ее дети явно стакнулись.

– Я требую жизни для короля Наваррского.

– Я требую жизни для адмирала Колиньи.

– Да пропади ты пропадом со своим неутомным старым драчуном! Он готов погубить королевство, а ты его еще отцом зовешь! – Она хотела выставить из комнаты сына, чтобы поладить с дочерью.

– Ну, хорошо. Поедешь со своим Наваррой в Англию. Англичанка плохо помогут нам; но Елизавета и ее деньги нам необходимы, раз твой брат Карл со своим папашей Колиньи сажают нам на шею австрийский дом. Поезжайте когда хотите!

Она сделала только одно легкое движение, как бы отпуская дочь; говорить она больше не могла – то ли притворялась, то ли в самом деле обессилела. Карл

Девятый последовал за сестрой.

А дочь тут же вернулась к тому подчиненному положению, в котором прожила всю жизнь; опустив голову, она преклонила колена и послушно удалилась. Карл был так поражен совершенно нежданной победой Маргариты, что совсем позабыл о своем деле, да еще в ту самую минуту, которая оказалась для него решающей.

Знамения

Марго пошла к мужу. Она пожертвовала преимуществами, которые ей давало обиженное самолюбие, и сделала первый шаг, хотя утром Генрих и покинул ее в гневе. Но его можно извинить, ибо мужчина вообще безрассуднее женщины, а кроме того, она не могла не признать, что, говоря по совести, у него были основания негодовать и на ее прежние любовные связи — хотя все это теперь позабыто — и на кое-что другое. Другое — значительно хуже, и хуже, главным образом, для нее, а не для него: ибо у Генриха нет такой твердой уверенности, как у Марго, что его мать отравлена ее матерью. И все-таки ей удалось загладить это злодеяние, и грозное препятствие, неизменно встававшее между ними, теперь устранено: она спасла ему жизнь. Марго боролась за жизнь Генриха, призванная к этому посланным ей свыше сновидением: она победила и, окрыленная, спешила получить заслуженную награду.

Тем временем Генрих искупался, переоделся; и он сам и его комната были продушены благовониями. Когда Марго вошла, во взгляде, которым он ее встретил, было такое же горячее желание, как и в ее глазах. Кровь у обоих закипела, их охватил единый порыв, и они чуть не кинулись друг другу в объятия. К сожалению, в комнате был третий, малый ростом, но веселый поэт и друг Генриха, Агриппа.

— Добрый Агриппа, — заявила королева Наваррская, — дайте мне возможность сообщить королю, моему повелителю, важную государственную тайну.

Д'Обинье любезно ухмыльнулся; однако перед тем, как удалиться, отвесил три поклона вместо двух: первый королю, второй — королеве и третий — королевской

кровати. Молодая чета от души рассмеялась, а Генрих сказал:

— Возлюбленная королева! Я сильнее стою от желания проникнуть в вашу великую государственную тайну, чем вы полагаете, — при этом он бросил взгляд на ложе, — но все-таки пусть Агриппа закончит свое сообщение. Он узнал об удивительных предзнаменованиях.

— Не предзнаменования, сир, я этого не говорил. Просто небольшие происшествия и приметные мелочи повседневной жизни.

— Неужели в Париже такие случаи происходят повседневно, Агриппа? Скажите сами, дорогая королева, разве здесь действительно на каждом углу собираются толпы народа, чтобы послушать ваших священников, которые громят ревнителей истинной веры? Стоит поп на тумбе или на ступеньке и призывает души и вешать. И вдруг все срывается с места, потому что заметили какого-то гугенота, отставшего от своих. Несчастный старается удрать, но толпа сбивает его с ног и расправляется с ним. И это, по-вашему, мелочи повседневной жизни?

Ее лицо покрылось смертельной бледностью. «Дело обстоит хуже, чем я думала. Смотри, Марго, опасность приближается, сейчас захлопнутся ворота. Бежим отсюда, мы все втроем должны бежать!» Поэтому-то ей и было все равно, кто тут еще, кроме них двоих. — Генрих, возлюбленный мой повелитель, послушайте меня! Сегодня же вечером, когда улицы опустеют, мы с вами уедем в Англию. — Он хотел было возразить, но она остановила его движением своей прекрасной руки.

— Генрих, возлюбленный мой повелитель! Поймите же, насколько все это между собою связано: спокойствие в Париже зависит от победы во Фландрии, а победа зависит от английского золота. Победа господина адмирала будет победой протестантов, но под его командованием сражаются и ваши и наши войска. Ведь это конец вражде между нами и вами. Тогда уж никому не будет дозволено проповедовать с уличных тумб. Поэтому мы оба должны отправиться в Англию на самом быстроходном судне.

— Благодарю тебя. Но...

— Нет, мы не бежим, ты не бежишь. Дай мне сказать, Генрих, возлюбленный мой повелитель. Ведь мы не бежим, мы выполняем важнейшее поручение. Сам Колиньи этого требует, ради успеха нашего дела.

В своем страхе за Генриха она все это придумала. Находившееся в комнате третье лицо готово было издать недоверчивое мычанье, может быть, даже свистнуть: она вовремя остановила его властным взглядом. И он повиновался, он промолчал. Король спросил:

— А ты как думаешь, Агриппа?

И поэт ответил:

— Я думаю, что любовь прекрасной принцессы — это драгоценнейшее сокровище на свете.

«Но честь выше любви, — сейчас же слышит Генрих ответ своей воспитанной в строгости души. — И религия выше».

Он тут же добавляет:

— Все зависит от адмирала, пусть сам повторит мне свое поручение.

— Так и будет, — кивает прекрасная принцесса, но про себя она твердо решила:

не допускать до объяснения со старым еретиком. Она ведь в совершенстве владеет

тем искусством, каким можно удержать подле себя своего возлюбленного повелителя

до того часа, пока они не укатят в дорожной карете и все останется позади.

Агриппа д'Обинье наконец подчиняется данному ему знаку и уходит. И тотчас оба,

задыхаясь от нетерпения, открывают друг другу объятия.

С опозданием явились они сегодня к праздничному столу; а следовало им прибыть точно в три — раньше своих гостей, которых они должны были принимать,

ибо этот обед давал во дворце герцога Анжуйского король Наваррский. Они же

присоединились к обществу, когда оно было уже возбуждено; увидев их, оно снова

притихло. В течение трех-четырёх часов гости ели и пили — мясо всевозможных

животных, вина всех лоз; но настроение не менялось. Пока речь шла обо всяком

вздоре, шумные разговоры не прекращались; однако при малейшем намеке на происходившие в городе события или многозначительном взгляде те, кто был умен и

осторожен, умолкали. Кроме того, присутствующие пересчитывали друг друга — еще

одно из тех занятий, которым они предавалась тайком. Оказалось, что первый

дворянин де Миоссен лежит в постели: он будто бы мучится коликами в животе.

Нескольких дворян-протестантов так и не удалось найти, — вероятно, они спешно покинули Париж.

— Все это знаменательно, — обратился сидевший в конце стола дю Барта к дю Плесси-Морнею. — Но наиболее удивительно непонятное терпение и миролюбие тех, кто еще остался. Третий вечер продолжается брачный пир, и мне кажется, эти несчастные совсем обессилели, они уже не в состоянии вскочить со своих мест, поделиться на две враждебные кучки и откровенно обменяться угрозами. Даже ненависть успела уснуть в иных душах или, готовая к прыжку, притаилась в самой глубине.

Морней сказал в ответ:

— Мы все еще не решаемся превратить эту страну и это королевство в кровавую падаль, которую будут грызть все хищники земли! Готы подхватят то, чем пренебрегут гунны, а вандалы — то, что не дождут готы.

Так говорил добродетельный Морней, доводя, как обычно, свои мысли до крайности. А кругом люди все еще пересчитывали друг друга. Не хватало и кое-кого из католиков, в том числе капитана де Нансея. По слухам, он был занят в Лувре, чем — неизвестно, вернее, об этом не говорили. Отсутствовал также некий господин де Моревеер. Многие вспоминали его необыкновенно острый нос и глаза, поставленные почти рядом.

— Вот пес! — воскликнул герцог Гиз с благородным негодованием. — Я же вытащил его из-под своей кровати! Он уверял, будто хотел просить меня о какой-то милости; но кинжал, который оказался при нем, что-то мало имеет общего с милостями.

Возмущенный Гиз сказал все это настолько громко, что Карл Девятый и Генрих Наваррский, сидевшие друг против друга и неподалеку от него, легко могли бы его услышать. Однако Карл сам вел себя слишком шумно. То обстоятельство, что он взял верх над мадам Екатериной, — Карл счел это самостоятельно одержанной победой — совсем вскружило ему голову.

— Наварра, — заявил он, — здесь не место говорить о таких вещах, но ты и твоя милая должны поставить за меня толстенную свечу; ведь я твой заступник.

Без меня твоя жизнь гроша бы теперь не стоила. Я ведь друг тебе, Наварра.

Сестра приказала налить ему вина, чтобы он замолчал. Иначе он еще всем

разболтает, что она и ее муж сегодня вечером уезжают в Англию! Но стакан вина навел его на разговор о своей необычайной любви к Колиньи и восхищении своим вторым отцом – вернейшим из его подданных и лучшим из его слуг. Послушать короля Франции, так выходило, будто мир между партиями уже подписан и прошлое позабыто.

Дю Барта на своем конце стола сказал:

– Господин адмирал тоже так считает, несмотря на все полученные им предостережения. Но его взгляд разделяет только Карл Девятый. И это меня тревожит. Тот, кто вдруг, без видимой причины, перестает замечать людскую слепоту и злобу, подвергает себя большим опасностям, вернее, он над собой уже поставил крест.

Дю Плесси-Морней ответил:

– Друг мой, если бы в эту минуту сюда явился Иисус, с которой из двух партий он сел бы за стол? Он не смог бы выбрать, ибо одни жаждут зла не меньше, чем другие, и в сердцах не осталось даже искорки любви – ни у нас, ни у них. Признаюсь, я опасаясь даже самого себя, ибо и меня тянет на резню.

– Мы знаем тебя, Филипп. Ты любишь крайности только в мыслях.

– Крайности существуют в мире еще до того, как они рождаются в моем уме. А ты считаешь, дю Барта, здесь можно сохранить здравый рассудок? Что касается меня, то я намерен отдаться воле морских ветров, и если я утону – пусть, ибо в замке Лувр созревает кое-что похуже.

– Ты едешь на корабле?

– Да, в Англию, выжимать деньги из Елизаветы. – Его высоколобое сократовское лицо сморщилось еще презрительнее – от пренебрежения ли к английскому золоту или к своей удаче. Он не привык обманывать самого себя и понимал, что счастье выпало ему помимо его воли и сама судьба хочет убрать его отсюда.

– Мадам Екатерина призвала меня к себе. Мне должно ехать вместо моего государя, а ему надлежит остаться. Ибо нужен ему сейчас не шаткий корабль, а спокойная опочивальня. На самом же деле только он один в состоянии укротить волнение умов и помешать взрыву... А мой ум, о друг, могут охладить лишь

морские глубины, и мне остается только надеяться, что в них я и погрузусь! — смиренно закончил он, хотя ему предназначено было прожить еще пятьдесят один год, а многим из тех, кто сейчас окружали его, — меньше пяти дней.

Сказанное им — он вовсе не считал это тайной — было подслушано и по-своему истолковано целым рядом лиц, в том числе молодой фрейлиной де Сов. Подружка Марго воспользовалась первым же случаем, когда король Наваррский покинул свое место подле королевы, и все ей выложила. При этом ее глаза блестели; она находилась в той поре, когда иные отвечают на улыбку жизни особенно пленительным расцветом. Ее личико, которому с годами было суждено заостриться, под влиянием новости, которую она сообщила, приобрело какую-то необычайно одухотворенную прелесть. — Мадам, ваша милость, Марго, — обращалась она то и дело к королеве Наваррской, не уставая восхищаться тем, как мужественно и вместе тактично ведет себя король Наваррский; он все же ухитрился остаться здесь, и чтобы остаться, пошел даже на то, чтобы обмануть свою королеву. Так по крайней мере уверяла подружка, расхваливая его. Ведь мужская честь требовала, чтобы он всем пожертвовал долгу — даже любовью. При этом Шарлотта думала: «Теперь вы целый день лежите вместе, но когда-нибудь очередь дойдет и до меня, мне очень любопытно это испытать. Если добрая Марго узнает, что он уже ей лжет, она изменит ему раньше. А потом он изменит ей со мной».

Марго же, слушая ее, думала: «Завидует. Мое счастье превосходит все, что можно себе представить. Плохо только то, что я не умею его скрыть. Я поступила бы разумнее, спрятав от всех свое счастье, уехав в какое-нибудь путешествие, пусть даже далекое и опасное. И, может быть, удалось бы все-таки привезти его обратно целым и невредимым, тогда как здесь... Я не знаю, что задумала моя мать, но сама-то она отлично знает. Поэтому у нее все-таки есть лишний козырь против меня. Если то, что болтает эта Сов, правда, значит, мадам Екатерина вбила в голову моему милому, гугеноту, что его Морней успешнее, чем сам король, сможет выпросить в Англии деньги. Нет! Тут другое! Только теперь я вижу, что отговорка придумана самим Генрихом. Но заметила лишь потому, что подружка незаметно натолкнула меня на догадку. Он посылает другого, чтобы мы могли остаться здесь. Он слишком храбр и не будет прятаться от опасности, он

любит столь сильно, что мы не можем надолго покинуть нашу комнату!»

Вот что думала Марго, волнуясь и духом и плотью. Ей казалось, что, пожалуй, следует снова предстать перед старой королевой; но она медлила, хотя чувствовала, что сроки проходят и что она, в сущности, уже отреклась от всего, не имеющего отношения к любовным ночам и к их радостям.

«Сердце мое, прелестная, любовь моя», — думал Генрих теми словами, которые он произносил вслух для нее одной и только в редкие минуты. Одновременно он, отойдя в сторону, вел со своим кузеном Конде разговор о сестре: ради этого он и оставил свою королеву, как полагал, на несколько минут, а вышло — очень надолго. Конде сказал ему, что сам отсоветовал Екатерине выходить из дому: — В Париже неспокойно. Народ ждет событий, благодаря которым он надеется на свой лад встряхнуться. Что до меня, то я бы приструнил его не тогда, когда страсти разгорятся, а пока он еще только вожделеет, но колеблется.

— К счастью, тебя не спросят. Мы намереваемся посягнуть на испанскую мировую державу, и Париж не может быть спокойным. Народные волнения можно направить в любую сторону и даже извлечь из них полезное и доброе. На то мы и государи. Моей сестре все-таки следовало быть здесь, раз я праздную свою свадьбу.

Брат настаивал на своем, ибо отлично понимал, почему именно она не явилась. Он не захотел поступить так, как, по ее мнению, того требовал последний наказ их матери, то есть не покинул Париж и не повел ревнителю истинной веры на штурм французского двора. Вместо этого он отрекся от своей силы и предназначенной ему судьбы, — чтобы иметь возможность любить принцессу Валуа; и этого сестра ему не простила. Он обманул ее надежды как брат и король. В лице юной Екатерины он оскорбил мертвую Жанну и пренебрег ее волей. Кроме того, его сестричка ревновала взрослого брата к другой, которую он целует. Генрих знал Катрин как свою плоть и кровь, и, на самом деле, от него ничто не укрылось. Он отрицал все это лишь перед Конде, а не перед самим собою. И он сказал:

— Моя сестра ошибается, кузен, и, когда я уеду, объясни ей, что она неправа. Я все-таки покидаю Париж и тем самым выполняю ее желание и последнюю волю

нашей матери. Правда, я вернусь из Англии не с войском, но с золотом.

— Ты? Согнувшись под тяжестью мешков, словно вьючный осел? — спросил кузен недоверчиво; и хорошо, что он выказал недоверие — так по крайней мере ему удалось скрыть свое презрение. В эту минуту к ним подошел Филипп Морней.

— Я буду изображать этого осла вместо вас, сир. — Он вытянул шею и заревел.
— Золотой осел — сказочное животное, но слишком драгоценный груз введет небеса во искушение, они разобьют волнами обшивку судна и утопят осла, предзнаменования говорят мне, чем все это кончится. Ваша жизнь, сир, несравненно дороже; за нее платят большие деньги. И вы, верно, знаете, кто, —
докончил он вполголоса и указал на стену — за ней находилась та рука, которая направляла все, а следовательно, и это дело.

— В таком случае я не еду, — тут же решил Генрих. — И даже лучше, если я не поеду. Тем скорее я стану хозяином собственных решений. Если мы с господином адмиралом объединимся, то станем сильнее.

— Во всяком случае, у тебя есть Марго, — закончил Конде. Как раз об этом подумал и Генрих, он испугался и смолк.

Филипп Морней поклонился более церемонно, чем было принято между ними. — Сир, прошу вас теперь отпустить меня. Но так как отъезжающий подобен умирающему, соблаговолите выслушать мое завещание. Вас задерживают здесь, чтобы остальные ничего не заподозрили и заблаговременно, все сразу одним сильным отрядом, не вырвались из города. Только так они могут еще благополучно унести ноги, иначе никак, а ведь у них есть чувство самосохранения, словно у животных, которые стараются убежать подальше от места убоя. Прислушайтесь к разговорам вокруг вас, и вы услышите от каждого из наших людей, что он предпочел бы находиться как можно дальше отсюда и медлит лишь потому, что вы не оказываете сопротивления надвигающимся на нас событиям

— Ты, Филипп, от имени адмирала, сочинил блестящее послание к королю Франции, утверждая, будто его подданные по самой своей натуре только и жаждут, что убивать да грабить — если не чужих, то хотя бы друг друга. Вот и теперь ты говоришь об этом с тем же волнением. Колиньи уверен в дружелюбии короля. Он еще спокойнее, чем я, иначе зачем бы он здесь оставался?

— Он остается, ибо его ждет могила. А тебя ожидает брачная постель.

Тут толпа захмелевших гостей разлучила их. А когда Генрих попытался снова отыскать своего друга, тот уже исчез.

... и чудеса

А тем временем шум и гам все усиливались. Из дворца герцога Анжуйского гости перекочевали в замок Лувр, где должен был продолжаться прерванный утром бал.

Сегодня не слышно было громких споров; вместо этого теснившихся повсюду придворных словно постигла какая-то странная, внезапно поразившая их слепота.

Они уже не знали, кого именно отталкивают в сторону или, наоборот, втягивают в свою давку. Даже ближайшему окружению короля Франции не оказывалось должного внимания. Тем временем Генриха совсем оттеснили. Марго уже не было видно; его обступили какие-то зыбкие стены, и он не находил из них выхода. Поэтому он невольно крикнул: — Марго!

Кто-то ответил: — Уехала в карете со своими фрейлинами. Идите сюда, сир, ко мне!

Генрих не видел того, кто его позвал. Но это был голос Агриппы, и вот его уже не слышно. — Пропустите меня! — приказал Генрих. — Я хочу пойти к королеве.

— Тут кто-то позади него, совсем рядом, измененным голосом отпустил несколько весьма плоских шуток. Которую, мол, из королев он, собственно, имеет в виду.

Елизавета Австрийская едва ли приглашала его, а к мадам Екатерине ему спешить

незачем, успеется. Генрих оглянулся: молодой балбес нырнул в толпу и сделал вид,

будто он тут ни при чем. Оказалось, что это дю Га, фаворит д'Анжу!

Конечно, он

повторяет слова своего господина, а знать, что думает принц, не мешает.

Генрих

рассмеялся и кивнул юноше, чтобы он подошел. Но вдруг увидел необычайное зрелище: дю Га, подкинутый вверх, летел над головами, описывая распластанным

телом дугу в воздухе, и отчаянно визжал. Леви де Леран, паж-протестант, выделявшийся своей красотой, мгновенно дал ему коленом здоровенный пинок в

обожаемую герцогом задницу. Те, на кого упал фаворит, отпрянули и повалились на

соседей. Начавшаяся давка грозила перейти в опасную и всеобщую свалку. Один из французских придворных — его звали д'Эльбеф — попросту схватил под руку короля Наваррского и приподнял висевший на стене занавес; вдруг повеяло свежим воздухом, и они оказались совершенно одни в полной темноте.

Все это произошло мгновенно и без слов, с ошеломляющей неожиданностью, и невольно вызывало подозрения; Генрих наверстал то, что было им упущено, когда он стоял один на один против Гиза: он выхватил кинжал. Но д'Эльбеф воскликнул с юношеской восторженностью: — Если вы не хотите считать меня своим другом, сир, вот моя грудь! — И он обнажил ее.

Генрих наклонился к нему, лица он не мог разглядеть, но ведь и в первый раз, на свету, он не разглядел своего друга. И он продолжал быть начеку. — Идите впереди! В Лувр! Ни шагу в сторону!

Когда они дошли, ворота на мосту были, правда, открыты, но недостаточно широко, и их нельзя было ни распахнуть, ни затворить, ибо одни из всех сил старались пробиться наружу, а другие зажимали их между створами. Дикий рев сопровождал эту борьбу. Скучный свет редких факелов скользил по искаженным лицам. Генрих увидел бородки клином и грубые колеты: это свои, они хотят выбраться. Здесь были беднейшие дворяне и простолюдины. Они не сидели за столом королей, и соблазны двора не вскружили им голову; под покровом темноты они отстегнули кошельки у некоторых зрителей этого чуждого им города, а может быть, и прикончили их, но они не желали, чтобы теперь их самих прикончили. Для этих людей все было просто; и вот они бранились и дрались, оттого что охрана Лувра их не выпускала.

Король окликнул их. Они узнали его, толкотня тут же прекратилась. Стало слышно, как один крикнул:

— Убивают, сир! Идемте с нами! — Генрих обернулся: его провожатый, д'Эльбеф, все еще был тут. — Сделайте то, чего хотят ваши люди, — ответил он на вопросительный взгляд Генриха.

За воротами чей-то голос приказал: — Там этот наваррец, давайте его сюда!

— Пустите меня! — обратился Генрих к своим людям. Но они держали его крепко.

— Мы не уйдем без тебя, noust Henric[9. — Наш Генрих (гасконск.)]. У нас в конюшнях стоят оседланные кони, с тобой мы пробьемся, с тобой опять возвратимся сюда в тысячу раз сильнее. — Они окружили его, осмелились настойчиво хвататься за него и увлекли бы в своем потоке, ибо ими руководило чувство, подобное их доверию к природе: они цеплялись за своего короля, словно за свой родной холм с виноградником, который служил им прикрытием и который они не отдадут никому, даже более сильному врагу. Ему стоило только захотеть.

— Дайте мне поговорить с капитаном, — потребовал он вместо этого, так как теперь разглядел, кто командует на мосту. Тем временем капитан де Нансей приказал широко раскрыть ворота, пусть гугеноты убираются отсюда хоть все до

единого. Ему нужен только король. Бородки клином и колеты наконец вырвались и промчались мимо тех немногих, которые стояли подле Генриха. Окружавшая его

стена из тел рассыпалась и стала совсем тонкой. Кто-то из оставшихся пробормотал: — В последнюю минуту! — Это был несмелый голос друга, который

подоспел в последнюю минуту, но слишком поздно, чтобы остановить короля. Все же

друг хватается Генриха, он вынуждает его бороться за каждый шаг, ибо при каждом

шаге к воротам отгаскивает его назад. Они борются самозабвенно, пока их не

разнимают; они набили друг другу шишки и порвали платье.

Капитан крикнул: — Что это вы, обалдели, д'Эльбеф? Никто не собирается убивать короля Наваррского! Его почтительнейше проводят обратно в замок.

Генрих, к которому вернулась зоркость взгляда, увидел, что ни одного из его

людей уже нет, а капитан де Нансей, с которым он остался наедине, сразу же

обнаглел: — Еще когда вы только прибыли, сир, я имел честь заверить вас, что,

чем больше в Лувре гугенотов, тем лучше. К сожалению, некоторые из них только

что от нас ускользнули. Но, слава святому Варфоломею, вы пока еще здесь.

В ответ на эти слова Генрих со всем пылом своих восемнадцати лет закатил ему

пощечину и пошел дальше. Он еще успел увидеть растерянное лицо побитого. Но

когда ему вслед бросились вооруженные люди, он услышал, как капитан крикнул: —

Стой! — Де Нансей заскрежетал зубами, потом бросил: — Успеется.

Из замка доносилась громкая танцевальная музыка, окна были открыты, в

рассеянном свете ряды фигур сходились и снова расходились. А Генрих стоял внизу, ища взглядом Марго, — пора уже было опять ее найти. Все новые неожиданные события удерживали его вдали от нее, а сама она не оставляла ему

ни следа, ни весточки. Он смотрел вверх, из темноты, в неизвестное, и сердце у него усиленно билось. Наверное, сейчас в этом желтом, рассеянном свете, в мягких волнах музыки она совершает свои изысканные и несравненные движения, ее руки и ноги словно парят, и она улыбается, точно маска безупречной красоты.

«Но мы и не безупречны и не изысканны, Марго, когда мы наги!» Он вцепился обеими руками в ветви вьющихся роз, достигавших раскрытого наверху окна.

Уколы

шипов были ему приятны. «Ты посылаешь мне в дар эту боль!» Он, наверное, влез

бы по шпалерам, но, на беду, из нижнего этажа вывалились пьяные швейцарцы, им

надо было облегчиться, и непременно — на розы и на влюбленного. Он проскользнул в комнату, а они заревели от хохота над своей проделкой.

Это была караульня, ее освещал тусклый, неверный свет нескольких факелов, внутри никого не было, только четыре каменные фигуры поддерживали какое-то

подобие церковной кафедры. В смежное помещение вели ступеньки, споткнешься об

них — и не знаешь, куда свалишься. Высокие своды, наверху — бал, но сюда доносятся только смутные отзвуки, напоминающие рыдание скрипок, почти темно.

— Эй! Есть тут кто-нибудь?

— Конечно, есть, — ответили сразу два голоса, и Генрих, который был сейчас

особенно чуток и насторожен, узнал их. Он различил шевеление беловатых фигур на фоне мрака.

— Д'Анжу и Гиз! — тут же воскликнул он, направляясь к ним. — Первые весельчаки на моей свадьбе!

— Это ты, Наварра? — уронил д'Анжу с обычной сухостью. — Твое дело — танцевать либо валяться в постели. А наш удел — заботы. Эй! Свету! — проговорил

он, не повышая голоса, однако никто его не услышал.

— Любопытно, какие это у вас заботы? Ведь я знаю, вы мне друзья — без страха, без фальши. Таких я люблю.

— Мы и есть такие, — сказал Гиз. — И мы изо всех сил стараемся, чтобы в Париже не вспыхнул бунт по случаю твоего брака.

— Не любят они здесь еретиков. Эй, свету! — пробормотал д'Анжу.

А Генрих сказал: — Поэтому вы, особенно ты, Гиз, непрерывно и стягиваете сюда войска, а сами распространяете по городу слухи, будто тут кишит солдатами господина адмирала.

— Эй, свету!.. Это не имеет значения: они же помирились, Колиньи и Гиз. Мой августейший брат помирил их.

На этот раз свет появился: вошел Конде, кузен Генриха. Его сопровождало множество слуг с канделябрами.

— Я тревожился за тебя, кузен. Хорошо, что ты оказался в столь надежном обществе.

— Они помирились, ты уже знаешь об этом, Конде? Гиз и Колиньи порешили быть друзьями — из послушания королю. — Свечи осветили все лица. Генриха охватило новое неудержимое желание пролить и на все положение дел такой же резкий, беспощадный свет. — Еще твой отец, Гиз, и все твои родственники желали смерти господина адмирала; но они были далеки от удачи, и он сам раньше умертвил твоего отца. И с тех пор каждый из вас загорается от другого этой жадной мести: каждый новый Гиз от того, который уже существовал до него.

— Эй, свету! — повторил Д'Анжу в растерянности, хотя он был ярко освещен.

Гиз повторил с непоколебимым апломбом:

— Я помирился с Колиньи. Несмотря на это, он вызвал сюда свой гвардейский полк, но я все равно доверяю ему.

— Адмирал неповинен в смерти твоего отца. Он клянется в этом, — настаивал Конде.

— Так же верны и мои клятвы.

— Давайте сыграем в карты, — предложил д'Анжу.

— А все-таки тебе хотелось бы его убить, — повторил Генрих, не подсаживаясь к ним. Принесли карты, перетасовали их, никто, казалось, не расслышал его слов. Вдруг Конде стукнул кулаком по столу:

— Старик всему верит, оттого что Карл называет его отцом. Его жена уехала в их замок Шатильон. Да и ему самому давно следовало быть в безопасном месте.

— Почему ты не садишься. Наварра? — спросил д'Анжу; он как-то неясно

произносил слова, его толстая губа дрожала. Принца мучил страх.

— Оттого, что я иду наверх, к королеве.

— Ну и иди! Твой брак принес мир. Хорошо, если бы празднование твоей свадьбы продолжалось вечно.

— И потом я хочу посмотреть, скольких еще не хватает и моих людей и ваших. Что до твоего капитана Нансея, то теперь мне ясно, какая служба его задержала. А куда запропастился тот человек, которого ты тогда нашел у себя под кроватью, Гиз? Кажется, некий господин де Моревеер?

— Да я знать его не знаю и никогда, не видел! — завопил Гиз уже без всякой изысканности и рисовки. А д'Анжу боязливо сказал, обращаясь к Наварре:

— Или сядь, или уходи!

Конде удержал Генриха. — Разве ты не знаешь, в каком ты виде, кузен? Твое платье порвано, твое лицо в грязи. Откуда ты пришел? — Генрих поспешно шепнул ему:

— Они насильно задерживают наших людей.

— Скорее! Нужно пробиться и — прочь отсюда! — прошептал в ответ Конде.

— Нет! — А находившемуся тут же дворецкому Генрих громко сказал: — Сейчас же сообщите мне, как только королева Наваррская удалится в свою комнату. — Тут он сел, и они начали играть.

Стол стоял возле большого камина, а на его высоком карнизе горели свечи в канделябрах. Они тускло освещали игроков. В гордой каменной тени неподвижно стояли Марс и Церера, две фигуры, поддерживавшие этот камин с тех пор, как их там поставил некий мастер по имени Гужон. Ибо создания умерших мастеров неизменны и поддерживают человека, тогда как страсти живых сторают, словно свечи, и после них ничего не остается. Но восемнадцатилетний юноша не видит этого в зеркале, и в беге минут его собственной жизни он этого тоже не познает.

Против Генриха сидел д'Анжу, его губа дрожала, покрытый неопрятным пухом подбородок тонул в пышных брыжжах, а глазами престолонаследник сверлил карты.

Судя по испуганно сдвинутым бровям, он проигрывал. У него были безобразные уши,

волосы росли так, что виски и щеки напоминали обезьяньи, по ним и по вульгарному носу было видно, что ему хочется убивать и что он боится смерти. И, хотя на его берете сверкали драгоценные камни, в лице не отражалось никакого внутреннего света. Это лицо казалось убогим, только черноватые духи окружали его.

«Вылитая мадам Екатерина! — сказал про себя король Наваррский. — Вот уж в настоящем смысле слова ее отродье: ей хотелось именно этому сыну передать свой дар к черным деяниям. Да не удалось, и мне его жаль, ибо успешно убивать он сможет, пожалуй, только держась за ее юбку, а один, без старухи, проиграет игру».

— Козырь! — воскликнул король Наваррский и бросил свою карту на кучу других. Сверху лился, чуть колеблясь, свет свечей. Д'Анжу наклонился, коснулся последней брошенной Генрихом карты, быстро отдернул руку и осмотрел свои пальцы. То же сделал Конде, только с большим беспокойством.

— Кровь, — сердито сказал Гиз. — У кого это здесь идет кровь?

Генрих сразу показал руки: на них были царапины, словно от ногтей противника или от шипов. Но кровь нигде не выступала. Тогда герцог Анжуйский взглянул на собственные руки, он не мог унять их дрожь. Лицо его даже не побледнело — оно стало пепельным. Конде и Гиз мельком бросили взгляд на свои руки, обоим одновременно пришло на ум перевернуть наизусть карты. И тут их пальцы сразу же стали красными от крови. И не одна карта — все карты были липкие, они лежали в луже крови, на скатерти проступили кровавые пятна! Допросили слуг, стол вытерли, дворецкий принес свежие колоды карт.

На этот раз играющие заметили кровь, когда Гиз брал взятку. Но он уже не смотрел на свои руки, и остальные тоже не думали о своих руках, да и вообще о каких-то человеческих руках. Из-под карт медленно, безостановочно выступала кровь, сочилась, текла, разливалась. И они были бессильны, они могли, оцепенев, только созерцать ее, ожидая, пока пройдет то ощущение холода, каким на них повеяло из потустороннего, неведомого мира. Гиз первый опомнился, вскочил, начал браниться. Он был белее той скатерти, которой дворецкий накрыл стол; тем

временем Генрих заметил отчетливые следы крови на его левой щеке. Вот дьявольщина! Ведь это были его собственные пальцы, их отпечаток, но пощечину-то он дал совсем другому – капитану, охранявшему ворота! Гиз решил, что с него хватит, и с шумом выбежал из комнаты. Конде вдруг вцепился в дворецкого, тот испугался.

– Это все ты, со своей скатертью! Это у тебя в скатерти кровь! Чертов фокусник, ты откуда?

– Из Сен-Жерменского монастыря. – Ответ прозвучал почему-то очень неожиданно, и сам дворецкий перепугался еще сильнее, словно никак нельзя было в этом признаваться.

Конде не стал спрашивать дальше, в ярости швырнул дворецкого наземь, стал пинать его ногами. Генрих окинул взглядом комнату: д'Анжу уже и след простыл.

Но Леви, молодой виконт де Леран, красавец паж, вышел из мрака и доложил:

– Королева Наваррская ожидает вас, сир.

Подстерегает

«У тебя одна забота – плясать да в постели валяться», – бросил ему кто-то; но и этих забот с него больше чем достаточно, – лежание в постели захватило его целиком, можно было даже опасаться, что навсегда. Марго дарила ему радости, которые были больше чем просто радости; они являлись для него прибежищем, единственным, которое у него еще осталось, наградой за опасности, утешением в обидах, так что становилось стыдно за собственные мысли. «Марго, твоя мать только убила, ты же выдаешь им меня, как Далила Самсона; Марго, не надо предостережений, лучше в часы любви читай мне латинские стихи своим бархатным барякающим голосом. Марго, я могу в следующий миг выйти вооруженным из этой комнаты и перебить всех твоих. В замке Лувр хватит моих людей, они только меня и ждут, мы ворвемся к мадам Екатерине раньше, чем ее самые быстроногие шпионки. Я властен делать, что захочу, но я целую тебя, ибо ты ненасытна. Марго, высшее существо, ибо вы, женщины, таковы, и поэтому никогда не принадлежите нам до конца! Для моих высоких чувств в вас слишком мало души. А потому дай мне свое

тело, Марго, пока оно не состарилось. Что останется, когда пройдут года, от моих belles amours[10. – Страстей (франц.)]? Я тебя покину, это можно сказать заранее, а ты меня предашь. Разгневанная женщина – опасный зверь!
Марго, прости, ты лучше, гораздо лучше меня, ты сама земля, на которой я лежу, покорный, мчусь верхом, взлетаю в самое небо!»

Таковы его чувства – в них были и восторг и отчаяние. Ибо ближе всего к отчаянию восторг, он заимствует у отчаяния самое лучшее. Так бывает в молодости. Зрелость удаляется от истоков чувств и забывает их. Кто сохранит к ним близость, будет жить и станет человеком, как стал им Генрих, король Наваррский, а впоследствии – король Франции и Наварры.

Просыпаешься, смотришь – опять день. Поскорее бы уж он прошел! Чем его заполнить? Что придумывают другие люди, для которых ночные часы не главное в жизни? Они же деятельны, их разнообразные труды и усилия не менее значительны, чем труды любви, и достигают тех же глубин, что и сон. Вот герцог Гиз идет в монастырь Сен-Жермен-л'Оксерруа, который находится между замком Лувр и улицей Засохшего дерева. На этой улице живет адмирал Колиньи, в замок он наведывается частенько, ездить надо мимо монастыря. У решетчатого окна кто-то ждет еще со вчерашнего дня, кто-то неутомимо подстерегает его, притаившись за прутьями решетки.

Пусть Карл Девятый говорит: «Мой отец Колиньи». Сегодня он будет ждать напрасно. Нынче двадцатое число. За решеткой кто-то подстерегает. Гиз играет с Карлом в мяч, и в своих мыслях, которые таятся под маской этого ясного и гордого лица, он произносит слово «подстерегает». Он уверен, что дворецкий, который служит ему, еще вчера спрятал кого-то в монастыре. Рядом с этим человеком стоит прислоненное к стене ружье, а человек подстерегает.

Мадам Екатерина не появляется, у ее дверей – и внутри и снаружи – часовые. Опираясь на палку, она неслышно переходит от одного к другому. Каждому она заглядывает снизу в лицо, и солдат, поверх ее головы, неподвижным взглядом вперяется в пустоту. «Подстерегает», – думает Гиз. Думает о том, что за оконной решеткой в жилище каноника, его старого учителя, все готово. Дворецкого достал один родственник, оружие – другой, и на время выпущен приговоренный к повешению, который там подстерегает... Подстерегает.

Того же двадцатого числа на театре давалось представление с участием короля Франции и в присутствии всего двора. Справа рай, слева ад, как оно и должно быть, врата рая охраняли три рыцаря – Карл Девятый и оба его брата, никогда еще между ними не наблюдалось такого единодушия. В аду же черти и чертенята вели себя глупо и непристойно. Задний фон изображал Елисейские поля с двенадцатью нимфами. И все было бы в порядке, но гораздо драматичнее, когда в мире начинается беспорядок, и вот кучка странствующих рыцарей решила взять рай приступом. Однако Карл и его два брата победили рыцарей и загнали их в ад. Кстати, у тех были бороды клином и грубые колеты.

«Марго! Нельзя ли нам удалиться отсюда, уже давно пора мне тебя раздеть, твое тело пылает».

А Гиз думает: «Подстерегает. Висельник Моревеер подстерегает. Мой каноник, который ненавидит великого протестанта, и мой дворецкий, которого топтал ногами Конде, – подстерегают».

«Я король Франции и охраняю рай, – думает Карл. – А вас, бородки и грубые колеты, – в ад, к чертям! Правда, к вашей вере принадлежат и мой зять и даже, мой отец! Но все, что здесь происходит, – это просто так, я на театре играю. Моей широкой груди может позавидовать сам Юпитер, и мои ляжки можно сравнить только с ляжками Геркулеса».

Но вот с неба спустились Меркурий и Купидон, они сошли по радуге, свет падал на нее из-за облаков, и она имела самый естественный вид. Эти боги появились не только чтобы показать, как искусно действуют машины, но и для того, чтобы мог начаться балет. По их просьбе три райских рыцаря вывели нимф на середину залы. Выступление этих бессмертных существ, которые были, впрочем, обыкновенными актрисами, продолжалось больше часа; и все это время бородки и грубые колеты были вынуждены оставаться в аду и выслушивать тупые непристойности рыжих чертей.

«Марго! Давай сейчас же удалимся отсюда, ибо давно пора мне тебя раздеть, твое тело жжется».

Подстерегает за переплетом решетки, подстерегает за спинами охраны!

«Марго! Давай уйдем!»

Подстерегает.

«Я, король, сильнее всех. В заключение мы поднимаем всех нимф на воздух, и самую тяжелую поднимаю я сам».

Подстерегает.

И пусть еще день пройдет, и они, соревнуясь перед дамами, нарядятся для новых игр и зрелищ еще роскошнее и причудливее, Наварра турком, а Гиз, может быть, даже амазонкой — после этого все-таки настанет, наконец, двадцать второе, пятница, а уже с девятнадцатого в комнатке каноника, между улицей Засохшего дерева и Лувром, некто подстерегает.

Пятница

Адмирал Колиньи, он же Гаспар де Шатильон, был человеком столь влиятельным и почитаемым, что никогда не выходил один. Всю свою жизнь он был окружен полками, которыми командовал, или сидел в совете, если не как фаворит королей, то как мятежник, бунтовавший против них. Теперь Карл Девятый стал называть его отцом, поэтому одни особенно жгуче возненавидели его, другие стали опасаться за его жизнь, но не так уж сильно. И когда он в эту пятницу направлялся ранним утром в Лувр, они окружили его, и их тела сомкнулись вокруг него живою стеною. Господин адмирал на тайном совещании говорил с королем о деньгах: речь шла о жалованье немецким ландскнехтам — им задолжали еще за прошлую войну, которую Карл и Колиньи вели друг против друга.

После совещания король пошел играть в мяч, и господин адмирал проводил его. Он присутствовал при том, как король начал партию с собственным зятем господина адмирала и третьим игроком — это был Гиз, бывший враг, теперь помирившийся с Колиньи по соизволению короля. Затем господин адмирал простился и по пути на улицу Засохшего дерева стал читать письма. И вот случилось так, что его дворяне, не желая ему мешать, несколько поотстали, и вокруг него образовалось пустое пространство. Никем не прикрытый, переходил он площадь перед Сен-Жерменским монастырем. Раздался выстрел, за ним второй. Первый выстрел

медной пулей раздробил господину адмиралу указательный палец, вторым он был ранен в левую руку.

Господин адмирал не уронил себя – он не обнаружил особого волнения. Своим растерявшимся спутникам он указал окно, на решетке которого еще висела прядка дыма. Двое дворян бросились туда, но за домом уже раздался топот скачущей галопом лошади. Третьего дворянина господин адмирал отправил к королю, чтобы доложить о происшедшем. Игра в мяч еще не кончилась, но Карл Девятый тут же удалился. Он был взбешен и напуган. – Убийца поплатится, – сказал он. – «Неужели мне никогда не дадут покоя?» – хотел он еще добавить, но у него стучали зубы, хотя герцог Гиз и другие услужливо заверяли его, что это, бесспорно, стрелял сумасшедший.

Оба дворянина вернулись к господину адмиралу; он ждал их на том же месте. Задыхаясь, они рассказали, что негодяй ускользнул от них, скрывшись в запутанных переулках, и теперь уже далеко отсюда. Однако они успели узнать – это некий господин де...

– Стойте! – остановил их господин адмирал. – Никаких имен! Я чувствую, что ранен тяжело, может быть, я умру. И я не хочу знать того, кого, по человеческой слабости, мог бы в свой смертный час возненавидеть.

Одни поддерживали его на пути домой, ибо он был бледен и терял много крови. Другие, следовавшие позади, шептались о покушении: ведь обстоятельства дела еще не выяснены.

Убийца-то сначала забрался под кровать к Гизу, он его хотел убить. Зачем же понадобилось потом стрелять в его злейшего врага? Горе нам, если тут замешан Гиз – а он, наверное, замешан.

– Да свершится воля господня, – сказал, придя домой, на улицу Засохшего дерева, господин адмирал своим людям, которые при виде его до смерти перепугались и бросились на колени.

Амбуаз Паре был искусным хирургом и к тому же ревнителем истинной веры. Укрепив своего пациента и самого себя упованием на господина, он начал действовать со всем присущим ему умением. Трижды пришлось ему резать, пока он не отнял раздробленный палец. Господин адмирал не мог не испытывать ужасной боли. Поэтому, несмотря на терпение и душевную бодрость, его телесная природа не выдержала. Когда король Наваррский и принц Конде подошли к кровати, он

сначала не в силах был говорить. И посетители успели рассказать ему все, что они узнали, ибо это было уже известно и двору и всему городу. Нагая истина сама собой вынырнула из колодца и помчалась по улочкам еще более стремительным галопом, чем убийца на своем буланом коне. А убийца подкуплен Гизом.

Наконец Колиньи сказал: — Значит, вот какво хваленое примирение, за которое ручался король?

Он, видимо, призывал господа в свидетели, ибо, откинув голову на высоко взбитых подушках, так что затылок выступал над их краями, Колиньи возвел очи горко и закатывал их все больше, до тех пор, пока между веками не остались только узкие серпы белков. Щеки казались еще больше ввалившимися, старые упрямые губы распустились, словно он уже не хотел больше приказывать, а, приоткрыв их, ждал, не осенят ли его приказы свыше. Виски были страдальчески напряжены, но резко освещенные прямые морщины все так же круто поднимались к нахмуренным тучам его чела.

«Лучше мученичество, чем отречься и потерять тебя; о господи!» — словно говорило это лицо, казавшееся одновременно и покорным и высокомерным.

Конечно, король Наваррский и Конде понимали, что все-таки смерть старика Гиза останется на совести у господина адмирала: по крайней мере так утверждает молва. И вполне понятно, что сам он этого не признает. Так же ясно они поняли, что сын убийцы и не думал отказываться от мести. «Но теперь он может успокоиться, — сказал про себя Генрих, — хватит и одного пальца. Я же не могу покарать виновных в смерти моей бедной матери, отняв у них хотя бы один палец». Вид старца, а также мысль о его собственном положении вызвали слезы на глазах молодого короля. Его кузен Конде, менее чувствительный и не слишком тактичный, выложил напрямик то, что думал:

— Господин адмирал, вашему примирению с Гизом не могла быть порукой даже воля короля. Вы сами должны были остерегаться человека, у которого убит отец.

— Но ведь не мной же! — решительно заявил Колиньи. Он взглянул на них, сделал попытку подняться, однако при первом же движении чуть не вскрикнул, так сильна была боль в руке. Его слуга и его пастор тотчас бросились к нему. Конде растерянно замолчал.

— Я, — торжественно начал Колиньи, — смерти герцога Лотарингского не желал и не предвидел. Он сам думал о том, как бы меня убить, и сегодня рукой своего сына он все-таки это выполнил. Я же ничего против него не замышлял. Это правда. Господь мне свидетель.

Они слушали его, и могло показаться, что и бог его слышит. Простившись, король Наваррский и Конде удалились, но не только потому, что этого потребовал хирург. Конде оробел, он решительно заявил двоюродному брату, что берет обратно свое обвинение. Генрих же молчал: в глубине души он не верил ни одному слову господина адмирала. Напротив, он считал, что давняя ненависть Гиза и Колиньи имела весьма понятные причины. И вот Гиз подослал убийцу к тому, кто когда-то хотел смерти его отца. То обстоятельство, что старик — вождь протестантов, играло здесь меньшую роль, а может быть, и никакой. «Не в него целился убийца, а поэтому нам нечего за себя бояться. Марго!» — воскликнул кто-то внутри него, хотя он и продолжал размышлять. — «Да старик и не умрет. Просто он привык напускать на себя торжественность и даже в сомнительных случаях призывать в свидетели господа бога. Марго!» — бурно возвало опять его сердце, и он ускорил шаг.

Амбруаз Паре разложил хирургические инструменты: надо было оперировать простреленную руку. Корнатон, верный слуга господина адмирала, и его пастор Мерлен плакали, а немец-толмач, Николаус Мюс, с горестью созерцал могучую фигуру страдальца, ибо он любил и почитал его. — Сегодня тоже пятница, тот же день, когда страдал наш спаситель, — шептал толмач в тишине комнаты.

А между тем король Наваррский сделал то, чего требовало его чувство собственного достоинства. Вместе с Конде и молодым Ларошфуко он отправился к Карлу Девятому и заявил жалобу на покушение: покушаясь на господина адмирала, они подняли руку и на Генриха и на всех ревнителей истинной веры. Карл сам едва был в силах говорить: случившееся потрясло его еще сильнее, чем Наварру. Он только пролепетал, заикаясь: для него-де это все равно, что его собственные раны, — его палец, его рука. И он потряс перед ними руками, словно в доказательство того, что отомстит за это злодеяние. Однако мать не дала ему

кончить, ибо она была тут: как только Медичи узнала, что явились протестанты, она отперла свою дверь. — Рана нанесена всей Франции! — воскликнула она. — Еще немного, и они нападут на самого короля в его опочивальне! — При этом она изобразила великий страх и действительно напугала своего бедного сына. Он все еще не мог поверить, что его родная мать способна участвовать в заговоре против него. И король Наваррский, который был в этом убежден, все же заколебался: мадам Екатерина почти разубедила его, так как по-своему была искренна. Покушение на жизнь адмирала произошло слишком рано: Гиз действовал по собственному почину.

Генрих не стал снова просить, чтобы Карл отпустил его и его людей, ссылаясь на то, что для них теперь в Париже небезопасно. Он удовольствовался обещанием, что король самолично посетит господина адмирала. — И я тоже, — поспешно добавила старая королева. Не хватало еще, чтобы ее бедный сын беседовал по душам со своим так называемым отцом!

Раненому пришлось вытерпеть два разреза, которые были сделаны на руке, чтобы удалить пулю. Тот, кто отвращает взгляд от своей терзаемой плоти и во имя господне преодолевает боль, скорее сохранит мужество, чем тот, кто, стоя рядом, все время видит перед собою какую-нибудь залитую кровью, изрезанную часть нашего брэнного тела. И господин адмирал утешал других, пока пастор Мерлен не вспомнил, что это, собственно, его обязанность. Он обратился к богу с горячей молитвой, и как раз вовремя, ибо больной, пока раны еще не были перевязаны, потерял так много крови, что его силы начали угрожающе падать. Хирург нахмурился, он тоже, в сердце своем, молился, прикладывая ухо к груди пациента.

Когда господин адмирал наконец снова открыл глаза, то прежде всего как можно громче возблагодарил бога за эти раны, которых отец небесный его удостоил. Если бы всевышний обращался с ним по заслугам, во сколько раз сильнее следовало бы ему тогда страдать! Пастор отлично понял то, чего не замечал сам тяжелобольной: подобными признаниями адмирал невольно подчеркивал вину своих убийц. Это было недопустимо, и Мерлен предостерег его. Господин адмирал тотчас заявил, что

прощает их. Со всем смирением, на какое он был способен, Колиньи исповедался перед всевышним и предал себя его милосердию.

— О господи! Что случилось бы с нами, если бы ты воззрел на прегрешения наши!
Не оставь меня своей милостью, вспомни, что я отверг всех ложных богов и поклонялся только тебе, предвечному отцу спасителя нашего Иисуса Христа!

Под ложными богами он разумел не только святых, но также Марса и Цереру, чьи бесстыдные и пышные телеса нагло подпирают камин посреди королевского дворца, а также Плутона и Юпитера, которых изображал на маскарадах полуголый король.
Колиньи не любил этот грешный мир, хоть и боролся за него с таким упорством. Он не верил в вещественность, и для него было истинным только то, что незримо. И он говорил богу, который был ему ведом: — Если мне все-таки суждено умереть, то прими меня сразу же в царствие твое, и я буду покоиться среди блаженных.

—
Адмиралу Колиньи столько пришлось бороться за презренный мир, что покой, пожалуй, был бы ему весьма кстати.

Все же одно угнетало его, в одном хотелось ему убедить господя бога, который, может быть, смотрел на дело несколько иначе. В то время как он произносил обращенные к богу слова, за ними безмолвно и неотступно следовали другие. Вдруг он сказал громко: — Я не повинен в смерти Гиза. Господи! Не совершала этого рука моя!

Наконец он произнес их громко, они прозвучали; оставался только вопрос, действительно ли они достигли слуха всевышнего и приняты им. Тревожный взгляд адмирала тянулся к потолку, точно вслед за ними. Но тут в комнату вошел король Франции.

Карл только что отобедал, было два часа, его сопровождали мать, брат д'Анжу и многочисленная свита, среди них и Наварра, окруженный своими единоверцами.
Карл Девятый приблизился к ложу раненого и сказал: — Отец мой, вы ранены, а я страдаю. Клянусь так страшно отомстить, что моя месть не сотрется никогда из памяти потомков.

При этих словах мадам Екатерине и ее сыну д'Анжу, видимо, стало не по себе.
Все взгляды невольно обратились к ним. Кроме того, королева и ее сын отлично

видели, что большинство собравшихся здесь — протестанты. Все же они утешали себя тем, что в городе герцог Гиз уже принял необходимые меры. А пока им приходится быть свидетелями того, как старый мятежник выставляет себя перед королем его единственным другом. И о чем заботится этот человек, который обречен умереть! А Колиньи говорил: — Разве не позорно, сир, что какой бы вопрос ни обсуждался в нашем тайном совете, герцогу Альбе сейчас же становится все известно? — При этом Екатерина Медичи сказала себе, что как раз обратное было бы недопустимо. Эта мелкая итальянская княгиня почитала высшей властью на свете дом Габсбургов. А ее королевство? Ну что ж, она поддерживает его единство и в этот трудный час дала себе клятву, не останавливаясь ни перед каким кровопролитием, защищать его от еретиков-разрушителей; Она делала это ради себя самой, единственно ради своей одряхлевшей и уже недолговечной особы, но силы на это ей давала покорность мировой державе.

Когда Колиньи наконец замолчал, — его речь состояла из одних обвинений, причем он явно злоупотреблял преимуществами умирающего, — то потребовал от подавленного и на все готового Карла еще разговора с глазу на глаз. И Карл действительно предложил матери и брату отойти от кровати адмирала. Они отступили на середину комнаты. В эту минуту их окружали только протестанты, и старая королева со своим любимчиком-сыном физически оказалась во власти многочисленной толпы дворян-гугенотов. «Стоит вам только за нас взяться... в эту минуту сила на вашей стороне. Хорошо, что вы не такие, как я! Вы верите, будто закон существует, и на этом терпите поражение. Как часто я нарушала собственные эдикты и смеялась над вашей свободой совести, а вы всякий раз верили мне сызнова и сейчас опять положитесь на слова моего бедного слабого сына. Тут ничего не поделаешь, вы заслуживаете своей участи. Меня вы, конечно, не тронете, хотя это в вашей власти, но скоро вы упустите даже последнюю возможность!»

Так размышляла мадам Екатерина, стараясь этим отогнать страх, а время от времени, сощурившись, бросала вокруг себя недобрый и хитрый взгляд, но ее тяжелое свинцовое лицо неизменно выражало только строгость и достоинство. Кроме того, она прислушивалась к разговору, происходившему у постели больного, хотя, увы, ничего не могла разобрать. Поэтому она спокойно решила, что пора кончать эти пустые разглагольствования, и просто приблизилась снова к кровати —

протестанты пропустили ее, это ведь была мадам Екатерина – и посоветовала сыну более не утомлять раненого. Карл возмутился: он-де здесь король и так далее. Но она к этому приготовилась. Конечно, умирающий – смутьян и подстрекает против нее Карла.

Когда, уйдя на противоположный конец комнаты, Медичи взялась как следует за своего бедного сына, он ей все выложил: – Адмирал правду говорит! Во Франции короли отличаются тем, что могут делать своим подданным и добро и зло. А эта привилегия вместе с ведением дел давно перешла к вам, мадам! – Карл выкрикнул это очень громко, так что все слышали. И если до сих пор еще могли быть колебания, после этих слов судьба адмирала стала делом решенным. И самое лучшее для него, если господь даст ему умереть своею смертью.

Королевский гнев невозможно было укротить, пока король оставался в этой комнате, где стояла кровать с лежавшим на ней отцом его, поверженным рукой убийцы, где находился хирург, показавший ему медную пулю, пастор, вокруг которого протестанты опустились на колени, чтобы шепотом помолиться вместе с ним, и еще некто – все равно кто, – бормотавший про себя: «Сегодня тоже пятница».

Карл предложил своему отцу убежище в Лувре, большего он действительно сделать не мог. Наварре он сказал, взяв его при этом за плечи и притянув к себе: – Рядом с тобой, милый брат! Ту комнату, которую только что отделили для твоей сестры, чтобы она, открыв дверь, могла войти к вам обоим, к тебе и к Марго. Если хочешь, я отдам эту комнату моему отцу!

Генрих поблагодарил; после слов Карла ему стало гораздо легче. Разыгравшиеся здесь сцены подействовали на него угнетающе. Только теперь это покушение на убийство предстало перед ним во всей своей наготе. «Раз Карл предлагает Лувр и комнату моей сестры, дверь которой ведет ко мне, значит, старуха проиграла, я же вижу. Вот она. Повертывается спиной и, переваливаясь, уходит».

Наконец король, его мать и вся свита удалились, а в нижнем этаже дома состоялось совещание протестантских князей и дворян. Многие требовали, чтобы господина адмирала немедленно увезли из Парижа в его замок Шатильон: когда они

были наверху, в комнате адмирала, они стояли так, что им было видно лицо уходящей королевы, и лицо это, которым она в ту минуту уже владеть была не в силах, побуждало их упорно стоять на своем. Но Телиньи, зять адмирала, воспротивился: он не желал оскорблять государя таким недоверием. Король Наваррский же решил: — Господин адмирал будет жить в Лувре, в комнате рядом с моею, при открытой двери. А вокруг его постели день и ночь будут стоять мои дворяне. — Когда он произносил эти слова, сердце у него вдруг забилося, все же он договорил до конца. И, хотя было неясно, опасается он согласия своих приближенных или желает его, большинство протестантов его поддержало.

Потом все еще раз поднялись наверх. Раненому переменили повязки, истерзанная плоть невольно влекла к себе взоры. Кто-то сообщил адмиралу результат совещания, и Колиньи, глядя вверх и принося господу в дар свою боль, ответил только: — Да.

А в углу стоял человек, он что-то бормотал про себя на чужом языке, всего несколько слов, и повторял их все вновь и вновь.

Накануне

Как весело в городе, охваченном волнением! Здесь не перестают играть свадьбу, людям то и дело предлагается что-нибудь новенькое и удивительное — не только придворным, но и простонародью и почтенным горожанам. Неожиданности, необыкновенные происшествия так и сыплются на вас. Ну, прямо балаган на ярмарке, да только бесплатный! Чуть не каждый час исполняется какое-нибудь ваше желание, ибо кто не смакует тайком картины всевозможных бед, хотя мороз подирает по коже! А теперь все это приходит само, ты же благополучно остаешься в стороне и только наслаждаешься лицезрением всяких ужасов. Так подавай их сюда, и побольше! Побольше!

Король разбойников женился на нашей принцессе, а в другого еретика стреляли. То одно, то другое! Прямо карусель, да и только! Теперь его дом окружает многочисленная охрана. Надо сходить поглядеть, правда ли насчет пятидесяти аркебузирова. Хо-хо! Не колите! Не стреляйте! Мы простой народ, да почтенные горожане! Видишь, я верно сказал. Старый еретик вчера хвост поджал и просил короля защитить его. Нет, ты сам себя защити, как будут наступать Гизы! Вон

он, наш прекрасный герцог! Он показывается народу, а особенно женщинам. Да здравствует Гиз! Постой! Куда? Герой наших мечтаний, а удираешь от гугенотов?

Так обстояло дело. В то двадцать третье число впервые не повезло народному любимцу Гизу. Медная пуля из аркебузы в конце концов попала в него же, вот как вышло. Гиз, его брат и кардинал были взяты на подозрение и только временно оставлены на свободе. А их приверженцев в Сен-Жерменском монастыре схватили, судебное дело началось, король поклялся, что он Гизов из-под земли достанет, если они виновны. Но те уже успели покинуть двор и под сильным прикрытием оставили Париж, впрочем, это была одна видимость и обман. Если бы только мадам Екатерина их позвала, они были бы досягаемы в любое время.

Мадам же Екатерина оказалась в тот день в накладе, если судить по внешнему ходу событий, и противостоять событиям мадам Екатерине помогли ее самообладание и вера в себя; ибо она была убеждена, что жизнь зла и что именно она заодно с жизнью, а другие – против. Впрочем, ее астролог объяснил ей, каким образом все произойдет.

Пока было светло, она внимательно все рассмотрела: и многочисленную стражу на улице Засохшего дерева и не только это. Во всех домах, находившихся поблизости, ее бедный сын разместил гугенотов. То и дело справлялся он о состоянии больного. Осведомлялась и его мать, отнюдь не из пустого лицемерия. Если господину адмиралу Колиньи, паче чаяния, станет лучше, это может повести к самым серьезным последствиям. И когда она слышала ответ: да, ему действительно лучше, то думала про себя, что для него это очень плохо. Под влиянием своих тайных мыслей и посоветовала она дочери, молодой королеве Наваррской, проведать адмирала.

Марго училась не только по книгам: она умела уже разглядеть основное и в людях. Особенно же за последнее время. И убедилась, что гугеноты, несмотря на все свое безрассудство, все-таки невинны и беззащитны, словно ягнята. Такими сделал гугенотов их бог, ибо дал им совесть, и, на свою беду, они слишком к ней

прислушивались. Послушно выполняла Марго требования своей свирепой матери.

Раньше мадам Екатерина казалась ей будничной, хоть она и властвовала над этими

буднями, которые могли таить в себе и кое-какие опасности. Но, с тех пор как

Марго полюбила, мать точно изменила свой облик, и какой-то голос, голос любви,

отважился спросить Марго, оправдывает ли она, как прежде, мадам Екатерину.

Ответа голос не получил. «Это было бы уж по-гугенотски... — подумала Марго.

—

Но мы все же отправимся в дом к адмиралу, посмотрим, как он себя

чувствует, и

потом скажем маме, что он умирает, скажем на всякий случай. Это будет самое

правильное».

Оказалось, что больному стало лучше. Он даже хотел было подняться, чтобы принять королеву Наваррскую. Она этого не допустила, а когда его пастор начал

благодарственный псалом и кучка скромных людей, находившихся в этой суровой и

простой комнате, опустилась на колени и присоединила свои голоса, встала на

колени и Марго и тоже запела. При этом сердце бурно колотилось у нее в груди.

Но, во-первых, ее свита осталась внизу, а двери и окна были закрыты. И потом,

этих ягнят нечего бояться: они, конечно же, не пойдут к ее матери и не выдадут

ее.

Поручение от матери получил и д'Анжу, поэтому он сделал так, что начальником

отряда, охранявшего Колиньи, оказался злейший враг адмирала, некий Коссен. С

этой минуты король Наваррский во всем встречал только препятствия, и целый день

у него ушел на то, чтобы с ними справиться. Из-за каждой аркебузы, которую

друзья адмирала хотели пронести к нему в дом, начинались бесконечные препирательства с Коссеном. Его поведение дало друзьям основания еще раз потребовать перевода адмирала в другое место. Против были, как и при первом

совещании, сам Колиньи, его зять, Конде и Генрих Наваррский... Они все еще возлагали свои надежды на Карла, а с ним тем временем творилось что-то совершенно неожиданное.

Вначале ничего не было заметно, король лег спать в присутствии многих придворных. И Наварра терпеливо торчал здесь же, хотя очень устал от бесконечных усилий обеспечить господину адмиралу безопасность. Тотчас после

короля отправился и он в свою опочивальню. Генриха сопровождали

дворяне-протестанты. Его королевы еще не было; вскоре он узнал, что она якобы молится в своей библиотеке. Это всякому показалось бы странным, особенно же ему. Марго, молящаяся наедине, под всевидящим оком Божиим! Но на душе у нее было тяжело, ее томило какое-то предчувствие. Она провела вечер у матери, сидела на каком-то ларе и, как обычно, пыталась читать.

У мадам Екатерины были гости, сначала пришел брат Марго д'Анжу, затем явилось еще несколько человек; среди них оказался только один француз — некий господин де Таван, трое остальных были родом из Италии; и тут принцесса Валуа поняла, что это сборище предвещает необычайные события. Вдруг ей пришли на память более ранние наблюдения, над которыми она до того не задумывалась. Но теперь такая беспечность уже была невозможна. Сидя на ларе в другом конце комнаты и делая вид, будто поглощена своими фолиантами, она стала прислушиваться, и ей удалось перехватить несколько сказанных свистящим шепотом итальянских слов. Они не сулили ничего хорошего: адмирал Колиньи должен умереть, и все находившиеся здесь люди, в первую очередь ее мать, решили заставить ее брата-короля дать на это свое согласие.

Бедняжка Марго почувствовала небывалое смятение и, вместо того чтобы прятать глаза, старалась перехватить взгляд матери. Но как только она с ним встретилась, мадам Екатерина грубо на нее накинулась. Старая королева, которая никогда не повышала голоса и даже пороть умела без особого волнения, принялась осыпать свою дочь итальянскими ругательствами и, наконец, обозвала ее шлюхой: пусть немедленно убирается из комнаты. Отсюда и отчаяние растерявшейся бедняжки и ее беседа с богом. Марго знала слишком много и могла поведать об этом только всевышнему. Когда ее возлюбленный повелитель послал за ней, спрашивая, куда же она запропастилась, она тотчас последовала его зову и нашла его в постели, окруженного четырьмя десятками гугенотов. Многих она еще не знала, ибо замужем была слишком недавно. Все говорили, перебивая друг друга, о несчастном случае с господином адмиралом. И в который раз уже решали: как только рассветет, Карл непременно должен дать им право преследовать Гиза, иначе они это право возьмут силой! Так прошла ночь, и никто глаз не сомкнул.

Где брат мой?

Тогда они вошли в опочивальню Карла. Стража пропустила их, ибо это были мадам Екатерина, ее сын д'Анжу и те четверо — она их тоже прихватила.

Карл

Девятый мгновенно сел на постели, он решил, что сейчас его убьют. Затем узнал

свою мать, она велела ему подняться. Когда он был в состоянии ее выслушать, она

прежде всего напугала его, заявив, что он погиб. Вопрос идет о престоле и о

жизни. Дальнейшие разъяснения она предоставила остальным. Те принялись доказывать королю, вдаваясь во всякие подробности, что Колиньи призвал сюда

полчища немцев и швейцарцев, Карлу с ними не справиться.

— Что ж, продолжай звать его отцом! — вставила мать ледяным тоном. С другой

стороны-де, католики, наконец, решили двинуться на протестантов, но уже не под

его началом. — А ты тряпка и сидишь на своей заднице между обеими партиями, и

обе видят в тебе врага, — заявил его брат д'Анжу, который еще никогда не осмеливался так с ним разговаривать. Его Карл хоть понимал; кроме него, понимал

еще господина де Тавана. Лопотание же трех итальянцев он разбирал тем меньше,

чем громче и нахальнее они что-то выкрикивали, силясь выразиться по-французски.

Все вдруг заговорили с Карлом совсем иначе, чем вправе ожидать король.

Словно

все его понимание роли государя подвергалось сомнению. Король должен быть

далек и недоступен, точно на портрете, всем своим видом он держит людей на

почтительном расстоянии — тем, как он стоит, выступает, смотрит на них косящим

взглядом из-под полуопущенных век.

Поэтому Карл Девятый выпрямился как можно величественнее — насколько это было возможно в ночной сорочке, к тому же он запутался в ней ногами.

Посмотрел

своим косящим взглядом на вторгшихся к нему наглецов и заявил: — Судебное дело

пойдет своим чередом. Виновость Гизов ясна. Я покараю их. Такова моя воля.

А мадам Екатерина ему в ответ: — Нет, не твоя. Это воля твоих гугенотов, а

ты лишь их орудие, бедный сын мой. Если же ты будешь допрашивать Гизов, они

тебе скажут, что действовали только по указанию твоей матери и твоего брата,

ибо именно мы повелели стрелять в адмирала, чтобы спасти тебя.

Она преподнесла ему это чудовищное разоблачение, даже не повысив голоса, даже не пожав плечом; поэтому в первую минуту он не в силах был сообразить, что именно она совершила. И довольно спокойно переспросил: – Ты повелела? Мать, этого не может быть!

Она сидела перед ним, подняв взор к потолку, но неотступно продолжала следить за сыном. Три итальянца уже хотели снова вмешаться. Д'Анжу приказал им молчать, он с трудом сдерживал дрожь. Наступила опаснейшая минута; напрасно любимчик королевы перед тем убеждал ее не открывать Карлу правды. Она же считала, что правда жестка, как палка, и потому очень полезна ее бедному сыну. – Да, я повелела, – подтвердила она и продолжала сидеть все в той же позе, глядя в потолок и зорко наблюдая за происходившими в сыне переменами. Карл побледнел, потом вспыхнул, сделал резкое движение к двери, сдержался. В течение двух-трех секунд казалось, что он вот-вот вызовет стражу и всех тут же арестует, в том числе и свою мать.

Этого не случилось. Кровь бросилась ему в голову, он покачнулся. – Сядь, сын мой, – посоветовала она ему, а любимчику сделала знак, чтобы тот перестал так нелепо трястись.

«Мясник колеблется, – подумала она о Карле Девятом. – А моими действиями Габсбург будет доволен, да и созвездия хотят этого. Все в порядке».

Карл оперся о спинку стула и злобно процедил: – В монастырь бы вас заточить, мадам, вы сделали меня убийцей моего лучшего друга и призвали на мою голову проклятия современников и потомков.

Однако мадам Екатерина не утратила своего спокойствия, оно доходило до какой-то тупости и в конце концов должно было парализовать каждого. Она неумолимо шла к цели: – Так как ты уже заслужил проклятие, спаси хоть свою жизнь и свой престол! Ведь достаточно одного удара мечом!

Он понял, кому нужно нанести этот удар. И, словно сам был им сражен, повалился на стул. Он совершил роковую ошибку: отныне все, по одному или вместе, уже могли нажимать на него сколько им было угодно. – Ведь один-единственный удар мечом, сир, прикажите нанести его и тем самым предотвратите неисчислимые бедствия и избиения многих тысяч!

Карл судорожно помотал головой и закрыл глаза. – Парижские кварталы

вооружаются, — воскликнул д'Анжу, осмелев, и стукнул кулаком по столу. Париж действительно хватался за оружие, но виной тому был сам д'Анжу, пустивший слух, будто на Париж идут ускоренным маршем несметные полчища гугенотов.

Карл чуть приоткрыл глаза и бросил на брата усталый взгляд, полный глубокого презрения. Припертый к стене, потерявший мужество, он все же на свой лад сопротивлялся; он замкнулся в себе и глубоко презирал их. Тогда заговорщики удвоили усилия, стараясь скопом сломить волю одного человека: — Ты уже не можешь отступить... Вы уже не можете, сир... отступить... — Один поддерживал другого, голос предыдущего сливался с голосом последующего и все-таки самостоятельно проступал сквозь остальные: низкий глухой голос старухи, крикливые голоса обоих итальянцев и еще чей-то, скрипучий, как у попугая. А д'Анжу и Таван то и дело как бы вонзали в эту мешанину подзадоривающий боевой клич: — Смерть адмиралу!

Карл терпел пытку целый час. Время от времени он повторял, хотя его никто уже не слушал, да и не намерен был слушать: — Я не позволю пальцем тронуть адмирала. — И еще говорил: — Я не могу нарушить свое королевское слово. — Он его дал французскому дворянину, но забыл, кто перед ним сейчас. Поэтому он все равно что ничего не сказал.

Вдруг у него вырвался стон, однако он поборол свою слабость, поднял голову и угрожающе простер руки к двери. «Значит, все-таки решил позвать стражу?» — подумала его мать, и ей стало не по себе. Но он сделал нечто гораздо более неожиданное. Он спросил:

— Где брат мой?

Тут воцарилось глубокое молчание; все смотрели то на него, то друг на друга. Что он хотел этим сказать? Кого имел в виду? Мать ответила: — Твой брат здесь, сын мой. — Но так как ее ответ не оказал на него никакого действия, она перестала что-либо понимать. Во всем, что касалось фактов, мадам Екатерину нельзя было смутить, но перед чувствами она терялась. Да ее и не было при том, как однажды вечером ее бедный пьяный сын, словно затравленный, шептал на своего зятю: — Наварра! Отомсти за меня! Потому и сестру тебе отдаю! Отомсти за меня и мое королевство!

По чистой случайности молодой король Наварры в это время лежал в постели, окруженный сорока протестантами. Но ведь он мог бы и встать. Немало требований

собирались они предъявить королю; можно было и не откладывать до утра, а отправиться к нему сейчас же и, располагая превосходящими силами, взять приступом его прихожую. Вот дверь уже распахивается: брат мой! Ты пришел освободить меня!

Но дверь не открывается, брат оставил его, несчастный понял, что конец близок, и мадам Екатерина это сразу по нему увидела, в таких вещах она разбиралась. Карлу кажется, что он всеми предан, брошен на произвол судьбы.

Скорее нанести последний удар, добить его. Опираясь на палку, она вскочила с

места, схватила за руку своего сына д'Анжу и закричала громче, чем все они

кричали до сих пор: – Уйдем отсюда, бросим этот двор, чтобы спастись от гибели

и не видеть катастрофы! А как легко было ее избежать! Но у твоего брата нет

мужества! Он трус!

Услышав это, Карл вскочил. Трус! Ему почудился свист хлыста, словно его ударили по лицу. Перед ним разверзлась бездна – ведь мать отступилась от него,

В нем бушевали противоречивейшие мысли и чувства: честь, страх, ярость и сознание своей правоты – все перемешалось, ему чудилось, что он весь истерзан;

его лицо подергивалось; он готов был упасть перед ними на колени и готов был

любого из них заколоть кинжалом. Однако он избрал третье – он словно обезумел.

И эта вспышка бешенства в последнюю минуту спасла его от гибельного отчаяния.

Карл забегал по комнате, зарычал, чтобы еще пуще разжечь себя. В его неистовстве было столько же актерства, сколько и подлинного ужаса, от которого

содрогалось все его существо. Он носился взад и вперед, расталкивая и отшвыривая к стенам всех, кто попадался ему на пути. Мадам Екатерина выказала

даже неожиданную резвость: присела за шкафом, напоминая крепость, и старалась определить, до каких пределов он доведет свою ярость. Даже тут она

сомневалась в способностях своего бедного сына.

Но вот Карл остановился посреди комнаты, чтобы лучше выделяться как центральная фигура и живое воплощение угрозы. Царила мертвая тишина; несмотря

на это, он взревел: – Тише! – Все еще разжигая себя, он начал извергать хулу на

матерь божию. Затем открылась и цель его безумия: – Вы хотите убить адмирала –

и я хочу! И я хочу! – заревел он так, что у него в самом деле голова

закружилась. — Но пусть и все остальные гугеноты во Франции, — свирепое вращение глазами и рев, — пусть все тоже погибнут! Ни одного, ни одного не оставляйте в живых, а то он явится потом упрекать меня! Уж от этого увольте, да, увольте! Ну, действуйте же, отдавайте приказания. — Топанье ногами и рев. — Ну? Скоро? А не то...

Но никакого «а не то» быть не могло, и несчастный отлично это знал. Они заспешили, толкая друг друга, ибо каждый старался выскочить из комнаты первым. Последней выходила мать: в дверях она обернулась и одобрительно кивнула ему — что было совсем необычно. Притворив за собой дверь, она на миг задержалась, прислушиваясь, как он себя теперь поведет. Пожалуй, в комнате стало слишком уж тихо. «Обморок? Но ведь не слышно, чтобы он упал. Нет, едва ли. Конечно, нет», — решила мадам Екатерина и, переваливаясь, озабоченно поспешила за остальными. Ибо многое надо было еще решить и сделать без промедления.

Если она раньше мысленно заглядывала в бездну, то не слишком верила, что когда-нибудь действительно достигнет другого края. И вот она уже на той стороне — благодаря своему терпению, отваге и предусмотрительности. Поэтому ей одной принадлежит по праву верховное руководство предстоящими событиями. Ее сына д'Анжу нужно держать от всего этого подальше. Будущему королю не подобает лично участвовать в таком предприятии, которое, хотя оно полезно и своевременное, все-таки может оставить на действующих лицах кое-какие не совсем приятные следы. Полночь. Какой завтра день? Ах да, святого Варфоломея. Как бы наши деяния ни шли в ногу с мировой историей, нам всегда грозит опасность, что они будут поняты неверно и что благодарности за них мы не получим.

Признание

И вот они ворвались во двор его дома. Адмирал Колиньи услышал, что в дверь грохают кольями и прикладами. Кто-то командовал: он узнал резкий, раздраженный голос — это Гиз. И тут же понял, что его ждет смерть. Он поднялся с постели, чтобы встретить ее стоя...

Его слуга Корнатон надел на него халат. Хирург Амбрауз Паре спросил, что там происходит, и Корнатон ответил, взглянув на адмирала: — Это господь бог. Он призывает нас к себе. Сейчас они вломаются в дом. Соппротивление бесполезно.

Стучать внизу перестали, ибо Гиз обратился с речью к своему отряду. В этом отряде было очень много солдат, среди них — и солдаты из охраны адмирала, которых король Наваррский разместил в лавках напротив: он, видно, не предполагал, что их начальник может предать Колиньи из одной только ненависти. Отряд Гиза занял улицу Засохшего дерева и все выходы из нее, а также дома, где остановились дворяне-протестанты. Им уже не суждено было попасть к господину адмиралу, жизнью которого они так дорожили, ибо они уже лишились своей жизни.

Зазвонил колокол в монастыре Сен-Жермен л'Оксерруа. Это был сигнал. На улицы вышли отряды горожан-добровольцев. Они узнавали друг друга по белой повязке на руке и белому кресту на шляпе. Все было предусмотрено заранее, перед каждым поставлена определенная задача — и перед простыми людьми и перед знатью. Господин Монпансье взял на себя Лувр, обещав, что не даст ускользнуть оттуда ни одному протестанту. Улица Засохшего дерева была предоставлена господину Гизу, ибо он сам просил о чести прикончить адмирала, который до сих пор еще не умер, а только ранен и находится в беспомощном состоянии. Под глухое бормотание колокола он резким голосом возгласил, обращаясь к своему отряду: — Ни в одной войне не завоевали вы себе такой славы, какую можете добыть сегодня.

Они не могли с ним не согласиться и храбро двинулись вперед.

— Как ужасно кто-то закричал, — сказал в комнате наверху пастор Мерлен. Отчаянный вопль еще стоял, у всех в ушах. Слуга Корнатон пояснил, что кричала служанка, ее убили. — Они уже на лестнице, — сказал капитан Иоле. — Но мы построим наверху заслон и дорого продадим наши жизни. — И он вышел к своим швейцарцам.

При Колиньи находились еще его врач, его пастор, его слуга, не считая четвертого — скромного незнакомца, избежавшего взгляда господина адмирала, но тщетно: факелы солдат бросали в комнату яркий свет, как будто снаружи пылал пожар. Лицо господина адмирала казалось спокойным, присутствующие могли

прочесть на нем лишь внутреннее спокойствие и бодрость духа перед лицом смерти;
он хотел, чтобы они ничего другого и не увидели, не были свидетелями его объяснения с богом, которое все еще продолжалось и ни к чему не приводило. А
его людям пора бежать отсюда, и как можно скорее. Он отпустил их и решительно
потребовал, чтобы они уходили от опасности: — Швейцарцы еще удерживают лестницу. Вылезайте на крышу и бегите. Что касается меня, то я давно уже приготовился, да вы ничего и не смогли бы сделать для меня. Предаю душу свою
милосердию божию, в коем я и не сомневаюсь.

И он отвернулся от них — безвозвратно; им оставалось лишь тихонько выскользнуть из комнаты. Когда адмирал решил, что он наконец один, то повторил
громким голосом: — Твоему милосердию, в коем я и не сомневаюсь, — и прислушался, не последует ли подтверждение.

А швейцарцы еще удерживали лестницу. Колиньи слушал. Но подтверждения не последовало. С каждым мигом его лицо менялось, словно он постепенно погружался
в пучину ужаса. Спокойствие и бодрость перед лицом смерти, где вы? Сквозь привычные черты адмирала явственно проступил другой человек — поверженный и
уничтоженный. Его бог отверг его. Но швейцарцы еще удерживают лестницу.
«До
того, как они отдадут ее, я должен убедить тебя, боже мой. Скажи, что неповинен я в смерти старика Гиза. Не отдавал я такого приказа. Ты знаешь это.
Я не хотел его смерти, ты можешь это подтвердить. Что же, я должен был удержать
руку его убийц, если Гиз решил убить меня самого? Этого ты не можешь требовать
от меня, о господи, и ты не признаешь меня виновным. Что? Я не слышу тебя.
Ответь мне, о господи! У меня остается так мало времени, только пока швейцарцы
еще удерживают лестницу».

Вокруг него стоял гул и грохот, он доносился с улицы и из самого дома; старик же продолжал спорить и бороться: потрясая сложенными руками и подняв
вверх свое суровое лицо старого воина, он обращался к неумолимому судье.
И
вдруг услышал тот голос, которого так ждал... Великий голос проговорил: — Ты
виновен. — Тогда христианин в нем содрогнулся первой дрожью освобождения от
земной гордыни и неискоренимого упорства:

— Да, я виновен. Прости меня!

Швейцарцы больше не удерживали лестницы: все пятеро были мертвы. Буйная орда протопала вверх; они хотели высадить дверь, но она поддалась не сразу. Когда они наконец проникли в комнату, они поняли, что послужило им препятствием: на пороге лежал ничком человек. Они набросились на него и решили, что прикончили его. Однако он умер уже раньше, слишком потрясенный зрелищем того, как христианин боролся и обрел спасение; а был это всего-навсего немец-толмач Николай Мюсс. Глубокое почитание и любовь к господину адмиралу придали ему мужества — он один остался с ним в комнате, чтобы вместе умереть.

От толпы отделился некий Бэм, тоже швейцарец, но служивший д'Анжу. И видит Бэм: у камина стоит старик, из благородных, из тех, к кому Бэм обычно приближался так, словно на брюхе полз. Но сейчас он рывкнул: — Ты что ли адмирал? — Однако вопреки ожиданию в обращении с этим стариком ему не удалась та бесцеремонность, которая необходима, чтобы убийца поднял руку на свою жертву, и ради которой он вдруг называет ее на «ты». Нет, важный старик продолжал удерживать его на почтительном расстоянии, и нелегко было Бэму сделать последние два шага.

— Да, я, — прозвучал ответ адмирала, — но моей жизни ты сократить не в силах.

Столь загадочный ответ мог бы понять лишь тот, кто видел, как этот старец отдал себя на суд божий и для рук человеческих стал уже неуязвим. И Бэм смутился; растерянно посмотрел он на свое оружие, которое презрительно разглядывал стоявший перед ним важный старик. А держал он в руках длинный заостренный на конце кол, каким высаживают ворота. Им он и хотел садануть в бок господина адмирала — и, когда тот отворотил лицо, Бэм так и сделал. Колиньи упал. Другой швейцарец — комната была полна ими — успел еще увидеть это лицо и подивился не сходявшему с него выражению уничтожающего превосходства, которое швейцарец, рассказывая позднее об этой сцене, назвал самообладанием. Колиньи, сраженный ударом, еще успел что-то пробормотать, но все были слишком возбуждены и не поняли, что; а сказал он только: — Добро бы еще человек, а то какая-то мразь... — Эти предсмертные слова были полны нетерпимости к людям.

Когда Колиньи уже лежал на полу, остальные наемники доказали, что они тоже недаром получают жалованье. Мартин Кох ударил его своей секирой. Третий удар нанес Конрад, но лишь после седьмого адмирал умер. Господа, ожидавшие внизу, во

дворе, теряли терпение. Герцог Гиз наконец крикнул: — Ну, как там, Бэм, кончили?

— Кончили, ваша милость, — крикнул Бэм в ответ; и как он был рад, что может снова сказать «ваша милость», вместо того чтобы всаживать в бок «вашей милости» острый кол!

— Выкинь-ка его нам в окошко! Рыцарь д'Ангулем не верит, пока не увидит собственными глазами.

Ландскнехты охотно выполнили приказ, и тело Колиньи упало к ногам столпившихся внизу дворян. Гиз поднял с земли какую-то тряпку, отер кровь со лба умершего и сказал: — Он, я его узнаю. А теперь — остальных. — Затем, наступив ногой на лицо убиенного, заявил: — Мужайтесь, господа! Самое трудное мы совершили.

Утро только забрезжило.

Резня

Когда забрезжило утро, молодой король Наваррский сказал своей жене, лежавшей рядом с ним, и своим сорока дворянам, окружавшим его ложе: — Спать уже не стоит. Пойду, поиграю в мяч, пока встанет король Карл; а тогда я непременно напомню ему о его обещаниях. Королева Марго нашла, что это весьма кстати, она надеялась, что, когда все мужчины выйдут, ей наконец удастся заснуть.

На рассвете (верней — еще только бледнела короткая летняя ночь) в одном из покоев Лувра, выходящих окнами на площадь и прилегающие к ней переулки, стояли Карл Девятый, его мать, мадам Екатерина, и его брат д'Анжу. Они молчали, прислушивались, с нетерпением ожидая, когда же раздастся выстрел из пистолета. Тогда они будут знать, что именно произошло, и посмотрят, как события развернутся дальше. Выстрел раздался, и тут они вдруг засуетились и спешно отправили на улицу Засохшего дерева гонца с приказом господину Гизу немедленно возвратиться к себе домой и ничего против господина адмирала не предпринимать. Они, конечно, знали, что посылать уже поздно, и отрядили к Гизу придворного лишь для того, чтобы потом сослаться на это обстоятельство перед немецкими

князьями и английской королевой и тем снять с себя часть вины. И все-таки они отдавали эти уже бесполезные распоряжения с искренним усердием, словно можно было еще на что-то надеяться. Мадам Екатерину и ее сына д'Анжу как будто охватила даже запоздалая паника: а вдруг дело сорвется! Только Карл, трепеща и точно в беспамятстве, ожидал, что вот-вот придет весть: ничего-де не случилось, все это ему просто померещилось.

Но не оставлявший сомнений ответ был получен, и Карл тут же прибег к своему добровольному безумию. Взревев и тем явно показав, что он невменяем, он поспешил к себе и стал требовать, чтобы сюда немедленно доставили Наварру и Конде – притащили сию же минуту! Это оказалось совершенно излишним, так как они сами уже шли к нему.

По пути к королю они услышали в открытое окно набат. Они остановились, но ни один из них не решился выдать своих опасений. Генрих все же сказал вслух: – Мы в западне. – Затем добавил: – Но мы еще можем кусаться, – ибо позади и впереди него стояли его дворяне, весь коридор был полон ими. Однако едва он успел приободрить их, как распахнулись все двери – справа, слева, спереди и сзади – и извергли толпы вооруженных людей. Первыми были убиты Телиньи, зять адмирала, и господин де Пардальян. Только это Генрих и успел увидеть, его сразу же протолкнули вперед. Кто-то схватил его за руку и втолкнул в одну из комнат. Конде последовал за Генрихом, ибо в начавшейся свалке они держались плечом к плечу, чтобы успешнее защищаться. Когда они очутились в комнате, Карл собственноручно запер дверь. Это была его опочивальня.

И вот все трое, стоя у двери, стали прислушиваться к шуму снаружи; а оттуда доносился истошный крик, звон клинков, глухой стук падающих тел, хрип умирающих и снова истошный крик. Когда все заколотые поблизости от двери испустили последний вздох, вой и вопли стали удаляться. Одни взывали: – Слава Иисусу! Другие ревели: – Смерть! Смерть! Всем смерть! – Рев уходил все дальше. Крики: – Tue! Tue [11. – Бей! Бей! (франц.)], – то усиливаясь, то ослабевая, перекачивались по залам и переходам, туда, сюда. Тем, кто слушал, чудилось, будто замок Лувр сверху донизу захвачен злыми духами, а не дворянами и их солдатами. То, что здесь вершили люди, казалось каким-то чудовищным

наваждением. Так и тянуло выглянуть за дверь: наверное, на самом деле никакой резни нет. Только ширится свет августовского утра, и единственные звуки — это дыхание спящих.

Однако никто не выглянул за дверь. И у Карла и у его двух пленников стучали зубы, каждый прятал от остальных свое лицо. Один закрыл его руками, другой отвернулся к стене, третий низко опустил голову. — Вам тоже кажется, что это не может быть правдой? — наконец проговорил Карл. С той минуты, как те, за дверь, начали буйствовать точно помешанные, от его недавнего безумия не осталось и следа. — И все-таки это правда, — продолжал он, немного помолчав, и тут вспомнил слова, которые непременно надо было сказать: — Вы сами во всем виноваты. Мы были вынуждены опередить вас, раз вы устроили заговор против меня и всего моего дома. — Так он впервые выдал за свое нашептанное ему мадам Екатериной, но дальше в своих оправданиях не пошел. Конде резко возразил ему: — Тебя-то я давным-давно мог прикончить, если бы только захотел, когда нас было в Лувре восемьдесят дворян-протестантов; и никакого заговора нам не понадобилось бы, чтобы всех вас перерезать.

Генрих же сказал: — А мои заговоры обычно ограничиваются постелью, где я лежу с твоей сестрой. — Он пожал плечами, как будто о его соучастии и речи не могло быть. Он даже усмехнулся: при данных обстоятельствах было бы чрезвычайно полезно — это было бы прямо-таки спасительным выходом, если бы усмехнулся и Карл. Однако король Франции предпочел разъяриться, хотя бы в предвидении тех открытий, которые ему предстояло сделать своему зятю Генриху. Тот ведь еще не знает о смерти адмирала! Поэтому Карл повысил голос и стал уверять, будто Пардальян, наваррский дворянин, который теперь лежит за дверью убитый, проговорился и выдал план заговорщиков. Он якобы воскликнул и очень громко: «За одну руку адмирала будут отсечены сорок тысяч рук!»

Затем Карл взвинтил себя еще сильнее, чтобы его речь как можно больше походила на речь человека невменяемого, и они наконец узнали о кончине адмирала Колиньи. Охваченные ледящей дрожью, Генрих и Конде глядели друг на друга и уже не обращали внимания на Карла, предоставив ему рычать сколько угодно, пока

он окончательно не осип. Карл всячески поносил адмирала, называл его обманщиком и предателем. Колиньи-де желал только гибели королевства и потому заслужил самое страшное и беспощадное возмездие. Произнося эти слова, лившиеся неудержимым потоком, он невольно начинал верить в них, и им постепенно овладевали ненависть и страх. В конце концов в его дрожащих руках блеснул кинжал. Но те двое этого тоже не заметили, перед ними возникали иные видения.

Вот их полководец, он выходит из палатки, кругом стоит его войско, а они уже держат под уздцы своих коней. И сейчас же несутся в бой, навстречу врагу, по пятнадцать часов не слезая с седел; они великолепны, неутомимы, они не чувствуют своего тела. Ветер подхватывает нас, глаза становятся все светлее и зорче, мы видим так далеко, как никогда, ведь теперь перед нами враг. Хорошо мчаться навстречу врагу, когда ты совсем невинен, чист и нетронут, а он погряз в грехах и должен быть наказан! Как символ всего этого, и только этого, предстал перед ними Колиньи в тот час, когда они узнали о его смерти. Генрих вспомнил, что его мать Жанна крепко надеялась на господина адмирала, а теперь вот нет уже на свете ни Жанны, ни Колиньи. И он предоставил полоумному Карлу бесноваться, пока у него хватило сил, а сам опустился на ларь.

Но вот голос Карла становится все более хриплым, а в комнату, как и прежде, врывается истощный вой и крик. Когда Карлу все же пришлось заговорить с подобающей его сану ясностью, он приказал им отречься от своей веры: только так они спасут свою жизнь. Конде тут же крикнул, что об этом и речи не может быть и что вера дороже жизни. Генрих нетерпеливо остановил его и, обратившись к Карлу, успокоительно заметил: — Мы об этом еще потолкуем. — А кузен вздумал во что бы то ни стало сопротивляться, хотя это было уже без пользы. Он распахнул окно, чтобы звуки набата ворвались в комнату, и под звон колокола поклялся, что если бы даже наступило светопреставление, он останется верен истинной религии.

Генрих снова затворил окно; затем направился к Карлу, который с кинжалом в руке стоял перед шкафом, похожим на крепость: перекладины, пушечные ядра из черного дерева, железные скобы. Он подошел к беснующемуся королю и, указывая на

Конде, прошептал Карлу на ухо, спокойно, но твердо: — Безумец — вот этот, со своей религией. Вы же, сир, вовсе не безумны. — Карл замахнулся кинжалом, но Генрих оттолкнул его руку. — А это лучше оставь, августейший брат мой! — Как он нашел нужное слово? Едва Карл услышал его, он выронил кинжал, и тот, упав, откатился в сторону. Обвив руками шею друга, кузена, зятя или брата, бедняга разрыдался: — Я же не хотел этого!

— Охотно готов поверить, — отозвался Генрих. — Но тогда кто же хотел? — ответом послужил только донесшийся откуда-то истощный вой и крик. Карл, продолжая всхлипывать, все же сделал какое-то движение, указывая на стену, словно у нее были уши. Да, ведь и на этот раз мадам Екатерина могла по своему обыкновению просверлить дырочку и подглядывать. Но вероятнее, что она сейчас прислушивается к кровавой свалке, иначе и быть не может, даже если человек — самый зачерствелый убийца. И в самом деле Екатерина, переваливаясь, бродит по своим покоям и еще неувереннее, чем обычно, тычет палкой в пол. Она проверяет крепость дверей, исподтишка разглядывает своих широкоплечих несокрушимых телохранителей, спрашивая себя, долго ли они будут ее защищать. Ведь каким-нибудь отчаявшимся гугенотам, хотя бы и последним, может же взбрести на ум все-таки ворваться к ней и отнять у нее драгоценную старую жизнь, прежде чем их самих прикончат. Но на крупном свинцовом лице королевы ничего не отражается, глаза тусклы. Вот она подошла к одному из шкафов и еще раз проверила его содержимое: порошки и склянки в полном порядке. На худой конец всегда остается хитрость, и даже тех, кто врывается, чтобы тебя прикончить, можно уговорить сначала чего-нибудь выпить...

А Генрих посмеивался, он беззвучно хихикал: ему так же трудно было удержаться от смеха, как его шурина Карлу от рыданий. Когда смешное ужасно, оно тем смешнее. В ушах стоит истощный вой и крик резни, а в воображении встают ее виновники, во всем их безобразии и убожестве. И это великое благодеяние, ибо если нельзя даже посмеяться, то от ненависти задохнешься. В эти часы Генрих научился ненавидеть, и хорошо, что он мог поиздеваться над теми, кого ненавидел. Мрачному Конде он крикнул: — Эй! Представь себе д'Анжу! Как он

кричит: «Tue!» — и при этом лезет под стол! — Мрачность Конде не исчезла, но Карл развеселился; он жадно спросил: — Ты правду говоришь? Мой брат д'Анжу лезет под стол?

Этого Генрих и ждал: он умел играть на чувствах Карла к наследнику престола. Отвлечь его напоминанием о нелюбимом брате полезно: пусть забудет, что здесь находятся его родичи-гугеноты, что они в его власти, а он невменяем. Когда опасность близка, комический элемент особенно полезен: изображая вещи в смехотворном виде, можно хотя бы отдалить ее. Генрих, в эти часы познавший ненависть, оценил и великую пользу лицемерия. Поэтому он воскликнул, прикидываясь прямым и откровенным: — Я отлично знаю, августейший брат мой, что в душе никто из вас не желает дурного! Вам просто захотелось какого-нибудь развлекательного занятия, ну, вроде турнира или игры в колечко. Tue! Tue! — передразнил он убийц и так завыл, что у каждого пропала бы охота к подобному развлечению.

— В самом деле? — спросил Карл, словно сбросив с себя огромную тяжесть. — Ну, тогда я уж одному тебе признаюсь: вовсе я не сумасшедший. Но у меня нет другого выхода. Подумай, ведь моя кормилица — гугенотка, и я с детства знаю ваше учение. А д'Анжу хочет меня убить. — Он заверещал, выкатывая глаза, словно перед новым припадком безумия — настоящего или притворного. — Но если я умру, отомсти за меня, Наварра, за меня и мое королевство!

— Мы ведь действуем с тобой заодно, — настойчиво подчеркнул Генрих. — Если будет нужно, ты сделаешься безумным, а я шутю, ведь я в самом деле шут. Хочешь, покажу фокус? Превосходный фокус? — повторил он с некоторой нерешительностью, ибо втайне не был уверен, что его затея кончится благополучно. Стоявший позади Карла похожий на крепость шкаф — перекладины, пушечные ядра черного дерева, железные скобы — приоткрылся. Только Генрих заметил это и тотчас узнал высунувшиеся оттуда лица, взглядом он приказал им еще потерпеть. А тем временем начал перед носом у Карла производить руками магические пассы, какие обычно выделывают ярмарочные фокусники и шарлатаны. — Ты, конечно, полагаешь, — заговорил он особым, напыщенно хвастливым тоном,

присущим подобным людям, — что тот, кто умер, мертв. Но не мы гугеноты. У нас дело обстоит не так плохо. Успокойся же, августейший брат мой! Вы перебили в Лувре восемьдесят моих дворян, но первые два уже успели ожить.

Он, стал водить руками сверху вниз вдоль шкафа, выворачивая все десять пальцев, и притом на некотором расстоянии от дверок, чтобы не сказаться слишком близко к чуду, которое должно было сейчас произойти. Отступил и Карл, лицо его выражало недоверие и страх.

— Изыдите! — наконец воскликнул Генрих. Шкаф широко распахнулся, и в тот же миг д'Обинье и дю Барта уже валялись в ногах у Карла. Все это произошло настолько быстро, что Карл не успел издать первый вопль вновь овладевшего им бешенства; поэтому он промолчал, хмуро разглядывая воскресших. А они лежали на коленях, туловище одного было наполовину короче туловища другого; оба прижимали к груди ладони, как приличествует бедным изгнанникам, дерзнувшим возвратиться из тех краев, откуда нет возврата. Оба одновременно проговорили глухим голосом: — Простите нас, сир, что мы оставили царство Плутона! Окажите снисхождение и некроманту, который нас вызвал оттуда!

На этот раз Карл решил отменить очередной приступ безумия. Он сел и заявил: — Вас еще тут не хватало! Ну, раз уж так вышло, вставайте, но что же мне с вами делать? Какая мерзость! — На самом деле это был трезвейший миг в его жизни; все, что свершено и что еще должно свершиться, мучило его, отталкивало своей низостью, как это видно и на его портрете: король из угасающего рода, белый шелк, взгляд искоса, говорящий о пресыщении и подозрительности, но одна нога отставлена, как в балете. И вот Карл Девятый слегка повертывает руку ладонью кверху: этим движением он всем дарует свободу.

И они сейчас же ею воспользовались. Дю Барта направился к двери и отпер ее. Д'Обинье кивнул на одно из окон, в которое уже вливался дневной свет: — Наше счастье, что ночью оно стояло открытым и здесь никого не было.

Дю Барта быстро возвращается: он перед тем выглянул за дверь. Она тут же снова отворилась.

Свидание

Дверь отворилась, она широко распахнулась, и вошла королева Наваррская, мадам Маргарита Валуа. Марго.

Ее брат Карл сказал: — А вот и ты, моя толстуха Марго! — Генрих воскликнул:
— Марго! — Первым, непосредственным чувством обоим была радость. Вот она, Марго, все же не погибла, хотя открылось столько засад, столько преступных замыслов, и в ней все та же утонченная красота и тот блеск, к которому до этой ночи как будто стремилась жизнь. Невзирая на радость, Карл и Генрих невольно содрогнулись: «А я не был с ней в минуту опасности! Но что это? Она выглядит так, словно ничего не произошло».

А был у нее такой вид потому, что она успела смыть немало крови и слез не только со своего лица, но и с тела и уж потом появилась здесь в серебристо-сизом и розовом наряде, подобном утренней заре, и в жемчугах, мерцающих на ее нежной атласной коже. И стоило это немалого труда! Ибо на ней только что лежал, вцепившись в нее, охваченный смертным ужасом умирающий человек. Другие, уже будучи на краю гибели, бросались к Марго с мольбой, видя в молодой королеве последнюю надежду, и от отчаяния рвали на ней в клочья рубашку, и даже ее прекрасных рук не пощадили, впиваясь в них ногтями, которые от страха стали острыми, как у зверей. Какой-то обезумевший придворный вознамерился убить ее самое, лишь потому, что яростно ненавидел ее возлюбленного повелителя. — Наварра дал мне пощечину, за то я убью самое дорогое для него существо, — хрипел капитан де Нансей где-то близко, совсем рядом с ней; он было схватил ее, вытянув когтистую лапу и решив, что уж теперь жертва не уйдет. У Марго все еще стояли в ушах его свирепые слова, она ощущала его жадное дыхание и просто понять не могла, как ей удалось спастись от него в ее комнате, набитой людьми. Ибо даже позади кровати лежали они, катались по полу, вопя от боли, или вытягивались, онемев и оледенев навек. Все это несла Марго в своей душе, а казалась при этом безмятежной, как молодое утро; но того требовали приличия и присущее ей самоутверждение: «Мой повелитель должен меня любить!»

Она попыталась взглянуть Генриху прямо в глаза, но это почему-то оказалось необыкновенно трудным. И не успели их взгляды встретиться, как она невольно отвела свой. Впрочем, уклонился и он и тоже посмотрел мимо нее. Ради бога, как же так? Не может этого быть! – Мой Генрих! Моя Марго! – сказали оба одновременно и двинулись друг к другу. – Когда же мы расстались? Разве так уж давно?

– Я, – сказала Марго, – лежала в постели и решила заснуть, а ты поднялся.

– Я поднялся и вышел с моими сорока дворянами, которые окружали наше ложе. Я собирался сыграть с королем Карлом партию в мяч.

– Я же, мой возлюбленный повелитель, решила заснуть. А вот вышло так, что меня всю залили кровью и слезами – и сорочку и лицо. Даже предсмертный пот умирающих падал на меня. Все это сделали, увы, наши люди. Они всех твоих перебили, а так как я больше всех твоя, то лучше бы и мне умереть. Но все-таки я явилась к тебе, хотя мне пришлось переступить через мертвых, и вот как мы свиделись!

– Вот как мы свиделись, – повторил он с глубокой печалью и сдержал себя, чтобы тут же не пошутить. А она почти надеялась на это. Такого мальчишку ужасное особенно смешит. «Впрочем, нет, – вспомнила она, – здесь ведь я сама воплощаю в себе весь ужас...» – Я твоя бедная королева, – не сказала, адохнула ему в лицо Марго. Он кивнул и прошептал:

– Да, ты моя бедная королева, ты дочь женщины, которая убила мою мать.

– И ты слишком сильно любил меня, слишком сильно любил.

– А теперь эта женщина убила всех моих людей.

– И ты уже совсем не любишь меня, совсем не любишь.

Тут он готов был раскрыть объятия, захваченный одним ее голосом, так как он не смотрел на нее, его глаза были опущены. В душе он уже раскрыл их; он только ждал одного ее слова, легчайшего движения, но ничего не последовало. У нее было такое чувство, что нет, она не может, не должна, или что этого недостаточно. «Неужели я потеряла его?» – Марго отошла, скользнула рукой по лбу и затем проговорила вслух, для всех:

— Я пришла к моему брату-королю. Сир, я прошу вас подарить жизнь
нескольким
несчастливым! — И она опустилась перед Карлом Девятым на колени не без
соблюдения
должного церемониала: горячая мольба просительницы, но облеченная
торжественной
чопорностью, следовать которой государи должны уметь всегда. — Сир!
Даруйте мне
жизнь господина Лерана, он вбежал ко мне в комнату, весь исколотый
кинжалом и
окровавленный, когда я еще лежала в постели, и из страха перед убийцами
охватил
меня руками так крепко, что мы упали за кровать. Даруйте мне также жизнь
вашего
первого дворянина де Миоссена, человека в высокой степени достойного, и
господина д'Арманьяка, первого камердинера короля Наваррского!

Она сказала это, следуя до конца всем правилам этикета, хотя Карл и
перебил
ее. Разве он не обрадовался тому, что она уцелела? Да, но тут же им
овладело
безграничное отвращение ко всему происходящему. И во время этого свидания
между
Генрихом и Марго он ничего не замечал, ничего, кроме отвращения, не
чувствовал.
Они жили в своем мире, Карл в своем. И вдруг он понял, что кому-то от
него
что-то нужно: его сестре, она следит за ним, она шпионит, а потом все
донесет
матери — какие слова он сказал да какое у него было лицо! Поэтому он
делает
другое лицо, он заставляет себя побагроветь — это он может; жилы на лбу у
него
вздуваются, он изо всех сил свирепеет, вращает глазами. Затем начинается
подергивание конечностей, головы, скрежет зубов, и, когда все
подготовлено,
он рывкает.

— Больше ни слова, пока жив хоть один еретик! Отрекайтесь! — рычит Карл,
обращаясь к присутствующим, ибо в его комнате находятся четыре оставшихся
в
живых гугенота, именно ему они обязаны тем, что они еще на свете, и его
мать,
без сомнения, об этом узнает.

Генрих спешит удержать своего кузена Конде, но тщетно: тот считает делом
чести тоже орать во весь голос. В своей вере он-де никому не обязан
отчетом,
кроме бога, и от истины не отречется, чем бы ему ни угрожали! Тогда Карл,
уже
окончательно рассвирепев, бросается к нему. Дю Барта и д'Обинье, не
вставая с
колен, хватают его за ноги, а он рычит: — Смутьян! Бунтовщик и отродье

бунтовщика! Если ты через три дня не заговоришь иначе, я прикажу тебя удавить!

— Итак, Карл все же дает ему срок в три дня — при столь неудержимой ярости это

был еще очень приличный срок. Тогда Наварра, который нес перед всеми протестантами гораздо большую ответственность, чем Конде, поступил так же, как

в первый раз: с видом смиренного ягненка обещал он переменить свою веру, обещал, невзирая на резню. Но он вовсе не собирался сдержать свое слово, хотя

оно и было дано, а Карл отлично знал, что он его не сдержит. Они незаметно

подмигнули друг другу.

— Я желаю насладиться лицемерием моих жертв! — вопил что есть силы, не щадя

голосовых связок, безумный повелитель кровавой ночи. И если кто находился поблизости — часовые, дворяне, привлеченные любопытством придворные и челядь, —

все могли подтвердить, что да, Карл Девятый от содеянного не отрекается и теперь с удовлетворением разглядывает каждую жертву своей кровожадности.

А

вместе с тем, выходя из комнаты, он как бы нечаянно коснулся рукою руки своего

зятя, короля Наваррского, и Генрих услышал шепот Карла:

— Мерзость! Мерзость! Будем стоять друг за друга, брат.

А затем сделался окончательно таким, каким его заставляли быть, — жестоким

Карлом Варфоломеевской ночи: он упивался видом убитых — тех, кто лежал у самой

его двери, и всех других, попадавших к нему по пути. Он отбрасывал ногой их

бесчувственные тела, наступал на головы людей, которые уже не могли ни сопротивляться, ни ненавидеть. Он непрестанно бормотал проклятия и угрозы, при

том его мало заботило, что их никто не слышит, кроме нескольких его безмолвных

спутников. Всюду было пусто, ни души, ведь убивать — работа утомительная, после

нее убийцы либо спят, либо пьянствуют. И мертвецы были одни.

Казалось, их здесь неисчислимо множество: живые не производят такого впечатления, ибо любое скопище живых вновь рассеивается. Мертвые же не спешат,

им принадлежит вся земля и все, что на ней вырастает, — все формы, все судьбы,

некое будущее, настолько безмерное, что его называют вечностью. Вдруг Агриппа

д'Обинье заговорил:

Смерть ближе с каждым днем. Но только за могилой

Нам истинная жизнь дается божьей силой,

Жизнь бесконечная без страха и забот.
Пути знакомому кто предпочтет скитанье
Морями бурными в густеющем тумане?
К чему блуждания, когда нас гавань ждет?

Его голос звучит глухо, словно в царстве мертвых, чья жизнь тянется через все времена, а потому замедлена и приглушена. И гулко отдаются только проклятия безумного. Генрих знал эти стихи: Агриппа их прочел впервые в ночь его свадьбы, перед тем как образовалось длинейшее шествие и Карл Девятый во главе всех своих придворных проводил Генриха к супружескому ложу. Теперь по коридорам двигалось иное шествие, хотя оно направлялось к той же комнате. Генрих не оглядывался на Марго.

Она шла среди других мужчин, которым до нее не было никакого дела, и прибрела последней. Никогда еще за всю свою жизнь принцессы мадам Маргарита не ощущала так глубоко свое бессилие, как сейчас, когда она пробиралась вслед за сумасшедшим и несколькими побежденными между повсюду валявшимися трупами. Что за необъяснимые лица были у некоторых: на них отразилось изумление, почти стыд за какое-то великое счастье. Зато у других мертвецов не осталось и следа одухотворенности, словно они раз и навсегда отправились в ад. Все это Маргарита замечала, и, когда она вдруг увидела, что таким же стал и один из ее прежних возлюбленных, ей сделалось дурно. Дю Барта подхватил ее, и, опираясь на его руку, она с трудом потащилась дальше.

Перед камином стояли, обнявшись, два трупа: они закололи друг друга и так и не разомкнули объятий. Некоторые протестанты, видимо, оказались небезоружными и решили продать свою жизнь как можно дороже. Какая-то убитая женщина лежала на груди у мужчины, которого, должно быть, старалась спасти. Но не смогла. «И я ничего не смогла, — думает Марго, тяжело повиснув на своем спутнике и едва волоча ноги. — Не смогла. Ничего я не смогла». Через перила перевалился толстый повар, белый колпак сполз у него с головы и скатился по лестнице. В том же положении Генрих застал его совсем недавно, или это был другой повар? Тогда он был пьян, теперь он мертв. Впрочем, так и выходит: две оргии — брачная ночь и

сегодняшняя. Вторая произошла через двадцать четыре часа, помноженные на шесть, да и была она покрепче первой: от нее остались неподвижные тела и призраки. Внешне следы были схожи, но смысл их был совсем иной.

Генрих поскользнулся в луже крови, очнулся от своих дум, увидел померкшее лицо молодого Ларошфуко, последнего вестника его матери, и уже не мог сдержаться, он разрыдался, закрыв лицо руками, и рыдал, точно ребенок: — Мама!

— Его друзья сделали вид, что не слышат. Карл продолжал разыгрывать изверга, а может быть, действительно стал им во время этого странствования по безднам преисподней. Марго зашептала, ее слова предназначались только для Генриха:

— Его я не могла спасти. Я уже втащила его в нашу дверь, но они вырвали его у меня и убили. — Она ждала ответа. Он молчал. Генрих прошел слишком трудный и долгий путь, пока достиг этой двери, прошел без Марго, и каковы бы ни были те жизненные пути, которые им еще предстоят, прежним он уже не будет с ней никогда. У этой двери, отмеченной трупом молодого Ларошфуко, стоял совсем другой Генрих, чем тот, который выбежал из нее с легким сердцем.

Этот знал. Этот слушал целую ночь истошный крик и вой, разносившиеся по замку Лувр. Этот глядел в лицо своим мертвым друзьям, он распрощался с ними и с дружеским общением людей между собой, с вольной, отважной жизнью. Дружный отряд всадников, кони — голова к голове, смиренный псалом, а с полей прибегают красивые девушки. Как радостно и быстро летим мы вперед под летящими вперед облаками! Но теперь он войдет в эту комнату поступью побежденного, поступью

пленника. Будет покорным, будет совсем иным, скрыв под обманчивой личиной прежнего Генриха, который всегда смеялся, неутомимо любил, не умел ненавидеть,

не знал подозрений. — Кого я вижу, вот радость, он цел и невредим! Друг де

Нансей, какое счастье, что хоть с вами-то ничего не случилось! Многие защищались, знаете ли, когда было уже поздно. Да ничто не помогло, и поделом.

Кто же так глупо лезет в ловушку? Только гугеноты на это и способны. Я-то нет,

я, де Нансей, уже не раз становился католиком, почаще, чем вы, заделаюсь им и

теперь. Помните, как мои люди старались оттащить меня от моста у ворот? А я

рвался к моей королеве и к ее, достойной восхищения, мамаше, мне здесь и место.

Вас, друг де Нансей, мне пришлось ударить, чтобы вы меня впустили, зато сейчас

я крепко обниму вас.

Он так и сделал. И капитан не успел опомниться, как получил от Генриха доказательство его пылкой любви. Никакие маневры не помогли, пришлось стерпеть поцелуи в обе щеки, хотя Нансей при этом громко заскрежетал зубами. А потом, не успел он опомниться, как ловкий проказник был уже далеко.

Генрих находился в комнате, которую отперла Маргарита. Дверь, как она ни была широка, заслонял Карл. Он никому не давал войти, хотя неумолчно вопил, что вот еще остались протестанты, надо поскорее свести с ними счеты. Де Миоссен, первый дворянин, все еще лежал ничком перед извергом, колени у него одеревенели, но он вовсе не был похож на человека, которому предстоит умереть, а скорее на старого чиновника, которому раньше времени хотят дать отставку. Д'Арманьяк, камердинер-дворянин, не соизволил повергнуться к стопам короля. Он закинул голову, выставил вперед ногу и прижал руку к груди. На постели лежала грудка окровавленного белья, из нее выглядывали молодые влажные глаза. — Кто это? — спросил Карл и позабыл взреветь. —

Камердинер ответил: — Господин Габриель де Леви, виконт де Леран. Я позволил себе перевязать его. Правда, он уже залил кровью всю постель. Остальным, сир, не помогли бы никакие перевязки. — Движением, в котором выражалась и боль и все же презрение к смерти, он указал на несколько трупов.

Карл уставился на них, потом, найдя ту мысль, которая ему была нужна, завопил: — Эти собаки-еретики осмелились осквернить комнату моей сестры, принцессы Валуа, довели дело до того, что их здесь прикончили! Вон отсюда, тащите их на живодерню! Нансей, тащите их вон! — И капитану ничего не оставалось, как вместе со своими людьми приняться за уборку трупов. А тем временем Карл всем своим телом прикрывал уцелевших. Как только солдаты скрылись за поворотом, он, сопя и устрашающе выкатывая глаза, накиннулся на Миоссена и д'Арманьяка.

— Пошли отсюда к черту! — Этого ему не пришлось повторять. Дю Барта и д'Обинье также воспользовались случаем и исчезли. Карл сам запер за всеми дверь.

Он сказал: — Я надеюсь на гасконцев: они проводят беднягу де Миоссена, и по

пути с ним ничего не случится. Смотри, Марго, если ты вздумаешь докладывать матери, что я шажу гугенотов, так имей в виду: я знаю про тебя кое-что похуже. Вон один лежит на твоей собственной постели. — И, обращаясь скорее к самому себе, добавил: — Около него еще есть одно место. Почему бы рядом с ним не лечь и мне? Ведь и меня ждет та же участь. — И он улегся на окровавленное одеяло рядом с грудой белья. Вскоре лицо его и дыхание стали, как у спящего. Однако Генрих и Марго видели, что из-под его закрытых век бегут слезы. Из глаз молодого Лерана тоже текли слезы, хотя он их уже закрыл. Так покоились друг подле друга две жертвы этой ночи.

Конец

Марго приблизилась к окну и стала смотреть на улицу. Но ничто из совершавшегося там не доходило до ее сознания: она была поглощена одним — она ждала Генриха. «Вот он подойдет сзади и, шепнет мне на ухо, что это только сон. Потом начнет все и всех вышучивать, а на самом деле будет думать только о нашей любви. Nos belles amours», — подумала она его словами. Своими словами она подумала: «Наше ложе залито кровью. Мы шли сюда, пробираясь среди трупов его убитых друзей. Моя мать сделала меня его врагом. Он ненавидит меня. А его она превратила в пленника. Я больше не могу уважать своего мужа. Значит, конец».

Но пока она раздумывала о конце их любви, неутомимая надежда начинала все сызнова: «Стоя у меня за спиной, он шепнет мне, что это только сон... Нет! — решила она. — Нет, не скажет он этого! Не такой человек! Да еще при его нелепой мужской гордости! Наверняка сидит сейчас позади меня, отвернулся и ждет, когда я сама его ненароком поцелую. Я ведь учнее его, многоопытнее, и я женщина! Мне предоставляет он дальнейшее, и неужели у меня не хватит умения доказать этому мальчику, что не всякая правда — правда?»

Однако не успела она обернуться, как вдруг услышала оглушительный трезвон. Звонили все парижские колокола: только одного, который перед тем ворчал низко и

глухо, уже не было слышно: вероятно, он начал первым и теперь, довольный, что дело сделано, умолк. Но, несмотря на оглушительный гул набата, сквозь него все же прорывался истошный крик и вой. — Слава Иисусу! Смерть всем! Tue! Tue! —
—
разносился по городу многоголосый рев. Один взгляд, брошенный на площадь и улицы, — и Марго отшатнулась: ученая и многоопытная, а об этом позабыла. Что же нам теперь делать, дитя мое, несчастное дитя мое?

Она обернулась — Генриха в комнате не было. Двое лежавших на кровати мужчин, стонали, обоим снилось, что их казнят под набатный звон всех колоколов Парижа и под истошный вой толпы. И вдруг все это как будто перенеслось сюда, в комнату: нестерпимые звуки уже сверлят и буравят голову, вокруг тебя точно бушует буря, ты не можешь устоять на ногах, тебя сотрясает ужас. Это произошло потому, что в соседней комнате распахнули окно. Туда удалился Генрих. Только бы не видеть и не слышать всего этого вместе с Марго, уж лучше одному. Вот он и толкнул дверь в ту комнату, которая была сначала приготовлена для его сестрички и где потом хотели спрятать адмирала от убийц. Марго бессильно поникла головой: «Переступить этот порог? Увы, не переступишь! Пойти к Генриху? Уже нельзя».

А он смотрел и слушал. Площадь внизу кишела людьми, они валили из улочек и переулков, и все были страшно заняты — ни одного праздного зрителя. Все были заняты только одним: убивали или умирали; и они трудились с великим усердием, уподобляя свои движения размаху колоколов и совершая их в такт истошным воплям. Работали на совесть. И все же — какое разнообразие, сколько изобретательности. Вон наемный убийца тащит старика, аккуратно обвязанного веревкой, чтобы бросить его в реку. Какой-то горожанин прикончил другого с особым тщанием и обстоятельностью, затем взвалил его себе на спину и отнес к куче трупов, уже голых. Раздевал убитых народ: это — дело простонародья, а не почтенных горожан. Каждому свое. Почтенные горожане поспешно уходили, унося с собой тяжелые мешки, набитые деньгами: они знают, где у соседей-еретиков что припрятано. Иные тащат

целые сундуки, для чего опять-таки пользуются плечами народа. Вон пес лижет рану своей заколотой кинжалом госпожи. Растроганный убийца невольно гладит его, прежде чем перейти к новой жертве. Ведь и у этих людей есть сердце. Убивают они за всю свою жизнь, наверное, в течение одного только дня, а собак они ласкают каждый день.

В конце переулка виднелся холм, на нем вертелись крылья ветряной мельницы — и сейчас и всегда. По мосту, через реку, можно было бы бежать отсюда, если бы только перебраться. Целая толпа теснившихся на мосту беглецов погибла под ударами охраны. Ибо охрана, которой командовали всадники, оказалась на месте, ей полагалось поддерживать порядок. Горожане — пешие и конные — свободно передвигались в проходах, которые каждый убивающий должен был оставлять между собой для тех, кто убивал рядом с ним. Свободное место в таком деле необходимо так же, как оно необходимо трудолюбивым пчелам в их работе. Если бы не вся эта кровь и еще кое-что, а в особенности адский шум, с некоторого расстояния могло показаться, что эти добрые люди просто рвут цветы на лугу. Во всяком случае, над ними синело безмятежное небо, полное солнечного блеска.

«Аккуратно работают, — подумал Генрих. — Но если уж так захотелось убивать, зачем делать столь тщательное различие между теми, с белой повязкой, и другими, у которых ее нет? Чтобы иметь право на убийство, разве нужно непременно быть белым? Но ведь они убивают не для себя, а для других, по чужому приказу, ради чьих-то целей, а потому их и не мучат угрызения совести. При всем их неистовстве (очень похоже на то, что и неистовы они по приказу) они работают честно, на совесть. Вон строят виселицу: ее кончат, когда все уже будут перебиты и останется повесить только трупы. Но громилам все равно, они же действуют не для себя: это я запомню. Как легко толкнуть их на дурное и гибельное! И будет гораздо труднее добиться от них чего-либо доброго. При соответствующих обстоятельствах и почтенные горожане и простонародье — все ведут себя как последняя мразь», — подумал Генрих; об том же были последние слова умирающего Колиньи.

Местами хозяйничало явное безумие. Оно важно разгуливало по площади, без всякой пользы для общего дела, и только его голос назойливо верещал: — Пускайте

кровь! Главное – пускайте побольше крови! Врачи говорят, что в августе кровопускание не менее полезно, чем в мае! – Так покрикивал, подгоняя всех этих ребят, некий господин де Таван; сам он ни до чего не касался. Зато он сидел в совете с мадам Екатериной, когда решался вопрос о резне, и был в этом совете единственным французом.

А вот из проулка кого-то выводит белогвардеец-одиночка и добросовестнейшим образом ревет, обращаясь к самому себе: – Tue! Tue! – Генрих хочет закричать, но голос не повинуется ему. Он хочет сбросить оцепенение, схватить аркебузу, выстрелить. Увы, напрасно: на свете есть только палачи и жертвы. Старый толстяк, мой учитель Бовуа, не дал ни тащить себя, ни толкать: он спокойно идет рядом с ревушим наемником. Бовуа – философ и считает, что жизнь имеет цену, лишь пока она разумна. «Господин де Бовуа, что вы делаете? Вы опускаетесь на колени, и ваша широкая одежда ниспадает складками до земли, вы полны достоинства и самообладания. Вы молитвенно складываете руки и терпеливо ждете, пока палач наточит свой меч. Господин де Бовуа, мой добрый учитель!»

Генрих бросается на пол, он закрывает лицо рукавом и не видит, как старому толстяку сносят голову.

Не увидел он также и того, как из соседнего дома выбежала женщина с посудиною в руках: она поставила ее под забившую струей кровь и стала жадно пить.

Когда Генрих опомнился, дверь в супружескую опочивальню была заперта. Марго заперла ее.

Moralité

Trop tard, vous n'avez plus rien. Les avertissements venant de toutes parts n'y font plus rien. Les confidences du roi votre beau-frère restent sans choix et les inquiétudes de votre bien-aimé n'arrivent pas à vous alarmer. Vous vous abandonnez à votre amour tandis que les assassins eux-mêmes ne voient qu'en frissonnant de peur, autant que de

haine, approcher la nuit sanglante. Enfin vous la rencontrez, cette nuit-1à;, comme vous auriez fait une belle inconnue: et pourtant déjà M. l'Amiral avait succombé;, presque sous vos yeux. N'est-ce pas que vous saviez tout, et depuis longtemps, mais que vous n'aviez jamais voulu écouter votre conscience? Votre aveuglement ressemblait en quelque sorte à cette nouvelle démence sujette a caution de Charles IX. Il l'a choisie comme refuge. De votre côté vous vous étiez refusé a l'évidence pour établir votre alibi d'avance. A quoi bon, puisque alors vous deviez tomber de haut et qu'il vous faudra expier d'autant plus durement d'avoir voulu être heureux sans regarder en arrière.

Поучение

Поздно, злые чары подействовали. Предостережения, идущие отовсюду, уже не помогут вам. Признания вашего шурина-короля и тревоги вашей возлюбленной не трогают вас. Вы предаетесь любви, в то время как сами убийцы дрожат не только от ненависти, но и от страха, видя приближение кровавой ночи. Вы же встречаете эту ночь, как будто она прекрасная незнакомка. Однако уже погиб г-н адмирал, почти у вас на глазах. Не правда ли, вы все это знали наперед, знали давно, но вы так и не пожелали внять голосу своей совести? Ваше ослепление несколько походит на тот неизвестный доселе вид безумия, который овладел Карлом IX. Но Карл избрал его как прикрытие. Вы же со своей стороны не захотели признать очевидность, желая заранее обеспечить себе алиби[12. - Доказательство невиновности обвиняемого, основывающееся на том, что в момент совершения преступления он находился не там, где оно было совершено, а в другом месте. Здесь в переносном смысле.]. Какой в этом прок? Ведь через то вы обрели себя на падение с высоты и впредь будете принуждены тем горше искупать свое желание быть счастливым, не оглядываясь.

V. Школа несчастья

Я не знал, что такое ад

Мысль, с которой он повалился на пол, первой пришла к нему, когда он очнулся. — Мой добрый учитель, — начал Генрих, словно тот еще был жив и мог ему помочь. И услышал ответ: — Я живу очень замкнуто, люди дают мне всякие мерзкие прозвища и пишут их на дверях.

Эти слова, действительно сказанные когда-то, прозвучали у него в душе так отчетливо, что он невольно обернулся. Нет, Генрих один, супружеская опочивальня замкнута, кругом притаилась тишина. Колокола замолкли, истошный крик и вой внизу на площади с восходом солнца куда-то отступил, и усердные труды людей кончились. Ничто не шевелилось, кроме мертвецов на достроенной виселице, они тихонько покачивались. Совершенно недвижима была высокая груда нагих трупов. Только псы бродили вокруг и лизали раны. А живые скрылись, именно те, кто еще так недавно с особым удовлетворением и упорством показывали, на что они способны. Даже окна и двери своих домов они прикрыли ставнями.

Вторая мысль, которая пришла в голову очнувшемуся Генриху, была: «Моей бедной матери уже нет на свете, а ведь и она меня предупредила». Он отошел в самый дальний угол комнаты и услышал ее речь так же отчетливо, как перед тем речь своего учителя. И мать говорила: развратный дом, злая королева. И голос матери и самый тон ее звучали так, словно она обращалась к ребенку, еще совсем наивному ребенку, задолго до всех этих событий. И особенно душераздирающе действовал на него именно этот мягкий, давно умолкший звук, потому что все, чего она боялась, сбылось, и к тому же более ужасно и жестоко, чем могла себе когда-либо представить при жизни бедная Жанна. «Ты умерла от яда, дорогая матушка. Знаешь ли ты это? Потом был убит господин адмирал. Осведомлена ли ты об этом? Убит и Ларошфуко, твой последний вестник, которого ты послала мне. Мертвы многие из тех, что служили тебе, и наши дворяне лежат на земле бездыханные. Мы попались в западню, хотя ты меня и предостерегала, матушка. Но я не хотел слушать ни тебя, ни умного старика Бовуа, ни...» — Господи боже, скольких еще!.. — проговорил он вслух. Ибо все предостережения, которыми он пренебрег, вдруг сразу нахлынули на него в таком множестве, так стремительно, что мысли его смешались и он схватился за голову. «Марго? Да, и Марго: она

предостерегала меня, послав анатомический рисунок! Бедняжка фрейлина
тоже:
мешковиной был прикрыт ее трупик! Д'Эльбеф: тогда, у ворот, когда пытался
вытащить меня из свалки, и я мог еще бежать! Сам Карл Девятый: «Наварра,
отомсти за меня!». Морней: «Колиньи остается, ибо его ждет могила, а тебя
ждет
брачная постель». Моревер: он так жаждал резни! Д'Анжу, окруженный
черноватыми
духами! Гиз: его занесенный кинжал, его вдруг открывшееся подлинное лицо!
Мадам
Екатерина: она в себе несла, вокруг нее жила – издавна и повсюду –
медленно
созревшая тайна этой ночи! А я вообразил, что могу быть счастлив,
счастлив
под ее надзором. Но я еще не знал, что такое ад!»

Таков был надвигавшийся на него приговор, и он опять свалил Генриха с
ног.
«Я не знал, что такое ад». Не издав ни звука, он упал поперек кровати,
прижался
к ней головой и грудью и покорился приговору, вынесенному его умом, его
сердцем. «Я праздновал свадьбу, а тем временем все стонали от затаенной
жажды
крови. Поделившись на кучки, они жались к стенам, чтобы сразу же не
вцепиться
друг другу в плотку. А я дал отвести себя к брачному ложу. Первой жертвой
была
моя мать королева. Мы все были обречены последовать за нею, это
предвещали и
кровавые знамения и чудеса. А я дал отвести себя к брачному ложу и
праздновал
свадьбу вплоть до роковой ночи. Ибо я еще не знал, что такое ад. Все
остальные
постоянно помнят о нем, только не я, – в этом мой главный промах. В этом
моя
великая вина. Я поступал так, как будто людей можно сдержать требованиями
благопристойности, насмешкой, легковесным благоволением. Но таков только
я
один – и я не знал, что такое ад».

Пока в голове Генриха проносились эти мысли, его тело подергивалось,
словно
он хотел вскочить и не решался. В первый раз он дернулся, когда ему
пришли на
память слова и лицо сестры: «Милый братец, наша мать знала все, заверяю
вас. И
она завещала вам, перед тем как умереть от яда: или вовсе не приезжайте
сюда,
или только когда будете сильнейшим. Прочь из Парижа, брат! Разослать
верховых
по всей стране! Во главе вашего войска вы будете наступать, чтобы
жениться».
Он слышал внутри себя трогательный голосок Катрин, испуганно, на высоких
нотах

договаривавшей слова. Это был, в сущности, его собственный голос, и это предостережение по своей силе не могло сравниться ни с каким другим. Те затрагивали Генриха только извне, и лишь оно подтверждалось его внутренним знанием.

И тогда из глубины души поднялось и потрясло его раскаяние – такое жгучее, что он впился зубами и ногтями в постель. «Я не знал, что такое ад! Где же я был? Поглощен моей страстью к Марго? И это нет. Иначе я бы ее похитил и увез отсюда. Но этот двор мне и не хотелось покидать из-за его дерзости, из-за его опасностей, козней, из-за моего любопытства к опасностям и еще потому, что я играл всем этим, как дитя, а должен был трезво взглянуть на весь этот ад!» И снова его душа содрогнулась, так что затряслась даже кровать.

Да, его постигла чудовищная неудача, он проклял свою молодость. «И я еще вздумал было поучать господина адмирала! Корил его, зачем он ведет ненужную войну! Но у Колиньи была та вера, которая делает человека свободным – и от гнета Испании и от губительных страстей. Он-то знал, что такое ад, и боролся с ним. А я, я кинулся в него!» Непереносимо! Генрих был сокрушен. Его мысли сменились каким-то хмелем отчаяния – у юношей он сродни восторгу. Так, некогда в Ла-Рошели, где дул ветер с моря, его сердце рвалось навстречу новому миру. То же испытывает он и сейчас. Но теперь – это уже не широкий и вольный мир, похожий на царство божие. Он полон стыда и страдания. Из него вырываются языки серного пламени, вот они, рядом, сейчас они охватят меня. Все еще хмельной от отчаяния, Генрих вскакивает и начинает биться головой об стену. Раз, еще раз, с разбегу, лбом, еще, еще! Он уже ни о чем не думает, кроме этих ударов, и сам не в силах остановиться. Но его удерживают.

Faciuntque dolorem[13. – Боль причиняют (лат.)]

Две руки насильно усаживают его.

– Спокойствие, сир! Терпение, благоразумие, невозмутимость души – таковы христианские добродетели, а также предписания древних философов. Кто забывает о них, бесится в ярости на самого себя. За оным занятием я вас и застал, к

счастью, вовремя, мой милый молодой повелитель. Хотя, признаться, я этого от вас не ждал. Нет, от вас я ждал скорее, что вы отнесетесь к Варфоломеевской ночи слишком снисходительно, — как бы это сказать? — с презрительной усмешкой. Когда я в первый раз заглянул сюда, вы лежали на голом полу, но крепко спали, и ваше дыхание было так спокойно, что я сказал себе: «Не будите его, господин д'Арманьяк! Ведь он ваш король, а эта ночь была тяжелая ночь. Когда он проснется, окажется, что со всем этим он уже справился, и, вы же знаете его, он еще сострит».

Д'Арманьяк произнес эту длинную речь, смелую и приподнятую, искусно меняя интонации, и дал отчаявшемуся восемнадцатилетнему юноше достаточно времени, чтобы опомниться или стать хоть немного похожим на прежнего Генриха. — И он сострит, — закончил слуга-дворянин; а его государь тут же подхватит: — Скажи, двор все в столь же превосходном настроении, как и вчера ночью? Тогда, чтобы завершить праздник, мне нужны два пастора и заупокойная служба. Из любви ко мне даже мадам Екатерина примется подтягивать... — Однако смешок застрял у него в горле.

— Он еще не совсем вошел в колею, — задумчиво проговорил д'Арманьяк. — Но для начала недурно. Когда вы опять появитесь при дворе, в вас не должно чувствоваться ни тени озлобленности. Будьте веселы! Будьте непринужденны! — Однако он и сам понимал, что требует сразу слишком многого. Не прибавив ни слова, д'Арманьяк приложил мокрый платок своему государю ко лбу, на котором от ударов об стену вскочили шишки. Затем по обыкновению принес бак для купания. — Когда я ходил за водой, — сказал он, наполняя его, — то не встретил ни души. Только одну дверь осторожно прикрыли. Пока вы спали, я побывал даже на улице, меня погнал туда голод; в кухнях-то ведь хоть шаром покати, там за эту ночь пролито больше человеческой крови, чем куриной. И те, кто должны были резать птицу, сами зарезаны. На улицах было безлюдно, только вдали я увидел двух горожан с белыми повязками, их сразу замечаешь, уж глаз наметан. Я стал было поглядывать, куда бы спрятаться, но они повернули и скрылись из виду. Если мне

зрение не изменило, то они попросту стали удирать от меня, только пятки засверкали. Объясните мне, сир, что сие значит?

Генрих глубоко задумался. — Едва ли, — заявил он наконец, — они боятся нас, ведь они перебили почти всех.

— А в совесть вы не верите? — спросил д'Арманьяк; он воздел руки и застыл в этой позе. Генрих уставился на него, точно перед ним была статуя святого.

— Твои двое белых, наверно, приняли тебя за кого-нибудь другого, — решил он. И сел в свою ванну.

— Уж темнеет, — заметил он. — Как странно, точно сегодня совсем не было дня.

— Это был день теней, — поправил его д'Арманьяк. — Он прошел неслышно и бессильно после такой потери крови. До самого вечера все сидели по домам, ничего не ели, говорили только шепотом. И, может быть, лишь в одном выказали себя еще живыми людьми: из трехсот фрейлин королевы-матери ни одна не провела ночь в одиночестве.

— Д'Арманьяк, — приказал Генрих, — дай мне поесть.

— Понимаю, сир. Вы говорите это не из одной только телесной потребности: глубокий опыт вашей души подсказывает вам желание подкрепиться пищей. На сытый желудок у вас будет среди всех этих голодающих вполне достойный вид, и сравнительно с большинством вы окажетесь в более выгодном положении. Прощу! — И первый камердинер развернул во всю ширину халат; лишь когда он вытер короля досуха, тот заметил стол, уставленный блюдами с мясом и хлебом.

Генрих так и набросился на пищу. Он резал и рвал, он жадно глотал, запивая вином, пока ничего не осталось, а у его слуги из-под опущенных век выкатились две слезы. Глядя на своего государя, д'Арманьяк размышлял о том, что и едим-то мы в угоду смерти, под ее всегда занесенной рукой, которая сегодня, может быть, нас еще не схватит. Так едем мы по стране, так мы едим, так вступаем в залы замка Лувр. Притом, мы слуги и все же дворяне, один — даже король, он, как видит сейчас д'Арманьяк, и ест по-королевски. Вдохновившись столь торжественными мыслями, д'Арманьяк весело запел:

Ты, тихая да смиренная, как старенькая мышь,

Екатерина Медичи, из всех злодейств глядишь
И у замочной скважинки уютненько сидишь.

— А что мадам Екатерина там делает? — невольно спросил Генрих.

Когда выяснилось, что есть больше нечего, ему стало невтерпех, он должен был спросить насчет Марго: «Скажи, королева, моя супруга, уже покинула свои покои?» И первому камердинеру надлежало бы ответить на это: «Королева Наваррская действительно осведомлялась о вашем здравии». Д'Арманьяк должен был бы даже при этом добавить: «Мадам Маргарита просит, чтобы ее возлюбленный повелитель как можно скорее посетит ее», — хотя д'Арманьяк едва ли стал бы выражаться столь высоким слогом. Да и Марго не поручила бы ему передавать это; а Генриху, со своей стороны, не следовало принимать такого приглашения. Для них обоих эти времена прошли. Генрих вздохнул. Д'Арманьяк понял, почему: первый дворянин не годится для деликатных поручений, благодаря своей сметливости он их обычно предупреждает.

— Королева Наваррская сейчас у мадам Екатерины, — сказал он самым непринужденным, однако многозначительным тоном, выдержал изумленный взгляд своего государя и сделал вескую паузу; когда же он увидел, что достаточно разжег Генриха, продолжал еще небрежнее: — Я видел королеву. Она вышла ко мне: один из слуг ее матери шепнул ей, что я стою за дверью. Я ведь поддерживаю дружбу со слугами королевы-матери. Этот нес чернила. Я спросил: «Для чего?» — «Писать хочет», — ответил он. «А мадам Маргарита что делает?» — спрашиваю, хотя и не знаю наверное, там она или нет. «Да она сидит на ларе, — тут же выбалтывает мне этот остолоп. — Боится выйти из комнаты старухи». Я и предлагаю: «Давай поспорим на кружку вина, что ко мне она выйдет!» А выпить ему до смерти хотелось, он согласился, и пришлось ему самому перед мадам Маргаритой дверь распахивать. Ну, хоть недаром потратился.

— Довольно о лакеях, перейдем к правителям! — нетерпеливо прервал его Генрих. — Я как раз и собирался это сделать, сир, — сказал Д'Арманьяк. — Королева Наваррская поручила мне передать вам несколько сообщений. Я повторяю их несвязано и не разумея, ибо я человек маленький. Королева Франции собственноручно пишет письма в Англию, Испанию и в Рим. Она переделывает их по

несколько раз; ведь такое извещение – дело нелегкое, ведь события прошлой
ночи
приходится всякий раз изображать по-новому: для королевы Елизаветы, для
дона
Филиппа и для папы. Мадам Екатерина растерялась и против обыкновения
обратилась
за советом к своей ученой дочери. Будучи точно осведомлена о том, что
происходит, королева и сообщает это вам, пользуясь моими слишком
многословными
устаами.

Д'Арманьяк отвесил поклон, он кончил. С этой минуты он был занят только
платьем своего государя, разложил, надел на него, все это молча, чтобы
дать
своему королю время подумать. И Генрих думал: «Марго выдает мне тайны
своей
свирепой матери. Это все равно, как если бы она сообщила мне, что ждет
меня,
как сообщала некогда, в нашей опочивальне. Нет, даже больше. Ее слова
значат:
«Дорогой мой Henricus», – подумал он на миг по-латыни и услышал, как она
говорит своим звучным голосом: «Не приходи, мой дражайший Henricus, к
сожалению, все это нам запрещено, – и все радости и каждая печаль нашей
убитой
любви».

Corporis Quod petiere premunt arete, faciuntque dolorem...[14. – Цель
вожделений своих сжимают в объятиях и телу Боль причиняют (лат.).
Лукреций «О природе вещей», IV, 1078-1080. Перевод Ф. Петровского.]

Неистово прижимают они к себе того, кого они жаждут, и ранят его тело. На
Генриха нахлынули жгучие воспоминания о яростных объятиях, о зубах,
вонзающихся
в губы вместе с поцелуем. «Прошло и – долой все это! Теперь моя любимая
отдает
мне вместе с душой и свою совесть, как отдавала раньше свое тело, но и
тут она
не обходится без ярости и укусов. Faciuntque dolorem animae[15. – Боль
причиняют душе (лат.).]. Раны души. Если б мы могли сейчас соединиться, мы
оба
плакали бы, ибо нам суждено стать недругами и причинять друг другу боль.
Было
бы, конечно, лучше вдвоем дознаться, что ее родственники замышляют и
можно ли
ускользнуть отсюда. Каковы бы ни были сейчас их намерения, я должен
возможно
скорее удалиться от этого двора по крайней мере на сто миль, и в этом
деле я
буду рассчитывать на Марго: хоть она и враг мне, но она все-таки выдала
свою
мать».

Здесь его мысль запнулась. В голове размышляющего Генриха отчетливо
встали

слова: *Faciuntque dolorem.*

Сам того не желая, Генрих проговорил вслух:

— И на нее нельзя, да и ни на кого нельзя положиться. Я должен выручать себя сам.

Но я у них в руках

Он обвел взглядом комнату. Здесь был только д'Арманьяк, который не слышал или притворился, что не слышит. Первый камердинер уже взялся за дверную ручку, но не нажимал на нее. Он сделал это, лишь когда убедился, что его государь вернулся к трезвой действительности. Дверь в вестибюль распахнулась, там находились двое дворян; они стояли у порога, готовые сопровождать короля Наваррского, и притом не туда, куда он прикажет, а куда им велено. Приняв соответствующие позы, Генриха поджидали господин де Нансей, которому молодой король однажды дал оплеуху, и господин де Коссен, один из убийц адмирала. Генрих подошел к ним, словно это ему ничего не стоило, и, как будто даже не вполне сознавая свое положение, он беззаботно рассмеялся. Впрочем, сейчас же, словно почувствовав себя виноватым, спросил смиренно и смущенно: — Мы отсюда прямо пойдем к обедне? — Так он спросил, и сам занял место между ними. — Время самое подходящее, ибо у вас и у нас животы подвело как никогда. Или, может быть, господа ели что-нибудь со вчерашнего дня? У меня не было во рту даже листка салата, а это для моей природы тяжелее любых лишений.

По пути в большую залу Лувра он продолжал вести ни к чему не обязывающие речи, тщетно делая паузы в ожидании ответов. Серьезным было при этом лишь его желание разгадать, почему именно они хранят молчание. Только потому, что они оказались его стражами, а он их пленником? У них есть наверняка и другие причины, и он должен их выведать. Если Генрих сейчас проникнет в душу этих людей, он спасен.

Сначала они увидели только спины. Люди высовывались из всех окон, другие старались оттолкнуть их, чтобы самим посмотреть наружу. Небо вдруг почернело, как будто наступила ночь, а присутствующих охватило волнение, которое тотчас передалось Генриху и его провожатым. Они отошли от него. А рядом с ним оказался

младший брат короля Карла д'Алансон. Двуносый, как его звали из-за
нароста,
красовавшегося у него на носу, многозначительно кивнул. Его кузену
Наварре
пришлось настойчиво расспрашивать, что же, собственно, происходит на
улице.
Двуносый обронил в ответ лишь одно слово и тут же отвел глаза. Слово это
было:
«Воронье».

Тут Генрих понял причину внезапной темноты: на Лувр опустилась огромная
стая
этих черных птиц. Некий весьма аппетитный запах привлек их сюда издалека;
пока
светило солнце, зной делал этот запах особенно сильным. Но они ждали,
когда
настанет их час. Двуносый заметил: — Ну, им тут припасли угощение. — Он
бросил
эти слова как бы вскользь, отошел, сделал круг и снова вернулся к своему
кузену, настороженно повертывая голову во все стороны, чтобы проверить,
не
подслушивает ли кто. — И больше никому, — добавил он и скрылся на время в
толпе. Красивый мужчина, некий Бюсси, пробормотал как бы про себя: — Не
слушайте его! Он немножко спятил. Да и все мы. — И тоже нырнул в толпу.

Постепенно многие вышли из оконных ниш и вернулись на середину залы. Лица
у
большинства были бледны, в ранах и шишках; шишки на лбу оказались не у
одного
Генриха. Глаза иных выдавали внутреннее содрогание, словно эти люди
ощущали
что-то чуждое в самих себе; а некоторые как будто усиленно прятали руки
или
судорожно сцепляли их на животе, но затем одна без всякой видимой причины
покидала другую и тянулась к кинжалу. Генрих просто высмеял некоторых
растерявшихся придворных. — Мне уже доводилось видеть таких гусей, —
заявил он.
— Они встречаются на всяком поле боя.

Кто-то, в одиночестве пересекавший залу, сказал: — Поле боя — одно, а
старый
двор или Луврский колодец — другое. — Это был дю Барта; он не искал
своего
государя и друга. Генрих крикнул ему вслед: — Мы оба не лежим в этом
колодце! В
том-то и дело, чтобы там не лежать! — И рассмеялся, видимо, оттого, что
еще
по-ребячьи не понимал истинного положения вещей; но ведь нельзя быть до
такой
степени добродушным! Стоявшие поблизости отвернулись, чтобы не выдать
своих
мыслей. Только дю Га, любимец наследника д'Анжу, дерзко выступил вперед:
— А

как легко, сир, то же самое могло приключиться и с вами! — Однако и он тут же поспешил удрать и вышел через боковую дверь.

Никто не мог долго стоять на одном месте, все двигались, но почти каждый в одиночку. Если двое разговаривали, один вдруг смолкал, замыкался в себе и отходил. У обоих убийц — Нансея и Коссена — лица стали совсем другими: на них появилась угрюмая растерянность, и они вдруг тоже расстались.

Через всю огромную залу с двадцатью люстрами проследовал великолепный герцог Гиз с пышной свитой. Но на пути гордого Генриха Гиза неожиданно для него встал Генрих Наваррский, окинул его пристальным взглядом и помахал рукой. Те, кто это видели, затаили дыхание. Все же случилось так, что Гиз не только ответил на приветствие, он даже посторонился. Правда, он тут же опомнился и крикнул, как подобает победителю:

— Поклон от адмирала!

Услышав эти слова, все разбежались. Лотарингец топал что есть силы, но звук его шагов терялся в опустевшей зале.

Генрих, как и остальные, старался поменьше быть на виду до тех пор, пока снова не соберется толпа. А этого долго ждать не пришлось. Люди испытывали слишком сильное любопытство, подозрительность, неуверенность. Пока все еще жались к стенкам, к Генриху подкрался Конде. — Ты уже знаешь? — спросил кузен.

— Что я пленник? Ну, а дальше? Угадать трудно, хотя я и посмотрел Гизу в лицо.

— Когда господин адмирал был мертв, Гиз наступил ему на лицо. Я вижу по тебе: ты этого не знал. А что до нас, то я опасаюсь самого худшего.

— Значит, заслужили. Нельзя быть такими разинями, какими мы оказались. Где моя сестра?

— У меня в доме.

— Скажи ей, что она была права, но что я вырвусь отсюда.

— Я ничего не могу ей передать, ведь меня тоже не выпускают из Лувра. Охрана усилена, нам отсюда не выбраться.

— Значит, ничего другого не остается, как пойти к обедне? — спросил кузен Наварра. А кузен Конде, который еще прошлой ночью, слыша эти слова, каждый раз приходил в ярость, теперь опустил голову и тяжело вздохнул. И все-таки легкомыслие кузена Наварры повергло его в ужас, ибо тот воскликнул:

— Главное, что мы все-таки живы!

И Генрих повторял это по мере того, как в зале опять собирались люди. Он то и дело удивлялся вслух: — Господин де Миоссен, вы живы? Разве это не величайшая неожиданность в вашей жизни? — Но он также восклицал: — Господин де Гойон! И вы живы! — А тот вовсе не был жив и не был в большой зале, он лежал на дне Луврского колодца и служил жратвою для воронья. Те, кто слышал странные, речи Наварры, отворачивались, и их лица выражали самые разнообразные чувства: одни — подавленность и тревогу, сознание вины или жалость, другие — только презрение. Однако Генриху взбрело на ум обратиться все с тем же «Вы живы!» даже к самому наследнику престола д'Анжу. Тут уж все окончательно убедились в том, что и после Варфоломеевской ночи он остался таким же сумасбродным шутником. Это было признано с облегчением и смехом, притом неодобрительным. А он отлично все примечал и следил за каждым, они же думали, что он занят только тем, как бы сострить.

Как раз вошел герцог Анжуйский, он был в отличном расположении духа, и от этого в зале стало как-то легче дышать, ее потолок поднялся к августовскому небу, замок словно вырос. Наконец-то д'Анжу чувствовал себя победителем, он был милостив и весел: — О, я жив! Впервые я жив по-настоящему, ибо мой дом и моя страна избегли величайшей опасности, Наварра, адмирал был нам враг, он обманывал тебя. Он старался разрушить мир и во Франции и по всей земле. Он готовил войну с Англией и распространял слухи, будто королева Елизавета намерена отнять у нас Кале. Адмиралу и в самом деле надо было умереть. Все дальнейшее — только печальное следствие этого, цепь несчастных случайностей, результат былых недоразумений и вполне понятной вражды, которую мы теперь похоронили вместе с мертвецами.

Выбор последних слов был неудачен, и наиболее чувствительным слушателям стало не по себе. Но в остальном эту речь можно было почтись превосходной, ибо она была проникнута стремлением благодетельно смягчить и сгладить все

происшедшее. Именно этого все и жаждали. С другой стороны, д'Анжу говорил что-то уж очень пространно, и он почувствовал жажду; к тому же от слишком напряженного внимания слушателей человек устает. Но когда хотели подать вина, в

Лувре не нашлось ни капли. Припасы закупались только на один день.

Вчерашние

были полностью исчерпаны после резни, а нынче и дня-то не было. Никто не помышлял ни о вине, ни о мясе, даже хозяева харчевен не решились открыть свои

заведения. Наследнику престола и двору нечем было промочить глотки. — Но по

этому случаю не должны же мы порхать в потемках, как тени, — заметил д'Анжу и

приказал зажечь все двадцать люстр.

Странно, что и это никому не пришло в голову.

Дворецких разослали повсюду, и те ринулись бегом, но возвращались шагом и по

большой части с пустыми руками. Лишь кое-где удалось им найти свечи: все были

сожжены во время резни, под истошный вой и крик. В течение некоторого времени

сумрак в зале продолжал сгущаться, а движения людей все замедлялись, голоса

звучали все тише. Каждый стоял в одиночку; только пристально вглядываясь, узнавал он соседа, все чего-то ждали. Некая дама громко вскрикнула. Ее вынесли,

и с этой минуты стало ясно, что благожелательная речь королевского брата, в

сущности, ничего не изменила. Генрих, который шнырял в толпе, слышал шепот: —

Мы нынче ночью либо перестарались, либо недоделали.

Слышал он и ответ: — Этого ведь как-никак именуют королем. Если бы мы и его

пристукнули, нам пришлось бы иметь дело со всеми королями на земле.

И тут король Наваррский понял еще кое-что в своей судьбе. Яснее, чем другие,

которые только шептались, уловил он затаенный смысл, а также истинные причины

произнесенной его кузеном д'Анжу торжественной речи. Д'Анжу явился сюда прямо

от своей мамы, вот разгадка! Мадам Екатерина сидела у себя в уединенной комнате за секретером и собственной жирной ручкой набрасывала буквы, настолько

же разъезжавшиеся в разные стороны, насколько она сама казалась собранной; и

писала она протестантке в Англию следующее: «Адмирал обманывал вас, дорогая

сестра, только я одна — ваш истинный друг...»

«Свалить все на мертвого — это верный способ избежать ответственности за

свои злодеяния; и люди, которые вообще не любят нести ответственность за совершенное ими зло, могут успокоиться, что они и делают. Все это касается умерших. И меня!» — думает Генрих. Под прикрытием ночи и тьмы лицо Наварры наконец выражает его истинные чувства. Рот скривился, глаза засверкали ненавистью.

Но он тут же все подавил — не только выражение, но и само чувство, ибо вдруг стало светло. Слуги, взобравшись на лестницы, зажгли наконец несколько свечей, и те бросили свои бледные лучи на середину зала. Толпа придворных воскликнула «А!», как и любая толпа после долгого ожидания в темноте. К Генриху подошел его кузен д'Алансон. — Генрих, — начал, он, — так не годится. Давай объяснимся.

— Ты говоришь это теперь, потому что стало светло? — откликнулся Генрих.

— Я вижу, что ты меня понимаешь, — кивнул Двуносый. Он хотел показать, что его не проведешь. — Продолжай притворяться! — настоятельно потребовал он. —

Ведь и мне приходится разыгрывать послушного сына и доброго католика, но тайком я скоро перейду в твою веру. И еще неизвестно, сколько людей сделают то же самое после всего, что произошло.

— Вероятно, во всем Лувре я самый благочестивый католик, — сказал Генрих.

— Мой брат д'Анжу ужасно важничает, просто невыносимо. Еще бы! Герой дня, достиг своей цели, весел и милостив!

— Черноватые духи уже не окружают его, — подтвердил Генрих.

— Он же любимец нашей драгоценной матушки, и теперь дорога перед ним открыта. Вот бы еще помер наш бешеный братец Карл... Неужели тебе приятно видеть все это, Наварра, и только скрежетать зубами от бессилия? Мне — нет. Давай бежим, Наварра, и поднимем в стране мятеж! Не теряя времени!

— Я, правда, один раз уже упустил случай заколоть Гиза... — вырвалось у кузена Наварры, не успевшего сдержать закипевшей в нем ярости. Но он тут же опомнился и овладел собой. «Двуносому не очень-то следует доверять. Если он даже и не фальшив, то раздерган, как буквы в письмах его матери, — подумал Генрих. — Ни к каким планам его не привлекать, — решил он. — Ничем не выдавать себя...» —

Но за этот промах я благодарю господя, — закончил он начатую им фразу о Гизе.

Д'Алансон уже не замечал, что двоюродный брат не слишком с ним откровенен.

Что до него, то он все тут же и выложил: — Ты не поверишь, но нынче вечером они

ждут иноземных послов. Должны прибыть папский легат и представитель дон Филиппа, чтобы выразить свое глубокое удовлетворение по поводу успешно проведенной Варфоломеевской ночи. Удачливые преступники обычно начисто забывают

свое деяние: ведь оно вызывает отвращение. Мадам Екатерина уже оделась и ждет.

А! Давай пройдем немного дальше. В этом месте у стены скрытое эхо, его слышно в

комнате моей достойной мамы. А наш разговор мог бы настроить ее подозрительно.

— Да я ничего не сказал, — решительно заявил Генрих.

— А я ненавижу д'Анжу, — последовал ответ брата.

— Чего ты от него хочешь, Франциск? По мне, только бы жить не мешал. — Генрих нарочно не смотрел по сторонам: все же от него не укрылось, что под

единственной зажженной люстрой слуги расставляют карточный стол. И д'Анжу уже

звал: — Брат мой д'Алансон! Кузен мой Наварра!

— Сейчас, господин брат мой, — отозвался Франциск д'Алансон. — Мы тут обсуждаем важные вопросы! — Когда люди так откровенны, никакого заговора быть

не может. Кузены отошли еще дальше от толпы придворных. Д'Алансон сопровождал

свои слова судорожными и нелепыми телодвижениями. Он то делал вид, что прицеливается из ружья, то наклонялся, точно спуская свору собак. —

Д'Анжу —

сумасшедший, — говорил он. — Все с ума посходили. Они ждут не только легата, им

недостаточно похвал, на которые, по их мнению, не должен покуситься дон Филипп. Они мечтают о посещении англичанина Волсингтона — ни больше, ни меньше.

Почему-то считается, что достаточно кому-нибудь беззастенчиво расправиться со

слабейшим, чтобы заслужить благосклонность Англии.

Генрих сказал: — Кузен д'Алансон, если ты столь проникателен, то почему ты

упорно не желаешь замечать происков Лотарингского дома? Ведь вас, Валуа, хотят

спихнуть с престола! И я, ваш скромный и доброжелательный родственник, я хочу

предостеречь вас. Если Варфоломеевская ночь — дело, угодное Христу, и если

страх может поддержать единство королевства, то не забудьте, что Париж еще до того признал лотарингца благочестивейшим из католиков. А теперь, когда он наступил на лицо мертвому адмиралу, тем более. — Так говорил Генрих, почти беззвучно, чтобы ненароком у него не вырвался крик или ему не изменил голос.

Д'Алансон повторил: — Гиз наступил на лицо мертвому адмиралу и сам себя опозорил. Его я не боюсь. Красавец-мужчина, которого весь Париж на руках носит!

Но и такое лицо обезобразить нетрудно. Будем надеяться, хотя бы на оспу! — Все это сопровождалось судорожными и нелепыми телодвижениями.

— Кстати, — заметил кузен д'Алансон, — мы в тени, а кого хорошенько не видно, того никто и подслушивать не станет, кроме особо предназначенных для этого шпионов моей мамы. Но сегодня вечером она чрезвычайно занята и позабыла даже подослать своих фрейлин.

В заключение Генрих сказал: — Я позволил себе только предостеречь дом Валуа. Я желаю ему добра, а мое преклонение перед королевой-матерью безгранично.

Тут кузен от души рассмеялся, словно последней шутке, завершающей приятную беседу. — Ты ничем не выдал себя, милый кузен, даю слово. Я доверился тебе, а ты мне нет. Вместе с тем теперь мы узнали друг друга, да и чего только ты не узнал за сегодняшний вечер!

И это было верно. Между тем этот перевертыш Франциск уже ускользнул от своего кузена, подхваченный потоком придворных, пробиравшихся в вестибюль. Там блеснул зыбкий свет факелов, метнулись огромные тени, и раздался зычный голос его величества — приближался Карл Девятый. Он ревел и, кажется, был не прочь побуяннить. Наварра, предоставленный самому себе, подумал: «Я и ему должен лгать, а он спас мне жизнь! В следующий раз это даже королю не удастся. Я догадываюсь о том, что мне угрожает: я смотрел Гизу в лицо. И я знаю морду старой убийцы; она не показывается, пока иноземные послы не явятся засвидетельствовать ей свое почтение, а они не являются. Оказалось, что Варфоломеевская ночь — это неудача, но я у них в руках. Невеселая штука! Да что мадам Екатерина и Гиз! Всех, всех изучал я сегодня вечером; так что голова кругом пошла, будто я книг начитался!»

Он наконец оставил свое место, прошел через движущийся вперед свет факелов навстречу королю Франции, заблаговременно надев обычную личину любезного легкомыслия. Но, содрогаясь в душе от страха и ненависти, подумал: «В знании этих людей мое спасение».

Неудача

Карл Девятый не стал церемониться. Он велел прикрепить все факелы к люстрам, хотя смола капала на белые плечи дам. Все лучше, чем мрак, даже это багровое адское пламя! Должно быть, Карл и все мы провалились в преисподнюю. Эта мысль пришла каждому, и все поглядывали на окна, летает ли там все еще воронье! Тогда мы бы убедились, что находимся на земле, а не в преисподней.

Тем временем Карл бушевал, словно демон. Он сам-де, собственной особой, сегодня стрелял с балкона вслед убегавшим гугенотам. На самом деле он старался промахнуться, но этим не хвастал. — Ха! Я даже виселицу удостоил своим посещением, ведь на ней качался господин адмирал! Мой папаша! — рычал он с каким-то сатанинским хохотом. Затем на миг опомнился и притих. — От адмирала дурно пахнет, — процедил он и, точно отстраняясь от всего, что есть на земле зловонного, высокомерно скосил глаза, как на своем портрете. Таким же взглядом он окинул Наварру и Конде.

— Вы, протестанты, готовили заговор. Нам оставалось одно — защищаться. Так я все это изложил сегодня моему парламенту. Вот причины кровавого суда, который мне пришлось вершить в моем королевстве. Это, и только это должны мои историки записать для потомства — поверит оно им или нет.

Потом он потребовал вина, ибо день выдался тяжелый, и когда услышал, что вина получить нельзя, опрокинул карточный стол. Новый приступ ярости продолжался до тех пор, пока в углу людской не нашли какую-то прокисшую бурду, скорее напоминавшую уксус. Карл, смакуя, пил ее из чеканного золотого кубка; кубок был украшен изображением Дианы-охотницы со свитой, а прелестные выгнутые тела двух сирен служили ручками. Попивая кислятину, сумасшедший король разглядывал своего кузена-протестанта. Кислое, как известно, веселит. — А вот и

вы! — воскликнул он. — Два будущих церковных светоча! Честное слово, вы сделаетесь кардиналами! — Подобная перспектива привела его в неопишуемый восторг. И тут вместе с ним захохотал весь его двор, расположившийся широким кругом; в центре стоял единственный карточный стол, над которым пылали факелы; Карл сидел за этим столом, небрежно развалясь, а его брат д'Анжу, ужасно боявшийся этих припадков короля, примостился на краешке стула. Что до обоих еретиков, то они стояли, опустив головы, вынужденные покорно слушать королевский хохот.

Но вот пятый игрок заявил: — Начинайте. — Это был лотарингец. — Садитесь, — приказал он обеим жертвам. Потом сдал карты, каждому по четыре. Игра называлась «прима». Пятеро игроков посмотрели в свои карты, и стоявший широким кругом двор тоже попытался в них заглянуть. Двор — это были шелка всех цветов, полосатые, затканые гербами; низенькие толстяки с лоснящимся пузом и тощие верзилы, словно стоявшие на стульях, так возвышались они надо всеми прочими. Ноги внизу были тонкие, а наверху — как бочки, рукава буфами вздувались на плечах, и на широких жабо лежали головы всевозможных тварей — от коршуна до свиньи. Свет факелов причудливо освещал горбы и наросты. А их владельцы пристально следили за королевской партией.

— Наварра, куда ты дел мою толстуху Марго? — спросил Карл, делая ход. — И почему не появляется моя мать, раз она поймала вас, гугенотов, как птиц, на липкие прутья? Да, а где же все придворные дамы? — Он вдруг заметил, что среди зрителей мало особ женского пола.

Его брат д'Анжу что-то сказал ему вполголоса. Сам Карл не снизошел до шепота: — Моя мать-королева в эту минуту принимает иноземных послов. Они оказались в ее кабинете все сразу. Вот как обстоит дело. Но явиться ко мне они не почли нужным. Впрочем, мы и не заметили их прибытия. Они появились совсем тихо: посланцы великих держав владеют и великим искусством становиться незримыми. — Он небрежно бросил на стол вторую карту. Все в нем выдавало тайное презрение, казалось, он говорил: «Я знаю, во что вы играете, и хотя тоже играю с вами, но держу вас на должном расстоянии».

Лотарингец сдал по четыре карты. Игра называлась «прима», и выигрывал тот, у

кого были карты всех мастей. Наварра открыл свои карты – у него оказались все четыре масти. – Генрих, – вдруг сказал другой Генрих, из дома Гизов, – тебе это будет приятно. Дело в том, что для меня послы не остались невидимками. Они выразили свое удивление, что именно тебя мы оставили в живых. – Но это был просто вызов, ибо любой посол меньше всего хотел бы показаться сегодня с этим Гизом. В ответ Генрих Наваррский еще раз открыл свои карты: по одной от каждой масти.

Когда он тут же открыл их в третий раз, один из игроков взорвался: это был д'Анжу. Он дерзнул ударить кулаком по столу, несмотря на свой страх перед припадками Карла. Но теперь им самим овладела ярость. Веселости и благодушия победителя как не бывало. А послы так и не прибыли. На самом деле мадам Екатерину терзала нетерпеливая жажда услышать поздравления. Пока иноземцы не одобряют ее деятельность, она не решится выйти из своих покоев и не выпустит Марго. Гиз со своей стороны бесстыдно разыгрывал народного любимца и огорошивал людей и ростом и мощными телесами даже больше, чем чванством. Но Карл Девятый, которому и в голову не приходило самому проучить этого нахала, радовался. «Ишь, сразу видно, что тайный гугенот», – с ненавистью думал, глядя на него, брат. Д'Анжу чувствовал, что двор уже начинает догадываться об истинном положении вещей. Лица у всех становились озабоченными: куда податься? Чью сторону принять? Такие лица бывают у предателей. Подумать только: ведь и город запуган, все готовы, так же как и двор, чуть ли не отречься от Варфоломеевской ночи! Торжество любимого сына вдруг сменилось таким озлоблением, что он даже всхлипнул. Вот вам, награда за отвагу! Людей хотели вывести из жалкого состояния, поднять их и ради столь возвышенной цели поступились даже совестью и человечностью. Сами себя освободили от христианских обязанностей и заветов истины. И все – он, д'Анжу, воспитанный в Collegium Navarra священниками и гуманистами, он отлично знал цену тому, что совершил. «Я же не Гиз... который так кичится своими телесами, что уже голову потерял! Я сознательно стал главным вдохновителем Варфоломеевской ночи, – говорил себе д'Анжу. – А ее простили бы нам только в случае удачи. Но с каждым часом она все больше смахивает на

неудачу».

Факелы догорели, и смола перестала капать; король и его партнеры, осажденные подступившим мраком, продолжали играть в неверном, меркнувшем свете. Д'Анжу собрался было во второй раз стукнуть по столу и опрокинуть его, как делал его брат во время припадков. Но тем временем лотарингец снова сдал карты. Кулак наследника престола замер в воздухе. А Наварра опять предъявил четыре масти. — Колдовство! — прорычал Карл. Двор ответил протяжным жужжанием, в котором слышались и удовольствие и ужас. Ведь когда перед тобой происходит непостижимое явление, оно волнует. Но объяснять его смысл иногда опасно.

Однако двор избавили от этой заботы. Королевская партия была вдруг позабыта: перед новыми событиями все остальное отошло на задний план. В вестибюль вступили пажи, они несли зажженные канделябры, появлялось все больше этих светоносцев, с натканными в канделябры восковыми свечами — и вдруг в замке запылало бесчисленное множество огней, хотя еще совсем недавно здесь нельзя было раздобыть ни одной свечки. Со вздохом облегчения двор устремился к дверям, однако стража теснила дворян обратно; непонятное зрелище развертывалось у них на глазах. Находившаяся за вестибюлем приемная короля осветилась, и в ней стали видны мальчики, выстроившиеся рядами. Их волосы, доходившие до плеч, поблескивали, озаренные пламенем свечек, которые они держали перед собой, а на груди сверкала серебряная парча. Противоположная дверь приемной налилась светом. Дальше, за поворотом, начинались покои королевы, они тонули во тьме; и вот неведомо откуда приближается безмерно более яркое сияние, подобное сиянию рая и непостижимых обетований; от него начинают трепетать сердца, ему нельзя не дивиться вслух, когда стоишь тесной толпой, так, как стоят сейчас придворные, а за ними темнеет зала, где гаснут багровые факелы.

— Господин рыцарь, у меня бьется сердце.

— И у меня, мадам. Что там такое?

Именно этого Екатерине Медичи и хотелось: так она все это задумала и рассчитала. Хотя она, как и подозревал ее сын д'Анжу, томилась тревогой, оттого что иноземных послов все нет и нет, он должен был, однако, предвидеть, что

никакие разочарования не могут смутить его мать или выбить у нее оружие из рук.

В отличие от большинства людей она в минуты тщетного ожидания не волновалась, а

— была спокойна до тупости; случайные промахи только подстегивали ее изобретательность.

Мадам Екатерину, точнее, Екатерину Медичи, во время учиненной ею резни несколько раз охватывал страх, что вполне объяснимо слабостью нашей человеческой природы. Подобные деяния, даже если они исподволь подготовлены и

тщательно продуманы, могут все же кончиться не так, как мы ожидаем.

Словом,

мадам Екатерина, точнее, Екатерина Медичи, неслышно ковыляла со своей палкой по

комнате, тревожно косилась на рослых телохранителей, стараясь угадать, долго ли

эти немцы и швейцарцы будут защищать ее комнату и ее драгоценное старое тело,

если сюда ворвутся гугеноты. Однако она возилась в своем шкафчике, имея в виду

не только врагов, но и охрану. Не безопаснее ли было бы для нее самой, если бы

эти здоровенные молодцы, глотнув хорошего вина, лежали бы на полу недвижимо?

Тогда с помощью нескольких искусных уколов и порезов можно будет придать происшедшему видимость кровавой свалки, и каждый решит, что королеву утащили и

прикончили. А пока что, сидя в ей одной известном тайнике, она ждала бы, когда

настанет ее время! А это время должно наступить незамедлительно.

Все человеческие заблуждения и все ошибки истории происходят оттого, что люди забывают, какая судьба неукоснительно и неотвратимо предназначена всему

миру вообще и этой стране в частности: попасть под пяту и под иго Рима и дома

Габсбургов. Флорентинка раз и навсегда в этом уверилась. В те минуты, когда ее

воле противились даже ее сыновья, она грозила, что вернется в свой родной город. На самом деле она об этом и не помышляла, ибо смотрела на себя,

как на

одно из главных орудий всемирной державы, призванной подчинить себе Францию,

разумеется, ради ее же пользы, а главное, ради блага правящего дома.

Французские протестанты считали эту женщину уже весьма зрелых лет прямо-таки

сатанинской злодейкой. Но даже в Варфоломеевскую ночь она действовала со спокойной совестью — не так, как ее сын д'Анжу, которому приходилось сначала

покончить в себе самом с гуманистами из Collegium Navarra.

Его мать была уверена, что стоит на верном пути и что это путь успеха. И

немало должно было пройти времени, покамест мадам Екатерина наконец убедилась, что Варфоломеевская ночь была ошибкой. Тогда ее сыновья уже лежали в могиле, лилась кровь, королевство пылало, разваливалось, а к престолу шел спаситель – незначительный принц с юга. Однажды она поймала его в западню, и приманкой послужила ее дочь Марго.

Вот он сидит, смотрите! Он лишился друзей, солдат, он бессилен, над ним глумятся. Даже единомышленники, и те будут презирать его, когда он отречется от их веры, а эта минута не за горами! Быть зятем королевы Франции он тоже теперь недостоин, бедный шут! Двор должен его осмеять! Так решает умная женщина весьма зрелых лет. Это разумнее, чем прикончить его. Английской королеве приятнее будет услышать, что он смешон, чем, что он убит. Я осведомила ее обо всем и в достаточной мере убедительно: она примет Варфоломеевскую резню как несчастный случай, который всегда может приключиться, если, будучи еретичкой, она не способна понять, сколь очистительным было это деяние! К черту послов, которые сегодня так и не явятся! Они еще будут извиняться за свое промедление! Разумеется, не следует допускать у людей каких-либо колебаний. Большие удачи бывают вначале нередко омрачены всякого рода помехами. Скорее бороться с этим, противодействовать! Пусть у придворных будет хорошее расположение духа, пусть рассказывают повсюду, как ярко осветила Лувр наша великая победа!

И мадам Екатерина тотчас оживляется, отдает приказания. Прежде всего она посылает за своей невесткой – эрцгерцогиней, живой декорацией, которую редко выставляют напоказ и обычно хранят в тихом флигеле нижнего этажа; эти покои в сущности должна была занимать Екатерина, но она предпочла более роскошные, здесь, наверху. Одеванием своей дочери Марго она руководит сама. Жемчуга, белокурый парик, диадема, венки и лилии из алмазов – вот она, холодная усыпальница любви, вот в чем должна появиться роскошно убранная красавица. Нет, не платье из золотой парчи! Золото вызывает совсем иные образы. Так как дочь настаивает на своем самом роскошном наряде, рука мамы решительно и преобладающе награждает ее пощечиной; щеку приходится опять набелить. Затем старуха велит принести арапник. О нет, не для принцессы, та усмирена... Еще одно человеческое существо должно явиться, сюда и подвергнуться дрессировке, – нельзя терять ни минуты: обе вереницы пажей с канделябрами уже дошли до

большой залы. Торжественный луч высочайшей королевской власти падает на придворных из неведомых сфер, так что они даже пугаются. Старейшие среди них уже готовы поверить в самые сверхъестественные явления, словно деревенские ребята. Пора. Эй, музыка!

Ненависть

О, гимн величию и державному всемогуществу! Двор расступается, даже карточный стол вместе с королем отъезжает к стене, и, оставляя широкий проход, выстраиваются друг против друга две шеренги мальчиков – самых стройных во всем королевстве. Обе шеренги изливают свет; между ними проходят другие мальчики, они услаждают слух присутствующих игрою на инструментах. Их согласная, благозвучная музыка рвется ввысь, летит, поет хвалу. А вот выступают женщины – лишь самые великолепные статс-дамы и самые прелестные фрейлины. Веет благовониями, и высоко над толпой колышется балдахин, его поддерживают четыре гнома в красных одеждах и с бородами из кудели.

А под балдахином движется собственной особой столь редко зримый персонаж из феерии, драгоценный залог, оставленный всемирной державой при французском дворе: Елизавета, эрцгерцогиня, римского цезаря кровная дочь.

Никто еще никогда не лицезрел ее так близко, хотя даже и сейчас благодаря обилию мелькающих, мерцающих огней удалось сделать так, чтобы ее видели не слишком отчетливо. К тому же возможность разглядывать герцогиню получили только мужчины, на женщин, как на пол более отважный и проникательный, предусмотрительно возложили обязанность самим играть определенную роль в этом шествии. Итак, дом Габсбургов был представлен девятнадцатилетней молодой женщиной; но кто вспомнил бы о ее годах, глядя на эту маску без возраста, та, кую же негнушующая и окоченевшая, как золото, покрывавшее ее с головы до ног! На этот раз ее не катили испанские священники, обливаясь потом под тяжелыми коврами. Она сама переставляла ноги, и выяснилось, что они у нее изрядных размеров. Может быть, ноги у нее оказались бы сильные и длинные, если бы кто-нибудь отважился на столь рискованное наблюдение. Однако вполне возможно, что иные и проникли сквозь панцирь ее имени и сана, добрались до ее ног и не без иронии попытались определить вес этих необычайных конечностей. Сама она

была поглощена процессом ходьбы. Каждый ее шаг был как будто последним – вот-вот она рухнет на пол; так, сквозь анфиладу покоев, казавшихся бесконечными оттого, что мрак отступил слишком далеко, несла она на себе, пошатываясь, груды золота, давящую тяжесть короны, камня, цепи, кольца и пряжки, тяжелые туфли из золота – золото стискивало ей голову, сжимало грудь, ноги, и она, пошатываясь, несла на себе его тяжесть и могущество во мрак отдаленных комнат.

Жаждала ли она поскорее скрыться в нем? Еще раз сверкнула ее спина, и пол отразил блеск ее металлических шагов. Уже видны были только затухающие вспышки драгоценностей. Последней мелькнула искра короны. И – все поглотила темнота. Занавес опустился. Королева исчезла и уже не появлялась; это зрелище могло быть понято символически, как и вся феерия. Но незримая и хитрая устроительница блистательного представления, сидевшая в своей тихой комнате и двигавшая оттуда его пружинами, рассчитывала, и не без основания, на то, что все это великолепие, несомненно, произведет нужное впечатление. Кому же из зрителей угасание этого блеска, поглощенного мраком, представилось прообразом заката и гибели? Да столь неприлично озлобленному человеку, каким был дю Барта; пережив все ужасы Варфоломеевской ночи, он еще меньше прощал людям их притязание уподобиться богу. Дю Барта не одобрил участия эрцгерцогини в процессии; он проговорил во всеуслышание:

Вначале не было пространства и светил.
Был только бог один, он все в себе таил,
Могучий, благостный, неведомый и вечный,
Исполнен мудрости великой, бесконечной,
Весь – дух, сияние и свет.

Однако этот христианин вызвал всеобщее раздражение, его довольно грубо со всех сторон толкали и требовали, чтобы он угомонился. Он почти единственный, кто уцелел после великой «уборки», да еще лезет со своим богом, который уж, конечно, не ходит в золотых башмаках. Французский же двор, наоборот, видел в блестящем идоле осязаемое воплощение своей победы, видел, как эта победа шествует среди огней, ароматов и благозвучий, и был теперь готов провозглашать ее по всей стране, сколько мадам Екатерине будет угодно.

Кто же все-таки искренне сомневался в этой победе? Кроме христиан, существуют еще чувствительные натуры. Молодой д'Эльбеф по складу своего

характера действовал всегда или под влиянием минуты, или же следовал овладевшему им чувству. Он понял, что Елизавете могло бы с таким же успехом быть не девятнадцать лет, а все девяносто. Он видел, как Карл Девятый смотрит вслед своей супруге – с тем же выражением, что и все остальные: на его лице написана почти суеверная покорность с оттенком легкой иронии. Елизавету показали королю и его придворным дважды: перед самой резней и сейчас же после нее. «Когда эрцгерцогиня снова спустится по темным лестницам в свои одинокие покои, кто обнимет ее, кто приласкает?» – думал д'Эльбеф, в то время как мимо проходили все новые фрейлины. Над толпой опять появился балдахин.

Пышное зрелище продолжалось; только один из зрителей ничего не видел, не воспринимал ни звуков, ни благовоний, сопровождавших шествие. Он чуял запах крови, слышал истошный крик и вой; видел своих друзей, сваленных в кучу, друг на друга, точно пададь. Весь вечер он держал себя в руках, занимался наблюдениями и всех сторонился – так было безопаснее. Но слишком долго этого не выдержишь: он же не философ и не убийца по расчету, и у него в душе нет того холода, который царит в опочивальне старухи. Напротив, что-то жжет ему грудь и губы; он изнемогает, он чувствует это совершенно явственно. Его блуждающий взор искал, чем бы прежде всего попросту утолить жажду. Ничего не найдя, он удивился, что тут так много людей, и все они стоят слишком близко к нему. Особая подавленность оттого, что его теснят тела ближних, была ему раньше неведома, а ведь он жил, всегда окруженный людьми. Вдруг он понял, что именно с ним происходит: это ненависть. Сейчас он испытывает ненависть – более неистовую и непреодолимую, чем даже в ночь резни.

«Чтоб вы все подошли! – вот чего он желал этим людям; выставив подбородок, он исподлобья посмотрел вокруг таким взглядом, каким еще никогда не смотрел на себе подобных. – Даже если бы мне самому пришлось вместе с вами погибнуть! Нужна проказа – я сам заболею проказой. Вы еще первого белого прыщика не успеете заметить на моей коже, как я вас уже заражу, и пусть болезнь разъест ваше тело гнойными язвами! Всех вас, с вашими телесами, обогранными кровью моих мертвых друзей! Меня вы оставили в живых, чтобы я видел вашу победу во всех подробностях, любовался на ваше шествие и на ваше золотое пугало. В кого же мне

вцепиться зубами? — размышлял он, неторопливо выбирая себе жертву. Ни одно из этих лиц, с написанным на них подхалимством, вызовом или иронией, не могло утолить его жажду. — Хочу твоей крови, мой страстно желанный враг!»

Его внимание привлекла щека какого-то любопытного, который подмигнул ему с наглой фамильярностью, — особенно бесстыжая щека! Наглец даже не отпрянул, когда Генрих коснулся ее, Поэтому Генриху удалось хорошенько запустить в нее зубы.

Однажды он видел в провинции, как дрались два крестьянина и один именно так укусил другого — это пришло ему на память в ту минуту, когда он наконец выпустил щеку придворного. В душе осталось отвращение и вместе с тем какая-то удовлетворенность. Но почему же любопытный — кровь текла у него на белый воротник, — почему он не завопил? Он едва застонал. А потом проговорил — доверчиво, шепотом, все еще не отодвигаясь от Генриха:

— Ваше величество, король Наваррский! Вы, наверно, видите мою черную одежду и мое длинное бледное лицо? Ведь вы укусили шута, я здешний шут.

Услышав это, Генрих отпрянул от укушенного, насколько допускала теснота. Шут тоже двинулся за ним. Прикрыв щеку, из которой текла кровь, он сказал гулким и дребезжащим нутряным голосом: — Пусть не видят, что мы с вами натворили; шут должен быть грустен: он познал горе и поэтому кажется особенно смешным. Верно? Значит, вы легко можете занять мое место, ваше величество, король Наваррский, а я — ваше. И никто даже не заметит подлога.

Шут исчез. Ни одна живая душа не узнала, что Генрих укусил его. Даже сам Генрих начал сомневаться. Он только что пережил минуты ужаса и смятения; но тут же взял себя в руки; необходимо хорошенько разобраться в том, что же все-таки скрывается под покровом этого придворного праздника. «А! Вот и Марго!»

Перед двором Франции снова появляется колышущийся балдахин. И под ним шествует принцесса Валуа, мадам Маргарита, наша Марго. Ей, правда, пришлось выйти за этого гугенота; однако каждому отлично известно, почему и ради какой цели это было сделано. Ее брак принес пользу, он оправдал себя. А если кто сомневается, пусть поглядит, как высоко держит голову королева Наваррская, как она выступает. Это вам не застывшая, словно золотой слиток, мировая держава,

перед которой мы должны падать ниц. Марго — сама легкость, словно быть такой красавицей — пустяковое дело. И наша Марго без труда торжествует над ошибками — своими и нашими. «Будьте счастливы, мадам! Всем, что вы делаете для самой себя, вы преображаете и нас, и вам многое удастся нам вернуть: например, чувство легкости. Минувшая ночь придавила нас. Надо признаться, наша смертная оболочка изрядно пропиталась кровью. Мы лежали в лужах крови да еще волочились по ним. Вы же, мадам Маргарита, превращаете нас в мотыльков, порхающих в чистых лучах света, недолговечных и все же подобных вашей бессмертной душе. Мы знаем двух богинь: госпожу Венеру и Пресвятую деву. Поэтому все женщины заслуживают нашей смиренной благодарности — и за оказанную, милость и за дарованную нам легкость. Будьте же и вы благословенны!»

Но если эти чувства разделял весь двор, то должен был найтись и придворный, чтобы первым выразить их. Этим придворным оказался некий господин де Брантом; он позволил себе коснуться губами парящей руки Марго. А за ним и другие стали протискиваться между несущими канделябры пажам и тоже прикасались к парящей руке. Марго же, в роли благодетельницы этой толпы, глядя поверх нее, улыбалась не более тщеславно, чем ей подобало, и даже скорее растроганно. Ножки у нее были маленькие, несли они ее, по-видимому, легко, и никто не пытался определить тяжесть ее бедер, хотя многие могли бы при этом опереться на свой личный опыт. Не успели присутствующие опомниться, как ее широкое платье уже покачивалось где-то далеко. Юбка была прямоугольная, — узкая в талии и широкая в боках. Нежные краски на ней переливались и трепетали, рука, как будто светясь, парила высоко над ними — такой Марго должна была войти в ожидавшую ее темноту. Но она и не помышляла об этом, она повернула обратно, и все шествие было вынуждено тоже повернуть: скрипачи, трубачи, статс-дамы, фрейлины и прочие участники процессии, даже обезьяна.

Марго чуть не обогнала свой балдахин — так спешила она вперед, разыскивая

кого-то. Она его не нашла, но среди поцелуев, сыпавшихся на ее парящую руку, один так обжег ее, что она даже приостановилась. И вся блестящая процессия, следовавшая за ней, тоже запнулась: люди наступали друг другу на ноги, наступили и обезьяне, та вскрикнула.

А Марго стояла и ждала. Человек с обжигающими губами не поднял головы, хотя она скользнула рукой по его лицу и отважилась шепнуть какой-то тихий призыв. Но ведь ей же официально отведена была роль благодетельницы, дарящей счастье, и она не могла дольше задерживаться ради одного человека, которому в жизни, может быть, не слишком повезло. Дальше, Марго! Впереди тебя и позади — только шпионки твоей матери.

Уже дойдя до королевской прихожей, перед тем, как исчезнуть окончательно, она еще раз торопливо оглянулась. Но ее бывшего возлюбленного на прежнем месте уже не оказалось, да и вообще нигде не было видно. Огорченная Марго свернула за угол, хотя продолжала приветливо улыбаться.

Как только она исчезла, участники шествия, которые держались только ею и ради нее вели себя пристойно, сразу же распоясались. Фрейлины легкого поведения еще на ходу выбирали себе на ночь кавалеров и спешили их поскорее увести. Ревнивые придворные под общий хохот вытаскивали своих жен из толпы. Уже не торжественная процессия дворян, а какой-то разнузданный сброд валил через большую залу. Музыканты, играя, подпрыгивали, а свеченосцы поспешно тушили свечи, опасаясь, что у них выбьют из рук канделябры. Никто потом не мог вспомнить, каким образом началось бесчинство и кто подал к нему сигнал, выкрикнув знаменательные слова.

Во-первых, неизвестно, к какому лицу они были обращены. — Кого ты выберешь себе на эту ночь? — Правда, имя также было названо: «Большая Берта». Видимо, имелась в виду карлица, сидевшая в клетке. Большая Берта принадлежала мадам Екатерине; в ней было восемнадцать дюймов, и на многолюдных сборищах ее носили в этой клетке, как попугая. Слуга, тащивший надетую на шест клетку с карлицей, вел и обезьяну. Когда начинала кричать обезьяна, кричала и карлица, и голос у нее был еще более звериный. У карлицы была огромная голова с чрезмерно выпуклым

лбом и глаза навывкате, а из беззубого рта текла струйкой слюна. Одетая карлица была наподобие знатной дамы, в жидких волосах мерцал жемчуг. — Большая Берта! Кого ты выберешь себе на эту ночь?

Уродливое создание отвратительно взвизгнуло; особенно перепугалась обезьяна и дернула сворку, там что слуга, державший ее, чуть не упал. Во всяком случае, дверца клетки распахнулась, путь перед карлицей был свободен. Пока все это еще могло казаться цепью случайностей. И лишь позднее вспомнили, как все совпало: обезьяна, неловкий слуга, открывшаяся клетка на шесте, но прежде всего — крик ужаса, который издала идиотка, когда услышала свое прозвище. Ясно, что ее научил всему этому арапник старой королевы, и карлица под влиянием неистового страха выполнила то, что ей было приказано. Она сразу же натолкнулась на короля Наваррского — вернее, и эта случайность при ближайшем рассмотрении оказалась подстроенной. Но в ту минуту все решили, что Большая Берта сама выбрала Наварру, раз она на него бросилась. Карлица сверху спрыгнула ему на шею, продолжая кричать, совала руки и ноги в отверстия его одежды, и отцепить ее было невозможно. Едва ему удавалось вытащить ее ногу из разреза своего рукава, как рука ее тем глубже ныряла ему за воротник. Силясь оторвать ее, он вертелся на месте; смотрите, они танцуют! — Она выбрала его на ночь, вот он и радуется, — говорили окружающие. Давно так не смеялись при французском дворе!

Когда Генрих понял, что все пропало, он, конечно, бросился бежать. А позади придворные надрывали животики, взвизгивали, блеяли, сипели и, наконец, обессилев от смеха, валились на пол. Он же мчался по лестницам и переходам, а на шее у него сидела карлица. Он уже не пытался ее сбросить. Она все равно успела обмочить и себя и его и, чтобы показать свою привязанность, лизала ему щеку. Генриху казалось, что он бежит в каком-то кошунственном сне. Никто не попался ему навстречу, и даже полотняные фонари не были зажжены сегодня. Только по временам луна проливали свой свет на это странное приключение.

Наконец Генрих остановился перед дверью, и было слышно, как тяжело он дышит; верный д'Арманьяк тут же отворил.

— На что вы похожи, сир! И как от вас воняет!

— Это, моя маленькая приятельница, д'Арманьяк. Их у меня немного. — И так как она уже не лизала ему щеку, он запечатлел на ее щеке поцелуй. — А насчет вони, д'Арманьяк, — так из всех сегодняшних душистых и удушливых запахов это еще самый честный и чистый.

И тут у него сделалось еще невиданное, новое лицо — жестокое и грозное. Даже его старый боевой товарищ д'Арманьяк испугался. Он подошел к своему господину на цыпочках, чтобы снять карлицу. Но она сама от усталости уже соскользнула на пол. Затем он вместе с нею исчез. Генрих один вошел в комнату и заперся на задвижку.

Голос

И вот он лежит в постели, вокруг которой уже не стоят на страже сорок дворян; и мысли стремительно проносятся у него в голове. Они туманны, они едва связаны между собой, как бывает в сновидении, да это почти что и не мысли. Это вереница незавершенных картин и фраз; они спотыкаются, как те люди в Лувре, когда кончилось зрелище и Марго уже свернула за угол. «Они поймали меня! Пойдем тут же к обедне. Воронье. Все дело в том, чтобы не лежать на дне колодца. Как легко, сир, это могло случиться и с вами. Привет от адмирала. Он наступил убиенному на лицо. Что же до нас, то я опасаюсь самого худшего. Господин де Гойон, вы живы! Но его же нет в живых, — соображает Генрих в полусне, он видит мертвых, и они тоже смотрят на него, но тут же снова отступают перед живыми. — Однако сам-то я жив! Елизавета хотела отнять у нас Кале. Впрочем, нет, адмирал! Тие! Тие! Мы нынче ночью либо перестарались, либо... Продолжай притворяться! В этом месте у стен есть эхо. Вот бы еще помер наш бешеный брат Карл. Я ненавижу д'Анжу. И тебе хочется, Наварра, ведь ты так обессилел. Неужели тебе хочется? Давай бежим, ведь хочется?»

Последнее он проговорил уже не в беспамятстве сна, он повторил эти слова несколько отчетливее, чем полагается спящему. Как только Генрих стал отдавать себе в том отчет, он открыл глаза и сжал губы. Однако опять услышал: — Тебе

хочется? Давай бежим!

Перед стоявшим в углу изображением деви Марии теплился фитилек лампы. В неверном мерцании статуя, казалось, шевелилась. Может быть, это она и говорила?

Несчастный, который не в состоянии ни постичь, ни измерить всю глубину своего

несчастья, — он только слышит голос, который что-то продолжает говорить внутри

него, спящего: ведь ради его защиты могло бы обрести голос даже изваяние деви

Марии! Однако на этот счет он ошибся. Из-под его кровати высунулась голова — да

это голова карлицы; вероятно, она незаметно пробралась в комнату. Он наклонился, чтобы рукой снова засунуть голову под кровать. Голова сказала: —

Проснитесь, сир! — И Генрих почувствовал, что в это мгновение он действительно

избавился от преследовавшего его кошмара.

Он узнал голос, а теперь увидел и лицо Агриппы. — Где ты пропадал весь вечер? — спросил Генрих.

— Все время был подле вас и вместе с тем оставался для всех незримым.

— Тебе из-за меня пришлось прятаться, бедный Агриппа.

— Мы сами сделали наше положение как нельзя более тяжелым.

Генрих знал это древнее изречение и повторил его словами латинского поэта.

Услышав их, Агриппа д'Обинье вдохновился и начал длинную фразу, однако произнес

ее слишком громко для столь позднего часа и столь опасного места: — У вас

нет охоты, сир, ожидать в бессилии, пока ярость ваших врагов...

— Ш.. ш.. ш.. — остановил его Генрих. — У некоторых стен здесь есть скрытое эхо; и неизвестно, у каких именно. Лучше мы скажем все это друг другу

завтра, в саду, под открытым небом.

— Будет слишком поздно, — прошептала голова, которая теперь оперлась подбородком на край кровати. — К утру нас уже не должно быть в замке.

Сейчас

или никогда. То, чего мы не сделаем тут же, нам позднее уже не удастся.

Сегодня

замок Лувр еще охвачен смятением после ужасов прошедшей ночи. А к завтрашнему

вечеру люди придут в себя и прежде всего вспомнят о нас.

Оба помолчали, как бы по безмолвному соглашению. Генриху надо было обдумать

все сказанное другом. Агриппа же отлично понимал одно: «Если Генрих не скажет «да» добровольно, прежде чем я открою свои карты, этого «да» он уже не скажет вовсе, время будет упущено». Поэтому голова, видневшаяся над краем кровати, покачивалась и дрожала. И наконец проговорила:

— В беде лучше сразу рискнуть всем!

На этот раз Генрих не узнал стиха, во всяком случае он не подхватил его. Вместо этого он пробормотал:

— Они мне повесили карлицу на шею. Они катались от хохота, когда я с карлицей на загравке мчался по опустевшим коридорам Лувра.

— Этого я не видел, — прошептала голова. — К тому времени я уже успел забраться под кровать. Однако я понимаю, что история с карлицей вам понравилась. Вы желали бы побольше таких историй. Потому-то у вас и нет желания бежать.

— Не забудь эхо! — предостерегающе напомнил Генрих.

И тут мудрая голова заговорила — разве не другим, совсем другим голосом заговорила она? Удивительно знакомый голос, только сначала Генрих не совсем уяснял себе, кому он принадлежат. «Это же мой собственный голос!». Он понял это вдруг совершенно отчетливо. Самого себя, — впервые за всю свою жизнь, — самого себя слышал Генрих говорящим вне собственного тела.

— У меня нет ни малейшего желания ждать в полном бессилии, пока они заколют и меня. Поэтому я решил до конца покориться им, настолько, чтобы все мои протестанты презирали меня и чтобы я уже ни для кого не представлял опасности. Я произнесу отречение. Я пойду к обедне, напишу папе униженное письмо...

— Не делай этого! — ответил Генрих, как бы умоляя самого себя.

— Письмо, полное униженной покорности, и читать его будет весь мир, — отозвался его собственный голос. Агриппе, этому прирожденному актеру, пришлось, видно, немало поупражняться, чтобы научиться подражать Генриху с таким мастерством.

— Нет! — неосторожно воскликнул Генрих, испугавшись этих слов так, как будто они были сказаны его собственными устами. Однако через немного дней ему предстояло действительно произнести их, больше того: осуществить на деле.

— Эхо! — предостерегающе бросила ему голова и тут же продолжала обманным,

весьма тревожащим Генриха голосом: — Или лучше сразу рискнуть в беде головой?

— Она сказала эти слова по-латыни.

— Но ведь это всего лишь советы стихотворцев! — неодобрительно возразил голос самому себе. — Братец Франциск, чего ты хочешь? Мне бы только остаться в живых.

— Это ты тоже слышал? — спросил настоящий Генрих. — Такому перевертышу я не могу отдаться в руки.

— А вот он отдался мне в руки, — заявил голос-двойник. — И он не единственный, кто хочет бежать вместе со мной и поднять в стране восстание. Он повсюду кричит о том, что даже не знал о Варфоломеевской ночи. Другие молчат, но боятся они ничуть не меньше. Почему это я должен перечислять для эхо всех тех, кто мне предлагал дружбу и поддержку? Только двух я назову, ибо их носители не заслуживают ни малейшей пощады.

— Это... — Генрих торопил, задыхаясь, свой собственный голос.

— Это... — продолжал голос, — господа де Нансей и де Коссен. Они боятся, как бы королева-мать не приказала их убить: ведь тех, кто служил орудием, частенько устраниют. Оба негодяя будут за меня, это только вопрос денег.

— *Sper pretio non emo*[16. — Теренций, «Братья», 219.]. «Не плачу за надежду наличными», — отозвался настоящий Генрих. Однако у подставного уже был готов ответ из классиков: — «Пусть истина простой, бесхитростной будет».

—
Затем пояснил: — Самый понятный язык для подобных господ — это звон и блеск золотых монет. Я не сидел сложа руки и приготовил кошелек с золотом. Не успеет забрезжить день, как кошелек будет вручен кому следует на мосту у ворот. И тогда они широко распахнутся и выпустят меня. Эти двое сами пойдут со мной, и немало других примкнут к нам. Я стану сильным, и никто не остановит меня.

Настоящий Генрих все же сказал себе: «Я не плачу за надежду наличными». Но понимал он также и другое: слишком многое было уже начато и подготовлено, слишком многие в это посвящены. Потому-то он и сказал «да, я хочу» и сделал все, чтобы ответ его не прозвучал нерешительно или слишком поздно.

Ненависть сближает

Ночная затея кончилась плачевно, и ее единственным результатом было то, что Генрих и Агриппа некоторое время дулись друг на друга. Они прокрались в Луврский колодец, когда рассвет еще не наступил; там они стали ждать вместе с другими закутанными фигурами, предпочитавшими остаться неузнанными, ибо каждый не доверял соседу. В караулке под воротами дремотно теплился красноватый свет, и несколько раз в городе начинал звонить колокол — низкий, гулкий его звук еще стоял у всех в ушах после недавней резни. Но, может быть, именно сейчас этот звон и спас немногих собравшихся во дворе гугенотов, которые не открывали себя и не шли под ворота. Поэтому, как только начало светать, капитану де Нансею пришлось пройти во двор самому. С ним был его приятель де Коссен, и они прежде всего предоставили д'Обинье сунуть им кошелек с деньгами. Тогда они заявили, что кони оседланы и стоят за воротами: пусть господа идут на мост первыми, а они не замедлят к ним присоединиться.

И все-таки Генриху не хотелось вступать впереди всех в тесную подворотню — уж очень она напоминала западню. Пришлось идти обоим предателям. Вдруг кто-то преградил им дорогу: — Господа де Нансей и де Коссен, я арестую вас! Вся очевидность говорит за то, что вы подкуплены и хотели дать гугенотам возможность бежать. — Тут же началась свалка; в бледном свете зари трудно было разобрать, кто с кем дерется, пока чья-то рука не схватила короля Наваррского за руку: оказалось — д'Эльбеф. Этот молодой человек из Лотарингского дома и был тем, кто заявил, что арестует предателей. Он принялся убеждать короля Наваррского: — Вспомните, ведь я когда-то старался оттащить вас от ворот — и очень вовремя. — «Он, бесспорно, прав. Варфоломеевской ночи никогда бы не было, если бы я его послушался. Теперь-то я понимаю!» Так говорит себе Генрих, он верит дружеским чувствам этого юноши, хотя д'Эльбеф и принадлежит к дому Гизов. Он берет под руку нового друга. А старый друг Агриппа, прихрамывая, плетется сзади, ибо в свалке и его слегка помяли. Генрих указывает на него: — Вон умник, который заманил меня в ловушку. А деньгами эти два негодяя,

наверное, с ним поделится. Знаю я гугенотов.

— Особенно вероломны и неблагодарны гугенотские государи, — заявил бедный Агриппа, пораженный в самое сердце столь чудовищным подозрением. Он тут же остановился, а те двое продолжали свой путь.

— Сир, — предостерегающе обратился д'Эльбеф к Генриху, опиравшемуся на его руку, — не давайте гневу затуманить ваш ясный разум. Бедный Агриппа поступил необдуманно, он был слишком доверчив. На будущее и то и другое возбраняется как вам, так и вашим друзьям, а потому и мне. Каждый день придется нам отвращать какую-нибудь беду, которая нависнет над вами. На этот раз вам повезло. Но могло случиться и так, что оба предателя, подняв крик и шум, схватили бы вас на мосту. Они надеялись, что королева-мать им простит их великие услуги в ночь резни и они смогут спасти свою жизнь.

— Это верно, — согласился Генрих. — Сейчас в Лувре есть только два способа сохранить ее: или бежать, или выдать меня. Об этом мы должны помнить каждую минуту.

— Да, неизменно, — повторил д'Эльбеф.

В этот же день Генрих заметил, что д'Алансон избегает его. Причиной был его неудавшийся побег, а среди закутанных фигур наверняка находился и Двуносый. Тем неуживее он был: всякий отвечает за себя, а мое дело сторона.

Господа де Монморанси состояли в родстве с адмиралом Колиньи. Но они были католиками и поэтому достаточно влиятельны при дворе, чтобы уже теперь заступиться за протестантов, за их жизнь и веру. И при создавшемся положении они делали все, что было в их силах. Маршал неизменно ссылался на мнение всего мира о Варфоломеевской ночи, которая как-никак, а имела место. Но играть на этом можно было лишь до тех пор, пока не поступили вести из Европы, и уже самое большее — пока длилась первая вспышка негодования. Оказалось, что возмущены более отдаленные страны, вроде Польши, и более слабые — протестантские немецкие княжества. А Елизавета Английская подошла к событиям столь по-деловому, что стало ясно: она в таких начинаниях кое-что смыслит. Поэтому на ее счет мадам

Екатерина скоро совсем успокоилась. Отчасти всерьез, отчасти из какого-то дерзкого задора она даже порекомендовала своей доброй приятельнице устроить на своем острове такую же резню, — конечно, среди католиков.

В конце концов мадам Екатерина снова начала показываться всему двору. В ее облике уже не было, как раньше, какого-то налета таинственности, он стал будничнее: просто любящая мать собирает вокруг себя всех своих детей и ни для кого не делает исключения, ведь это было всегда ее искреннейшим желанием.

— Если бы хоть одного из вас не оказалось на месте, я бы не знала покоя, — заявила она с обычным своим простецким прямодушием и без тени насмешки. И как непринужденно, даже доброжелательно стала она в один прекрасный день разглядывать Наварру и Конде, которых до тех пор не желала замечать! Генрих испугался и насторожился. А она принялась расспрашивать обоих, как идет дело с их наставлением в истинной вере. — Хорошо идет, — заявил Генрих. — Я уже знаю все, что знает мой учитель. Милейший пастор сам сделался католиком, только когда почувствовал, что Варфоломеевская ночь неизбежна. Блажен, кто научился правильно рассчитывать.

— Научитесь и вы! — отозвалась мадам Екатерина.

Она окинула его взглядом и небрежно уронила: — Королек! — И это при всем дворе, а Генрих отвесил поклон — сначала ей, затем ее двору, и двор, глядя на него, хохотал, отчасти по глупости. Однако многие, содрогаясь, поняли, каково положение Наварры, и издевались над ним, только оберегая собственную шкуру.

Тогда мадам Екатерина и выдала себя. Весь день перед тем она незаметно наблюдала за «корольком», хотя и притворялась, будто не обращает на него ни малейшего внимания. А тут она махнула рукой, чтобы все отошли от ее высокого кресла, и Генрих остался перед нею один.

— Вы на второй же день сделали попытку бежать. Господа де Нансей и де Коссен награждены мной за свою бдительность.

— Я вовсе не пытался бежать, мадам. Но я рад за обоих господ. — Он кивнул им, заметив в толпе их злобно усмехающиеся лица.

— Сколько мне с вами еще предстоит хлопот! Как мать и близкий друг, я

предупреждаю вас! – Мадам Екатерина изрекла это поистине материнским тоном, что все присутствующие могли подтвердить. А Наварра всхлипнул, потом, запинаясь, проговорил: – Никогда, мадам, не хотел бы я оказаться вдали от государыни, подобной самым прославленным женщинам римской истории.

Так закончилась эта глубокомысленная и назидательная беседа. Она несколько возвысила Генриха в глазах двора, в ту минуту на него смотрели с меньшим презрением. Ведь человеку каждый день приходится быть иным, если он вынужден разнообразить свои хитрости. Для разнообразия Генрих решил прикинуться послушным, но туповатым. От него потребовали, чтобы он написал письмо бургомистру и старейшинам протестантской крепости Ла-Рошель с приказом распахнуть настежь ворота перед комендантом, которого им пришлет король Франции. И состряпал в высшей степени простодушное послание, так что те, зная его характер, конечно, не попались на удочку. В результате протестантская твердыня была через несколько месяцев осаждена, и всему королевству стало ясно, что Варфоломеевская ночь ни к чему не привела. Свалить врагов – дело нехитрое; но надо обладать уверенностью, что они не поднимутся вновь и не окажутся при этом вдвое сильнее. Что-то в этом роде сказал или буркнул себе под нос Карл Девятый, когда из провинций стали приходить дурные вести.

Карлом владела безысходная тоска. Ночью ему являлись привидения, он слышал вновь глухие звуки набата, как в ночь резни, а с реки неслись в ответ стоны и вопли. Кормилица-протестантка отирала ему пот, а пот-то был кровавый; так, по крайней мере, уверяли в замке Лувр. Утешить беднягу-короля удалось только его неунывающему кузену Наварре.

– Зачем вешать нос, милый братец. Сейчас в замке Лувр стало просторнее и живем мы дружнее. Те, кто попали в ловушку, – дураки. Я их всех уже позабыл. Если не ошибаюсь, твоя сестрица наставляет мне рога; но мне открываются богатейшие возможности отплатить ей тем же. – Тут он прищелкнул пальцами и повернулся на каблуках, которые носил несколько выше, чем принято.

Затем он улегся в постель, уверяя, что нездоров, и на самом деле был горяч и весь в поту. Врачи осмотрели его по приказу мадам Екатерины и были вынуждены признать, что он действительно болен, хотя и качали при этом головами. Но ведь

можно заболеть лихорадкой и от одного нежелания идти к обедне, — подожди еще, ради бога! «Если это уж непременно должно случиться, то отсрочь еще хоть чуточку, господи! Молю тебя, сделай так, чтобы я слег по-настоящему, пошли и мне кровавый пот или даже привидения. Пусть мои четыреста заколотых дворян обступят мое ложе. Уж лучше это, чем идти к обедне».

Однако роковой день все приближается. И вдруг оказывается, что вот он и забрезжил. И тогда мы покидаем наше убежище и неожиданно чувствуем в себе силы встретить его. Это случилось двадцать девятого сентября, в день святого Михаила, и рыцари ордена окружили Наварру, когда он шел в церковь. Его глаза были опущены, и даже в сердце своем не замечал он толпы, которая стояла вдоль дороги и пялила на него глаза, — может быть, с презрением, может быть, оплакивая... Переодетые гугеноты следовали за ним, видели, как тяжел был его шаг, и потом рассказывали по всей стране о том, сколь невыносимо притесняют их любимого вождя. Он же всю дорогу думал о своей матери и об адмирале.

Он думал: «Дорогая матушка, они нажимают на меня, еще немного — и я отдам приказ, чтобы наша страна, Беарн, отреклась от твоей веры. Мне придется изгонять твоих пасторов, а это все равно, как если бы я собственной рукой изгнал тебя, дорогая матушка! Господин адмирал, вашим сыновьям и племянникам пришлось бежать переодетыми. Вашу супругу держат в Савоие под стражей. Пройдет недолгий срок, и суд объявит ваши имения выморочными, а ваше имя бесчестным. Но не думайте, господин адмирал, дорогая матушка, что я предаю вас, если все же иду теперь к обедне. Вы знаете: я всеми силами оттягивал, целых семнадцать дней. Мой кузен Конде, который перед тем кипятился гораздо сильнее меня, пошел к обедне раньше, чем через семнадцать дней. Пожалуйста, зачтите в мою пользу мои хитрые уловки и проволочки, дорогая матушка и господин адмирал!» Так обращался он к ним, словно они живы, а ведь, вероятно, они и были живы и слышали его: туда, где они теперь, столь задушевные мысли доходят.

Когда торжественный церемониал перехода в другую веру совершился, — это было четвертый раз в его жизни, — Генриха без конца обнимали и целовали, и он смело отвечал на поцелуи. Королева-мать, со своей стороны, также оказала ему честь: ока ожидала увидеть юношу, который наконец-то был в жизни совсем один, ибо от

него отступились, как она полагала, даже духи его умерших близких и он утратил свое бывшее доброе имя. Поэтому она встретила его с веселой усмешкой, обняла и только, желая ему добра, ощупала, словно это было будущее жаркое. Но что с ней? Все веселье ее как ветром сдуло. Под одеждой у него оказался панцирь, он был на нем и тогда, когда Генрих отрекся от своих прежних единоверцев. Дурное предзнаменование! Мадам Екатерина хотела тут же удалиться, опираясь на свою палку. Он же позволил себе удерживать ее за руку и, поддразнивая, осыпать всякими ласкательными прозвищами. Что тут может поделывать неповоротливая старуха в закрытом наглухо черном платье и вдовьем чепце, если слишком порывистый молодой человек восхваляет ее нос, который явно слишком толст? И вот он уже старается поцеловать ее в нос, ловит его губами. Наконец ей удается ударить его своей палкой, с виду, конечно, в шутку, ведь тут зрители. А он начинает изображать собачонку, лает, прыгает вокруг королевы на четвереньках, хочет схватить ее за ноги. И тут мадам Екатерина, наконец, спасается бегством. Тело силится опередить ноги. Словно разваливаясь надвое, спешит она прочь, а двор хохочет над ней.

Мечь последовала незамедлительно. Генриху не только пришлось написать указ относительно беарнских протестантов, он отправил и письмо к папе. Это письмо превзошло своим самопопранием все остальное, и королева велела распространить его как можно шире. Когда они однажды опять дразнили друг друга, ей вдруг пришло на ум осведомиться о его здоровье. Он ведь хворый юнец, не настоящий мужчина, так ведь? Наверно, его мать Жанна передала ему по наследству зародыш преждевременной смерти...

Он открыл было рот, чтобы под видом шутки ответить: «Зародыш вы сами, мадам, высыпали ей в стакан!» Ибо они были в то время на очень короткой ноге — попавшаяся в силочку птица и хозяйка клетки. Ненависть сблизает. И вдруг он — услышал ее голос: — Надо будет спросить мою дочь относительно ваших мужских способностей. — Он тут же понял, что она задумала; обвинить его в мужском бессилии и добиться от Рима расторжения брака. Убивать его уже не стоило. Тем сильнее хотелось ей разделаться с зятем, от которого не было теперь ни вреда,

ни пользы, и снова выгодно отдать замуж Марго. Голова у мадам Екатерины была вечно забита всякими брачными планами, которые она измышляла для своих детей.

В тот вечер Генрих лег опять на супружеское ложе.

Вот чем становится любовь

Он подошел к опочивальне королевы Наваррской в сопровождении многочисленных придворных, из которых лишь немногие стали бы защищать его, оказались остальные убийцами. Но он всех их прихватил с собой; они потом будут вынуждены подтвердить, что он ходил к королеве. На всякий случай он сжимал в руке кинжал, им он и поскребся в дверь — не громко, но она тут же отворилась.

— Я жду вас, мой государь и повелитель, вы сегодня поздней, чем обычно, — сказала королева.

Он запер дверь изнутри на ключ и на задвижку. Когда Генрих обернулся, Марго уже лежала на подушках и протягивала к нему объятия. А он знал, чего хочет: разрушить коварный план ее матери; он это и сделал, затем повторил и уже не знал конца. Нежной Марго пришлось попросить его не забывать, что они снова вместе после долгой и страшной разлуки.

— У меня будет теперь от тебя сын, любовь моя. Ну скажи, почему ты раньше не подумал об этом средстве, чтобы посрамить всех твоих врагов?

— Ты подаришь мне сына?

— Я чувствую это, — сказала она. — Я хочу этого, — поправилась Марго. — Как давно уж я тоскую о тебе! Еще вчера вечером я скреблась у твоей двери.

Он хотел снова заключить ее в объятия: на этот раз, чтобы обнять в ней своего сына. А между тем, даже когда его сердце все еще учащенно билось, он уже вспомнил о том, что хитрость — это теперь для него закон. Хитрость управляет нашей жизнью. Ведь дочь проводит целые дни, сидя на ларе в комнате матери, и служит ее орудием. Уже раз так было, и Марго сама не понимает, какое через нее совершилось предательство. Генрих спросил: — А здесь не спрятан убийца? —

высунулся из кровати и схватился за кинжал. Если бы она сделала хоть малейшую попытку удержать его! Но она, напротив, оцепенела; она прошептала с ужасом и так тихо, что никакой непрошенный гость ее бы не услышал: — Я ведь забыла о том, что мы враги.

— Я и сам забыл, — сказал он. — Все нам запрещено — и наслаждение и страдание. — В ответ она быстро потянулась к нему губами, но между ними сверкнули зубы. Он ответил, еще задыхаясь от поцелуя: — *Faciuntque dolorem.*

Ее прекрасный голос произнес весь стих, и Генрих подумал: «Она все-таки выдавала мне тайны своей страшной матери; а сегодня вечером она перед всеми этими дворянами сделала вид, будто принимает меня каждый день». И он рискнул спросить: — Моя прекрасная королева, ты поможешь мне вырваться отсюда?

— Я восхищаюсь вами, сир, вы побеждаете опасности, как никто. Это про вас Вергилий сочинил стихи:

Все волнения, все тревоги
В жизни мне довелось испытать.
Даже грозные силы ада
Вряд ли могут меня испугать.

— Это вы сами перевели? — спросил Марго ее возлюбленный. — Вы очень учены и искусно переводите. Но — как же все-таки насчет моего освобождения?

— Прежде всего берегитесь моей подруги де Сов, — отозвалась возлюбленная. —

Я отлично вижу: эта сирена заманивает вас. Не поддавайтесь! Иначе вы погибнете.

Ее господин и повелитель — герцог Гиз.

— А ты что, хочешь вернуть его? — спросил он. Ревность заставила его забыть всякие маневры и идти напрямик. Но и она не сдержала себя. — Так это верно, что Шарлотта вам нравится?

— Нисколько. У нее колючее лицо, да и душа колючая. А все же — какая женщина не нравится мне? Даже ваша мать — мадам. Право же, я не лгу. Злая женщина — все равно что злой зверь. Это меня радует: два существа — в одном. Ибо в природе я больше всего люблю женщину и зверя да еще горы, — добавил он, — и океан. Люблю, люблю, — стонал он, уже прижимаясь к ее жаркому телу, которое нетерпеливо ожидало его ласк.

После столь великого воодушевления плоти истомленная и благодарная Марго решила открыть любимому все, что ей было дозволено, и даже сверх того.

— Любовь моя, мы не дадим тебе ускользнуть от нас, ты нужен нам, и мы тебя удержим.

На миг она предоставила ему гадать: но ради чего? Может быть, ради ее тела, но оно каждый раз быстро насыщается. Тогда зачем же? Ради ее ненасытной души?

Нет, нет, дочь королевы сказала, откинувшись на подушках: — Мы не допустим, чтобы вы ускользнули к вашим гугенотам, сир. Если они вас опять заполучат, они станут в десять раз сильнее. Мы же хотим воспользоваться вами в борьбе против наших врагов, вы будете находиться при войске моего брата д'Анжу, когда он начнет осаждать Ла-Рошель. Знай, — зашептала она почти беззвучно, у самого уха, ибо выдавала тайну, — что мы не в силах справиться с твоими единоверцами. Они чуяли, что ты не по своей воле написал им, предлагая сдаться. Обещай же мне, что ты покамест не будешь пытаться бежать, не то тебя убьют. О, обещай! — молила она с явным страхом, прижимаясь лбом к его лбу, так что их дыхания смешались и стали одним дыханием. Но он хотел видеть ее глаза, поэтому отодвинулся и спросил:

— Ты действительно боишься за меня?

Вот нелепое недоверие! Она тоже отодвинулась; больше того, ее лицо стало далеким и холодным. — Я принцесса Валуа, и я не желаю, чтобы вы победили мой дом и отняли у него престол.

Так закончилась эта ночь; потому-то на следующую Генрих и лежал рядом с Шарлоттой де Сов, которая ему еще совсем не нравилась, увлечение пришло позднее. До сих пор в его крови была Марго, она знала это. И горделиво сказала де Сов:

— Мадам, вы оказали нам большую услугу — мне и королю Наваррскому. Вы сразу же довели до сведения моей матери, что он лежал у вас в постели. Теперь королева полагает, что ее цель достигнута и я соглашусь на развод. Поэтому мой дорогой муж пока останется жив.

Разговор на побережье

Карл Девятый временно оправился от своей глубокой печали. Мать спросила королеву Наваррскую, доказал ли ей королек, что он настоящий мужчина. Так как тут случились свидетели, Марго покраснела, не ответила ни «да», ни «нет», а сослалась на некую античную даму. — А кроме того, раз моя мать выдала меня замуж, пусть все так и остается. — Это ей сошло безнаказанно лишь потому, что мадам Екатерина была целиком занята тем, как бы ей посадить своего сына д'Анжу на польский престол. Тут она шла даже против воли императора — так велико было ее честолюбие, а может быть, и страсть к интригам. Одновременно она вела переговоры с Англией, чтобы женить другого сына, д'Алансона, на королеве Елизавете. Последняя могла бы, таким образом, получить, при известных обстоятельствах, права на французский престол. Однако Елизавета была хитрее Екатерины Медичи, о которой Жанна д'Альбре некогда справедливо заметила, что, в сущности, Екатерина глупа. Поэтому рыжая королева и не соглашалась на эту сомнительную авантюру, а только водила свою подругу за нос.

Тем временем войско герцога Анжуйского подступило к крепости Ла-Рошель; короля Наваррского и его кузена Конде заставили сопровождать его.

Но они держались так, словно участвуют в этом походе с удовольствием. Генрих был обычно хорошо настроен и в любую минуту готов вести свои войска на приступ непокорного города. К сожалению, всякий раз штурм почему-то кончался неудачей, и так тянулось с февраля до лета. Одной из причин, вероятно, было то, что атакующие от усердия ужасно громко орали: какой гарнизон тут не насторожится? Однажды король Наваррский даже собственноручно выстрелил из аркебузы. Это увидел с крепостной стены один из гасконских солдат и стал сзывать остальных, чтобы они полюбовались на своего короля. «Lou poust Henric!»[17. — Слава нашему Генриху! (гасконск.)] — восторженно кричали они со стены. Он тоже очень обрадовался и во второй раз запалил фитиль. Раздался оглушительный выстрел, и осажденные замахали шляпами. Однако у герцога Анжуйского не было особых оснований для радости: его чуть не убило одним из этих выстрелов; на нем рубашку разорвало. Наварра стоял рядом и слышал, как его кузен воскликнул:

— Уж скорей бы в Польшу!

Ему давно туда хотелось, и не только из-за личных обид, нет, под Ла-Рошелью выяснилось, как плохи дела французского королевства. Всем стало ясно, что

Варфоломеевская ночь — тягчайшая ошибка: ведь в стране опять идет религиозная война. Адмирал Колиньи желал, чтобы католики и протестанты соединенными усилиями боролись против Испании. В результате этой проклятой резни междоусобица опять раздирала Францию, и ко всем ее границам неслись вести о гугенотах, которые продолжают держаться в Ла-Рошели, ибо им подвозят продовольствие с моря. А войско французского короля сожрало дочиста все, что было в окрестностях, и уже начало разбегаться. Но и это было еще не самое худшее. Не так страшен голод, как страшны мысли. На высоких постах, там, где еще кормили мясом, сидели недовольные, они называли себя «политиками», и они желали мира.

Если кто-нибудь уверяет, что он жаждет мира, то неизбежно возникает вопрос: ради чего? Когда в стране мир, то на полях созревает пшеница, и важно сначала узнать, хочет ли он мира прежде всего ради своей пшеницы или вообще. Урожай, которым интересовались под Ла-Рошелью умеренные, или «политики», назывался «Свобода вероисповедания». Они требовали права, наконец, открыто следовать своей вере и проповедовать то, что им подсказывают их убеждения и их воля. Поэтому у них был особенно зоркий глаз на те опустошения, каким подвергается страна в результате религиозной нетерпимости. Но противников свободы совести не останавливает даже опасность совсем погубить страну. Куда там! Они не замечают ни разорения, ни разгрома, лишь бы силою переделать всех людей на одну колодку. Человек с изнасилованной совестью — для них более приятное зрелище, чем созревающие поля и мирная жизнь. Они имеют еще и то преимущество, что могут столь же часто высказывать свое убогое представление о мирной жизни, как и мадам Екатерина, д'Анжу или Гиз. А тому, кто хотел просто-напросто быть свободным, выпала на долю неблагоприятная задача проповедовать необходимость мира.

Таковы были размышления пленника, который хотя и командовал католическими войсками, но все же оставался пленником. Додумался он до всего этого сам и особенно после тайных встреч с заговорщиками. Вначале это были еще как бы сырые, необработанные мысли. Отчетливую форму они приняли лишь во время кое-каких бесед на морском побережье с одним человеком, служившим в том же войске, довольно скромным дворянином, отнюдь не на виду.

На собраниях «политиков» среди других бывал и д'Алансон, или Двуносый, а также некий виконт де Тюрэн. Последний получил от французского двора самые точные указания относительно резни, которую предполагалось устроить здесь, в лагере, среди «подозрительных», то есть «политиков». На этот раз в числе намеченных жертв оказался и король Наваррский. Из-за него-то и тянули, — пусть его супруга сначала родит сына, а вскоре после этого последует резня. Уже его дворяне получили дружеские предостережения из ставки герцога Гиза, чтобы они как можно скорее покинули палатки короля Наваррского; дю Га, любимец д'Анжу, которого тот постоянно держал при себе, уже осмеливался угрожать открыто. Как же тут пленнику не стоять за умеренность, когда под угрозой его жизнь?!

А партия «политиков» повторяла: да, мы умеренные! Нас охватывает гнев и омерзение, когда мы видим, что творится и в управлении, и в финансах, и в суде. Дальше идти некуда. Помочь тут могут только самые решительные меры. Д'Алансон, Наварра, Конде должны восстать открыто. Нужно создать отряды из недовольных. Мы захватим королевский флот, английские суда подвезут нам подкрепление.

Генрих только отшучивался. Но ему было страшно; он говорил: — Уж таков обычай: сначала протестантов выгоняют из их крепостей, потом с ними торгуются и крепости им возвращают, чтобы вслед за тем опять оттуда выгнать. Этот обычай и до сих пор не отменен. — Он говорил так, опасаясь, что мятежники ничего существенного не сделают; и действительно, они предпринимали только робкие попытки и тут же терпели неудачу, ибо каждый действовал наугад. Так, например, ведет себя перевертыш д'Алансон. А чего он хочет? Да всего-навсего отравить жизнь своему брату д'Анжу. Вот его единственная цель, никаких убеждений у него нет. Но если бы Наварра вздумал отстранить его от руководства, он сейчас же обратился бы против Наварры. «А мне опасность грозит больше всех, — говорит себе Генрих. — Каждый может изменить мне и предать меня!»

Потому и вышло так, что под Ла-Рошелю он отчаялся в возможности действовать и занялся философствованием. Он предавался этому занятию в обществе, а отчасти и под руководством одного дворянина, человека, не занимавшего особого

положения, но уроженца юга. Дворянин этот только что сложил с себя судейское звание, чтобы попытаться счастья в военном деле. Но и тут ему не удалось выдвинуться. Он и сам соглашался с тем, что нет у него способностей ни к танцам, ни к игре в мяч, ни к кулачному бою, верховой езде, плаванию и к прыганью, да и вообще ни к чему. Руки у него были неловкие, и он не мог разборчиво писать, в чем охотно признавался. И уж сам от себя добавлял: даже печать к письму приложить не может, даже пера очинить или хотя бы взнуздать лошадь.

Всем его недостаткам Генрих дивился больше, чем если бы у его нового знакомого было столько же достоинств, ибо это сочеталось с таким складом ума, который был явно сродни уму Генриха, хочешь не хочешь, а это так. Даже видом своим этот перигорский дворянин напоминал самого Генриха: так же невелик ростом, коренаст, силен. Правда, ему было уже сорок лет и лицо стало бурым, а на лысой голове намечалась какая-то шишка. Выражение этого лица было приветливое, однако же с примесью той печали, которая появляется у человека, который жил и мыслил. Нового друга Генриха звали господин Мишель де Монтень.

Однажды Монтень сказал: — Сир, ваше теперешнее положение уравнивает вас со мной, человеком в годах. Мы оба побежденные: я — своим возрастом, вы — своими врагами, но их победа не окончательная, не то что победа лет, — повторил сорокалетний мудрец. — Одним словом, в эту минуту мы можем понять друг друга, и вам тоже понемногу становится ясно, что лежит в основе человеческого поведения. Вы жалуется на непоследовательность и бесцельность ваших действий. Правда, вы вините за это герцога Алансонского.

— Он перевертыш. Будь я на его месте, я бы уж нашел способ защитить свободу от насилия и помочь ей победить.

— Но это была бы прежде всего ваша личная свобода, — заметил Монтень, и Генрих, смеясь, согласился с ним.

— Вы бы вернули себе свободу. Впрочем, ваш бунт и появление англичан вызвали бы еще более губительное смятение.

Тут они прервали свою беседу, так как продолжали идти среди палаток и их могли услышать. Но потом лагерь остался позади. Из прибрежного песка торчал

ствол одинокой, завязнувшей в нем пушки. Редкие часовые, закрываясь плащом от ветра, который дул с моря, спрашивали у них пароль, и они громко выкрикивали его в морской простор: – Святой Варфоломей!

Они еще помолчали, чтобы привыкнуть к неистовому реву ветра и волн. Осажденная крепость Ла-Рошель высилась серым пятном на фоне разорванных туч и моря, с грохотом катившего свои валы из бесконечности. Какое войско дерзнуло бы атаковать эту крепость, которая высилась там, как зримый воочию форпост бесконечности? У Генриха и его спутника при виде крепости возникли те же мысли. Генрих ощутил, что толчком для размышлений явилось внезапно вспыхнувшее чувство; оно родилось где-то в недрах тела, но с необычайной быстротой дошло до горла, которое сжалось, и до глаз – на них выступила влага. И пока в нем росло это чувство, юноша познал бесконечность и тщету всего, чему суждено кончиться.

Его спутник заговорил о противоречивости человеческих действий.

– Один великий человек причинил даже вред своей религии тем, что хотел выказать себя более усердным служителем ее, чем подобало.

– Кто же это? «Insani sapiens»[18. – «Безумный мудрец» (лат.)], – проговорил Генрих, задыхаясь от ветра, дувшего ему в лицо. Гораций выразил в стихах ту мысль, что даже мудрость и справедливость могут зайти слишком далеко. А тогда разве назовешь д'Анжу «великим»? Вдохновитель Варфоломеевской ночи – и мудрость и справедливость? Совместимо ли это? Однако спутник Генриха все-таки имел в виду д'Анжу, хотя, по обычаю философов, и высказался на этот счет весьма туманно. Он привел еще ряд примеров непоследовательных поступков, и так как они были взяты из древности, то решил назвать и имена. Генриху же было важнее узнать его мнение о современниках. Однако Монтень не поддавался и не шел дальше самых общих замечаний. Но и они становятся удивительно осязаемыми, когда касаются того, что важнее жизни для человека.

– Ничто, – говорил Монтень, – так не чуждо религии, как религиозные войны.

– Он заявил это прямо, хотя его слова и могли показаться чудовищными. – Причиной религиозных войн является вовсе не вера; да и люди от них несколько не становятся благочестивее. Для одного такая война – средство осуществить собственные честолюбивые замыслы, для другого – способ нажиться. Святые

появляются не во время религиозных войн. Эти войны, напротив, ослабляют и народ и государство. Оно становится добычей своекорыстных вождений.

Не было названо ни одного имени – ни мадам Екатерины, ни ее сына д'Анжу, ни кого-либо из протестантов. И все же Монтень говорил слова столь дерзкие, что на них едва ли отважился бы кто-нибудь другой. Не только буря и волны восставали против них – почти все человечество заглушило бы их остервенелым ревом. И Генрих лишь диву давался, как дерзает обыкновенный дворянин высказывать то, чего не осмелился бы признать вслух ни один король. У него самого иногда возникали сомнения в пользе религиозных войн; но если бы он в них окончательно разочаровался, пришлось бы вместе с тем осудить и тех, кого он чтил так глубоко: свою мать и адмирала Колиньи. Правда, «политики» под Ла-Рошелью устроили заговор, заявляя, что их цель отныне – бороться только за умиротворение. Но в этом они просто увидели новый способ удовлетворить свое честолюбие и свои вождения. Те, кто задумал вместе с англичанами напасть на Францию, едва ли отнеслись бы благосклонно к суждениям перигорского дворянина, и, вероятно, д'Алансон, невзирая на всякое умиротворение, преспокойно заключил бы его в самую глубокую темницу и там навсегда забыл.

Генрих почувствовал столь глубокое уважение к мужеству этого человека, что в его душе исчезли последние следы недоверия.

– Какая же вера самая правильная? – спросил его Генрих.

– Разве я что-нибудь знаю? – ответил ему вопросом дворянин.

Этим он открылся и выдал себя, – люди делают так, только уверившись, что перед ними свой человек и они ему доверяют без оговорок. Поэтому Генрих взял руку Монтеня и пожал ее.

– Зайдемте вон в тот дом, – предложил Генрих. – Хозяева бежали, но свое вино они, наверное, оставили.

Дом стоял на берегу, и его, видимо, обстреливали с моря. Кто? Зачем? На это уже никогда не смогут дать ответ ни те, кто напали, ни те, кто спаслись бегством. Генрих и перигорский дворянин, пробравшись через заваленный вход. Внутри лежали обрушившиеся балки потолка, и через дырявую крышу было видно

небо. Но из подвала торчал конец лестницы, и внизу нашлось вино. В бывшей кухне гости уселись на одну из балок и выпили друг за друга.

— Так и мы — гости, гости на земле, где все убежища непрочны. И мы тщетно боремся за то, чтобы сохранить их. Что до меня, то я никогда не старался добиться большего, чем мне предназначено судьбой, и, хотя уже приближается старость, я до сих пор живу в маленьком замке моих отцов.

— Сейчас война, и вы можете его лишиться, — сказал Генрих. — Выпьем!

— Я пью, но вино показалось бы мне еще вкуснее, если бы я потерял все, чем владею, а потому был бы свободен от всяких забот. Уж у меня такой характер: я всегда опасаюсь худшего, а когда оно действительно приходит, постепенно к нему привыкаю. Мне гораздо труднее переносить неуверенность и сомнение. Нет, право, я не скептик, — заявил дворянин.

— Разве я что-нибудь знаю? — повторил Генрих. Эти, слова произнес перед тем его спутник; но тот уже забыл о них. — Выпьем! — решительно сказал он. — На пороге старости следовало бы во всем быть осторожнее; но иногда я начинаю понимать одного знакомого моих знакомых, который уже под конец своей жизни нашел себе жену в таком месте, где каждый может получить ее за деньги. Так он достиг самой нижней ступеньки, а она самая прочная.

— Выпьем! — воскликнул Генрих и рассмеялся. — Вы смелый человек! — И вдруг лицо его омрачилось: подумал, вспомнил признание дворянина относительно религии. Однако Монтень понял его иначе.

— Да, и я сделался солдатом. Мне хотелось проверить свое мужество. Познай самого себя! Только самопознание достойно того, чтобы ему предаваться. А кто знает хотя бы свое тело? Я вот ленив, вял, у меня неловкие руки; но я изучил свои органы, а потому и свою душу, которая свободна и никому не подчинена. Выпьем!

Они предавались этому занятию довольно долго.

И когда спутник Генриха, подняв кубок, запел стих из Горация, Генрих стал ему вторить:

Пусть высшие мне в счастье отказали

Быть равным им по роду и уму —
Мне их расположение ни к чему,
Коль высшим низшие меня признали[19. — Перевод Вл.
Микушевича.] .

Затем они поднялись, помогли друг другу перебраться через развалины и, выйдя на свежий воздух, все еще продолжали вести друг друга под руку. Духи вина улетучились лишь постепенно. Генрих сказал опять под грохот и шум океана:

— А все-таки я был и остаюсь пленником!

— Сила сильна, — отозвался дворянин, — но доброта сильней. Nihil est tam populare quam bonitas[20. — Нет ничего более близкого народу, чем доброта (лат.) .].

Генрих навсегда запомнил эти слова, ибо услышал их в ту пору, когда они явились для него единственным утешением. Народ любит доброту, ничто так не популярно, как доброта. И, полный доверия, он спросил своего спутника: — Неужели это правда, что когда мы действуем, то как будто становимся вниз головой? Верно ли, что кто призывает к действию, призывает к смятению?

Услышав слова, которые он сам произнес в начале разговора, принимавшего несколько раз совершенно неожиданный оборот, господин Мишель де Монтень опомнился. Он вспомнил о том, кого держит под руку, и выпустил ее; он повернулся лицом и грудью к океану.

— Господь бог на небесах, — начал он, торжественно подчеркивая каждое слово,
— господь бог редко удостаивает нас возможности совершить благочестивый поступок.

— А что такое благочестивый поступок? — спросил Генрих, так же оборотившись к морю.

Монтень привстал на цыпочки, чтобы выразить то, что на сей раз познал не из погружения в себя: чье-то великое дыхание пронизало его и заставило говорить.

— А вы вообразите себе следующее: войско, целое войско опускается на колени и, вместо того чтобы атаковать, начинает молиться; так глубоко оно убеждено в том, что ему уготована победа.

И это предсказание Генрих тоже сберег в своей душе до определенного дня.

Так завершилась их беседа. Стража во главе с офицером отвела друзей обратно в лагерь. Их уже искали. Возникло опасение, что король Наваррский бежал.

Вниз головой

Тем временем Париж наводнили невиданно блистательные господа в драгоценных мехах. Это были поляки, приехавшие за своим королем, ибо д'Анжу все-таки избрали на польский престол при великом ликовании польского народа, который собрался для этого на огромном поле. Казалось, новому королю следовало поторопиться: чего еще ждать от этой неблагодарной крепости, которая никак не хочет сдаваться! Но истинная причина, если бы только он мог признаться в ней, заключалась в том, что он ждал смерти своего брата Карла. Все же приятнее быть королем Франции, чем Польши. Карл, который отлично был об этом осведомлен, слал ему в Ла-Рошель одного гонца за другим, торопя его с отъездом. Ведь и выздороветь легче, если нет подле тебя никого, кто бы каждый день и каждый час надеялся, что у тебя вот-вот из всех пор брызнет кровь.

Мадам Екатерина относилась к обоим сыновьям по всей справедливости: она настаивала на отъезде своего любимца, чтобы больной успокоился. А вместе с тем позаботилась о том, чтобы в случае чего права любимца остались за ним. Успех в Польше, забота о преемнике Карла и виды на Елизавету Английскую, которой она послала весьма приукрашенный портрет Двуносого, — все это требовало от мадам Екатерины немало сил и внимания, и она уже не могла в любую минуту сказать о каждом, как у него и что. А уж ей ли не знать, насколько это важно, если хочешь властвовать сама, держа других в подчинении. Будь у мадам Екатерины голова не столь забита, все дальнейшее едва ли случилось бы.

Уже само путешествие к границам государства происходило как-то беспорядочно. Ведь двор непременно должен, был сопровождать польского короля до самой границы. Но целым двором ехать трудно даже в обычных условиях. А каково это, если обстоятельства требуют особого величия и к тому же сопровождающие королевский поезд поляки расскажут обо всем в Варшаве? Кареты, всадники, скороходы, вьючные животные, возы с припасами, вокруг идут солдаты, сзади тащатся зеваки и нищие, и все это движется через всю страну, катится и топает по дорогам, по глубоким колеям. А ведь гати из высохшей глины легко размываются дождями. Когда идет дождь, на кареты надевают чехлы, всадники закутываются в

плащи. Все спешат, бранятся, съезживаются. Народ уже не сбегается со всех сторон, чтобы поглазеть, разинув рот, или бухнуться на колени. Кругом широкие открытые равнины, на которые льются потоки дождя, только там и здесь среди пашни выпрямится крестьянин, неодобрительно поглядит на странствующий двор и снова согнется под мешком, которым он накрылся. Порядочные люди сидят дома или трудятся, накрывшись мешками. А двор кочует под дождем, точно цыганский табор.

Но вот выглянуло солнце, и вдали уже показался город — двор опять преисполнен величия. Стаскивают чехлы с карет, вспыхивает позолота, привинченные к ним короны блестят, развеваются перья. Всюду бахрома и блеск, шелк и счастье. Одни придадут себе заносчивый вид, другие улыбаются — кто строго, кто милостиво. Наконец поезд входит в город. Двор горделиво принимает все, что положено, — почтительность, склоненные спины. Звонят колокола. Старейшины города подносят хлеб-соль и уплачивают налоги под решительными взглядами вооруженных людей. Карла Девятого приветствуют, приходится выпить целую чашу вина.

Это пошло ему во вред, бедняге королю уже было не под силу осушать столь вместительные сосуды, его утомляли и тряска, и шум, и постоянная близость толпы. Но хуже всего переносил он воспоминания, а они неотступно преследовали его, они путешествовали вместе с ним, как бы далеко он ни отъехал от замка Лувр. Поэтому он молча выслушивал торжественные приветствия, недоверчиво косился на всех, кто пытался протолкаться к нему поближе; ибо отныне и до конца он обречен быть один. Двор таскал его за собой, по всем путям и дорогам, от толпы к толпе, хотя все ему опостытели и он им опостылел. Исхудавший и опять побледневший, он чувствовал себя столь же далеким от всего, что его окружало, как чувствовал себя, когда был еще бледным, надменным мальчиком, таким, как на своих портретах.

Карлу не удалось добраться до границы своего государства. В местечке Витри его пришлось оставить. Дворяне злоупотребили его именем, чтобы сострять Варфоломеевскую ночь, они бросили его больного в Витри и поехали провожать дальше его брата д'Анжу. Только кузен Наварра остался с ним, но у того были свои причины. И Карл угадал, какие: Генриху, конечно, хотелось удрать. Он, видимо, считал, что вокруг одра больного уже не шныряют шпионы. Кареты с

фрейлинами укатали, и старая королева сейчас не следит за ним. Почему же он не бежал на юг? Но Генрих лелеял более широкие планы, вернее, — более безрассудные. Он дал кузену Франциску уговорить себя и обещал податься с ним в Германию. Протестантские князья, дескать, их обоих только и ждут. Соединившись с ними, кузены вторгнутся в королевство, кузен Франциск сядет на престол, раньше чем его брат д'Анжу успеет вернуться из далекой Польши. Карл уже и в счет не шел.

Между Суассоном и Компьеном д'Алансон и Наварра попытались бежать, но были схвачены.

Тут-то мадам Екатерина и поняла, что внешнеполитические заботы слишком отвлекли ее от наблюдения за семьей. Своему больному сыну она заявила:

— Пока я ездила к границе, ты был все время с корольком и самое важное проворонил! Никогда тебе не стать настоящим государем. — Незачем было теперь щадить Карла! Ведь его дни сочтены!

Карл лежал, подперев голову рукою, и смотрел на мать тем же косящим взглядом; он ей ничего не ответил. А мог бы сказать: «Я знал об этом». Но он тоже достиг границы, правда, иной, чем путешествующий двор, и вот он молчал.

А мадам Екатерина уже не обращалась к нему, она говорила сама с собой: — Мне все-таки удалось в последнюю минуту перехватить беглецов, оттого что кое-кто наконец-то проболтался. — Кто — она не сказала. Тут в дверь постучали, оказалось — Наварра; как ни в чем не бывало, он потребовал, чтобы его впустили к королю. Но вместо этого услышал, как королева-мать приказала ответить ему, что король спит. Между тем она говорила громко — так не говорят в комнате спящего. При столь явном унижении присутствовало большое число дворян. Наварра, опустив голову, торопливо удалился в свою комнату. Но с двери уже были сняты замки и задвижки, офицеры могли входить в любое время и заглядывать под кровати; так они обращались и с королем Наваррским и с герцогом Алансонским; эти же люди были в свое время одними из главных участников Варфоломеевской ночи. Так обстояло дело в Суассоне.

Д'Арманьяка, спавшего в комнате своего государя, обыскивали всякий раз, когда он в нее возвращался. Не только его — задержали даже королеву Наваррскую,

пожелавшую пройти к своему супругу. Наконец ей разрешили побеседовать с ним при открытой двери. Но их подслушивали, поэтому она говорила шепотом и вдобавок по-латыни.

— Дорогой повелитель, — сказала Марго кротко и печально, — вы очень меня обидели, и это после всего, что я сделала, чтобы спасти вас! Даже врачи поверили, будто я беременна. Увы! Этого не было и, боюсь, не будет. Когда мне показалось, что пора, я даже подвязала себе подушку к животу. Однако можно обмануть врачей, но не мою мать, и я не хочу даже говорить о том, что мне пришлось вытерпеть. И вот в то время, как я заботилась только о вашем благе, что вы задумали?

— Да ничего! — уверенно и небрежно бросил Генрих. — А что мне было задумывать? Неужели ты не видишь, что твоя дорогая мамаша только ищет предлога, чтобы отправить меня на тот свет?

— И правильно делает, — отрезала Марго.. другая Марго, принцесса Валуа. — Ибо вы враг нашего дома, вы хотите его погубить! — Другую Марго рассердила его неискренность, и в голосе у нее появились жесткие нотки.

Но тем непринужденнее держался Генрих:

— Неужели ты веришь в какой-то заговор? Значит, по-твоему, я хотел призвать к нам пузатого Нассау? — Генрих надул щеки, запыхтел и мастерски изобразил, как дышит толстяк. Но она не рассмеялась, в ее прекрасных глазах стояли слезы.

— Даже мне ты лжешь, даже сейчас! — с трудом проговорила она. Но он продолжал отрицать это, он дерзко подшучивал над нею и окончательно вывел Марго из терпения. Обозлившись, она крикнула ему на этот раз по-французски: — Нет, ты дурак, ты просто дурак! Нашел, с кем связаться! С моим братцем д'Алансоном! И воображаешь, что он будет хранить твою тайну!

— Он и хранил ее очень строго, — настаивал Генрих, только чтобы еще больше раздражить Марго.

Она и в самом деле потеряла всякую власть над собой и, наклонившись вперед, бросила ему в лицо: — Да это он и выдал тебя! — Но Генрих продолжал подзадоривать ее: — На худой конец — одной-единственной особе, и она мне

известна. — Тут Марго торопливо и необдуманно выпалила: — Дуралей, я-то ведь лучше знаю, кому! И эта особа, конечно, не стала долго раздумывать, она все выложила матери!

Вот оно, признание. Значит, доносчица — сама Марго. Выдав свою тайну, она почувствовала страх и тоску и отступила к двери. А он — у него и в мыслях не было наброситься на нее; напротив, он добродушно крикнул в ответ: — Вот я и узнал наверняка! А тебе проболтался Ла Моль!

Ла Моль принадлежал к числу тех красавцев-мужчин, которые, подобно Гизу, гордятся своим ростом и мощными телесами. Марго питала к нему слабость, она неизменно возвращалась к излюбленному ею типу мужчин. Генрих это видел, потому-то он и назвал имя Ла Моля, словно Марго уже настолько с ним сблизилась, что любовник мог посвятить ее в тайну своего сообщника д'Алансона, а она тут же побежала с доносом к матери. Таков был скрытый смысл всего, что говорил Генрих, и вот он, наконец, с улыбкой бросил ей в лицо: «А тебе проболтался Ла Моль!».

Она прикусила губу; она размышляла: «Ты сам виноват, ну и получишь рога». Придя к такому решению, она снова обрела всю свою кротость. Подошла к нему, преклонила колени и сказала с мольбой: — Дорогой мой повелитель, пусть между нами не останется и следа от этой ничтожной размолвки.

Затем она удалилась. А он смотрел ей вслед и думал о своей мести, так же как она о своей.

Скорее! Скорее! Заговоры следуют один за другим, как дни в замке Лувр, как месяцы, а потом и годы. Решительный удар был намечен на одно февральское утро — двор как раз находился в Сен-Жермене. Генрих и его кузен Конде поедут на охоту и не вернутся. Страна восстанет, все «умеренные» уже наготове — католики и протестанты. Губернаторы провинций поддержат, один гарнизон уже на нашей стороне. Принцам остается только пуститься в путь с пятьюдесятью всадниками, и они — в безопасности. А вместо этого арест, крушение всех надежд, вынужденный, унижительный отказ Наварры от всяких затей подобного рода и клятва никаких мятежников впредь не поддерживать, если они намереваются нарушить порядок в

государстве. Наоборот, он должен хранить верность престолу и решительно за него бороться. Подо всем этим Генрих подписался; он сам себе не верил, даже когда уже держал перо в руке. Не верила ему и мадам Екатерина. Этот королек — отчаянная голова, почти такой же сумасброд, как и ее сын д'Алансон, который в решающий день вдруг отказывается ехать на охоту и остается в постели. Надеяться можно только на нелады между заговорщиками, да к тому же всегда найдется изменник, который всех выдаст. В Сен-Жермене эту роль сыграл Ла Моль, человек с красивым и мощным телом, наконец украсивший рогами голову Генриха. А о чем умолчит Ла Моль, то откроет Двуносый, только бы выгородить себя.

И мадам Екатерина действительно простила д'Алансону: как-никак он ей сын, к тому же не очень-то опасен. Из пренебрежения пощадила она и Конде и позволила ему уехать, возложив на него обязанность именем короля править Пикардией. Вместо этого Конде удрал в Германию; но его побег мало трогал мадам Екатерину. Нет, по-настоящему она не доверяет только одному человеку, которого с притворным презрением зовет «корольком». Крапивница, или королек, — очень маленькая птичка, однако в ее глазах он был еще недостаточно мал. С тех пор как ее дочь стала его обманывать, королева отказалась от мысли расторгнуть их брак.

Но если только его благочестивые гугеноты узнают, что Марго ему изменяет, он, конечно, тут же вырастет в их глазах! Ведь за кого они его теперь считают? Чего могут ждать от него? Чтобы спасти собственную шкуру, он опять сделался католиком. Остатки своей доброй славы он растрчивает в бессмысленных, авантюрах и отрекается от каждой, как только она проваливается. Ниже всего Наварра скатился тогда, когда, желая предать короля, стакнулся с любовником собственной жены.

Двор стоял в Венсене; здесь было еще меньше возможностей для тех, за кем зорко наблюдала мадам Екатерина. И все-таки они затевали все новые козни, вернее, те же, что и обычно: побег, мятеж, приглашение немецких войск.

Однако на этот раз зачинщиком оказался сам предатель; Давно ли их выдал Ла Моль, и вот они теперь на него же положились! В Сен-Жермене они поняли, что это за человек, а в Венсене успели уже позабыть? Чем объяснить такое легкомыслие? Пусть д'Алансон — сумасброд, а Генрих озлоблен тем, что ему приходится давать унижающие его объяснения. Но все-таки ни один человек, если

он в трезвом уме и твердой памяти, не будет действовать столь неосмотрительно, да еще при дворе, где, как известно, следят за каждым шагом; особенно же — если дело касается столь опасных личностей, как Наварра и его кузен Франциск, уже не говоря о том, что они и сами друг другу не доверяют. Но, видно, в человеке живет неискоренимое стремление действовать во что бы то ни стало, это похоже на тревожный сон. Ведь уж, кажется, оба молодых человека на горьком опыте узнали, что такое Ла Моль: предатель по натуре, и к тому же друг принцессы, которую мать не выпускает из своих страшных когтей и которая все ей передает. Может быть, сама Марго и была подстрекательницей своего любовника и сделала это именно по приказу матери? Мадам Екатерине хочется наконец знать, кто же все эти люди, готовые ей изменить, и какой вид примут союз ее врагов и их планы, если она даст этим планам дозреть до конца и до кровавой расправы!

А союз этот выглядел так: два молодых принца, которые по разным причинам вздумали словно стать вниз головой и бегать на руках, отчего, как известно, кровь приливает к глазам и человек ничего не видит. Затем несколько влиятельных вельмож, из тех, которые считают себя особенно разумными, сдержанными и верными. Они вообразили, будто понимают больше старой умницы королевы, и доказывают это тем, что вступили в сообщество со всякими проходимцами, в числе которых один алхимик, один астролог и один шпион. Последний изо дня в день обо всем осведомлял мадам Екатерину, и эти дни она особенно любила — дни, полные внутреннего напряжения и радостного чувства превосходства: так кошка, притаившись, подстерегает беззаботную птичку. Вот птичка уже напрыгалась и готова улететь; тут-то ее и настигает когтистая лапа.

Герцог Монморанси, родственник покойного адмирала, а также маршал Коссе исчезли в казематах Бастилии. Всенародно были казнены на Гревской площади оба зачинщика: один итальянец и вместе с ним этот самый Ла Моль, что доставило мадам Екатерине истинное удовольствие, ибо она была мастерица на такие шутки: ведь Ла Моль служил ее же орудием, хотя и не догадывался об этом. Кроме того, он был дружком ее влюбчивой дочки — уж та задала ей жару, когда покатила его голова! Прямо скорбь восточной вдовы! Марго взяла себе эту отрубленную голову и

приказала впрыснуть в нее соответствующие составы, чтобы сберечь во всей мужской красе; убрала драгоценными камнями и повсюду таскала с собой; но когда новый мужчина захватил и увлек Марго, она бережно похоронила голову, заключив ее в свинцовый ящик.

Что касается остальных заговорщиков, то ведь астрологам надлежит вопрошать звездный свод о судьбах сильных мира сего, а алхимики, со своей стороны, должны прозревать будущее в испарениях металлов. Поэтому мадам Екатерина никак не могла решиться отправить на тот свет двух великих посвященных. Она тут же решила, что хотя эти мудрецы и надули своих товарищей, но ей они, конечно, будут предсказывать правду.

Иначе поступила она с зятем Наваррой. Хорошо, пусть и ее сын, этот дуралей д'Алансон, подвергнется позорящим принца допросам и изобразит из себя пленника. Но своего королька старуха забрала к себе в карету. Уютно посиживала она там, искренне наслаждалась и, не спуская с него любящего взора, везла его обратно в Париж, в замок Лувр. А он-то надеялся, что не так скоро увидит опять его ненавистные стены. Оказалось, окна его комнаты забраны решеткой, и кому же поручена охрана Генриха? Его дорогому другу, капитану де Нансею. Да, узник попал в надежные руки.

Он понял и образумился. Это был как бы толчок, вызванный внезапной остановкой после слишком торопливого и беспорядочного движения. Какая-то дрожь безнадежности охватывает члены, и голова никнет от небывалой усталости.

— Сир, — посоветовал ему д'Арманьяк, — не лежите так много! Танцуйте! Главное же, показывайтесь при дворе! Тот, кто уединяется, вызывает подозрения, а их уж и так достаточно.

Генрих ответил: — Моя жизнь кончена.

— Она для вас даже еще не начиналась, — поправил его первый камердинер.

— Ниже пасть нельзя, — жалобно продолжал несчастный. — Я очутился на последней ступеньке, а она самая надежная, — почему-то вдруг добавил он. Д'Арманьяк нашел его речь несколько бессвязной, и в самом деле Генрих спросил:

— Разве я был не в себе? Зачем, — продолжал он, — я это делал? Я же знал, какой будет конец.

— Заранее никто ничего знать не может, — вставил д'Арманьяк. — Все зависит от случая.

— Но ведь решать должен был мой разум, а где у меня была голова? — возразил Генрих. — Тем сильнее смятение нашего духа. Чем больше мы предаемся интригам, тем сильнее смятение. И это потому, что в них участвуют и другие, а они ненадежны. И я сам становлюсь в конце концов ненадежным. Поверь мне, д'Арманьяк, большинство наших поступков мы совершаем в состоянии неразумия, точно на голове стоим.

Крайне удивленный, д'Арманьяк заметил: — Не ваши это слова, сир.

— Я слышал их от одного дворянина, которого знал под Ла-Рошелью, они произвели на меня глубочайшее впечатление, и самое удивительное вот что: едва услышав, я их тут же забыл, однако начал совершать поступки, от которых помрачается, затуманивается рассудок, сознание.

— А вы больше не думайте об этом, — посоветовал первый камердинер.

— Напротив, я никогда этого не забуду. — Генрих встал с кровати, выпрямился и решительно заявил: — Никаких начальников больше нет! Отныне я сам себе единственный генерал.

Так он сделал в высшей степени своеобразный вывод из того положения, что большую часть наших действий мы совершаем, как будто стоя вниз головой. Дворянин под Ла-Рошелью для себя лично сделал бы иной вывод. А вместе с тем ему ли не знать, что всякая истина имеет оборотную сторону, примеры же, взятые из древности, помогли ему понять душевный склад двадцатилетнего юноши: у этого юноши ловкие руки, он схватывает мысли, как мячи, он прыгает, он может оседлать коня. «Я стою на пороге старости, а он — прообраз молодости, которой я слишком мало пользовался».

Так размышлял господин Мишель де Монтень в своей далекой провинции, ибо он тоже не забыл ни одного слова из их беседы на морском побережье.

Мамка и смерть

В следующем месяце Карлу Девятому должно было исполниться двадцать четыре

года; но 31 мая 1574 года он лежал на кровати и умирал. Это было в Венсене.

Все уже знали о предстоящем событии, и потому замок точно вздрагивал от тревоги, то и дело прорывавшейся шумом. Партия, стоявшая за польского короля, уверяла, что он успеет вовремя вернуться во Францию и покарать всех изменников — так они называли приверженцев Двуносого. Отсюда раздраженные голоса и звон оружия, но это было не все: под сводами отдавались громкие звуки команды, все выходы охранялись, и особенно гулко гремели тяжелые шаги охраны у двух дверей, на которые было обращено неусыпное внимание мадам Екатерины. За этими дверями находились ее сын д'Алансон и королек — и они хорошо делали, что не показывались, а сидели там, у себя, под охраной. Только выйди они — и ни один не сделал бы и нескольких шагов. Первый же призыв к мятежу кого-либо из их друзей — и жизнь обоих немедленно подверглась бы опасности.

Сегодня здесь правила смерть, ибо король умирал. Мать все-таки дотащила его до Венсена: этот замок легче держать под наблюдением, чем Лувр. Ни народ, от которого можно ждать чего угодно, ни противники ее любимца д'Анжу не могут ей здесь помешать, когда она провозгласит его королем. Королем! Это уже третий сын! Сегодня умрет второй, очередь будет за третьим, а в запасе у нее есть еще четвертый. Если оба они будут жить недолго, то в конце концов настанет день, когда мадам Екатерина возьмет на себя все заботы об управлении государством, и та роль, которую она выполняет сейчас, видимо, так и останется за ней навсегда. Ибо для того, чья жизнь протекает в действии, существует только настоящее: будущее и прошлое тонут в нем. Для нее Карл Девятый, например, никогда и не жил, так как сейчас ему предстоит умереть. И уж, конечно, не мать будет помнить о нем. Он лежал один.

Обвязав умирающего платками, пропитанными останавливающим кровь целебным бальзамом, врач ушел. И Карл понял: врач уже не надеется остановить кровь. Он просто хочет избавить больного от тяжелого зрелища: пусть не видит, как на коже повсюду выступают и сплываются капли багряной влаги, пусть лучше не слышит, как

от него пахнет. Благовонный бальзам заглушит запах крови, — конечно, ненадолго, думает Карл. Даже когда повязки были только что наложены, Карл потягивал носом и не мог уже забыть до конца, как пахнет его последний часок. Он был когда-то крепким молодым человеком и сохранил для смерти всю ту силу, которую жизнь уже не хотела от него принять: силу познания, силу присутствия духа.

«Мой врач, Амбруаз Паре, когда-то перевязывал адмирала, — думал Карл. — Вместе с адмиралом должен был погибнуть и он, но спасся, выскочив на крышу. Хорошо, если бы можно было бежать через крышу! Я знаю! Я все знаю! Но я всего этого, наверное, не знал бы, если бы по моей вине не был убит адмирал. И я знаю, почему сейчас за стеной такой шум. Почему меня, невзирая на мои страдания, привезли сюда. Почему я лежу теперь совсем один и никому уже нет дела до меня».

— Я умираю, — проговорил он вслух.

— Это правда, сир, — отозвалась его мамка. Она сидела на ларе и вязала. Когда ее питомец открыл глаза и заговорил, она поднялась и отерла ему лицо. Но платка не показала.

— Хорошо, кормилица, что ты не болтаешь вздору, как этот врач, и не стараешься обмануть меня. Я знаю, и я готов: ведь я уж ни на что больше не гожусь. И я не хочу быть, как иные, которые под конец еще соскакивают с кровати, кричат и стараются убежать от смерти. Куда и зачем? Хотя у меня, конечно, еще хватило бы сил встать с кровати, напугать двор и мою мать этими белыми тряпками, моим окровавленным лбом и заставить их всех разбежаться.

— Но ты же король! — радостно напомнила она ему с пробудившейся безрассудной надеждой. Только кормилица и осталась ему верна. Двадцать четыре года без одного месяца была она благодаря ему особой высокого ранга. Накупила земли столько, что теперь до конца своих дней обеспечена; и лет ей всего немногим за сорок, красивая, ядреная женщина. Но твой король не умрет без того, чтобы ты, кормилица, не проводила его часть пути, ведущего во мрак. Да, его последние содрогания и прощальный шепот сливаются с его первым движением и первым плачем. Тогда ты держала его на коленях, которые горделиво напрягались, и прижимала к своей полной груди. Так же и теперь, кормилица, ты хочешь поддержать его

напоследок.

Он решил не кричать и не уклоняться от предстоящего ему, но тяжело вздыхал, охал, и видно было, что ему страшно. Перед ним вставали видения, даже теперь, среди бела дня, он слышал жуткие голоса, не принадлежавшие живым.

— Ах, кормилица, как много крови, сколько убитых! Дурные у меня были советчики. Только бы господь простил и сжалился надо мной!

— Послушай, король! Разве ты ненавидел нас, протестантов? Нет, ты всосал нашу веру с моим молоком. Сир! Вся кровь убиенных да падет на тех, кто их в самом деле ненавидел! Ты был неповинным младенцем, с тебя господь не взыщет.

— А что сделали с твоим неповинным младенцем? — жалобно отозвался он. — Разве это можно понять? Я... да! Ничто из содеянного мной не мое, и ничего из того, что было, я не могу взять с собой. А когда бог спросит меня про Варфоломеевскую ночь, я пробормочу: «Господи! Я, наверно, проспал ее!»

Голос больного перешел в шепот, он задремал. Мамка приложила к его лицу чистый платок, затем расправила. На нем отпечатались кровавые очертания этого лица.

Так как его дыхание стало тяжелым и хриплым, она вытащила из-под его головы подушку; и вот он лежал перед нею, вытянувшись во весь рост, и она сделала то, чего он так же не должен был видеть, как и кровавый платок: она сняла с него мерку. С величайшей тщательностью обмерила мамка тело своего короля и, как некогда клала его в колыбель по своей должности и по праву, должна была теперь положить в гроб. И сделать второе было ей не труднее, чем первое: она была женщина сильная. Он же, напротив, стал опять легким, как дитя. Долгие годы была она свидетельницей того, как увеличивался его рост и вес! Одно время его лицо сделалось багровым, движения несдержанными, голос гремел. Задумчиво смотрела она на него теперь, когда он стал опять такой тонкий и бледный, а скоро и совсем затихнет. Между началом и концом своей жизни он пролил кровь многих людей, теперь его собственная кровь медленно вытекала из него. Мамка чувствовала, что ни того, ни другого нельзя было предотвратить, — все это происходило ради каких-то неведомых ей целей. Теперь оставалось одно: «Я, его

кормилица, положу его в гроб». Она одобряла все, что происходило, и глаза у нее были сухи.

Наступил вечер, вечер накануне Троицына дня. Вдруг Карл проснулся. Мамка догадалась об этом только по его дыханию. Она зажгла свет: вот диво – кровотечение прекратилось. Но он очень ослабел и лишь с трудом пошевелил рукой, чтобы объяснить ей, чего он хочет. Мамка сначала не поняла, хотя посадила его на кровати и приложила ухо к его губам.

– Наварру, – прошелестел он, тогда она догадалась.

Распахнув двери, она выкрикнула приказ короля, охрана передала его дальше, и кто-то побежал выполнять. Офицер поспешил, конечно, не к Генриху, а к мадам Екатерине. Поэтому она первая появилась у одра умирающего сына. Мамка умыла ему лицо, оно казалось высеченным из белого камня и невыразимо отстраняющим навязчивость живых. Мадам Екатерина со своей теплокровной натурой убийцы наталкивается на что-то совершенно ей чуждое, даже жуткое. Так ее дети раньше не умирали. Что-то уж слишком благородно! Этого человека я не знаю. Этот никогда не вылезал из моей утробы. Хорошо, что здесь ждут еще кое-кого!

А тем временем Генрих Наваррский шел дорогой страхов – по сводчатым коридорам, словно ошетилившимся от множества вооруженных людей. Мороз подирал по коже при виде всего этого обнаженного железа – аркебузы, алебарды, бердыши. Он понял, что здесь хозяйничает смерть, понял не хуже, чем сам Карл, но при этом вся его горячая кровь осталась при нем, и у него были ноги, чтобы бежать отсюда. Генрих действительно запнулся и чуть не повернул обратно. Однако пересилил себя, вошел к королю и опустился на колени. От двери и до кровати он полз на коленях. И тут услышал, как прошелестел голос Карла: – Брат мой, теперь вы теряете меня, но вас самого давно уже не было бы на свете, если бы не я. Один боролся я против всех, кто замышлял убить вас, и вы за это не оставьте в будущем мою жену и ребенка. В будущем... – повторил он, и, как ни тихо говорил Карл, это слово прозвучало громче остальных. «Он знает, что я должен стать королем Франции! – подумал Генрих. – Умирающий провидит грядущее».

Так-то обстоят дела; вот почему мадам Екатерина в чрезвычайном смущении. Правда, гороскопы и испарения металлов опровергают слова ее умирающего сына. А

все-таки подобные слова чреваты последствиями; итак, будем начеку! Карл силится еще что-то завещать Генриху. Вероятно, он хочет предостеречь его, это видно. —

Не доверяй моему... — с трудом начинает он, но тут королева прерывает его: —

Молчи! — И так как Карл окончательно изнемог и упал обратно на подушки, Генрих так и не узнал, кого именно ему следует больше бояться — д'Анжу, который его ненавидит, или д'Алансона, своего ненадежного единомышленника. И он решает остерегаться обоих.

Мадам Екатерина, убедившись, что Карл уже ничего больше не скажет, ушла. Генрих, коленапреклоненный, дождался начала агонии.

В конце концов мамка осталась одна со своим питомцем. Склонившись над ним, она ловила его тяжелые вздохи, не из сострадания к тому, кто уже не чувствовал страданий, а просто она не хотела пропустить последнего вдоха.

И она чувствует, что перед этим угасающим духом сейчас таинственно брезжат только самые ранние, давно забытые, никому, кроме них двух, неведомые минуты. Они пришли им на память одновременно, и, бок о бок с отходящим от этого мира, она вернулась к тем далеким дням. Его губы вздрагивали лишь от судорожного дыхания; и все-таки она расслышала слово «лес», все-таки уловила слова «ночь» и «устал». Ребенок заблудился в лесу Фонтенбло, и теперь ему страшно в темноте. Это случилось в незапамятные времена его детства и теперь, перед самым концом, еще раз. И она тихонько запела — вместо него. Повторяясь, низутся друг за другом все те же слова, и мамка выводит вполголоса:

Стало, дитяtko, темно,
Стало холодно давно.
Мрак ночной в лесу залег.
Дитяtko, твой путь далек... —

тянет мамка, убаюкивая его и себя.

Дитяtko, где дом родной?

Вдруг она замечает: что-то свершилось.

Ты устал — а где постель?..

Ей-богу, это и был последний — его последний вздох. И она тут же выпрямляется и, закрывая ему глаза, с чувством доканчивает:

Мамка в гроб тебя кладет
На покой, как в колыбель.

Moralité

Le malheur peut apporter une chance inespérée d'apprendre la vie.

Un prince si bien né ne semblait pas destiné a être comblé

par l'adversité. Intrépide, dédaignant les avertissements, il

est tombé dans la misère comme dans un traquenard. Impossible de s'en

tirer: alors il va profiter de sa nouvelle situation. Désormais la vie lui

offre d'autres aspects que les seuls aspects accessibles aux heureux de ce

monde. Les leçons qu'elle lui octroie sont severes, mais combien plus

émouvantes aussi que tout ce qui l'occupait du temps de sa joyeuse ignorance. Il apprend à craindre et a dissimuler. Cela peut toujours servir, comme, d'autre part, on ne perd jamais rien a essayer des humiliations,

et à ressentir la haine, et à voir l'amour se mourir à force

d'etre maltraité. Avec du talent, on approfondit tout cela jusqu'à en

faire des connaissances morales bien acquisés. Un peu plus, ce sera le

chemin du doute; et d'avoir pratique la condition des opprimés, un jeune

seigneur qui, autrefois, ne doutait de rien, se trouvera changé en un

homme averti, sceptique, indulgent autant par bonté que par mépris et

qui saura se juger tout en agissant.

Ayant beaucoup remué sans rime ni raison, il n'agira plus, à l'avenir, qu'à

bon escient et en se méfiant des impulsions trop promptés. Si alors on peut

dire de lui que, par son intelligence, il est au dessus de ses passions ce sera

grâce à cette ancienne captivité où il les avait penetrées. C'est vrai qu'il

fallait être merveilleusement équilibré pour ne pas déchoir pendant cette

longue épreuve. Seule une nature temperée et moyenne pouvait impunement

s'adonner aux moeurs relachées de cette cour. Seule aussi elle pouvait se risquer au fond d'une pensée tourmentée tout en restant apte a reprendre cette serenité d'âme dans laquelle s'accomplissent les grandes actions généreuses, et même les simples réalisations commandées par le bon sens.

Почтение

Несчастье может даровать неожиданные пути к познанию жизни. Казалось бы, столь высокородному принцу не суждено было в удел такое обилие бедствий. Бесстрашный, равнодушный ко всем предостережениям, он попал в беду, как попадают в капкан. И ему не вырваться; тогда он решает извлечь пользу из своего нового положения. Отныне жизнь показывается ему с иных сторон, нежели те немногие, которые зримы для счастливых мира сего. Суровы уроки, которые она ему преподает, но насколько же глубже они проникают в душу, чем все, что занимало его в дни безмятежного неведения! Он учится настороженности и скрытности. Это всегда может пригодиться, а с другой стороны, ведь ничего не теряешь, отирая плевки унижений, выращивая в себе ненависть и видя, как умирает любовь, когда ею помыкают. При некоторой одаренности все это можно охватить мыслью так, что превратится оно в стойкий опыт души. Немного погодя эти бедствия приведут его на путь сомнения во всем; но, побывав в шкуре угнетенных, молодой государь, прежде ничего не ведавший, сделается человеком мудрым, трезвым и снисходительным – столько же от доброты, сколько от презрения; вместе с тем, действуя, он окажется способным судить самого себя.

До того он слишком много суетился без смысла и толку, а теперь начнет совершать поступки лишь по зрелом размышлении, остерегаясь чересчур непосредственных порывов, И если тогда можно будет о нем сказать, что ум его выше страстей, то этим он будет обязан своему бывшему плену, когда он проник в их истинную природу. Правда, потребовалась необычайная выдержка, чтобы не пасть во время столь долгого испытания. Лишь натура уравновешенная и наделенная чувством меры может безнаказанно подражать распутным нравам этого двора. И лишь такая натура способна, отважно погрузиться в пучину мучительных дум и все же сохранить в себе силы и вернуться к душевной ясности, при свете которой совершаются и великие деяния, полные благородного великодушия, и повседневные

поступки, внушенные всего лишь здравый смыслом..

VI. Нemoщь мысли

Нежданный союз

Что это случилось с Марго? Она вдруг заявила о своей готовности помочь бегству и того и другого – короля Наваррского и своего брата д'Алансона. Пусть один из них, переодевшись в женское платье, сядет рядом с ней в карету, когда она будет выезжать из Лувра. Она имела право взять с собой провожатую, и той разрешалось быть в маске. Но так как беглецов было двое и ни один не хотел уступить другому, то план этот не осуществился, как и многие другие. Впрочем, Генрих никогда в него и не верил. Ведь уж сколько таких планов сорвалось. Он нашел, что Марго прелестна в своем великодушии, и только потому не отказался сразу же. Видя, как велико несчастье Генриха, она пожалела о том, что некогда сама выдала его матери. Он был тронут, хотя и угадывал крившиеся за всем этим личные побуждения: желание отомстить мадам Екатерине за смерть своего Ла Моля.

Даже во время торжественного погребения Карла Девятого, через сорок дней после его смерти, Генрих только и думал о том, как бы удрать. Была сделана еще одна попытка, – предполагалось, что Генрих уедет из Лувра на лодке и переправится на тот берег. Неудача вызвала в нем бешеную ярость, он стал выкрикивать самые нелепые угрозы, но на этом дело и кончилось. Отныне к нему могли подъезжать с самыми соблазнительными выдумками – Генрих относился к ним совершенно спокойно. Ни следа прежней опрометчивости. Правда, когда такие предприятия обсуждаются слишком долго, все в них становится сомнительным, не только исполнимость самого плана, но и его желательность. Это верно как для планов побега, так и для всех случаев жизни. Наварра советовался много и со всеми. Ночью у него были для этого женщины, днем мужчины. И каждый из них мог думать, что Генрих его развлекает, или дурачит, или почтительно выслушивает. Одни видели в нем придворного весельчака, другие искали возвышенные чувства, но

он всех водил за нос. Даже когда изредка дарил кого-нибудь своей откровенностью, то старался, чтобы это было потом разглашено и послужило его успеху. И пользовался любым случаем, чтобы лишний раз выразить свое восхищение перед мадам Екатериной. Послушать его, так Варфоломеевская ночь – шедевр мудрой политики. Вопрос только в том, что было гениальнее со стороны королевы: убить Жанну и Колиньи или даровать Генриху жизнь.

– Со временем, когда я стану умнее, – говорил Генрих, – я, вероятно, пойму и это. Правда, я и до сих пор не знаю, какими судьбами я еще жив, но моя мать и адмирал были принесены в жертву ради достижения тщательно продуманной цели. Только дурак мог бы затаить в сердце месть. А я просто молод и любознателен.

Старуха узнала об этом, и если даже она поверила ему хотя бы наполовину, то сама эта ненадежность Генриха пленяла ее. Его же влекло к Медичи как раз то, что он находился в ее власти. Оба испытывали друг к другу любопытство и держались настороже, как бывает только при опасности. Иногда она пускалась в необъяснимые откровенности. Так, однажды вечером призналась, что он далеко не единственный ее пленник.

Не свободен даже король, ее любимчик. Она держит его в своей власти с помощью волшебных зелий, пояснила Медичи и подмигнула.

Король Генрих – третий французский государь, носивший это имя, – приехал из Польши переодетым. Когда он был в Германии, они могли бы захватить его.

Однако там этого не сделали. Здесь же, в его собственном замке, Лувре, французский король оказался в плену у своей матери и ее итальянцев, которым удалось пролезть в канцлеры и маршалы. Только иноземцы, откровенно призналась она своему другу Наварре тридцатого января, под завывание ночного ветра и дребезжание оконных стекол, любой нацией должны править только иноземцы. Пришлый авантюрист никогда не побоится пролить кровь чужого народа. А если пришлого не найдется, так пусть этот народ пропадает пропадом. Таков закон, он непреложен, благополучие развивает в нациях легкомыслие. Особенно французы – эти любители всяких памфлетов. Лучше, если люди дрожат, чем зубоскалят.

— Вот уж правда-то, мадам! — воскликнул Генрих с воодушевлением. — Но как бы вы стали награждать поместьями всех ваших соотечественников, которые перебрались во Францию, если бы не существовало верного средства: когда нужно, вы приказываете удавить одного или нескольких сидящих в тюрьме французских поместных дворян.

Мадам Екатерина прищурила один глаз, как бы подтверждая справедливость его слов.

— Среди удушенных вами, поместья которых вы отобрали, был даже секретарь вашего сына, короля.

— Попробуй только сказать ему об этом! Ни у кого еще не хватило смелости.

Так говорила старая королева, ибо в минуты особого доверия называла своего королька на «ты». Она наградила его шлепком и продолжала совсем другим тоном — лукаво и вместе с тем таинственно.

— Королек, — начала она. — Ты вот мне подходишь. Я давно за тобой наблюдаю и убедилась, что небольшое предательство тебя не испугает. Люди слишком в плену у предрассудков... А что такое в конце концов предательство? Умение идти в ногу с событиями! Ты так и делаешь, потому-то твои протестанты тебя и презирают — по всей стране и в стенах Лувра, хотя тут их осталась какая-то горсточка.

Генрих испугался: «Что подумают обо мне господин адмирал и моя дорогая матушка? Вот я сижу и слушаю эту старуху, а надо бы взять и удавить ее. Но все еще впереди. Я медленно подготавливаю свою месть, она будет тем основательнее».

Однако на его лице не отразилось ничего, кроме готовности служить ей и простодушного сочувствия.

— Вы правы, мадам, я совсем испортил отношения с моими прежними друзьями. Поэтому, мадам, я тем более хотел бы снискать ваше расположение.

— Особенно, если тебе, малыш, позволят в награду немножко порезвиться. Ты вот теперь играешь в мяч с Гизом и умно делаешь, хотя он и наступил на лицо мертвому Колиньи. Ты должен также сопровождать его каждый раз, когда он будет выходить из Лувра.

— Он часто выходит. Чаще всего выезжает верхом.

— Выходи и выезжай вместе с ним, — чтобы я знала всегда, где он был. Ты сделаешь это для меня?

— И мне тогда тоже можно будет выезжать из Лувра? Каждый день? За ворота? Через мост? Все, что вы прикажете, мадам, будет исполнено!

— Не воображай, будто я боюсь этого Гиза, — презрительно добавила королева.
А ее новый союзник убежденно подхватил: — Кто еще, кроме лотарингца, способен так хвастать своими телесами? Отпустил себе белокурую бороду, а народу это нравится!

— Он дурак, — так же убежденно продолжала Медичи. — Он подстрекает католиков. И ему невдомек, на чью мельницу он воду льет! На мою же! Ведь мне скоро опять понадобится резня: протестанты не дадут нам покоя даже после Варфоломеевской ночи. Что ж, получают еще одну. Пусть Гиз подзуживает католиков, а я разрешаю тебе поднять гугенотов. Рассказывай тем, кто в Париже, что их вооруженные силы бьют нас по всей стране. К сожалению, в этом есть доля правды. А провинции ты дай знать, что здесь скоро вспыхнет мятеж; и пусть он вспыхнет!
Согласен? Ты сделаешь все, как надо, королек?

— И мне можно будет переезжать через мост? И ездить на охоту? На охоту? — повторил он и рассмеялся: так велика была чисто ребячья радость пленника.

Мадам Екатерина, глядя на него, улыбнулась с высокомерной снисходительностью. Даже самая многоопытная старуха не всегда учувет в искренней радости ту долю хитрости, которая в ней все же скрыта. Любой пленник, когда он прикидывается еще более приниженным, чем требуется, поступает правильно; тот, кто ожидает своего часа, должен вести себя как можно скромнее и неувереннее.

Когда Генрих вышел от своей достойной приятельницы, он тут же за дверью натолкнулся на д'Обинье и дю Барта. Оба они давно не показывались вместе. Это было бы слишком неосторожно. Тут они не выдержали: ведь их государь так бесконечно долго беседовал с ненавистной убийцей. Генрих стал для них загадкой. Хотя они любили его по-прежнему, но совсем не знали, насколько ему можно доверять.

Генрих сказал недовольным тоном: — А я не ожидал встретить вас перед этой

дверью.

— Да, сир, мы охотнее встретились бы с вами в другом месте.

— Но это нам запрещено, — добавил один из них.

— Д'Арманьяк не пускает нас к вам, — пояснил другой. Охрипшими голосами, перебивая друг друга, они начали жаловаться: — Вы все забыли, водитесь только с новыми друзьями. Но это же недавние враги. Неужели вы действительно все позабыли? И кому вы всем обязаны, и даже за кого должны отомстить?

Слезы брызнули у него из глаз, когда они напомнили о мести. Но он отвернулся: пусть не видят этих слез. — Новый двор, — сказал он, — любит веселиться, а вы все еще продолжаете грустить. При Карле Девятом и я был бунтовщиком, да что толку? Мечь! Что вы понимаете в мести? Если отдаться ей, она делается все глубже, глубже, и наконец почва уходит из-под ног.

Все это говорилось в присутствии охранявших Лувр швейцарцев, которые бесстрастно смотрели перед собой, будто не понимали ни слова.

Оба старых товарища заворчали: — Но если вы ничего не предпримете, сир, тогда будут действовать другие — небезызвестные участники Варфоломеевской ночи.

Они не унимаются ни при этом развеселом дворе, ни в церквях. Вы бы послушали, что они там проповедуют.

— Они требуют, чтобы вы обратились в католичество, иначе прикончат еще и вас. Ну что ж, обратитесь! Я это уже сделал.

Тут они от ужаса словно онемели. Он же продолжал: — А если вы все-таки не хотите сдаваться, так ударьте первые. Вы сильны. В Париже еще найдется несколько сотен ревнителей истинной веры. Может быть, у них нет оружия, но с ними бог...

Он двинулся дальше, а они в своей великой растерянности даже не сделали попытки следовать за ним. — Он издевается над нами, — прошептал один другому.

Даже швейцарцы не должны были этого слышать. Но перед собой они старались найти

ему оправдание: — Может быть, он хотел предостеречь нас, чтобы мы не затевали

никакого мятежа? Через неправду дал нам понять правду? Это на него похоже. А

перед тем он заплакал, но не хотел, чтобы мы заметили. Впрочем, у него глаза

на мокром месте. Плачет, когда ему напоминают, что надо мстить, а все-таки

вышел из этой двери. Из той самой комнаты, где отравили его мать!

И оба согласились на том, что они перестали понимать своего государя и что они глубоко несчастны.

Второе поручение

Генрих отправился к королю, который носил то же имя, что и он, и был третьим Генрихом на французском престоле. Когда-то они часто играли вдвоем, Генрих с Генрихом. Мальчишками в Сен-Жермене, наряженные кардиналами, они въехали однажды на ослах в ту залу, где мадам Екатерина принимала настоящего кардинала. Нечто подобное они повторили теперь, уже, взрослыми, — король Франции и его пленник-кузен, чья мать и многие друзья лишились здесь жизни. Зато на другой же день король Франции отправился в монастырь, чтобы поскорее замолить свои грехи. В течение определенного срока он замаливал свои богохульства, и еще одного срока — свои плотские заблуждения, и еще одного — свою слабость как государя. Его безволием злоупотребляли да еще глумились над ним: интриганы, жулики, наложники и одна-единственная женщина — его мать. А он продолжал все раздаривать, прошучивать, проматывать. Иногда на миг в нем вспыхивало сознание того, что происходит. Ведь он ограблен, обещен, и тогда он замыкался в безмолвии.

А они принимали это безмолвие за угрозу и стушевывались, едва король умолкал. Но его немота являлась следствием трагического ощущения своей несостоятельности. И каждый раз его душу начинала угнетать мысль о том, что вырождающийся королевский дом не способен что-либо свершить или предотвратить ни в своей стране, ни за ее пределами. — Терпимости бы нам побольше, — заявил он как раз сегодня своему зятю и кузену. Эти слова у него вырвало отчаяние. — Мир был бы нам весьма кстати. Разве я ненавижу гугенотов? Да я в девять лет сам был гугенотом и бросил в огонь молитвенник моей сестры Маргариты. Я отлично помню, как мать меня била и как мне доставляло удовольствие дразнить ее. До сих пор мне стыдно перед ней за это чувство. Хотя она давно обо всем забыла. И куда я иду? Мне следовало бы желать мира между религиями. А когда я стал королем, то поклялся, что не допущу в моем государстве никакой религии, кроме

католической. Что же мне делать? Я не изгоняю еретиков, как я должен бы, а молюсь об их обращении. Я способен только молиться.

— Нет, вы способны на большее, — убежденно заговорил Генрих Наваррский, выступавший теперь в роли скромного слушателя того Генриха, который стал ныне королем. — У вас превосходный слог. Усердно сочиняйте послания и указы. Ваше усердие, сир, послужит для всех нас наилучшим примером.

Этот король в дни уныния — а такой день был и сегодня, тридцатого января, — старательно писал, как будто мог возместить все, что им упущено, собственноручно изливая на бумагу потоки чернил. Однако к ним постоянно примешивалась кровь, а его добрая воля была бессильна. — Мой секретарь Ломени что-то очень давно болеет, — заметил он. — Проведаю его.

— Не надо, сир! Он умер, открою вам по секрету. Он от нас хотели утаить печальную весть, чтобы не огорчать, вы как раз были в монастыре. Говорят, он заболел чумой.

Ломени был именно тот подавленный в тюрьме помещный дворянин, земли которого перешли к итальянцу; король не в первый раз дивился исчезновению своего секретаря. Колючие глаза короля на небритом лице, явно напоминавшем обезьянье, метнули быстрый и неуверенный взгляд на кузена, желая подстеречь, какое у него появится выражение; впрочем, король тут же опустил их на бумагу. — И ради этой-то восхитительной жизни я не мог дожидаться, когда умрет мой брат Карл, — пробормотал он.

— А разве не стоило? — спросил изумленно простачок-кузен.

Король закутался в свой меховой плащ и продолжал писать. А кузен Наварра тем временем ходил по комнате, принимался что-то бормотать себе под нос, на минуту умолкал и опять что-то бубнил.

— Новый двор сильно отличается от прежнего. Это скорее чувствуешь, чем видишь. При Карле Девятом мы все были какие-то сумасшедшие. Правда, и сейчас беспутничают с женщинами, но еще больше с мальчиками. Многие научились этому только теперь, чтобы не отставать! Я — нет, и очень жалею: ибо таким образом некоторая сторона человеческой природы остается для меня скрытой.

— И слава богу, — вставил король, продолжая писать. — Мальчишки еще жаднее, чем бабы. Кроме того, они убивают друг друга. Мой самый любимый юноша заколот.

— При Карле этого не случилось, — заметил Генрих, — хотя вершиной его царствования была Варфоломеевская ночь. А что трупный запах держится при новом дворе устойчивее, чем при старом, с этим я готов согласиться. Но если не думать о запахе, то как дружно мы живем теперь! Никто и не мечтает о побеге, мятежах или вторжении немцев. Я уж ученый, я и пальцем не шевельну ради всего этого!

Он помолчал и, слыша только скрип пера, начал с другого края. — Мы с Гизом теперь друзья, кто бы мог думать! Если ваше величество меня отпустит, я сяду на коня и поеду охотиться. Королева-мать мне разрешила. Правда, за каждым моим шагом будут неусыпно наблюдать те, кто охотнее стали бы моими убийцами, чем телохранителями.

Перо продолжает скрипеть. — Ну, так я пошел, — заявляет Наварра. — Льет дождь, и мне не хочется выезжать, чувствуя, что за спиной у меня убийцы. Лучше пойду к себе в комнату и поиграю с шутом. Он еще печальнее, чем король.

Но когда пленник дошел до двери, его снова окликнули. — Кузен Наварра, — сказал король, — я долго тебя ненавидел. Но теперь ты в несчастье, как и я. И причины нашего несчастья — одни и те же события... наши матери... — проговорил он как бы с трудом. Генрих испугался: никогда он не смотрел на вещи с этой точки зрения. Как, его мать виновата в постигших его бедах? Поставить Жанну рядом с мадам Екатериной! Генриха охватило отвращение, и он позабыл, что должен владеть своим лицом. Однако его унылый собеседник ничего не заметил, у короля у самого было тяжело на душе. — Какую еще гнусность она задумала? — спросил он и прямо почернел от овладевших им подозрений.

— Никакой, сир. Королева в отличном расположении духа. Отчего бы и вам не быть в таком же?

— Оттого, что у меня есть еще брат, — раздался неожиданный ответ. Генрих не сразу нашелся, что ответить. Смерть старшего брата не принесла счастья. А

теперь король все-таки хочет смерти младшего. Король Франции — прямо какой-то восточный владыка в своем серале, весь остальной мир для него заслонен смертельной опасностью, грозящей ему во дворце от каждого из окружающих. Генрих уж чуял, что воспоследует. Правда, король презирает свою мать за ее мерзости, но тревожит его беспокойный брат д'Алансон. И неизвестно, кого ему придется под конец презирать сильнее: мадам Екатерину или самого себя. Ясно, что он переживает внутреннюю борьбу. Но борется он тщетно; продолжая втайне подстергать собеседника даже в минуту такой откровенности, стоившей ему стольких мук, он проговорил: — Кузен Наварра! Освободи меня от моего брата д'Алансона!

— Я глубоко тронут, сир, вашим доверием, — заявил Генрих почтительно и поклонился. Таким образом, он не ответил ни да, ни нет. Может быть, король принял его слова за согласие.

— В таком случае, — многозначительно продолжал король, — я смогу тебе верить. — В его голосе все еще слышались подстерегающие нотки, хотя д'Анжу и делал вид, что все это шутка.

— А тогда, — подхватил Генрих с той же многозначительностью, — мне можно будет выезжать верхом без моих убийц?

— Больше того. Кто меня освободит от брата, тот станет наместником всего королевства.

«А уж это ты соврал! — подумал Генрих. — Ну, Валуа, милый мой, теперь ты у меня запоешь!» И он подпрыгнул с чисто ребяческой радостью. — Да я и мечтать об этом не смел! — ликующе воскликнул он. — Наместником всего королевства!

— Сейчас мы это и отпразднуем, — решил король.

Новый двор

Забегали дворецкие, и замок Лувр, который, казалось, погружен был в дремоту, пока король предавался печали, вдруг ожил и помолодел от радостной суеты многих юношей. К вечеру королевские покои были превращены в персидские шатры. За легкими узорчатыми тканями горели восковые свечи; их мягкий, мерцающий свет образовывал как бы призрачный свод и стены. Строгие бледные мальчики в прозрачных одеждах, с накрашенными губами и подчеркнутыми ресницами, держа в

руках обнаженные сабли, выстроились перед высоким помостом и застыли. На помост
взошли зрители, впрочем, их было очень немного: несколько итальянцев и
господа
из Лотарингского дома. Герцог Гиз, гордый своим великолепным телом, всюду
держался хозяином, да и только! У его брата Майенна брюхо было обтянуто
переливающимися шелками. На поясе висел золотой кинжал. Присутствовал
еще один
член того же дома, д'Эльбеф, загадочный друг; он появлялся возле короля
Наварского только в самые критические минуты.

Что касается Наварры, то он нарядился в роскошное платье и украсил его
цветами своего дома, — пусть каждый видит, как он гордится тем, что тоже
присутствует на таком празднике. Празднество устраивалось только для
мужчин и
мальчиков. Последние должны были пленить первых, а те отметить их своей
благосклонностью. Несколько прелестных пар уже танцевало. Ни сложение, ни
одежда не выдавали их пола, и это двусмысленное очарование особенно
действовало
на итальянцев и на толстяка Майенна. Наварра отдал им должное и
согласился, что
таких пленительных созданий не было среди его людей, которые носили
грубые
колеты, ездили сомкнутым строем, не слезали с коней по пятнадцати часов и
вместо отдыха пели псалмы. — Если бы мои друзья были живы, — проговорил
он
небрежно, — из них, наверно, вышли бы такие же прелестные мальчики.

— Подожди, еще выйдут, — заметил Гиз. — Кое-кто из них ведь уцелел.

— Я не знаю их, — отозвался пленник. — Я всегда там, где... — он хотел
добавить: «весело», но вдруг спохватился; ведь перед ним был совсем
особый
враг.

Канцлер Бираг, итальянец, получил свой пост благодаря мадам Екатерине. С
нею
и с несколькими своими соотечественниками проник он однажды ночью в
опочивальню
Карла Девятого. Этот преуспевающий чужеземец видел в пленнике Наварре
тайного
врага собственной власти. И поэтому без всяких околичностей начал
форменный
допрос: — А вы не в стоворе с неким д'Обинье и его сообщником дю Барта?
Эти
господа возбуждают школяров против так называемого иноземного господства,
как
будто самые высокие посты в королевстве заняты только иностранцами.

— Sono bugie, какое вранье, господин канцлер! — с ненапускным
негодованием
воскликнул Генрих на языке пришельца. Впрочем, тот не поверил ни одному
его
слову. Лотарингцев еще можно обмануть, но не чужеземца.

— Ваши друзья, — с трудом проговорил Бираг, задыхаясь от ярости, — ближе к виселице, чем..

— Чем я, — dokonчил Генрих. — Да, меня вам не поймать.

— Я вешаю быстро и охотно.

— Но только мелких людишек, синьор. Вы повесили какого-то несчастного капитана, который кричал, что всем итальянским жуликам надо бы голову отрубить.

Меня же вам пришлось бы изобличить перед всем миром, судить и казнить со всей полагающейся торжественностью. Но этого вам не дожидаться. Давайте держать пари! Идет? На что?

— Согласен и ставлю свой лучший сапфир.

Обе стороны разыграли эту сцену весьма театрально, словно она являлась неотъемлемой частью пленительной музыки и танцев и была задумана в духе грубоватой интермедии.

— Сир! — воскликнул Генрих, увидев короля Франции (тот раздвинул стену персидского шатра, и оказалось, что король уже тут, стоит, весь блистая, точно султан, дающий праздник). Генрих преклонил колени: — Сир! У вашего жестокосердного визиря на уме лишь колесование да четвергование. Неужели я для этого остался в живых после Варфоломеевской ночи?

— О, если бы покойный король меня послушался! — воскликнул канцлер Бираг. От ярости выговор его стал совершенно чудовищным, а голос — как у охрипшего попугая. Таким же голосом он однажды несколько часов подряд донимал Карла Девятого, пока короля не охватило бешенство и он не отдал приказ начать резню.

— Вот слышите, сир, что он говорит, — только и ответил Генрих и почувствовал, что король на его стороне. Раньше он был лишь братом короля и вдохновителем Варфоломеевской ночи, теперь он сам король, но только потому, что его брат умер от угрызений совести; а как обстоит дело с его собственной совестью? Он очень не любит встречаться с теми, кто некогда, в самые мрачные минуты его жизни, помогал ему уламывать Карла. Даже видеть мать было ему противно, а уж тем более ее итальянцев. Но приходилось их терпеть, допускать на самые интимные сборища; в мальчиках они тоже кое-что смыслили.

— Встань! — приказал персидский султан, блистая камнями своего тюрбана.

Кузен Наварра вскочил с упругостью мячика. Султан властно заявил: — Ты мой личный пленник, и никто не смеет поднять на тебя руку. Помиришь же с моим визирем! — Генрих только того и ждал. Он тут же исполнил вокруг канцлера настоящий танец примирения, а восточная роль последнего обязывала итальянца с бесстрастным достоинством взирать на все происходившее, хотя у него от ярости глаза вылезли из орбит.

— Великий визирь! — обратился к нему Генрих. Он коснулся своей груди, затем груди канцлера и как бы случайно попал пальцем в огромный сапфир. — В Персии ужасно воруют, — добавил Генрих. К счастью, заиграл туш, и в его звуках потонуло все, что окружающие еще могли услышать. Начался балет. Танцующие семенили на носках, взмахивали покрывалами и стибали стройные колени; тут были одни мальчики, хотя некоторых и одели девушками. Их глаза искрились сквозь прозрачную ткань покрывал, пожалуй, соблазнительнее, чем женские; и если забыть о некоторых, слишком явных признаках мужественности, то движения их тел казались совсем женственными. Те, которые сохранили свой облик юношей, протягивали мнимым девушкам кончики пальцев не менее жеманно, чем их «дамы», и так же мягко обнимали их гибкими руками, изнемогая в мольбе о любви. Танцоры двигались плавно, без малейшего напряжения. И когда мальчики кружили «девушек» или плавно приподнимали их над собой, казалось, действуют не мускулы, а одна лишь волшебная сила грации.

Тут-то дю Га и показал себя. В обычной жизни это был дерзкий на язык, глупый, нахальный и продажный малый; но сейчас он был как нельзя более на месте. И не случайно оказывался он при каждой фигуре танца в первом ряду. Зрители на помосте не спускали с него глаз, и каждый готов был поверить, что именно его благосклонности жаждет дю Га. Как и все другие мальчики, он опустился на колени перед своей «дамой» и молча молил о разрешении поднять ее покрывало. На самом деле он как бы преклонял колени перед королем или султаном, а незаметно для него выражал свои чувства канцлеру или визирю, уже не говоря о толстяке Майенне, который даже вспотел, так его разобдало. Всем этим господам чудилось, что они чем-то отмечены и даже возвеличены, а на самом деле шалопаи просто-напросто издевались над ними. В другое время дали бы ему пинок или приказали повесить. Однако искусство имеет великую власть, хоть она и

мимолетна.

Но вот оно становится еще более волнующим. Кто бы подумал, что человеческие лица могут оказаться такими новыми и восхитительными, когда после искусного танца, подготовившего зрителей к этой минуте, с юношеских лиц наконец-то срывают покрывала? Даже у грубых мужчин дрогнуло сердце, тем более у короля Наваррского. У него невольно вырвалось проклятие — его обычное проклятие. Он глазам своим не поверил. Он даже потер их кулаком. — Габриэль? — спросил он.

— Он самый, собственной особой, — насмешливо заверил его верзила Гиз. — Один наложник срывает покрывало с другого: наш дю Га — с твоего Лерана.

— Выходи, будем с тобою биться!

— Будем, но не из-за мальчишки. Он красив, и его путь при новом дворе предрешен.

У Генриха на глазах выступили слезы. Ему хотелось сказать что-нибудь Лерану, но тот не поднимал ресниц. А ведь и у него когда-то, в Варфоломеевскую ночь, текли слезы из-под белой повязки, скрывавшей его лицо. Две жертвы этой ночи, Габриэль Леви де Леран и Карл Девятый, лежали тогда рядом на ложе короля Наваррского. Что ждет пас теперь?

Гиз насмешливо бросил ему вслед:

— Оказывается, такие создания были и у тебя, среди твоих людей в грубых колетах, в сомкнутом строю, когда всадники по пятнадцати часов не слезали с седел и для отдыха пели псалмы!

В самом деле: что тут скажешь? — Леран прав, если он подчинился и готов превратиться во что угодно, даже в девушку. — Так Генрих легкомысленно отмахнулся и от этого унижения, среди многих других он проглотил и его, и никто не знал, куда их деваает этот живчик. Он умел смеяться над собой, как будто сторонний человек. Низости тут не было никакой; вдумчивый наблюдатель не счел бы его ни бесчестным, ни дураком. Но только один наблюдатель, д'Эльбеф, старался понять, что же такое Генрих — дитя и глупец или человек, твердо идущий к намеченной цели. И д'Эльбеф наконец решил: он незнакомец, проходящий суровую школу.

Сам д'Эльбеф — наблюдатель, но и только. Отдаленный родственник

могущественного дома, без особых надежд и видов на будущее, он никогда не выделится среди остальных, а их он, видно, не слишком уважает. Поэтому и придумывает себе службу на основании особых, присущих ему способностей.

Имей

д'Эльбеф такой же рост, как Гиз, он стал бы народным героем; но он держится небрежнее, и волосы у него темнее, и лицо не излучает сияния надменности.

у

него влажные, преданные, очень красивые глаза, они провидят в Генрихе его восходящую судьбу и ту силу, которая пока служит лишь непосредственному самосохранению. И он друг Генриха в эти смутные дни, пока еще лишены славы,

даже наоборот. А когда счастье наконец улыбнется Генриху, д'Эльбефа подле него

уже не будет.

Девушки – они, собственно, мальчики – держат в руках золотые кубки. Они поднимают их, тихонько вращают на кончике пальца и с ними кружатся сами, не

проливая при этом ни капли. Кубки, видимо, означают любовный напиток, и мальчики, изображающие и в танцах мальчиков, жаждут его. Выразительные позы их

тел говорят об этом томлении. Все более волнующими становятся эти позы, алчущие

губы приоткрываются, и когда желание становится уже нестерпимым, девушки льют

на них немного настоящей влаги. – По крайней мере она течет в рот королевского

любимца дю Га: д'Эльбеф видит это совершенно ясно. Его внимание целиком поглощено происходящим, ведь оно касается Генриха. Дю Га опускается на колени и

запрокидывает голову, а Леран, в роли девушки, слегка наклоняет кубок: д'Эльбеф

мог бы сосчитать капли. Затем быстро скользит взглядом по лицам – по хищно

настороженному лицу канцлера Бирага и откровенно восторженному лицу короля

Франции. Король точно громом сражен и улыбается Лерану. Ни одним взглядом не

удостаивает он своего прежнего любимца, уже это показывает, что сейчас произойдет что-то необычное. Выражается оно в том, что дю Га, отведав любовного

напитка, откидывается назад, судорожно и неестественно выгибая спину, вскрикивает и выкатывает глаза. Все ясно: отравлен. Так оно, судя по всему, и

должно быть. Д'Эльбеф мог бы предсказать это заранее.

Одновременно, словно по заказу, кто-то верещит голосом старого попугая: – Сир! Ваш любимец отравлен. Его девушка – орудие Наварры. Отдайте этого принца

мне и правосудию, иначе вам самому будет грозить опасность!

Что могло последовать за столь ужасными словами? Все затаили дыхание и онемели. Музыка оборвалась, балет застыл на месте, оцепенели зрители на

помосте, они ждали, что король сделает какое-нибудь движение, но и он не шевельнулся. Только сама сцена, то есть персидский шатер, слегка заколыхалась.

Виновницами этого оказались придворные дамы, не допущенные на таинственный

праздник: они спрятались позади занавесей и оттуда поглядывали. Там-то и притаились статс-дамы и фрейлины; осмелев, заглядывали в щелки кое-кто из дворцовой челяди; а у одной из них, теребя занавес, стояла сама королева Наваррская. «Что же теперь будет?» – думала Марго среди всеобщего безмолвия и оцепенения.

Она думала: «Вот так всегда бывает, когда предоставишь этих мужчин самим себе. Сначала вырядятся женщинами и уж так жеманятся – прямо неземные создания.

А потом все кончается кинжалом и убийством. Мой царственный братец, конечно, пожелает отомстить за своего отравленного любимца. Он выдаст моего бедного

Henricus'a этому негодяю Бирагу, у того даже слюнки текут от нетерпения. Ни

один из болванов даже не догадывается, что тут поставлено на карту! И они еще

воображают, будто могут обойтись без нас, женщин!»

Но один все же догадался. Д'Эльбеф из Лотарингского дома соскочил с помоста,

рванул с пола совсем скорчившегося дю Га, поднял его и начал лупить наложника

по щекам до тех пор, пока тот твердо не стал на ноги. – Довольно ломать комедию! – зарычал он. – И смотри, не вздумай опять взяться за свои проделки! –

Д'Эльбеф так вывертывал дю Га руку, что заставил этого молодца подняться вместе

с ним на помост. Он бросил его на колени перед королем и приказал: – Признавайся его величеству, кто тебя научил этому жульничеству, может быть,

тебя тогда не повесят.

Дю Га выразил всем своим телом крайний ужас. Несмотря на талантливость всего

предшествующего, это удалось ему лучше всего. Подлинное всегда убедительнее

искусственного.

Шея у него вытянулась, как шея того, кому только что отрубили голову: обычно

кажется, будто такие шеи неестественно вырастают. И эту-то вытянувшуюся шею он

повертывал от короля к канцлеру и от канцлера к королю. У канцлера отвисли

щеки, а у короля зловеще вздулась жила на лбу. Дю Га чувствовал, как пальцы его

врага д'Эльбефа все теснее сжимают ему горло. И до того как они окончательно стиснули его, дю Га еще успел выдавить из себя: — Господин, канцлер! — Правда, едва д'Эльбеф отпустил его, как он раскаялся в своем признании и тут же попытался взять свои слова обратно.

— Нет, не господин канцлер! Я сам, без его наущения, притворился, будто меня отравили... из ревности к господину Лерану, которому улыбался мой король!

Ему, конечно, не поверили, хотя это была все же правда. С еще большим раздражением король взглянул на канцлера, вернее, султан на визиря, ибо они стояли друг перед другом именно в этом обличье. Первым прервал молчание Наварра.

— Синьор Бираг, вы проспорили мне ваш камень! Сир, он держал пари, что казнит меня всенародно. Это ему бы и удалось, если бы вы не разгадали его происков.

Король не мог ни заточить канцлера в Бастилию, ни отрешить от должности, ибо, будучи соотечественником мадам Екатерины, он находился под ее особой защитой. Поэтому король сделал то, что было в его силах и чего все от него ожидали: он сорвал с груди канцлера сияющий сапфир. Потом нерешительно посмотрел вокруг, точно еще не зная, что впоследствии. Но на самом деле он отлично знал, что. Король кивнул Лерану, тот взошел по ступенькам на помост и принял на коленях знак королевской благосклонности. И с этой минуты от него исходило голубое сияние. Когда все покрывала были сброшены, у виконта де Лерана оказалось лицо юного воина, который в блеске своей едва расцветающей мужественности готов наступить ногой на затылок поверженному врагу. Дю Га сам вызывал его на это: словно повергнутый в прах, он нарочно уткнулся лицом в пол, — и Леран не стал медлить.

Когда обитатели персидского шатра увидели, что все завершилось столь благополучно, они ожили, захлопали в ладоши, возобновили танец и, отдаваясь волнам музыки, стали изображать любовь и счастье перед зрителями, которые верили в любовь и счастье, только когда они изображались на сцене. До поздней ночи мерцал персидский шатер узорчатыми занавесями, сквозь которые просачивался мудро смягченный свет, отчего все внутри представлялось терпимее, чем обычно, — султан, мальчишки, старые негодяи, а также те вещи, в которых самое драгоценное — только их голубое сияние.

Впрочем, двух участников не хватало: Генрих и д'Эльбеф прощались в отдаленном покое замка.

— Этого я никогда не забуду, д'Эльбеф.

— Сир, вы очень долго тут мешкаете, но, вероятно, должны медлить.

— Время у меня есть. У меня только это и остается: терпение и время.

Что же такое ненависть?

Но тот, кто ждет слишком долго, видит, как его самые сильные чувства изменяются, как они раздваиваются и теряют свою цельность. Взять хотя бы эту дружбу с Гизом. Генрих сблизился с ним из ненависти: он хотел лучше узнать его, ибо этого требует ненависть. Но когда узнаешь врага, возникает опасность, что найдешь его вовсе не таким уж плохим. Больше того: враг потому и притягивает, что его принимаешь, какой он есть.

Они играли в мяч, «длинный мяч», игра эта труднее всех прочих, и в ней состязались всегда только два противника — Наварра и Гиз; остальные лишь смотрели, и им нередко бывало обидно. Коротышка Наварра легко носился туда и сюда, тогда как огромный Гиз стоял на месте и спокойно, как Голиаф, ожидал его ударов; но и это были еще пустяки. Однажды мяч перелетел через изгородь.

— Наварра! Ты поменьше, — крикнул Гиз, — полезай через изгородь и достань мяч!

Но Генрих просто перепрыгнул ее с места, невольно восхитив этим зрителей. Назад он, правда, пролез под ней, однако вдруг послал мяч на площадку, и кожаный снаряд попал лотарингцу прямо в грудь. Гиз покачнулся, но тут же воскликнул: — Ты мне в лоб метил, и тогда бы я упал! Но так высоко тебе не достать, малыш. Поди-ка, принеси нам винца — запьем испуг.

Генрих, конечно, побежал за вином. Но этого случая было достаточно, чтобы в тот же день д'Алансон и д'Эльбеф, отведя в сторону Гиза, поговорили с ним серьезно. Правда, король Наваррский — всего лишь пленник и в настоящее время лицо незначительное; но все присутствующие, а среди них были кое-кто из черни, увидели в этом недопустимое унижение королевского дома. Гиз ответил: — Чего вы хотите? Мальчуган ведь не обижается, он прямо прилип ко мне. По всем церквам со мной таскается. Скоро он будет более ревностным католиком, чем я сам.

Они пересказали его слова Генриху; но своими мыслями на этот счет он с ними не поделился. «Тщеславный Голиаф, — думал он, — не подозревает о моем стоворе с мадам Екатериной. Напрасно он вообразил, что на его неуклюжие интриги с попами и испанцами всегда будут смотреть сквозь пальцы. Не знает он меня так, как я знаю его. Я ведь его друг. Никто не может себе позволить того, что позволяет друг».

При следующей игре в мяч ему действительно удалось угодить Гизу в лоб, у герцога вскочила шишка, и ему стало плохо. Генрих притворился, что ужасно огорчен: — Право же, я нечаянно, я вовсе не хотел, чтобы у тебя выросли рога. Только герцогиня имеет право наставить их тебе. — Тут все присутствующие начали хохотать, называя друг другу громче, чем допускают приличия, имена любовников герцогини. Эта молодая дама быстро и основательно усвоила придворные нравы.

Лотарингец лежал на земле, стараясь остудить лоб, и все слышал. Он стонал, больше от ярости, чем от боли, и решил сурово наказать неверную жену.

Потом он заявил Наварре: — В сущности, ты только напомнил мне, что надо следить за ней. Никто другой на это бы не дерзнул. Я вижу, что тебе можно доверять. Пойдем со мной, послушаем проповедь отца Буше.

В тот же день они отправились верхом, герцог Гиз, как обычно, в сопровождении блестящей свиты, Наварра — совсем один. Он все еще знал Париж недостаточно, и название церкви ему ничего не сказало. Где бы они с Гизом ни проезжали, в толпе из уст в уста передавались все те же слова: — Вон король Парижа! Здравствуй, Гиз! — Этого короля приветствовали, подняв правую руку. Женщины подражали мужчинам, хотя иногда они забывались и протягивали обе руки к белокурому герою своих грез. А тот, надменный и уверенный в себе, изливал на них блеск, точно был самым солнцем. Так они доехали до церкви. И когда многочисленные воины перестали лязгать оружием, священник Буше поднялся на кафедру.

Это был оратор нового типа. Он разъярился с первого же слова, и его грубый голос то и дело сбивался на бабий визг. Буше проповедовал ненависть к «умеренным». Не одних только протестантов нужно ненавидеть так, чтобы их

уничтожать. Когда наступит некая ночь длинных ножей и отрубленных голов, вещал священник, следовало особенно беспощадно расправляться с теми, кто слишком терпимы, хотя и называют себя католиками. Главное зло в обеих религиях — это такие люди, которые чересчур уступчивы, они готовы пойти на соглашение и желают, чтобы в стране воцарился мир. Но мира страна не получит, она его не выдержит, ибо он несовместим с ее честью. Постыдный мир и навязанный ей договор с еретиками должны быть уничтожены. И земля и кровь зовут к насилию, насилию, насилию и решительному очищению от всего чужеродного, от прогнившего прекраснотушия, от разлагающей свободы.

Толпа, переполнявшая церковь от алтаря до самых далеких приделов, скрежетом и стенаниями подтвердила, что она не желает терпеть ни прекраснотушия, ни тем более свободы. Люди давили друг друга, лишь бы протиснуться поближе к кафедре, хотя бы одним глазком взглянуть на проповедника. Но они видели только разинутую пасть, ибо этот Буше был ничтожного роста и к тому же кривобок, он едва высывался из-за края кафедры. Плевался, однако, очень далеко. Его речь то и дело переходила в лай, а если в ней и оставалось что-то человеческое, то оно было весьма далеким от всех привычных звуков; оно напоминало что-то чужеземное, затверженное. Несколько раз люди ожидали, что он вот-вот повалится в припадке падучей, и уже озирались, ища сторожей. Но тогда пасть Буше захлопывалась, и он, обаятельно улыбаясь, обводил взглядом церковь, чем и покорял сердца. Потом, набравшись сил, снова принимался лаять и щелкать зубами, точно намереваясь извлечь из толпы какого-нибудь инакомыслящего и тут же загрызть его.

Свобода совести? Нет уж, избави бог! Но и никаких податей, никакой арендной платы и вообще никаких налогов, никакого рабства. Ни народ, ни тем более духовные лица пусть отныне ничего не платят. На том-то и стоит их союз. Пусть за духовенством останутся причитающиеся с него государственные сборы, а народу разрешат грабить дома и дворцы всех гугенотов и всех «умеренных» — их следует убивать в первую очередь. Буше убеждал своих слушателей не отступать и перед вельможами, перед самыми высокопоставленными лицами и весьма недвусмысленно

намекал даже на особу короля: он-де тайный протестант, «умеренный» и изменник.

Следуя своему пылкому воображению, поп расписывал слушателям несметные сокровища Лувра и прелести вожделенной резни. А потом тех же слушателей, упоенных картинами будущих бесчинств, повергал без всякого перехода в смертельный ужас, уверяя, будто против них злоумышляют, их преследуют: нации и

всему национальному грозит-де ужасная опасность очутиться во власти тайных сил,

покаявшихся погубить ее. За этим последовала яростная молитва, которую могла

породить, бесспорно, только близость несомненной и величайшей беды. Толпа громко подхватила. А над людьми облаком стояли незримые пары – истечения жадности, страха, вожделений и ненависти.

Генрих вдыхал эти испарения, и скорее его органы чувств, чем сознание, подсказали ему, насколько нечистоплотно все происходящее. В конце концов он

сам чуть не заразился этой ненавистью. Свергнуть властителей Лувра, разграбить

его, всех поубивать – мужчин, дам, стражу и челядь – ведь и он не раз помышлял

о таких делах в те времена, когда больше всего жаждал бежать отсюда и вернуться

с иноземными ландскнехтами. Тому прошло уже несколько лет, он чуть не позабыл

все это. Но здесь, в церкви, воспоминание встало перед ним опять, точно он

строил эти планы только вчера. И он снова понял, что оскорбленный и униженный

мстит беспощадно. «А уж у меня оснований больше, чем у кого-либо. Они убили мою

мать, потом господина адмирала, всех моих друзей – восемьдесят дворян, моего

учителя, последнего вестника моей матери-королевы! Оставшиеся в живых покрыты

позором, я должен переносить плен, ежедневные опасности и ежедневные издевательства. Все это я знаю. И я решил мстить. Я лишь день за днем откладывал месть и обдумывал ее. Так проходит время, и так проходит ненависть.

Нет, она не проходит, она становится сомнительной. Я с ними живу, мы играем в

мяч, мы спим с теми же самыми женщинами. Мадам Екатерина предложила мне союз;

да и правда ли, что она отравила мою мать? Д'Анжу был готов во время Варфоломеевской ночи прикончить меня, а теперь, став королем, он меня защищает. Гиз сделался моим близким приятелем; кажется почти невероятным, чтобы, когда господин адмирал уже был мертв, он мог наступить ему на лицо.

Однако это так! Все это они совершили, истинная правда. Но дело в том, что я их

знаю, а они меня нет. Не хочу отрицать: я даже люблю их за это, конечно, до

известной степени люблю. Можно услаждать себя, и общаясь с врагами, не только, с возлюбленными. Я вынужден остерегаться их и потому дружить с ними». Так оправдывал себя Генрих, свои колебания, свое долготерпение, и как бы отстранялся от толпы, которую Буше призывал к необузданному удовлетворению своих инстинктов. Впрочем, Буше еще не закончил своей яростной молитвы, а Генрих уже давно справился со всем, что вдруг нахлынуло на него. Жизнь коротка, искусствоечно, но когда же можно считать правильное действие созревшим?

А тем временем Буше разъяснил слушателям, что вся государственная система преступна, но зато бог послал им вождя.

— Видите, вон он стоит! — Все усердно опустили на колени, особенно те, кого подозревали в сочувствии «умеренным». Но Гиз дерзко смотрел поверх голов, возведя очи прямо к богу; на нем были серебряные доспехи, как будто предстояло сейчас же схватиться с властью, и его воины бряцали железом. Конечно, у королевы-матери были здесь свои шпионы, они, наверно, уже побежали к ней и теперь расписывают, какой страшной угрозой для нее становится лотарингец. А Генриху, который был близок с ним, становилось ясно, что он просто головорез и грубый великан, Голиаф, да к тому же рогат. Надо сделаться его другом, тогда поймешь, чего он на самом деле стоит, и даже почувствуешь к нему симпатию. Я ненавижу его? Конечно. Но что же такое ненависть?

Проповедник кончил, и алебардщики стали выгонять простой народ из церкви; остались только те, кто пользовался влиянием и уважением: отцы города, самые богатые горожане, наиболее популярные священники, а также господин архиепископ. Он головой ручался, что устами Буше глаголят сами разгневанные небеса. Распутство двора уже перешло всякие границы, — и архиепископ живо описал публичное и бесстыдное представление, которое король устроил в Лувре; в качестве исполнителей выступали его наложники, а женщин-христианок заставляли смотреть на этот срам. Рассказ его вызвал возмущенный ропот. Под шумок кто-то рядом с Генрихом, стоявшим далеко позади, сказал: — А архиепископ спит с собственной сестрицей!

Генрих невольно засмеялся, его рассмешил не только факт, сообщенный соседом, а вообще вся эта комедия.

Вскоре, однако, дело приняло серьезный оборот, ибо один из влиятельнейших граждан, представитель счетной палаты, открыл собравшимся состояние финансов в

королевстве. Оно оказалось безнадежным; но так как никто, собственно, ничего другого и не ожидал, то каждый считал себя тем более вправе возмущаться. Именно скопом возмущаемся мы особенно горячо и лишь по поводу фактов, о которых знают все. Услышав свежие новости, люди раскачиваются крайне медленно, но тем быстрее действует оглашение того, что давно известно и о чем просто не решались говорить. В сто тысяч талеров обходятся казне ежегодно королевские охотничьи своры, обезьяны и попугаи. И это еще пустяк в сравнении с чудовищными суммами, которые поглощает орава его любовников. Одному из них даже вверили управление финансами. Оратор заявил об этом во всеуслышание и добавил: — В наши времена все можно делать, нельзя только называть вещи своими именами. — Но так как он сейчас отважился на это, то собравшиеся возомнили о себе невесть что, как будто тем самым уже положено начало какому-то повороту и в центре событий стоят именно они.

Председатель счетной палаты перечислил еще немало промотанных миллионов, жаловался на высокие налоги, на их несправедливую раскладку, на продажность всех, кто их собирает, — особенно отличается в этом отношении любимец короля господин д'О, скажем просто О. Однако оратор забыл назвать многих других, хотя и те брали на откуп налоги и выжимали из народа все соки. Но среди них были, по слухам, и члены дома Гизов, а упоминание их имен оказалось бы совсем некстати, принимая в соображение то, что должно было сейчас произойти. Когда он кончил, служители приволокли вместительные мешки, из которых потекло золото испанской чеканки, и текло оно, не иссякая. А казначей, следуя приказаниям герцога Гиза, распределял деньги среди старшин, священников, влиятельных граждан, чиновников и военных. За это каждый проставлял свое имя на листе с именем лотарингца и при этом еще выкрикивал: «Свобода!»

Так была заложена основа Лиги. И тем самым, как только были опорожнены мешки с испанскими пистолями, создан и союз с целью отдать в руки одной партии всю власть в стране. Партия получила ее, притом в такой мере, что в течение многих лет сплошных ужасов и неудач королевство стояло на краю гибели, король

был совсем загнан в угол, и все человеческое отброшено назад на много поколений. Именно здесь этому было положено начало, и в то время как счастливицы поспешно распихивали по карманам иноземные деньги, даже не взглянув на чеканку, с улицы неслись крики: – Да здравствует Гиз! Свобода!

Это провозглашал своему вождю многая лета обманутый народ. И вождь имел все основания ожидать, что его примут всерьез, так же как и его сторонников из рядов черни. Да и точно ли обманутый? Народ ведь никогда не бывает обманут до такой степени, как потом уверяют.. Испанское золото видели только сторонники Гиза, а народ видит лишь белокурую бороду, и он пленяется ею. Но в душе он отлично знает, что до спасения религии ему нет дела и что никакого сказочного пробуждения к новой жизни нет и не будет. Черни просто хочется грабить, прогнать других с работы, обогатиться; хочется пошуметь, покуражиться и хочется убивать. Так оно и бывает, когда кучка сброда, в которой есть и простолюдины и почтенные горожане, создает какую-нибудь Лигу для подавления свободы совести. Тем громче орут «Свобода!» и обманутые на улице и обманщики в домах; это показывает, что раз их обманывают, они тоже хотят обмануть.

Среди обманщиков, которые остались в церкви, только что набили себе карманы золотом и вдруг возжаждали свободы, были и «умеренные», считавшие своевременным присоединиться к Лиге. В том числе даже новообращенные гугеноты; и оправдывали они себя тем, что тут присутствует Генрих. Гиз прихватил его сюда, чтобы освободить многих других от угрызений совести. Генрих сам отлично это понял, а кроме того, ему поспешили объяснить. И как раньше, под громкий ропот негодования по поводу распушенности двора кое-кто осмеливался шепнуть, что сам-де архиепископ не лучше, так же было и теперь. Хотя вопли о свободе и заглушали голос честных людей, все же те говорили достаточно громко: – А знаешь, кум, монеты-то были испанские. Испанские!

Генрих еще не успел разобраться в своих чувствах: события разворачивались слишком быстро. Прежде всего Гиз показал себя с новой стороны: никто бы не подумал, что он умеет обхаживать людей и совращать их; никто бы не поверил, что этот Голиаф способен действовать так быстро и ловко. Вот что значит собственная выгода! Да люди и сами облегчили ему задачу, ибо им было лестно состоять в

одном сообществе с таким знатным вельможей. Гиз распределил обязанности: военным поручил принудительно завербовывать солдат для войска его партии, духовным лицам – подстрекать простонародье к бунту, гражданам, – сопротивляться властям и отказываться от уплаты каких-либо налогов и пошлин. Он награждал их званиями и правом занимать соответствующую должность, в случае если уйдет тот, кто ее занимает теперь. Другими словами – если будет убит. Это понимал каждый.

И что бы кто впредь ни совершил, он уже не будет нести ответственность за свои деяния, ибо все здесь же поклялись слепо повиноваться новому вождю. Покончив с этим, Гиз распустил участников торжественного собрания. – Наварра, – сказал он перед уходом, – ты теперь сам убедился, как мы сильны.

– На мое счастье, – отозвался Генрих. – Да здравствует король Парижа! – закричал он вместе с толпой, которая все время ждала на улице. Перед тем как уйти, он подтолкнул друга-лотарингца в бок и, в совершенстве подражая одному из отцов города, изобразил, как смачно тот шептал: – Испанские монеты, кум! Испанские! – Потом скрылся.

Генрих шагал все быстрее, его стражи едва поспевали за ним. Он прошел Австрийскую улицу, прошел мост, потом ворота и вступил во двор Лувра, однако ничего вокруг себя не видел. Он не заметил, по каким местам лежал его путь и кто смотрел ему вслед, и узнал свою комнату лишь после того, как уже долго бегал по ней из угла в угол. Тут он понял, что ненавидит. «Вот, вот она, ненависть! Испанские монеты! Через горы, на мулах, неудержимо ползут мешки, набитые пистолями. Их опорожняют в городе Париже, и золото течет, течет без конца, карманы наполняются золотом, а сердца – ненавистью, кулаки – силой, пасти – бесстыдной ложью. Что ж, начинайте, лютуйте, как дикие звери, забудьте о кротости и благоразумии! Ведите войну в угоду одной религии и против всего остального! Я всю жизнь только это и видел. Не сведущ я был до сих пор лишь относительно причин и подоплек всех ваших злодейств! Испанские монеты, их везли сюда через Пиренеи, через мои родные горы, я могу мысленно начертить их путь! Тут вот водопадом спадает ручей, там вон Коаррац, и стоит мой дом. Они хотят отнять его у меня. Филипп Испанский всегда хотел отнять у меня мой склон Пиренеев; я же требую еще и его склон. Требую, потому что это мои горы и моя

страна, и пусть его солдаты не смеют вторгаться туда, и пусть не смеют провозить по ней его мешки».

На сегодня довольно. Двадцатитрехлетний юноша редко задумывается о большем, и его ненависть пока ограничена картинами его родины. Он ненавидит мирового владыку из любви к своему маленькому Беарну, а теперь еще и потому, что страдает Франция. Она страдает, как и он, и виновник все тот же. «Что там Гиз и Екатерина! Они наперебой стараются угодить покорителю мира. Вот кто истинный враг, вот кого я ненавижу! Это он держит меня в плену, это он оплачивает войну между партиями здесь, в моей стране, которой я все-таки со временем буду править!»

И когда Генрих потом действительно стал править Францией, его понимание свершающихся событий и его ненависть страшно и грозно возросли. Он желал уже не только освободить Францию и стать величайшим государем Европы — он хотел им навеки дать мир. А австрийский дом должен пасть. Под конец он решил раз и навсегда выгнать этот ненавистный ему дом из всех остальных стран света и держать его за скалистыми стенами Пиренеев. Таковы будут некогда его планы под старость, и они принесут ему облегчение.

Юношу в его узилище жжет ненависть к дону Филиппу, он вынимает из сундука портрет, на нем ничего не говорящее лицо, белокурые кудряшки. Лоб высок и узок; юноша всаживает в него нож, затем отшвыривает и ломает руки. Что же такое ненависть? Мы можем безгранично ненавидеть лишь то, чего не видим. Генрих никогда не увидит Филиппа Испанского.

Сцена с тремя Генрихами

Он сказал своей доброй приятельнице, мадам Екатерине, что у лотарингца какие-то странные мысли. Генрих уже успел остыть и придал своим новостям не больше веса, чем в его положении было благоразумно. Заговор лотарингца и почтенных граждан он изобразил в комическом духе. Связей белокурого героя с чернью он коснулся лишь слегка; пусть королева-мать увидит в этом либо нечто недостойное ее внимания, либо, если пожелает, предостережение. Но она предпочла его словами пренебречь. Тогда он все же подошел к ней вплотную и неожиданно проговорил: — Мадам, вы погибли.

Она рассмеялась с материнским добродушием: — Не беспокойся! Гиз в конечном счете действует мне на пользу: ведь Филипп мне друг.

В это она почему-то верила и оттого не понимала, что король Филипп ищет себе во Франции наместника — к тому времени, когда государство будет расшатано с помощью испанского золота, а он станет в нем единственным властителем. А рядом с ней стоял человек, который начинал это понимать. Но мадам Екатерина, хитро прищурившись, ответила ему:

— Иди-ка ты лучше к какой-нибудь красивой даме, королек. Вы с Гизом должны как можно больше развлекаться у меня на глазах, тогда я вас не боюсь.

Король Франции сидел, закутавшись в свой меховой плащ, и писал; он был охвачен тихим унынием, именно такого настроения и ждал Генрих, чтобы многое ему открыть. Самое плохое д'Анжу знал: один из его любимцев нынче пал на поединке — Жоион, прелестный мальчик, и заколол его офицер Гиза. Это уже переходит всякие границы: Гиз не только мутит народ на улицах, он сеет страх даже в замке короля. — Кузен Наварра, мы недооцениваем его.

— Допускаю, — сказал Генрих. — Голиафы, и вообще такие герои, как он, умеют быть не только грубыми. Нельзя забывать, что они и коварны.

— Я, — заявил король, — хочу ответить на это коварство достойно, хотя и не без мудрого расчета: в списки Лиги я внесу и свою королевскую подпись.

Что он тут же и сделал с большой торжественностью и в присутствии многих свидетелей из всех сословий. Пусть народ и почтенные горожане убедятся воочию, что незачем напоминать с помощью каких-либо сообществ о его обещании защищать религию. Он ставит свою подпись в самом начале, над подписью лотарингца, в знак того, что будет всеми способами бороться против распространения гугенотской ереси. А между тем, сам этому не верит, да и никто не верит слабому королю.

Своею подписью он только подтвердил, что по всей стране бродячие монахи подстрекают против него народ, что в каждой деревне листы со списками сторонников Лиги покрываются именами и крестиками, и у каждого парня при этом стоит перед глазами храбрец Гиз, и у каждой девушки — красавец Гиз, что герой

их грез — только он, а вовсе не какой-то унылый Валуа, который то грустит, то распутничает и возится со своей свитой из мальчишек.

Генрих, третий король Франции, носящий это имя, забывал свой сан, когда наряжался восточным султаном или кающимся грешником. Но как французский государь, он любил повздыхать над своим истинным положением и брал себе тогда в наперсники своего зятя Наварру, ставшего впоследствии четвертым королем, носившим имя Генрих. Однажды утром король приказал позвать его; близилось рождество, лежал снег, и в замке Лувр стояла необычайная тишина, словно он остался наедине с самим собой. — Генрих, скажи, что ты обо мне думаешь! — просительно обратился к нему король.

— Что вы мой государь и король, сир.

— Ну, над этим думать особенно нечего. Нет, когда ты начинаешь размышлять?

— На вашем месте я бы не стал допытываться. Вы действовали один-единственный раз, и вашим делом была Варфоломеевская ночь. Нынче Гиз намного сильнее, чем был тогда адмирал. Но вы король, и не случайно, конечно, вы дали ему стать еще сильнее.

— Речь не об этом, — угрюмо пробормотал король. — Я жду, что надо мной будет совершено насилие.

— Предупредите его.

— Ты ведь слышишь: я жду его с нетерпением, — прошептал король и весь затрепетал. Он даже рот прикрыл рукой. — Мне сообщили, что Гиз хочет меня похитить. Что же будет? Я его пленник. Он хозяин моего королевства и входит ко мне с арапником..

— Он на голову выше меня, — сказал Генрих Наваррский. — А что будет дальше?

Такой верзила имеет передо мной лишь то преимущество, что может снимать колбасы с потолка — вот и все. — А про себя добавил: «Король хотел, чтобы я убил и его брата, Перевертыша. Не потому ли, что тот одного роста со мной? Разве во всем этом разберешься?!»

За дверью послышалось шарканье многих ног и звон оружия; дверь распахнулась, и один из адъютантов Гиза доложил о нем. Но не так, что Гиз-де просит короля

принять его господина, — нет, распорядился герцог. К тому же он заставил короля Франции ждать, и тот воспользовался этими минутами, чтобы спрятать своего кузена Наварру.

— Послушай, что он осмелится предложить королю. А если он нападет на меня...

— Может случиться, что он проколет шпагой и портьеру. Лучше уж я покажусь до этого и тоже скажу словечко.

И вот появился третий Генрих, из дома Гизов. Громкая команда, оказание почестей, торжественное появление. Король Генрих сидел у письменного стола, кутаясь в меховой плащ, Генрих Наваррский выглядывал из-за портьеры.

Герцог шляпы не снял и не обнаружил никакого желания преклонить колено. Он сказал: — Погода для охоты подходящая. Я увожу вас, сир.

Король громко кашлянул, это служило сигналом для кузена и означало: «Вот видишь! Похищение!» Гизу же он ответил:

— Конечно, друг мой, но видно, что у вас нет парламента и вам не нужно выпускать для него указы, если он не желает вносить в свои протоколы угодные вам изъявления вашей благосклонности.

В голосе герцога зазвучали резкие ноты, когда он ответил: — И ваш парламент совершенно прав, так как ваши указы обогащают только придворных, а народ идет к гибели.

— То же самое говорили, когда еще был жив мой брат Карл. А народ, в сущности, только и делает, что идет к гибели. — Король сказал это неспроста, а герцог повел себя именно так, как от него и ожидали. Он разразился обличительной речью, точно настоящий трибун. И попеременно с ошеломляющими цифрами наговорил пропасть громких слов. Когда сказать уже было нечего, король с потемневшим лицом пробормотал из своих мехов, едва шевеля толстыми губами:

— Видишь, Гиз, потому-то я принял тебя наедине, без свидетелей: я опасался, что ты иначе не сможешь так свободно все это выложить.

— А кого мне бояться? — спросил герцог, выпятив грудь и расставив ноги. Предложенное ему кресло он отпихнул. — Кто из нас обоих действительно вождь Лиги? — спросил он.

— Ты, — убежденно заявил король. Герцог ощутил в этом ответе что-то, что вызвало в нем презрение. И он небрежно бросил: — Хоть вы и король, но не дворянин, а потому королем не останетесь. Я... — Он запнулся, потом крикнул еще раз: — Я... — но вовремя спохватился и не договорил тех слов, что уже вертелись на языке: «сам стану королем».

Король же вместо того, чтобы дать ему отпор, только подзадоривал наглеца. Кузен, скрытый портьерой, уже едва в силах был терпеть такое дерзкое обращение с лицом королевской крови. Отпрыском той же крови, хоть и в двадцать седьмой степени родства, был он сам. Он шевелил складками портьеры, чтобы привлечь внимание Гиза. Но Гиз был слишком занят тем, как бы посильнее унижить короля. — Вы король только для ваших любовников, — грубо заявил он. — Да и их поубавится, когда убавятся деньги. А в конце концов вы забьетесь в какой-нибудь паршивый угол вашего королевства и будете там сидеть без всяких любовников, без денег и даже... без крови.

Тут короля потряс ужас. Он натянул на голову свой меховой плащ, и кузен за портьерой понял, что сейчас Генрих третий сползет под стол.

Но он умоляюще пролепетал: — Продолжай!

Это было уже слишком даже для такого бесчувственного истукана, как Гиз. Он вдруг умолк, повернулся и подошел к креслу, которое перед тем отпихнул. — Продолжай! — пробурчал он себе под нос и пожал плечами. Свидетелю за портьерой все было слышно, так как и кресло и герцог находились совсем рядом. У Генриха даже слезы выступили на глазах: какой-то бессовестный нахал с избытком крови в жилах и шайкой черни за спиной, без всяких заслуг и без всяких прав смеет держаться перед королем таким героем и грозить ему, что, мол, последняя кровь выступит у него из пор, как у его брата! Что только творится в этом мире! Генрих Наваррский отбросил складки портьеры и вышел, держа в руке обнаженную шпагу: — Я мог бы ее всадить тебе в спину, и стоило бы!

— Ого! — воскликнул Гиз. — Да тут ловушка! Иначе к чему это требование продолжать, если Валуа все равно ничего приятного для себя не ожидал услышать. А я-то явился, — говорил этот здоровенный мужчина, незаметно отступая к двери,

— я явился сюда как верный слуга короля, чтобы начистоту выложить всю правду и спасти его и королевство. Свой меч я не взял с собой и кинжал не выну — это ниже моего достоинства.

Вероятно, он забыл его взять, ибо держал руки так, словно вот-вот хлопнет в ладоши. И в тот же миг в комнату ворвались бы толпой его вооруженные люди. Генрих Наваррский помешал этому.

— Генрих Гиз! — заявил он. — Мы играем! Убийство Цезаря, помнишь, как все это было? Мы с тобой изображали заговорщиков.

— Брось шутки, — сказал Гиз. На самом деле он был рад такому выходу из положения. Он без всякой игры достаточно говорил и делал такого, за что его можно было обвинить в заговоре. Лицо короля молниеносно изменилось — оно стало страшным; он вскочил, выпрямился и стал подобен карающему властителю. — Это же Цезарь! — воскликнул Генрих с увлечением. — Бей его! — Гиз уже хотел ринуться вперед, но упал, так как его сообщник дал ему подножку. Генрих Наваррский тут же сел Гизу на шею, придавил к полу и спросил, как того требовала роль: — Сир! Что мне сделать с оскорбителем вашего величества?

— Отруби ему голову! — потребовал Цезарь в ярости. Может быть, он был действительно взбешен или мысленно перенесся в Collegium Navarra, на сумрачный монастырский двор, где три мальчика, три Генриха, когда-то играли в ту же игру.

— Готово! — заявил кузен Генрих, дал своей жертве подняться и сунул шпагу в ножны, не забыв стереть с нее воображаемую кровь.

Наступила пауза; во время этого молчания чувство неловкости все нарастало, и три Генриха постепенно возвращались от монастырского двора и детских игр к действительности, когда они стали взрослыми и вражда между ними сделалась непреложным фактом: теперь мы уже выступаем не в трагедии, а в жизни. Однако какая-то неуверенность осталась. Может быть, в конце концов мы и сейчас участвуем в условной трагедии? Что же такое жизнь, если в ней повторяются положения, которые мы уже бог знает как давно создали в своей фантазии? Возникает ощущение чего-то нереального, однако стараешься его как можно скорее преодолеть. Генрих Валуа перевел дух и сел. Генрих Гиз исправил свою оплошность

и преклонил колена. И только на лице Генриха Наваррского остался какой-то след сожаления или недоверия; остальные это заметили, они обменялись многозначительным взглядом и незаметно ухмыльнулись. И это тоже было, как некогда в монастырской школе.

Новым оказалось то, что когда они, под вечер, играли в мяч, Генрих Наваррский нарочно поддался своему дружку Генриху Гизу и позволил ему обыграть себя; а в тот же час молодой дворянин по имени Рони (позднее он носил имя Сюлли), принадлежавший к свите короля Наваррского — отец отдал его Генриху в качестве пажа, — в тот же час этот шестнадцатилетний мальчик, уцелевший в Варфоломеевскую ночь только потому, что ректор школы его спрятал, вызвал на поединок одного из дворян герцога Гиза и убил его. Тем временем герцог выиграл партию в мяч.

Когда король снова встретился со своим кузеном, он сказал:

— Тебя я должен бояться больше, чем могущественного Гиза. Ты будешь наследовать мне. Ты принц крови, а кроме того, уж очень ловок. Но если бы только ловкость! Мое недоверие подсказывает мне, что здесь кое-что пострашнее.

Приключение одного горожанина

Королю, не доверявшему своим друзьям, пришлось выслушать от матери ее мнение насчет того, что сейчас является самым главным: необходимо прекратить всякие слухи о растленных нравах, поощряемых его величеством. Однажды, ранним утром, в лавочке некоего парижского бельевщика по имени Эртебиз зазвонил звонок. Супруги услышали его из своей спальни, хотя она выходила окнами во двор. Сначала они не решались встать с постели и крепко вцепились друг в друга, чтобы один все-таки не вздумал подвергнуть себя опасности. Но так как звонили все более нетерпеливо, оставалось только пойти и посмотреть. Муж наспех оделся, жена схватила молитвенник.

— Держи так, чтобы они сразу его увидели, Эртебиз, и отрицай все насчет Лиги, никогда я, дескать, ничего подобного не говорил. Скажи, ты был выпивши и, мол, только вчера исповедовался.

Она прокралась следом и, спрятавшись за прилавком, следила оттуда, как он неторопливо снимает засовы и цепочки. Колокольчик дребезжал и заливался, но

голоса все же проникали сквозь стену из толстых дубовых досок. Бельевщик стал громко молиться. Вдруг дверь распахнулась, и появился его собственный шурин Аршамбо, служивший в охране королевского замка Лувр. Он стукнул в пол своей аркебузой и строго возгласил:

— Господин Эртебиз, следуйте за мной! — Но тут увидел, что из-за прилавка высовывается сестра, и сейчас же добавил вполголоса: — Не знаю, зачем ты там понадобился, зять, но нас тут четверо. Пойдем.

Появились и трое остальных. Однако Эртебиз, вместо того чтобы читать молитвы, накинулся на солдат. Он грозил им Лигой, где он, мол, состоит на службе и на жалованье. А там служить — совсем другое дело, чем в охране короля, который только с мальчишками и возится. Уже с церковной кафедры проповедают против такого безобразия.

— Ладно, ладно, приятель Эртебиз, — отвечали солдаты, — но ты уж, сделай милость, пойдем; может, нам и не придется тебя вешать.

Тут вмешалась жена: — А сколько людей верили вам да пошли, а потом так и не вернулись? Ты останешься здесь, брат, вместо него, и несдобровать тебе, если с моим стариком приключится беда!

Так аркебузир Аршамбо остался в лавке в качестве заложника, а бельевщика Эртебиза трое вооруженных людей отвели в замок Лувр. Ворота, мост и арка были хорошо известны бельевщику — сколько раз ходил он этой дорогой в колодец Лувра в финансовое ведомство, которое неусыпно наблюдало за его доходами! Но дальше все было ему незнакомо, и ничего не стоило его напугать или ошеломить: каждый, кто был здесь за своего, задирали перед ним нос, а почему, неизвестно — уже самое начало его пути оказалось более приметным, чем всегда. Обычно ему большее, что пригрозят префектом, если он не послушается обычного «Проходи, проходи!»... И тогда он ссылается на то, что принадлежит к почтенным горожанам, а шурин ручался за него. Но сегодня он всюду слышит свое имя: — Эртебиз! — сначала у ворот, от стражи, затем около присутственных мест, потом возле кухонь. Двери всюду открывались, и, глядя ему вслед, люди шептали друг другу: — Эртебиз, — и при этом многозначительно кривили рожи. Он долго не мог

вспомнить, что ему напоминают эти гримасы, пока внутренний голос испуганно не подсказал: «Эртебиз, у тебя самого бывает такое лицо, когда ты снимаешь шапку перед гробом с покойником».

У подножия парадной лестницы стража передала его швейцарцам, один пошел впереди, другой позади. Своды, под которыми двигалось это шествие, были окутаны сумраком, так как еще не совсем рассвело, и эта сторона замка выходила на запад. Сначала они спустились по ступенькам, потом поднялись и завернули за угол; бельевщику казалось, что они идут без конца, у него дрожали колени.

—
Куда вы меня ведете, кум? — спросил он переднего швейцарца, но с таким же успехом он мог бы обратиться к стене. Чужеземный наемник даже не повернул толстой шеи и продолжал шагать, топя огромными башмачищами и сжимая в вытянутой волосатой лапе алебарду. Эртебиз тяжело вздохнул и уже приготовился попасть в такое место, откуда не увидишь ни луны, ни звезд. Вдруг его одуревший взор заметил какое-то поблескивание: то блестели золото, рубины, мрамор, камка, парча, слоновая кость, алебастр. Все эти названия драгоценностей ожили в его памяти, пробужденные светом с востока, лившимся в залу, двери которой были открыты. Все окна горели пламенем солнечного восхода, и тут буржуа почувствовал, что поистине перенесен в королевский замок. Он потом готов был поклясться, что в зале, через которую он прошел, находилось целое общество вельмож и дам и они были заняты изысканным времяпрепровождением. Он не мог сообразить, что это фигуры на обоях и гобеленах представляются ему живыми в трепетном свете пылающей зари. Напротив, когда он уже миновал золотую залу, то начал даже различать голоса этих господ, даже звуки арф расслышал и, про себя, не одобрил. С утра здесь предаются бесполезным занятиям!

После такой подготовки его охрана в третий раз сменилась, теперь это были уже не солдаты, а изящные молодые дворяне, камергеры и пажи; во всяком случае, волосы у них были гладко причесаны и спускались вдоль щек, накрашенных, как у женщин, и, вероятно, ради той же цели: чтобы ими любоваться и их ласкать. Голова у бельевщика пошла кругом, а оба знатных юноши улыбались ему и — слегка склоняли стройные шеи, именно перед ним, Эртебизом. Его лавкой они, видимо, пренебрегали: воротнички у них были со складочками, тонкие, как облачко, но

вышитые золотом – таких мы не делаем. И все же они шагали по обе стороны от него, точно он им ровня, вошли вместе с ним в комнату и, говоря слегка в нос, сообщили ее название. В отделке и убранстве этого покоя было так много золота, что от блеска Эртебиз не только ослеп, но и оглох. Ошарашенный, смотрел он на красивых мальчиков, и они, благодарные за это восхищение, ласково его подбадривали. – Господин Эртебиз, – сказал в нос один из них, – сейчас мы откроем еще две двери и проводим вас до третьей. Там мы покинем вас, вы войдете один, ибо никому не разрешено сопутствовать вам.

Ну, как тут опять не перепугаться! Каждую минуту что-нибудь новое. Вот он уже успел привыкнуть к обществу этих молодых людей: после встречи с ними он готов даже отбросить некоторую предубежденность против дворянского сословия и его нравов и отнестись более миролюбиво к замку Лувр, на который, может быть, и не совсем справедливо попы так усердно призывают громы небесные. Да, при дворе есть и кое-что хорошее, короля можно понять. Я, Эртебиз, не вижу ничего, что бы задевало мое чувство благопристойности. В оба следующих покоя он входил уже гораздо увереннее. Увидев обнаженную статую, Эртебиз даже подтолкнул локтем одного из своих новых друзей. Но вот они перед третьей дверью. – Сударь, – говорят ему, – вас просят войти и открыть пошире глаза!

– Соблаговолите смотреть и все примечать, – еще раз настойчиво напоминают они, причем каждый из них распахивает одну половинку двери. Эртебиз делает шаг, и двери за ним захлопываются. Он в сумеречной комнате, дневной свет скупо проникает в окна, прикрытые тяжелыми шторами; теплится ночник. Бельевщик постепенно начинает различать очертания предметов, особенно явственно видит он кровать. Полог откинут, кто же там спит? Он отваживается сделать еще один шаг, ведь ему разрешили и даже советовали смотреть во все глаза. Но тут волосы у него встают дыбом, дрожь пробегает по всему телу, и он падает на колени.

Король! Собственной особой! По одним губам – и то узнаешь; но его величество косится на него угрюмым глазом, не повертывая при этом лица. В точности так же смотрит он из глубины кареты одним глазом, когда ему кланяются. Но здесь нет кареты, Эртебиз, берегись. Здесь перед тобой королевское ложе. И твой король

глазом подает тебе знак – смотри, дескать, кто рядом со мной лежит. Оказывается, королева. Можешь сколько угодно щипать себя за ногу, все равно перед тобой королева, ее белобрысые волосы, ее острый нос. Ты удостоен лицезреть королевскую чету, ты избран. Ее величество повертывает голову на подушке, чтобы ты видел и другую половину ее лица. И она лежит рядом с его величеством королем, совершенно так же, как кума Эртебиз, которую каждый знает, лежит рядом со своим верным муженьком в супружеской спальне позади лавки. Все очень просто, хотя и диву даешься, словно бог весть какое чудо увидел: этого не покажут и одному на тысячу, только тебе.

Благоговейно складывает он руки на груди и опускает взоры, дабы не злоупотребить оказанной ему честью. Кто-то касается его плеча. В своем умилении он не заметил, как открылась дверь. Продолжая стоять на коленях, Эртебиз, пятясь, удаляется из комнаты. Давешние молодые люди протягивают ему руку, чтобы помочь подняться. Им понятно, насколько он потрясен, и они сообщают, что теперь-то и настало время хорошенько подкрепиться. Стол накрыт в проходе между галереей и лестницей, место, так сказать, весьма публичное. Его усаживают перед единственным прибором. Мажордом поднимает жезл, и тут входят повара: все несут серебряные миски не меньше как по восьми фунтов весом, а в них всякая рыба, мясо, пироги. Вино льется к нему в стакан из посуды рубинового стекла с золотым носиком; кроме того, за стол подсаживается хорошенькая девица. Он знает, что хорошенькая, хотя не поднимает глаз от полной тарелки. – Эртебиз! – восклицают зрители, которые попадают сюда и со стороны лестницы и со стороны галереи. Они останавливаются на почтительном расстоянии от его стола, вытягивают шеи, повторяют «Эртебиз!» и удаляются на цыпочках.

– Вы знаменитость, господин Эртебиз, – раздается льстивый голос девушки.

–

Дозвольте попросить вас об одной милости: когда выйдете из замка и будете рассказывать обо всем, что здесь с вами приключилось, не забудьте и меня. Я мадемуазель де Лузиньян.

Услышав это знаменитое, прямо легендарное имя, бельевщик горестно вздохнул.

Это было уже слишком. Уже давно все было слишком, и под конец он даже загрустил, вместо того чтобы возгордиться. Эртебиз бросил на зрителей столик

мрачный взгляд, что они неслышно удалились, иные отведывая поклоны. А ему и в голову не могло прийти, что они просто исполняют заученные роли. И он ни за что бы не признал, будто рыба, которую приказал подать ему король Франции, была вчерашняя, а пироги и того старше. Вино взяли из соседнего трактира, дома он пил получше; впрочем, последнее не совсем от него укрылось. Он никак не хотел верить, выпил несколько стаканов и нашел его еще хуже. Оставалась мадемуазель де Лузиньян, но она тоже была поддельная. Просто мадам Екатерина отправила одну из бедных дворянских девушек своего «летучего отряда», чтобы она обработала скромного горожанина. И первое, чем следовало ошеломить его, — это громкое имя. Все же несколько стаканов кислого вина сделали свое дело, он набрался храбрости, подмигнул полуобнаженной женщине и уже потянулся к ней.

Эртебиз так и не понял, почему вдруг свалился со стула.

Бельевщик был кругленьким коротышкой с багровым лицом и сидящей головой. Таким он увидел себя в зеркалах, когда выползал из-под стола. Фрейлина исчезла, чему он, однако, не удивился. И тут в его душе родилась непоколебимая уверенность, что его надули, надули решительно во всем. И он положил обо всем этом непременно рассказать своей улице. А его приключение пусть пойдет на пользу Лиге и ее вождю! Правда, он еще не знал, как выберется отсюда. Все его теперь покинули — зрители, девица, повара, величественный мажордом, даже изящные дворянчики, а ведь прикидывались его друзьями. Ему самому пришлось отыскивать дорогу: по безлюдным переходам он добрался до какого-то подвала, забитого солдатами, и они схватили его за шиворот. Уж тут не было никаких «господин Эртебиз», они попросту вытолкали его в Луврский колодец, а затем на мост. И молодцы из охраны его теперь знать не хотели: солдаты грубо допросили его, вывернули ему карманы, дали пинок в зад, и он вылетел из замка.

Эртебиз предусмотрительно не рассказал солдатам о том, что видел в замке. Впрочем, он и сам начинал сомневаться, так ли все это было. И чем дальше он шел по городским улицам, тем невероятнее и подозрительнее казалось ему все пережитое. Подобные истории не для него; а здравый смысл подсказывал, что тут не обошлось без козней дьявола. Бельевщик решил, не откладывая, сходить к исповеди. Тем, временем он добрался до улицы, где жил, и все соседи вышли ему навстречу из своих домов, он же поспешил укрыться в собственном и лег в

постель. Госпожа Эртебиз принесла ему глинтвейна.

Лишь спустя два часа – ибо это был кремень-человек – супруге удалось выведать все, что с ним приключилось. Вечером стало известно всей улице, а на другой день – всему Парижу. Начали приходить люди из других частей города, они хотели услышать от него самого, что король спит с королевой. Это явно шло на пользу королевской власти и подрывало Лигу, почему поп Буше начал в своих проповедях громить Эртебиза, уверяя, что он подкуплен и что он орудие сатаны. Однако коротышка-бельевщик настаивал на своем, ибо с течением времени он стал гордиться этим приключением и был теперь более убежден в том, что все это действительно произошло, чем в день события.

– Эртебиз, что же ты, на самом-то деле, видел?

– Его величество король лежал на своей золотой кровати, в золотой короне, а рядом с ним лежала ее величество королева, прекрасная, как утренняя заря. Все это истинная правда, готов поклясться в мой смертный час.

Он повторял потом то же самое в течение тринадцати лет. Тем временем дело дошло до того, что короля умертвили, а его преемник, Генрих Четвертый, носивший то же имя, вынужден был побивать в сражениях своих же французов, иначе они попали бы в лапы Габсбургов. Лига для украшения своих процессий выпускала на улицы нагих женщин, и они плясали. Их развращенность была ужасна, а в своей кровожадности они доходили до смешного. Коротышка-бельевщик, известный всему городу благодаря своему рассказу, был не первым, но и на него бешеные бабы набросились, как на врага святой церкви: – Вон Эртебиз, это он видел, как Валуа валялся со своей потаскухой!

И сотни босых ног затоптали Эртебиза насмерть.

Наслаждение

У королевы Наваррской был собственный двор: в нескольких маленьких покоях по вечерам собирались ее подруги, ее поэты, музыканты, гуманисты и поклонники.

Здесь служили одному божеству – Марго, и незачем было подглядывать в щель между портьерами, как на празднествах, устраиваемых ее братом, королем Франции. Ее дорогой супруг, король Наваррский, однажды вечером застал Марго играющей на арфе, а какой-то поэт читал сочиненные в ее честь благозвучные стихи; в мире поэзии она именовалась Лайсой, была куртизанкой и властвовала над людьми благодаря своей красоте и учености. Марго-Лайса сидела в кресле, на возвышении, и во всем ее облике было то совершенство, к которому она неизменно стремилась. По бокам стояли еще два кресла, и в них сидели госпожа Майенн и герцогиня Гиз. У ног богини и подле двух других муз расположились менее важные особы, служившие, однако, необходимым дополнением ко всей этой картине. Ее обрамляли две увитые розами колонны, между которыми лежал большой светлый ковер с вышитыми на нем образами мечтательной весны. Глубоким миром и ясностью духа веяло от этого зрелища, и поэту, стоявшему перед тремя женщинами, оставалось только воспевать их, причем он слегка откидывался в сторону и вытягивал руку, словно шел по шаткому мостику, переброшенному через пропасть.

«В замке Лувр не везде так спокойно, как здесь, – подумал Генрих, увидев двор королевы Наваррской. – А церковь, где проповедует этот Буше? Не изобразить ли его и показать им образчик подобного красноречия? Стоит ли? Нет!» Генрих, правда, занял место поэта, но начал декламировать то, что ему вдруг пришло на ум: – *Adjudat me a d'aqueste hore*, – помоги мне в этот час, молитва, которую читала мать, рожая его. Звучные слова! А так как они были обращены не только к деве Марии, но вместе с тем и к королеве Наваррской, то этим ее дорогой повелитель превзошел все восхваления, какие мадам Маргарита слышала при своем дворе. И она была ему чрезвычайно благодарна; она принялась аккомпанировать, вплетая в его речь блестящие пассажи на арфе, и в заключение протянула для поцелуя свою, ослепительную руку. Поцеловав ее, он заверил Марго при всех ее почитателях, что сегодня готов служить ей и угождать, как никогда. Она поняла и снова протянула ему руку, на этот раз, чтобы он помог ей сойти со ступенек возвышения и увел из комнаты.

Когда их никто уже не мог услышать, Генрих рассмеялся и сказал: —
Ступайте к
королеве, вашей матери. Мне очень хочется поглядеть, какое у вас будет
лицо,
когда вы выйдете от нее.

— Что это значит? — отозвалась Маргарита, она была явно обижена. — Теперь
со
мной уже никто не обращается столь неуважительно, как во времена короля
Карла.

— Надеюсь! Хотя ваш брат-король разгневан на вас не меньше, чем ваша
мать.

— Ради бога! Что случилось?

— Я молчу! Достаточно, если я скажу вам, что сам не верю ни одному их
обвинению. Люди все это выдумывают, только чтобы нас поссорить.

Генрих проводил свою супругу до комнат мадам Екатерины. Но едва он
остался
один, как к нему приблизилась другая дама, герцогиня де Гиз: она тоже
попала в
трудное положение. Ее беспокойство можно было заметить и раньше: когда
она еще
сидела в кресле на возвышении и остальные казались столь безмятежно
спокойными,
герцогиня тревожно озиралась. Так выглядит человек, которого до смерти
перепугали, и он не в силах об этом забыть.

— Сир, — проговорила герцогиня и беспомощно протянула Генриху руки
ладонями
вверх, — я очень несчастна. Я ни в чем не повинна и заслуживаю того,
чтобы вы
меня утешили. — Он хотел возразить ей: почему бы и нет, после всех
остальных, —
однако не успел. — Вы лучший друг герцога, — торопливо продолжала она, —
так
убедите его, ради бога, что я перед ним чиста, а то он обойдется со мной
еще
суровее! — Она выпалила все это сразу и невольно остановилась, чтобы
перевести
дух. Генрих мог бы сказать: «Я вправе защищать вашу невинность, мадам,
ибо мне
вы, к сожалению, еще не доказали противное».

— Подумайте только, что делает этот сумасшедший! Нынче утром я
почувствовала
легкое недомогание, а он невесть отчего был не в духе; вижу, что-то его
бесит,
а что, сказать не желает. Я ведь и так догадываюсь, в чем дело: у мужей
только
ревность на уме. Вдруг ему взбрело в голову, что я непременно должна
выпить

чашку бульона, и каким тоном он этого потребовал! Я, конечно, начинаю подозревать самое плохое. «Не нужно мне никакого бульона!» – говорю. А он, сколько я ни отказываюсь, стоит на своем: «Нет уж, извините, мадам, бульон вы все-таки выпьете». И тут же посылает на кухню.

– Он хотел вас отравить? – вполголоса спросил Генрих с ужасом, ибо ему вспомнилось, что ведь он сам назвал герцога рогатым; может быть, он первый и пустил этот слух? С тех пор Гиз ото всех получал подтверждения, и вот как страшны оказались последствия для бедной женщины.

– Надеюсь, вы ему выплеснули бульон в лицо?

– Это было бы невежливо. Я вымолила у него отсрочку на полчаса, прежде чем выпить роковую чашу, и за это время приготовилась к смерти.

Генрих видел теперь несчастную жертву сквозь дымку слез, заставших ему глаза.

– Потом принесли бульон. Герцог тем временем вышел из комнаты. А я выпила.

Даже в отсутствии мужа супруга повиновалась ему: ее поддерживала надежда, что молитва умирающей искупит все ее плотские прегрешения.

– И вы подумайте! – воскликнула она, возмущенная до предела. – Оказалось, что это самый обыкновенный бульон!

Ее гнев передался и ему. Хорош Голиаф с его великолепными телесами! Вот как запугивает женщин! Вот как он мстит, когда они наставляют ему то, что он вполне заслужил! – Мадам, – сказал Генрих с глубоким убеждением, – вы безвинно пострадали, я это вижу. Вы заслуживаете, чтобы я вас утешил и загладил вину всех мужчин, которые были к вам несправедливы, в том числе и мою.

Он взял ее за кончики пальцев, их руки, словно воспарили, их ноги сблизилась изящно, словно в танце, и, обратив друг к другу лица, выразившие учтивое счастье, они не без жеманства вступили на тот путь, который вел к обоюдному наслаждению.

Когда он снова увидел Марго, она только что при свидетелях выдержала бурное объяснение с матерью и братом-королем – уже не первое, вызванное ее предосудительным поведением. Душевное равновесие еще не вернулось к ней. – Что,

я был прав? — спросил он сочувственно. Ее большие глаза наполнились слезами, но, боясь, как бы тушь не расплылась, она сдержалась и не сразу выложила все, что угнетало ее. Не дожидаясь никаких объяснений, ее возлюбленный повелитель обнял ее и стал уверять: что бы ни случилось, он всегда защитит ее, ибо она ему доверена. Сегодня же вечером, когда ее брат-король удалится в свою опочивальню, двое его друзей изложат ему, насколько он был к ней несправедлив.

— Брат, может, и поверит им, но мою мать вам не провести, — проговорила Марго, пожалуй, слишком поспешно и опять слегка испугалась. Она неуверенно взглянула на своего повелителя, желая угадать, что ему известно. Ибо в конце концов Марго ведь все-таки допустила грубое нарушение приличий, наведя на одре болезни своего очередного любовника! Но так как Генрих и виду не подавал, что об этом осведомлен, она вернулась к роли оскорбленной невинности. — Если бы хоть не при всех мне бросили в лицо такую клевету! Этого я никогда не прощу! Не хватало еще, чтобы мой возлюбленный повелитель был обо мне дурного мнения и разгневался на меня!

— И не подумаю, ибо знаю все лучше, чем все остальные, — отозвался он и улыбнулся при этом многозначительной, но доброй улыбкой, даже не без оттенка влюбленности. Все это тронуло сердце бедной женщины. Лучшего друга она и желать не могла. — Вы человек благородный, — сказала она, — все кончилось благополучно. Но да послужит это нам предостережением. Вы увидите: король придумает еще немало всяких историй, лишь бы разорвать нашу дружбу.

— Это ему не удастся, — решительно заявил Генрих, — и мы сейчас же примем к тому меры. — Они еще долго пробыли вместе. Уже утром, когда он оставил ее, Марго тут же посетили дамы и сообщили ей о том, что ее возлюбленный супруг как раз вчера нанес ей обиду, оставшись вдвоем с герцогиней Гиз. Сначала Марго удивилась, затем ответила: — Мой дорогой супруг всегда пожалеет женщину, если она несчастна.

Потом она долго размышляла об этом случае. Ибо, хотя Марго жила бездумно, ее дух был полон глубокомыслия. Для памяти она набросала две сравнительные

характеристики: вот герцог Гиз, именовавшийся в ее записках Клеонтом, его месть с помощью чашки бульона ужасна, он держит герцогиню часами под угрозой смерти.

И вот король Наваррский — его она называла Ахиллом — этот, напротив, так мягок и вместе с тем так ненадежен. «И все-таки он верен своим чувствам, — писала она. — Ахилл никогда не забудет той высокой и прекрасной страсти, которая связала его с Лаисой. Этой страсти не изменят ни Лаиса, ни Ахилл, они преобразят ее своей доброй волей, и из пылкого чувства, подчас близкого к ненависти, возникнет дружба, почти равная любви».

Марго отложила перо: она была очень довольна, что все так обернулось. О многом она и здесь говорила только намеками. Но, к счастью, главное уже пережилось: она имела в виду толпу мертвецов, которые когда-то встали стеной

между нею и ее дорогим повелителем и через которую невозможно было пробиться.

Потом она выдала его своей свирепой матери, и он попал в плен, потом решила наставить ему рога. Ненависть, обман, раскаяние, жалость сменялись в ее сердце, пока, наконец, Ахилл и Лаиса не сделались близкими друзьями, чтобы навсегда

остаться ими, — так по крайней мере думала Марго. Но ведь жизнь длинна...

Супруги на многое смотрели сквозь пальцы. Они даже предостерегали друг друга, когда одному из них грозила опасность: правда, за таким предостережением

всегда что-нибудь крылось. Однажды Марго сказала: — Сир, вы показываетесь слишком часто в обществе моего брата д'Алансона. Зачем с ним связываться, ведь

вы уже видели не раз, чем это кончается! Наследником престола он остается.

Правда, вам обещано, что вы будете наместником всего королевства, но над его обещанием смеется весь двор.

— Мадам, иногда небезвыгодно быть даже осмеянным.

— Еще будь у вас тайные планы! Может быть, вы хотите стать королем Франции?

Но вы не найдете никого, кто согласился бы вам служить, ведь все вас уже видели

в роли короля. Лучше служите моему брату д'Алансону, которого я очень люблю и

который, наверное, взойдет на престол. Я даю вам этот совет ради вашего же

блага.

— Мадам, — торжественно отозвался он, — узнайте же, что и я вам друг. Я частенько провожу время с вашим братом д'Алансоном, так как мне известно, что

его жизни угрожает опасность. — Взгляд Генриха был настолько красноречив, что она почти угадала: ему самому это и поручено, король хочет воспользоваться им, чтобы избавиться от брата, И тут Марго решает: «Я буду сама охранять моего брата Франциска. Его другу, храброму Бюсси, я подарю свою благосклонность». Приняв это твердое решение, она перевела разговор на свою подружку де Сов.

— Сов — для вас лишь приятное развлечение, — заявила Марго. — Но ничем большим она стать не должна, ради вашей же безопасности, мой дорогой государь и супруг. И никогда не выдавайте ей того, что у вас на душе! Лежа с ней на одной подушке, вы и то не должны ни на минуту забывать, что Сов о каждой мелочи доносит моей матери-королеве.

— Не верю я этому, — отозвался Генрих, хотя отлично знал, что Маргарита права.

— Вы еще многому не поверили бы. Сов любит только Гиза, ему она предана душой и телом. — Марго начинала горячиться. — Неужели вам еще нужны доказательства? Ведь она безутешно плачет с тех пор, как лицо Гиза обезображено! Но и поделом этой сирене! — воскликнула она в гневе. — Признаюсь — я даже сама об этом постаралась. Пришлось ему нынешним летом идти в поход, вместо того чтобы изводить жену да спать с Сов. А в бою его полоснули по лицу мечом, и теперь он уже не красавец Гиз. Его теперь зовут «щербатый Гиз».

— «Щербатый Гиз», — повторил ее возлюбленный супруг, и это доставило обоим немало удовольствия, но Марго вдруг снова овладел гнев.

— И эта Сов пусть остережется, как бы и с ней чего не приключилось! Ведь она надеется стать нашей разлучницей, сир. Да что я говорю, — она мечтает вас на себе женить! Эта баба держит вас около себя целыми днями и приказывает вам являться к ней даже утром, когда ваша королева встает, лишь бы только вы не достались мне. Неужели вы доверяете своей Марго меньше, чем ей? А недоверие, сир, — это начало ненависти! — выкрикнула Марго, совсем позабыв о том, как нерушима дружба, связывающая Лаису и Ахилла.

Генрих сделал попытку ее обнять, и когда она оттолкнула его, про себя усмехнулся этому ревнивому раздражению, не подозревая, что и он начнет вскоре

ревновать Марго к храброму Бюсси, которого она полюбит. Наслаждение не всегда остается только наслаждением. У него есть свои ловушки и свои пропасти. В них можно спрятаться, чтобы тебя не видели. И в них можно заблудиться и упустить самое главное. Так бывало не раз в отношениях между Шарлоттой де Сов и сыном отравленной Жанны, мстителем за убитого адмирала. Немало других придворных дам служили ему для тех же целей, но милее всех была в этой роли она.

На улыбку жизни Сов отвечала своеобразным обаянием. Это была натура уравновешенная, а не порывистая и опьяняющая, как королева Наваррская. Слабой показала себя герцогиня Гиз, а не Сов, которая в каждом случае твердо знала, до каких границ она может позволить себе дойти. А Генрих находил общий язык и с ней, и с Марго, и с мадам де Гиз. По обычаям этого двора, у него было много любовниц, беспорядочные случайные связи, и очень сомнительно, долго ли выдержит такую жизнь столь молодое тело. Спокойнее всего ему было, однако, с Шарлоттой, отсюда и пристрастие к ней.

Причина крылась в том, что, когда они проводили вместе ночи без сна, они позволяли друг другу отвлекаться от действительности. И он знал, что о Гизе думает она тогда, о его честолюбивых замыслах. Ибо Гиз – ее единственный повелитель, пусть даже лицо его обезображено. «Меня же это не должно трогать, у нее такой прелестный рот, особенно когда она задумается и губы чуть приоткрываются. И я еще не видел таких глаз – длинные, узкие щелочки, и в них искрится насмешливый ум. Странно только то, что она никогда не удивляется, если я слишком долго молчу. Может быть, она уже угадала, о чем я думаю? Когда мы вдруг встречаемся взглядами, ее густые ресницы что-то утаивают от меня, а на губах появляется улыбка сострадания. И поделом, ибо что удалось мне осуществить за три с лишним года, несмотря на всю мою решимость мстить и ненавидеть? Да ничего! Король, Гиз, мадам Екатерина – все они до сих пор живы, а я их пленник и друг; занят ими больше, чем следует, и обманываю их. Эта женщина, которая лежит рядом со мной, права, считая Гиза лучше меня! И все-таки лицо у него теперь изуродовано – это ему за то, что он наступил на лицо мертвому адмиралу!»

— Я часто переношусь душою в горы, — сказал он однажды своей подруге в тихий ночной час. — В замке Лувр мне жить приятно, здесь у меня много друзей и прекрасных дам. Но в конце концов я начинаю скучать о своих горах. Кто не бродил по ним в детстве, не знает, как трудно человеку, когда он носит в своем сердце их имя: Пиренеи.

Сов следила за его грезами. Чтобы нащупать почву, она осторожно промолвила:

— До них далеко.

— На коне я доехал бы туда в десять дней. Я поспорил со своим кузеном д'Алансоном, — ответил он пылко, этого было достаточно, когда слушают так, как слушала Сов: одной фразой он выдал с головой и себя и своего сообщника. Чтобы отвлечь ее от этого невольного признания, он принялся фантазировать насчет водопада, который свергается с небесной высоты. Увлеченный, он стал уверять, будто однажды бросился в него и водопад примчал его в долину, прямо к ногам его матери Жанны.

— Чья смерть до сих пор остается тайной, хотя прошло уже три года, — сейчас же вставила Сов. «И она все еще не отомщена...» — закончила фрейлина про себя, но он догадался. О! Он отлично чувствовал ее любопытство, оно было осязаемо, как прикосновение ее тела. Величайшее наслаждение этой женщине дает не любовь, а угадывание и выслеживание. Не успеешь опомниться, как ты уже проговорился. Ее хрупкое тело легко было утолить, и в любви Генрих просто пугал ее; она же пугала его своим пронизывающим взглядом.

Вместе с тем она не выдала его старой королеве, хотя это и входило в ее обязанности. У нее были тут свои оправдания; ну какие особые грехи совершил бедный малый? Несколько тайных совещаний, которые ничем не кончились? Мадам Екатерина только посмеялась бы, узнав, что он намерен устроить заговор с участием ее сына д'Алансона, который так часто надувал его. Все замыслы этого бедняги как-то захирели, ему, видно, достаточно осуществлять их в своем воображении, и он успокаивается. Этот герой уже не способен ни на какое деяние, думает Сов. Едет на охоту и возвращается домой минута в минуту, довольный своей

добычей. Но прежде всего — он слишком много спит с женщинами. Она искренне хотела ему добра, поэтому предостерегала от излишеств. Сердце у нее было не злое.

Правда, ей хотелось разлучить его с Марго. Пока принц крови женат на сестре короля, у него еще остаются какие-то виды на будущее. Но престол должен занять не он: на престол должен взойти мой единственный владыка и повелитель — Гиз! Поэтому Сов и пыталась убедить своего временного друга, что она уже давно его любит — еще с той первой встречи в парке, когда обе подружки, Шарлотта и Марго, шли под руку ему навстречу, а впереди выступали павлины. Он станет моим, а я уже принадлежу ему вся, — так она будто бы решила тогда же. Я ловка, я умна, и если он женится на мне, королем он станет! Может не сомневаться. Но все было тщетно, лукавая усмешка Генриха показывала, что ей не провести его, так же как и он не проведет ее. Рассерженная, она отпустила своего возлюбленного в то утро раньше, чем обычно, хотя из ее объятий он, может быть, и перешел в объятия ее подружки Марго.

Таковы прихоти наслаждения. И вот однажды ночью король Наваррский вдруг потерял сознание; к счастью, он лежал на супружеском ложе. Обморок продолжался целый час, и Марго крайне встревожилась. Она старалась привести его в чувство и хлопотала над ним, как то предписывает долг заботливой жене: позвала своих фрейлин и слуг и не отходила от него ни на минуту, иначе он бы умер. Этот приступ слабости — явное предостережение: Марго посоветовала ему быть осторожнее. — С вами этого никогда еще не случалось. Вы слишком предаетесь наслаждению. — Словом, он остался очень доволен вниманием супруги, расхваливая ее потом, и она же была первой, с кем он снова вкусил наслаждение.

Поворот

Слишком много было сомнений, обдумывании и откладывании. И наконец 15 сентября 1575 года наступил крутой поворот: герцог Алансонский исчез. Когда пришло время идти к столу, мать велела искать его по всему дому, она была

чрезвычайно озабочена состоянием его здоровья – ведь она знала из собственного опыта, как легко отправить человека на тот свет. Однако трупа не нашли. Неужели д'Алансон бежал, даже не доверившись сестре? Та была, как обычно, занята своим двором и служением музам. Но королек! Мадам Екатерина уже готовилась к тому, что и его не увидит, – и вдруг он с самым невинным видом возвращается после игры в мяч, да еще перед тем принимает ванну.

– Что тебе известно, королек? Признавайся! Не то пожалеешь!

Генрих рассмеялся: – Мой д'Арманьяк мне только что сообщил, будто кузен удрал в карете, которая казалась пустой. Хотите, я открою вам, мадам, что впоследствии? Двуносый обратится к стране и к народу с призывом восстать. А тогда вы, мадам, помиритесь с ним и дадите ему то, что он потребует.

«Сердится, – подумала мадам Екатерина, – вероятно, потому, что его заподозрили в сообщничестве; и, конечно, не зря заподозрили». Все же условия его плена пока не стали суровее. Пророчество Генриха сбылось в точности, воззвание к стране и народу появилось. В нем августейший принц, ссылаясь на всеобщее недовольство, на то, что очень многие умеренные католики и протестанты жаждут мира, требовал справедливости и к нему самому. Ибо, проживая во дворце своего брата-короля, он-де получал только неприятности и никаких денег. Тут-то старая королева увидела верный способ вернуть свое дорогое детище; поэтому, несмотря на все, она отнеслась к возванию менее серьезно, чем ее сын-король, которого эта история сильно расстроила. Да и город Париж был опять взволнован предчувствием бед и захватывающих событий. Как! Родной брат короля, именуемый монсеньером, последовал примеру принца Конде и бежал в Германию! И они уже идут сюда с огромными войсками, французы и немцы, – да, соседка, ровно сто тысяч человек, провалиться мне на этом месте, ежели я вру! И тогда сначала некоторые парижане, а затем все стали видеть на багряном вечернем небе фигуры вооруженных людей.

Только мадам Екатерина сохранила здравый смысл, невзирая на все видения и слухи. Генрих Наваррский, по ее мнению, вел себя более загадочно, чем ее сын д'Алансон, которого она знала вдоль и поперек и не боялась. Неожиданно положила она перед королем Наваррским воззвание его сообщника – пусть Генрих прочтет

вслух. После трехлетних упражнений Генрих научился владеть своим лицом при любых обстоятельствах. Не дрогнув бровью, он уронил: — А я знаю его. Я и сам так писал, когда был заодно с адмиралом и с гугенотами. Скоро монсеньер другое запоет. Сначала воображаешь невесть что, а потом все-таки начинаешь плясать под чужую дудку. Это не для меня.

Было ли презрение Генриха искренним или напускным — неизвестно, но его дорогая приятельница осталась при своем глубоком недоверии. С этого дня она учредила за ним еще более строгий надзор и приставила к нему новых шпионов, о которых он и не догадывался. Им было поручено пользоваться всяким случаем и вызывать его на неосторожные высказывания. Она оплела его черной паутиной сыска, а ему больше чем когда-либо удавалось обманывать двор своим неизменным благодушием и притворным легкомыслием. Но в нем происходила мучительная борьба, и на душе становилось все мрачнее — так уже было однажды.

«Перевертыш начал действовать, пока я медлил! И вот все было, оказывается, впустую: и долгое притворство, и бесконечное обдумывание, и постоянное изучение людей.. Несчастье заставило меня пройти суровую школу, и все-таки я остаюсь там же, где был в утро после Варфоломеевской ночи».

Волнения продолжались две недели, затем Перевертыш пошел на попятный и начал торговаться с матерью, мадам Екатериной, относительно размеров вознаграждения, за которое он согласен изменить своим союзникам. Тем хуже для Генриха! «Такое ничтожество — и осмелился объявить себя вождем, а я от излишних наслаждений упал в обморок. Почему же все так выходит? Довольно, я больше не спрашиваю! Школа несчастья кончилась, а вместе с нею и немощь мысли. Я подам весть моим протестантам на юге, пусть вскорости ждут меня к себе. И если даже они меня сейчас презирают за то, что я, вот уже больше трех лет, строю из себя шута при этом дворе, то я докажу им, что я поистине сын их королевы Жанны, и совсем другой чеканки, чем Перевертыш! И другой, чем Голиаф! Ибо я знаю: эта школа пройдена не напрасно. И знаю: королевство я объединю».

Его пылкая гордость взволнованно твердила ему эти слова, ничто не могло подорвать его уверенности – ни позорное положение, а его еще придется терпеть до известного срока, ни новый срам, причиной которого был Перевертыш: он выступил вместо Генриха и чуть было ему самому все не испортил. Генрих не сомневался в успехе. И сейчас, когда все казалось проигранным, он был больше чем когда-либо уверен, что впереди победа. Если народ действительно ждет вождя, то чем больше ложных вождей этот народ разоблачит и отринет, тем неотвратимее появится и выйдет на правильный путь его настоящий вождь.

И вот когда он ожидал, чтобы истекло положенное время, его постиг последний, особенно тяжелый удар; однако он выдержал и его. Последней покарала Генриха его любимая сестричка. Юная Екатерина долго и тщетно ждала, чтобы ее дорогой брат, наконец, вспомнил их мать Жанну, господина адмирала и всех убиенных друзей. Однажды во дворце Конде она тайком сказала старухе-княгине: – Я знаю его, ведь мы – одна кровь и плоть. И я была тогда здесь, в комнате, с ним и с господином адмиралом, который был еще жив. Разразилась ужасная гроза, двери распахнулись настежь, я так и ждала, что сейчас войдет наша покойная мать и позовет его: пусть отомстит за нее. Но оказалось, что это принцесса Валуа, и она увела его венчаться. Я постоянно вспоминаю о том вечере, мой милый брат тоже ничего не забыл. Я поклясться готова, что он с тех пор притворяется перед всем двором и даже передо мной, своей сестричкой. Когда придет день, он выпрямится и покажет себя.

Волнуясь, она вскочила с места и не могла скрыть легкой хромоты. Екатерина была все так же бледна и казалась по-прежнему девочкой, из-за слабых легких. Она жила, замкнувшись в этом доме, ибо питала отвращение к королевскому двору, где, по словам ее матери, «женщины зазывают к себе мужчин». Принцесса Екатерина Бурбон осталась протестанткой. Она не могла понять отступничества своего брата, каким бы трудным ни было положение, в котором он очутился. Но все же она одобряла его поведение, ибо он был ее братом и главой их дома, и неизменно защищала Генриха, его увлечения и его ошибки перед дворянами-протестантами, которые тайком приезжали из провинции; а они потом

возвращались к себе, увозя некоторую надежду. Екатерина была слаба, одинока и, казалось, могла вызвать только жалость. Однако многие из них знавали еще ее мать и были поражены благородной стойкостью дочери: им чудилось, что с ними говорит сама королева Жанна, и они еще раз преклонялись перед ее бессмертной душой.

Все же трудно дольше трех лет защищать бездеятельность человека, особенно если и сама начинаешь сомневаться в его правоте. «Он ничего не забыл, я знаю, но среди тех, кто его держит в плену, можно и утратить свою веру. Пусть он снова обретет ее с помощью господ. Я хочу нанести ему целительный удар.

И это в моих силах, ибо, что бы там ни произошло, я остаюсь, как всегда, его Екатериной. И я нужна ему оттого, что мы вместе росли; кто еще будет с ним в самую тяжелую минуту? Никто, кроме сестры. Притворюсь, будто я покидаю его, пусть испугается, что я отдам себя и наше дело в руки чужому мужчине».

Таков был простодушный расчет этой девочки с благородным сердцем. Она призналась в своих планах одному-единственному человеку – господину Теодору де Беза, женевскому пастору, сочинившему духовный стих «Явись, господь, и дрогнет враг!» И осведомилась у него, можно ли выполнить то, что она задумала, не впадая в грех; а он разъяснил ей, что она, пожалуй, может отдать свое дело в руки другого, но не должна отдаваться ему физически. Как раз в то время она встретила с двоюродным братом, Карлом Бурбоном, графом де Суассон, которого ей было суждено любить до своей преждевременной кончины.

Все это не так, как тебе кажется, Катрин. Ты до сих пор уверена, что своей строгой нравственностью резко отличаешься от брата, который ищет только наслаждений. Но и ты пройдешь те же ступени и познаешь наконец все муки, всю святость, все унижения тех, кто много любил, – а он будет и впредь желать всех женщин и, даже оставаясь верным одной, в ее лице жаждать всех остальных. Ты же все, что тебе предназначено судьбой, будешь получать только от Карла, твоего родственника и, кстати, католика, что, однако, не остановит тебя, строгую протестантку. И он станет тебя обманывать самым будничным образом. Но ты будешь забивать об этом после каждой измены, когда ты ее перестрадаешь; и после

каждого разрыва привязанность твоего сердца окажется глубже. Это будет тянуться до тех пор, пока тебе не стукнет сорок один и ты начнешь раздражать общество, чего никак не сможешь отрицать, и когда ничего другого уже не останется, ты решишь строить из себя неприступную даму. И лишь славное имя твоего царственного брата послужит тебе защитой. Только тут он произнесет свое запоздавшее, но властное слово и повелит тебе выйти за другого. Ты, правда, подчинишься, ибо твои силы будут надломлены, но предотвратить этим уже ничего не сможешь. В ужасе перед надвигающейся старостью ты будешь цепляться за своего возлюбленного; нет, ты предпочтешь умереть, чем жить старухой, и ты умрешь. Вот как это будет, Катрин, а вовсе не так, как ты воображала, когда просила совета у женеvского пастора.

И тогда юная принцесса Екатерина неожиданно появилась на одном из дворцовых празднеств. Об этом доложили ее брату, но напрасно Генрих искал ее в толпе гостей. Уже решив, что над ним подшутили, он все же заглянул в королевскую прихожую, там было пусто. Один из офицеров гвардии стоял и смотрел в угол, который Генриху не был виден. Брат направился туда и обнаружил сестру в обществе мужчины, который вызвал в нем суеверный ужас. Генрих готов был повернуться и бежать отсюда: перед ним оказался его двойник. Те же густые курчавые волосы, тот же узкий овал лица; рот, глаза, нос были его, ничем не отличалась от Генриховой и фигура; особенно потрясло его то обстоятельство, что неведомый двойник был и одет в точности, как он.

А сестричка стояла, положив руку на плечо незнакомца, — так она с детства клала руку на плечо брата, — и говорила, почти касаясь, его щеки, как несчетное число раз говорила, касаясь дыханием щеки Генриха. Страшнее же всего было то, что его, Генриха, она не видела и не слышала, хотя их разделяло едва ли шесть шагов, хотя он нарочно шаркал ногами по полу, чтобы привлечь ее внимание. Он ущипнул себя: да точно ли он здесь присутствует телесно, точно ли это он сам? Или какое-то колдовство лишило его земной оболочки?

«Бедный брат, — думала тем временем Екатерина, — духи, конечно, существуют,

бывает и колдовство. Но сейчас я тебя просто обманываю, и мне искренне жаль, что приходится это делать. Я разодела моего милого кузена, научила его, как вести себя, и вот притворяюсь, будто ты для меня – все равно, что воздух. А на самом деле – нет никаких причин для твоего смятения. Сравни-ка себя с нашим двоюродным братом! Если отбросить чисто фамильное сходство, то это лицо без прошлого, жизнь не оставила на нем никаких следов. Он только и знал, что охотиться в своих лесах. А ты? Ах, братец, хоть ты и очень молод, но страдания, борьба и раздумья уже оставили на тебе свой отпечаток. Перестань строить из себя шута, и твой взор сразу станет печальным и хитрым, милый братец. И нос у тебя с тех пор еще больше загнулся к губе, не очень, но все-таки. В эту минуту ты считаешь, что на тебя никто не смотрит, и рот чуть кривится оттого, что ты слишком долго притворялся. Но как красивы эти впадины на висках – они у тебя от рождения. Хотя бы даже ничего в тебе не было, кроме них, сердце мое, я бы все равно любила тебя. Как раз такие впадины есть и у нашего кузена. Я не могу поверить в то, что полюблю его, но если это все же случится, то из-за твоих висков!»

Девушка встала, наконец она обратила к нему лицо, строгая и ясная, как будто сама Жанна смотрит на него. Только в ее широко раскрытых глазах стояли слезы; слезами задернулись и его глаза. Екатерина сказала: – Господин брат мой, вы давно не виделись с нашим дорогим кузеном. Он часто навещает меня, и мы говорим о вас, ибо не смеем надеяться, что вы ради встречи с нами оставите ваше привычное общество.

– На это обратили бы внимание, – возразил Генрих, – а вам, наверное, известно, дорогая сестра, что я не общаюсь с гугенотами, тогда как вы принимаете очень многих. И было бы слишком неосторожно, если бы сейчас три особы из нашего дома долго беседовали тайком в уединенной королевской прихожей.

При этом он взглянул на кузена. Тому стало не по себе, Генрих решительно взял его под руку и проводил до двери. – А теперь говори, Катрин, – сказал он, вернувшись. Она сначала взглянула украдкой на телохранителя. А тому почему-то

взбрело на ум встать в самых дверях, широко раздвинув ноги, словно он вознамерился никого сюда не пускать; к ним он повернулся спиной. Тогда сестра сказала:

— Там, дома, тебя ждут.

— Знаю. Но я ведь пленник. Сторожевые посты усилены, все больше шпионов следят за мной. Тем, кто ждет, придется еще потерпеть.

— Их терпение уже иссякло. Они считают, что ты для них погиб. Д'Алансон занял твое место, не забудь! И это наши единоверцы на юге, ты пойми! Тамошний

губернатор и умеренные католики действуют заодно с протестантами: они вместе хотят поддержать Конде, если он с немецкими войсками вторгнется во Францию. Провинции, которые лежат у него на пути, уже на его стороне. Все зреет, все сдвинулись с места, только ты сиднем сидишь. Наша мать пожертвовала своей жизнью, а теперь другой — не ты! — пожинает плоды ее жертвы!

— Я очень несчастен, — вздохнул он и опустил глаза: было почти невыносимо обманывать даже сестру. Этот взволнованный, вибрирующий голос, его испуганное

повышение на последних слогах... «Сестра! Сестра! Я ведь твердо решил и уйду отсюда раньше, чем ты думаешь. Среди тех, кто мне будет помогать, ни один не

знает другого. За эти три года я многому научился. Моя драгоценная приятельница, старая убийца, сообщила мне по секрету, что д'Алансон уже не

опасен. Нынче ночью она тайком уедет и привезет обратно своего блудного сына.

Если бы я раньше срока обмолвился тебе хоть словом, Катрин, ты бы тоже оказалась замешанной. Я не могу подвергать тебя опасности, Катрин».

Он поднял глаза, в них были кротость и терпение, больше ничего.

— Так ты не хочешь? — спросила она.

— Я не могу, — вздохнул он.

Тогда она подняла руку — у нее были те же длинные, гибкие пальцы, что и у матери; и так же, как в детстве, когда мать, бывало, рассердится, она пребольно

ударил его по щеке. И он тоже пустил в ход руки, точно они были еще детьми и

жили у себя в деревне, где не только крестьяне, но и принцы гораздо непосредственнее выражают свои чувства. Он поднял сестру, понес на вытянутых

руках к двери и, как она ни старалась вырваться, решительно посадил ее на шею

телохранителю, все еще стоявшему на пороге. Чтобы не свалиться с этого

громадного парня, маленькой Екатерине пришлось ухватиться за него. Когда она
опять очутилась на полу, Генриха давно уж и след простыл. Но она — она
теперь
знала правду; и от радости громко рассмеялась. Телохраниитель тоже
смеялся.

Дух

Те, кто должны были ему помогать, до сих пор еще не знали друг друга. Это
были прежде всего господа де Сен-Мартен д'Англюр и д'Эспаленг, два
благовоспитанных дворянина, остроумцы и смельчаки, но, согласно
требованиям
хорошего тона, всегда умевшие вовремя остановиться. Общение с ними было
весьма
приятно, и так как Генрих не сомневался в их преданности, оно тем более
привлекало его. Доверенным лицом Генриха был некий господин де Фервак,
настоящий солдат, уже не юноша, прямодушный и скромный. Этот был не
охотник до
зубоскальства и словесной игры: иной раз краткое донесение, которое
обнаружит
д'Арманьяк в платье своего государя, неведомо как туда попавшее; время от
времени беглая встреча и несколько имен: Грамон, Комон, д'Эспин,
Фронтенак.
Наконец здесь, в самом замке, в заговор оказались вовлеченными семеро
дворян,
причем каждый из них присоединился по собственному почину; они были уже
проверены, ибо Фервак как-то пустил ложный слух, будто все открылось и им
нужно
бежать. Но они не сделали этого, ставя выше собственной безопасности
честь
выступить с королем Наваррским и дать стране мир и свободу. И Генрих
узнавал
достоинейших по тому, что они даже не задумывались, ради чего примыкают к
этому
заговору — ради собственной выгоды или просто в поисках волнующих
приключений.

Для тайных встреч заговорщики пользовались новой террасой над рекой. Ныне
здравствующий король расширил дворцовые сады, так как ему уже надоело,
что его
добрый народ лезет вверх по крутому берегу и, повиснув на ограде,
громогласно
восхищается блестящим придворным обществом. Высоко над рекой, недоступная
с
берега, тянулась длинная терраса, но никто не знал, что с нее все-таки
можно
спуститься. На дальнем конце террасы в полу была откидная каменная плита,
скрытая за колоннами; тот, кто знал ее секрет, попадал через проход в
каменной
кладке к самой воде. Здесь всегда стояла наготове лодка, чтобы увезти
Валуа,

если бы Лига решила захватить короля с помощью своих приверженцев, которых было немало во дворце Лувр. Здесь-то и стал являться дух адмирала Колиньи.

Первым, увидевшим адмирала в одну январскую ночь и признавшим его, был некий дворянин-католик. И хотя он, из соображений практического характера, был глубоко предан делу короля Наваррского, все же, разумеется, едва ли желал встретиться с духом убитого протестанта. Господину Ферваку он высказал свое недовольство, ибо покойник вмешивается в дела, происходящие после его смерти: они вряд ли могут быть ему до конца понятны. Впрочем, дух вел безответственные речи, и дворянин даже не хотел их повторять. От такого свидетельства нельзя было просто отмахнуться. Оно казалось гораздо убедительнее, чем рассказы гугенотов – фантазера д'Обинье и меланхолика дю Барта. Генрих, как и прежде, держал своих старейших друзей на некотором расстоянии. И все-таки между ними царило безмолвное понимание, для которого не требовалось особого стовора, и они были непоколебимо преданны. Пусть их государь к ним несправедлив – они не ждали от него милостей, они владели лучшим, большим. И они понимали, что государю необходимо привлекать на свою сторону врагов, подкупать их, очаровывать и даже убеждать! Носиться с такими друзьями, как мы, значило бы только расточать свои силы: мы ведь знаем друг друга; незачем баловать нас, государь должен уметь быть благодарным.

Когда в один ранний зимний вечер оказалось, что они оба спрятались в его неосвещенной комнате, Генрих сурово стал их корить. В свое оправдание они заявили, что господин адмирал дал им поручение: он-де вернулся. Затем подробно описали, где и как он предстал им, и Генрих не мог не выслушать их рассказ. Хотя он уже знал о явлении адмирала от католика, он начал уверять, что они первые вестники этого события и сильно ошибаются, надеясь его обмануть. Но они сказали: – Сир! Дорогой наш повелитель! Бессмертные души усопших соприисутствуют здесь, они среди нас, живых, и нет ничего удивительного, если они иногда являются нам.

– Не это вызывает во мне сомнение, – возразил Генрих. – Так как духам известно, что их вид страшит живых, то обычно они являются нам не с добрыми намерениями. Чем я провинился перед господином адмиралом, что он посетил

меня?

Друзья безмолвствовали. Или они не знали, что ответить, или своим молчанием предоставляли ему самому найти ответ на этот вопрос. — Слишком много чести для меня, если обо мне говорят на том свете, — добавил Генрих.

— Не больше, чем на этом, — ответили они. — Всем королевствам Запада известно, что есть государь, который вот уже несколько лет ведет жизнь пленника при дворе своих врагов. Его мать извели, его полководец и друг, заменявший ему отца, убит, почти все друзья насильно отняты у него. Он же и виду не подает, как ему трудно переносить все это, забавляется пустяками и так медлит, будто совсем позабыл о тех действиях, которых все от него ждут.

— Кто ждет? Чего ждут?

Они ответили, кто. — Назовем хотя бы одно лицо: королева английская находит вашу историю захватывающей, сир. Нам это сообщил Морней, который долго там прожил и до сих пор тесно связан с британским островом. Королева расспрашивает нашего Морнея о вас, как о самой романтической фигуре наших дней. Решитесь ли вы, наконец, прикончить мадам Екатерину, до того как она вас отправит на тот свет? В стране все разрастается движение, быть вождем которого самою судьбой предназначено вам; вы же все мечтаете. Разве это может не тронуть сердце сорокалетней Елизаветы? Загадочный, непроницаемый принц! Совсем не то что ветреный д'Алансон, который все еще питает какие-то надежды касательно ее руки. Впрочем, ей теперь известно, что у него два носа.

Генрих опустил голову; он понял, на что они намекают, рассказывая все эти истории. — И что же, он хочет, чтобы я явился к нему на свидание?

Они сразу догадались, кого он имеет в виду. — Сегодня в одиннадцать, — прошептали они и постарались незаметно исчезнуть.

Генрих с неохотой остался один: ему стало страшно. Увидишь духа, и то почувствуешь грозную жуть. А идти на свидание с ним? Это уж самонадеянность и дерзость. Священнослужители обеих религий пригрозили бы за это тяжкою карой.

Нет, у него не хватает хладнокровия, чтобы подойти к этому вопросу непредвзято

и по-мирскому. А вот д'Эльбеф смог бы! Почему-то Генриху пришел на память именно д'Эльбеф, хотя он из другого лагеря, из дома Гизов. Генрих не посвящал его в свои планы побега, однако д'Эльбеф уже предостерег его против новых шпионов, которые могли обмануть Генриха своей светской учтивостью. Д'Эльбеф умел хранить тайну и мог дать хороший совет. Лежа на кровати, Генрих сказал своему камердинеру: — Д'Арманьяк, я хочу повидать господина д'Эльбефа. — Слуга-дворянин отправил с этим рискованным поручением одну из камеристок королевы Наваррской, самую скромную и незаметную, чтобы нельзя было догадаться, по чьему делу она идет. Когда друг наконец явился и, стоя возле кровати Генриха, выслушал всю эту щекотливую историю, он заявил:

— Появление адмирала естественно, особенно если взять в рассуждение те обстоятельства, при которых он погиб. Скорее удивительно, что он так долго медлил. По моему скромному разумению, сир, вам нечего опасаться. Напротив, может быть, он хочет предостеречь вас.

— Мой добрый дух, который всегда меня предостерегает, — это вы сами, д'Эльбеф.

— Я принадлежу к числу живых, и мне известно далеко не все. — В тоне д'Эльбефа прозвучал кроткий упрек: мной, дескать, пользуются, но в тайны не посвящают. Для столь наблюдательного человека это, впрочем, не составляло особой разницы: д'Эльбеф знал о перевороте, который совершился в душе Генриха Наваррского, и догадывался о его намерениях. Но так как он принадлежит к стану врагов, то ему были виднее и опасности, ускользавшие от самого Генриха.

— Одно для меня несомненно, сир: нельзя допускать, чтобы дух ждал вас понапрасну. Но с ним, вероятно, надо держаться, как и с прочими духами, а именно: ни при каких условиях не подходить слишком близко, ибо самые благожелательные духи могут все же впасть в искушение. — В какое, он умолчал. — Спокойно идите туда, сир. По обычаю духов — насколько мы их знаем — будет держаться в отдалении и этот, для того чтобы не поддаться искушению. Сам я буду неподалеку, хотя ни вы, ни дух не заметите меня, — разве только появится необходимость вмешаться живому человеку. — Д'Эльбеф сказал эти слова, как будто ни к кому не обращаясь, и при том улыбнулся, словно они вырвались у него случайно.

Генрих все еще лежал в нерешительности; наконец он вздохнул: — Должно быть,

я трус! На поле боя я этого не замечал, разве что в начале сражения, тогда мне обычно живот схватывает; но что такое десять тысяч врагов в сравнении с одним духом!

За обедом в этот день все были как-то особенно молчаливы. Царила такая тишина, что король приказал вызвать музыкантов. Король, по своему обыкновению, был угрюм, а Генрих смотрел в тарелку, на которой кушанья оставались нетронутыми. Только мадам Екатерина что-то говорила своим тягучим тусклым голосом, и если кто по рассеянности не отвечал ей, она окидывала его испытующим взглядом, продолжая спокойно жевать. Своему королю она сказала: — Что это вы ничего не едите, зятек? А вам следовало бы покушать, покуда еще есть возможность, — и дичи, и рыбки, и пирогов. Ведь это найдешь не всегда и не везде. — Он сделал вид, будто не слышит из-за музыки; все же она дала ему понять, что ей известно его намерение опять сделать попытку к побегу. Правда, Екатерина сейчас же покачала головой: уж сколько раз пытался ее королек вспорхнуть и улететь, пусть попробует еще раз!.. И на своего сына-короля она посмотрела неодобрительно. — Ты затеял глупость, — сказала она ему, перегнувшись через стол. И, помолчав, добавила: — Вашу мать, сир, вы больше не достаиваете своим доверием. — Генриху казалось, что этот вечер никогда не кончится. Ведь невозможно ухаживать за женщинами или острить с мужчинами, если у тебя назначено свидание с духом.

Около одиннадцати стража, как обычно, прокричала в залах и переходах о том, что ворота запираются, и придворные, жившие вне замка, поспешно удалились. Генрих хотел незаметно смешаться с их толпой, но его позвал сам король. Его величество являло собой печальное зрелище. Не будь Генрих так взволнован, он заметил бы, что у его величества совесть нечиста.

— Милый кузен, — сказал король, — сегодня холодная бурная ночь. По такой темноте мало ли что может случиться в пути. Сиди-ка лучше у огня!

— Меня ждут, — отозвался Генрих и, точно имел в виду даму, рассмеялся. Но ему стало не по себе.

Как только он вышел из-под защиты замковых стен, бурный ветер отшвырнул его обратно. С большим трудом достиг он террасы, где царил полнейший мрак. Генрих стал ждать, но время шло, а дух, все еще ничем не давал знать о своем

присутствии. Только когда ветер на миг разорвал облака, блеснул лунный луч и тотчас погас, но в его беглом свете Генрих узнал адмирала. Черные латы, седая борода и особый наклон головы – бесспорный признак не только благородства среди людей, но и знакомства с волей божьей. Да, это действительно он, сказал себе Генрих и преклонил колена. Он находился на одном конце террасы, дух на другом, где стояли колонны; летом их обвивал виноград, образуя беседку. Молодой человек начал читать молитву.

Но вот снова прорвался лунный луч, теперь его свет покоится на потустороннем видении. Лицо призрака бледно, как призрачное сияние, черные глазницы пусты. Это не глаза живого человека. И нога не ступает на каменные плиты этого мира. Дух бессильно волочит ее, пытаясь сделать шаг. Еще труднее говорить и быть понятым среди завываний бури, когда голос исходит не из телесной гортани. Тем страшнее это явление для земных глаз. У молящегося Генриха стучат зубы. Но вот до его слуха доносится подобие стога. Едва уловимо, словами, которые рвет ветер, господин адмирал дает понять, что он требует отомстить его убийцам. Луна опять скрывается. Это хорошо: только в темноте Генрих находит в себе мужество ответить, и отвечает он неправду. Если бы дух все еще был видим, юноша не отважился бы на такой ответ даже в душе. Но он делает над собой отчаянное усилие и бросает в ночь и бурю: – Я и не помышляю о мести, господин адмирал, ибо ваши убийцы стали моими лучшими друзьями, а я теперь просто весельчак и ловкий танцор и хочу навсегда остаться в Лувре! – Генрих выкрикивает это настолько громко, что если поблизости спрятался кто-нибудь из живых, то он наверняка услышал. Но про себя, в тайне своего сердца Генрих настойчиво шепчет: «Господин адмирал, я тот же, я прежний!»

Всякий дух, конечно, умеет отличить сокровенную правду от лжи, которая говорится вслух, на всякий случай, из привычки к осторожности, ибо притворство стало уже давно первым душевным движением Генриха.

Вас я не могу обмануть, господин адмирал!

Вдруг там, вдали, на плиты падает что-то тяжелое, словно чье-то тело, и следует то, что на человеческом языке называется: грохот, топот, брань; Так не

ведет себя ни один дух и уж, конечно, не, дух адмирала. Генрих решает бежать.

Но тут опять раздвигаются облака, и при свете луны он видит — на этот раз живого человека — человек спешит к нему, и его ни с кем не смешаешь: это д'Эльбеф.

— Чуть было не поймал! Я притаился среди виноградных лоз между колоннами, негодяй меня не видел, а я его сразу узнал. Это был шут. Да, шут короля, унылая фигура, плохой комедиант. Как только я в этом убедился, я спрыгнул вниз и хотел упасть ему на спину. Но, к сожалению, промахнулся. А когда я поднялся, его и след простыл.

— Человек не может вдруг стать невидимым.

— Но дух не вопит, как дурак, и не топает по ступенькам, которые ведут неведомо куда. Он удрал каким-то потайным ходом.

Лунный свет теперь заливал террасу, они могли осмотреть каждую плиту, однако ни одна не выдавала тайны. Генрих хлопнул себя по лбу: — Вон что... — проговорил он. Он вспомнил лицо короля в тот вечер — оно говорило о нечистой совести и о злых кознях.

«И ему все удалось бы, ибо я был уверен, что беседую с господином адмиралом. А как бы все обернулось, если бы я не соврал и вместо этого ответил: еще десять дней и меня здесь не будет, или даже признался бы господину адмиралу: я частенько думаю о мести, господин адмирал, жизнь ваших убийц уже не раз была в руках господних! Но я промолчал, и в этом мое счастье. Иначе, меня, наверно, нашли бы завтра на этих плитах с кинжалом в груди».

Обо всем этом Генрих своему спутнику ничего не сказал, но наблюдательный д'Эльбеф понял главное и без слов. Они вернулись в замок и решили вытащить шута из постели. Как они и ожидали, он уже успел лечь: он воспользовался тем временем, пока они осматривали плиты. Шут притворился, будто спит крепчайшим сном, но скорее хрипел, чем храпел, и одеяло его еще не успело согреться. Они тут же подняли его и привязали к стулу. Самое страшное было то, что он не открыл глаз. Д'Арманьяка послали за д'Обинье и дю Барта. В их присутствии начался допрос.

Сознается ли он в том, что пришел сюда прямо с террасы, спросил д'Эльбеф привязанного шута. Сознается ли он, что изображал духа, спросил Генрих. Шут же,

чтобы спастись, сделал вид, будто у него отнялся язык, и стал вращать глазами, точно и в самом деле собрался умирать; но при этом ослабился. Его лицо исказилось непроизвольной судорогой страха, и с него исчезло выражение неизменной скорби, которую шут обычно напускал на себя вопреки своей профессии. Полотняная рубашка вместо строгой черной одежды, смертельно бледное, длинное лицо, растрепанные вихры и эта непроизвольная усмешка – сейчас впервые за всю свою карьеру, шут был действительно смешон. Пятеро зрителей неудержимо расхохотались. Д'Эльбеф первый напомнил остальным, что сегодня была совершена гнусная попытка обмануть живого, уже не говоря об оскорблении, нанесенном духу, который сам найдет способ отомстить за себя. Когда шут это услышал, он затрясся от ужаса.

Сознается ли он в том, что сегодня ночью изображал адмирала Колиньи, повторил Генрих свой вопрос, пригрозив шуту, что повесит его, и даже приказал д'Арманьяку осветить стену и поискать на ней гвоздь. Однако шут был искусный комедиант, и допрос протекал совсем не так, как хотелось поймавшим его господам.

Вопрос: боится ли он? Ответ: конечно, боится. Вопрос: раскаивается ли он? Ответ: конечно, раскаивается. Вопрос: готов ли он искупить свою вину? Ответ: да, готов. Вопрос: значит, он признает, что дух – это был он? Ответ: он и не скрывает этого. Он уже и так достаточно дрожал и трясся от страха перед самим собой, вернее – перед настоящим духом, ибо дух каждую минуту мог свернуть ему шею, разгневанный столь непристойным подражанием. И он уверен, что еще поплатится за свою дерзость, несмотря на искреннее раскаяние. Как известно, духи отличаются беспощадной мстительностью.

Вопрос: а кроме этого, он ничего не боится? Ответ: а чего же еще ему бояться? Их гвоздя или петли? Что они могут с ним сделать? Если они его убьют, король сразу же поймет, что, значит, на самом деле существует заговор, раскрыть который он поручил ему, шуту. Д'Эльбеф шепнул Генриху на ухо: – Оставим его в покое. – Но Генрих все же успел спросить, действовал ли шут из ненависти, ибо жизнь в замке Лувр научила пленника относиться со вниманием ко всем проявлениям ненависти. Ответ шута:

– Ненавидеть тебя, Наварра? За то, что ты вместо меня разыгрываешь здесь

шута? Я же тебе говорил, что ты можешь с успехом выступать в моей роли. Не такая уж большая провинность, моя больше: ведь я передразнивал духа.

Вопрос: не помнит ли шут, что ему была однажды нанесена обида? Это случилось во время некоего праздничного шествия, под музыку, при полном освещении.

Ответ:

помнит. Речь шла об укусе в щеку: Генрих укусил, а шут стерпел укус. Ни тот, ни

другой не назвали своим именем этот столь рискованный поступок. Вопрос: может

быть, шут из-за нанесенной ему тогда обиды все же с удовольствием выполнил

сегодня ночью то, что ему было поручено? Ответ был дан глухим и каким-то скрежещущим голосом: он еще никогда не совершал чего-либо с удовольствием, но

всегда лишь с надлежащей печалью и в предвидении своей смерти. Его собственный

конец близок и будет ужасен.

Тогда они отвязали его и ушли.

Генрих сказал своим двум старым друзьям:

— Вот каков тот дух, от которого вы передали мне приглашение, и вот какая меня ждет награда, если я буду слушаться ваших советов. — Сконфуженные, они ушли к себе.

А на третью ночь после этого происшествия из каморки плута донеслись отчаянные крики, и когда дверь открыли, то увидели, что шут лежит со свернутой

шеей на полу. Смысл этого поняли все, кто имел какое-либо касательство к мнимому духу — и сам король, знавший, быть может, слишком многое насчет этой

смерти, и заговорщики, включая д'Эльбефа. Только Генрих узнал много позднее,

что недобрые предчувствия шута оправдались. Вечером того дня Генрих лежал в

постели; у него был очередной приступ сильной, но недолгой лихорадки, причин

которой не мог пока доискаться ни один врач, ибо причины эти были духовного

порядка. При нем находился д'Арманьяк, а также Агриппа д'Обинье, которого вызвал первый камердинер. Склонившись к подушке своего государя,

д'Арманьяк

уловил странные слова. Тогда оба они нагнулись к нему и услышали пение.

Генрих

пел тихо, но совершенно отчетливо: «Господи боже спасения моего! Днем вопию и

ночью пред тобою».

Он продолжал бредить и петь; они не все разобрали, но это был 88-й псалом[21. – В русском синодальном переводе библии – псалом 87-й.]. Вот больной дошел до слов:

«Ты удалил знакомых моих от меня, сделал меня отвратительным для них, заключенным, так что не могу выйти».

Тогда они схватили его руку и держали ее, пока он не допел до конца псалом сынов Кореевых о немощи бедствующих. Пусть их возлюбленный государь не думает, что господь отталкивает его душу и отвращает от него лицо свое. В час своей немощи пусть знает, что друзья и ближние, что его родные вовсе не отдаляются от него по причине стольких бедствий.

Так Генрих и его старые друзья снова поняли друг друга и помирились. С этой минуты, собственно, и начался его побег.

Побег

В один прекрасный день Генрих исчез – сначала только для виду, чтобы посмотреть, какое это произведет впечатление. В замке все переполошились. Королева-мать спросила д'Обинье, где же его государь. А Генрих попросту сидел в своей комнате, чего д'Обинье Екатерине, однако, не сказал. Некий дворянин, на которого была возложена обязанность его стеречь, отправился на поиски. Они, конечно, оказались тщетными, но для Генриха это послужило предостережением. И всю следующую неделю он старался задерживаться на охоте и возвращаться лишь тогда, когда уже начинался переполох. За два дня до своего настоящего исчезновения он пропадал всю ночь. Уже утром он явился в часовню в сапогах и при шпорах и заявил смеясь, что привел беглеца: ему-де только захотелось пристыдить их за излишнее недоверие. И к тому же – к нему, кого их величествам приходилось прямо гнать от себя, иначе он так бы и не выходил отсюда, так бы и умер у их ног! Этой его уловкой впоследствии особенно восхищались, но как долго он был вынужден прислуживаться, чтобы наконец себе это позволить!

А друзья считали, что напрасно он так медлит. Теперь они могли обо всем говорить свободно. Их государь разрешил, чтобы сделать им приятное, а самому поупражняться в терпении. Они пользовались этим правом и нанизывали множество

убедительнейших слов, ибо как Агриппа, так и дю Барта верили в силу и действенность этих слов, которые для решительных сердец – все равно, что поступки, и, будучи, записаны, принесут посмертную славу. Они говорили своему повелителю прямо в лицо, что он грешит против собственного величия и сам повинен в наносимых ему оскорблениях. И если даже он забудет, то виновные все равно не забудут и ни за что не поверят, будто он может забыть Варфоломеевскую ночь! – Мы оба, сир, хотели уже начать без вас, но тут вы запели псалом. А если бы нас не было, сир, то услужливые руки других не решились бы отстранить от вас яд и нож, но как раз воспользовались бы ими, можете быть уверены.

– Значит, вы были готовы покинуть меня к предать? – спросил он для виду, чтобы дать им желанный повод продолжать свои добродетельные назидания. – Вы поступили бы, как Морней. Впрочем, старые друзья все одинаковы: Морней вовремя убрался в Англию, как раз перед Варфоломеевской ночью.

– Дело было не так, сир. Он еще не успел уехать, но вы так этого и не узнали, ибо слишком долго избегали ваших старых друзей и не желали нас слушать, когда мы осмеливались роптать против вас.

– Вы правы, я должен просить у вас прощения, – ответил Генрих, тронутый, и разрешил им поведать все приключения их товарища дю Плесси-Морнея, хотя знал их лучше, чем они. «Ну и пусть, если моим друзьям хочется иметь передо мной какое-то преимущество и знать что-то, что неизвестно мне: во-первых, обо мне самом, а затем об остальных моих друзьях». Поэтому Генрих громко дивился, слыша, как смелому и сообразительному Филиппу пришлось в Варфоломеевскую ночь пробиваться сквозь шайку убийц, когда те обшаривали книжную лавку, ища вольнодумных сочинений, и уже успели прикончить книгопродавца. Затем Филипп, из гордости, уехал без паспорта, все же добрался до Англии, страны эмигрантов, и дожидался, уж не спрашивайте как, заключения мира и амнистии. Затем начались поездки к немецким князьям, чтобы уговорить их вторгнуться во Францию. Словом, жизнь гонимого дипломата, если не бездомного заговорщика. Генрих, не узнавший ничего нового, становился, однако, все задумчивее. «Сколько тревог, Морней! Какое служение! Какая доблесть! Я же попал в плен, под конец я чуть не сам сдался в плен!»

И тут они, наконец, сами того не замечая, выложили главное: господа де Сен-Мартен, д'Англюр и д'Эспаленг тоже торопят с побегом. Друзья, ссылаясь на этих любезных придворных, еще не знали, кто они в действительности: хитрейшие из шпионов! Генрих умолчал об этом и теперь, иначе они, вероятно, вызвали бы предателей на поединок, и все могло бы на время расстроиться. Зато он посоветовался со своим доверенным, господином де Ферваком: настоящий солдат, уже не юноша, прям и скромн. Фервак без всяких оговорок посоветовал ему больше не тянуть и поскорей — в седло! Ну что — шпионы! Он сам сумеет запутать их, так что они потеряют след беглеца. Уверенность этого честного человека казалась ему добрым предзнаменованием. Третьего февраля состоялся побег.

Этому предшествовало прощание и последняя комедия — и то и другое с участием представителей Лотарингского дома. Генрих ждал, чтобы д'Эльбеф прошел мимо него один. Когда Генрих приблизился к нему, молча взглянул на него, д'Эльбеф все понял. И всегда он угадывал и передавал самое важное, без слов, без знаков. Если грозила опасность — он оказывался рядом, он прояснял туманные вопросы, прозревал людей насквозь, умел обратить к лучшему любое сомнительное приключение. Один он не требовал ни доверия к себе, ни посвящения в тайны, ни участия в сложных церемониях большого сообщества. Все это он почитал излишним. Д'Эльбеф был всегда тут, казалось, он ничего не дает и ничего не требует. Он преданно охранял властителя своих дум, но при этом никого не предал, тем более — членов своего дома. Ни один из Гизов не может скакать верхом по стране рядом с Наваррой и не может за него биться, пока тот не сделается королем. Это было совершенно ясно обоим — и д'Эльбефу и Генриху. Но когда Генрих сейчас неожиданно подошел к нему, у обоих брызнули из глаз слезы и задрожали губы, так что им в этот последний миг едва удалось пролепетать несколько отрывистых слов. И они тут же расстались.

Комедия была разыграна с участием щербатого Гиза. Этому Голиафу и герою парижан целое утро морочили голову, но с какой целью? Генрих, чуть свет, бросился на кровать, где спал герцог, и стал хвастать тем, что наконец-то сделается верховным наместником всего королевства: мадам Екатерина ему твердо

обещала! И как смеялись все присутствовавшие в комнате герцога, когда Гиз начал подниматься! Шутник никак не хотел отстать от великого человека, пока тот не предложил: — Пойдем на ярмарку, там ломаются скоморохи, посмотрим, кто может поспорить с тобой! — И оба пошли, причем один из двух был в сапогах для верховой езды и при шпорах и уговаривал другого поехать вместе с ним на охоту, льстил ему, поглаживал его, не выпускал из своих объятий целых восемь минут — и это при всем честном народе. Но у герцога были сегодня дела по части Лиги, на охоту он ехать не мог, и Генрих успокоился. Наконец, он уехал один.

Охота на оленя — редкостное удовольствие, об ней нельзя не возвестить во всеуслышание. Но Санлисский лес далеко, придется там переночевать, прежде чем мы начнем гнать зверя, и вернемся мы только завтра, поздно вечером. Пусть никто не тревожится о короле Наваррском! Господин де Фервак говорит: — Я же знаю его, он рад, как мальчишка, что придется ночевать в хижине угольщика. А я останусь здесь и займусь его птицами. — На самом деле, Фервак был оставлен нарочно: пусть наблюдает, что произойдет, когда побег станет очевидным! И пусть отправит гонцов и сообщит, по какой дороге помчались преследователи. Фервак точно выполнил обещанное и первого всадника послал тут же, как только в замке Лувр начали тревожиться. Король Франции высказал несколько мрачных предположений, мать успокаивала его. Она и ее королек не подведут друг друга! А маленькое опоздание она ему охотно простит. Каким влюбленным в эту де Сов он казался еще вчера вечером — да и не в одну Сов! Нет, слишком многое удерживает его у нас!

Однако к концу второго дня — была как раз суббота — даже мадам Екатерина не выдержала. Она приказала позвать дочь, и, в присутствии ее царственного брата, Марго пришлось дать ответ — где ее супруг. Она принялась уверять, что не знает, но ей стало не по себе. Все это начинало сильно напоминать семейный суд, который над ней вершили не раз во времена ее брата Карла. Как же она может не знать, ответили ей весьма резко; ведь ночь перед своим исчезновением супруг провел у нее! Верно, но она ничего особенного не заметила. Неужели? И не было

никаких секретных разговоров; и никаких секретных поручений ей не дано? Даже тишайшим шепотом ей ни в чем не признались на супружеском ложе? И так как в тусклых глазах матери уже начиналось таинственное и злое поблескивание, бедняжка простерла свои прекрасные руки и воскликнула с отчаянием: Нет! — что не было ложью только в буквальном смысле этого слова. Ибо Марго не нуждалась в откровенностях своего дорогого повелителя; она и без того почувствовала: его время пришло.

Некогда она необдуманно выдала его матери — чтобы предотвратить зло, как ей тогда казалось. Сейчас уже никому не задержать того, что созрело; почему же должна отвечать одна Марго? Сейчас мадам Екатерина не поднимет на нее руки, но наверняка это сделает, если найдется, за что карать. Здесь перед ними был свершившийся факт, возможность которого втайне уже допущена, и оставалось только его признать. Поэтому, когда вечером король готовился отойти ко сну и Фервак ему все открыл, он, хоть и был поражен, но не вышел из себя. Это была тайная исповедь. Больше полутора часов Фервак не отрывал своих губ от уха короля. А король забыл, что ему надо действовать, не отдавал никаких приказаний, а только сидел и слушал, не замечая даже, что кто-то почесывал ему пятки.

Фервак считал, что был честен в отношении Генриха. Королю Франции он ничем не обязан, ибо тот его недолжливает и не повышает в чине. Но верность королю и дисциплина — это его долг, в этих традициях он вырос. Благодаря чистой случайности он однажды застал Генриха с д'Эльбефом и вдруг оказался перед необходимостью либо арестовать все это сообщество заговорщиков, либо самому к ним примкнуть, что, видимо, и сделал даже один из членов Лотарингского дома. Многие говорили в их пользу, прежде всего их благовоспитанная умеренность, которая ни для кого — а значит, и для Фервака — не могла стать опасной. Их дело стоило того, чтобы его укрепил своим участием человек столь прочного закала, каким себя считал Фервак; вот почему он стал с этого дня доверенным, посредником и посвященным, как никто, во все подробности плана; при этом он считал себя благодаря своей доблестной мужественности значительно, зрелее

остальных и нередко говорил себе: «Ничего у них не выйдет, а вот я с моими людьми живо бы с ними расправился, прикончил бы в лесу, утопил бы в трясине». Этот солдат, уже далеко не юнец, прямой и суровый, иначе не представлял себе конец «политиков» или «умеренных». И вдруг они и в самом деле устроили побег.

Тогда Фервак решил, что без него они не будут знать меры и только причинят вред стране. Первым доказательством тому явилась явная неблагодарность Генриха, ведь они его, Фервака, просто-напросто бросили. Он честно боролся с собой, пока твердые традиции верности и дисциплины не взяли верх, и он решил во всем сознаться. Как только он принял это решение, то, когда король ложился, протиснулся к его постели, что было нетрудно при таком гигантском росте, как у Фервака, — попросил разрешения сообщить его величеству на ухо важные вести и тотчас начал:

— Сир, служа вашему величеству, я ввязался в одну затею, которая противоречит всему моему прошлому, исполненному верности престолу; зато я получил счастливую возможность выдать вам преступников с головой. Для себя я награды не ищу. Правда, у моего сына есть имение, обремененное долгами, и его можно было бы увеличить, прикупив земли. — Таков был Фервак. Позднее, став маршалом и губернатором, он еще служил Гизам, но, конечно, лишь до тех пор, пока они ему платили, и в конце концов он продал свою провинцию королю Генриху Четвертому. Перед смертью он написал торжественное завещание, чтобы его читали все, и покинул этот мир, уверенный, что в каждый миг своего сурового и честного жизненного странствия делал именно то, что было нужно для блага всего государства.

Но кое-кто верно угадал, о чем именно Фервак шептал на ухо королю. Это был Агриппа д'Обинье — он тоже пока оставался здесь, пусть в замке думают: «Никогда Наварра не убежит без своих гугенотов». Когда запирали ворота, он перехватил предателя, сорвал с него маску — пусть смотрит в глаза своему позору. Так по крайней мере представляется дело человеку, подобному Агриппе, когда человек, подобный Ферваку, не знает, что ответить, и тупо молчит. Наконец честный и

скромный солдат все-таки что-то пробурчал, но что именно, спешивший прочь Агриппа уже не расслышал. А Фервак буркнул:

– Щелкопер!

Нет, в самом деле, даром потерянные минуты! Каждая из них дорога, ведь как бы ни был ошарашен король, охрана, конечно, уже седлает лошадей, чтобы броситься в погоню. Агриппа спешит к Роклору, дворянину-католику, которому верит, и не без оснований. Они тут же вскакивают на коней и мчатся вдвоем при свете звезд. Под Сенлисом они находят своего государя; с восхода солнца он гонялся за оленем, а теперь ночь. – Что случилось, господа?

– Сир! Королю все известно! Фервак! Дорога в Париж ведет только к смерти и позору; а все другие – к жизни и славе!

– Незачем мне это объяснять, – ответил Генрих красноречивому поэту.

Наоборот, пусть слушает и мотает на ус, это ему очень полезно, нужно быть благодарным измене, она сделала для него возврат невозможным. А так – кто знает! За двадцать часов быстрой езды можно многое забыть. Дорога в Париж так хорошо знакома, да и цепи там привычные. А новые окажутся, быть может, еще тяжелее. Былые соратники ожидают найти в Генрихе то же слепое ожесточение, которое они поддерживали в себе все эти годы. Но он многому научился, живя в замке Лувр. Не лучше ли предоставить все судьбе, которая, может быть, отрежет ему путь назад? И вот судьба это сделала! Едем.

Маленький отряд – десять дворян, в том числе Роклор, д'Обинье и д'Арманьяк, – покинули трактир. Они выходили поодиночке при свете фонаря, и Генрих говорил каждому по секрету: – Среди вас есть два предателя. Следи, кому я положу руку на плечо. – Первым оказался господин д'Эспаленг, и Генрих сказал ему:

– Я забыл проститься с королевой Наваррской. Поезжайте обратно и передайте ей, что тот, кто со мною честен, никогда о том не пожалеет. – Так же поступил он и с другим шпионом, его он отправил к королю Франции: – На свободе я лучше буду служить ему, – было поручено передать второму. Видя, что их измена раскрыта, они вскочили на коней. Остальные дворяне возмущенно заявили: – Одумайтесь, сир! Ведь эти люди опасны, они натравят на нас крестьян. Мы не

можем быть спокойны, пока они разгуливают на свободе. Они должны умереть.

Генрих держал лошадь под уздцы, он ответил им так весело, словно они все еще были на охоте или играли в мяч. — Убийств больше не будет! — заявил он, добавив свое любимое ругательство — комически переиначенные святые слова; затем воскликнул: — Насмотрелся я в замке Лувр на мерзавцев! — вскочил в седло и поехал впереди своего отряда; а вдали силуэты шпионов уже таяли в лунной мгле, но еще продолжал доноситься неистовый топот копыт: их лошади мчались во весь опор.

Сообразуясь с тем положением, в котором они очутились, беглецы тут же решили, где им искать безопасности: не на востоке — этой границы государства им едва ли удалось бы достичь, — а на западе, в укрепленных верных городах гугенотов. Все дороги туда были свободны, отряд свободно выбрал одну из них и поскакал вдоль лесной опушки в голубом свете звезд, бросая в ночь то взрывы радостного смеха, то улюлюканье, словно их псы все еще гнали оленя. Если им попадалась вспаханная луговина, они расспрашивали перепуганных крестьян, которые от шума вскакивали с постелей, не выбегал ли из лесу олень, и никто бы не поверил, что эти веселые охотники — на самом деле беглецы и вопрос идет для них о жизни и смерти. Да и сами они готовы были забыть и об угрожавшей им опасности и о шпионах. Скорее то один, то другой дивились, что их предприятие обошлось пока без единой капли крови; а ведь она лилась обильно даже там, где на карту было поставлено гораздо меньшее. Один из них — конечно, Агриппа — усмотрел в этом даже что-то великое. — Сир! — заявил он. — Убийствам конец! Начинается новая эра! — Конечно, он и не думал льстить. Просто Агриппа всегда охотно преувеличивал свои чувства, как возвышающие, так и те, которые повергают человека во прах, словно Иова.

Они ехали всю эту ледяную ночь, держа направление на Понтуаз; а на заре, пятого января в воскресенье, пустили лошадей вброд через реку. Впереди и отдельно от остальных ехал их государь и его шталмейстер, д'Обинье. Остальные медлили, пусть он выедет на берег первым, это лишь подчеркнет торжественность происходящего. Того же хотел и Агриппа. Перекинув через плечо поводья, оба ходили по берегу Сены, желая согреться. И тут Агриппа попросил своего

повелителя прочесть вместе с ним, в знак благодарности всевышнему, псалом 21-й[22. – В русском синодальном переводе библии – 20-й.]: «Господи! Силою твоюю веселится царь». И они дружно прочли его в утреннем тумане.

Затем к ним присоединяются не только их немногочисленные спутники: оказывается, сюда нежданно скачет двадцать дворян. Правда, все они были тайком оповещены еще в Париже; когда они примкнули к беглецам, Генрих видит позади себя целый конный отряд; теперь этот отряд уже не будет ускользать от преследователей – он будет властно стучаться в ворота городов от имени своего государя. Среди этих двадцати есть один шестнадцатилетний – он соскакивает с коня и преклоняет колени перед Генрихом. А Генрих поднимает его и целует – в награду за разумную ясность и искренность этого мальчишеского лица, лица северянина, с границ Нормандии. Генрих знает: теперь юноша на верном пути. – Поцелуй меня, Рони! – говорит он, и Рони, впоследствии герцог Скल्ली, вытянув губы, впервые осторожно коснулся щеки своего государя.

Так встретились эти люди, с их уже созревающей судьбой, на берегу Сены, среди лесистой местности, в неверном свете утра, льющемся из-за облаков, очертания которых все время изменяются, так же как изменяются и человеческие судьбы. Присутствующие еще во всем равны; даже у их короля есть пока только то, что есть и у них, – молодость и вновь обретенная свобода. Тени от облаков ненадолго ложатся так, что покрывают собою то передний план, то задний. А посередине – яркие снопы света, и в потоке лучей стоит Генрих, и подзывает к себе одного за другим своих соратников. С каждым он на мгновение как бы остается наедине, обнимает его, или трясет за плечи, или пожимает руку. Это его первенцы. Будь он ясновидцем, он узнал бы по лицу каждого его будущее место в жизни, увидел бы заранее его последний взгляд и испытал бы в равной мере и умиление и ужас. Иные вскоре покинут его, многие останутся с ним до его смертного часа. Этого придется удерживать деньгами, а тот все еще будет служить ему из любви, когда уже почти всем это надоест. Но дружба и вражда, измена и верность – все участвует по-своему в общем созидательном труде тех, кому суждено быть его современниками.

Добро пожаловать, господин де Роклор, в будущем маршал Франции! А ты, дю Барта, неужели ты умрешь так рано после одного из моих блестящих сражений? Рони, если бы мы с тобой были только солдатами, в каком ничтожестве осталась бы

эта страна. У Сюлли особый дар к разумению чисел, у меня особое, чуткое великодушие к людям. Благодаря этим двум качествам наше королевство станет первым среди всех остальных государств. Мой Агриппа, прощай. Я уйду из этого мира раньше тебя, ты уже стариком отправишься в изгнание за истинную веру, которую опять начнут преследовать, едва закроются мои глаза... Свет лился на них потоками, однако все оставалось незримым.

Зримы были только молодые свежие лица, и на них — одна и та же радость: быть вместе и ехать одною дорогой. Что отряд вскоре и сделал. В ближайшем местечке они наелись досыта и напились допьяна, но стали от этого только веселей и предприимчивее. Затеяли шалости, утащили с собой какого-то дворянина. Поместный дворянин, увидев приближающийся отряд перепугался за свою деревню, выбежал им навстречу и стал упрашивать, чтобы они объехали ее стороной. Он принял Роклора за их командира, ибо на том было больше всего сверкающего металла. — Успокойтесь, сударь, вашей деревне ничего не грозит. Но покажите нам дорогу на Шатонеф! — Если этот человек поедет с ними, он не сможет распространять никаких слухов на их счет. Дорогой он только и говорил, что о дворе, желая выставить себя светским человеком; знал он также всех любовников придворных дам, особенно же королевы Наваррской, и пересчитал их супругу по пальцам. Когда же они поздно вечером приблизились к городу Шатонеф, Фронтенак крикнул офицеру, который командовал стражей на городской стене: — Откройте своему государю!

Город этот принадлежал к владениям короля Наваррского. Сельский дворянин, услышав приказ, оцепенел от страха; д'Обинье едва удалось уговорить его спастись бегством по тропинке, которая не вела никуда. — И пожалуйста, три дня не возвращайтесь домой!

Здесь они только переночевали и потом ехали, уже не останавливаясь, до самого Алансона, который лежит ближе к океану, чем к Парижу. Выдержали они этот путь благодаря крепости своих мышц. Лошади сказали, пока чувствовали силу человеческих колен, сжимавших их бока; так же вот проезжали через свое королевство и Ахилл и Карл Великий со всеми своими знаменитыми соратниками.

Принц крови

А в Алансоне целых три дня не прекращался приток дворян в отряд Генриха, и под конец их набралось до двухсот пятидесяти. Так беглецы постепенно превращаются в завоевателей, города распахивают перед ними ворота, всадники еще не появились, а уже их ожидают. Как на крыльях, разносятся слухи, и тут ничему не поможешь, даже если заткнешь рот одному поместному дворянину; все уже известно, до самого Парижа. И не все примыкающие к отряду Генриха относятся к тому дешевому сорту людей, которые сразу готовы поддержать любой успех: среди приверженцев есть и ревнители веры и энтузиасты, уже не говоря о том, что многих сюда приводит гнев. Слухи летят, и люди скапливаются в нескольких провинциях, ибо Алансон лежит между Нормандией и Меном. Слухи распространяются все дальше; и вот уже среди новых сторонников Генриха – несколько придворных французского короля. Кто бы и почему бы к Генриху ни шел – он всех принимает.

Но тут возмутились первенцы, которые хотели оставаться первенцами, особенно же его старые друзья. – Сир! Так не может продолжаться! Среди ваших новых солдат есть участники Варфоломеевской ночи. Или вы не видите, сир, что у них прямо на лице написана измена? Не хватает только самого Иуды! – Да вот и он. Смотри-ка, Фервак!

Имение, которое достанется сыну, теперь свободно от долгов, и земли к нему куплено изрядно; поэтому Фервак сказал себе: «Пора выполнить клятву верности, данную Наварре. С королем Франции мы квиты, а вот Наварра мне должен много денег, и его считают восходящим светилом». Сказано – сделано, и Фервак, этот вояка-великан, грохнулся перед Генрихом на свои негнушиеся колени, так что пол затрещал.

Генрих не отказался от удовольствия подмигнуть своим. – Этот человек – золото, за него можно дать хорошую цену, – сказал король Наваррский. Но такие речи честный солдат пропустил мимо ушей и предоставил улаживать дело своему более молодому собеседнику. Тогда Генрих решился, и на седой бородачке клином даже запечатлел поцелуй.

После Алансона отряд двигался медленнее. Он непрерывно разрастался и в пути и на стоянках, где отдыхали по несколько дней. Стоянок было четыре; в пятом

городе король Наваррский и его двор расположились надолго, ибо знали, что и сейчас и впредь они будут в безопасности. Сомюр находился в провинции Анжу.

Еще один дневной переход – и они достигли бы Сентонжа, с крепостью Ла-Рошелью, которая все это время стояла неприступной твердыней между сушей и океаном.

Генрих еще не решался идти туда, ибо опасался, что тамошние храбрые и неуступчивые протестанты резко его осудят... Сам он, после всех своих необъяснимых колебаний, наконец прибыл, но добрая половина его спутников были

католики! Больше того, он сам был католиком и, оставался им все три месяца, что

провел в Сомюре, хотя пасторы и ждали, что он придет слушать их проповеди. Но

он не ходил ни к ним, ни к обедне. А его примеру, следовали и дворяне, так что

на пасху приняли святое причастие всего лишь двое из них. Двор в Сомюре оказался «двором без религии» – явление необычайное и даже пугающее.

«Что за беда? – думает Генрих. – Ведь они идут. Они прибывают ко мне все большими толпами, город ими переполнен, они уже становятся лагерем за

воротами. И им все равно – гугенот я или католик. Важно то, что я принц крови и

должен восстановить в их королевстве единство и мир. А во что они верят – мне

до этого дела нет; главное – они должны признавать меня. Все это не так просто,

согласен. Я прихожу последним, после того как монсеньер и мой кузен Конде,

каждый за свой страх и риск, будоражили народ и сеяли смуту. Тем хуже, я не

могу быть слишком разборчивым, и я не отвергну ни одного человека, даже если он

только что сорвался с виселицы». Так говорил себе Генрих, собирая вокруг себя

приверженцев, чтобы только не оказаться в одиночестве и не стоять в стороне,

когда французский двор начнет переговоры с мятежниками. «Я-то не мятежник, нет!

Другие могут быть чем им угодно, я не мятежник!» – твердил он каждому, с известной точки зрения, оно так и было. Он скорее считал себя оплотом королевства, у которого другого оплота, пожалуй, и нет.

Монсеньер, брат короля, выбирал себе некоторые провинции в личное владение.

А Конде намеревался даже подарить свои какому-то немецкому князю-единоверцу.

Генрих заявил кузену через посланца: он-де принц крови и поэтому озабочен единственно лишь величием французской короны, ничего для себя он не желает,

поэтому не может одобрить и требований монсеньера. Нет, он предпочел бы, — чем отдавать три епископства Иоганну Казимиру Баварскому и дробить королевство, — он предпочел бы.. Что ж все-таки? Господину Сегюру было приказано прямо заявить, что именно; иначе у него бы, пожалуй, язык прилип к гортани. Тут Конде овладел его обычный приступ ярости — такой же, как в Варфоломеевскую ночь, когда он поклялся, что скорее умрет, чем переменит веру, а сделался католиком на семнадцать дней раньше, чем Генрих. — Мой государь, — заявил посланец, — скорее готов отказаться от преследования и наказания виновников Варфоломеевской ночи, чем допустить раздел королевства. — Конде взревел — так неожиданны были эти слова.

Наверное, и в Ла-Рошели протестанты вскипят и обозлятся, и для Генриха лучше быть от них подальше, хотя бы на расстоянии одного дня пути. Первый ответ на столь смелое заявление был, конечно, следующий: «Забычивый!» «Неблагодарный!» Ради кого же они тогда пали, эти жертвы Варфоломеевской ночи? Вы, сир, отправились на свою свадьбу, а наших повели на убой! И теперь наши убиенные останутся неотомщенными, чтобы вашему величеству легче было торговаться из-за земель с убийцами?! Обратитесь к истинной вере, а то как бы и мы не позабыли, кем была ваша мать! Вот что говорит голос храбрых и непреклонных протестантов — говорит достаточно громко и доходит до Генриха с его наскоро сколоченным «двором без религии». Он должен был сделаться вождем протестантов; но им стал теперь вместо него другой, кузен Конде, который раньше оказался на месте. Конде усерден и суетлив, он ничего не видит, кроме борьбы партий. И вы доверились этому тупице, добрые люди, ревнители истинной веры! Ведь Конде все еще живет во времена господина адмирала. Не понимает, что разделить королевство из-за религий — все равно, что растерзать его ради собственной выгоды, как хотелось бы Перевертышу. Кузен Конде и Двуносый сходны в одном: ничего у них не выйдет, и суются они не в свое дело. Лучше бы оставались там, где были. Но больше всего спешит тот, кому ничего судьбой не предназначено.

Так Генрих, наедине с собой, называл вещи своими именами, но при этом неумоимо продолжал привлекать и собирать все новых сторонников, пугая их

численностью французский двор, до тех пор, пока оттуда не начались переговоры.
И если с кузеном, с его прежним другом, столкнуться было невозможно, то с крепостью Ла-Рошелью Генрих все же поддерживал связь. Пусть там узнают, кто он: их друг, как и прежде, но, кроме того, принц крови. Они настаивали на том, что он должен ходить слушать проповеди, иначе нечего и рассчитывать на ревнителей истинной веры. Конде и так пожаловался им на Генриха, назвав его заблудшей овцой. Выброшенный из протестантской среды, Генрих уже не представлял бы для кузена никакой опасности; а тот еще ехидствует, и все потому, что глуп.

Но и с Парижем дело обстояло не лучше; французский двор помирился с монсеньером, в результате чего монсеньера прямо раздуло от сыпавшихся на него провинций, поборов, пенсий. Королю же Наваррскому ничего не пожаловали, его только назначили губернатором Гиенни, чтобы он правил ею от имени его величества, то есть лишь подтвердили его прежний титул. Пусть будет этим доволен, иначе бы совсем без ничего остался: ни партии, ни земли, а главное — ни гроша денег. Так он шел на раздел королевства, — но только временно, — уверял себя Генрих. И все равно — без пользы, если приходится улетать, словно корольку, на юг и оставаться в стороне от важных государственных дел. Притом — невесть на сколько времени. Кому бы сейчас пришло в голову, что на целых десять лет! Для юноши двадцати трех, это ведь целая вечность.

«Итак, вооружимся терпением, ему мы успели научиться в замке Лувр. Отсрочки, уступки, отречение — все это во вне, а в душе живет упорная мысль: эту школу мы уже прошли, тут нас никто не может превзойти. Господа из Ла-Рошели, вашей партии непременно нужен вождь, и вы утверждаете, что он должен посещать проповеди? Иду, иду! Кто решился на раздел своего королевства, сможет с таким же успехом и религии отделить одну от другой: я делаю все это только по необходимости, — под вашим упорным давлением. Посмотрите на моих дворян-католиков, они гораздо умереннее. Правда, они уже не могут уехать отсюда, у них слишком испорчены отношения с французским двором. Их я оставляю у себя, даже если перестану ходить к обедне. Но слушать проповеди я пойду, чтобы завербовать вас, ибо вы более настойчивы. Впоследствии это вам боком выйдет,

твердолобых я не терплю, хотя именно среди них и найдешь самых добродетельных, а кого же мне любить, как не их. Все же бывает и так, что иной с лица — сама добродетель, а на деле — просто зол и глуп, поэтому-то между мною и моим кузенком Конде теперь начнется великая вражда. Пусть расставляет на шахматной доске свои фигуры, а я одним ходом сделаю ему мат, я иду слушать проповеди!

Если б вы знали, добрые люди, — говорил себе Генрих, долго и тщательно обдумывая свой возврат к протестантству, — что в сущности вопрос сводится к некоему обстоятельству, а потом к доброй воле и удаче!»

Об этом обстоятельстве, — что он принц крови, — Генрих никогда не упоминал, ибо даже гордость может прятаться за хитростью.

Он вызвал в Ниор свою сестру Екатерину. Этот город стоит на границе двух провинций — Пуату и Сентонжа — и уже совсем близко от святой Мекки гугенотов; но в нее он войдет лишь после того, как будет принят обратно в лоно протестантской церкви, чтобы не стыдиться своего возвращения. 13 июня в Ниоре Генрих торжественно отрекся от католичества. Как живое свидетельство его обращения, рядом с ним стояла принцесса Бурбон, его сестра, верная протестантка, не изменившая своей вере в самые трудные времена. А 28 того же месяца он вступил в Ла-Рошель. Теперь ему уже не надо было опускать голову, и колокола звонили, встречая его, как они звонили когда-то при въезде его дорогой матушки, королевы Жанны, чьей твердыней и прибежищем всегда была эта крепость. Он сам осаждал город с католическим войском, иные это еще помнили, но они молчали, и когда он проезжал мимо них, молча подталкивали друг друга, сжимая кулаки.

Генрих все замечал. Но он приказал себе: терпение.

И никто пока не думает о десяти годах. Ведь это целая вечность.

В его свите были и дворяне-католики. Он нарочно показывал их в протестантской крепости: у меня-де, в моей стране, есть не только вы. Эти люди не привержены ни к какой религии. Они преданы лишь мне и королевству, что когда-нибудь будет одно.

Он никому об этом не говорил, вернее, имел по данному поводу только одну-единственную беседу с неким дворянином из Перигора, тем самым, который

однажды сопровождал его на побережье океана и даже был его собутыльником, когда они пили вино там, в разрушенном ядрами доме. Так как господин Мишель де Монтень вошел с толпой других придворных, Генрих в присутствии посторонних сделал вид, что никакой особой близости между ними нет: не заговаривал с ним и, глядя мимо, лишь улыбался какой-то странной улыбкой; но и господин Мишель улыбнулся многозначительно. Генрих как можно скорее отпустил всех; по его знаку задержался только один.

Оставшись в прохладной зале вдвоем с Монтенем, Генрих взял его за руку, подвел к столу и сам поставил на стол кувшин и два стакана. Бедный дворянин храбро с ним чокнулся, хотя ничего хорошего от вина не ждал. За то время, что они не виделись, у него появились камни в почках. Когда-то предчувствие старости удручало его, словно она уже наступила. Теперь он узнал, каково быть старым в действительности. Он начал ездить на воды и будет ездить до самой смерти. Поэтому самым интересным предметом разговора для него были всевозможные целебные источники разных стран, а также способы лечения у разных народов: например, итальянцы охотнее пьют целебную воду, а немцы окунаются в нее. Он сделал два очень важных открытия, – в древности они были известны, потом позабыты... Во-первых, что человек, который не купается, обрастает коркой грязи, он живет с закупоренными порами. Во-вторых, что определенная категория людей пользуется пренебрежением человека к своей природе ради собственной выгоды. Этот философ с камнями в почках мог бы часами рассуждать о врачах, и не просто так, а со ссылками на императора Адриана, философа Диогена и многих других. Но он отказался от такого рода беседы, ему даже удалось в течение всего разговора совсем выкинуть из головы свои самые неотложные заботы.

Генрих осведомился, с какой целью Монтень прибыл сюда, и дворянину даже в голову не пришло заговорить о поездке на воды. Ему, сказал он в ответ, хотелось поглядеть такую новинку, как «двор без религии». Генрих заметил, что скорее речь может идти о дворе с двумя религиями, на что господин Мишель де Монтень ему возразил со спокойной улыбкой: а это – одно и то же. Из двух религий истинной может быть только одна, и только ее мы должны исповедовать. Если

рядом с ней допускают ложную, значит, он не делает между ними различия и мог бы, собственно, обойтись без обеих.

— Что я знаю? — вставил Генрих. Эти слова запомнились ему еще со времени их первого разговора и сейчас вновь показались уместными. Его собеседник не возражал; он покачал головой и лишь заметил, что такие слова нужно говорить перед богом. В знании господнем мы не участвуем. Но тем более предназначены к тому, чтобы разбираться в знании земном, и мы постигаем его по большей части с помощью воздержания и сомнения. — Я люблю умеренные, средние натуры. Отсутствие меры даже в добре было бы мне почти отвратительно, язык оно мне, во всяком случае, сковывает, и у меня нет для него названия. — Он намеревался еще сослаться на Платона, но Генрих горячо заверил его, что и так с ним согласен. Он предложил осушить кубки за их добрососедские отношения дома, на юге. И дворянин охотно выпил, не думая о своих камнях. Благодаря вину он стал словоохотливее, раздумялся и предался самой непосредственной откровенности. Он назвал сидевшему против него Генриху все, что руководило молодым человеком, перечислил его врагов, неудачи, описал его отчаянную борьбу между двумя вероисповеданиями, страх ничего не свершить, остаться в одиночестве и даже оторваться от своей родины. Лишь избраннику посылаются подобные испытания, и только ради всего этого и приехал сюда, как выяснилось, Монтень. Ему хотелось посмотреть, окажется ли в силах ум, склонный к сомнению, противостоять крайностям неразумия, которые ему угрожают отовсюду. Ведь человеческая природа, как это подтверждают история и древние авторы, непрестанно растрчивает себя на такие крайности. Люди — слепцы, которые только безумствуют и ничего не познают; таков, как правило, весь род людской. Тот смертный, которому в виде исключения господь бог даровал душевное здоровье, вынужден хитростью скрывать его от этих буйных помешанных, иначе он далеко не уйдет. Большая часть истории человечества представляет собой лишь ряд подобных вспышек душевных заболеваний. Так будет и впредь. И это еще хорошо; душевные болезни, которые по крайней мере изживаются во вне, наименее опасны: *omnia vitia in aperto leviora sunt*[23. — Все обнаруживающие себя изъяны наименее опасны (лат.)].

Тут Монтень провозгласил тост. Философ побывал в Париже и видел знаменитую Лигу. За эту мощную вспышку тяжелой душевной болезни он и предложил Генриху выпить кубок. Затем заговорил так сурово и стойко, точно сам был одним из борцов против Лиги и врагом испанского золота, сам терпеливо вербовал сторонников, сам должен был наследовать это королевство; он сказал:

— Лигу еще ждет ее расцвет и упадок, только после этого наступит ваш час, сир. Не будем спрашивать, долго ли вы продержитесь и не начнется ли после вас обычное безумие. Пусть это нас не заботит. Я, без сомнения, еще увижу моего государя венчанным на царство. — Но тут ему напомнили о себе привычные телесные недуги. Кроме того, он заметил по своему слушателю, что сказал достаточно, и встал.

Однако Генрих был глубоко потрясен тем, какие отзвуки родило в нем это пророчество: слова дворянина ударились об его сознание, точно язык колокола о звенящую медь. И он воскликнул: — Вы сами сказали это, друг! Я принц крови! — Большими шагами забегал он по зале, восклицая: — Да, я — принц крови, поэтому я всех опережу! Отсюда и мое право и мое призвание!

Монтень наблюдал за ним. Ведь он осмелился высказать скорее общие соображения о здоровой и больной душе отдельного человека и целой эпохи. Все же он кивнул и заявил: — Я это и имел в виду. — Ибо ему вдруг показалось, а теперь становилось все яснее, что говорили они об одном и том же: различные ноты рождают гармонию.

Он поклонился, желая уйти, и добавил в заключение:

— Имя обязывает, и оно объясняет то, чего иначе никак объяснить нельзя. Один флорентийский художник, чьи великие творения я прославлял, вздумал мне объяснять, как и почему он создал их, и сказал: он ничего-де не смог бы сделать, не будь он потомком графов Каносских. Его имя — Микеланджело.

Генрих подбежал к уходившему философу, еще раз обнял его и шепнул на ухо:

— У меня нет творений. Но я могу создать их.

Moralit#233;

Le grand danger du penseur est d'en savoir trop, et du prisonnier

d'hésiter trop longtemps. Voilà ce captif de luxe, qui a des loisirs et des femmes, reteni par ses plaisirs en même temps que par les amusements désabusés de son esprit. Cependant il voit des fanatiques cupides entamer la moelle même d'un royaume que plus tard il devra redresser. Heureusement qu'il lui reste des amis pour l'admonester, une soeur pour le gifler à temps, et que même un spectre le relance afin de lui rappeler son devoir. Au fond, il n'en faut pas tant, et son jour venu de lui même il prendra son essor. C'est sa belle santé morale qui lui donne l'avantage sur tous les immoderés de son époque. Comme un certain gentilhomme de ses amis, l'immoderation dans la poursuite du bien même, si elle ne l'offense, elle l'étonne et le met en peine de la baptiser. Par contre, il possède le mot propre par quoi il signale et ses qualités et ses droits. En appuyant sur son titre de prince du sang c'est en realité sur les prerogatives de sa personnalité morale qu'il insiste.

Почение

Наибольшая опасность для мыслителя – это слишком много знать, а для узника – слишком долго медлить. Пред вами царственный пленник – у него есть и досуг и женщины, его удерживают и удовольствия и горькие развлечения ума. Но все же он видит, как алчные фанатики высасывают жизненные соки королевства, которое ему некогда придется воссоздать. Хорошо еще, что у него есть друзья, чтобы его корить, есть сестра, чтобы вовремя отхлестать по щекам, и даже является призрак, чтобы напомнить о долге. В сущности, всего этого, пожалуй, слишком много: когда настанет его день и час, он сам взлетит на высоту, ибо его нравственное здоровье дает ему преимущество перед всеми, не знающими меры современниками. Неумеренность, даже в добре, если и не оскорбляет его, то, так же как у некоего дворянина, его друга, родит недоумение, и он не знает, как это назвать. Сам же, напротив, он владеет нужным словом, чтобы определить свои права и полномочия. Подчеркивая свои права как принц крови, он на самом

деле лишь утверждает превосходство своей личности.

VII. Тяготы жизни

«Моя маленькая победа»

Город Нерак лежит в сельской местности, над ним летают птицы, к его воротам, топоча копытцами, тянутся стада овец, а вокруг лежат ровные и необычайно плодородные поля; все это так уже тысячу лет. Люди обделывают дерево и кожу, режут камень и скотину, стоят на берегу зеленого Баиза и удят рыбу. Но как только на дороге появляются, вздымая пыль, вооруженные всадники, жители спешат попрятать свое добро и выходят к ним с пустыми руками, в надежде, что их пощадят. Ведь положиться нельзя ни на стены, ни на рвы, ни на господ — будь они католиками или гугенотами, смотря по тому, кто сейчас взял верх. А следующий отряд, который уже приближается, либо перебьет их, либо выгонит. Спасение горожан в одном: надо подчиняться каждому, кто этого потребует; они так и делают. Поэтому в Нераке одни ходят к обедне, другие слушают проповедь и, в зависимости от того, какой религии придерживается последний завоеватель, утверждают, что верят в то или в другое.

Молодой король Наваррский, благополучно вырвавшись на свободу, предпочел объехать стороной свою столицу По: там его матери, королеве Жанне, своим высоким рвением удалось разжечь в протестантах нетерпимость. Поэтому он избрал своей резиденцией и местопребыванием двора провинциальный Нерак. Город этот находился в графстве Альбре, принадлежавшем искони его предкам со стороны матери, и лежал примерно посередине страны, которой ему предстояло теперь управлять. В нее входили его собственное королевство и провинция Гиеннь с главным городом Бордо. А королевство по-прежнему составляли области Альбре, Арманьяк, Бигорра и Наварра. Пока он сидел в Лувре, его дворяне и гугеноты успели отбиться как от старика Монлюка, вторгшегося к ним по приказу короля Франции, так и от испанских отрядов, спускавшихся с гор. Страна, которой правил новый губернатор, — он именовался также королем, — тянулась вдоль Пиренеев и океанского побережья, до устья Жиронды. Словом, весь юго-запад.

Воздух свободы пьянит, как вино, которое пьешь на ветру и на солнце. И хлеб свободы сладок, даже если он черствый. Какая радость – свободно разъезжать по стране после долгого заточения! Лишь изредка возвращаться домой и всюду быть дома! Ни сторожей, ни соглядатаев, везде только друзья! Как легко здесь дышится, насколько любая скотница кажется прекраснее принцессы! Но вы, уважаемые земляки, выглядите неважно. Вам, верно, круто пришлось, пока нас не было? В этом повинны и Монлюк, и испанцы, и ваши две веры. Кто в силах все это вынести – ревностное служение религии и постоянную опасность, угрожающую жизни! Мы тоже, почти все, можем на этот счет кое-что порассказать. Вы побросали ваши истоптанные пашни и сожженные дома, их в этой провинции наберется до четырех тысяч. Сами вы в конце концов превратились в разбойников, и я вас понимаю. Но всему этому я положу конец, и здесь настанет мир.

Он верил в то, что все могут обновиться, так как сам начинает здесь все сызнова. Быть добрым и терпимым – разве это уж так трудно? Но маленькие городки пережили немало горя. Они уперлись и заперлись. Они поднимают мост, когда мы приближаемся.

– Ну-ка, Тюрэн, у тебя голос звонкий! Крикни им туда, наверх, что губернатор, мол, прощает им все их провинности. И за все, что мы будем брать, мы заплатим. Не желают? Скажи, пусть не валяют дурака. Ведь если мы ворвемся к ним силой, грабежа не миновать. Мой Рони уже облизывается, без грабежа не обойдешься, уж так всегда бывает.

И вот, согласно добрым старым обычаям, его солдаты действительно слегка грабили, порою насильовали, а кой-кого и вздергивали. Пусть эти упрямые городишки знают, кто здесь хозяин. После взятия города оставался комендант с небольшим отрядом солдат, и власть короля распространялась еще на несколько миль. Принц крови поддерживал ее, неустанно объезжая свои владения. Порою он мимоходом бросал друзьям – давнему другу д'Обинье и даже юному Рони: – Тебя я беру в свой тайный совет. – Когда в один прекрасный день появился и Морней, Генрих пожелал, чтобы тайный совет короля действительно собрался в Неракском замке: дю Плесси-Морней был прирожденным государственным деятелем и дипломатом. Но в первое время совет собирался редко.

Возвращается государь после одной из своих поездок и получает весть о том, что на большой дороге ограбили каких-то купцов. Он скачет туда... во весь опор. Когда людям возвращают их добро, они охотно платят налоги – не то, что крестьянин, этот ни за что не выроет закопанную в землю кубышку с деньгами, хотя бы разбойники спалили его двор. Но купец по гроб жизни чувствует себя в долгу у губернатора, который сберег ему жизнь, а его дочерям – честь. И дочки, коли это по доброй воле, охотно принимают иного из этих молодых господ – чаще всего самого губернатора. А отец может знать, а может и не знать. Так начал Генрих свою деятельность на маленьком куске земли – со временем он должен стать больше – и старался, чтобы прежде всего здесь был водворен порядок, началась деятельность и местность была опять в скором времени густо населена.

Очень ясным казалось небо, серебристым – его свет и короткими – вечера, когда губернатор и его советники, вернее, воины, покончив с дневными трудами, ехали навстречу розоватому сиянию и всяким неожиданностям. Но в этом и состоит счастье: не знать, где ты будешь ужинать и с какой женщиной сегодня будешь спать. В Лувре за тобой неотступно следят подстерегающие взгляды и челядь в прихожих шушукается о тебе. Тем охотнее посещал теперь Генрих бедняков, они частенько даже не знали, кто он: в потертой куртке из рубчатого бархата король имел не слишком знатный вид, к тому же он отпустил бороду и носил фетровую шляпу. Денег у него с собой не бывало, да никто и не спрашивал платы за суп из капусты с гусятиной – он назывался гарбюр – и за красное вино из бочонка; но потом деньги все же приходили из его счетной палаты в По. Бедняки были ему по природе ближе богатых, он не спрашивал себя, почему, да и не смог бы ответить. Не потому ли, что от них шел здоровый запах, не такой, как от короля Франции и его любимцев? Когда он сидел среди бедняков, его одежда была, так же как и у них, пропитана потом. Или потому, что они умели крепко браниться и награждать каждого метким прозвищем? Ведь и у него вечно вертелись на языке всякие прозвища вместо настоящих имен – даже для его самых почтенных слуг! Кроме того,

бедняку немного нужно, чтобы прийти в хорошее расположение духа – и Генриху тоже.

Он понимал, что иным ему и быть нельзя. В стране, где осталось четыре тысячи пожарищ и население одичало, нельзя разгуливать с видом неприступного повелителя. Один такой уж завелся здесь, и не то чтобы он был особенно суров, жесток или жаден. Нет, но слишком надменно, недопустимо надменно, говорят, держался этот повелитель с простым людом, потому простолюдин и убил его. И

Генрих понял это как предостережение: не случайно все видели его в обтрепанных штанах. Главное-то ведь, чтобы под ними чувствовались крепкие мышцы! Вдобавок он сам пустил о себе слух, что к двум вещам совершенно, дескать, не способен: это быть серьезным и читать. В глазах простого человека серьезность – уже почти высокомерие; а кто читает, тому у нас не место, пусть идет своей дорогой; так важные господа обычно и делали. А этот нет. Он жил в деревне, и у него был не только замок, но и мельница, и он молот на ней муку, как всякий мельник. Так его и называли: «Мельник из Барбасты»; а часто ли он бывает на этой своей мельнице и что там делает, люди особенно не допытывались. Простой народ не вдается в такие тонкости; ученым он не доверяет, для него частенько достаточно одного словечка, и он уже и не ищет никаких подоплек.

Король, настоящий король – существо таинственное, а если он не король, так тут не помогут самые роскошные одежды; настоящий король – все равно король, даже когда он не признан и в ничтожестве. Вдруг узнаешь его, и сердце у тебя замрет. Однажды на охоте Генрих растерял свою свиту; видит: под деревом сидит крестьянин. – Что ты тут делаешь? – Что делаю? Короля хочу поглядеть. – Тогда садись позади меня! Мы поедem к нему, и ты посмотришь как следует. – Крестьянин сел позади Генриха на лошадь и, когда они поехали, – стал спрашивать, как же ему узнать короля.

– А ты просто смотри, кто останется в шляпе, когда все остальные снимут.

–

Затем они догоняют охотников, и все господа обнажают головы. – Ну, – спрашивает

он крестьянина, — который же король? — А тот отвечает со всем своим крестьянским лукавством: — Сударь! Либо вы, либо я, ведь только мы двое не сняли шляпы.

В словах крестьянина чувствовались страх и восхищение. И если король надул крестьянина, то и крестьянин, с должной осторожностью, пошутил с королем. Отсюда королю надлежит извлечь урок: оставшись наедине со своим государем, простой человек ненароком не снимет шляпы, сядет позади него на коне, но не позволит себе при этом забыть ни о благоговении, ни о подобающем страхе. Каждый такой эпизод начинается с шутки, а кончается нравоучением. Однажды Генрих, будучи в веселом расположении духа, поехал в город Байону: городские власти пригласили его на обед. Когда он прибыл, оказалось, что столы накрыты на улице, и ему пришлось есть среди всего народа, беседовать с ним, отвечать на вопросы; но как близко ни придвигались к нему люди — настолько, что они слышали запах его супа и даже его кожаного колета, — он обязан был, смеясь и беседуя с ними на местном наречии, все же оставаться королем и тайной. Это удавалось ему без труда, ибо сердцем он был прост, только разум у него был не простецкий. И когда он с успехом выдерживал такой искуc, то всегда чувствовал себя особенно легко, точно после выигранного сражения. А пока длится испытание, он забывает об опасности: он ищет развлечений и отдается им всей душой.

Когда Генрих сам посещал бедняков, он мог жаловаться им на свои беды и делал это то с гневом, то с юмором, совершенно так же, как они. Они проклинали его чиновников, запрещавших им охотиться на казенных землях; тогда он брал их с собой на охоту. Им он открывал, почему имеет зуб на своего наместника, господина де Вийяра; французский двор навязал ему этого Вийяра вместо старика Монлюка: Вийяр шпионил за ним, как будто они все еще находились в замке Лувр. Город Бордо отказался впустить к себе губернатора-гугенота, и так как тут Генрих был бессилён, то сделал вид, будто ему все равно. Только за столом у бедняков, когда лица уже, бывало, покраснеют, его бешенство прорывалось наружу, и он становился таким же бунтовщиком, какими здесь были все ревнители истинной веры. Протестантство служило им оружием, оно стало и его оружием. Он

разделял верования бедняков.

По стране бродили банды гугенотов и грабили не хуже других. Прежде всего — церкви. Потом на время удалялись, а через три дня, если выкуп задерживался, очередь доходила и до господского дома близ деревни. Перепуганный дворянин мчался в Нерак, но губернатора не всегда можно было найти в замке. «Он-де гуляет в своих садах на берегу Баица», — говорилось просителю. А те сады — длинной в четыре тысячи шагов, и шаги у короля крупные. Взгляните-ка, сударь, не там ли он! Речонки и высокие деревья одинакового матово-зеленого цвета, вершины смыкаются над прямой, как стрела, тенистой аллеей, которая называется Гаренной. Из парка, открытого для всех, вы переходите по мосту к цветам и оранжереям. Не спешите так, сударь, или уж очень приспичило? Вы можете разминуться. Поищите-ка его лучше, сударь, у каменных фонтанов и во всех беседках. Может быть, король Наваррский сидит где-нибудь на скамейке и читает Плутарха. А по ту сторону моста — павильон короля, он охраняется. Вы его узнаете по красной гонтовой крыше. Он весь красный и ослепительно белый и отражается в воде. Но только в него не пытайтесь проникнуть, сударь, ни в коем случае! Если губернатор окажется там, никому не разрешено спрашивать, чем он занимается и с кем.

Перепуганный дворянин так и уезжал из замка в Нераке, ничего не добившись. А в душе у него росло озлобление против губернатора-гугенота. Но когда, верные своему обещанию, разбойники на третий день возвращались, — кто нападал на них, до последней минуты не открывая своего присутствия? Предводителя банды Генрих приказывал повесить, точно он и не был сторонником истинной веры. Его людей сейчас же брал в свое войско. И ужинал потом в господском доме; дворянин же с домочадцами пребывал в великой радости и немедля извещал родных и друзей о своем благополучном избавлении от беды благодаря помощи губернатора-гугенота. Вот уж поистине первый принц крови! Может быть, все-таки придется иметь его в виду, когда уже не останется ни одного наследника престола? Правда, до этого еще далеко. А пока пусть потрудится защищать наши деревни от собственных единоверцев. Он прежде всего солдат, мастер по части дисциплины в войсках, враг всяких разбойничьих банд и вооруженных бродяг. Кто не записался ни в один

отряд, несет наказание, а кто, дав присягу, все-таки сбежит — обычно забрав жалованье, — тот подлежит смертной казни. Наконец в его землях появились опять рыночные надзиратели.

«Дело идет на лад», — думает Генрих и старается, чтобы такие письма и разговоры становились известны как можно шире. Заслужить доверие незнакомых людей особенно важно: оно способно влиять даже на факты. Много было бы достигнуто, если бы, например, удалось внушить людям, что в землях Генриха господствует некая единая религия. В его армии были перемешаны сторонники обеих вер, и он позаботился о том, чтобы это новшество было замечено и должным образом оценено. При его дворе, в Нераке, католиков было не меньше, чем протестантов; большая часть дворян служила у него бесплатно, ради него самого и их общего дела, и всех он приучал к доблестному миролюбию, хотя соблюдалось оно не всегда. А сердцу короля его Роклор и Лаварден были так же дороги, как и его Монгомери и Лузиньян; он, казалось, совсем забыл о том, что последние два одной с ним веры, а первые два — нет.

На самом деле он это отлично помнил и все же находил в себе смелость заявлять вопреки общему мнению и самой действительности: «Кто исполняет свой долг, тот моей веры, я же исповедую религию тех, кто отважен и добр». Он это говорил вслух и писал в письмах, хотя такие слова могли обойтись ему слишком дорого. У него позади были Лувр, долгий плен, ложь, страх смерти; он вспоминал былую резню — ведь и то делалось во имя веры. Как раз он мог бы возненавидеть все человеческое. Но он тянулся лишь к тому, что могло объединить людей, а для этого надо быть храбрым и добрым. Конечно, Генрих знал, что не так все это просто. Храбры-то мы храбры. Даже в Лувре большинство из нас были храбрыми. Ну, а как насчет доброты? Пока еще почти все остерегаются обнаружить хотя бы намек на доброту: для этого люди должны быть не только храбрыми, но и мужественными. Однако он привлекал их к себе, сам не понимая чем: дело в том, что он приправлял свою доброту известной долей хитрости. Кротость и терпимость в глазах людей уже не презренны, если люди чувствуют, что их перехитрили.

Установить прочный мир в королевстве опять не удалось. Неудавшийся мир был

связан с именем монсеньера, брата французского короля. Теперь он уже назывался герцотом не Алансонским, но Анжуйским и получал ренту в сто тысяч экю. Даже немецким войскам монсеньера король уплатил жалованье, хотя они сражались против него. Монсеньер мог бы вполне успокоиться насчет собственной особы, но не успел, ибо прожил он слишком недолго. Он отправился во Фландрию, чтобы стать королем Нидерландов и, шагая с престола на престол, протянуть руку к руке Елизаветы Английской, которой к тому времени уже стукнуло сорок пять; над длинноногой королевой и ее «маленьким итальянцем» — так она называла Двуносого, — над этой презабавной парочкой очень смеялись по вечерам в Нераке, когда губернатор за стаканом вина обсуждал со своим «тайным советом» свежие новости. В остальном же мир, затеянный монсеньером, не удался. Когда король зажег фейерверк, парижане даже не пошли смотреть. Лига наглеца Гиза не переставала сеять смуту, и в редком доме люди, сев за трапезу, не выпрашивали друг друга, кто какой веры. Поэтому король Франции созвал в своем замке в Блуа Генеральные штаты. Представители протестантов туда уже не поехали: они знали слишком хорошо, как там умеют обманывать. Но король Наваррский заставил своего дипломата, господина дю Плесси-Морнея, написать послание в защиту мира и, кроме того, написал сам.

А у остальных — у протестантов и у католиков — была одна забота: как бы побольше напакостить друг другу. Католики, на стороне которых был перевес, требовали применения силы, протестанты — осуществления обещанной им безопасности. Но слабейшему следует не настаивать на своих правах, а призывать к терпимости и кротости: под защитой этих двух добродетелей он легко сможет укрепить и свою власть. А добродетель, соединенная с властью, способна завербовать себе больше сторонников, чем та и другая порознь. Генрих и его посол стремились к одной цели и шли к ней одним путем. И вот Морней подсовывает свое послание в Генеральные штаты некоему благонамеренному католику, будто тот его сам сочинил, хотя было оно созданием праведного хитроумного Морнея. Генрих же писал: что касается лично его, то он молит господя открыть ему, какая религия истинная. Тогда он будет ей служить, а ложную изгонит из своего королевства и, может быть, из всех стран света. К счастью, господь бог ничего не сообщил ему на этот счет, и ему не грозила опасность расстаться со своими укрепленными городами.

Впрочем, он постарался сделать все возможное, чтобы снова не вспыхнула междоусобная война; так, он поспешил навстречу посланцам, которых к нему

отправил король Франции. Им было поручено снова обратить его в католическую веру, и это – в стенах его верного города Ажена. Одним из посланцев оказался тот самый Вийяр, который не впустил его в Бордо, другим – архиепископ из его собственного дома, третий имел наибольший вес, ибо это был государственный казначей Франции. Генрих принял их всех вместе и каждого. Никогда нельзя знать заранее, что может высказать тот или другой без свидетелей, особенно когда вопрос идет о деньгах. На совместном заседании архиепископ стал сетовать по поводу страданий народа, и Генрих даже заплакал, но при этом подумал, что страдания народа – его страдания, но не страдания архиепископа. Потому-то французское королевство именно ему и предназначено. А об этом он, конечно, мог узнать только от господ бога. Вот он и приказал своим отрядам именно в этот день штурмовать один из непокорившихся городов. Вийяр увел оттуда солдат, которые понадобились ему, чтобы предстать перед губернатором в сопровождении подобающей охраны. «Это моя маленькая победа!» – втайне ликовал Генрих, не переставая плакать. Но кто отличит слезы радости от слез печали? «Это моя маленькая победа!»

Однако маркиз де Вийяр тут же отомстил, долго ждать не пришлось. Генрих играет в «длинный мяч» во дворе своего замка, который огорожен четырехугольником высоких зданий. Окна украшены резьбой, стройные колонны тянутся вдоль фасадов, широкая и величественная лестница ведет к реке и в сады; все это создано его предками еще два века назад, и великолепие замка охраняют толстые башни, стоящие на всех четырех углах. Но ведь и стража на башнях может забыться с девушками, а тем временем враг крадется – от куста к кусту, из тени одного здания в тень другого. Посреди двора Генрих бросает кожаный мяч. Если бы он сидел сейчас за обедом, то в стене столовой, в тесной потайной нише, примостился бы наблюдатель и следил бы, нет ли в окрестностях замка чего-нибудь подозрительного: никогда не следует забывать об осторожности. А вот сейчас – увы! – поздно; слышны жалобные крики, враг проник через вход четвертого фасада, он уже схватил кого-то за горло. Игроки в мяч безоружны. В то время как друзья Генриха спасаются через парадное крыльцо, Генрих исчезает в доме, и сколько враг потом ни ищет, его и след простыл.

Шато де Ла-Гранж

Подземелье уходило все дальше, тянулось под городом, потом под пашнями. Этот подземный ход, в который Генрих спустился ощупью, сохранился с давних времен, и из всех живых был известен только ему. Он отыскал огниво и фонарь; при его слабом свете все же удавалось обходить ямы и завалы. На этот раз путь показался ему короче обычного, ибо он думал о том, как разочарован будет враг. Все же дышать здесь, внизу, было трудно; зато в конце этого подземелья он встретит нежные женские руки. А подумать только, в чьи руки он чуть было не попал сейчас! Он задул бледный огонек, приподнял творило, закрывавшее вход. — Осторожнее! — крикнул женский голос. — Осторожнее, тут мои голуби! — Ибо остановившая его особа женского пола только что свернула голову несколькими голубям и положила их как раз в том месте, где вылез из-под земли этот человек, вспотевший и с головы до ног перепачканный. Дневной свет ослепил его, и он не узнал, кто перед ним: а это была Флеретта, которую он любил, когда ему было восемнадцать, а ей семнадцать лет.

Она не испугалась, увидев, что он вылезает из-под земли, но и не узнала его: во-первых, вид у него был далеко не королевский, кроме того, все пережитое изменило его черты, да и бороду он отпустил. Горячие ласкающие глаза, выдали бы Генриха, но он опустил веки и прищурился, вот Флеретта и не узнала его. Да ведь и она изменилась: располнела лицом и станом. Возмущенная тем, что раскидали ее голубей, она уперлась руками в бока и начала браниться. Он рассмеялся, весело ему ответил и направился к колодцу, чтобы смыть с себя землю. Другой колодец некогда принял два их отражения, слившихся в одно, в него опустили они свой прощальный взгляд и уронили свою последнюю слезу. «Когда мы станем совсем стариками, тогда колодец все еще будет помнить нас, и даже после нашей смерти». И это правда: через много лет люди все еще будут показывать другу другу водоем и говорить: — Вот тут она и утопилась, эта самая Флеретта. Она так его любила! — Уже сейчас многие уверены, что она умерла, ведь столь прекрасная

любовь должна жить дальше сама по себе, помимо людей, которые так меняются.

Превращение. Он умылся и, не оборачиваясь, стряхнул землю с плеч. А она наблюдает, как незнакомец сбрасывает неказистую оболочку и из-под нее выступает дворянин. Сейчас он поднимется по лестнице маленького замка и войдет к даме, в приют любви, на стенах которого нарисованы странные создания – женщины с рыбьими хвостами, а из уголков выглядывают головы ангелов – вот этот прелестен, а вон тот – строг. С потолка комнатки светит солнце, ибо Христос есть солнце справедливости, как там и написано, Флеретта сама читала. Она подбирает своих голубей. Как раз в это мгновение Генрих поворачивается к ней, но она на него не смотрит. А воздух вокруг них звенит забытыми словами. Небо такое ясное, свет серебрист и летний вечер так тих. Вот они снова одни, здесь, во дворе, среди хлевов и амбаров. Он мог бы привлечь к себе эту незнакомую девушку, которая стоит, нагнувшись, и увести за овин. И эта мысль ему приходит, но из окон, может быть, смотрят. И он спешит наверх. А девушка несет голубей на кухню. И вот уже никого нет, а воздух все еще звенит забытыми словами. Ты счастлив со мной? Счастлив! Как еще никогда! Тогда вспоминай меня, куда бы ты ни уехал, и о комнате, в которой благоухало садом, когда мы любили друг друга. Тебе восемнадцать, любимый... Когда мы станем совсем стариками...

Голоса батраков приближаются. И воздух, уже не звенит.

В саду

Как ни странно, но нападение на замок губернатора кончилось плохо для наместника. В Нераке стало известно, что король Франции ему этого не простил. А может быть, именно то, что нападение не удалось, стоило бедняжке Вийяру его места? Дворянство заявило, что возмущено его дерзостью, и не только местное, но и в соседней провинции Лангедок, губернатор которой, Дамвиль, заключил с Генрихом союз. Дамвиль был «умеренным», принадлежал к «политикам» и охотно действовал в пользу мира между обеими религиями. Но ведь и миролюбие не вовремя могло стоять места. Как бы то ни было, но Вийяру пришлось лишиться своего как

раз потому, что он дошел до крайности в обратном. Его особенно яростно преследовал и прямо дохнуть не давал один из влиятельнейших провинциальных дворян, маршал Бирон. Бирон вел против Вийяра такую интригу, о размерах которой не подозревал даже Генрих, хотя Генрих о многом был осведомлен.

В то время у Генриха было немало других забот. Он хотел добиться от двора не только удаления своего наместника, — он горячо желал, чтобы его дорогая сестричка приехала к нему; не мог он дольше обходиться и без своего милого друга королевы Наваррской. Бывали минуты, когда он искренне тосковал по Марго; человеческое тело никогда не забывает совсем те ласки, которые ему были дарованы. Частенько он думал и о том, что его католическим подданным не мешало бы увидеть рядом с ним сестру короля Франции; тогда сами собой распахнулись бы даже городские ворота Бордо! Что же касается его маленькой Катрин — ах, Катрин, поскорее бы ты очутилась здесь! Будешь восхищаться моими оранжереями, будешь учить попугаев говорить, будешь слушать пение удивительных птиц, которых ты еще никогда не видела, Катрин, — канареек! Кроме того, девчурка такая пылкая гугенотка, что сейчас же поднимет меня во мнении сторонников истинной веры; а мнение это, увы, не слишком высокое.

Причина, конечно, та, что он путался со многими женщинами. Но, во-первых, есть очень много таких, которые стоят нашей любви — каждая на свой лад: одна пленяет своим пьянящим ароматом, другая — невинной чистотой цветка. У такой-то фрейлины недоверчивая мамаша, и Генрих скачет верхом целую ночь, чтобы поспеть к утру на раннее свидание. Отбить потаскуху у парня гораздо легче. Была у Генриха связь с женой угольщика. Тот жил в лесу, и у него обычно съезжались охотившиеся придворные. Она крепко любила своего короля, и он ее достаточно горячо, чтобы однажды заставить все общество — господ и слуг — прождать под дождем, пока он лежал с ней в постели. Кто не знает этих внезапных вспышек страсти, которые проходят бесследно! Правда, через двадцать лет Генрих пожаловал угольщику дворянство. И не раз потом король вспоминал хижину в лесу и испытанные им там незабываемые радости. Ибо женщина — это его живая связь с народом. В ней познает он народ, сливается с ним и благодарит его.

За сестрой в Париж он послал своего верного Фервака. Хотя честный вояка и

предал его, но успел также изменить и королю Франции, а что может быть надежнее человека, которому уже никто не доверяет! Фервак, несмотря на все препятствия, действительно доставил принцессу целой и невредимой, но она пробыла в Нераке недолго: брат самолично проводил ее. Но там и верования и нравы были строги, даже его собственные, когда он туда приезжал. В По, где обоих растила дорогая матушка, его видели только с сестрой под зелеными деревьями их детства. Там стояла причудливая беседка, и над ней склонялись высокие кроны. Сюда не раз уходила и Жанна, когда ей хотелось посидеть со своими детьми в свежей, бодрящей тени, и ей чудилось, что в шелесте листьев она слышит дыхание божие. Природа была тайной предвечного, одной из его тайн.

Садовники тоже служили богу, только под другими знаками, чем священники. Шантель — так звали садовника, с которым Генрих беседовал точно с мудрецом; он построил садовнику новый домик. А главная аллея парка носила имя мадам, имя Жанны. Там гуляют теперь ее дети; брат наклоняется к сестре. А сестра думает:

«Смотри-ка! Да мы замешкались, и уже близится вечер. Сегодня сад кажется нам таинственнее, сумерки неслышно уносят его из обычного пространства и строя жизни. Даже каменная женщина, непрерывно льющая воду из своего бочонка, даже она сравнялась цветом с вечерними кустами и уже лишена права на белизну и блеск. И все мы, как христиане, между собой равны: это особенно чувствуешь в такой час. Я, его сестра, без сомнения, должна видеть в нем своего государя, но здесь он все-таки больше брат. Заговорить? Это так трудно, я боюсь. Но меня тянет расспросить его об этой пресловутом бале в Ажене», — Братец!

— Что такое, сестричка?

— Ходят такие нехорошие слухи.

— Ты имеешь в виду бал в Ажене?

Она так испугалась, что вдруг остановилась. Ее хромота обычно почти не была заметна, Екатерина даже могла танцевать. Но в этот миг она бы захромала. А брат

торопливо сказал: — Я знаю про эти разговоры, конечно, знаю; все это выдумали только затем, чтобы выжить меня с моими дворянами-протестантами из города Ажена. Сначала после моего побега из Лувра я решил жить там. И сейчас же духовенство с церковных кафедр начало травить нас. Господин де Вийяр немедленно принялся клеветать. А самое худшее просто выдумали католические дамы, которым захотелось позабавиться. Знай, сестричка, что немало представительниц твоего пола любят сочинять то, чего на самом деле не было.

— Оставь это, братец, скажи только: правда, будто на бале в Ажене, когда в зале было полным-полно городских дам, ты и твои дворяне вдруг погасили свечи?

— Нет. Я бы этого не сказал. Правда, я заметил, что в большой зале стало несколько темнее. Может быть, много свечей догорело одновременно. А иногда их задувают из озорства; даже сами дамы.

Но тут Екатерина рассердилась.

— Ты отрицаешь слишком многое. Лучше бы у тебя было поменьше отговорок, тогда я в остальном охотнее тебе поверила бы. — Это уже не были слова неопытной девушки: это был не ее детский голосок, испуганно повышавшийся на концах слов. И Генрих, в свою очередь, испугался: теперь с ним говорила не сестра, а его строгая мать. Разницы он не мог увидеть, ибо уже стемнело. И он, точно мальчик, признался:

— Говорят, мои дворяне старались перецеловать дам в темноте. Но ни один не похвалялся тем, что хоть одну из них обесчестил. А возможность у них была, и даже подходящее расположение духа. Потом, конечно, все отпирались, так как разразился скандал.

— Хорошо же вы вели себя! — сказали Жанна и Екатерина. — Разве это те строгие нравы, которые ты должен был беречь у нас на родине? Нет, ты предпочитаешь показывать, чему научился в замке Лувр от врагов истинной веры.

У него даже дыхание перехватило. То, что он затем услышал, задевало уже его лично: — Дело не только в том, что несколько обесчещенных дам умерли от страха и стыда. Ты повинен еще во многих несчастиях, они происходят повсюду, где ты,

во время своих разъездов, совращаешь женщин. Я не хочу их перечислять и приводить имена, ты и сам отлично знаешь. Лучше я напомним тебе, что мы должны любить бога, а не женщин.

Он молчал. Проповедь, которую начала сестра, необходимо было выслушать до конца.

— Нам прежде всего надлежит упражнять свое сердце в повиновении богу. С этого надо начинать; но вполне мы достигнем цели, только если в этом будут участвовать и наши глаза, руки, ноги — все наше существо. Жесткие руки говорят о сердце, полном злобы, а бесстыжие глаза — о сердце порочном.

Она продолжала горячо и красноречиво убеждать его. Принцесса Екатерина получала письма из Женевы и старалась запомнить их содержание, но и ей предстояло уже недолго следовать этим советам. А ее брат Генрих в темноте расплакался. Слезы у него лились легко, даже по поводу того, чего изменить было нельзя, да и менять не хотелось; сейчас он разумел под этим не только собственную натуру, но и столь родственную ему натуру сестры. С присущим ей благочестивым рвением боролась бедняжка против своей любви к кузену Генриху Бурбону, который в данное время охотился на кабанов. Но достаточно будет ему явиться собственной особой, и все произойдет так быстро, что Екатерина опомниться не успеет! Детской невинности должен прийти конец — это брат и оплакивал. С другой стороны, он находил совершенно естественным, что конец ее невинности когда-нибудь наступит. Он ласково обнял сестру со смешанным чувством жалости и одобрения и прервал поцелуем ее самую удачную сентенцию. Затем отвел Екатерину домой.

И поскольку всякая нежность, даже по отношению к собственной плоти и крови, и всякое волнение чувств может быть переведено на язык денег, принцесса Екатерина на другое утро получила от своего дорогого брата в подарок один городок, который и ему самому пока не принадлежал. Мятежный городок, до сих пор не желавший его впустить; Генриху предстояло еще завоевать его для своей дорогой сестрички. И еще много восхитительных подарков получала она впоследствии от своего брата-короля, когда дарить стало для него возможным. Однажды он преподнес ей семьсот прекрасных жемчужин и сердечко, осыпанное алмазами; о цене была осведомлена только его счетная палата. Впрочем, и часы, проводимые им в По, всегда были считанные. И вот уже на прекрасную мебель в большом городском дворце опять надевают чехлы; для Генриха она останется

навсегда самой красивой. А драгоценных камней Наваррской короны он не коснется,
даже когда у него не будет сорочки на смену. Итак, на коней! Посетим
беспокойные провинции! Марго нам тоже доставляет одни заботы! Брата
Франциска,
решившего бежать во Фландрию, она спустила на веревке из своего окна,
потом
сожгла веревку в камине и чуть не спалила весь Лувр. А сама тоже умчалась
во
Фландрию, и начались отчаянные проделки! Да, друзья, отчаянные! Так
говорит
Генрих в своем тайном совете.

Тайный совет

Члены совета попарно направляются в замок. Парадная лестница в саду
раздваивается, и те господа придворные, которые не в ладах друг с другом,
могут
подниматься с разных сторон. Между обоими крыльями лестницы из стены бьет
ключ
и стекает в полукруглый водоем. Мраморные перила тянутся от столбика к
столбику
таким мягким изгибом, что каждый их невольно коснется рукой. Взгляд
легко
охватывает скромный орнамент, которым резец так любовно оживил камень. Но
на
полпути оба крыла сливаются. Лестница становится широкой, парадной, она
ведет в
королевский замок. Слышны кюшеские шаги, звонкие голоса, большинство
членов
совета спешит через двор наверх и поворачивает направо. Они поднимаются на
несколько ступенек, затем идут колоннадой, которая тянется вдоль фасада;
на
капители каждой колонны изображено какое-нибудь легендарное событие.
Двери
комнат распахнуты настежь, стоит сияющий день. Быстро входят члены совета
в
самую большую комнату, рассаживаются на скамьях и деревянных табуретах,
встречают друг друга взволнованными разговорами, обнимаются, смеясь, или
сердито расходятся; все это – пока еще не вошел их государь.

В стене, непроницаемой для пуль и лишенной окон, помещается скрытый пост
наблюдателя. В единственную бойницу, между прутьями решетки, солдат видит
внизу
весь внешний двор, крепостной ров и всю местность за ним. От городских
ворот
тянется проезжая дорога, а на ней могут появиться враги. Мир и
безопасность
царят на обоих берегах зеленого Баиза – по эту и по ту сторону мостов. Их
называют Старый мост и Новый. Один перекинут к тихому парку «Ла Гаренн»,
другой
соединяет между собой две части города. Те, кто живут подле самого замка,

находятся под надежной защитой. По другую сторону моста строятся господа придворные – с тех пор как здесь обосновался двор. Ремесленники, лавочники, челядь теснятся поближе к прочным домам сильных мира сего. Так вырастают, как зародыш нового города, целые улочки, извилистые, тесные, посередине текут ручьи и играют дети. Малыши с криками берут приступом высокий старый мост, старики осторожно пробираются по нему на тот берег. И по отражению его широких арок в глубокой воде скользят одна за другой тени всех, кто живет здесь.

На верхней площадке дворцовой лестницы, где стоит круглая каменная скамья, два господина поджидают Генриха. Господин в дорожном плаще – это Филипп Морней, он считает, что Генрих ведет себя необдуманно: ездит один, когда уже темнеет, а в стране война, опять война. Мир, названный по имени монсеньера, продержался недолго.

Король Наваррский отправил своего дипломата искать союзников, но большинство всеми способами старается уклониться. Есть, правда, кузен убитого Колиньи – в свое время Монморанси сам был узником в Бастилии и находился ближе к смерти, чем к жизни. И все-таки этот толстяк слишком ленив для мести или для справедливости, как выражается Морней, и для религии, добавляет он. «Но как ты тепл, а не горяч и не холоден, то извергну тебя из уст моих»[24. – Цитата из Апокалипсиса (Откровения св. Иоанна Богослова), III, 16.], – поясняет гугенот и доказывает – тоже отнюдь не горячими словами, – почему должны пасть все те, кто старается извлечь из религии лишь выгоду и недостаточно благороден, чтобы бескорыстно служить ей. Герцога Анжуйского, который вслепую охотится за королевствами для самого себя, Морней покинул и после многих опасностей и приключений приехал к такому государю, с которым он попытается связать свою судьбу, хотя государь этот до сих пор ведет весьма легкомысленную жизнь.

Но ведь не все решает натура, гораздо важнее предназначение. И бог сильнее, чем страсти его избранника. В глубине души праведный Морней ничуть не встревожен тем, что Генрих опаздывает. Ведь он под высокой защитой.

– Вы были захвачены в плен, когда ехали сюда? – спросил господин, сидевший рядом с ним на скамье.

— Но меня не узнали, — ответил Морней и пожал плечами; он был уверен, что в
нужную минуту его врагов поразила слепота. — Послушайте, как было дело, господин де Лузиньян. Мы смотрели на развалины вашего родового замка, все кругом заливал волшебный свет, так что было нетрудно поверить в сказку. Там в
старину ваш предок встречал фею Мелузину, и она подарила ему такое же счастье и
горе, какими земные женщины могут одарить нас в любое время. По вине феи Мелузины наше внимание было отвлечено, поэтому два десятка вооруженных людей
настигли нас раньше, чем мы успели перескочить через ров. В подобных обстоятельствах все дело в том, чтобы удачно выдать себя за другого и никак не
походить на гугенота.

Второй господин невольно рассмеялся. Если кто и походил на гугенота, то уж,
конечно, Филипп Морней. И не только потому, что на его темной одежде белел
скромный отложной воротник: его выдавала манера держаться, да и выражение лица
было достаточно красноречивым. Взор не был вызывающим, но не был и обращен
внутри. Этот взор словно вопрошал людскую совесть — разумный и спокойный, и лоб
всегда был гладок. До самой старости останется этот лоб без морщин, ибо Морней
чист перед своим богом. И этот лоб будет выситься нетронутым плоскогорьем над
увядшим лицом, на котором со временем появятся пятна и проложенные скорбью
борозды. Так будет некогда. Но сейчас он сидит на полукруглой каменной скамье,
молодой и отважный, и ждет государя, возвышению которого ему надлежит сопутствовать. Морней и не подозревает о том, какие слова ему суждено произнести в далеком будущем над телом своего государя: «Мы вынуждены сообщить
печальную, ужасную весть. Наш король, величайший король христианского мира за
последние пятьсот лет...»

Небо было очень ясным, серебряным был его свет, и мягко надвигался вечер. Генрих вышел из своего сада и прошел по новому мосту, неся в руках охапку цветов. Увидев, что на верху лестницы стоят оба господина, он бросился к ним
бегом, потребовав еще издали, чтобы его посол сделал ему доклад; выслушал его,
и хотя посол не сообщил ничего утешительного, протянул ему цветок. — Кто-то
ощипал его, — добавил Генрих. И невольно повел плечом в сторону беседки на

берегу реки: тут они сразу поняли, кто. В тот же миг в замке над ними поднялся ужасающий шум. — Мои гугеноты убивают моих католиков! — воскликнул Генрих и кинулся на замковый двор.

И в самом деле, господин де Лаварден поссорился с господином де Рони: Рони, молодой забияка, вывел своего начальника из себя, ибо нарушил дисциплину. Остальные дворяне тоже подняли крик, в комнате стоял отчаянный гам, и выяснить причину было невозможно. К счастью, Генрих и так отлично знал ее. Город, куда капитан Лаварден послал прапорщика Рони, приказав занять потерянную позицию, назывался Марманд. Генриху самому пришлось вызволять оттуда мальчишку и его горстку аркебузирова; однако он не смог предотвратить их довольно плачевного отступления с единственной пушкой и двумя кулевринами, для которых не осталось ядер. Лаварден не желал, чтобы хоть один человек напоминал ему об этой неудавшейся атаке на Марманд, которую он затеял против желания своего короля. А теперь его прапорщик все-таки заговорил об этой дурацкой истории. — Молокосос! — рявкнул рассерженный начальник. — Утрите, у вас молоко на губах не обсохло! — Рони сейчас же полез драться, причем часть дворян усердно подзадоривала противников, другие старались развести их. Трудно было даже поверить, что в комнате, где находилось всего пять — шесть человек, мог подняться такой шум; впрочем, все это происходило лишь от избытка кипучих сил и жизнерадостности. И вот вошел Генрих с охапкой цветов; он бросил их своим дворянам, а своего Рони наказал по заслугам: Генрих заявил, что его службе в самой лучшей роте и под командой лучшего из начальников теперь конец и что из внимания к крайности Рони он сам, король, берется его воспитывать. Юноша не противился, ибо в сущности на это и рассчитывал. Его лицо тут же приняло свое обычное спокойное и рассудительное выражение. Успокоился и Лаварден, да тут еще король обнял его.

Кто-то стал возмущаться несколькими городками, которые якобы позволяли себе совершать всякие зверства. Войско короля Наваррского кочевало по стране, не уставая мстить, насаждать мир и водворять порядок. Здесь же действовал тайный

совет, каждый член имел право высказать королю свое мнение, и многие упрекали его в том, что ведет он войну недостаточно сурово. Его двоюродный брат Конде осуществляет свои военные операции гораздо энергичнее, и он-де жалуется на нерешительность Генриха. — Ведь это моя страна, а не его, — сказал Генрих, больше для себя, чем для других, и только Морней насторожился. Члены тайного совета обычно говорили все сразу, шумно перебивая друг друга. Генрих привлек к себе всеобщее внимание, начав рассказывать о королеве Наваррской. Он уселся на стол, свесил одну ногу, другую поджал под себя и, покусывая стебелек розы, фыркнул, как бы сдерживая смех; на самом деле он вовсе не испытывал особой радости.

Королева Наваррская сначала помогла бежать своему брату монсеньеру, затем, опережая его, поспешила во Фландрию, чтобы там подготовить для него почву. Опасно, опасно затевать такое дело в стране, которую попирают сапоги испанцев, и самый большой сапог — дон Хуан Австрийский. — Но королева, моя супруга, всех провела под предлогом болезни, которую она будто бы должна лечить водами Спа. А испанцы, да будет вам известно, народ недалекий, ходят словно на ходулях, и шея у них не гнется, как и их высоченные крахмальные воротники; поэтому они ничего не видят, что делается на земле. Так вот, не успели испанцы сообразить, о чем говорит королева, как ее величество взбунтовала всю страну. Правда, дон Хуан Австрийский спохватился и тут же поспешил выпроводить ее из своих владений. А им еще накануне вечером был устроен бал в ее честь. Но тут уж ничего не поделаешь, родной брат, король Франции, выдал ее испанцам из страха перед доном Филиппом.

Присутствующие ответили негодующим смехом, раздалось несколько проклятий. Генрих же, стиснув зубы, задумчиво добавил: — Ничего! По крайней мере во время этой поездки моя Марго чувствовала себя ужасно важной дамой, пока ее не выгнали. Золоченые кареты и бархатные носилки, в них сидит всемилостивейшая королева, и повсюду ее с восхищением встречают белокурые люди. И сама она в восхищении. Вообще-то ей не очень сладко живется, моей бедной Марго, при такой

семейке. Ей следовало бы ко мне приехать. Здесь она мне нужна. К сожалению, ее брат-король запрещает ей жить с гугенотом. — Последние слова он сказал очень громко: Генрих заметил, что среди всеобщего шума только один человек внимательно на него смотрит, — и это его дипломат.

— Как ни печально, господин де Морней, но король Франции ненавидит свою сестру и не разрешает ей видаться с нами.

В ответ Морней заметил, что ее величество королева Наваррская после своей неудачной поездки во Фландрию, наверно, ничего так страстно не желает, как встречи со своим супругом. Это все Лига восстанавливает царственного брата против его сестры. Герцог Гиз...

— Давайте выйдем, — предложил Генрих и первым покинул комнату. Они быстро, как любил Генрих, прошлись по коридору — туда, обратно. Посол, прибывший из-под Парижа, рассказал о последних убийствах в замке Лувр. Гиз держит короля в непрерывном страхе и трепете. И король все чаще уезжает в монастырь; его гонит туда не только ужас перед потусторонним миром. Помимо собственной смерти, он боится, что его дом вымрет, ибо королева до сих пор не подарила ему сына.

— И никогда не подарит, — быстро вставил Генрих. — У Валуа больше не будет сыновей. — Он умолчал о том, от кого узнал это наверняка: от своей матери, Жанны. Морней посмотрел на него и сказал себе, что господь бог правильно сделал, приведя его к этому государю. И в то же мгновение он прозрел окончательно и понял, кто такой Генрих: вовсе не мельник из Барбасты, и не бабник, и не командир двухсот вооруженных солдат, но будущий король, вполне сознающий себя избранником. Он надел на себя личину оттого, что мудр да и подождать может: молодость длится долго. Но Генрих никогда не забывал о своем предназначении. И когда он открыл теперь Морнею свое сердце, Морней низко склонился перед молодым государем. Слова уже были не нужны, они поняли друг друга. Генрих только указал ему легким движением руки на парк «Ла Гаренн», где им скоро предстояло встретиться без свидетелей.

Им помешали. Два старых друга Генриха — д'Обинье и дю Барта — воспользовались своим правом в любую минуту прерывать беседу своего короля. Они бросились бегом через двор, стремительно поднялись по лестнице и сейчас же

заговорили, перебивая друг друга. Правда, новость, которую они сообщили, стоила того. Маркиз де Вийяр смещен. После неудавшегося нападения на замок губернатора наместник попал в немилость, и король Франции назначил на его место маршала Бирона, который действительно все сделал, чтобы это заслужить. Особенно Атриппа уверял, что так оно и есть. Полный радостных надежд, расхваливал он нового наместника, который будто бы из одного душевного благородства употребил все свое влияние при дворе, чтобы сместить своего угрюмого предшественника. Дю Барта, у которого был совсем другой темперамент, ждал, что, напротив, новый наместник окажется еще вреднее. Когда члены тайного совета узнали об этой замене, они тоже разделились на два лагеря.

Наиболее благоразумные, такие, как Рони и Лафорс, который был католиком, видели в Бироне прежде всего злобного и желчного человека. Однажды в порыве ярости он разрубил саблей морду своей лошади, а это не говорило в его пользу. Лаварден и Тюрен, тоже принадлежавшие к различным вероисповеданиям, были, однако, согласны в том, что маршал Бирон все же заслуживает некоторого доверия: он ведь принадлежит к одному из самых старинных родов Гиенни. Поэтому, естественно, он будет стремиться поддерживать здесь мир. Это казалось убедительным. Но Генрих, пока шумел и спорил его совет, прочел королевский приказ, который ему передали старые друзья, и там было написано, что маршалу Бирону даются неограниченная власть и полномочия распоряжаться по всей провинции Гиеннь в отсутствие короля Наваррского. Как будто я отсутствую, ну, например, сижу пленником в Лувре! Так это понял Генрих. Ему стало холодно, потом бросило в жар. Он свернул приказ в трубку и никому не показал.

Морней, или Добродетель

Рано утром Морней отправился в парк «Ла Гаренн». Там не было еще даже часовых. Когда придет король, никто не будет наблюдать за ними, и их разговор останется тайной. Посол Генриха надеялся, что король сообразит, насколько это удобный случай для беседы, и явится один. Морней был весьма высокого мнения о своих дипломатических действиях, где бы они ни имели место – в Англии, во Фландрии, во время войны или при заключении мира. Ожидая Генриха в парке «Ла

Гаренн» и слушая щебетание и трели ранних птиц, он предавался размышлениям о величии творца, допускающего, чтобы невиннейшая природа так тесно соприкасалась с нашим мерзким миром; а через своего сына воссоединил он то и другое, ибо Иисус умер в поту и крови, как умираем и мы, и так же, как мы, только еще более трогательно, нес в себе песнь земли. Морней записал эту мысль на своих табличках для жены своей Шарлотты Арбалест. Уже три года, как они поженились, но бывали часто и долго в разлуке — из-за поездок мужа, ибо государи посылали его добывать деньги все снова и снова, И Морнею приходилось больше вести счет долгам и процентам, чем речам о жизни и смерти. Но их он все-таки записывал по требованию своей невесты, после того как они обрели друг, друга в Седане, в герцогстве Бульонском, этом убежище беглецов.

Их встреча произошла в суровое время, когда действительно шел вопрос о жизни и смерти, — через два года после Варфоломеевской ночи, и оба они, хоть и не стали ее жертвами, но продолжали жить только ради славы божией, гонимые и в бедности. Поместья Шарлотты были конфискованы, так как и отец ее и первый муж принадлежали к последователям истинной веры. Друзья тогда убеждали Морнея вступить в более выгодный брак; он же отвечал, что золото и серебро — последнее, о чем следует думать, выбирая себе жену; главное — благонравие, страх божий и добрая слава. Всем этим обладала Шарлотта; кроме того, у нее был ясный ум — и она занималась математикой, зоркий глаз — и она рисовала. Она была милосердна к беднякам и умела внушить страх даже сильным мира сего своей непримиримостью ко всякому злу. Но больше всего старалась она всей силою своего рвения служить богу и церкви. Именно это, а не золото и серебро принесла она мужу в приданое. И Морней почувствовал себя богачом, когда она рассказала ему, что еще ее отец однажды в Страсбурге присутствовал при том, как мейстер Мартин Лютер спорил с другими докторами богословия. А Лютер никогда и не был в Страсбурге: Морней справлялся. Но если рассказ отца так светло преобразился — в ее воспоминаниях, то разрушать высокое воодушевление Шарлотты Морней не хотел, и он промолчал. Таков был его брак с этой гугеноткой.

— Вы меня поняли и встали рано, — вдруг сказал Генрих; он вошел в беседку незаметно и сел подле Морнея. Затем тут же спросил: — Что вы скажете о моем тайном совете?

— Он слишком мало тайный и слишком шумный, — отозвался Морней, не моргнув глазом, хотя Генрих и подмигнул ему.

— О маршале Бироне плели много вздору. Верно? Он мне искренний друг. Таково, должно быть, ваше мнение?

— Сир! Будь он вам другом, не назначил бы его король Франции на эту должность. Но, сделавшись вашим наместником, даже искренний друг скоро отошел бы от вас.

— Я вижу, что не зря мне хвалили ваш ум, — заметил Генрих. — Многому нам пришлось научиться, а, Морней? Вам нелегко было в изгнании.

— А вам — в Лувре.

У обоих взгляд стал далеким. Но через миг они очнулись. Генрих продолжал: — Мне нужно быть крайне осторожным: двор снова хочет меня захватить в плен. Читайте! — Он развернул вчерашнее послание: вся власть и все полномочия маршалу Бирону...

— «В отсутствие короля Наваррского», — громко прочел Морней.

— В мое отсутствие, — повторил Генрих и невольно содрогнулся. — Нет — уж, довольно! — пылко заявил он. — Десятку лошадей не вытянуть меня в Париж!

— Вы вступите в него опять уже королем Франции, — твердо заявил Морней и почтительно описал рукой полукруг — ни один царедворец не выполнил бы этот жест с таким совершенством. Генрих пожал плечами.

— Гиз со своей Лигой слишком силен. Я вам откроюсь: он стал слишком силен даже для испанского короля, и дон Филипп, чтобы обезопасить себя от Гиза, делает мне тайные предложения. Он намерен жениться на моей сестре Катрин, ни больше, ни меньше. А мне сулят какую-то инфанту. С королевой Наваррской. Он меня попросту разведет в Риме, где для него не существует препятствий.

Морней пристально посмотрел на Генриха, словно испытывая его совесть.

— А что же мне делать? — подавленно заметил тот. — Я вынужден согласиться. Или вам известен другой выход?

— Мне известно только одно, — заявил Морней, строго выпрямившись, — вы никогда не должны забывать о том, кто вы: французский государь и защитник

истинной веры.

— И что же, я должен просто-напросто отказаться от соблазнительного предложения самого могущественного из властителей?

— Не только отказаться, но и довести о нем до сведения короля Франции.

— Вот это я как раз и сделал! — воскликнул Генрих, рассмеялся и вскочил. Лицо у гугенота посветлело. Они бросились друг другу в объятия.

— Морней! Ты все такой же, как тогда, в нашем отряде! Ты любил крайности и мятеж, и ты произносил речи о том, что пурпур царей — это прах и тлен. Сам ты не был тогда безрассудным и не отказался ускользнуть от Варфоломеевской ночи, когда судьба дала тебе эту возможность.

Он похлопал Морнея по животу в знак одобрения и радости. — А ведь с умения избегать смерти и начинается дипломатия, так же как и военное искусство. — С этими словами Генрих взял Морнея под руку и повел прочь, делая при этом, как всегда, большие шаги, которых в этой парковой аллее укладывалось ровно четыре тысячи.

Еще не раз встречались потом рано поутру, никем не замечаемые, Генрих и его посол. Впрочем, истинная причина, почему королю то и дело хотелось слышать советы своего посла, осталась бы неизвестной, даже если бы кто-нибудь тайком и следил за ними. Морней видел в Генрихе будущего короля Франции — вот в чем заключалась разгадка; и не только внутреннее чувство — единственное, на что опирался Генрих, — подсказывало это его дипломату: положение во всем мире совершенно очевидно свидетельствовало о том, что Франция — из всех королевств Запада именно Франция — должна быть объединена твердой рукой принца крови. Не одна только Франция — весь христианский мир «жаждал истинного государя». Им уже не мог быть дряхлеющий Филипп со своей наскоро слепленной мировой державой, которая, как и он сам, приходила в упадок. Подобные государства не могут существовать, не посягая то и дело на свободу немногих наций, еще сохранивших свою независимость. Но этим они только ускоряют собственный конец. И Морней предрекал все еще грозному Филиппу, что перед его смертью, которая будет

позорной, рука господня сурово покарает его. Морней этого не высказывал, а лишь думал про себя. Вслух же он хладнокровно утверждал, что стремление любой ценой расширить свое господство и безудержная жажда власти просто неразумны. Нельзя держать такое королевство, как Франция, в состоянии постоянного внутреннего брожения и распада. Правда, Морней не говорил, что это безбожно и преступно, но думал именно так. Говорил же, напротив, о логике событий и об истине, ибо достаточно истине появиться, как она побеждает.

Словом, Морней старался, чтобы Генрих не только через чувство, но и разумом ясно понял все величие предстоящей ему судьбы. Пусть осознает, что истина – его союзник, и как истина моральная и как правда жизни: ибо одна без другой преуспеть не может. Бог создал нас человеками, и мы сами – мера всех вещей, поэтому истинно и действительно только то, что мы признаем за таковое согласно врожденному нам закону. Столь высокая мудрость, мистическая, возвышенная и глубокая, должна была увлечь и соблазнить государя, который сам являлся ее средоточием. Предсказания будущего всегда заманчивы, даже в шесть утра, в парке, где еще стоит трепетная свежесть; иначе Генрих проспал бы еще добрых четыре часа, ибо его легкомысленные приключения оканчивались обычно поздно ночью. Но он приходил, чтобы слушать разумные суждения о себе и своих врагах.

Свой путь к престолу, говорили ему, он должен, как ни странно, пройти в качестве союзника, даже спасителя последнего Валуа, который до сих пор его ненавидит. Но тут Морней придерживался веления «любите врагов ваших», хотя это, конечно, не всегда полезно, ибо противоречит нашим человеческим склонностям. Нужно только ясно различать те случаи, когда это правило действительно полезно. Сам Генрих, по своей природе, был готов любить своих врагов, добиваться их дружбы и даже предпочитать их друзьям. Может быть, он сам носил в себе предчувствие этого союза с последним Валуа, и лишь потом, когда все свершилось, убедил себя, что Морней уже давно назвал вещи своими именами. Также и гибель испанской армады у берегов Англии Генрих предвидел за десять лет вперед. Когда она действительно погибла, он решил, что Морней предрек это еще в парке «Ла

Гаренн». Вероятно, посол действительно употребил слово «гибель», то ли говоря о флоте, то ли о мировой державе. Но отблеск его слов остался жить в душе Генриха. Ибо познание есть свет, и его излучает добродетель. Негодяи ничего не знают.

Генрих слушал голос добродетели, говорившей с ним устами Морнея. Слушать ее приятно, пока она говорит: ты молод и по натуре своей избранник; блестящие возможности сочетаются с твоими блестящими дарованиями, они прямо для тебя созданы, эти возможности; пока не пробил час великих деяний, стань неоспоримым повелителем этой провинции и вождем твоей партии; не спеши, небо здесь ясное, десять лет пролетят, как один день. До сих пор добродетель говорила приятные вещи.

Но тут ей вздумалось однажды сказать и даже вручить Генриху соответствующую докладную, записку о том, что королю Наваррскому не мешало бы самое позднее в восемь часов быть одетым и уже начать молитву вместе со своими пасторами. Затем ему надлежало бы пойти в свой кабинет и выслушать по очереди доклады всех, кому он давал какие-либо поручения. И больше никаких шумных тайных советов, на которых хохочут, несут всякий вздор и затевают споры. Морней требовал, чтобы Генрих из всех своих советников отобрал только самых добродетельных. Но кто тогда остался бы, кроме него самого? Генрих должен служить личным примером для всего своего дома, и не только для дома, но и для всего королевства Наваррского, и не только для него, но и для всего христианского мира. Морней не терпел в государе, которого избрал себе, ничего заслуживающего порицания. Пусть каждый находит в нем то, чего больше всего жаждет, но еще никогда не встречал: государи – брата, суды – справедливость, народ – заботу о том, чтобы снять с него тяжкое бремя. Государь должен помнить, что ему надлежит действовать не только с достоинством, но и с блеском; особенно же не следует никому давать повода для клеветы. Даже чистую совестью не должен он довольствоваться. А дальше речь шла уже о совсем щекотливых вещах. Этот молодой человек, относившийся к своему званию члена совета с глубокой серьезностью, заговорил о нравственности самого государя.

— Простите, сир, вашему верному слуге еще одно слово. Но с громкими любовными связями, которым вы уделяете столько внимания, теперь уже пора покончить. Наступило время, когда вы должны быть связаны любовью со всем христианским миром, и особенно с Францией.

«Вторая Катрин! — подумал Генрих. — «Я напоминаю тебе о том, что ты должен любить бога, а не женщин», — вот ее слова». А теперь и второй гугенот непрестанно твердит ему об этом. Нет, голос добродетели уже не звучал приятно. Правда, она поторопилась, требуя от молодого государя той благопристойности, которая пока не отвечала ни его характеру, ни плачевному состоянию его маленькой одичавшей страны. Но именно это и, пожалуй, только это, всегда было у Генриха уязвимым местом. Когда он уже стал признанным наследником французского престола, упрямая добродетель через господина де Морнея опять обратилась к нему с теми же назиданиями, и они опять оказались некстати, вызвали в Генрихе гнев и насмешку! Под конец добродетель совсем умолкла. А жизнь идет дальше без предостережений, добродетель уже не вмешивается, и стареющий Генрих опускается под воздействием губительных страстей, с помощью которых он еще поддерживает в себе иллюзию молодости. Да, так будет, Генрих. Молодость и любовь станут некогда заблуждением твоего все еще ненасытного сердца. И тогда Морней уже ничего не скажет. Радуйся, что хоть сегодня он говорит!

Но Генрих, наоборот, отомстил ему за это на тайном совете, в котором, кстати, так никаких изменений и не произошло. Король в присутствии своего посла Морнея заявил: он-де больше обязан католикам, чем гугенотам. Если последние ему и служат, то лишь из корысти или религиозного усердия. А католикам от этого нет никакой выгоды, ради его величия они действуют в ущерб своей религии. И столь несправедливо было это сравнение, что даже придворные католики не могли отнестись к нему спокойно. Но Генрих забыл о том, что человека надо беречь и щадить; в присутствии своего посла он закаркал вороном. Дело в том, что ревнителей истинной веры прозвали воронами оттого, что они носят темную одежду, то и дело каркают псалмы и, по слухам, весьма падки на всякую добычу. Когда король дошел до столь явного оскорбления и затем продолжал каркать вполголоса, притаясь в углу, все сделали вид, что не замечают этого, и как раз католики

начали громко разговаривать, чтобы заглушить его карканье. Генрих же вскоре исчез.

Выйдя, он заплакал от злости и стыда за свое отношение к добродетели, воплощением которой был гугенот Морней. Отныне Генрих замкнулся, он уже не принимал своего посла наедине, и во всяком случае не в парке «Ла Гаренн» в шесть утра, ибо поднимался теперь только в десять. Но это не мешало ему думать о Филиппе Морнее и сравнивать с остальными придворными чаще всего не к их выгоде. Генрих говорил себе: «Вот д'Обинье — это друг: он торопил меня с побегом из Лувра, и дю Барта — друг: он спас мне жизнь в харчевне, — уже не говоря о д'Эльбефе, которого мне ужасно недостает: он охранял каждый мой шаг. Но кто они? Воины, и храбрость для них — дело естественное, никто ею не хвастается, и она даже краешком не соприкасается с добродетелью. Если взять любого из моих приближенных, хотя бы самого умного из членов совета, что от них останется при сравнении с Морнеем? Все они привержены каким-либо порокам, иные даже прегадким». Но Генрих тем охотнее извинял их. Дружба и власть короля способны многое зачеркнуть. Однако ни один не обладал знанием, высоким и глубокомысленным знанием великого гугенота. А отсутствие знаний возместить невозможно.

Агриппа, старый друг, злоупотреблял щедростью своего государя, как никто; счетной палате в По его имя было известно лучше всех прочих. Однажды он сказал одному дворянину что-то насчет короля, и притом настолько громко, что Генрих не мог не услышать. Но придворный не разобрал его слов, и Генрих сам повторил их: «Он говорит, что я скряга и нет на свете столь неблагодарного человека, как я». В другой раз королю принесли собаку, издыхающую от голода, он когда-то любил ее, а потом об ней забыл. На ошейнике у нее был вырезан сонет Агриппы, начинавшийся так:

Цитрон в былые дни на мягкой спал постели,
На ложе из камней теперь ночует он.
Неблагодарности и «дружества» закон,
Как все твои друзья, узнал твой пес на деле.

В конце было и нравоучение:

Придворные! Коль пес вам встретится порой,
Избитый, загнанный, голодный и худой, —
Поверьте, точно так отплатят вам за верность.

Прочтя эти стихи, Генрих изменился в лице. Сознание содеянной вины росло в нем быстро и бурно, хотя потом он все и забывал. Он легче извинял другим их проступки, чем себе. Так, он держал в памяти только заслуги бедного Агриппы, а не вспыльчивость, присущую его поэтической натуре. Молодой Рони больше всего на свете любил деньги. Он их не тратил, а копил. К тому времени Рони успел получить после отца наследство, сделался бароном и владельцем поместий на севере, у самых границ Нормандии. Когда Генриху нечем было платить своим солдатам, барон Рони продал лес, но решился он на это в надежде, что благодаря победоносным походам короля Наваррского одолженная сумма удесятится. В Нераке, по ту сторону старого моста, он построил себе дом, ибо выгодные дела требуют основательности. Своему государю он не позволял задевать себя даже в случае тяжелой провинности: Рони тут же приходил в бешенство. Он ему-де не вассал, не подданный, бросал юноша Генриху прямо в лицо, он может от него уйти, о чем на самом деле и не помышлял, хотя бы из-за своего дома. Генрих резко отвечал, что, пожалуйста, скатертью дорога, он найдет себе слуг получше, но это тоже говорилось не всерьез. Каков бы там Рони ни был, он принадлежал к числу лучших, хотя на время и уехал во Фландрию к богатой тетке, перед которой ради милых его сердцу денег прикинулся католиком.

Из двух барышень он выбрал менее красивую, но более богатую и на ней женился. Когда в окрестностях его замка на севере стала свирепствовать чума, барон Рони увез оттуда свою молодую супругу. Она сидела в запертой карете посреди леса и не подпускала к себе мужа, боясь заразиться. Но барона трудно было запугать. И чуму и другие препятствия он преодолевал с гордым задором. После перенесенной опасности он снимал панцирь и брался за счета. Он сражался бок о бок с королем во всех его битвах. А когда Генрих уже сколотил свое королевство, у него был готов отличный министр финансов.

Но сейчас оба еще молоды, вместе берут маленькие непокорные городки, рискуют жизнью из-за какого-нибудь знамени или вонючего рва; однако удачливый Рони не остается в накладе. И когда победители начинают грабеж, кто захватывает разом четыре тысячи экю и к тому же спасает старика, их бывшего владельца, от

жестокой солдатской расправы? Генрих хорошо знал этого юношу: Рони любил славу, почести и почти с равной силой — деньги. Однажды Генрих вздумал утешить и Морнея, что настанут, мол, времена, когда они оба будут богаты. Он сделал это нарочно, чтобы ввести Морнея в искушение. Однако тот сказал просто: — Я служу и уже тем богат.

С нарочитой жестокостью Генрих заявил:

— Меня ваши жертвы не интересуют, господин де Морней. Я думаю о собственных.

— Все наши жертвы мы не людям приносим, а богу. — Смиренный ответ, но и нравоучительный. Генрих вспыхнул.

Вскоре после того на их маленький отряд напали, выскочив из рожицы, всадники Бирона, они были многочисленнее. Королю Наваррскому и его спутникам оставалось только повернуть и спастись бегством под градом пуль. Когда они наконец придержали коней, обнаружилось, что у короля на одном сапоге напрочь отстрелили подметку. Нога была цела и невредима, и Генрих вытянул ее, чтобы кто-нибудь надел на нее свой сапог. И, конечно, это сделал Морней. Генрих не видел его лица; Морней стоял, нагнувшись, и по шее у него ручьем бежала кровь.

— Морней! Вы ранены?

— Это булавочный укол в сравнении с опасностью, которая угрожала вашему величеству. Я прошу одной награды, сир: больше никогда не рискуйте столь необдуманно своей жизнью!

Генрих испугался. Впервые Морней просил о награде, и о какой! Теперь он поднял лицо, залитое кровью и уже побледневшее: — Мы оба не сомневались в дурных намерениях маршала Бирона, сир. — Вот и все. Но Генрих услышал за этими словами и другие: «... Когда вы еще принимали меня как друга и без свидетелей в парке «Ла Гаренн». Сердце у него забилося. Он сказал вполголоса:

— Завтра, на том же месте и в тот же час.

Тягостная тайна

В ту ночь Филипп Морней спал мало, и совсем не спала его совесть. Он уже давно боролся с собой — сказать или нет о том, что ему было известно. И вот

случай представился, и долг надо было выполнить. Когда временами от раны у него делалась лихорадка, ему представлялось, что он стоит перед королем, он слышал свой голос, который говорил торопливее, чем обычно, с гораздо более настойчивой убедительностью. Король же ничего не отрицал, даже некрасивые слухи о жене мельника — об этой позорной и вдобавок опасной истории. Король сначала покаянно опустил голову, но потом снова поднял ее, как того горячо хотелось Морнею в бреду. Он не желал, чтобы его король был пристыжен. Еще меньше хотелось ему омрачить воспоминания Генриха о столь горячо любимой им особе. К сожалению, медлить было нельзя, если он все-таки надеялся удержать короля, уже катившегося по наклонной плоскости опасных страстей. Надо было ему показать, к чему они приводят, а это мог сделать только один человек: тот, кто знал тягостную тайну.

— Господи! Освободи меня от этой обязанности, — молил больной Морней, и в бреду его пожелание тотчас исполнялось. Ему не надо было выговаривать вслух то, что его так ужасно мучило, ибо король уже все знал. Случилось нечто необъяснимое: у короля, а не у Морнея были в руках обличающие документы. Он дал их Морнею прочесть и стал уверять, что именно раскрытие этой тайны остановило его и удержало на краю пропасти. Теперь он-де понял, что даже такая жизнь, посвященная богу, может быть настолько осквернена необоримыми вожделениями пола, что немногие друзья, знающие тайну, вспоминают о покойнице лишь с ужасом и жалостью. И какую же ценность имеет тогда то, что целый народ чтит, свою усопшую королеву, считая ее благочестивой и чистой! Я, сказал король Морнею в его бредовых сновидениях, хочу послушаться этого предостережения и приму меры, чтобы исправиться. Я прощаю всех, кто покорялся своей человеческой природе. Я сам в том повинен, и превыше всякой меры, но теперь конец, даю свое королевское слово.

Заручившись от своего короля этим обещанием, Морней спокойно уснул и проснулся, только когда настало время идти в парк «Ла Гаренн». Голова у него была совершенно ясная, и все же ему сначала почудилось, будто оба документа

вместе с их тайной и в самом деле находятся в руках короля, а не его. Он даже раскрыл свою папку: оказалось, они спокойно лежат на месте. Все оставалось, как было, король ничего не знал, и над Морнеем по-прежнему тяготел суровый долг.

Случилось то, чего еще никогда не бывало: он вступил в аллею после своего короля. Генрих уже мерил ее нетерпеливыми шагами. Завидев посла, он взял его за руку, сам довел до скамейки, бросил озабоченный взгляд на его забинтованную голову и осведомился, как он себя чувствует. Просто — пуля сорвала кусочек кожи с волосами, пояснил Морней. Рана пустяковая и едва ли заслуживает королевского внимания. — Если угодно вашему величеству, поговорим лучше о делах.

— Они и вправду не терпят отлагательств, — отозвался Генрих, однако нерешительно помолчал, прежде чем заговорить о своих денежных затруднениях. В Морнее ему чудилось что-то непривычное, чуть не страх. Наверно, плохо спал, решил Генрих и заговорил о своих крестьянах, которым он непременно хотел облегчить подати. Но как тогда возместить недостачу? И он воскликнул с напускной шутливостью, хотя ему было не до шуток: — Вот если бы я мог действовать, как покойная королева, моя мать! Она сама себя наказывала за самый ничтожный проступок! Даже если забудет утром помолиться, и то вносит сто ливров в счетную палату. А мои штрафы были бы, наверное, покрупней, чем у моей дорогой матушки!

Наконец Морней преодолел свой страх. Это ведь был чисто человеческий страх — его вытеснило упование на бога. Он поднялся, а Генрих с любопытством посмотрел на него.

— Покойная королева, — начал Морней, как всегда спокойно и твердо, — была строга к себе во всем, кроме все-таки одного: ее величество тайно вступили в недозволенный брак с графом Гойоном, он был потом убит в Варфоломеевскую ночь. Королева заключила этот брак помимо благословения церкви, не получила она его и потом, ибо не захотела открыто признать совершенной ею ошибки. Она находилась тогда в возрасте сорока трех лет; после смерти короля, вашего отца, прошло девять лет. От господина де Гойона у нее был сын.

Генрих вскочил. — Сын? Это еще что за басни?

— В приходо-расходных книгах вашей счетной палаты, сир, нет басен. А там записаны семьдесят пять ливров на воспитание ребенка, которого королева отдала в чужие руки двадцать третьего мая тысяча пятьсот семьдесят второго года.

— Она тогда отправилась в Париж.. Хотела женить меня.. и умерла. — Генрих говорил, запинаясь, из глаз его брызнули слезы. В какое-то мгновение, быстрое, как мысль, Жанна в его глазах еще успела вырасти от этого нагромождения чужих судеб вокруг нее, неожиданных и неуловимых. У сына даже голова закружилась. Но мысль пронеслась. И вдруг он вместо сыновней гордости почувствовал унижение.

— Неправда! — крикнул он срывающимся голосом. — Подлог! Клевета на женщину, которая не может ее опровергнуть!

Вместо ответа Морней протянул ему два исписанных листка. — Это еще что? — сейчас же опять воскликнул Генрих. — Кто смеет выступить сейчас с письменным обвинением против нее?

Он взглянул на подписи, на подпись женева де Беза; затем прочел отдельные фразы и наконец отступил перед неоспоримой истиной. Наиболее влиятельные члены консистории подтверждали от имени протестантской церкви, что брак этот действительно незаконный. Обе стороны обручились в присутствии двух-трех свидетелей; как говорят обычно, они вступили в брак чести, а на самом деле в брак против чести. Добрые нравы были попорчены, брак состоялся без ведома и признания церкви — больше того, настоятельными пожеланиями церкви и ее советами пренебрегли. Пасторы потребовали именем божием, чтобы до официального узаконения брака супруги не виделись, а если уж нельзя этого избежать, то лишь изредка, и оставались вместе самое большее два-три дня: даже и так они будут только служить соблазном, которого не должны допускать, если не хотят навлечь на себя гнев господень. В случае неподчинения придется обе стороны заслуженно и по справедливости отлучить от святого причастия.

Так тут и было написано. Королеве Жанне грозила высшим наказанием та самая религия, которой она принесла в жертву все: покой, счастье, свои силы и самое жизнь. «Если же зло умножится, от чего да сохранит нас господь бог, то вынуждена будет и церковь прибегнуть к крайним мерам. Ибо столь великий соблазн

не может быть допущен церковью божией...» Следовали подписи, и, конечно, все они были подлинные. Достаточно запросить кого следует, и это будет установлено. Но у сына провинившейся Жанны не было никакой охоты оказывать пасторам честь таким запросом. Ведь они действовали, исходя из чисто житейских предрассудков, а вовсе не творя волю господ бога – таково было его впечатление, самое первое, и таким оно осталось навсегда. Эти духовные особы говорили: «добрые нравы», «соблазн», «законный брак» – все слова, не имеющие никакого отношения к духу. Наоборот, они лишь утверждают право людей в общежитии следить и шпионить друг за другом, осуждать друг друга и оправдывать, а главное – отдавать нашу личность во власть некоей деспотической общины. «Нам даже любить не разрешается без надзора, – думал с негодованием сын столь сурово наказанной Жанны. – Одно утешение, что и умирать нам приходится с большим шумом и у всех на глазах!» Но лицо Генриха не отразило его мыслей: он научился скрытности еще в замке Лувр, и ему чудилось, что он опять находится там. Вокруг него уже не веяло воздухом свободы – с той минуты, как он узнал о суровой каре, постигшей его дорогую мать только за то, что она полюбила. Он протянул документы Морнею.

– Оставьте это у себя! Или верните туда, откуда взяли.

– Эти бумаги находились в руках пастора Мерлена, который был при нашей почитаемой королеве в ее последний час, – сказал Морней. – Покойная королева поручила ему отдать их мне, чтобы не прочли ее дети.

– Теперь я их прочел, – только и ответил Генрих.

Морней с трудом перевел дыхание, затем сказал голосом, словно чужим от внутренних усилий: – Королева созналась своему духовнику, что больше не в силах блюсти воздержание, после чего он тайно соединил ее с графом Гойоном. Он знал, что это не настоящее венчание, но сжалился над ней.

– Морней! – воскликнул Генрих также с мучительным напряжением. Затем последовало лишь беззвучное бормотание, словно бы вырвавшееся из его истерзанной души. – Вы в самом деле ворон – ворон в белом чепце. Ваша повязка и ваша рана защищают вас от меня, и вам это известно. Я ведь безоружен перед тем,

кто еще вчера ради меня подставил голову под пулю, и вы этим злоупотребляете. Я принужден выслушать от вас, что моя мать была распутна так же, как распутен и я, и что я пойду по той же дорожке. Вот что вы задумали на тот случай, если я не буду вам покорен. Ворон! Вестник несчастья! – вдруг закричал он, круто повернулся и удалился большими шагами. Голова его была опущена, и слезы падали на песок.

Затем наступил такой период, когда они с Морнеем ничего друг о друге не знали. Король ехал захватывать какой-нибудь непокорный городок, но своего посла не брал с собой. Однако даже среди трудов и битв, в которых Генрих искал забвения от тайных душевных мук, его одолевали думы. Ей минуло уже сорок три, а она все еще была не в силах блуждать воздержанием. «Пулю!» – требовал сын королевы Жанны. Ее веселый сын требовал, чтобы в жарком бою его сразила пуля и сократила срок, в течение которого ему еще предстоит унижаться, как унижалась его мать. Но когда он все-таки выходил из жаркого боя цел и невредим, он смеялся, и радовался, и отпускал ему одному понятные шутки насчет его праведной матери, все же взявшей от жизни свою долю радостей.

У Генриха была потребность в постоянном передвижении, потому что, где бы король ни задерживался, он тотчас узнавал самое скверное – странно, что до сих пор он никогда не обращал внимания на эти зловещие слухи. А в народе рассказывали, что делала королева Жанна с теми, кто ей противился. Либо становись протестантом, либо бесследно исчезнешь в подземельях ее замка в По. Генрих видел эти подземелья, и тут же рядом пировали. Его мать была жестока во имя истинной веры; а так как она к тому же еще твердо решила сохранить в тайне свой брак, то, вероятно, пользовалась этими подземельями, чтобы зажать рот знавшим слишком много. И постепенно совсем другой образ возникал перед сыном, в котором жизнь матери продолжалась. Он вспомнил, как однажды ему пророчески предстали ее так странно изменившиеся мертвые черты, – в тот день, когда последний посланец принес от нее последнюю весть. Ведь мертвые продолжают жить: они только изменяют свой вид. Они остаются подле нас, как быстро мы ми скачем, и вдруг являют нам совсем новое лицо: ты узнаешь меня? Да, мама.

Он не мог не признать, что она выросла в его глазах. Это была его первая

мысль, вспыхнувшая в то мгновение, когда он узнал о ее тайном браке. Но только сейчас мысль приобрела четкую форму. Жанна действительно выросла благодаря этим нагроможденным вокруг нее чужим судьбам, но осталась, как и прежде, праведной, мужественной и чистой. И умерла она за все это, включая и свою позднюю страсть. Хороша та смерть, которая подтверждает нашу жизнь. «Господин де Гойон, вы живы?» – так воскликнул некогда Генрих после Варфоломеевской ночи, впервые встретившись в большой зале Лувра с убийцами. В бессильной ярости призывал он тогда мертвецов, точно они здесь присутствовали: «Господин де Гойон, вы живы?», – а тот уже не находился среди живых. Он не был в большой зале, он лежал на дне колодца и стал пищей для воронья. И лишь сегодня он воскрес, как один из тех, кто знал его мать.

Однако и у Морнея иной раз душа была не на месте. Он раскаивался в том, что причинил боль своему королю, сомневался даже, нужно ли это было. Оказалось, что недостойная и опасная история с мельничихой продолжается, а ведь как раз она-то и послужила для Морнея последним толчком, заставившим его открыть тяжелую тайну. Тревожило его и то обстоятельство, что король теперь осведомлен о существовании брата, которого, однако, признать не может: это противоречило бы религиозной практике и нарушило бы общепринятый порядок. И Морней упрекал себя за то, что при таком положении вещей решился потревожить тень графа де Гойона. Генрих же, наоборот, был готов благодарить его за прямоту. И вот, растроганные, хоть и под влиянием различных чувств, они в один прекрасный день снова заключили друг друга в объятия – это случилось неожиданно и без слов, которые только помешали бы.

Мельница

И вот Генрих едет на свою мельницу. Как часто совершает он этот путь один, без провожатых, сначала по берегу реки Гаронны, мимо старинного городка, потом в сторону! Он задевает за ветки деревьев, подковы его коня тонут в опавших листьях. На опушке рощи он останавливается и вглядывается в свою мельницу: не видно ли мельника там на холме, обдуваемом ветрами? Как хорошо, если б тот

уехал куда-нибудь в своей телеге! Генрих жаждет остаться наедине с его женой.

Впрочем, он имеет право приехать когда вздумается. Ведь мельник из Барбасты –

это же он сам, всякий знает. И хоть арендатор, кажется, и не слишком хитер, а

все-таки этот неотесанный увалень переехал сюда с молоденькой, хорошенькой

женой. Он знает своего государя и за аренду у него в долгу. Расплатиться он мог

бы молоденькой, хорошенькой женой, но прикасаться к ней государю не дозволено.

Муж ревнив, как турок.

Легенда о мельнике из Барбасты живет в народе. Пожилые и простодушные люди

действительно верят в то, что он собственноручно запускает крылья и собирает

муку, которая бежит из-под жернова. На самом деле он не завязал до сих пор ни

одного мешка. Это делает арендатор, и жену он тоже скрутил крепко-накрепко.

Король и супруг отлично понимают друг друга; каждый знает, чего хочет другой,

каждый осторожен и все время начеку. Это их сблизило. Когда бы король ни заехал, арендатор уговаривает его остаться откушать. Не жена дерзает на

это, а

муж. Он отлично сознает преимущества своего положения, этот коренастый малый,

владелец соблазнительной женщины, однако ему еще никак не удастся в полной мере

воспользоваться ими. Но пусть только король попадетсся.

Нынче Генрих долго ждет на опушке, где на него падает тень; с мельницы его

не видно. Ее крылья вертятся – и все-таки в слуховом оконце ни разу не показалось широкое, белое от муки лицо арендатора, окидывающего взглядом

окрестность. А вот и жена! Она высовывает голову, всматривается в даль, щурится, ничего не видит, и все же на лице ее вдруг появляется лукавое и

вместе

с тем боязливое выражение. Что бы это значило? Мука на ее щеках очень идет к ее

темным глазам, и она такая стройная. «Мадлон!» Он спокойно может называть ее

имя, они далеко друг от друга, крылья мельницы хлопают, ей не услышать. Только

сейчас она вздрагивает – его конь заржал; и перед тем, как отойти от окна, она

делает знак в сторону опушки, как бы говоря: «Иди! Я одна!»

Генрих привязывает лошадь, взбирается на холм, обходит его кругом, высматривая, не покажется ли где-нибудь арендатор. Наконец он входит в мельницу. Большая мукомольня перед ним как на ладони. У двух стен штабелями

сложены мешки. Подле третьей работают жернова. А от четвертой, посвистывая, дует ветер, когда сквозняк приоткрывает дверь. Мельничиха быстро оборачивается: она сыпала зерно или притворяется, что сыплет. Косынка сползла с ее шеи, и груди холмиками светлой плоти торопливо поднимаются и опускаются от дыхания женщины, захваченной врасплох. — Мой государь, — говорит она и преклоняет колено, с достоинством подбирая юбку. Это уже не крестьянка, она понимает, что такое ирония, как только появляется Генрих, заговаривает книжным языком, и ее уже не заставишь выразиться проще. Это одна из хитростей, какими она его привлекает.

— Мадлон, — сказал Генрих радостно и нетерпеливо. — Твой страж заснул в каком-нибудь кабаке. У нас есть время. Давай, я завяжу тебе платок. — Вместо этого он ловко расстегнул ей платье. Она не противилась, но повторяла: — У нас же есть время, зачем вы так спешите, мой государь? Когда вы получите то, чего хотите, вы сядете на коня, и поминай как звали, а я себе все глаза выплачу по вас. Я так люблю ваше общество, оттого что вы хорошо говорите, — добавила она, и хотя выражение лица оставалось почтительным, в узких глазах притаилось больше насмешливости, чем у супруги какого-нибудь маршала.

В этот миг Генрих преклонялся в образе мельничихи перед всем женским полом; поэтому совсем не обратил внимание на то, что она делает. Возле сложенных у стены мешков с мукой она положила еще два, так что получилось нечто вроде сиденья, а при желании — и ложа. Она на него опустилась и поманила к себе Генриха, оказавшись, таким образом, хозяйкой положения.

— Мой друг, — сказала мельничиха, — теперь мы могли бы сейчас же перейти к любовным утехам; но это такое занятие, при котором я не желаю, чтобы меня прерывали. А в это время дня люди уж непременно зайдут на мельницу. Что до кабака, то если даже там кто-нибудь и заснул, так ведь оттуда до нас нет тысячи шагов и спящий может вдруг проснуться. — Прекрасная мельничиха говорила звонким и ровным голосом, без всякого смущения, хотя Генрих старался тем временем совлечь с нее юбку, в чем и преуспел.. Казалось, все это происходит вовсе не с нею. Она же была как будто поглощена только своими заботами и соображениями,

обхватила округлой рукой его плечо, чтобы он внимательнее слушал, и наконец перешла к главному.

— Я хочу, чтобы мы в ближайшее время провели вместе целый день, с самого утра и до вечера, и подарили друг другу всевозможные любовные радости и удовольствия, но так, чтобы никто посторонний или непрошенный не испортил нам самые приятные минуты. Ты ведь того же мнения, дружок?

— Насколько я понимаю твои назидания.. — проговорил он и попытался ее опрокинуть навзничь, не замечая, что рука, нежно его обнимавшая, служила ей и для защиты. Так как ему пришлось отказаться от своего намерения, он рассмеялся и вернулся к тому, что она говорила: — Значит, нужно на один день убрать отсюда твоего мужа? Ведь верно, очаровательная Мадлон? Если таково твое намерение, так... и выполняй его! Лишь ты одна можешь это сделать.

— То-то и есть, что не могу, государь. Скорее ты один. — После чего принялась объяснять, как именно это нужно, сделать. — Только ваши ведомства, сир, могут задержать мельника на целый день.

— Ты хочешь сказать: засадить?

Нет, она хотела сказать не это. Нужно составить документы, всесторонне обсудить их, несколько раз давать писцам на переделку, и только под вечер обе стороны наконец их подпишут. Обе стороны? Ну да, ведь одна сторона — это Мишо, арендатор мельницы. — А другая? — Женщина помолчала, взглядываясь узкими глазками в своего молодого короля и стараясь понять, угадает ли он. Ведь мужчины такие дуралеи, когда у них на уме совсем другое. — А вторая сторона — вы сами, сир, — наконец, заявила она, словно открывая ему тайну, понизила голос и кротко кивнула — из жалости к его душевному состоянию. — Ваш нотариус составит вместо вас главные документы, а мы тут будем покамест наслаждаться изо всех сил.

Последние слова она снова произнесла громче, и притом с оттенком блаженного ожидания, хотя в этом блаженстве сквозила тихая насмешка. И тут он вдруг сразу понял все: его намеревались обобрать. В предполагаемых документах должно было быть сказано, что право на владение мельницей он переуступает простодушному супругу. Такова цена этой женщины, и она будет любить добросовестно; Мишо

напрасно надеялся избежать рогов при такой сделке. «Ибо ей хочется получить все: и мельницу, и любовь, а главное – одержать победу над обоими мужчинами», – думал Генрих.

– Я понял, – сказал он только; и в эту минуту он не требовал от Мадлон ничего, кроме того, что она сама ему уже дала: женской хитрости, которая так изобретательна, искусства обещаний, увертливости и неумолимости ее сладостного сердца.

А в следующее мгновение он подумал: «Мошенница, это тебе не удастся!» – и решительно повалил ее. Но она сейчас же крикнула: «Мишо!» Один из сложенных у стены мешков вдруг выдвинулся вперед, из-за него вылез арендатор и, как медведь, навалился на Генриха. Чтобы сбросить с себя эту тяжесть, Генриху понадобилась поистине не меньшая увертливость, чем мельничихе, когда она старалась прибрать его к рукам. Она же следила за гостем с искренним восхищением знатока, предоставив мужа его участи.

Так как государь уже благополучно встал на ноги и отскочил от арендатора, этот увалень загнулся и своей толстой башкой вознамерился ударить короля в живот. Но увалень был брошен наземь, и Генрих властно крикнул: «Мишо!», – однако он опоздал. Лоб у арендатора посинел и распух, и олух, казалось, близок к апоплексическому удару. Вцепившись в руку своего государя, он поднялся с полу, продолжая, однако, крепко держать ее. Генрих и не противился: только бы этот болван успокоился и дело не кончилось скандалом. Поэтому Генрих дал мельнику тащить себя, куда тому хотелось. А Мишо, спотыкаясь, топтался по мукомольне в слепой ярости, впрочем, ярость эта, возможно, была уже не так слепа, как представлялось Генриху, ибо они вдруг очутились у края глубокого сруба, в котором вращался мельничный винт.

Чуть не сделав последний шаг, Генрих понял намерение арендатора и пинком отбросил его от себя. – Иначе все было бы кончено. Арендатор толкнул бы его в колодец, и руку до плеча затянуло бы железным винтом.

Ужас разнообразен в своих проявлениях. Арендатор Мишо валяется в ногах у короля и тихонько воет – это напоминает далекий рев осла. Притом он время от времени вывертывает шею, желая убедиться, что король действительно цел и невредим, а затем снова начинается валяние в ногах и вытье. Лицо Мадлон стало белее муки, голова у нее трясется, как у старухи, мельничиха опустилась на

колени; она старается молитвенно сложить воздетые руки, но они слишком сильно дрожат.

Чувствуя, что его трясет ледяной озноб, и все-таки звонко смеясь, покидает Генрих эту пару, выбирается с мельницы, бежит, хохочет, стряхивает с себя муку, стряхивает приключение. Бывают в жизни такие происшествия, которым надлежит остаться в нашей памяти столь же сумбурными и внезапными, какими они были в действительности; особенно же враждебные нападения на войне и в любви. Довольно бесславно, но зато отделавшись только страхом, вскакиваешь на коня и даешь ему шпоры. В стране ведь есть великое множество мельниц и пропасть мельничих. Эта мельница меня так скоро не увидит. А если как-нибудь все-таки проехать мимо?

Новая картина. Мельник Мишо принимает за своим столом короля, король уже состарился, у него седая борода и шляпа с пером. Ему повсюду предшествует молва о его бесчисленных битвах за королевство. Ему сопутствуют все его легендарные любовные истории с дочерьми народа. Пять человек сидят вокруг стола, все угощаются из большой глиняной миски, перед каждым — ломти хлеба и кружка с вином. Уже вечер, и от сквозняков, гуляющих по мельнице, колышутся над головами четыре огонька, горящие на носиках лампы. Позади стоит темнота, свет падает сидящим на грудь, мягко и вкрадчиво выхватывает из мрака фигуры людей.

Король слегка оперся на стол и держит в руке стакан. Все четверо держат стаканы — кроме мельничихи.

Вот сидит она, уже немолодая, наклонившись вперед, погружившись в воспоминания, и не сводит глаз со своего короля, который мечтательно смотрит вдаль, хотя сидят они друг против друга несколько в стороне от остальных, на одном конце стола. Поодаль от них двое молодых людей — дочь и работник мельника, они чокаются, и их взгляды самозабвенно и благоговейно сливаются. Последним поднимает свой стакан мельник, сидящий на том конце стола; он размахивает шляпой и поет песню о галантном короле. Мишо уже седой, преданно смотрит он на своего короля и ободряюще поет ему, ибо твердо знает, что король любит народ и всех дочерей народа.

И песня дает молодой паре еще раз почувствовать всю силу их любви, а тем

двум, что уже состарились, мучительно и радостно просветляет воспоминания. Король, слегка наклонившись и подставив ухо, улыбается, как тот, для кого все лучшее уже позади. Мадлон тех прошлых дней, только ты это поймешь! Разве не было тогда хорошо и радостно, несмотря на коварное нападение мельника? Вы обе, наверно, это испытали. Во всяком случае, Флеретта – чистый рассвет, роса и цветков – позднее не узнала своего возлюбленного, а теперь ее уж давно нет в живых.

Враг

Случай на мельнице стал так же широко известен по всей стране, как и история на бале в Ажене. В прошлый раз губернатор решил, что виновник всех этих пересудов – его наместник; наместника обвинял он и теперь. Однако Бирон перещеголял своего предшественника. Сама мельничиха, вероятно, молчала. Но муж мог напиться и все выболтать; странно было только одно: та обстоятельство, с какой было использовано его признание. Мельника судил суд в Ажене, в том же городе, в котором произошел и первый скандал. Губернатор охотно бы не дал суду допрашивать арендатора; однако перед носом у его людей ворота захлопнулись, а на стене расхаживали защитники города.

В тот день маршала Бирона не было в Ажене: он не стал бы действовать столь открыто. Обычно он избегал того города, который запирали перед губернатором ворота, а число таких городов все увеличивалось. Он не отдавал никаких определенных приказаний. И Генрих едва ли мог бы обвинить наместника в том вооруженном нападении, которое стоило ему самому подметки, а господину де Морнею – куска кожи на голове и прядки волос. Но маршал Бирон был мастером интриги, причем сам умел очень ловко оставаться в тени – способность, довольно необычная для человека вспыльчивого. Он много читал; быть может, коварству его научили книги, хотя другие благодаря чтению скорее сохраняют душевную чистоту. Как бы там ни было, но он постарался создать губернатору худую славу и не только в смысле его любовных связей. Ходили слухи, что хотя Генрих и совращает

женщин, но главное — покушается на жизнь мужчин. И не один дворянин перестал доверять ему; среди них были и те, чью жизнь и имущество Генрих защищал от убийц и поджигателей. Ведь человека нравственно распущенного легко обвинить и в отсутствии справедливости, хотя в этом деле заслуги губернатора перед его страной были очень велики.

И Генрих не мог не видеть, что его почитают все меньше, не только из-за его любовных походов, но и как правителя и военачальника. Еще немного, и он опустится до уровня князя, не имеющего ни веса, ни величия, — только имя и титул. И тогда всю власть заберет в свои руки Бирон. В провинции Гиеннь он уже достиг ее, Генриху до сих пор не удавалось овладеть городом Бордо. Наместник со своими многочисленными рейтарами и ландскнехтами позволял себе иной раз даже вторгаться в королевство Наваррское. И вот Генрих сидел в своем замке в Нераке, как затравленный зверь. Он даже не созывал свой тайный совет из страха выказать слишком сильную ярость, а тем самым и обнаружить свою слабость. В те дни старые друзья оказывали ему особенно неоценимые услуги; им Генрих мог по крайней мере довериться во всем и открыть свою душу, даже свой бессильный гнев и тщетные планы мести; даже лить слезы отчаяния позволял он себе перед ними.

Однажды вечером они сошлись вместе, и каждый из них вел себя согласно своему характеру. Дю Барта гремел в беспредметном гневе, Агриппа д'Обинье уверял, что самое простое — это возобновить войну с французским двором. Но ведь и так было ясно, что поведение Бирона объясняется лишь тем, что его поддерживают при дворе. Не случайно король Франции засылал к Генриху послов, призывая его опять вернуться в лоно католицизма. И еще прозрачнее было выражено требование, чтобы он явился ко двору и сам забрал оттуда королеву Наваррскую. — Сир! Чует мое сердце, что тогда мы вас здесь увидим не скоро! — Агриппа сказал это очень кстати. Этих немногих слов было достаточно, чтобы перед Генрихом сразу возникли былые опасности Лувра и мадам Екатерина, склоняющая над своим костылем зловещее лицо. От таких воспоминаний ужас и возмущение неудержимо росли, и Генрих скоро

бы дошел до того, что приказал выступать. Во главе своих войск он двинулся бы на своего наместника. Но уже в пути протрубил бы отбой, ибо к нему успел бы вернуться присущий ему здравый смысл. Он удержался от столь ложного шага, хотя дю Барта горячо настаивал, ссылаясь на слепоту и испорченность человеческой природы. Тут заговорил Филипп Морней:

— Сир! У вас есть враг — это маршал Бирон. Не спрашивайте, чьим приказом он руководствуется или хотя бы прикрывается. Почему, восстанавливая против нас короля Франции, он будет здесь действовать иначе и не восстанавливать мелких землевладельцев? Он клеветает на вас, он старается очернить вас в глазах крестьян и королей, ибо жаждет вытеснить вас из этой провинции и остаться в ней полновластным повелителем. Но вы, сир, видите перед собою все королевство. А такой Бирон ничего не видит дальше своей провинции. И на этом вы должны его поймать, побить его тут собственным оружием!

— Я сделаю из него посмешище! — воскликнул Генрих. — И как мне могло прийти в голову объявить ему войну!

Он взял Морнея под руку, вывел в открытую галерею и повторил, как всегда крупно и, быстро шагая: — Вот у меня и опять есть враг! — При этом он думал о мадам Екатерине, своем старом враге. Морней заявил:

— Мы неизбежно встречаемся с тем врагом, которого нам посылают небеса, и это всегда бывает именно тот враг, который нам нужен. — Так обычно говорят друзья, но от этого нам не легче.

— Ну и враг! — воскликнул Генрих. — Разрубить собственной лошади морду! Да еще хромает!

— Маршал не только хитер, — продолжал Морней, — он и любопытен: вечно носит с собой аспидную доску и, что услышит, сейчас же записывает.

— Он хромает и сильно пьет, — сказал Генрих, — и печень у него больная, скулы на лице так и торчат. Ребятишки убегают от него, когда он взглянет на них невзначай своими недобрыми глазами. Ему только детей пугать, он старик — пятьдесят лет, не меньше. Да, Морней, наградили меня небеса врагом, я все-таки

заслужил получше.

— Надо быть благодарным и за такого, — отозвался Морней, и они расстались.

Губернатор тут же начал странную войну против своего наместника. Куда бы тот ни приехал, за обедом и ужином велся счет выпитым бутылкам, особенно же тем, которые он опустошал между двумя трапезами. Губернатор неустанно заботился о том, чтобы в стране стало широко известно, какой охотник до вина маршал Бирон. И вот вскоре люди уже сами стали добавлять, что маршал-де провалялся всю ночь в шинке у большой дороги, ибо находился в таком состоянии, что добраться до города никак не мог. Эти слухи и позорные подробности восстановили против наместника прежде всего дворянскую молодежь, ибо она уже не пила без меры: только у старшего поколения сохранилась эта привычка. Молодые люди поступали, как Генрих: свой завтрак и обед они запивали большим стаканом вина. Если Генрих посещал хижину крестьянина, он прежде всего собственноручно нацеживал себе кубок вина из бочонка; но делал это не столько от жажды, сколько ради своей популярности в народе. Бедняки никогда не видели, чтобы он был в подпитии, и на этом основании решили, что губернатор крепче их, хотя они с утра до ночи только и думали о том, как бы перехватить стаканчик. Поэтому они и смотрели сквозь пальцы, если одна из их дочерей рожала от него ребенка.

С тех пор как вышли из обычаев пиры, дворянская молодежь предпочитала распутничать, вообразив, что ей удалось заменить пьянство более утонченными удовольствиями. Молодые люди уверяли, что хотя и то и другое называется пороком, но распутство предпочтительнее, ибо в нем участвует не только тело, но и дух, так как, чтобы распутничать, нужны храбрость и сообразительность. Пьянство же — порок самый низменный и грубый, чисто земной и плотский, от него рассудок тупеет, да и другие способности угасают. Бирон корит губернатора только за то, на что сам уже не способен. А если он мастер выпить, так этим могут похвалиться разве что его немецкие рейтары!

Бирон заносил такие разговоры на свою аспидную доску и, объезжая замки, отвечал, что все его поколение было-де столь же добродетельным, как и он сам, да, он женился, будучи непорочным. И хотя такие разговоры происходили обычно

после обеда, он в подкрепление своих слов обходил вокруг стола на руках. Если кто вглядывался попристальнее, то замечал, что Бирон опирается даже не на ладони, а всего лишь на большие пальцы. Он ссылался не только на свои силы, которые ему удалось сберечь, но главным образом на слова Платона. Ибо сей греческий мудрец запрещает детям вино до восемнадцати лет, до сорока же никому не следует напиваться. После сорока он считает это простительным, полагая, что с помощью вина бог Дионис возвращает стареющим мужчинам их былую жизнерадостность и доброе расположение духа, так что они даже решаются снова танцевать. Бирон и в самом деле повел хозяйку в танце, что, однако, не помешало ему несколько позднее оставить замок, кипя страшным гневом.

Генрих, который обо всем узнавал, готов был пожалеть чудака. Он привык так много размышлять о своих врагах, что доходил чуть не до любви к ним. Однако враг относился к этому иначе. На попытки Генриха оказать ему дружеское внимание маршал отвечал не грубостями, но колкостями. Стараясь завоевать расположение старика, Генрих посылал ему отличные книги, которые печатались по его специальному заказу. Печатник короля Луи Рабье был осведомлен о последних усовершенствованиях в его искусстве. Вопреки желанию города Монтобана, с которым Рабье был связан обязательством, губернатор взял его к себе на службу, подарил дом и пятьсот ливров; за это искусный мастер напечатал ему Плутарха – этот древний учебник укрепления воли. Генрих послал маршалу также речи Цицерона – огромный и роскошный том, переплетенный в кожу с тисненным золотом гербом Наварры.

Маршал даже не поверил, что столь редкостная и драгоценная книга посылается ему в подарок, или притворился, что не верит. И отправил книгу обратно, вежливо поблагодарив. Когда Генрих раскрыл ее, он увидел, что одно место подчеркнуто, только одно. Это был перевод из Платона: «Difficillimum autem est in omni conquisitione rationis exordium»[25. – Во всех изысканиях разума самое трудное – это начало (лат.)], то есть просто: труднее всего начать. А посланное врагом, который был старше, это место могло иметь и такой смысл: «Что ты лезешь, проклятый молокосос!»

Генрих, недолго думая, приказывает запаковать еще одну из своих прекрасных книг – трактат о хирургии, и в нем тоже кое-что подчеркивает, а, именно –

цитату из поэта Лукреция. Там в латинских стихах сказано следующее:

Все ближе, ближе мы к могиле.
Придет конец здоровью, силе.
Не знает жалости судьба.

Прочитав эти строки, Бирон выходит из себя и теряет всякое чувство меры. При первом же удобном случае он посылает губернатору отрывок из поэта Марциала, где говорится о волосатости тела. У самого Бирона тело было безволосое и желтое, как у тех, кто страдает печенью. Кого же он хотел уязвить упоминанием о волосатых конечностях? Генрих понял, что миром этого врага не возьмешь: борьбы не избежать. Пользуясь строками еще одной книги, он опять отправил ему послание – на этот раз губернатор говорил устами Ювенала: «Nec facilis victoria de madidis...»[26. – Нелегко одержать победу над пьяными.. (лат.)]

Хотя они потоплены в бокале
И власть вина они теперь познали,
Не думай, что победы ты достиг.

Это была все еще любезность и последняя попытка прийти к какому-то соглашению с наместником. Если они, и тот и другой, в своих намерениях честны – велел передать наместнику губернатор, – то должны доказать это, служа здесь, в провинции Гиеннь, королю Франции с полным единодушием. Вместо ответа маршал Бирон засел в Бордо и укрепил его. А затем стал усиленно распространять слухи, что при первом же случае поймает короля Наваррского и отправит в Париж, где его, мол, ждут с нетерпением, особенно же мадам Екатерина, которая прямо изнывает от тоски по своему дорогому зятю! Однако этого Бирону разглашать не следовало. Генрих заявил, что его враг – просто-напросто хвостун, однако приказал по всей стране ловить его курьеров; даже на самых глухих проселках не должен был проскочить ни один.

И многих переловили, потому что ехали они один за другим. У одного ничего не нашли, кроме сообщения об имевшем место состязании между латинскими поэтами; Бирон изобразил его в виде государственной измены, которую он успешно обнаружил. Хотя стихи и были направлены против маршала, якобы оттого, что он верен королю Франции, – однако утверждалось, что они допускают двоякое толкование: «Придет конец здоровью, силе» могло быть столь же успешно отнесено и к французскому двору. Даже к королю и его дому!

За гонцом, который должен был доставить всего-навсего эту критическую интерпретацию, через несколько часов последовал другой, и поставленная перед ним задача оказалась яснее: теперь речь шла не о красотах стиля, а о нападениях разбойников на больших дорогах, о насилиях, поджогах и убийствах, и во всем этом, гласило донесение, был повинен король Наваррский. Он готов погубить целую королевскую провинцию, чтобы легче завладеть ею. Так писал Бирон; на самом деле он сам совершал все эти злодеяния; и когда Генрих прочел письмо, он увидел совсем в ином свете истинные цели, которые преследовал наместник. Теперь он отнесся к этому человеку гораздо серьезнее. Шутить уже не время. Пора действовать, и нужно ударить так, чтобы Бирон основательно струхнул, это будет ему полезно. Может быть, он тогда на время угомонится. — А когда все минет, мы опять от души посмеемся.

В ответ на эти слова своего государя Агриппа д'Обинье заявил: — А почему бы и не в то время, как мы будем действовать? У меня возникла одна еще неясная мысль... — пробормотал он в сторону. А Генрих решил про себя, что пока враг сидит в неприступной крепости и замышляет вылазки, смешного тут мало. В этот же день ему удалось перехватить еще одного бироновского курьера, и найденное при нем письмо оказалось решающим. Наместник действительно давал королеве обещание поймать короля Наваррского. За его выдачу маршал Бирон требовал себе в личное владение несколько городов — как в провинции Гиеннь, так и в земле Беарн.

Генрих испугался всерьез. Он сидел на краю канавы, небо насупилось, ни окрестности, ни обычные убежища здесь, на родине, уже не сулили ему безопасности, враг угрожал не на шутку. Иметь врага не худо, когда знаешь, кто он: едешь навстречу и бьешь его, первый страх скоро проходит. Но худо, когда вдруг открываются его тайные козни и тебе прямо в лицо дохнет пропасть, о близости которой ты и не подозревал. А из расщелины уже поднимаются удушливые испарения. Глотаешь их, и хочется блевать. — Бирон вымогает у них мои города, — повторял молодой король, сидя на краю канавы.

Когда он поднял голову, то встретился взором с захваченным курьером: тот стоял перед ним, его ноги были связаны.

— Ты же гугенот, — сказал Генрих. Гонец ответил: — Маршал Бирон не знает об этом.

Генрих внимательно посмотрел на него, затем повернул руку ладонью кверху, как человек, у которого нет иного выбора: — Ты ведь согласен и готов предать в мои руки своего господина ради истинной веры? Ты привезешь ему сообщение, и пусть думает, что ты вернулся из Парижа. На самом деле до того дня, когда ты мог бы уж вернуться обратно, ты просидишь в подземелье моего замка в Нераке, и там тебе будет несладко.

Однако парнишка ничуть не испугался и даже мужественно выдержал последовавшие за этим оскорбления. Губернатор стал высчитывать, во сколько обойдется его предательство, если перевести на деньги. Они и будут впоследствии выплачены ему Счетной палатой в По. Потом Генрих ускакал; о подземелье он позабыл, парень был свободен. Но с той минуты он попал под надзор: следили, куда он идет, с кем встречается. А он прятался и хранил молчание, так что в конце концов ему стали доверять. И вот гонец с пустыми руками и одной-единственной фразой, которую должен произнести, снова предстал перед Бироном.

В результате этой фразы маршал действительно отправился к некоей уединенно стоявшей мызе, которая называлась «Кастера», оставил свою маленькую свиту возле кустов и поехал совсем один по степи. Трава в степи поблекла, над ней мчались серые тучи. Маршал любил ветер, поэтому был без шляпы, не надел он и плаща, так как вино его разгорячило. Сидя на своей кляче, такой же костлявой, как и он сам, Бирон хоть и покачивался из стороны в сторону, но падать не падал. Это было всем известно. Те, кто видел его, узнавали по желтой лысине и жесткому взгляду: скелет на шарнирах, постукивающий костями. Буря, степь и — смерть на коне. Тут уж стало не до смеха людям, которых губернатор попрятал неподалеку от дома. Маршал угодил в западню, как того и заслуживал. Если бы он даже повернул теперь коня и поскакал прочь, ничто уже не могло бы его спасти. И вот маршала отделяют всего несколько сот шагов от этого дома, который стоит так уединенно,

на голом месте, а под самой крышей виднеется узкий балкончик.

На балконе появляется что-то. Маршал Бирон сейчас же осаживает лошадь, его жуть берет. Значит, предчувствие не обмануло его. Эта фигура, там, на балкончике, не вышла из дома, — слишком уж внезапно она появилась. Что же, значит, она сидела на полу? Такая высокая особа, как мадам Екатерина? Бирон видит ее совершенно ясно, винные пары никогда не затуманивают ему зрение. Ведь он отлично знает старую королеву, знает это крупное, массивное лицо под вдовьим чепцом. И голос ее слышит — его отличишь среди всех. Агриппа недаром в течение четырех лет изучал эти добродушно-зловещие интонации, он превосходно копирует их.

— Ах ты, мерзавец! — кричит он в степь одинокому всаднику. — Мерзавец, стой там, где ты есть! Что это за безобразие? Пьянствуешь да латинские стихи по всей стране рассылаешь? И за это ты надеешься прикарманить несколько городов и отграбить королевство? Король Наваррский — мой дорогой зятек, и я не стала ждать, пока ты притащишь его ко мне. Лучше, думаю, сама приеду да помирюсь с ним: ведь нет ничего легче, если я привезу с собой красивых баб! Что это еще за история была на мельнице? Где ты тогда пропал? Вместо того чтобы его поймать, валялся пьяный в шинке?

Маршал выслушал эту странную речь до конца. Когда голос умолк, он уже все понял, выхватил пистолет и спустил курок. Но поддельная мадам Екатерина успела благополучно скрыться, и только в стене наверху чернела дыра. Бирон пришпорил было свою клячу, но в эту минуту из-за дома выехал еще один всадник, оказалось, что это губернатор, или так называемый король — молодчик, который не прочь поиздеваться над заслуженными маршалами. Взгляд у старика становится прямо-таки железным. Стиснув зубы, он, не сознавая, что делает, поднимает пистолет. — Хорошо, что в нем уже нет пуль! — вызывающе кричит Генрих. — Вы бы так могли перестрелять весь королевский дом. Я вынужден буду сообщить королеве, что вы целились в нее, господин де Бирон.

Но тот слов не находит от ярости. Наконец он рычит: — Вы подсунули мне

чучело — отвислые щеки, толстый нос из воска, а нутро набили тряпками! Но
будь
там даже настоящая мадам Екатерина, клянусь богом, я не пожалел бы об
этом
выстреле.

— Ну и герой! — подзадоривает его Генрих. — Да передо мной бог Марс
собственной персоной!

— А все-таки города будут моими! — продолжает рычать маршал Бирон. — Вся
провинция будет моей. Король Наварры или Франции — мне все едино, виселиц
на
всех хватит! — Может быть, он и правда крепко сидит в седле и уверенно
смотрит
в будущее; но все-таки он теряет и власть над собой и ясность мысли.

— Негодяй, ты выдал себя! — говорит над его головой знакомый жирный
голос:
на балкончике опять стоит мадам Екатерина и тычет в его сторону пальцем.
Бирон
вдруг содрогается с головы до пят, рывком поворачивает лошадь, мчит
прочь. Но
тут отовсюду выскакивают вооруженные люди, преграждают ему путь,
задерживают
его и не дают приблизиться немногочисленной свите. Начавшуюся рукопашную
останавливает приказ губернатора: — Оставьте, пусть удирает! Теперь мы
знаем,
что это за птица!

Бирон отбыл. Агриппа, наряженный старой вдовой, начинает приплясывать на
балкончике, внизу ее аплодируют, неведомо откуда набежавший народ тоже
пляшет.
Завтра по всей стране будут рассказывать эту историю, и вся страна будет
хохотать, как и мы.

Смех — это тоже оружие. Бирон пока спрячется — на более или менее
продолжительное время, а при дворе станет известно то, что нужно, но не
больше:
насчет балкончика мы умолчим.

Оз, или Человечность

Очередной приступ болезни лишил маршала возможности посылать курьеров в
Париж. Его рвало желчью после того унижения, которому он подвергся на
глазах у
всей провинции и всего королевства, и ему чудилось, что даже до его
постели
докатывается насмешливый хохот. Хотя Генрих и умолчал об этом в своих
донесениях, но при дворе было отлично известно, что маршал Бирон стрелял
в
изображение королевы-матери. И король Франции, которого Бирон
вознамерился

повесить, сначала решил вызвать его в Париж и судить в парламенте. Однако мадам Екатерина убедила своего сына, что если два его врага грызутся, то не надо им мешать. Поэтому против наместника губернатора ничего и не предприняли, а Генриху только наговорили красивых слов.

Все же, пока сбитый с толку Бирон болел, Генриху удалось отплатить ему за многие злодеяния. Губернатору пришлось, увы, допустить даже самые жестокие проявления мести – до того были разъярены его солдаты, видя зверства врагов. Но он сам и его люди представлялись не менее свирепыми тем городам, которые почему-либо сдались наместнику. И с той и с другой стороны достаточно было пустого слуха, чтобы тот, кого этот слух чернил, подвергся свирепой расправе, а она, в свою очередь, вызвала еще более суровые кары. Люди становились тем, за что их принимали, и, все больше ожесточаясь, старались превзойти друг друга в бесчеловечности.

Однажды, когда Генрих ехал из Монтобана в Лектур, ему донесли, что по пути на него готовится нападение из засады; он тут же отправил господ де Рони и де Мейя с двадцатью пятью всадниками, чтобы они очистили опасный горный проход. Когда это было сделано, триста врагов засели в большой церкви с толстыми стенами; пришлось вести глубокий подкоп, и на эту понадобилось двое суток. Когда осажденные сдались, король Наваррский решил было шестерых из них повесить, а остальных отпустить. Однако оказалось, что в данном случае милосердным быть нельзя, ибо вдруг стало известно, что это те самые католики, которые вели себя гнусно в городе Монтобана. Они не только изнасиловали шесть молодых протестанток, но несколько извергов «начинили тела несчастных порохом», подожгли, и шесть прекрасных и благочестивых девушек были взорваны и растерзаны на куски. Поэтому означенных триста пленных безжалостно уничтожили.

Во время этой бойни Генрих поспешил уехать, он прямо бежал. Его охватывало отчаяние, так как о нем шла дурная слава и он вынужден был мараить свое имя только потому, что наместник ни перед чем не останавливался. Бирон же пребывал в уверенности, что города из одного страха не откроют свои ворота перед его врагом. Справедливость губернатора и строгая дисциплинированность его войска, о

которых вначале шла молва, должны были, по замыслу Бирона, перейти в жестокость; да, он избрал наилучший путь для того, чтобы имя Генриха стало столь же ненавистным, как и его. Генрих это понял и, убегая во время уничтожения трехсот пленных, решил отныне поступать иначе, чем его вынуждал заместитель.

Оз принадлежал к числу тех непокорных городков, которые и слышать не хотели ни о каком подчинении и упорно не впускали губернатора. В сущности, противились только старшины да некоторые горожане, у которых было побольше земли и на которых работала беднота. Простой люд был на стороне короля Наваррского, ведь он заходил в хижины бедняков и любил их дочерей. За это любили и его. И бедняки, наверное, открыли бы перед ним городские ворота, но не могли из-за гарнизона, который подчинялся богатым. Сопrotивление бедняков вызывало среди богатых недоверие друг к другу. Каждый заранее обеспечивал себе лазейку на случай сдачи города. Так, аптекарь говорил своему соседу-седельщику: — По секрету, сосед! Ты знаешь, кто поставляет королю Наваррскому сладости? Его аптекарь в Нераке, некий Лалан; а ведь это я продал ему рецепт.

— Сосед, — отвечал седельщик, — в точности так же обстоит дело и с кожаным футляром для королевского кубка. Футляр надо было починить, но никто не должен был знать об этом, ибо в кубок, который не находится под запором, легко можно подложить отраву. И вот придворные короля принесли этот футляр мне, — докончил седельщик уже шепотом.

Вместе с тем один намотал себе на ус секрет другого, который тот неосторожно выболтал, — на случай, если маршал Бирон успеет заявиться до того, как придет король Наваррский; тогда каждый, кроме него самого, будет сурово наказан. Какой-то женщине привиделся во сне ангел, он возвестил ей о прибытии маршала, и она орала об этом на весь рынок. Поэтому ее муж оказался бы в особенно опасном положении, если бы губернатор прибыл раньше. Муж был возчиком и однажды принял в уплату от деревенского трактирщика вексель господина д'Обинье. Ибо в этом трактире когда-то закусьвал король Наваррский; на самый крайний случай вексель мог послужить возчику защитой.

Кое для кого городские ворота все же открывались: поэтому Генрих знал и о

несогласиях среди граждан, и об их страхах. Гарнизон был невелик, после неудач Бирона он считался малонадежным. Губернатор отобрал пятнадцать дворян, которым приказал сопровождать его; поверх панцирей на них были надеты охотничья кафтаны: так легче было проникнуть в город незаметно. Но едва Генрих очутился внутри, как один из солдат крикнул: «Король Наваррский!» – и перерубил канат, удерживавший опускающую решетку. В ловушке оказались пятеро: Генрих с Морнеем, господи де Батц, де Рони и де Бетюн. Тотчас забили в набат, население схватилось за оружие и стало угрожать пятерым отважным молодым людям.

Передовой отряд горожан состоял из пятидесяти человек, король Наваррский двинулся прямо на них, держа в руке пистолет, и одновременно начал говорить, обращаясь к своим четырем дворянам: – Вперед, за мной, друзья и товарищи! – Он говорил не столько для них, сколько для добрых людей – жителей Оза, которых хотел остановить и напугать. – Вперед, за мной! Будем мужественны и решительны, ибо от этого зависит наше спасение! Следуйте за мной и делайте то же, что и я. Не стрелять! – крикнул он особенно громко и как будто все еще обращаясь к своей четверке. – Опустите пистолеты, не цельтесь! – А толпа вооруженных горожан слушала, разинув рот, складную речь этого короля, находившегося в столь великой опасности, и стояла, словно оцепенев. Два-три голоса, правда, крикнули: – Стреляйте в красную куртку! Это же король Наваррский! – Но никто еще не успел опомниться, как Генрих на всем скаку въехал в толпу. От страха она распалась на двое и отступила.

В толпе раздались несколько ружейных и пистолетных выстрелов. Вскоре в тесной улочке началась свалка – это простой народ, любивший короля, накинулся на стрелявших. Те и слегка струсили; еще в начале схватки они вцепились друг другу в волосы, ни один не желал признаться, что стрелял именно он. Генрих спокойно ждал: очень скоро старшины, или, как они назывались, консулы, бросились ему в ноги и загнусавили, точно литанию пели:

– Сир! Мы ваши подданные, мы преданные ваши слуги. Сир! Мы ваши...

– Но вы целились в мой кафтан, – возразил Генрих.

– Сир, мы ваши...

— Кто стрелял в меня?

— Сир! — умолял его какой-то горожанин в кожаном фартуке. — Мне давали чинить кожаный футляр от вашего кубка! В заказчиков я не стреляю.

— Если уж непременно надо кого-нибудь повесить, — посоветовал другой, с перепугу набравшись смелости, — тогда вешайте, сир, только бедняков: их, по нашим временам, развелось слишком много.

Генрих во всеуслышание заявил о своем решении: — Я не отдам города на ограбление, хотя таковы правила и обычаи и вы, конечно, этого заслужили. Но пусть каждый пожертвует беднякам по десять ливров. Сейчас же ведите сюда вашего священника и вносите деньги ему!

Приволокли старика-настоятеля и попытались немедленно всю вину свалить на него. Это он-де внушил жене возчика, будто ангел с неба возвестил прибытие господина маршала Бирона, а не господина короля Наваррского, и только по дурости своей они заперли городские ворота. Они настойчиво требовали, чтобы старец искупил вину города. Если уж не их и даже не бедноту — пусть хоть одного вздернут на виселицу; жители Оза никак не хотели расстаться с этой мыслью. Генрих был вынужден решительно заявить: — Никого не повесят. И грабить тоже не будут. Но я хочу есть и пить.

Этим случаем немедленно воспользовался один трактирщик и накрыл столы на рыночной площади — для короля, для его свиты, для консулов и состоятельных граждан. Генрих потребовал, чтобы поставили стулья и для бедняков. — У них денег хватит, ведь вы же им дадите. — Бедняки не заставили себя ждать, но самому Генриху никак не удавалось добраться до своего места из-за бесконечного множества коленопреклоненных: каждый хотел удостовериться, что его жизнь и его добро останутся в целости. Других-то пощадили, а меня? А меня? Это было полное отчаяния нытье людей, которые никак не могут постичь, что же такое происходит, и глазам своим не верят, хотя и видят, что спасены; воспоминание о том, к чему они привыкли, все вновь и вновь лезет в их одуревшую голову. Да тут можно совсем потерять душевное равновесие, а без него человеку жить нельзя.

Возчик, жене которого привиделся ангел, растерянно топтался на месте и спрашивал каждого: — Что же это такое? — Все настойчивее, чуть не плача, но

жмурясь, словно ему предстало целое воинство ангелов и ослепило его, спрашивал он: — Что же это такое, что тут происходит? — И наконец какой-то коротышка-дворянин в зеленом охотничьем кафтане ответил ему:

— Это человечность. Великое новшество, при котором мы сейчас присутствуем, называется человечностью.

Возчик вытаращил глаза и вдруг узнал господина, чью долговую расписку принял в уплату от трактирщика. Он извлек ее из кармана и осведомился: — Не оплатите ли вы это, сударь? — Агриппа поморщился и повернулся спиной к своему кредитору. А возчик удалился в противоположном направлении и, потрясая руками над головой, стал повторять новое слово, которое он услышал, но никак не мог уразуметь. Оно заставило его усомниться в прочности столь привычного мира долговых обязательств и платежей: да, это слово повергло его в смертельную меланхолию. И на одной из балок своего сеновала он повесился.

А на рыночной площади пировали. Девушки, приятно обнажив руки и плечи, подавали кушанья и вино, и гости горячо их благодарили, ибо перед тем не сомневались, что для них уже настал последний час. В их разговорах мелькало новое, только что услышанное ими слово, и они произносили его вполголоса, словно это была какая-то тайна. Но они с воодушевлением пили за молодого короля, который без всякой их заслуги даровал им жизнь, пощадил их имущество да еще с ними вместе обедает. Поэтому они решили навсегда сохранить ему верность и усердно в этом клялись.

Генрих решил, что он действовал правильно и послужил своему делу. Смотрел он и на людей. И так как ему уже не нужно было завоевывать их, покорять, обманывать, он в первый раз взглянул непредвзятым взором на эти бедные человеческие лица, еще так недавно искаженные гневом и страхом, а теперь такие неудержимо счастливые. Генрих сделал знак своему другу Агриппе, ибо знал, что у того уже готова песня. Агриппа поднялся. — Тише! — стали кричать вокруг. Наконец все затихли. Он запел и каждый стих пел дважды, причем во второй раз все подхватывали в бодром и быстром темпе псалмов:

Конец вам, христиане!
Увы! Спасенья нет.
Вы в темный век страданий,
В годину лютых бед
Поверили в людей,

Средь мрака и смертей.
Стоят повсюду плахи
И виселицы в ряд.
Рыдают люди в страхе.
Отчаянно вопят:
«Других на казнь ведите,
Меня лишь пощадите!»
И вот смешал великий князь земной
Людские добродетели с виной.
Добро ли, зло ли – все поглотит вечность.
Осанна! Воля нам возвращена.
Невинностью искуплена вина.
Виновного прощает человечность.

Высокие гости

События в Озе привели к тому, что маршал Бирон обозлился еще пуще, чем после своего поражения возле уединенной мызы «Кастера». Чтобы укрепить свое влияние, король Наваррский применял явно недозволенные средства – наместник всегда их осуждал, – уже не говоря о том, что, по мнению старика, этому проньре не следовало бы пользоваться никаким влиянием. И теперь Бирона грызла мучительная зависть. Его письма в Париж давно были полны жалоб на популярность молодого человека и на его безнравственность. Но после захвата Оза в них слышалось прямо-таки смятение. Генрих-де пренебрег законами войны, он не стал ни грабить, ни вешать; больше того, он подрывает самые основы человеческого общества, ибо пирует за одним столом с богатыми и бедными, без разбору.

Пока в этой провинции царил лишь смута, королеве-матери было в высокой степени наплевать, но теперь она узнала из особых источников, не только через Бирона, что города, один за другим, переходят на сторону губернатора. А этого она уже допустить не могла. И она решила заявиться туда собственной особой, чтобы не случилось чего похуже.

Мадам Екатерина понимала, что должна хоть жену-то привести своему зятю. Обе королевы были в пути от второго до восемнадцатого августа, когда они наконец прибыли в Бордо, под защиту маршала Бирона. Их сопровождала целая армия дворян, секретарей, солдат, уже не говоря о неизменных фрейлинах и прекрасных придворных дамах, среди которых была и Шарлотта де Сов. Последнюю пригласили

вопреки воле королевы Наваррской, но по приказу ее матери.

Следование этого пестрого поезда совершалось, как и всегда, с большой торжественностью, которую, правда, нарушали всевозможные страхи. На юге, неподалеку от океана, ждали, что вот-вот нападут гугеноты; иной раз останавливались прямо в поле — повозки, солдаты конные, пешие.

Вооруженная

охрана окружала кареты королев. Тревога оказывалась ложной, и все двигалось

дальше с гамом и гиканьем. Зато можно было покрасоваться и блеснуть при каждой

большой остановке. В городе Коньяк Марго пережила один из своих самых шумных

успехов: дамы из местной знати глазели на ее роскошные туалеты, потрясенные и

ошеломленные. Над далекой провинцией возшла звезда — стыд и срам двору в Париже, который осиротел и лишился своего солнышка. Так говорил один из путешественников, некий господин де Брантом. Для него самого, конечно, было бы

лучше, имей он такую же статную и мощную фигуру, как хотя бы у господ Гиза,

Бюсси, Ла Моля. Маргарита ценила это выше, чем вдохновение.

Ораторствовать она

и сама умела: при въезде в Бордо, превратившемся в настоящий триумф, она отвечала величаво и изящно всем, кто ее приветствовал. И прежде всего — Бирону.

Помимо всех других своих должностей, он занимал пост мэра Бордо, главного города провинции; и как раз Бордо до сих пор не впускал к себе губернатора.

Генрих попросту отказался встретиться там с королевами. Начались переговоры,

они тянулись около двух месяцев. Наконец Генрих добился согласия на то, чтобы

обе стороны встретились на уединенной мызе «Кастера» — той самой, где Бирон

опозорился и вся окрестность еще была полна разговорами об этом. Маршал не

решился показаться там. Генрих же прибыл в сопровождении ста пятидесяти дворян

верхами, и их вид вызвал у старой королевы не только изумление, но и тревогу.

Тем любвнее уверяла она зятя в своих чувствах, которые-де сплошное миролюбие.

Она дошла даже до того, что назвала его наследником престола —

разумеется, после смерти ее сына д'Алансона; но и он и теща отлично знали, какая

всему этому цена.

Затем они сели в одну карету — бежавший пленник и убийца его матери и его друзей. И неумоимо изъяснялись друг другу в любви, пока не доехали до местечка

Ла-Реоль, где можно было наконец закрыть рот и расстаться. Генрих с Марго

остановились в другом доме. Теперь он уже ничего не говорил, а только смотрел отсутствующим взглядом на пламя свечей, издавая какие-то нечленораздельные звуки и совершенно позабыв о том, что за его спиной раздевается одна из прекраснейших женщин Франции. Вдруг доносится приглушенное всхлипывание, он оборачивается и видит, что полог на кровати задернут. Он делает к ней один шаг, сейчас же отступает и проводит ночь в кресле. Успокоился Генрих только позднее, когда схватка с Бироном осталась уже позади.

Маршал не заставил себя ждать. Едва обе королевы отъехали от «Кастера» на достаточное расстояние, как он заявился при первой же остановке. Генрих не дал ему даже докончить приветствие и сразу же накинулся на него. В комнате находились обе королевы и кардинал Бурбонский, дядя Генриха, которого прихватили с собой, чтобы вызвать у короля Наваррского больше доверия. Все оцепенели от этого выступления молодого человека и настолько растерялись, что вовремя не остановили его. С первых же слов Генрих назвал маршала Бирона предателем, который заслуживает того, чтобы ему голову отрубили на Гревской площади. Затем посыпались обвинения, он предъявлял их не из зависти, это чувствовалось; он говорил от имени королевства, которое защищал, говорил уже с высоты престола; слыша это, старая королева еще больше позеленела.

Когда Бирон хотел ответить, язык ему не повиновался. Жилы на висках, казалось, вот-вот лопнут. Он хрустнул пальцами. Взгляд его выпученных глаз упал случайно на старика-кардинала. Генрих тут же воскликнул: — Все знают, что вы человек вспыльчивый, господин маршал. Конечно, вспыльчивость — хорошая отговорка. Но если, скажем, вам вздумается выбросить в окно моего дядю-кардинала, такая дерзость вам не проедет. Нет! Прогуляйтесь-ка лучше на больших пальцах вокруг стола и успокойтесь.

Теперь это уже не были речи с высоты престола, — просто острил всем известный шутник. Затем Генрих схватил руку своей Марго, поднял ее до уровня своих глаз, и оба изящной походкой вышли из комнаты.

За дверью они поцеловались, как дети. Марго сказала: — Теперь я знаю, какая у вас была цель, мой дорогой повелитель, и наконец-то я опять чувствую себя счастливой женщиной. — В ближайшее время выяснилось, что она крайне нуждалась в их воссоединении. — Если женщина одна, дорогой Генрих, что она может сделать?

Когда ты бежал из замка Лувр, ты захватил с собой половину моего разума.
Я
пустилась в нелепые предприятия и была глубоко унижена. — Он знал, что
она
разумее: свою неудавшуюся поездку во Фландрию, гнев ее брата-короля и ее
пленение. — Да, моя гордость была очень уязвлена. И когда города твоего
прекрасного юга принимают меня, словно я какое-то высшее существо, мне
трудно
не считать себя за странствующую комедиантку.

Она зашла слишком далеко в своей печали и была столь неосмотрительна, что
не
удержала слез; они потекли по набеленным щекам, и Генриху пришлось
осторожно
снимать их губами.

Их разговоры, нежности, обоюдное умиление продолжались во многих городах.
Пестрый поезд королев посетил еще немало мест; Генрих не сопровождал его,
он
появлялся в нем лишь между двумя охотами. Благодаря этому он избежал
немало
тягостных разговоров с тещей относительно совещания представителей от
протестантов. Ведь свобода совести — ее кровное дело, уверяла мадам
Екатерина.
Она приехала сюда лишь ради одной цели — чтобы посоветоваться с
руководителями
гугенотов относительно выполнения последнего королевского указа о свободе
вероисповедания. Но Генрих знал, что такие указы на самом деле никогда не
приобретают силу закона и не успеет кончиться совещание, как опять
вспыхнет
очередная религиозная распря. Однако некоторые из его друзей смотрели на
дело
иначе, особенно Морней. Поэтому Генрих согласился принять участие в
выборе
города. На беду, он выбирал каждый раз не тот, который намечала его
дорогая
теща. Лишь вечером присоединялся он к путешественникам, когда они делали
привал; затем очень скоро уходил с королевой Наваррской, и так как он
дарил ей
счастье, то она ему многое поведала. Это давало ей душевное облегчение, а
Генриху было полезно узнать то, что она открывала ему.

Ее ужасал царивший в королевстве произвол. Здесь, на юге, если сравнишь,
просто мирная жизнь! Произвол и самоуправство ведут королевство к гибели.
Вместо короля всем распоряжается Лига. — Пусть мой брат-король ненавидит
меня,
но он остается моим братом, а я — принцессой Валуа; и чем меньше он
помнит, что
должен быть королем, тем меньше я имею право забывать об этом. Гизы нас
свергнут, — добавила она, стиснув зубы, побледнела и стала похожа на
Медею.
Супруг готов был поклясться, что никогда больше не будет она спать с
герцогом

Гизом, разве только чтобы, как Далила, остригшая Самсона, лишить его белокурой бороды.

Пальцы Марго перебирали волосы на подбородке ее возлюбленного повелителя. Ей нравилось его лицо, которое стало серьезнее. Долго разглядывала она его, обдумывая что-то, колеблясь, и наконец изрекла:

— Ты ведешь в этой провинции незаметную жизнь. Я хочу разделить ее с тобой, мой государь и повелитель, и буду счастлива. Но некогда настанет день, и ты вспомнишь, что тебе суждена более славная участь... и... что ты должен спасти мой дом, — закончила она вдруг, к его великому изумлению.

До сих пор ее мать и братья видели в нем лишь вруна, который стремится отнять у них власть раньше, чем она достанется ему по наследству. Слияние их тел открыло глаза принцессе Валуа скорее, чем всякий иной путь, которым один человек испытует другого. Пока она была с ним, она ему доверяла, потом — уже нет. Да и как она могла доверять? Ведь именно ей было суждено отомстить за вымирание ее дома наследнику этого дома и еще раз предать Генриха до того, как наконец из всего ее рода она одна осталась в живых. Марго была бездетной, как и ее братья. Всю жизнь последняя принцесса Валуа добивалась равновесия и уверенности счастливых, спокойных за свою судьбу; она была совершенно равнодушна к тому, что произойдет после нее. Поэтому всегда чувствовала себя беспокойно. Вместе с нею должно было кончиться нечто большее, чем она сама; и тщетно искала Марго душевного равновесия.

В городе Оше их супружеская идиллия была однажды грубо прервана. Недаром мадам Екатерина таскала за собой своих фрейлин. В одну из них влюбился некий пожилой гугенот, весь в ранах, даже во рту у него было несколько ран, так что он едва мог говорить; и вот ради этой девчонки он уступил католикам свою крепость. Генрих сначала в почтительных выражениях довел до сведения своей дорогой тещи, какого он мнения о ее мелких подвохах. Себя он причислял к слугам короля, а старую злодейку — к тем, кто вредит королю. Выговорить это вслух — и то облегчение. Но так как старуха прикинулась, будто впервые слышит о предательстве коменданта, то Генрих вежливо простился, сел на коня и уехал, попутно захватив в виде залога еще один городок. Так эти двое дразнили друг

друга, пока наконец не сошлись на том, что совещание протестантов соберется в Нераке.

Тем временем уже наступил декабрь, ветер кружил опавшие листья – неподходящее время года для торжественных выездов. Однако королева Маргарита Наваррская ехала на белом иноходце – этом коне сказочных принцесс. По правую и по левую руку от нее шли, играя, два других иноходца, золотисто-рыжий и гнедой, один – под Екатериной Бурбон, другой – под ее братом Генрихом, который пышно разоделся в честь своей супруги. У старой мадам Екатерины было не такое лицо, чтобы народ разглядывал ее на слишком близком расстоянии, особенно под этим ясным небом; она смотрела в окно кареты. Несравненная Марго, сияя спокойствием и уверенностью, слушала, как три молодые девушки что-то декламируют. Они изображали муз и в честь королевы вели между собой беседу, которую сочинил для них поэт дю Барта. Первая говорила на местном протонародном наречии, вторая – на литературном языке, третья – на языке древних. Марго поняла то, что говорилось по-латыни и по-французски, из сказанного на гасконском кое-что от нее ускользнуло. Но она чувствовала, чего именно ждет от нее собравшийся здесь народ: сняла с шеи роскошно затканый шарф и подарила его местной музе. И вот она уже покорила сердца, да и ее сердце забилось горячее.

Мадам Екатерина зорко все разглядывала в этой сельской столице. Ее прежний королек прямо из кожи лез, чтобы принять королев и их свиту как можно лучше, насколько позволяли его средства, и угощал всем, чем только мог. По крайней мере он делал вид, что рад им. И еще непригляднее, чем всегда, показались ей протестантские представители на совещании, когда оно наконец началось. Все они, по мнению мадам Екатерины, были похожи на пасторов или на неких птиц, которых она тут не хотела даже называть. Для виду обсуждался вопрос о смешанных судах с участием заседателей-протестантов и о прощении прежних провинностей. Но, в сущности, за всеми этими переговорами стояло, как всегда, одно – гугенотские крепости. Протестанты требовали себе слишком много этих крепостей, а старая

королева охотно отобрала бы у них все. Она выучила и произнесла перед своими дамами целую речь, составленную из одних библейских цитат, надеясь заморочить этим людям голову с помощью привычных для них речений. Но ее собственный облик и ходившая о ней слава были в глубоком противоречии с тем, что изрекали ее уста. И впечатление она производила очень странное.

На заседаниях протестанты не верили ни одному ее слову и сидели с упрямыми и непроницаемыми лицами, пока она не стала угрожать им виселицей. А королева Маргарита невольно расплакалась; она так искренне жаждала быть любимой, и опять ей становилась поперек дороги ее зловещая мать, которую иные находили даже комичной, особенно когда она появлялась под открытым небом и среди бела дня. В зале заседаний она сидела на высоком троне, это еще куда ни шло. Но, выйдя из дома, казалась маленьким пятнышком на фоне светлого пейзажа; она ковыляла, согнувшись над своей клюкой, и ее желтые отвислые щеки мотались; и тот, кто еще не забыл Варфоломеевской ночи — и, может быть, ни разу с тех пор не засмеялся, — начинал неудержимо хохотать, глядя на это чудовище. Да и фрейлины, в сущности, только подчеркивали ее уродство. Здесь ведь не Лувр и свет солнца почти никогда не затуманивается, он ярко озаряет оба берега Баиза и парк «Ла Гаренн». Здесь войну ведут открыто и без коварства, так же и любят. Но старуха рассчитывала на тайные бездны пола. Старость заключает постыдный союз с пороком и становится посмешищем.

Даже самые строгие блюстители нравов среди гугенотов не порицали в те дни Генриха за то, что он путался с иными легкодоступными фрейлинами. Ведь его Марго не слишком страдала от этого, она была упоена своей новой ролью — государыни и матери народа, а также высшего существа. Главное, что Генрих попросту брал то, что ему предлагали, но натягивал нос красавицам, когда они старались увлечь его и заманить к французскому двору. А только ради этой цели и затеяли все: поездку, совещание, визит высоких гостей; только ради нее — Генрих это почуял сразу. Под конец теща была принуждена самолично выложить ему свои доводы в пользу его приезда. Ее сын-король сидит-де теперь в своем Лувре один,

как перст. Его брат д'Алансон восстал против него, Гизы и их Лига подкапываются под его престол. Но не менее опасен и принц крови, если он, постепенно отдаляясь от французского двора, сделался столь силен в своей провинции. Неужели Генриху невдомек, что ведь его могут и укокошить? Это был главный козырь его дорогой тещи: она хотела застрашать зятя убийцами.

Все же он не упал в ее материнские объятия, но отвечал, что ведь при дворе еще не сдержали до сих пор ни одного обещания. Он надеется, что, оставаясь губернатором, сможет распространить отсюда мир на все королевство, о служении которому он только и помышляет. После этого они вскоре распрощались с теми же неумеренными изъявлениями любви, что и при встрече в начале высочайшего визита. А продолжался он всю зиму, пока не настал чудесный месяц май. Дочь и сын немножко проводили свою милую матушку, дальше она путешествовала одна — по скверным дорогам, по холмам и долинам, через провинцию с ненадежным населением. В одном месте старую королеву встречают девушки и осыпают ее розами, из другого ей приходится спешно улепетывать, видя неприязнь всех жителей. Тогда она просто надвигала на лицо черную фетровую шляпу. Ведь она тоже была храбрая, все храбры; решительно пересаживалась с коня в свою колымагу и, трясясь по рытвинам и ухабам, проповедовала только мир. Но о каком мире говорила эта мать, чьи сыновья умирали один за другим?

И когда она уже меньше всего этого ждала, снова вынырнул из-за поворота ее дорогой зять. Он-де хочет в последний разок взглянуть на нее и подарить ей на память прядь своих волос. Это была густая прядь, протестанты обычно закладывают по одной такой пряди за каждое ухо. Правую он с самого начала отдал своей дорогой теще; на прощание пусть отрежет у него и левую. Все это происходит неподалеку от сельского погоста, и мадам Екатерина, расчувствовавшись, решает пойти туда. — Маловато у вас кладбище. — Она качает головой. — Разве люди живут так долго? — Перед некоторыми могилами она останавливается. Бормочет: — Как им тут хорошо! — Люди, лежащие под землей, ей милее. Там наступит мир — наступит даже у нее в душе.

Позднее, уже будучи королем Франции, Генрих спустится в склеп Екатерины Медичи — приготовленный еще при жизни мадам Екатерины, — поглядит на ее гроб и,

обернувшись к своей свите, скажет с загадочной улыбкой, смысл которой никто до конца не поймет. Он скажет: — Как ей тут хорошо!

Moralité

Il a choisi de combattre: s'est-il bien demandé ce que combattre veut dire? C'est surtout endurer, sans les mépriser, des peines multiples, très souvent perdues ou d'une portée infirme. On ne commence pas dans la vie par livrer de grandes batailles decisives. On est déjà heureux de se maintenir, à la sueur de son front, tout au long d'une lutte obscure et qui chaque jour est à recommencer. En prenant pierre à pierre des petites villes récalcitrantes et une province qui se refuse, ce futur roi fait tour à fait figure de travailleur, bien que son travail soit d'un genre spécial. Il lui faut vivre d'abord, et pauvre il paie en travail. C'est dire qu'il apprend a connaître la realité en homme moyen. Voilà une nouveauté considerable: le chef d'un grand royaume et qui sans lui irait en se dissociant, debute en essayant les misères communes. Il a des ennemis et des amours pas toujours dignes de lui, ni les uns ni les autres, et qu'il n'aurait certainement pas en faisant le fier.

Cela pourrait très bien le rendre dur et cruel, comme c'est généralement le cas pour ceux qui arrivent d'en bas. Mais justement, lui ne vient pas d'en bas. Il ne fait que passer par la condition des humbles. C'est ce qui lui permet d'être généreux et de se réclamer de tout ce que dans l'homme il peut y avoir d'humain. D'ailleurs l'éducation reçue pendant ses années de captivité l'avait preparé à être humaniste. La connaissance de l'interieur de l'homme est bien la connaissance la plus chèrement acquise d'une époque dont il sera le prince. Attention, c'est un moment unique dans l'histoire de cette partie du monde, qui va s'orienter moralement, et même pour plusieurs siècles. Ce prince des Pyrenées en passe de conquerir

le royaume de France, pourrait écouter les conseils d'un Machiavel: alors, rien de fait, il ne réussira pas. Mais c'est le vertueux Mornay qui le dirige et même qui le soumet a des épreuves qu'un autre ne tolérerait pas. Les secrets honteux de la personne la plus venerée, voyez Henri y être initié et en souffrir en silence: vous aurez la mesure de ce qu'il pourra faire pour les hommes.

Почение

Он избрал путь борьбы: но спросил ли он себя, что означает этот путь? А означает он прежде всего — готовность выносить, не уклоняясь от них, многие страдания, зачастую либо напрасные, либо почти бесполезные. В жизни не начинают с больших и решающих битв. Уж и то хорошо, если в поте лица своего ты выдержишь бой, исход которого не ясен и который надо каждый день начинать сызнова. Камень за камнем овладевая непокорным городом, а затем целой южной провинцией, наш будущий король воистину подобен труженику, но труд у него — особый. Ему прежде всего надо жить, он беден и потому трудится. Вследствие этого он познает действительную жизнь, как ее познает обычный человек. И это поразительное новшество: государь огромного королевства, которое без него распалось бы, начинает свой путь с обычных человеческих лишений. У него есть враги и любовные связи, и те и другие не всегда его достойны, и, конечно, их не было бы, держись он гордецом.

Это могло бы сделать его черствым и жестоким, как зачастую бывает с теми, кто вышел из низов. Но он-то не вышел из низов. Он лишь познал, что такое унижение. И это делает его великодушным и помогает обращаться к тому, что есть в человеке самого человеческого. Впрочем, воспитание, полученное им в годы плена, подготовило его к тому, что он стал гуманистом. Знание человеческой души, давшееся ему так нелегко, — это самое драгоценное знание эпохи, в которую он будет государем. Обратите внимание — оно, в своем роде, явление единственное в истории нашей части света! На него будут морально опираться многие, и даже в течение нескольких веков. Этот принц из Пиренеев, стремящийся завоевать французское королевство, мог бы внять советам какого-нибудь Макиавелли: тогда —

провал, ничего бы ему не удалось. Но им руководит добродетельный Морней и даже подвергает своего короля таким испытанием, каких другой не стал бы терпеть.

Итак, Генрих посвящен в постыдные тайны наиболее почитаемой особы и молча страдает: вот образец того, что он способен будет сделать для людей.

VIII. Дорога к престолу

Все изменится

Сначала многое еще не ладилось. Состоялся торжественный въезд царственных супругов в их столицу По; но вскоре выяснилось, что тут была допущена ошибка.

Марго пришлось терпеть немалые обиды от ревностных гугенотов за то, что она ходила к папистской обедне. И она решила раз навсегда, что больше в По ее ноги

не будет. Кроме того, король Наваррский влюбился там в одну из камеристок Марго, что было ей гораздо неприятнее, чем когда он имел дело только с фрейлинами матери. Однако все обошлось, так как с Генрихом вновь случился его

обычный приступ слабости и необъяснимой лихорадки. Головная боль не оставляла

больного ни днем, ни ночью, он требовал, чтобы его то и дело перекладывали с

кровати на кровать, чтобы ему непрерывно освежали голову и говорили ободряющие речи.

Конечно, он терпит, он храбр, все храбры. Многие выдерживают, когда им отнимают ногу, и они притом находятся в полном сознании. Да любой офицер, если

он уже не может пользоваться своей ногой, сам настаивает на том, чтобы ее отняли

и, привязав деревяшку, опять будет служить королю Наваррскому. Все это пустяки.

Нестерпимо другое: внутреннее шатание, исчезновение естественной для человека

уверенности в себе и страх, страх.

Заболел он в Озе, где некогда благодаря своей отважной стремительности спасся от смертельной опасности и где он дерзнул на смелое новшество, выказав

себя человеком. Именно там он пролежал семнадцать дней в постели, решив, что он

теперь повержен, отринут, уничтожен, не способен завершить труды и деяния,

которые привык считать себе по силам. Обычно они настолько казались ему по силам, что он предавался, сверх того, еще чрезмерным наслаждениям и истощающим страстям. Зато самый выносливый, человек лежит иногда как сраженный, отрекается от себя, и нужно, чтобы другой в него поверил, если это еще возможно. Этим другим и оказалась Марго, его поистине верная жена, сколько бы еще любовников она себе ни завела... Все время, что он болел, она не раздевалась, ночи напролет сидела возле него, ободряла его и гнала прочь бредовые страхи. Потом, уже оправившись, он сказал слова, которых от него еще никто не слышал: — Это предрешено свыше. — Что именно, — знали только он да жена. Оба поняли это совершенно ясно после тех ночей, проведенных в Озе.

Пребывание в этом городе, столь насыщенное скрытым смыслом, сделало их наилучшими друзьями... По возвращении в Нерак королеве Наваррской было предоставлено завести себе двор по своему желанию, и даже сделать из своего повелителя изысканного молодого щеголя, кем он и становился не раз, когда того требовали обстоятельства. Теперь он был им в течение десяти месяцев, носил самые дорогие одежды из Голландии бра из Испании, сплошь бархат да шелк, пурпур да золото. Своей королеве он закупил одних вееров десять штук; один сверкал ярче другого. Доставал ей душистую воду, самые роскошные платья и даже перчатки, сделанные из цветов. Держал для нее карликов, чернокожих пажей, птиц «с островов». У нее была в парке «Ла Гаренн» своя часовня, где она слушала обедню; потом устраивались приемы под колеблющимися кронами деревьев; там была музыка, были стихи, были танцы, служение прекрасным дамам, и в прозрачном воздухе парка все казалось проникнутым какой-то светлой и стройной простотой. В те дни в Нераке, под колеблющимися кронами деревьев, придворные изысканно томились и безрассудно мечтали. Очень ясным было небо, серебряным его свет, и кроткими были вечера...

Души размягчались: пусть оружие ржавеет без употребления. Генрих самолично сделал полный перевод записок Цезаря о войне с галлами, а также о гражданской войне. Перья он получал из Голландии, чернила из Парижа, бумагу золотил его камердинер. Он любил, чтобы у книг были роскошные переплеты; он уже тогда приказывал украшать их, когда сам ходил еще в поношенной куртке. Он всегда требовал для духа прекрасной формы: в письмах, распоряжениях и даже в песнях,

которые впоследствии пели по его желанию солдаты во время битв, он выказывал себя тем лучшим писателем, чем больше учился великим деяниям; одно совершал он ради другого, да выразительное слово так же рождается из души, как и прекрасное деяние.

В эти несколько месяцев он и держался и чувствовал себя, как будто он — человек вполне сложившийся, бесспорный наследник своих владений, мира и счастья, а ведь этого на самом деле не было, и радостное сновидение кончалось вместе с парком «Ла Гаренн», за оградой которого начинались поля. И все-таки — как он был счастлив, что может хоть на некоторое время сделать свою Марго повелительницей придворных и галантного короля — это был он сам, — что от него в ее честь пахло благовониями и что его зубы были позолочены. К тому же он выписал сюда для нее из замка в По красивейшую мебель и серебряную посуду; сама Марго во время посещения замка нашла там старинные арфы: быть может, в старину другие дамы своей игрой на них облегчали душу, так же как теперь Маргарита Валуа, которая никогда еще за свою бурную жизнь не знала, что такое равновесие, и лишь здесь обрела его.

Она не раз с недоумением проводила рукой по лбу. Как, до сих пор ни одного отравленного, ни одного заколотого кинжалом? Никто меня не сечет, и даже мои страсти не беспокоят меня? Мне не надо ни спускать моего брата д'Алансона на веревке из окна, ни самой искать приключений? Унижения, притворство, эти ужасы вокруг меня, это мучительное томление во мне самой — неужели все миновало? Нет, я в самом деле здесь. Она провела по лбу своей чудесной рукой: он уже снова был ясен, и королева этого двора шла танцевать с чинными дворянами и фрейлинами, которые держались удивительно пристойно. Певуче звучала музыка, пламя свечей чуть колебалось от легкого ветерка, веявшего в открытые окна; мягкой были эта музыка, свет, ветерок, мягкими были сердца и лица. Танцы и благосклонность ко всем, Марго коротает долгую ночь слегка влюбленная, неизвестно в кого. Она могла бы каждому подставить губы для поцелуя, но целует она только своего повелителя.

То же испытывают все при Наваррском дворе, даже сестра короля, а она ведь такая строгая протестантка. И хотя она слегка прихрамывает на одну ногу,

молодая Екатерина учит молодого Рони новому танцу, и все завидуют этой чести. Она даже на время забывает о своей единственной страсти, не вспоминает про кузена в его лесу и, заглушив укору совести, разрешает легкомысленному Тюрёну ухаживать за нею, точно это пустяки, мелочь. Ведь и ее дорогой брат Генрих живет и любит как хочет, будто так и нужно. Но долго это продолжаться не может.

Первый

Оправившись после приступа печени, Бирон стал злобствовать сильнее, чем когда-либо; он решил, что бдительность губернатора усыплена, и изо всех сил старался оклеветать его перед королем Франции. Канцелярия Наварры и Филипп Морней только тем и были заняты, что опровергали его доносы. Становилось ясно, что скоро уже нельзя будет продолжать эту распрю с помощью одной только переписки. Королева Наваррская взяла на себя часть забот о его судьбе. Если женщина в первый раз за всю свою жизнь по-настоящему счастлива, а у ее возлюбленного повелителя есть враги, — чем может она ему помочь в борьбе с ними? Она открывает ему все, что ей удастся выведать, она становится необходимой ему.

И если король Франции, в уединении своей комнаты, будто бы высказывался пренебрежительно о своем зяте Наварре, это тут же становится известным Марго; а когда у нее не было свежих новостей, она что-нибудь придумывала. Она ненавидела своего брата-короля, он всегда только обижал ее; поэтому надо было восстановить против него и Генриха. Ведь ее тоже задевают те оскорбления, которые наносятся ее повелителю. Герцог Гиз позволял себе издеваться над ним, даже ее дорогой братец д'Алансон участвовал в этих насмешках, и все это происходило у госпожи Сов, а ведь когда-то Сов считалась ее подружкой. Марго видела перед собой лукавую усмешку коварной фрейлины, и тем труднее ей было повторить самой сказанные там слова, особенно — прямо в лицо своему повелителю.

Среди ее фрейлин была одна совсем юная, почти девочка, и глубоко ей преданная, а именно Франсуаза, из дома Монморанси-Фоссе. Ее прозвали Фоссезой, Генрих называл ее «дочкой», в угоду ему начала ее звать так и Марго, хотя знала, что Генрих питает к Фоссезе не совсем отеческие чувства. Ибо юная

фрейлина рассказывала все своей глубоко чтимой королеве, а если и не все о том, как ее пытаются совратить, то описывала самым подробным образом, как она сопротивляется. Это робкое создание Марго и посылала к нему с самыми рискованными сведениями: произнесенные детскими устами, они должны были возмущать его тем сильнее. Короче говоря, в замке Лувр над ним смеются из-за того, что он до сих пор не смог завладеть приданым своей супруги, а в том числе и несколькими городами в его собственной провинции Гиенни. Бирон держал ворота этих городов на запоре. — Дорогой мой государь! — говорила робкая девочка, преклоняя колени перед Генрихом и с мольбой воздевая руки. — Возьмите же, наконец, приданое королевы Наваррской! Покарайте, пожалуйста, гадкого маршала!

Он и сам решил это сделать, но остерегался открывать свои намерения женщинам. И даже когда его войска уже были стянуты и готовы к походу, он не выдал себя ни единым словом и провел последнюю ночь перед выступлением в спальне своей королевы. Потом ускакал, держа розу в зубах, словно ехал на турнир, или на веселое состязание. Если его план не удастся, Марго не будет по крайней мере нести никакой ответственности и не пострадает. Все его дворяне были бодры и веселы, как и он; опять наступил май, и все они были влюблены и называли этот поход походом влюбленных. Д'Обинье и даже трезвый Рони уверяли вполне серьезно, что город Каор следует штурмовать хотя бы из одних рыцарских чувств к дамам. Генрих открывался лишь тому, кто сам способен был его разгадать: а это мог только Морней. Все дело в том, чтобы на всех путях и дорогах стремиться к одной и той же цели и, невзирая на изменчивость людей и явлений, оставаться верным внутреннему закону. Но этому не научишься. Это должно в нас жить: оно идет из далей былого и уводит в дали грядущего. Целые столетия видит перед собой господь, когда смотрит на подобного человека. Поэтому Генрих столь спокоен и столь загадочен, ибо ничто не делает человека таким таинственным и непостижимым, как внутренняя твердость.

Было жарко, в виду города, который предстояло взять приступом, войско сначала утолило жажду из родника, бывшего в тени орешника. Затем все принялись за работу, которая была нелегкой. Город Каор с трех сторон окружали воды реки По, и гарнизон защищал его именно оттуда, ибо с четвертой стороны и подойти было страшно — столько препятствий возвели на подступах к стенам; они не давали даже подобраться к городским воротам. Однако два офицера из войска

короля Наваррского – мастера по части подрывов – тайно осмотрели инженерные сооружения; маленькие чугунные ступки набивали порохом, приставляли вплотную к препятствию и поджигали фитиль. В одиннадцать часов вечера, пользуясь тем, что небо затянулось грозowymi тучами, войско незаметно вступило на укрепленный мост, который никем не охранялся. Впереди шли оба офицера с подрывными снарядами. При их помощи были уничтожены все заграждения, поставленные на мосту, в городе взрывов не слышали – их заглушали раскаты грома. Несколько отступя, чтобы не попасть под летящие обломки, следовали пятьдесят аркебузирова, затем Роклор с сорока дворянами и шестьдесятю гвардейцами, а за ними король Наваррский вел главные силы, состоявшие из двухсот дворян и тысячи двухсот стрелков.

Ввиду того, что это было дело новое, ворота удалось взорвать лишь частично. Несколько солдат проползли в образовавшуюся брешь и уж потом расширили отверстие с помощью топоров; от этих ударов жители города проснулись и стали звать своих защитников. И вот весь город вооружается, гудит набат, и в темноте, над головами штурмующих, проносятся всевозможные метательные снаряды – кирпичи, булыжники, факелы, поленья. Слышен лязг, звон и скрежет ломающегося оружия. «Бей!» – доносятся крики, но глотки уже хрипят, задыхаясь. В тесноте противники схватились насмерть. Четверть часа продолжается рукопашный бой, и нападающие вот-вот проиграют его, но тут появляется Тюрен, он ведет еще пятьдесят дворян да триста стрелков, и с их помощью король Наваррский проникает в самый город...

Однако дальше он не двигается. Впереди – большое здание, в нем засели все защитники и удерживают наступающих в почтительном отдалении. Тем временем рассвело, войско Генриха тоже заняло дома. Солдатам было запрещено грабить, король Наваррский грозил за это расстрелом, и действительно нескольких солдат расстреляли. Всю ночь у его людей маковой росинки во рту не было, и спать пришлось стоя; рядом с ними на окнах лавок лежало их оружие и доспехи. Солдат ждало новое утро и новый тяжелый ратный труд: надо пробиваться вперед через дворы и улицы, пока не останется десять шагов до самой крепости. Но не продвинулись они дальше и в этот день, а потом снова наступила ночь. Третий

день грозил наибольшей опасностью, ибо к осажденным должно было подойти подкрепление, и следовало любой ценой не допустить отряд до города и уничтожить его. Еще один день ушел на подготовку штурма, а на пятый, когда крепость наконец пала среди грохота и дыма, наступающим пришлось преодолеть в самом городе, одну за другой, четырнадцать баррикад.

Так был взят Каор и выполнена исключительно тяжелая задача. Ее, без всякого толку и смысла, еще затрудняли упрямые жители – просто из ненависти к противной партии и лишь затем, чтобы король Наваррский не стал еще сильнее. Именно потому успех этого дела принес Генриху больше славы, чем он заслуживал. Победа была одержана не над гарнизоном одного города, а над самим маршалом Бироном и другими врагами, и победа решительная, несмотря на все ответные удары, которые, конечно, тоже воспоследовали. Но, когда Генрих совершил нападение на самого маршала, оказалось, что он еще недостаточно силен, пришлось бежать до самого Нерака; под выстрелами он промчался на коне по роскошной парадной лестнице своего замка среди войск, которым надлежало схватить его, и ускакал.

Ноги у него были изранены и кровоточили. В Нераке Марго приходилось менять простыни, если он пролежит с ней хоть четверть часа, – в таком состоянии было его тело. Но дух его не знает трудностей, он легок и стремителен, как всегда. И Генрих ведет свое войско – пусть его называют просто бандой – из принадлежащих ему областей на север, где протестанты приветствуют его новую славу и только ждут его, чтобы восстать самим. Двор в Париже узнает об этом и спешит отозвать Бирона.

Замысел как будто удался. Поэтому и герцог Алансонский, ныне герцог Анжуйский, немедленно предложил свои услуги удачливому зятю, поспешил на юг, заключил с ним мир и дружеский союз. Непримирымь остался лишь Конде, некогда любимый кузен Генриха. Но трудно примириться с тем, что ты всю жизнь остаешься на втором месте, хотя честно выполнял свой долг – сражался не хуже, чем твой соперник, и вдобавок жил в полном согласии со своей партией, тогда как соперник постоянно вызывает у нее недоверие отсутствием должного религиозного рвения.

Никогда не знать зависти — действительно трудное искусство: для этого человек должен многое понять; но особенно важно, чтобы он постиг учение об избранных благодатью божией. Помогает также, если ты умеешь гордиться выпавшей тебе на долю судьбой, как умели древние. Морней способен и на то и на другое: в нем живет добродетель, а поэтому открывается ему и знание.

Конде — человек без размаха, у него есть добрая воля, хороши и его первые побуждения, но ничего он не доводит до конца. Его ненависть к Генриху началась еще давно, во времена одной битвы, происходившей под Жарнаком, когда был принесен в жертву его отец, а молодой Наварра именно через это стал первым среди принцев крови. Будучи вместе с Генрихом пленником в замке Лувр, он переносил те же страдания, только они были не такими мучительными. Потом бежал. Но вообще в нем меньше чуткости ко всему народному, к тому, что принято у народа, к тому, что должно быть. Он связывается с чужеземными князьями, тогда как кузену Наварре удастся укрепить на родной земле и распространить свою власть над ней, правда, не без помощи папистов.

Поэтому тем сильнее упорствовал кузен Конде, настаивая на чистоте протестантского учения, и ему мог быть другом только тот, кто придерживался этой чистоты или кричал о ней. Оттого и своего Иоганна-Казимира Баварского он ценил выше, чем Генриха; зато князек карликового государства ненавидел порок. Распущенность, царившая при наваррском дворе, настолько ему претила, что он плевался при одном напоминании, а принц Конде разрешал ему это. Пошел он и на заговор против двоюродного брата. Заговорщики отправили гонца к Генриху просить, чтобы тот повел свои войска на помощь архиепископу Кельнскому. Архиепископ перешел в протестантство, и представлялся превосходный случай нанести удар австрийскому дому. Разумеется, австрийский дом — это был враг, но враг в будущем, самый главный, с которым расправляются напоследок. Идти сейчас на Германию — значило бы отказаться от завоеванного, прервать свое восхождение и даже, быть может, совсем потерять королевство. Именно этого они и хотели, требуя от Генриха, чтобы он покинул свою страну ради борьбы за религию. Но так он не поступит, что они отлично знали. Они могли поэтому вызвать к нему ненависть среди протестантов, ибо далеко не все ему доверяли; а сообщение, что

он все-таки выступает, встревожило бы французский двор и могло толкнуть Филиппа Испанского на грозное решение.

Сидит дон Филипп, как паук, ткёт планы своей мировой державы. Разве это имеет хоть малейшее отношение к какой-то кучке непокорных еретиков, к какому-то нелепому Казимиру, спятившему архиепископу и завидущему кузену? Дон Филипп за своими горами все же что-то почуял: уже народился враг, который будет угрожать ему и его мировой державе; правда, этот враг еще очень невелик, но он подрастет. С мучительным трудом преодолевает он даже незначительные препятствия, однако мерить его силу надо не очередным клочком земли, который он захватывает, а той славой и тем именем, которые он себе создает. Нельзя спокойно ждать, пока Фама[27. – Фама – римская богиня Молвы.] затрубит в трубу и полетит. Францией должен править в будущем лишь один властитель – он сам, Филипп. Дом Валуа вымрет, а еще до того Лига тщеславного Гиза растерзает королевство на части с помощью золотых пистолей, – которые, покачиваясь на спинах мулов, непрерывно плывут с гор. Наварра этому помеха, Наварру нужно устранить. Таково решение, возникающее в душе Филиппа, иного не может быть и у завистливого кузена.

Король Наваррский знает это. Ведь позади – Лувр, там Генрих изведаль, что такое ад. От Монтеня он услышал, что народу понятнее всего доброта. А Морней разъясняет ему, какую силу имеет добродетель. Король Наваррский сохраняет всю свою веселость и чувство меры на самом краю пропастей, таящихся в его собственной натуре; но он знает: есть такая порода людей, которые не признают этого, и как раз на них он будет наталкиваться всю жизнь, до своего смертного часа. Они не протестанты, не католики, не испанцы или французы. Это особая порода людей; им присуща угрюмая жажда насилия, дух тяжести, а быть неудержимыми они способны, только когда предаются жестокости и нечистым наслаждениям. Эта порода людей будет его вечным противником, он же навсегда останется провозвестником разума и человеческого счастья. Теперь он старается, следуя здравому смыслу, навести порядок в одной провинции, позднее – во всем королевстве, и под конец – в целой части света, чтобы, заключив союз мира со многими странами и государями, сокрушить дом Габсбурга. А тогда придет время и для той породы людей, которые ненавидят жизнь: после тридцати

лет неудачных покушений на жизнь короля Наваррского придет и их время метко нанести удар кинжалом. В течение десятилетий семь или семьдесят ударов и выстрелов не попали в цель, Генриху удалось всех избежать, так же как он избежал теперь первого.

В те дни король Наваррский ждал подкреплений.

Офицеру, который эти подкрепления привел, он приказал разместить солдат в местечке под названием Гонто. И все слышали, как он говорил, что завтра туда поедет. Его, однако, предупредили, что в отряд подослан убийца: поэтому Генрих и сказал о своем намерении вслух и с подчеркнутой небрежностью. Когда вошло солнце, король Наваррский, выехал, сопровождаемый тремя своими дворянами; д'Арямбюром, Фронтенаком и д'Обинье. На полпути им встретился одинокий всадник, и они узнали в нем некоего дворянина из окрестностей Бордо. В то время как его трое спутников зажали этого дворянина между своими лошадьми, короля Наваррского охватил какой-то знобящий страх — более жуткий, чем в любой открытой схватке, когда смелое решение побеждает боязнь. Больше всего Генриху хотелось удрать, однако он весело осведомился, хорош ли у дворянина конь; и, когда тот ответил, что да, хорош — подъехал, пощупал и даже выразил желание купить его.

Гаваре, так звали этого человека, побледнел, он не знал, как быть, и волей-неволей спешил. Король Наваррский вскочил в седло и сейчас же, осмотрел пистолеты; у одного курок был взведен.

— Гаваре, — сказал он, — я знаю, что ты хочешь меня убить. Но сейчас я сам могу тебя убить, если захочу. — И тут он выстрелил в воздух.

— Сир, — ответил Гаваре, — ваше великодушие всем известно! Вы не отнимете у меня лошадь, она стоит шестьсот экю.

Об этом королю Наваррскому уже было доложено: убийце подарили коня за то, чтобы он убил короля. Генрих повернул лошадь и поехал галопом в местечко Гонто, где и сдал ее, а своему офицеру приказал как-нибудь отделаться от этого негодяя. Негодяй же затем вернулся в лоно католической церкви. Когда он, ради хорошего коня, согласился убить короля Наваррского, он выдавал себя за протестанта, на самом же деле не был ни тем, ни другим. Но он принадлежал к особой породе людей: такие люди ненавидят Генриха, он сразу это чувствует, и

постепенно придет к выводу, что мстить им бесполезно. Не успеешь отделаться от одного убийцы, как уже наготове другой.

Этот был только первым.

Фама

Не заставил себя ждать и второй, теперь это был испанец; угадать, откуда он явился, было нетрудно. Он косил, широко зияли задранные ноздри, лоб припух — словом, отнюдь не красавец. Этот Лоро, как он себя называл, предлагал выдать королю Наваррскому одну пограничную крепость; на самом деле его целью было подобраться как можно ближе к королю, что, однако, ему не удалось. Те же дворяне, которые защитили короля Наваррского от Гаваре, привели испанца на открытую галерею, окружавшую дворец в Нераке. Затем они выстроились в ряд, и каждый уперся одной ногой в стену, и Лоро пришлось говорить с королем поверх этого живого барьера. А так как ему нечего было сказать и он ограничился жульническим враньем и в тот день и на следующий, то его пристрелили. Нелегко убить человека, которого возносит судьба, уже мгновениями открывая ему свой лик. Эти два покушения показали больше, чем что-либо иное, насколько Генрих начал становиться силой.

Но он решил ограничить себя и не уехал со своей земли, а перепахал ее копытами своего коня из конца в конец, пока каждая кочка не стала принадлежать ему и приносить плоды. Города один за другим покорялись и отворяли свои ворота, люди завоевывались постепенно, не силой: брать приступом надо стены, не людей. Они поддаются воздействию добрых примеров, особенно, если вместо этого их могли бы просто-напросто повесить. Тогда до них доходит призыв быть разумными и человечными, к чему, впрочем, и стремится истинная вера. Сначала они предпочитали сами лезть в петлю, но в конце концов многие поняли, в чем их истинное благо, — пусть даже ненадолго, всего лишь для немногих поколений.

Новый наместник губернатора Гиенни не был врагом Генриха, да сейчас и не смог бы себе этого позволить. А Дамвиль, губернатор соседней провинции Лангедок, был даже другом. Несокрушимо стояла у самого океана, посередине длинной прибрежной полосы, крепость Ла-Рошель. Эта полоса тянулась вниз и

наискось к югу: здесь большинство населения было за короля Наваррского: самые разнообразные упования возлагало оно на него, и уповающих было великое множество.

Обыкновенные люди звали его просто *poust Henric* и вкладывали в это очень многое: его ежедневные дела и труды, совершавшиеся у них на глазах вот уже много лет, то, как он расходует деньги, как действует оружием, даже его образ — образ всадника на коне, в куртке из рубчатого бархата, его щеки, загорелые, как и у них, — его ласкающий, но твердый взгляд и короткую молодую бородку. Когда он проходил мимо них, они чувствовали, что опасности, постоянно угрожавшие их жизни, отступают и что мир в стране, который был всегда так шаток, делается устойчивым. А остальные, ученые или просто люди с головой, нередко толковали о том, как вырос теперь духовно король Наваррский. И они начинали уверять, что дух в нем жив, что ведет он себя отменно и добивается своих целей с большим мужеством. Из такого теста и были сделаны величайшие государи, уверяли они друга, и были искренне убеждены в этом — хотя и не без содействия канцелярии Наварры.

Ею руководил Морней, и в распространяемых им посланиях он утверждал, что власть его государя все более крепнет; поэтому все добрые французы начинали взирать на Генриха с надеждой. У многих она появилась впервые — даже у чужеземцев, — ибо Морней вербовал сторонников и в Англии. Из этих посланий Елизавета и ее двор могли почерпнуть немало благоприятных сведений о Генрихе Наваррском. А с другой стороны, по словам Морнея, едва ли можно ожидать чего-нибудь путного от теперешнего короля Франции, да и от его брата, который по-прежнему домогался руки королевы и находился именно сейчас у нее в гостях. Морней даже сам поехал в Англию — он один действовал решительнее всей своей партии — и помешал-таки женитьбе Двуносого на английской королеве, но — лишь в результате верной характеристики, данной им Перевертышу. Дипломатия не должна допускать недоразумений. И если она действует правильно, то не отступает от истины.

Еще одно мнение стало известным: сначала — там, где оно возникло, а потом, переходя из уст в уста; оно распространилось все шире. Новый мэр Бордо будто высказал эту мысль другому гуманисту:

— Постепенно становится совершенно ясным, что цель всех этих религиозных войн одна: расчленение Франции. — Прошли те дни, когда господин Мишель де Монтень беседовал в величайшей потайности с Генрихом Наваррским. Теперь он заявлял обо всем этом вслух, и не только в библиотеке своего маленького замка или в ратуше города Бордо, избравшего его мэром при решительной поддержке губернатора. Он и писал о том же. В башенной комнатке его замка родилась целая книга, все остальные гуманисты королевства читали ее и утверждались в сознании, что умеренность необходима, а сомнения полезны. И то и другое было им знакомо и свойственно, и все же оказалось бы пагубным, если бы гуманисты учились только размышлять, а не ездить верхом и сражаться. Однако дело обстояло иначе. Даже Монтень побывал солдатом; несмотря на свои неловкие руки, он по необходимости занимался и этим ремеслом, иначе оно досталось бы на долю только безмозглым. Нужно знать твердо: лишь тот, кто думает, имеет право действовать, лишь он. А чудовищное и безнравственное начинается по ту сторону нашего разума. Это удел невежд, которые становятся насильниками, из-за своей неудержимой глупости. И на уме у них, и в делах — только одно насилие. Посмотрите, в каком состоянии королевство! Оно приходит в запустение, оно превращается в болото из крови и лжи, а на такой почве уже не могло бы вырасти ни одно честное и здоровое поколение, если бы мы, гуманисты, не умели скакать верхом и сражаться. А уж это — наша забота. Положитесь на нас, мы не сойдем с коней и не сложим оружия. Над нашей головой, на самых низких облаках, с нами едут по стране и Иисус из Назарета и кое-кто из греческих богов.

Господин Мишель де Монтень, знавший себе цену, переслал с курьером королю Наваррскому свою книгу — она была переплетена в кожу, и на ней, был тисненый золотом герб Монтеня, хоть и на задней стороне обложки; а на передней красовался герб Наварры. Такое расположение имело глубокий смысл, оно означало: «Фама на мгновение сделала нас равными. Все же вам, сир, я уступаю первенство».

Но горделивый дар говорил и о большем. Эта книга была отпечатана в Бордо,

откуда корабли в штормы и штили уходят к дальним островам. И, быть может, эта книга в конце концов уйдет еще дальше и сквозь века доплывет до вечности. Но, разумеется, сир, ей будет предшествовать ваше имя. Я желаю одного, так же искренне, как и другого, ибо я ваш сподвижник, и точно так же, как вы, утверждаю в одиночестве, борьбой и заслугами, мои врожденные права. Сир, вы и я и — мы зависим от милостей фамы, а это участь немногих. Не может легкомысленно относиться к славе тот, кто творит произведения, которые будут жить долго, или надеется угодить людям своими деяниями.

Одно место в книге было подчеркнуто:

«Те деяния, кои выходят за границы обычного, приобретают весьма дурной смысл, ибо наш вкус противится всему, что хочет быть чрезмерно высоким, но и чрезмерно низкому противится вкус».

Прощание с Марго

Для Марго наступило самое горькое время; однако, видя, что беда надвигается, она сделала все, чтобы предотвратить ее. Королева Наваррская долго ничего не замечала: в Нераке — она так успела привыкнуть к счастью, что уже не допускала возможности перемен. И сначала не хотела верить, когда Ребур донесла ей, что Генрих и Фоссеца все-таки сошлись. Ведь и для Марго и для Генриха эта девочка была до сих пор их «дочкой», робкой и скромной, воплощением преданности. Ребур же терзалась завистью к любой женщине, на которую Генрих начинал обращать внимание; ибо вначале она и сама ему понравилась, но вскоре заболела, и благоприятная минута прошла.

Теперь она решила отомстить, выкрала счета аптекаря Лаланна и показала своей государыне. А в счетах значилось: «Взяты королем, когда он находился в комнате у девушек королевы, две коробки с марципанами. После бала — сахарная вода и коробка с марципанами, для девушек королевы». Покамест это относилось ко всем, но последующие записи касались одной Фоссецы: «Для мадемуазель Фоссецы фунт сластей — сорок су. Для нее же: конфекты и розовое варенье, цукаты, фруктовые

сиропы, марципаны»; все только для Фоссезы. — Она расстроит себе желудок, — озабоченно сказала Марго; пусть эта завистница Ребур потом не рассказывает, будто королева ревнует. А Ребур меж тем припасла на конец самое худшее. В последнем счете стояло: «Взято королем с доставкой в комнату мадемуазель Фоссезы один и три четверти фунта марципанов и четыре унции фруктового сиропа — всего два эку и три ливра».

На основании этих точных записей аптекаря бедная Марго поняла, что именно произошло. Но она в совершенстве владела собой и не показала завистливой Ребур своего испуга, а с провинившейся Фоссезой стала еще ласковее и просила, как обычно, чтобы та оказывала услуги королю. — Фоссеза, дочка, позови ко мне моего дорогого повелителя. Скажи, что у меня есть для него новости о моем брате, короле Франции. Тебе, наверное, тоже хотелось бы их узнать. Мой брат видел дурной сон, мать мне написала, какой. Ему приснились разъяренные звери, тигры и львы пожирали его, и он проснулся весь в поту. Тогда он приказал перебить всех животных в его зоологическом саду. Поди передай это нашему повелителю и скажи, что мне известно еще гораздо больше.

Марго нарочно сказала — «нашему повелителю»: пусть Фоссеза думает, что она ничего не знает, ничем не уязвлена и по-прежнему с легким сердцем считает ее своей дочкой. Однако Фоссеза не вернулась, вернее, она осталась у Генриха; и так как она не передала ему поручения, то он в этот день и не пришел к Марго. Это было равносильно признанию, и с тех пор девушка стала избегать королеву, упрячилась, дерзила и старалась восстановить против нее короля; Марго же, напротив, не могла забыть годы счастья, она не хотела, чтобы они миновали, и поэтому остерегалась совершить какой-либо непоправимый поступок. Она надеялась, что ее дорогой повелитель скоро пресытится Фоссезой, как пресыщался другими, и старалась завлекать его и удерживать возле себя новостями из Лувра. Он и сам узнавал кое-что через своего Рони, у которого двое братьев были при французском дворе. Супруги встречались, чтобы обмениваться вестями, сопоставлять их: это было то, что теперь их больше всего сближало.

— Король Франции вводит все новые налоги, чтобы содержать своих любимцев, — начинал один из супругов. Другой подхватывал: — В народе его иначе и не называют, как тиран. — И оба, перебивая друг друга, продолжали: — Долго это тянуться не может. Теперешний любимчик, которого зовут Жуайез, заполучил в жены одну из сестер королевы и целое герцогство; этого дворяне королю не простят. А народ не забудет, что такой проходимец мог на своей свадьбе, которую оплатил народ, щеголять разодетый, как сам король. Во Франции еще не видали такого мотовства. Семнадцать празднеств — и все за счет налогов: маскарады, турниры, по Сене плавают вызолоченные суда с голыми язычниками — как раз подходящее зрелище для простых людей, которым нужно напоминать как можно реже об их тяготах.

— Больше того: мы должны облегчать их, — говорил Генрих. — Нацедить себе вина из бочки — это пустяк, это не то, что сосать кровь из народа.

Избалованная принцесса Валуа, когда-то столь прославленная и воспетая за свои почти вызывающие наряды, в которых она появлялась во всевозможных процессиях, покорно опустила голову. Сейчас все ее честолюбие сводилось к тому, чтобы оставаться и впредь сельской государыней. А для своего дорогого повелителя Марго мечтала о гораздо большем — она уже давно прониклась взглядами Генриха на его предназначение; но ей хотелось, чтобы это случилось не слишком скоро. Ведь ее брат-король, которого она не любила, мог еще иметь наследника; и тогда их дом не вымрет. Для Марго ее брат нередко бывал ближе, чем Генрих, и ее не удивляло, что своих любимцев, которые всего-навсего вредные мелкие авантюристы, он осыпает благодеяниями, словно родных детей. Он хотел видеть в них своих детей, хотел, чтобы они стали ими, лишь бы не быть одному среди разъяренных хищников, терзавших его в сновидениях. Да, Марго иной раз понимала его — это бывало в те минуты, когда она оставалась одна и размышляла. Теперь он даровал и брату этого Жуайеза титул герцога и выдал за него вторую сестру королевы. Король даже перестал платить жалованье своим солдатам, он говорил: — я образумлюсь, только когда женю всех моих детей. — А Марго думала: «Его дети!» Долго вздыхала она, забывшись в свете свечей и не замечая, что легкий ветерок перебирает страницы лежащей перед нею книги.

Однажды, получив вести, которые ее сильно взволновали, она тут же вызвала к себе Генриха, но оказалось, что он куда-то выехал верхом. Вместо него явилась

Фоссеца; она подурнела, побледнела, лицо вытянулось, и она была не в духе.

«Скоро между ними все кончится», – пронеслось в голове у Марго; но ей слишком хотелось поделиться тем, что у нее на сердце, пусть даже с девушкой, которую он прижимал к своей груди, как некогда прижимал Марго.

– Фоссеца! – воскликнула бедняжка Марго и взволнованно обняла ее – теперь это была уже не ученая дама, не принцесса, а просто беспомощная женщина.

– Фоссеца, это и смешно и все-таки ужасно: они хотят заточить моего брата, короля Франции, в монастырь, потому что его брак остается бездетным. Но он и сам уже надел монашеские одежды, поснимал перья и банты, прогнал своих любимцев и отправился с королевой в паломничество, чтобы она зачала и подарила ему наследника. У него потом все ноги были в волдырях, и все-таки королева осталась бесплодной. Ну, как тут не смеяться? Ведь в самом деле смешно, уж кажется чего проще – сделать женщине ребенка? Но и он и она становятся прямо посмешищем всего двора, который разбирает во всех подробностях телосложение королевы. А короля даже зевота берет от напрасных усилий стать отцом, и все зевает вместе с ним. Да, веселый двор, нечего сказать, ха, ха!

Делая неудачные попытки расхохотаться, она скользнула руками по телу Фоссецы; и тут Марго благодаря случайности определила на ощупь то, что она могла бы обнаружить и раньше, если бы захотела знать об этом. «У другой, у чужой женщины будет ребенок от Генриха. А у меня нет; родить ребенка – проще простого, а я не смогла. И не над королем Франции и его королевой – я издеваюсь над собственной участью». Она шарила руками по чужому телу до тех пор, пока девушка не рассердилась. – Что вы делаете, мадам? – зашипела Фоссеца. – Вот я пожалуюсь королю, что вы меня шупаете!

– Не сердись, дочка, разве я могу повредить его ребенку!

– Как, мадам?! Вы еще оскорбляете меня!

Эта некогда столь кроткая девица чуть не задохнулась от гнева, даже шея посинела. – Если бы он не уехал, он сейчас же подтвердил бы вам, что вы зря подозреваете меня! Я всех уличу во лжи, мадам! Я вам стала неудобна, мадам, и

вы хотите меня погубить! – продолжала кричать Фоссеза, переведа дух. А Марго сказала еще тише:

– Не нужно, чтобы все нас слышали. Почему ты не хочешь довериться мне, дочка? Ведь я как мать отношусь к тебе. Мы можем вместе уехать, я сама тебе помогу и поддержу тебя.

– Мадам, вы прикажете меня убить. То, что вы вообразили, неправда.

– Да ты выслушай меня. Мы уедем под предлогом чумы, она действительно появилась поблизости отсюда, на одной мызе, которая принадлежит королю.

– Король! – взвизгнула разъяренная женщина, услышав стук копыт, бросилась вон из комнаты, споткнулась и чуть не упала. Марго подхватила ее – ради ребенка. Но вскоре вошел сам король и очень разгневался на бедную Марго. И

хотя она подробно ему объяснила все происшедшее, он не поверил ей, а поверил этой глупой маленькой лгунье. И тут Марго впервые ясно поняла, что счастью ее пришел конец. Исчезла уверенность в себе, та гордая уверенность, которая не изменяла ей ни разу, пока она жила при Наваррском дворе. Вместе с надеждой на спокойное будущее утратила она вскоре и выдержку и дала волю своей натуре, как делала это когда-то в замке Лувр.

Через некоторое время прибыл для переговоров ее брат д'Анжу, прежде д'Алансон, и с ним красавец обершталмейстер. Едва Марго на него взглянула, как этот господин очаровал ее и стал властителем ее дум. Перед братом она не притворялась. Будь она мужчиной и столь же некрасивым, как он, она стала бы примерно таким же перевертышем и жгла бы жизнь сразу с обоих концов, а не по частям. – Шамваллон – самый красивый мужчина со времен античности! – уверяла Марго.

– А ты отруби ему голову, – предложил брат. – Забальзамируй ее, укрась драгоценными камнями и вози с собой по городам и весям: это – самое надежное, как тебе известно из опыта, милая сестра...

– Он один солнце моей души! Мое сокровище, мое божество! Мой Нарцисс!

– Я передам ему каждое твое слово, – обещал брат и выполнил это с удовольствием. – А твоему рогоносцу Наварре наука! Он опозорил меня перед англичанкой, а ведь она каждое утро собственноручно приносила мне шоколад.

Называла своим итальянчиком и все щупала, нет ли у меня скрытого горба. Ха! Ха!

— Смех у него был такой же, как и у его красавицы сестры: грудной и певучий, как низкие звуки скрипки. Увы, в этих прекрасных звуках было что-то жуткое, ибо исходили они из хилого тела.

— Мне кажется, что некую королеву, которой до смерти надоел ее двор, я весьма скоро увижу опять в Париже, — сказал он спустя некоторое время и отбыл вместе с несравненным античным красавцем, служившим ему в качестве обер-шталмейстера. Марго же поехала на воды, ее сопровождали только камеристки и дворяне, но не Генрих. Он повез Фоссезу на другие воды. Сначала он изо всех сил старался, чтобы обе женщины поехали в одно место, надеясь, что любовь к нему их примирит, — заблуждение, которого обе ему не простили, хотя это — самое обычное заблуждение. И Генрих подпал ему, собственно говоря, из-за чувствительности своего сердца, ибо видел, что Марго частенько плачет. А теперь плачет, наверняка, оттого, что ребенок родится у Фоссезы, а не у нее, плачет о себе, потерявшей счастье, ибо она бесплодна, оплакивает неуправляемость своей природы, власти которой она опять подчинилась, и эти новые, свалившиеся на нее любовные приключения. Но и приключению с античным красавцем послала она вслед свои слезы, причем утешалась тем, что хоть в этой печали причиной были ее собственные чувства, а не унижение, которому ее подвергли другие люди.

«Если бы ты знал! — думала она в своем измученном сердце, когда Генрих, настаивал, чтобы она ехала вместе с ним и с Фоссезой на воды. — Я ненавижу тебя и люблю только моего Нарцисса». Однако дело обстояло не так; пока Марго отнюдь не чувствовала ненависти к Генриху; но если делаешь усилия, чтобы возненавидеть, то хоть сама и относишься к ним вначале несерьезно, ненависть может в конце концов прийти. Так как выбор был предоставлен Генриху, то своему лучшему другу он предпочел возлюбленную и повез ее в горы близ По, в Ошод. Селение это было уединенное и недоступное. Чтобы попасть туда, нужно было миновать, одно из опаснейших мест в Пиренеях, называвшееся «Дыра», что было особенно трудно с женщиной в положении Фоссезы.

Тут-то в ее тайну наконец и проникла завистница Ребур. И до сих пор она еще

верила, что это – желудочное от неуверенного употребления сладостей. Однако Ребур умолчала о своем открытии и пользовалась им только, когда они оставались одни, чтобы запугивать ненавистную ей любовницу короля. Бедная Марго не могла желать ничего лучшего. Именно поэтому она и отправила Ребур с Генрихом и Фоссезой: она тешила себя, мыслью хоть об этой мести, когда сама, покинутая, одинокая, купалась в ключах Баньера. Городок был расположен на довольно пологих горных склонах, в провинции Бигорре, а не в гугенотском Беарне, ибо Марго поклялась, что ее ноги там не будут после того, как в По ее так оскорбили из-за католической обедни.

Бедная Марго! Оставив свою свиту, она бродила по лесам, и так как при ней всегда был для защиты кинжал, то она царапала им на скалах какие-то слова, Сначала это было имя покинувшего ее античного красавца, ее Нарцисса, она даже прибавляла к имени силуэт его прекрасного тела. Затем принималась плакать и плакала до тех пор, пока слезы не застилали ей глаза и она уже не видела написанного ею. Отерев глаза, она читала последние из написанных ею букв, и они складывались в слово «Генрих». Тогда бедная Марго приходила в ярость и выводила под ними крест. Потом плакала горше прежнего.

Тем временем в О-Шо все усердно наслаждались природой и вкушали ее чудодейственные силы. Ведь если женщина ложится в горячий источник, то она, наверняка, благополучно разрешится от бремени. С другой стороны, эти воды весьма целительны для всевозможных ран, а также при болях, вызванных частыми ночевками под открытым небом и на холодной земле и прочими тяготами войны. Генрих и Фоссеза проводили в воде целые часы. Каждый источник был скрыт зеленой беседкой, их установили к приезду короля, и рабочим заплатили за них по шесть ливров. Под кровом каждой беседки купался раненый офицер или другой приезжий, причем все расходы оплачивал Генрих, чтобы по всему свету пошла молва о пиренейских источниках. Поэты, подобные дю Барта, воспевали их в стихах и получали мзду. Поэтому сюда, наверх, невзирая на опасности, поднималось немало людей; король Наваррский был всегда окружен веселым обществом. – Сестра Генриха, в его отсутствие управлявшая страной из По, то и дело посылала донесения через гонцов, ехавших на мулах. И вот по крутым тропам брели, покачиваясь, мулы, на которых везли мехи, полные вина. С приходом короля

Наваррского эту высокогорную местность оживила людская суета и общение людей между собой.

А Марго там, внизу, жила в уютном городке Баньере с отлично сохранившимися старинными термами: еще в древности купались здесь дамы и мужчины, и пили воды. Лучшие дома в городе были заняты свитой королевы Наваррской; вокруг нее толпились придворные, распространяли благоухания, превозносили ее. Она же думала неотступно о том, что там, наверху, ее возлюбленный повелитель отдает столько сил, внимания и терпения этой Фоссезе, только потому, что она носит его сына. Бесплодная Марго теперь покинута. Постарайся же, чтобы и тебя эти воды в конце концов излечили от бесплодия. А пока твой возлюбленный и ненавистный повелитель будет с той, которая уже носит во чреве дитя!

Но пила ли она воду из горячего источника или лежала в нем, ей казалось, что она пьет небытие и покоится, как усопшая, в казенном склепе. Тогда она ждала, чтобы поскорее начали весело перекликаться люди в открытые двери купальных комнат, чтобы их голоса разносились вдоль выбеленного коридора. Ей хотелось слушать стихи и собственный певучий голос. Но что она каждый день слушала и поглощала усерднее, чем целебную воду, — так это святое богослужение, ободряющее слово священника и молитву о даровании ей ребенка. И это будет: «Я чувствую, мне послана благая весть. Я буду во чреве моем носить его сына: тогда он не оттолкнет меня и не возьмет к себе Фоссезу. Я не должна его ненавидеть. Он будет королем Франции, я — его королевой, дофин родится от меня. Счастье достигнуто, наступил покой. Не напрасной была наша великая любовь, и убийства, и все наши мытарства. Покой, покой и счастье!»

Когда бедная Марго возвращалась в Нерак, она ехала с твердой уверенностью, что теперь подготовлена и ее надежды осуществятся. И вот однажды, утром ее возлюбленный повелитель отдернул полог у ее кровати; испуганно и смущенно попросил он ее оказать помощь Фоссезе. Пусть простит его, что он до сих пор скрывал от нее случившееся. Она же ответила: что бы от него ни шло... — и не могла докончить. Однако отправилась в комнату роженицы, предварительно всех

отослав, ибо Фоссеза вплоть до того дня обманывала окружающих; затем Марго, которая здесь обрела смирение, помогла ей родить девочку. Это был не сын, опасность миновала, Фоссеза никогда не займет ее места. Генрих даже согласился на то, чтобы Марго увезла с собой его бывшую любовницу ко французскому двору. Так можно было удобно закончить эту историю, и он почувствовал облегчение.

А для Марго это значило больше. Она уехала прежде всего, чтобы сохранить свое достоинство; даже не будь она сестрой французского короля, снизошедшей до такого человека, как Генрих, и научившейся ради него смирению, она все-таки была женщиной. Правда, она бесплодна, уже не надеется родить сына и не надеется обрести покой. Она удалилась главным образом ради того, чтобы, пока они еще вместе, не разгорелась борьба между нею и ее возлюбленным повелителем и, пока еще рядом стоят их ложа, между ними не вспыхнула ненависть. Вначале у нее не было иных побуждений; но, конечно, Марго постарались использовать для уже давно не новых планов привлечения короля Наваррского ко двору короля Франции — как будто опасности, подстерегающие его при этом дворе, ей были меньше известны, чем ему! Однако она отрицала их все, и в своих письмах изображала дело так, будто его враги совсем, совсем выдохлись. Гиз постарел, а его брат Майенн разжирел, как свинья. Зачем бедная Марго это делала, неизвестно.

Она писала Генриху: «Будь вы сейчас здесь, все предлагали бы вам свою поддержку. За неделю вы приобрели бы больше друзей, чем за всю вашу жизнь у себя на юге». Она писала это потому, что ей хотелось, чтобы так было, ибо она гордилась своим повелителем. Возможно, что в ее словах даже была правда или доля правды. Но правдой оставалось и то, что Гизы по-прежнему ненавидят Генриха, а ее брат-король его недолюбливает. И если уж Карл Девятый не в силах был предотвратить Варфоломеевской ночи, то чему мог помешать его преемник? Он слишком слаб: таким неуравновешенным, смятенным, затравленным и одиноким еще не был ни один король на свете. И господа из Лотарингского дома на самом деле совсем другие, чем их описывала Марго. Город был наводнен их конниками; лотарингцы назначали чиновников и повышали налоги; не король, а они всем распоряжались. Если бы король Наваррский явился в это разбойничье гнездо, которое было ему слишком хорошо знакомо, король Франции, может быть, и встретил

его как своего освободителя, ну, а Гизы? Этот Наварра – единственный, кто еще стоял им поперек дороги, как они решительно заявляли королю испанскому, что же сделали бы они с Наваррой? Теперь собственной рукой не убивают, особенно те, кто почти добрался до престола. Так бывало только во времена адмирала Колиньи. А ныне Гиз и его Лига могли вызывать народные волнения, когда им это было нужно; во время одного из них как бы ненароком погиб бы, вероятно, и Наварра.

На этот счет никто в Нераке не сомневался; тайный совет тщательно обсудил вопрос, а Морней записал решение. Поэтому, когда Генрих читал письма бедной Марго, он невольно видел в них предательство – да отчасти оно так и было. Вместе с тем она горячо и искренне желала, чтобы ее государь стал великим. Но ее судьба решена, Марго сама обесценивает и сводит на нет свои заслуги, а Генрих уже перестал замечать их.

На ее двусмысленные зазывания он ответил прямым оскорблением. Он потребовал, чтобы Марго не отсылала Фоссезу, а оставила при себе: этим он сознательно порывал их дружеские отношения. Впрочем, в те времена он уже не думал о Фоссезе. Его увлекала и дарила счастьем другая женщина. Их сблизила не случайная нежность, и не страсть, загадочная, как рок или кровь. Когда Генрих познакомился поближе с этой дамой из Бордо, ему понравилось избранное ею самою имя – Коризанда, оно делало ее каким-то изысканным созданием, образом из романтических стихов. Его поразило сказочное окружение этой дамы; коротышка-шут, долгоязыый мавр, попугай, обезьяны и еще всякие редкостные создания, составлявшие ее свиту, когда она ходила к обеду. Графиня де Грамон была умна, красноречива, в особенности же была богата. Вместо всякий иных красот у нее была очень белая кожа. Так как она с детства дружила с его сестрой, то Генрих встречал ее и раньше... А теперь вдруг вспыхнула страстная любовь или то, что он считал любовью.

Без сомнения, эта дама с первого же дня полюбила Генриха сильнее, чем он ее. Она давно уже тайком о нем мечтала и придумала себе такую свиту, только чтобы привлечь его внимание. Он мерещился ей по ночам, с того дня, как Фама произнесла во всеуслышание его имя, и она забрала себе в голову непременно стать его музой. – Эта муза великого государя и солдата будет на свои деньги вооружать для него полки, а после сражений и побед обнимать его своими белыми руками. Главное же, она заставит его писать письма, писать без конца; благодаря

ей он делается несравненным писателем. И это будет продолжаться в течение многих лет, пока ее честолюбие не будет утолено. А тогда все кончится еще и потому, что лицо музы уже не будет ослепительно белым, но покроется красными пятнами. И, как всякая другая, она станет сварливой и унылой и забудет о том, что все-таки выполнила свою задачу, которую сама себе избрала, так же как и имя «Коризанда».

А с Марго у него все по-другому. Он не пишет ей вдохновенных и изысканных писем. Она тут, когда ее тело тут. Расстаться с нею тоже можно, как и со всякой другой; но ее образ отпечатлелся на всей его юности, как волшебство или проклятие, и то и другое захватывает самую суть жизни, не то, что возвышенные музы. Марго не станет вооружать полки для своего возлюбленного повелителя, а скорее пошлет войска против него. Ибо она последняя, бесплодная, и будет тщетно стараться остановить его на пути к престолу. Даже с Лигой Гиза — с самим дьяволом! — заключит она под конец союз против ее собственного дома, и все это только из ненависти к своему возлюбленному повелителю. Когда ее брат Перевертыш умрет, она примется в смятении разъезжать вместо него по стране и будет вести себя как те, чей род погиб, и, преследуемая ненавистью своего брата-короля, наконец исчезнет совсем, одинокая женщина, настолько одинокая, что не сможет даже вредить; Марго просто исчезнет!

Пока она еще в Лувре и старается заманить туда Генриха описанием придворных празднеств. Она, конечно, знает, что у него завелась новая подруга: об этом она не заговаривает, но мстит. К сожалению, несравненный Нарцисс женится, впрочем, она быстро находит ему самые разнообразные замены. Ее брат-король на придворном балу бросает ей в лицо имена всех ее любовников. На другой день она вынуждена уехать из Парижа, опозоренная, покинутая; хуже того: во время ее возвращения на юг ее неожиданно останавливают офицеры королевской охраны и обыскивают, как воровку. И кто же выезжает ей навстречу, и увозит в свой замок, и показывается с нею в окне? Кто к ней добр и молча обнимает ее, чтобы она знала: есть на свете человек, который вместе с ней страдает и делит с нею ее стыд?

Вечером Марго сидела рядом с Генрихом, который для виду слушал болтовню своих дворян, только чтобы самому говорить поменьше – особенно же с Марго. Ей бы изменил голос, ведь она беззвучно плакала. Но это были слезы радости, оттого что он к ней добр. К ним примешивались и слезы горечи за свое бессилие. «А он любит на этот раз по-настоящему! Всем я стою поперек дороги, и этой его любовнице с дурацким именем (она еще вздумает отравить меня) и ему. Какой прок от его доброты? Меня здесь уже нет».

Именно в эту минуту он нашел под столом ее руку и сжал. Сначала она пугается. Погруженная в свои страхи, она уже решает: «Это – прощание». Затем пугается вторично, но уже от радости: ведь прощания еще нет, самое худшее отодвигается. Кровь приливает ей к сердцу; порывисто склоняется она над его рукой и незаметно целует ее. Потом, наоборот, сидит очень прямо, больше не плачет, ни на кого не смотрит: она уже начала удаляться отсюда, Марго чувствует это, хочет позвать себя обратно, но пути назад закрыты. Марго! Неужели никогда? Вернись, если можешь! Не можешь? Меркнешь? Ускользаешь? Марго!

Похороны

Последний король из дома Валуа любил потанцевать, и танцевал он один, как ребенок, но лицо его оставалось мрачным, он ничего не мог с этим поделать. Иногда он вдруг отодвигал от себя тщательно переписанный указ и сбрасывал меховой плащ. Белое шелковое полукафтанье, узкие бедра, мальчишеская, не по возрасту, фигура – таким расхаживал король перед зеркалом, которое нарочно здесь ставили слуги. Начинала звучать отдаленная музыка, и он в своей тихой комнате делал изысканные па, совершал движения и принимал позы, полные неизъяснимого изящества. Из-под опущенных век он наблюдал за своим отражением в зеркальном стекле, словно танцевал другой человек. Это был не он. Увы, он не чувствовал себя радостным танцором, он был лишен небесной благодати и легкости, не знающей воспоминаний. Его они преследовали неотвязно; только у счастливого отражения в зеркале их не было. Не было у него и головы, ибо рама зеркала отрезала ее. А его голова, окруженная черноватыми духами, думала о смерти.

Брат Франциск безнадежно заболел; кровь выступала у него из пор, как некогда у брата Карла. Во Фландрии он бессмысленно расточал свои последние силы, как и остальные братья, а теперь умирал. Король был бездетен, он уже не надеялся иметь наследника, ибо ничто не помогало – ни лечение королевы водами, ни великое паломничество, когда его ноги сплошь покрылись волдырями, ни настойчивые моления всего двора, который проследовал крестным ходом через церковь Нотр-Дам. Словом, было сделано все; страх, тревога и муки перед неизвестным должны отстать на полпути, если человек в одиночестве, один идет навстречу своей смерти. Но ведь с роковым бесплодием и predeterminedным свыше вымиранием рода не так легко раз и навсегда примириться – и не у Валуа нашлись бы на это силы. Двести лет господствовал его род, и он, последний Валуа, завершает его. Лишь по временам ему кажется, что жертва уже принесена. Неотступно и неуклонно устремлен духовный взор короля на предстоящий конец, и он ежедневно готовится к нему, рисуя себе ужас этого конца и надеясь, что, быть может, даже ужас наконец иссякнет и смерть перестанет быть страшной. Ведь и для короля, завершающего былую эпоху, а также целый вымирающий королевский лом, смерть могла бы оказаться не тяжелее, чем для обычного человека, во всей его слабости.

И, чтобы добиться этой легкости, король танцевал один, или часами ловил чашечкой мячик, или вешал себе на шею корзинку со щенятами, перевязанную голубой лентой. Они в ней ползали и скулили: они жили, жили вместо него, а он мог не двигаться. Когда ему сообщили о смерти его последнего брата, он сам стоял, застыв, как мертвец; и не очнулся, не отозвался. Вошедшие онемели перед ним, им хотелось ткнуть в него пальцем.

Двор ожидал, что он опять начнет разыгрывать монаха, петь в хоре вместе с братией среди золотых подсвечников и каминов, рисунки которых сделал сам – от тоскливого желания создать хоть что-нибудь. Но нет, церемония погребения напоминала роскошную свадьбу. Народу пришлось принимать в ней участие и оплачивать ее совершенно так же, как и свадьбы королевских любимцев. Впереди шло все духовенство, даже те священники, которые с кафедры произносили проповеди против короля. Затем дворяне покойного несли гроб, а за гробом следовал король, единственный представитель своего дома, уже умершего. И зрители дивились: Валуа вел себя так, словно особенно старался выставить напоказ, насколько он одинок – и теперь и всегда: улицы затянуты черным, и он

выступает один, без своей бесплодной королевы, в некотором отдалении от всех остальных, ибо там только чужие. Гроб его последнего брата был покрыт знаменем походов, принесших покойному довольно сомнительную честь и нередко направленных против его брата-короля. Последний желал ему смерти, а теперь, когда это желание исполнилось, он шел за телом один, между гробом и чужими людьми.

Первое место в свите занимали два его фаворита – Жуайез и Эпернон, король подарил им герцогский титул и дал в жены двух сестер королевы. Сейчас же за ними шли его враги, вознамерившиеся против его воли наследовать ему, – шли Гизы.

Они выступали пышнее самого короля, их собственная свита была роскошнее, породистые кони, которых вели под уздцы. И они сами казались воплощением властной и дебелой мощи. Черты герцога Гиза приобрели за это время суровую жесткость. Он уже не изливал, как некогда, блеск своей красоты на престонодарье и почтенных горожан, это был уже не сказочный герой их жен. Все приманки теперь не нужны, не нужно ни соблазнять, ни задаривать. Теперь можно просто приказывать. Уже незачем уговаривать горожанина или мужика, чтобы они оказали ему поддержку, – напротив, кто не желал вступать в Лигу и не присягал в слепом повиновении ее вожаку, мог считать себя погибшим! Выполняй свою трудовую повинность и неси повинность воинскую! Плати ему подати и, хоть жилы вздулись, торчи целый день на ногах каждый раз, когда Гизу вздумается созвать толпы своих приверженцев. А не хочешь, так не будет у тебя ни клиентов, ни работы, ты окажешься вне закона, и для тебя потрудятся только шпион да предатель, которые выдадут тебя. И если кто потом набредет на твой труп, то обойдет его стороной.

Преступное тайное сообщество неудержимо разрастается, оно охватывает своими щупальцами все государство и всасывает его в себя, а закон кажется таким же бессильным, как этот король, шествующий под балдахином на похороны своего последнего брата. И сегодня добрая половина участников шествия – духовные лица, военные, придворные, почтенные горожане и простолюдины – все они сегодня обсуждают вопрос о наследнике короля, словно уже хоронят его самого. Завтра даже его любимцы переметнутся к Гизу. Лига сживет его со свету, оттеснит на самый дальний клочок земли, пока его кто-нибудь там не прикончит. В сущности,

он многое знает заранее, но заставляет себя, выпрямившись, шагать под парчовым потолком балдахина и слушать то, что не предназначено для его ушей: как они делят между собой его провинции, заявляют о своих притязаниях на должности, на финансы, на военные силы. В действительности он всего этого не слышит, расстояние между ним и всеми этими людьми слишком велико; но он ощущает. Все внутри у него содрогается от предчувствий, похожих на жуткие шорохи. Он закрывает глаза, и ему чудится, что он блуждает ночью в лесу, полном опасностей. Кто защитит его?

Он приходит в себя; произошла заминка, на ступенях церкви какая-то шайка вопит: «Валуа! Чтоб ты сдох!» Это для него не ново. Такие выступления заказываются и оплачиваются, и он знает, кем. Вмешивается стража, крикуны бегут, давка среди идущих, в процессии смятение. Балдахин вдруг оседает и медленно опускается на короля, а тот нагнулся, он становится на одно колено, потом на оба, наконец даже ложится на камни лицом.

Когда он, опомнившись, встает, оказывается: Гизы окружили его, чтобы защищать. Они заслоняют его от народа, который видит только их и приветствует громкими кликами. Кардинал Лотарингский бесстыдно кажет толпе свое лицо непревзойденного злодея. Второй, Майенн, выставляет телеса, более жирные, чем положено иметь человеку коварному: это уж проверено и всем известно. А герцог — «великий человек»; так восклицает его наемный хор.

«Да здравствует Гиз!» — ревет тайное сообщество убийц; он хочет, чтобы им стала вся страна. Он хочет весь народ этой страны обратить в такое сообщество, и лишь немного теперь мешает этому — так уверяет герцог. «Герцог — великий человек! Да здравствует Гиз!» — И вот уже не доброту являет надетая им маска, а строгость. Мышцы его лица жестко напряжены, что говорит о суровой решимости. После того как он загонит короля в угол, он разделит королевство между своими двенадцатью обер-мерзавцами, а всем унтер-мерзавцам будет тогда разрешено убивать и грабить, однако лишь при условии их полного и беспрекословного повиновения, иначе им самим придется протянуть ноги и не то что прекословить, а навсегда утратить дар слова. Это решено: видите, как напряжены у нашего вожака желваки на скулах! Да, будут только убийцы и убиенные, нескончаемой Варфоломеевской ночью должно стать царствование нашего предводителя, да здравствует Гиз!

И когда они окружили короля и всякая дистанция исчезла, забытый Валуа утратил все свое знание, свою способность прозревать события и чутать их

приближение. Он привлек к себе одного из сыновей Гиза – у герцога есть дети, он не бесплоден, нет, не бесплоден, – взял мальчика за плечо и привлек к себе, словно собственного ребенка. Так отстоял он всю заупокойную службу и весь обратный путь в свой замок совершил, окруженный своими убийцами и убийцами его страны, которые в этот раз все-таки еще защищали его. Процессия все разрасталась: на всех площадях к ней присоединялись наемники Гизов и дворяне. И теперь это шествие знаменовало собой уже не скорбь по одному из Валуа, но восходящую мощь Гизов. А последний из Валуа, обняв за плечи их отпрыска, шагал в такт барабанной дроби, которую отбивали их войска, – для них, а не для него. Под широким и суровым небом его государства ему принадлежал только резкий и жидкий похоронный звон небольшого колокола. И колокол все звонил, звонил.

Муза

Лига, несмотря на свое усердие в борьбе за римско-католическую церковь и за Гизов, на самом деле, сознательно или бессознательно, хотела только одного – распада королевства и торжества Испании. Но у святой Лиги была еще одна, правда, несущественная забота: король Наваррский; впрочем, он не мог считаться серьезным препятствием. Ведь когда столь мощное движение охватывает пробудившийся народ, оно, без сомнения, достигнет своей цели. Решительно во всем находит оно себе опору и прежде всего в чувстве чести самой нации, больше не желающей терпеть всем очевидный позор, – в данном случае протестантскую ересь. Кроме того, обычно оказывается, что у «позора» денег мало, а у «чести» их много. Так же обстоит дело и с солдатами: они почти все оказываются на стороне «чести»; иначе не бывает.

Однако надо все учитывать, а король Наваррский вызывал о себе больше толков, чем следовало. И Лига решила, что с этим следует покончить. Он был взят под неусыпный надзор, и вот Лига получила сведения, что он постоянно бывает у графини Дианы Грамон, в одном из замков этой богатой дамы, которые находились в Гиенни, а там короля Наваррского легче было поймать. Всюду, где он мог проехать, Лига расставила конные посты. К сожалению, он именно в этих местах и не показывался, ибо знал, что его собираются захватить, и избегал постов Лиги.

А осведомлен он был лучше их, ибо ему сообщала обо всем графиня Грамон. И так как другу стало теперь труднее ее посещать, в руках у графини сосредоточились все нити разведки. Если ей приходилось отговаривать его от посещения, он писал ответ — и письма эти были составлены в самом высоком стиле, ибо в них он устремлялся к своей заветной цели. Однажды, когда она была в Бордо, он написал своей музе следующее.

«Душа моя! — писал он. — Слуга, которого они схватили вместо меня неподалеку от мельницы, вчера уже прибыл ко мне. Они спросили, нет ли при нем писем, он же отвечал: да, одно... И отдал им, они вскрыли, а потом вернули. Это было письмо от вас, сердце мое».

Тут тонкий стилист про себя улыбнулся. Он размышлял о том, как хорошо бывает иногда писать любовные письма, в них бьется пульс самой природы. И врагам, наверно, даже стыдно становится своих нелепых подозрений, когда они, возвращая такое письмо, отпускают слугу. Потому-то они еще до сих пор не осведомлены о том, что моя любимая на свои деньги снаряжает для меня отряды гасконских солдат. Пока их двенадцать тысяч, но это еще не все. Она должна выставить мне вдвое больше, и я этого добьюсь. Эта женщина честолубива. И она любит короля, не имеющего ни денег, ни земли, ни солдат. Это моя первая любовница, которая мне ничего не стоит, да еще сама приплачивает. Но она об этом не пожалеет! Тут кровь закипела в нем, он мгновенно забыл и про деньги и про солдат и быстро сделал приписку: «Завтра в полдень отбываем — я тоже, и намерен сжечь ваши руки поцелуями. До свидания, дражайшее из моих сокровищ, смотри, не разлюби своего малыша».

Вот как все это было. Вот как «малыш» обращался к своей музе и защитнице. Из всего ее тела лишь о руках упомянул он, а ведь кровь у него кипела. Но эта женщина научила его преклоняться перед возлюбленной и с неведомой дотоле изысканностью выражать свои чувства, хотя они, по сути, оставались теми же.

На следующий день он, как обещал, выехал верхом в Бордо: что-то она скажет

по случаю той нелепой схватки, которая у него только что произошла с горсточкой людей французского короля? Потери – двое убитых, добыча – пять лошадей; она, наверное, будет бранить своего возлюбленного, ведь это недостойно его. Но даже в таких делах рискуешь жизнью не меньше. Смотри, не разлюби своего мальчика.

Он рывком натягивает повод. За широкими лугами синееет лес, его омывают воды Гаронны. Из рощи выезжает всадница. Она сидит боком на широкой спине своего коня, низко свисает подол белого платья, поблескивающего в лучах солнца. Она слегка нагибается вперед, склоняет голову, стараясь получше рассмотреть Генриха. Движения ее невесомы, и вся она неземное видение, она сходит с небес, обещая славу и величие. – Фея! – восклицает он, соскальзывает с седла и опускается на одно колено. Но она манит его к себе рукой, и драгоценные камни ее перстней играют в лучах солнца. Он спешит к ней; она слегка приоткрывает объятия. Чуть приседая, она здоровается с ним и с выражением блаженства закидывает голову. Он жадно осыпает поцелуями ее руку, она целует его в голову.

Эта сцена была их достойна, и оба упивались ею; Генрих – главным образом из благоговейного трепета перед этой женщиной и ее именем – Коризанда. Оно обязывало к приподнятым чувствам. Достигнув берега реки, они опустились на траву под тополями. Он озабоченно поглядывал на их двух лошадей, – впрочем, те мирно паслись. – Моя высокая подруга! – вздохнул он. Она же молвила просительно и вместе с тем благосклонно: – Сир! – Широко раскрытыми глазами, полными несказанного блаженства, окидывала она безмятежный пейзаж: едва шелестящие деревья, лепечущие воды. – Мы одни! Мы ничего не ведаем о войне, мы никогда не слышали об ужасах чумы. Хоть все это, вероятно, и существует в мире, но сюда не доходит. Предатели, покушающиеся на нашу жизнь, напрасно ищут нас, мы здесь так далеко от всех!

Он слегка двинул плечом – в сторону кустарника, за которым оставил свою охрану. Ее провожатые ожидали в рощице, он даже разглядел несколько силуэтов. Когда блаженная идиллия кончится, они все покажутся. Генрих увлекся и стал описывать своей возлюбленной тот остров, где они будут жить. Он совсем недавно

открыл его. Это прелестный остров, он покрыт садами, по каналам скользят легкие челны, и на ветвях распевают всевозможные птицы. — Вот, возьми, душа моя, это их перья. Еще охотнее я бы принес тебе рыбок. Ужас, сколько там рыбы, и прямо даром: огромный карп стоит три су, а щука — пять су. — Генрих невольно перешел от возвышенных чувств к реальным фактам. Поэтому она поблагодарила его за превосходный паштет, который он прислал. Что же касается ручных вепрей, то они живут теперь в парке Агемо, и трудно представить себе что-нибудь очаровательнее этих хищных зверей с такой густой и колючей щетиной. — Вы умеете, сир, безошибочно угадывать все, что нравится вашей покорной служанке. Я вынуждена быть благодарной вам до конца моих дней! — Хотя дама и сказала это с некоторой иронией, но ирония была чисто материнской. Да иначе и не могло быть. Будучи его сверстницей, а в действительности зрелее его, эта тридцатидвухлетняя женщина спокойно взирала на то, как его руки блуждают по ее телу. Она была невозмутима. Лицо ее оставалось безукоризненно белым, взгляд — полным спокойной нежности, как будто его ласки ее не касаются. Она знала, чего хочет, и воображала, что руководит им. В эту минуту она хотела пощадить его королевское самолюбие, потому и заговорила о его подарках и своей благодарности. Правда — с насмешливой снисходительностью. Лишь после этого стала сама его одаривать: ее благодеяния были куда существеннее, и он становился ее неоплатным должником — она надеялась, навсегда.

Дама хлопнула в ладоши, из роши вылетели два всадника: какие-то незнакомые офицеры. Только когда они сошли с коней, Генрих увидел у них на перевязи свои цвета. Сняв шляпы с перьями, они взмахнули ими над самой землей и попросили у графини Грамон разрешения представить королю Наваррскому его новый полк. Она милостиво кивнула. Снова шляпы до земли, и офицеры галопом ускакали обратно; Генрих не успел и опомниться. Никому не было дано так изумлять его и переносить в царство чудес, как Коризанде.

— Сир! Я честолюбива, — заявила она, желая пресечь всякие изъявления благодарности. — Я хочу видеть вас великим.

— Боюсь, что вы зря потратите ваши деньги. Даже если я стану королем

Франции, я не смогу достойно отплатить вам за то, что вы сейчас делаете.

Им овладел восторг. На глазах его выступили слезы: волей-неволей он был вынужден преклониться перед своей великой подругой. Разве не от самих женщин зависит его отношение к ним? Либо они воодушевляют его, либо он смотрит на них пренебрежительно. Она сама жизнь, вместе с нею меняется и ценность женщины. Графиня Диана достигла ныне своей наивысшей цены, и она понимала это. Ее заслуга была в том, что она не давала ему произнести те слова, о которых он мог бы впоследствии пожалеть; и она поступила весьма благоразумно, удержав его.

— Молчите, сир! Но когда вы в один прекрасный день въедете в столицу вашего королевства, не забудьте поднять взор к одному из балконов. Вот и все, этого достаточно.

— Вы въедете в столицу вместе со мной, мадам.

— Разве это может быть? — спросила она, замирая от волнения, ибо — увы! — когда забьется сердце, разум умолкает.

— Вы будете моей королевой. — Тут он торжественно поднялся и посмотрел вокруг, словно ища свидетелей, хотя их было поблизости немало. И действительно, из кустов вышли его люди, а вдали показались спутники графини. И вдруг лицо короля омрачилось, он топнул ногой и резким тоном воскликнул:

— А кто меня выдал моим врагам? Но они не поймали меня, им удалось захватить только моего слугу? Я знаю, кто! Покойная королева Наваррская!

Он так ненавидел Марго, что называл ее покойницей. Она его покинула, укрепились в городе Ажене и там умышляла его гибель. Он желал ей того же. Стоявшая перед ним графиня испугалась: она увидела стихийное кипение чувств. «А что я для него? Совсем чужая. Что останется после меня? Его письма — только слова, да и те он говорит самому себе. Лишь тот, кто одинок, обращается к своей музе». На миг графине точно открылось будущее: она увидела бесконечные обиды, он вечно будет обманывать ее, никогда не женится, в конце концов начнет даже стыдиться своей подруги, ибо фигура ее расплывется, на коже появятся пятна... Но мгновение промчалось — вот она уже снова ни о чем не догадывается. Грянули барабаны, и появился полк.

Разделенный надвое, быстрым шагом, легким и бодрым, он вышел из-за роши, на широком лугу обе половины соединились и сомкнули ряды. Офицеры доложили графине, что ее полк прибыл. А она, словно приглашая короля принять этот дар, слегка присела, подобрав свое длинное платье. Он взял ее за кончики пальцев, приподнял их и подвел даму к выстроившимся во фронт солдатам. Тут она опять склонилась перед ним, и на этот раз очень низко; затем воскликнула — и голос ее звонко прокатился над головами двух тысяч солдат:

— Вы служите королю Наваррскому!

Король поцеловал руку графине Грамон. Он приказал знаменосцу выйти вперед, а к ней обратился с просьбой освятить знамя. Она сделала это и прижала тяжелый затканый шелк к своему прекрасному лицу. Затем король Наваррский один прошел по рядам, он схватывал то одного, то другого солдата за куртку, узнавал их и вдруг кого-нибудь обнимал: этот уже служил ему. И всем хотелось услышать то, что он говорит каждому из них; наконец он обратился ко всем.

— И я и вы, — заявил он, — сейчас белые да чистые, как новорожденные, но долго такими не останемся. Наше военное звание требует, чтобы мы были сплошь порох и кровь. Целым и невредимым остается только тот, кто хорошо мне будет служить и не отступит от меня даже на длину алебарды. Я всегда умел справляться с лентами. Тесен путь к спасению, но нас ведет за руку господь...

Так говорил король Наваррский, обращаясь к двум тысячам своих новых солдат, а они верили каждому его слову. Тут же грянули барабаны, колыхнулось знамя, и он вскочил на коня. У него уже не было времени подставить руку графине, чтобы она, опершись на нее ногой, тоже могла сесть в седло. Она села сама и помчалась впереди своих придворных дам и кавалеров.

Генрих не посмотрел ей вслед: у него был свой полк.

Во весь опор

Едва достиг он со своим полком большой дороги, как вдали на ней за клубилась пыль; что могло там быть, кроме врага? Уже доносился топот копыт. Генрих велел своим солдатам залечь во рву, а часть спрятал в лесу, пока не выяснится, на кого придется нападать. Между тем из желтых облаков пыли уже вынырнули первые всадники; сейчас они будут здесь. Вперед! Генрих и его дворяне ставят коней поперек дороги и хватают скачущих за поводья. От толчка один вылетает из седла и, уже валяясь под копытами, кричит в великой тревоге:

— Король Франции!

В это мгновение облако пыли оседает, и из его недр появляется то, что она скрывала: карета, запряженная шестеркой, фореиторы, конвой, свита — поезд несется во весь опор. Генрих уже не успевает очистить дорогу, и карета, покачнувшись, вдруг останавливается. Кучер осадил лошадей, они дрожат, а он бранится, всадники приподнимаются на стременах, иные размахивают оружием.

— Мы друзья, господа! — кричит Генрих; он указывает на ров и на рощу.
— Я привел с собою целый полк, чтобы охранять короля!

— Вот дьявол, оказывается, он поджидал нас! — Они растерянно переглянулись и расступились перед ним. — Мы скачем от Парижа без передышки, никто не мог нас обогнать, разве что на крыльях!

Генрих спешился, подошел к окну кареты и снял шляпу. Стекло занесло пылью, и его не открыли. Никто из слуг, стоявших поблизости, и не подумал о том, чтобы распахнуть перед королем Наваррским дверцу кареты. Но так как все были изумлены, то воцарилась тишина. Генрих и сам затаил дыхание. И он услышал среди полного безмолвия, что происходит за пыльным стеклом окна. Он услышал, что король судорожно рыдает.

Очень многое пронеслось при этом в памяти Генриха, очень многое. Но лицо ничего не отразило, он сел в седло и поднял руку. Поезд тронулся — карета, запряженная шестеркой, фореиторы, конвой, арьергард, а также полк Наварры; солдаты двинулись быстрым шагом, легко и бедро. Они не отставали и пешком, ибо королевский поезд уже не мчался. Все это было очень похоже на бегство, как будто король Франции без оглядки бежал из своей столицы в самую — свою

отдаленную провинцию. Именно так оно и было, и, как ни был Генрих поражен, он все понял: «Куда же король едет? Ко мне? Неужели дело дошло до того, что он у меня ищет защиты? Но я сделаю так, что ты никогда об этом не пожалеешь, Генрих Валуа», — думал Генрих Наваррский, ибо в подобных случаях бывал он сердцем жалостлив и благороден.

Когда они достигли города, уже наступил вечер. Стража у ворот не знала, кто сидит в карете, а жители, смотревшие в окна, едва ли могли разобрать что-нибудь, так как было темно. Карета и войско двигались во мраке, а если попадался висевший над улицей фонарь, король Наваррский посылал кого-нибудь вперед, чтобы его потушили. Возле ратуши он дал знак остановиться. Не успел он сойти с коня, как дверца кареты отворилась. Король вышел: он тут же обнял своего кузена и зятя, но молча, не заговорил и потом. Сильнее, чем он это сознавал, жаждал король обнять отпрыска своего дома, хотя бы в двадцать первом колене.

Короля раздражало все вокруг — здания и войска, занимавшие площадь и улицу. Из дома вынесли лампу, и Генрих заметил на лице короля испуг и зарождающееся недоверие: — Я хочу видеть маршала де Матиньона, — сказал король. Он вспомнил, что должен поддерживать не губернатора, а его заместителя. Нельзя отступить от заученного плана!

— Сир! Его сейчас нет в Бордо, и гарнизон его крепости нас так сразу не впустит. А в ратуше я дома: Ваше величество здесь будут в безопасности, и вас примут хорошо.

Услышав столь легкомысленные слова, сказанные его зятем и кузеном, король нахмурился еще больше. Он чуял в этом какой-то умысел и подвох и был отчасти прав; ибо по пути сюда Генрих, несмотря на благородство и чуткость сердца, тщательно обдумывал, где и как лучше всего завладеть этим Валуа. И решил, что, пожалуй, удобнее в ратуше, ибо там всем управлял его друг Монтень. Следуя глазами за взглядом короля, Генрих воскликнул:

— У моего полка одна цель — охранять ваше величество!

А король надменно ответил:

— У меня у самого есть полки.

— Ваши конники, сир, под командой — маршала де Матиньона рассыпались по горам и долинам, чтобы сразиться с моими.

Король вздрогнул. Он понял, что попал в западню. А Генрих, увидев это, почувствовал к нему сострадание; быстро наклонился он к королю и настойчиво прошептал ему на ухо: — Генрих Валуа, зачем же ты приехал? Доверься мне!

На лице несчастного короля отразилось некоторое облегчение: — Пусть твои войска уйдут отсюда, — потребовал король также шепотом, и Генрих немедленно отдал приказ, чтобы они удалились; но для офицеров добавил: пусть полк остается в городе, отрежет его от крепости и будет готов отразить нападение врага. Валуа, мы не уверены друг в друге. Он был счастлив доложить:

— Сир! Мэр города и господа советники!

Вышли четверо мужчин в черном, они опустили перед королем на колени. Один из них, с золотой цепью на груди, приветствовал короля по-латыни, чистоту которой король не мог не отметить; это было тем похвальнее, что классические обороты трудны в обыденной речи, особенно же они трудны для южанина. Королю было приятно, минутами он почти забывал об опасности. Он попросил советников встать и, наконец, проследовал в ратушу. Иные потом утверждали, что лишь красноречие господина Мишеля де Монтеня побудило его это сделать.

Наследник престола

Сначала мэр города ввел короля в самую обширную залу. Ввиду столь неожиданного приезда его величества ее не успели еще должным образом осветить. Далекие тени в углах тревожили Валуа, он потребовал, чтобы ему отвели небольшую, но ярко освещенную комнату, поэтому отперли библиотеку мэра. Король Наваррский приказал своим дворянам нести охрану вместе с дворянами короля Франции. Валуа, уже входя, обернулся и громко заявил: — Здесь, у дверей, будут только мои! — А Генрих отозвался не менее решительно: — А мои займут выход!

Так они, каждый обезопасив себя, перешагнули порог. Монтень хотел остаться со свитой, но король приказал ему войти. На лице его появилась угрюмая усмешка, и он сказал: — Господин де Монтень, вы заседаете в моей палате. Эта комната

тесна. Если сюда ворвутся убийцы, мы погибнем в схватке все трое. Вы заблаговременно предупредите меня об опасности?

И у Монтеня изменилось лицо – может быть, он придал ему выражение насмешки и, уж конечно, преданности. Он сказал: – *Omniium rerum voluptas...* Во всем именно опасность нам приятна, хотя как раз ейто и надлежало бы нас отталкивать.

– У вас много книг, – заметил в ответ ему король, обвел взором стены и вздохнул. Он вспомнил свои писания, удобный меховой плащ, монашескую сутану; облачившись в нее, он воображал, что с суетным миром навсегда покончил. Здесь же предстояло бороться.

– А удастся нам добиться чего-нибудь дельного? – спросил он без всякой уверенности в голосе. Его кузен и зять ответил: – За мной задержки не будет.

– И уже преклонил было колено. Король подхватил его, поднял и сказал: – Брось весь этот вздор... Я про церемонии... Говори, чего ты хочешь?

– Сир! Я прошу только ваших приказаний.

– Ах, оставь, выкладывай!

Король ощупал глазами стены – не может ли какая-нибудь книжная полка повернуться на петлях. И так как не нашел потайной двери, которой так опасался, то собственноручно выдвинул кресло на самую середину комнаты. Тут уж никто не смог бы неожиданно наброситься на него; порой его движения становились совсем мальчишескими.

– Может быть, наоборот, вы, сир, ждете чего-нибудь от меня? – спросил Генрих. – Я охотно обсужу ваши пожелания с моими друзьями.

– Это уже не раз обсуждалось. Все дело в том, чтобы вы, наконец, решились, – заявил король неожиданно официальным, даже торжественным тоном. Генрих отлично знал, о чем идет речь: о его переходе в лоно католической церкви. Но он сделал вид, что не понимает, и с напускной горячностью принялся возмущаться и жаловаться на своего наместника в Гиенни. По его словам, маршал Матиньон ничуть не лучше прежнего, Бирона. Генрих приплел сюда даже самого короля: – Вам бы следовало отцом мне быть, а вы по-волчьи воете против меня. – Король возразил, что ведь Генрих не желает повиноваться. – Я-то вам спать

не мешаю, — отозвался Генрих. — А вот из-за ваших преследований я уже полтора года не могу добраться до своей постели.

— Какие вести вы сообщили через ваших дипломатов в Англию? — спросил король.

И тут Генриху пришлось отвести глаза. Правда, Морней писал, что все добрые французы взирают на короля Наваррского, с надеждой, ибо при теперешнем правительстве им живется плохо и от герцога Анжуйского они не ждали ничего путного: он уже себя показал. И вот он умер, а он был последним братом несчастного короля.

— Прошу прощения у вашего величества, — сказал Генрих и еще раз хотел было преклонить колени. Но так как никто его не удержал, он выпрямился сам. Король же решил, что, достигнув кое-каких успехов, можно сохранять и некоторую строгость.

— Неужели вы хотите и впредь быть причиной всех бедствий в стране и толкать королевство на чуть гибели? — спросил он.

— Тут, где повелеваю я, еще ничего не погублено, — отозвался Генрих. Тогда король вернулся к главному вопросу:

— Вы же знаете, каковы мои условия и в чем состоит ваш долг. Разве вы не боитесь моего гнева?

Да, переход в католичество, только это. Генрих сразу понял, чего хочет король. Пусть все идет в королевстве как попало, лишь бы наследник престола сделался католиком.

— Сир! — твердо заявил Генрих. — Это говорите не вы. Вы мудрее ваших слов.

— А вы просто невыносимы, — раздраженно отвечал король, — то садитесь на край стола, то убегаете в конец комнаты, то книгу хватаете с полки. Я ненавижу движение, оно разрушает строгость линий.

Генрих ответил стихом из Горация: «Vitamque sub divo — ... Да не будет у него иного крова, кроме неба, и пусть всю жизнь не ведает покоя!..» При этом Генрих взглянул на господина Монтеня, и тот склонился перед обоими королями, уже не делая между ними различия. Затем снова стал у двери, точно страж.

А король Франции начал сызнова: — И ради этой столь мало приятной жизни вы

упорствуете?

— Разве вы в вашем замке Лувр счастливее? — отпарировал Генрих. — Сир! — продолжал он многозначительно. — Я хочу только произнести вслух то, что вам уже должно быть известно: хоть мне и нанесены многие незаслуженные обиды, я к вам не чувствую ненависти, ибо вы были как воск в руках других. И ненавижу я этих других, а вы — мой государь и повелитель. На вашем престоле сидели искони лишь законные наследники, им не владел ни один самозванец. Так было в течение семи с половиной веков, начиная с Карла Великого!

Эту длинную речь Генрих произнес намеренно, чтобы дать королю время собраться с силами для заявления, ради которого тот сюда и прикатил. Ведь король решил назло Гизам назначить наследником своего кузена Генриха. «А что ему еще остается после смерти брата и — зловещих событий во время похорон, о которых мне сообщил конник? Кто бы я ни был — католик или турок — ты, Валуа, должен назначить меня». Так думал Генрих, в то же время не спуская глаз с лица короля: оно непрерывно меняется — вот его напуская неподвижность перешла в судорожное подергивание, и неудержимо близится взрыв. Последним толчком явилось почему-то упоминание о Карле Великом. Король, который только что был сер лицом, внезапно побагровел и стал похож на Карла Девятого, когда тот еще был тучен и говорил зычным голосом. Он вскочил с кресла и, стоя перед Генрихом, тщательно силился заговорить. Наконец он овладел своим голосом.

— Негодяи! — И проговорил более внятно: — Негодяй Гиз! Теперь он уверяет, будто тоже ведет свой род от Карла Великого! Этого еще не хватало. Какая наглость! Он пишет об этом и распространяет этот бред в моем народе! Он — единственный законный потомок Карла, а все Капетинги, сидевшие на французском престоле, — незаконные потомки. Этого нельзя вынести, Наварра! Какой-то обманщик, чужеземец, и притом ничтожного рода в сравнении с нашим, осмеливается называть нас бастардами, а себя самого — истинным наследником французской короны.

— Видите, до чего дошло, а все потому, что вы слишком долго терпели, — вставил Генрих тоном человека, призывающего другого к благоразумию. Но король был вне себя. Захлебываясь от ярости и запинаясь, пытался он что-то сказать:

— Я ускользнул от его лап... мчался во весь опор... Но я там оставил моих маршалов, Жуайеза и Эпернона... — «Хороши маршалы в двадцать пять лет, да и каким способом они стали ими?» — подумал Генрих.

— Они поступят так, как сочтут нужным, чтобы избавить меня от Гиза... Когда я вернусь, возможно, его уже не будет на свете.

Тут незадачливый Валуа повял, что сказал лишнее — при кузене Наварре, да еще при чужом человеке со слишком умными глазами: наверно, предатель! «Где мой кинжал?» — этот вопрос можно было прямо прочесть на лице бедного короля: таким оно стало черным и отталкивающим. Страх, жажда поскорее убить, лишь бы убрать человека со своего пути, материнская кровь, долгое воспитание в Лувре — все это, вместе взятое, превращает лицо последнего Валуа в какую-то звериную маску. Господину Мишелю де Монтеню хоть и становится не по себе при виде кинжала, но он испытывает глубокую жалость к королю, ибо ничто не делает человека столь беззащитным, как затемнение его разума. И хотя Монтень всего-навсего скромный дворянин, заседающий в королевской палате, но тут сказывается его превосходство и над королем, ибо сам он никогда не теряет способности мыслить, даже во время сна. Поэтому он дерзнул сделать шаг вперед и заговорить.

— Сир! Никогда не следует нам поднимать руку на наших слуг, покамест мы гневаемся. Платон считает это одним из основных правил поведения. Поэтому и сказал однажды лакедемонянин Хариллилоту, который был дерзок: «Клянусь богами, не будь я взбешен, я бы тебя прикончил!»

Господин Мишель де Монтень отлично знал, почему он привел именно этот пример: он хотел напомнить королю о том, какое гигантское расстояние отделяет его от остальных людей, от любого человека — будь он простой дворянин или герцог Гиз. Он всегда государь, а они — слуги, и они не могут оскорбить его, а он не может мстить. Если приведенный им пример и таил в себе долю лести, то все же не противоречил истине и служил умеренности; потому-то философ и привел его. Впрочем, пример имел больший успех, чем гуманист мог желать. Король повернулся боком, прижался лбом к высокой спинке кресла, и по вздрагивающим плечам было видно, что он плачет. Теперь он скорбел безмолвно, и в этой скорби чувствовалась не только боль, но облегчение, покорность, примиренность. Потому-то к этим двум людям, которые легко могли его убить, он и встал спиной, ибо молча проливал слезы. Он уже не боялся никого.

Когда король очнулся от своего внутреннего уединения, глаза его были красны, а лицо — как у тоскующего ребенка. — Знаешь, кузен Наварра, ведь мы лет десять с тобой не видались!

— С тех пор как я проскользнул у вас между пальцев? Неужели десять лет? — поспешно спросил Генрих; у него, как и у короля, лицо вдруг изменилось — стало лицом невинной юности.

— Десять лет прошли, как один день, — сказал кузен Валуа. — И я уже не помню, чем они были заполнены. А у тебя?

— Тяготами жизни? — последовал ответ с вопросительным повышением голоса. Тут Генрих покачал головой.

Кузен Валуа взял его руку и многозначительно пожал, пробормотав вполголоса:

— Все было ошибкой. Ты понимаешь меня? Ошибкой, ослеплением, несчастной случайностью. — Так оправдывают свою неудавшуюся жизнь, и когда настает подобная минута — это минута изумления.

— Кузен Наварра! Неужели так должно было случиться? Вспомни об одном: ведь ей, ей самой ни за что бы не додуматься до Варфоломеевской ночи!

Генрих тоже с удивлением сказал, вспоминая прошлое: — Она же понимала, что

Гизы могут стать опасными после Варфоломеевской ночи. Что они продадут королевство Испании; она мне это и предрекла. Но она была вынуждена действовать вопреки своему более глубокому знанию. — «А уж это поистине глупость», — добавил Генрих про себя. — Признаюсь тебе, — шепнул он на ухо кузену, — я ужасно ее ненавижу — и за свои собственные несчастья и за те огромные и нелепые препятствия, которые она постоянно ставила на пути к благополучию нашей страны.

— А что она сделала из меня! — шептал кузен Валуа. — Я так презирал ее за это!

Тут оба внезапно смолкли, вдруг поняв, что говорят о мадам Екатерине, как об умершей. А зло, сотворенное этой мниможивой, продолжало независимо от нее расти. Кузены снова стали перед фактом, что они противники и настроены враждебно друг к другу. И сейчас же после дружеского перешептывания они вернулись к упрекам.

— Я, Наварра, не требую ничего, кроме твоего перехода в католичество, тогда я смогу объявить тебя наследником престола.

— Я же, Генрих Валуа, предложил бы тебе заключить союз, если бы только был уверен в твоей стойкости.

— А ты, — что дает тебе твою непоколебимую стойкость, Генрих Наварра? Ведь не вера же твоя. Тогда что, хотел бы я знать? — Так допытывался Валуа, поглощенный лишь заботой о том, как бы обрести ее, эту твердость, и идти в жизни прямым путем.

— Сир! — заговорил Генрих уже другим тоном. — Я буду настаивать на том, чтобы вам оказывали должное повиновение; я буду бороться со всеми, кто замышляет зло против вас; чтобы исполнять ваши приказания, я готов отдать всего себя и все, чем я владею. Единственное, к чему я стремлюсь, — это спасение престола. Ведь после вас, сир, я, стою к нему ближе всех.

Таким языком говорит только правда. И когда Генрих затем преклонил колено, король его не остановил, и было ясно, что это уже не пустая церемония. Он поднялся, только когда встал и король. Генрих предчувствовал, что сейчас прозвучат знаменательные слова; их он должен выслушать стоя. Король же сказал, словно перед большим собранием:

— Сегодня я объявляю короля Наваррского моим единственным и законным наследником.

Валуа вдруг схватился за грудь и, покачнувшись, отступил на шаг. Ведь он назначил протестанта наследником католического королевства! Он бросил вызов Лиге, и теперь ее ненависть к нему может толкнуть ее на убийство. Это был самый смелый поступок в его жизни.

Затем он обратился к мэру города Бордо и предложил хорошенько запомнить только что сказанное — на тот случай, если с ним самим случится несчастье до того, как он повторит свое решение в присутствии двора и парламента.

Господин Мишель де Монтень ответил: — Да, обещаю, — и на этот раз не цитировал древних авторов. Он совсем позабыл об них после всего, что открылось ему в этот час, проведенный с королем и наследником. Вернее, он уже обладал этим знанием, но оно получило такое подтверждение, что стало для него как бы новым.

Искушение

Однажды, несколько дней спустя, уже в Париже, король сидел у камина, задумчиво глядя на огонь, и, казалось, даже не слышал, о чем вокруг него говорят придворные. Его любимцы – Жуайез и Эпернон – отсутствовали. Пока король путешествовал, они, вместо того чтобы убить Гиза, стакнулись с ним. В комнате находился толстяк Майенн, брат герцога Гиза, получивший титул герцога дю Мэна.

С самого утра король набирался храбрости, чтобы в присутствии одного из лотарингцев повторить во всеуслышание свое решение, принятое и объявленное им в Бордо. Истекал последний срок: пройдет еще час, и собственные гонцы Гиза, может быть, уже успеют сообщить ему эту весть. Находившиеся в комнате дворяне говорили о брате короля, они обсуждали его болезнь, и его странную смерть – они наблюдают такую смерть уже в третий раз, и она постигла не только его, но и двух его старших братьев. Придворные позволяли себе говорить об этом, хотя можно было предположить, что и самого короля ждет такой же конец. Но для одних короля уже не существовало, хотя он был здесь и присутствовал собственной особой; другие нарочно вели этот разговор, чтобы выслужиться перед герцогом дю Мэном. Вдруг король отвернулся от огня. Он сделал один из своих мальчишеских жестов – от страха; и с беспечностью, которая должна была послужить ему извинением, проговорил: – Вы занимаетесь покойниками.

Он испытующе обвел взглядом придворных, обойдя лишь толстяка, хотя его брюхо особенно лезло в глаза. – Я же занят живыми. Сегодня я объявляю короля Наваррского моим единственным и законным наследником. Он весьма способный правитель, которого я искренне... – Все это он сказал, не переводя дыхания, без пауз, чтобы опаснейшая фраза насчет наследника как можно меньше выделялась, а может быть, даже и вовсе не дошла бы до слуха присутствующих. Однако случилось по-другому. Начался ропот. Обтянутое шелком брюхо надвинулось на короля. А король лопотал еще торопливее:

– Я всегда его искренне любил и знаю, что он мне друг. Он легко увлекается, любит крепкую шутку, но по природе толков. Я убедился, что мы с ним близки по характеру и можем поладить друг с другом.

– Да ведь он протестант! – заорал в ответ Майенн.

– Я ухожу к себе в кабинет, – заявил король, вставая. Придворные

расступились. Дверь, в которую он вышел, осталась открытой, они видели его удаляющуюся спину. И тут Майенн раскричался: — Назначить наследником гугенота, это тебе даром не пройдет, Валуа! Самому уж и терять нечего, а еще престолы раздает!

Король все слышал, пока медленно плелся через соседнюю комнату, чтобы его бегство не было слишком явным. А они именно потому и не закрыли дверь. Иные даже высунули головы, чтобы увидеть раньше других, не затеял ли он что-нибудь опасное. Наиболее пугливые бросились за ним следом. А Майенн бушевал: — Нет, пусть вмешается папа! Мы заставим отлучить Валуа от церкви, — визжал он фистулой. И тут же визжал обратное: — Выбреем ему тонзуру и заточим в монастырь!

Они отвесили толстяку более низкий поклон, чем обычно, и назвали его «князем веры» — титул, который Майенн себе присвоил, чтобы в глазах простонародья и почтенных горожан иметь хоть какое-то преимущество перед своим братом Гизом. Пока они не победили, господа лотарингцы все же держались друг друга. А потом каждый надеялся отнять у остальных плоды победы. Майенн посоветовался не со своим братом, которого, впрочем, и не было в городе, а со своей сестрой, герцогиней де Монпансье, и Лига вскоре выслала народ на улицы. Там он подвергся обработке ораторов, читал плакаты, и сам, взбудораженный всем услышанным, записывал взволновавшие его впечатления на стенах домов. Валуа проиграл бесповоротно, что бы он теперь ни сделал. Если он не обратится за помощью к Наварре, он погиб. А если примет помощь, — и подавно: тогда мы заявим, что он сам гугенот. Пусть идет в монахи, ничем другим он никогда и не был. Вот что они писали на стенах и орали друг другу в разинутые рты.

В то время как происходили вышеописанные события, герцог Гиз был на охоте. Он нарочно уехал из города. На обратном пути до него дошли первые вести, но он не мог прискакать столь быстро, чтобы помешать сестре произносить пламенные речи с балкона ее дворца и поджигать студентов. Когда он, наконец, прибыл, она только что закончила одно из своих яростных выступлений и уже перешла к следующему. На этот раз она выступала перед королем Франции.

Герцогиня де Монпансье, рослая, статная, явилась в Лувр в своем портшезе с

таким видом, словно ее царствование уже началось. Дворцовая охрана разбежалась

— до того страшен был вид герцогини: волосы свисали на деспотический нос, жестокие глаза свирепо сверкали, в руках она сжимала кнут, повсюду на ней сверкали драгоценные камни, даже на кнуте. Она потребовала, чтобы вызвали короля, и так как его слуги попрятались, то он, наконец, вышел один из своих покоев.

— Мадам, я мог бы заточить вас в Бастилию. — Не дав ей опомниться, он выхватил у нее кнут и швырнул в угол.

— У меня еще есть ножницы, — завизжала фурия и показала их. Ножницы были золотые и висели у нее на поясе. — У них особое назначение! — заявила она, меча на него кровожадные взгляды.

Он знал, какое назначение — выстричь ему тонзуру. И сказал: — Госпожа Лига еще более злая дама, чем вы, мадам. Но и ей не выстричь мне тонзуры.

Она засмеялась полубезумным смехом: — Сир! Вы не способны удовлетворить ни одной женщины! Франция вам никогда не принадлежала, госпожа Лига также, а я — тем меньше. — Так как она при этом размахивала ножницами у него перед носом, он вдруг выхватил их; мгновение — и он уже держал в руке ее локон, который срезал с ее красивой головы с буйными кудрями. Охваченная ужасом, она вдруг умолкла, а король сказал: — Этот локон, мадам, я оставляю себе на память о вашем посещении.

— Откуда у вас такая смелость? — спросила герцогиня, которая начала приходить в себя и уже ясно видела лицо короля. Несмотря на то, что он стоял перед ней собственной особой, она до сих пор видела его лишь смутно, как во сне. — Что это на вас нашло? — спросила она.

Король не ответил. Он пожал плечами и уже намеревался вернуться к себе. Но так как все двери остались распахнутыми, он увидел, как через самые отдаленные ворвался герцог Гиз. Королю стало не по себе; однако он не побегал, а топнул ногой и, насколько мог мужественно и властно, позвал охрану. Уже со всех сторон к нему спешили люди, появился, наконец, и маршал Жуайез. Что до Гиза, то он

вошел, совсем запыхавшись, и принялся заверять короля в своей преданности.

Он-де бросил на престононародье своих солдат, дерзко заявил Гиз. Выставил себя преданнейшим слугой. Но король перебил его:

— Что это сколько бочек подвозят по реке? Или народ будут каждый день поить, как сегодня? Ведь из пустых бочек очень легко построить баррикады! — В тоне Валуа была угроза, куда девалась его обычная слабость. Бочки, разумеется, годились для баррикад, Гиз отлично знал это, но при виде Валуа минута показалась ему самой неподходящей. Конечно, герцог умел владеть собою лучше, чем его сестра, и был умнее кардинала Лотарингского, который, в качестве «князя церкви», притязал на право выстричь королю тонзуру. Сестру же, которая, услышав о бочках, снова начала размахивать ножницами, герцог гневно остановил. Впрочем, эти угрожающие движения, которые она повторяла слишком усердно, становились уже просто смешными, особенно при том, что король держался поистине величаво.

— Мадам! — воскликнул герцог. — Ваше ревностное служение святой церкви ослепляет вас. Мы — слуги короля, который пойдет войной на протестантов: он уже повышает налоги, а это главное. Сейчас нам грозит вторжение немцев в наше королевство, гугеноты их опять призвали. — И добавил, обратившись к королю: — Сир! Я готов служить вам моим мечом и ручаюсь, что все ваши враги будут уничтожены.

Последние слова он особенно подчеркнул и многозначительно повторил: — Все, все ваши враги, сир! — Этим Гиз как бы принуждал Валуа наконец понять, в чьей гибели он клянется. — И король Наваррский тоже... — проговорил он с расстановкой, следя за ненавистным лицом короля, чтобы узнать, какое впечатление это на него произведет. У короля что-то вспыхнуло в глазах, а губы плотно сжались. Тут Гиз понял. Он поклонился, взял сестру за руку и повел из комнаты. — Нечего разыгрывать фурию! — злобно прошипел он ей в затылок.

Генрих Валуа задумчиво смотрел им вслед. «Генрих Гиз, как я когда-то ждал тебя! Я — твой пленник, и сейчас тыходишь ко мне с кнутом в руках. Признаюсь, довольно мучительное испытание, но я все это уже преодолел. Берегись меня, Генрих Гиз! У меня есть друг!» Он посмотрел в спину уходящему врагу и стал с восхищением думать о своем друге, — почти так же грезил бы женщина:

«Наварра, достаточно ли стойко я выступил? Была ли у меня твоя стойкость?»

Он все еще видел спину удалявшегося врага.

Несчастный король вдруг почувствовал, что снова берет верх его обычная природа, после того как он столь долго старался уподобиться другу. — Жуайез! — прошипел он. — Избавь меня от того вон человека! — Молодой маршал побледнел и молча отвернулся к стене. У короля пока еще не было доказательств, что этот фаворит изменил ему; теперь открылась полуизмена, а она гнуснее полной. Король вышел и, дойдя до своей комнаты, повалился без сил; он устал от разнообразных и бурных чувств — слишком бурных для его натуры и для вечерних часов.

Когда жители города узнали о болезни тирана, все решили: он все равно что умер — и плясали на улицах от радости. Значит, скоро конец кометам, чуме и прочим бедствиям, в которых всегда винят плохого правителя, а главное — поборам. Простонародью и почтенным горожанам приходилось платить чудовищные суммы, чтобы священная Лига раз и навсегда могла покончить с гугенотами. Непопулярность, связанную с военными расходами, она предоставляла Валуа. Бедняга защищался изо всех сил. Во-первых, он снова вступил в переговоры с Наваррой относительно его перехода в католичество, после чего они вместе разделались бы с этой фурией Лигой. При этом кой-какой урон потерпел бы и Наварра, и единственным государем в своем королевстве наконец сделался бы король.

Валуа в глубине души никак не мог постичь, почему его друг не желает оказать ему этой маленькой любезности и переменить свою веру. Когда ему чего-нибудь страстно хотелось, от него ускользало, чего это может стоить другому, в данном случае — Генриху, который утратил бы уважение к самому себе и доверие преданных сторонников. А человеку, изменившему своей партии, враждебная, к которой он переметнется, все равно не поверит и служить не станет; да и сам Валуа стал бы вскоре относиться к нему с презрением. Ведь уже сейчас король предлагает ему за его переход главным образом деньги, в чем нет ничего необычного, ибо убеждения тоже имеют свою цену. Не продается только добродетель, основа которой — знание. Она-то и перевесила на заседании Совета в Нераке. — Если мы вооружимся, король

будет с нами считаться, а если будет считаться, то и призовет нас. В союзе же с ним мы снесем головы нашим врагам.

— Я согласен! — воскликнул Генрих.

В последний раз послал Валуа к нему своего второго фаворита Эпернона, от которого еще ожидал услуг и даже любви. В те времена Жуайез для него — уже ничто, а ведь он когда-то называл его своим сыном, дал ему герцогство и сестру королевы в придачу. Есть слабые люди, которые не цепляются за тех, кто от них уходит: напротив, они отстраняются сами, быстро и неудержимо. И если бы изменник даже захотел, он уже не смог бы загладить свой проступок. Его уже принесли в жертву, а он еще ничего не подозревает. Жуайез по-прежнему блестящ, весел, полон гордости за свою превосходную армию, которая растет с каждым днем, и в ней больше знатных имен, прославленных гербов, дорогих лошадей и кольчуг из чистого серебра, чем в каком-либо королевском войске; и вести ее должен двадцатипятилетний молодой человек, избранник счастья.

Король улыбается ему, а сам думает: «Важничай, пока еще не поздно. Наварра сильнее вас. Я знаю это из первых рук, ибо его дорогая супруга — моя родная сестра и она охотно выдала мне его тайны. Она хочет, чтобы я помог ей деньгами и людьми против ее возлюбленного повелителя, которого она ненавидит, — только я могу понять такую ненависть. У нас в жилах течет одна кровь. Я поступлю правильно, если не буду давать Наварре передохнуть, но и Лиге тоже. Буду по очереди посылать свои войска против обоих, и даже с теми же маршалами: то Матиньона, то Майенна. Охотнее всего я бы послал Гиза, чтобы Наварра его разбил; к сожалению, Гиз хитер. Он предпочтет прогнать немцев, черт бы его побрал! Но по крайней мере до Наварры он не доберется: я не желаю, чтобы с моим другом Наваррой случилась беда. И не хочу также, чтобы было уничтожено мое войско. Все это перепуталось у меня в голове; но это их вина, а не моя».

Так размышляя, несчастный король посылал своих маршалов то против Лиги, то против кузена Наварры. Наварре он охотнее стал бы помогать, чем противодействовать, но именно сейчас, когда все так запуталось, он вынужден допустить, чтобы Наварру отлучили от церкви — для протестанта случай небывалый.

Генрих отвечал воззваниями, которые расклеивались на стенах домов в Риме, этом городе папы, и папа дивился на него, и о нем говорил весь христианский мир. Бедняга король скорее хотел бы ослабить Лигу, а не усиливать ее, и все-таки, неведомо как, заключил с ней новый договор. Когда Генрих услышал об этом в своем Нераке, он просидел один всю ночь, не сомкнув глаз.

Он погрузился в мысли о том, что теперь надвинулось и было так же неотвратно, как наступление утра. Это была война, поистине война за существование, уже не бодрящие, предварительные маневры, а последнее свершение, во всей своей глубочайшей суровости. Опершись головою на руку, при свете догорающих свечей, он еще раз окинул взором все пережитое, перед ним прошли его веселые маленькие победы, быстро забывавшиеся поражения, долгие переезды верхом, непокорные городки, мятежные подданные и то, от чего он так худел и уставал, — десять лет трудов и усилий.

Все это было и прошло: Генрих увидел перед собою завершение — в образе бесчисленных армий, извивающихся подобно длинному червю, который охватывал всю землю. Убей его или смирись, иначе тебе конец. Только ты, только против тебя они вооружились, иначе они бы уж давно снюхались и уладили свои дела, — только ты им мешаешь. Не суждено тебе мирно унаследовать престол, сначала должны лечь десятки тысяч трупов. Я сам завалю ими мое королевство!

«Кузен Валуа не сдержал своего слова, да я и не ждал, что он сдержит. Он будет покоряться Лиге, пока та его не убьет. После своей победы она сделает это наверняка. Кузен Валуа, ты надеешься на то, что я разобью и тебя и Лигу? Да, в этом и твое спасение и мое. Твоя неверность укрепила наш союз. Опасная неверность! Безнадежный союз! Как бы я хотел умолить господа бога моего, чтобы он отвел от меня это испытание или чтобы оно было уже позади и я бы только собственным телом прикрывал мою землю, мое королевство!»

Это испытание пришло к тридцатичетырехлетнему королю поздним летом, однажды на рассвете, в час величайшей усталости, после ночи, проведенной без сна. Все свечи догорели. И тут же в окнах забрезжило утро, а Генрих увидел, что усы у него наполовину поседели.

Радостный день

Генрих не считает себя трагической фигурой, поэтому он не стоит на виду у всех, в центре событий. Действуют другие и воображают себя важными лицами.

Например, Гиз, он желает быть победителем немецкой армии, которая идет из Швейцарии на помощь гугенотам; однако для славы он до сих пор выиграл слишком

мало сражений. И молодой маршал Жуайез радуется, точно ребенок, намереваясь со

своими отборными рыцарями разбить короля Наваррского, — только вот посидит

немного в одном из взятых им по пути городов и после жирной жизни при дворе и

всяких излишеств немного полечится. Налегке и с очищенным желудком должен полководец выезжать в ратное поле.

Не только этот новый противник поджидал короля Наваррского: старик Бирон, тот самый, который был его злейшим врагом в дни мелкой борьбы Генриха на собственной земле, — Бирон оказался тут как тут. Тогда король Наваррский сменил

провинцию Гиеннь на провинцию Сентонж, ибо его спасение состояло в том, чтобы

наступать: перенести войну на север, угрожать Парижу, только бы Фама всегда

летела, трубя, впереди. Старичку Бирону вздумалось напасть на некий остров, он

назывался Маран и лежал неподалеку от берега океана; Генрих заранее расписал

его своей подруге Коризанде самыми пленительными красками. Полоса воды, окружавшая этот чарующий остров садов, весьма некстати переходила в болото, в

нем-то и завязло войско противника. Бирону пришлось снять осаду, сам он был

ранен, а деньги, полученные от двора, все вышли. Да и откуда их было взять? Как

мог король, проматывавший со своими фаворитами все, что оставалось от податей и

налогов после того, как ими в достаточной мере поживились воры и священная

Лига, как мог такой государь содержать одновременно еще три-четыре армии? И

Бирон первый не получил денег. Кое-что удалось перехватить Генриху, правда,

всего несколько тысяч экю, но это решило поражение маршала, ибо его наемники

разбежались.

Попутно Генрих отделался и от своего кузена Конде: уж слишком резок был контраст между успехами Генриха и неудачами, которые терпел в то же самое время

его соперник! Победа, одержанная Генрихом на острове, склонила на его сторону

упрямых протестантов из Ла-Рошели, которые, не будь ее, охотно предпочли бы испытанного и верного протестанта и посредственного вождя Конде. А теперь многочисленные промахи их единоверца стали особенно очевидны. И в самых строгих домах люди, вспоминая о нем, неодобрительно покачивали головой. Впервые над ним посмеялись в Неракском замке, и Конде этого не простил.

Когда Жуайез наконец облегчился и поехал в ратное поле, настала его очередь. И тут при столкновении с самой большой и хорошо вооруженной из королевских армий, в открытом поле, в день решающей битвы, Генрих уже становится трагической фигурой. Он становится даже чем-то большим; борцом за веру по образу и подобию библейских героев. И все сомнения людей исчезают. Ведь он сражается уже не ради земли или денег и не ради престола: он жертвует всем ради славы божьей; с непоколебимой решимостью принимает сторону слабых и угнетенных, и на нем благословение царя небесного. У него ясный взор, как у истинного борца за веру. А все эти слухи о его любовных похождениях, сумасбродных проделках и равнодушии к религии — все это неправда. Ты наш герой и воин, ты избранник божий, мы спешим к тебе.

Так притекали к нему люди отовсюду и, уже заранее окрыленные его славой, еще больше воодушевлялись, увидев воочию, какой он простой и добрый. Своими руками рыл он окопы, ел стоя, спал в доспехах и — смеялся. Ради этого смеха люди оставались с ним — были деньги или их не было, было чем закусить или приходилось поститься. Даже своих пасторов умел он развеселить, а по ночам будил капитана Тюрена и капитана Роклора, и все сидели, прислушиваясь, держа фитили наготове.

— Сир! Какой толк в том, что мы бодрствуем ночью и враг нас не застанет врасплох? Ведь днем вы рискуете своей драгоценной особой, как будто не от вас все зависит: не таясь, переходите вброд болота, а кругом падают пули и взлетают брызги.

— И, может быть, завтра меня убьют, — отвечал Генрих. — Но дело мое потому и победит, что дело это угодно господу.

Он говорил это при блеске звезд и верил в свои слова глубоко, как

верить, ибо его уверенность ни на чем не была основана; да, поистине, вместе с ним погибло бы и все его дело; но если бог желал спасти это королевство, то он волей-неволей, а был обязан сберечь Генриху жизнь.

Неизбежно наступали и периоды усталости. Ведь по две недели не ложишься в постель, несешь постоянную заботу о своих людях и о противнике, которого надо заманить куда следует. Когда они, наконец, столкнулись, — герцог Жуайез и король Наваррский, — то последний оказался зажатым между двумя реками и отрезанным от своей артиллерии. Что помогло ему выбраться из столь трудного положения? Только быстрота, подвижность да его удачливая судьба. И вышло так, что тем тяжеловеснее и медлительнее оказался противник. Едва забрезжило утро, а гугеноты уже запели псалмы перед своими палатками; враг строился весьма неторопливо. Солдаты Генриха тут же принялись высмеивать противника и осыпать бранью: вон они, изнеженные придворные, обжоры, только и умеют, что налоги да пот из бедняков выжимать.

— Хорошо пронесло вас, господин герцог? А то мы тут, — страх действует получше лакрицы. Нажрались откупов да пенсионов, где уж вам, господам, их переварить! То-то вы с места не можете сдвинуться. Все поле боя провоняло вашими ароматическими водами. Ничего, поработайте как следует, по-другому запахнете!

Звонкие голоса далеко разносят оскорбления и угрозы. А вдали, в лучах восходящего светила сверкает и блестит серебряное войско — войско богачей, золотые кинжалы, золотые шлемы — пропасть золота. Оружие отделано драгоценными камнями, карманы набиты деньгами, головы — расчетами и помыслами о наживе. Под каждым серебряным панцирем бьется не только сердце, — власть, власть бьется в вас, власть мытарей и ростовщиков, которые наживаются на горе вдов и сирот. — Эй ты, сукин сын! — зычно крикнул какой-то хмурый старик, но с зоркими глазами. — Ну-ка, обернись, я тебя узнал, это ты со своими наемниками поджег мой замок! Ты ведь из Лиги!

Его слова еще сильнее разожгли ярость протестантского войска. Ненавистный враг — это, оказывается, не только королевские прихвостни; шайки убийц из священной Лиги тоже туда затесались. Они разрушали наши молитвенные дома, поджаривали наших пасторов, начиняли порохом тела наших женщин. Это вы отнимаете у нас отечество и нашу веру, вы не желаете, чтобы мы жили на свете и

размышляли, а мы для этого и сотворены создателем. Но бог хочет, чтобы враги сегодня погибли. Так говорили пасторы, обходявшие ряды и тоже одетые в полукафтаны и колеты; пусть воины напоследок услышат слово истины. Пастор еще не кончил, а командир уже выстраивал роту к бою.

Короля Наваррского видели и узнавали повсюду, хотя он был одет только в серую кожу да железо; от него ничто не ускользало, особенно же следил он за каждым движением герцога де Жуайеза. Оба не торопились схватиться всерьез. Ведь в конце концов один должен предстать перед богом, другой останется победителем на поле боя. Каждая из этих судеб возвышенна; поэтому, уважительно взирая друг на друга, они решают предоставить друг другу все возможные преимущества до того, как дело начнется всерьез. Жуайез выполняет сложные маневры со своей слишком ослепительной конницей, и никто ему не мешает. А тем временем Наварра успевает переправить через реку свои последние кулеврины. Обратился он и к двум кузенам, желая напомнить об их кровной близости с ним. Это были Конде и Бурбон Суассонский, возлюбленный его сестры Екатерины.

Генрих решил, что он уже приготовился, когда к нему подошел Филипп Морней с двумя пасторами. Без обиняков – ведь сейчас начнется сражение и, может быть, придется пожертвовать жизнью – Морней бросил своему государю упрек в том, что он опять завел себе в Ла-Рошели любовную связь, и она-то в эти последние минуты лежит тяжелым гнетом на добродетели гугенотов. Генрих признал перед пасторами свою вину. – Всегда смирайся перед богом и будь тверд перед людьми! – И поскакал прочь, ибо заметил перебежчика: какой-то офицер решительно двигался со своим отрядом между холмами по ничейной земле. – Фервак! – крикнул Генрих еще издали. – Когда мы победим, переходите к нам!

И тотчас повернул обратно, даже не взглянув, что последовало за его призывом. Однако люди этого честного и скромного воина принудили своего начальника принять решение, ибо они пошли за королем Наваррским. Генрих увидел по солнцу, что всего лишь девять часов, а оба войска уже два часа маневрировали на глазах друг у друга. В октябре это еще раннее утро; свет падал косыми лучами из-за облаков, которые плыли медленно и низко над равниной и были видны очень ясно. Даже великие армии с их полководцами кажутся совсем ничтожными под

огромными облаками, а за ними есть ведь еще небо, и, может быть, оно нас
знать
не хочет.

Генрих привстал на стременах. Обернувшись к густым рядам своих солдат,
крикнул им за минуту до того, как ударить по врагу: — Друзья, послужим
славе
божьей! — Он крикнул это именно потому, что нависшее над ними небо было
так
близко. — Мы должны победить! Наша честь этого требует! Или хоть спасем
вечную
жизнь нашей души! Путь перед нами открыт. Вперед, во имя божье, за
которое мы
сражаемся! — Говоря все это своим солдатам, Генрих в то же время
обдумывал те
приказы, которые должен будет сейчас отдать. Однако вышло иначе, и
протестантское войско без всякого приказа или сговора вдруг опустилось на
колени и начало молиться, все войско. И эта молитва была подобна буре, и
грому,
и гулу колоколов, когда бьют в набат. Войско пело псалом 117[28. — В
русском синодальном переводе библии это псалом 118.]: «Славьте; господа,
ибо он благ, ибо во век милость
его».

И тогда сердце Генриха словно воспарило в радостном испуге, — и он узнал
то,
что было ему некогда открыто на берегу океана: целое войско опускается на
колени и молится, вместо того чтобы идти в наступление, — так оно уверено
в
предначертанной ему свыше победе. И Генрих тоже сложил руки на груди,
поднял
голову и стал повторять вместе со всеми: «Все народы окружили меня, но
именем
господним я низложил их. Возрадуемся и возвеселимся в оный радостный
день».

И он действительно возрадовался, возрадовался, как никогда. Сей день
сотворил господь, сей день, в который мы помчимся вперед и ударим на
своих
врагов, не колеблясь. И усы сегодня не поседеют от предательства,
неизвестности
и горя. Сей день, который сотворил господь, не ведает сомнений, ибо перед
нами
враг. Сегодня мы сильны верой, ибо для нас нет выбора, мы должны
победить. И
потому это радостный день.

Герцог де Жуайез увидел, что у противника творится что-то странное, и
воскликнул: — Король Наваррский трусит! — Ему ответил Жан де Монталамбер:
—
Сударь, вы и ваши придворные еще не знаете, что такое рукопашная схватка
с
гугенотами. Когда у них такие лица — это не к добру. — В ответ на его
слова

всадники в серебряных латах расхохотались особенно пренебрежительно. Ибо они ничего не поняли, ни над чем не задумались.

Ведь там против них стоит армия бедняков. Там стоит армия гонимых за правду. Армия тех, в ком нередко живет добродетель, а иногда и мудрость. У их короля, с тех пор как начался этот поход, лицо осунулось, на нем, как и на всех, лишь серый шлем и панцирь, и единственная рубашка на теле еще не просохла после стирки. Все, чем владели он сам и его маленькая страна, отдал он этому войску; и каждый солдат принес сюда то, что у него осталось, принес сюда и все свое счастье. Если они проиграют битву, им конец, придется уходить на чужбину. Вот они еще стоят на коленях на родной земле, вызывают к господу, дергают за веревки колоколов, висящих между облаками. «Именем господним низложу все народы. Сей день — радостный день».

Случилось так, что при первом столкновении рыцари глубоко врезались в ряды аркебузир-гугенотов. Они даже погнали часть конницы Генриха Наваррского и гнали ее до города Кутра, так что солдаты французского короля уже принялись грабить обозы. — Победа! — кричали они, и Жуайез решил, что настало время выслать вперед пехоту. И тут произошло нечто неожиданное. Протестанты начали из-под прикрытия метко обстреливать фланги королевского войска, которое стреляло очень плохо, потому что его пушки стояли слишком низко. И вот пехота бежит, конница оттеснена. Завязывается рукопашный бой, король Наваррский в пылу сражения обхватывает дворянина из вражеского стана. — Сдавайся, филистимлянин! — кричит он. Генрих, по-видимому, чувствует себя Самсоном, но лучше бы он все-таки выстрелил в филистимлянина, ибо чуть не поплатился жизнью за свое великодушие.

Когда герцог де Жуайез увидел, что все пропало, он кинулся вместе со своим братом, господином де Сен-Совером, в самую гущу схватки и погиб, как того желал. Он был всего лишь фаворитом и начал свою карьеру не слишком достойно. Но когда он столь возвеличился, гордость подсказала ему, что хоть умереть надо с достоинством.

Не успел он вздохнуть в последний раз, как все его войско разбежалось. Гугеноты преследовали врага еще на протяжении двух-трех миль: каждый гнался за намеренным им прекрасным рыцарем, надеясь пообчистить ему карманы, захватить его в плен и вернуть свободу только за хорошие денежки. На поле боя остались две тысячи убитых, почти сплошь католики, а так оно было пусто. Убитые валялись среди лошадей и оружия, все это было набросано грудями, но эти холмики образовались сами собой, без человеческого умысла, как образуются другие холмики, состоящие из песка и травы. Среди песка, травы и убитых бродит какая-то одинокая согбенная фигура и вглядывается в лица; вот она нашла, узнала, пошатнулась от боли и опять жадно вглядывается в густеющих сумерках, под низкими тучами.

В Кутра, в верхней зале «Белого коня», победители обедали, а внизу на столе лежали тела герцога Жуайеза и его брата. Король Наваррский вернулся, откуда — неизвестно; в суете победы его еще никто не хватился. Его штаб-квартира оказалась переполненной ранеными пленными, и он пошел в гостиницу; тут некоторые заметили, что глаза у него красные. Сначала он преклонил колена перед телами обоих побежденных; затем сделал над собой усилие, принял веселый вид и поспешил наверх, чтобы отпраздновать вместе с теми, кто смеялся и пировал, великую удачу. Никогда еще ревнители истинной веры не одерживали такой победы, даже во времена господина адмирала, и его старые соратники были с этим согласны. Когда вошел король Наваррский, все вскочили со скамей, что есть силы затопали, а потом затаили дыхание, чтобы воцарилась полнейшая тишина.

Генрих, смеясь, подбежал к ним и воскликнул: — Пока это не вечная жизнь, ее мы еще не завоевали, но завоевали земную! — Он схватил самую большую чашу и перечекался со всеми другими чашами, которые ему протягивали его храбрые командиры. Затем воины принялись уничтожать все, что было нагружено, навалено на огромных блюдах, и Генрих не отставал от них. Громко рассказывали они о своих славных делах в этом бою, а Генрих — о своих, голосом звонким, как труба. В длинной зале воздух был спертый от дыма факелов, чада плиты и горячего пота солдат. Вся их кожаная одежда была покрыта темными пятнами — то ли их кровь, то ли кровь убитых врагов? «Я вижу вас, — вы же не видите, что я плакал... Но довольно уж грустить о моих единоплеменниках, которых мне самому пришлось

прикончить, а ведь они могли бы впоследствии преданно мне служить. Вон свисают с потолка их знамена – все, что от них осталось. Это хорошо, но знамя короля Франции я не возьму себе, и я не хочу, чтобы оно лежало внизу на столе, пока я наверху пирую, Это – нет, клянусь», – говорил он себе, в то же время весело рассказывая своим сотрапезникам о том, как он сражался.

Валуа стоит с остатками своего войска на берегу Луары и прикрывает свое королевство. «Я не причиню тебе вреда, Валуа, ведь я сражаюсь за твое королевство. Нам еще нужно покончить с Гизом, мы оба это знаем. Пусть теперь гонит немецких ландскнехтов обратно в Швейцарию, а ты, мой Валуа, вместо него войдешь победителем в свою столицу. Ибо я не причиню тебе вреда, мы понимаем друг друга».

Сказано – сделано, и на другой день Генрих сел на коня, решив через всю Гиеннь проехать в Беарн; его сопровождал конный отряд с двадцатью двумя отнятыми у врага знаменами, он вез их в дар графине Грамон. Он вел себя романтически, все видели это. Вместо того чтобы закрепить победу и разбить самого короля, он отдался своим чувствам и повез захваченные им пестрые знамена, желая сложить их к ногам своей подруги. Это вызвало у вчерашних победителей великое разочарование; даже в измене обвиняют Генриха иноземные протестанты, которым тем легче говорить, чем дальше они от этого королевства.

И вот он прибыл, а на лестнице своего замка, вся в белом, осыпанная жемчугами, стояла фея Коризанда; такой сказочной он видел ее только в своих грезах. Все знамена были развернуты и склонились перед нею; затем, как будто только теперь он стал этого достоин, Генрих поднялся к ней и, взяв ее за руку, увел в замок. Она же не находила слов, чтобы выразить свое счастье. Так счастлива была его муза, что забыла обо всем, кроме его победы и его великого пути. Она позабыла и горечь и собственные притязания, ее доверие было полно кротости. По-матерински жалела его, радовалась, что он вознагражден за свои труды, а надо бы ей пожелать, чтобы они продолжались (как оно потом и случилось). Пока счастье еще зыбко, не проходит и время музыки; нынче же для нее радостный день.

Imperceptiblement il avance. Tout le sert: et ses efforts et les efforts des autres pour le refouler, ou le tuer. Un jour on s'aperçoit qu'il est fameux et que la chance le designe. Or, sa vraie chance c'est sa fermeté naturelle. Il sait ce qu'il veut: par cela il se distingue des indécis. Il sait surtout ce qui est bien et sera admis par la conscience des hommes ses pareils. Cela le met franchement à part. Personne parmi ceux qui s'agitent dans cette ambiance trouble n'est aussi sûr que lui des lois morales. Qu'on ne cherche pas plus loin les origines de sa renommée qui ne sera plus jamais obscure. Les contemporains d'alors et de quelques autres époques, ont pour habitude de s'incliner devant tout succès, même infamé, quitte se réjouir de ce passage; soufflait un vent de folie. Par contre, les succès de Henri n'étaient pas pour humilier les hommes, ce que ne vivent guère la plupart des chefs heureux. Ils devaient plutôt les rehausser dans leur propre estime. On ne voit pas d'habitude l'heritier d'une couronne, que le parti dominant repudie violemment, gagner sa cause par des procédés d'une honnêteté pathétique, le roi même que force lui est de combattre. Combien il voudrait aider ce roi, au lieu de devoir le diminuer, lui et son royaume. Il a eu ses heures de faiblesse et la tentation d'en finir ne lui est pas restée inconnue. Cela le regarde. Il mesure qu'il approchait du trône il a fait comprendre au monde qu'on peut être fort tout en restant humain, et qu'on défend les royaumes tout en défendant la saine raison.

Почение

Неприметно движется он вперед. Все служит ему: и его усилия и усилия других, желающих низвергнуть его либо убить. Настанет день, когда все увидят, что он прославлен и отмечен удачей. Но его истинная удача – в прирожденной твердости характера. Он знает, чего хочет: этим-то он и отличается от людей

нерешительных. Главное же — он знает, что хорошо и будет одобрено совестью его ближних. Это явно ставит его выше других. Ни один из мечущихся, подобно ему, в туманной действительности не уверен столь твердо в своем знании нравственных законов. Незачем искать других причин для его славы, которая более уже не померкнет. Его современники, а также люди иных эпох привыкли склоняться перед любым успехом, даже подлым, чтобы затем тотчас отвернуться, едва будет пройдено ущелье, где на них подуло ветром безумия. Напротив, Генрих не стремился через свои успехи унижить других, чем грешит большинство удачливых вождей, меж тем как этим успехам надлежало бы скорее возвышать человека в его собственном мнении. Редко увидишь, чтобы наследник престола, которого господствующая партия столь яростно отвергает, мог бы деяниями, преисполненными самой возвышенной честности, склонить на свою сторону самого короля, хотя поневоле приходится с ним бороться. И как хотел бы он помочь этому королю, а не быть вынужденным умалять его славу и его королевство! Однако бывали и у этого наследника минуты слабости, соблазн все бросить и ему не остался чужд. Но это его дело. По мере того как он приближался к престолу, он показал миру, что можно быть сильным, оставаясь человечным, и что, защищая ясность разума, защищаешь и государство.

IX. Мертвецы при дороге

Кто отважится на это?

9 мая 1588 года герцог Гиз с горсточкой офицеров тайком пробирается в Париж. Король передал ему просьбу, смиренную просьбу, чтобы он не появлялся. Валуа знает: само присутствие Гиза ускорит или гибель короля, или же приведет к гибели противника. Кто из них пойдет на риск, и пойдет первым? Гиз в свое время уничтожил иноземную армию гугенотов, а королевское войско под командой Жуайеза было, наоборот, разбито Наваррой. И все-таки несчастный король попытался изобразить победителя; а теперь и народ и почтенные горожане единодушно его

презирают. Парламентарии, верховные судьи королевства – почти единственные, кто еще держит сторону короля; эти-то думать умеют. При столь неясном положении отклоняться от закона опасно, а закон – это король. Но кому они скажут, кому могут объяснить? Ни богачам, которым Гиз, а не угасающий Валуа гарантирует сохранность их денег, ни взволнованным простолюдинам на улицах, вопящим о голоде. Голодать им не впервой, и нет никаких оснований предполагать, что в ближайшее время не придется наложить на себя еще более строгий пост. Толпа, допустив однажды неверный выбор вожака, совершает и дальше одни глупости. Эти люди – за Гиза, а он, оказывается, авантюрист и архиплут, подкупленный врагом. Их противоестественная приверженность к нему порождает в них ярость и страх – так сопротивляется их совесть, но они этого не понимают. В Париже расстройство умов, потому и кричат о воображаемом голоде.

Гиз со своими пятью-шестью всадниками добирается до многолюдной улицы, все еще не узнанный, закрывая лицо шляпой и плащом. Город, особенно многочисленные монастыри, битком набит его войсками, он может их кликнуть, где бы он ни оказался. Но Гиз разыгрывает бесстрашного и таинственного рыцаря, чтобы произвести впечатление. Ему почти сорок лет, у него куча сыновей, но он все еще держится за ошеломляющую и грубую театральность тех приемов, с какими выступают на сцене люди, не имеющие к тому призвания. Некий молодой человек, которому это поручено, стаскивает, плутишка, с таинственного всадника шляпу и плащ и кричит звонким голосом: – Откройте, благородный рыцарь!

А в это время в замке Лувр очень старая королева, мадам Екатерина, говорила королю: – Гиз – это костыль моей старости. – А сын тяжелым взглядом смотрел на виновницу Варфоломеевской ночи, последствия которой обрушились теперь на него, это было ему ясно и без особых донесений. Впрочем, и они не заставили себя ждать. С приездом герцога Гиза тут же пошла молва о его необычайной популярности. – Мы спасены! – воскликнула первой некая изысканная дама, обращаясь к герцогу, и сняла маску, закрывавшую ей верхнюю часть лица. – Дорогой повелитель, мы спасены! – И тут по всей улице прокатилась волна восторга. Значит, голоду конец, вождь изгоняет призрак голода! Льются слезы радости. А сапоги, которые свешиваются с коня, можно просто облобызать. К

герцогу старались прикоснуться четками, чтобы он их освятил, и, конечно, в сутолоке немало народу и передавали.

Пока полковник-корсиканец все это докладывал, король на него ни разу не взглянул. Он не сводил глаз с матери, и она это чувствовала, ибо взгляд у него был тяжелый. Она же бормотала себе под нос: — Гиз — костыль моей старости. — Все это говорилось лишь для того, чтобы утвердить себя в своей глупости и настаивать на ней даже во вред себе; а ведь могла бы уж прийти минута просветления. Лицо у королевы стало совсем землистое — ну, прямо земля на погосте; казалось, старуха туда и возвращается, когда пошла прочь, нащупывая костылем дорогу, постукивая, шаркая, делая зигзаги и все больше скрючиваясь; под конец она согнулась пополам.

Корсиканский полковник излагал свое мнение, ибо его заверили, что совершенно так же смотрит на дело и король: герцога необходимо заколоть. Присутствовавшее тут же духовное лицо одобрило эту мысль, сославшись на подходящую цитату из священного писания. Несколько наиболее решительных придворных поддержали его, и король не возражал; его молчание они приняли за согласие. Между собой они начали обсуждать, много ли еще осталось вооруженных сил у короля и после того, как все свершится, можно ли будет сдерживать противника страхом до подкрепления. Но тут снова появилась мать Валуа, а с нею Гиз собственной персоной. Уже не красавец Гиз, не гордый герой. На его пути к королю его милостивые обращения не встретили ответа, а начальник гвардии Крийон еще глубже надвинул шляпу. Тогда герцог понял, что его ожидает. Бледный и ошеломленный, вошел он в королевскую опочивальню. Но его сопровождала старуха, и король не подал знак кинжалам, потому что здесь была старуха. Во всем замке Лувр, из всего его дома, члены которого перемерли или взбунтовались против него, оставалась только мать, которая и довела его до всего этого. Потому-то он страшился ее, как самой судьбы. В ее присутствии нельзя было допустить даже мысли о том, чтобы призвать на помощь спасительные кинжалы. Он сделал герцогу короткий выговор и повернулся к нему спиной.

Гиз без сил упал на ларь. От близости огромного шрама один глаз у него слезился, и казалось, Гиз плачет. Он все видел, видел страх короля. «Такой же мучительный страх, как и у меня», — подумал Гиз. Но он, верно, понял, почему

лицо короля исказилось. Решение убить отменено только на сегодня. В дальнейшем углу старая королева старалась успокоить сына; Гиз поспешил убраться. «Слава творцу, я еще жив, а там мой народ, он проник даже во двор Лувра, чтобы вызволить меня отсюда. Я опять герой. Слава творцу, теперь уж мы будем действовать решительно».

Так думают люди, когда их застигнут врасплох. На самом деле лотарингец не собирался строить баррикады и давать королю сражение в его столице; он только все подготовил к тому, что это должно было случиться. Но когда, уже почти достигнув цели, он вдруг отступил и предпочел бы лечь спать, чем сражаться, его посетил Мендоса, посол дон Филиппа, и заговорил с ним резко и повелительно. Настоящий хозяин Гиза мог ведь герцога и принудить. Не позже как через три дня Франция должна быть охвачена междоусобной войной, такова воля мирового владыки. Гиза не удостоили объяснением причин, но ему сообщили важные вести: Армада наконец готова и может двинуться на Англию. Этот флот снаряжали в течение многих лет, и он был снабжен всем необходимым на годы, хотя переезд в Англию мог занять самое большее две недели. Так вот, ему нужно предоставить возможность без опаски заходить по пути во французские гавани. Владыка мира, не желал встречаться ни с кем из своих врагов-французов. Он был по природе точен и осторожен. Поэтому в течение трех дней в Париже должны быть построены баррикады из бочек с песком. Король в окна своего Лувра уже давно видел, как их везут вверх по реке. Так как он, оказавшись в безвыходном положении, призвал в город небольшое число швейцарских и, немецких наемников, это послужило последним предлогом к восстанию. Чужеземцы были разбиты превосходящими силами противника, они падали на колени и воздевали руки, державшие четки. Королю пришлось просить за своих солдат, которые остались в живых. Он просил самого герцога Гиза, почему тот совсем утратил смелость, и уже был не в силах поднять руку на короля; Мендоса же требовал от него именно этого.

Так как ни один из них не решался убить другого, началась великая смута, и улицы целыми днями были во власти монахов, которые под гул набата усердно призывали к резне. Не теряла времени и сестра Гиза, фурия священной Лиги: со своего балкона она призывала к убийству шумную толпу возвышенной духом молодежи. — Молодежь... Молодежь всегда возвышенна, — твердила она, и все эти

будущие адвокаты, проповедники и живописцы верили ей. Их хитрости легко было принять за убеждения. В дни торопливых, необдуманных действий молодежь обычно пользуется большим авторитетом. Герцогиня де Монпансье, несмотря на свою распаленность, все же читала в людских лицах; там, внизу, среди толпы ее почитателей, она отметила одно лицо, и видела она его не впервые. Если у человека такое лицо, он может пригодиться. И она позвала наверх молодого послушника.

Она сделала все, чтобы ошеломить его, надела на свое статное тело прозрачные одежды, опрыскала спальню душистой водой; волосы, черные, как вороново крыло (впрочем, уже крашеные), пышные груди, серебряные звезды, осыпавшие ее с головы до ног; затем оглядела себя и решила, что всего этого достаточно, хотя страсти и оставили на ее лице свои разрушительные, следы. «Тридцать шесть лет — другой мужчина решил бы, пожалуй, что позновато, — говорила себе знатная дама. — Но не двадцатилетний увалень-монах, который в первый раз за свою жизнь увидит постель герцогини». Спросила она себя также: «Что мне делать и далеко ли я должна зайти?» Насколько того потребует дело, отвечали ее сильные плечи, которые то поднимались, то опускались.

«Я знаю, к чему стремлюсь, и хочу дойти до конца. Этого нет у мужчин, даже у моего обожаемого Гиза, который вот-вот должен взойти на французский престол. Нужно нанести всего лишь один, один-единственный удар, а это его и пугает; но не сестру. Она в конце концов нанесла бы такой удар собственной рукой. Рука у меня сильная, тело не слабее, чем у брата, плечи широкие. Я сама могла бы стать героем в нашем роду, если бы не кое-какие мелочи, которые делают меня женщиной; вот я ими и воспользуюсь».

Она подала знак, прибежали слуги, привели монаха, втолкнули его в комнату и сейчас же закрыли за ним дверь. Богиня осталась наедине с каким-то коричневым созданием, оно явилось с улицы, и от него ужасно воняло. Душистая вода была бессильна против запаха немытого тела, и он тотчас заполнил комнату; но дама мужественно стерпела. Она заговорила с монахом, а тот тарашил глаза, причмокивал толстыми губами, и, засунув руки в широкие рукава своей монашеской

одежды, этот увалень потирал их; видно, он бы охотно вытащил их оттуда и пощупал живую плоть. И никакой робости, ведь нынче все перемешалось, всем одинаковая цена в глазах священной Лиги. Посмотрите, что делается на улицах, хотя бы за бочками с песком: лежат друг на дружке офицеры да рыцари — мы их прикончили. А жены нам остались. Хе-хе! Возвышенная молодежь, — так она, кажется, говорит.

— Как тебя зову!? — спросила герцогиня столь строгим тоном, что молодчик испугался.

— Вы же знаете, — пробурчал он. — Сами сверху позвали меня. «Яков, где ты?»

— крикнули вы. Ну вот, я здесь! Дальше-то что?

— Стань на колени! — решительно приказала герцогиня. — Возьми свои четки и

молись. — Ее сила и власть над ним были безграничны, она поняла это, услышав

его бредовое бормотание. Она посещала его в сновидениях, уже с прошлого раза,

когда говорила с балкона. Коленопреклоненный, исповедался он ей в своей презренной и несчастной участи: он впал в грех, поэтому его и отправили из

монастыря в Нафиж, чтобы он совершил какое-либо деяние. Нанель усиленно внушал

ему: плотский грех можно искупить только деянием. — Каким же? — спросила герцогиня. Он не знал. Монахи, воспитывавшие его, пока не касались этого вопроса. Монахи то и дело готовят цареубийц, а потом не пользуются ими.

— Ты мой, ты принадлежишь мне, — властно заявила она, — Я могу совершить над

тобой что захочу. Могу сделать тебя невидимым. Встань, отворотись к стене. —

Она ушла в конец комнаты и принялась искать: — Яков, где ты? — Он слышал, как

она несколько раз повторила тот же вопрос, но не отозвался.

«Вот я и в самом деле сделался невидимым, хе-хе!» — сказал он про себя; но

ничего больше ему на ум не пришло. И сердце его от этого не заколотилось сильнее.

— Яков, пойдись сюда и коснись края моего платья, тогда ты опять станешь видим.

— Да я вовсе не желаю становиться видимым, — пробурчал тот, — разве что вы

позволите мне потрогать не только край.

Все же он прилепал в своих сандалиях; но прежде, чем он схватил ее за прозрачную одежду, она сказала, правда, вполголоса, но с устрашающей свирепостью:

— Яков! Ты должен убить короля!

Как ни тупо было это человеческое существо, но оно покачнулось, лицо посерело, монашек долго не мог вымолвить слова, наконец из груди его вырвался жалобный стон. Пока он безмолвствовал, он видел, как ужасы вечного проклятия, подобно языкам пламени, вырываются из уст этого дьявола в образе дамы. Под ее покрывалом он вдруг разглядел конское копыто, да еще какое!

— Слушайся меня, Яков, тебя ждет блестящая судьба. Если ты убьешь короля, три твои желания будут исполнены. Ты можешь требовать кардинальскую шапку. Ты будешь богат. Третье я подарю, тебе сама. — И она без обиняков предложила ему свои прелести. Голос ее стал воркующим, она всячески стала обольщать его, увидела, что он дрожит, как осиновый лист, что у него течет слюна, и, приведя этого дуралея в подобное состояние, она открыла ему, что король — такой же человек, как и все. И умирает всего один раз и остается мертвым навсегда. — А тебя пусть они ищут, ты же невидим. Яков, где ты?

— Хе-хе, у тебя! — отвечал он, побряхывая от удовольствия, ибо наконец понял и уже ни о чем не тревожился.

— Но только когда ты убьешь короля и сделаешься кардиналом. Только кардинал может прийти ко мне! — Это она сказала холодно и пренебрежительно, быстро окинув взглядом стоявшего перед нею парня. «Слишком жирен этот олух, чтобы ловко заколоть Валуа. Пусть сначала попостится, а для прояснения мозгов пусть принимает с пищей порошки, хоть он и так — точно воск в моих руках. В монастыре его запугают огненными бесами на случай, если этот осел вздумает кобениться. Да он и не будет, теперь он мой». Тут она дернула шнурок звонка.

— Вывести вонючку и проветрить здесь!

Она подошла к окну, как была, полуголая, а внизу сбежалась целая толпа возвышенной духом молодежи, чтобы лицезреть ее особу. Она спокойно дала им повосхищаться собой, ибо окно доходило до полу. В своей страстной гордости она перерастала самое себя, и солнечный глаз неба, на который она смотрела, не ослеплял ее.

— Я — дерзну.

Ночь с убийцей

Когда последний Валуа бежал из замка Лувр, он вспомнил о своем кузене Наварре, и ему захотелось, чтобы тот был здесь, рядом. «Будь он со мной, Париж стал бы все же немного поменьше – стольким бы мы отрубили голову. Этот город слишком огромен, надо пустить ему кровь. Я единственный король, который постоянно жил в нем и украшал его своим королевским двором. Публичная казнь Гиза должна стать народным празднеством».

Разгоряченный и озлобленный, бедный король все же мог без помех предаваться своим мыслям. Гиз тайком оставил для него один незанятый выход, и король бежал с согласия своего врага, который наконец от него отделался и захватил власть в столице. Перед каретой короля шла его гвардия, он ехал шагом до своего нового местопребывания, ни на миг не забывая о своем кузене Наварре. «О, если бы я выслал ему навстречу Жуайеза и мое лучшее войско, но не для того, чтобы он его разбил, нет, – чтобы они, объединившись, двинулись на Париж и освободили меня!»

Однако, поразмыслив, он признал, что это было бы невозможно. Его католическая армия не захотела бы подчиниться такому приказу. «С другой стороны, если бы кузен-протестант дошел до Парижа, мне пришлось бы распротиться с короной», – так сказал себе Валуа, хоть и не вполне уверенно. Он был слишком несчастлив, чтобы именно сейчас покончить со своим недоверием. Наоборот, он держался за него, только оно придавало ему сил. «Да и с жизнью мне бы пришлось расстаться», – настаивал он из упрямства.

Сам Генрих очень боялся яда, вот уже два месяца, с тех пор как умер его кузен Конде. Принца Конде отравили, и сделала это его собственная жена, как предполагал Генрих. Он тут же решил, что на это способна и бедняжка Марго, ибо, попав во власть бессмысленной ненависти, она утратила всякое душевное равновесие. Генрих, который любил поесть и прежде повсюду беззаботно заходил в гости к своим подданным, вдруг требует, чтобы ему готовили в запертой кухне, под особым наблюдением. Кузена Конде рвало всю ночь. На другое утро он завтракает стоя, намеревается сыграть в шахматы, но опять начинается страшная

рвота, и он умирает; кожа тут же начинает чернеть. «Я оплакиваю в нем то, чем он мог быть для меня. А такого, какой он был, — мне его не жалко».

Двадцать четыре убийцы, одного за другим, подсылали в те времена к королю Наваррскому. Несчастный Валуа втайне все еще надеялся, что кузен придет к нему на помощь, другие же старались это предотвратить. Поговаривали, будто Генрих умер — такой слух пускают обычно те, кому это выгодно, — а иные могут даже сообщить подробности. Герцог Гиз сейчас же поспешил осведомиться у короля Франции, правда ли это. Но король выразил лишь надежду, что его кузен Наварра жив; после смерти Конде он отправил к нему своих посланцев и прежде всего господина де Монморанси. Это была действительно его последняя попытка побудить единственного оставшегося в живых вождя протестантов перейти в католицизм. Ведь после этого Генрих становится бесспорным наследником престола. Никто не верил, что его протестанты могли от него отпасть, с тех пор как погиб его соперник, притязавший стать их главой. И все-таки, Генрих знает этих людей. И знает также, что должен ходить прямыми путями, ибо окольные могут быть приняты за слабость. Его внутренняя стойкость не допустит измены и отвергнет преждевременный соблазн. И лишь в будущем, когда Генрих уже завоюет и объединит королевство после всех еще предстоящих трудов и тягот, когда он, уже седой, будет обладать испытанной силой и властью — и делать это ради них уже будет не нужно, — только тогда он по доброй воле пойдет к обедне. Но не раньше. А чтобы его только терпели — ни за что!

И все же храбрец Генрих боялся яда и ножа, ибо от них не защитишься, как защищается солдат и как защищается совесть. «Нож еще страшнее яда: он угрожает не только во время еды. Когда я нахожусь среди людей, в любую минуту у меня по спине может пробежать холодок: ведь я и не увижу, как кто-то позади меня выхватит нож из рукава. Короткий нож очень легко припрятать, особенно в широком рукаве монаха. Однажды ко мне явился знатный дворянин, он не знал французского языка и латыни не знал; его прошение было написано на пергаменте, он извлек свиток из футляра, и кинжал сам собой скользнул ему в руку. Мне пришлось мгновенно схватить его за руку и вывернуть кисть! А капитана Сакремора, наоборот, поймали мои люди. Улики налицо, все совпадает, его подослали ко мне.

Иначе я бы никогда не поверил, что на это способен столь храбрый офицер.
Убийцы
— трусы, а мне приходится их постоянно бояться! Я хочу в конце концов выпить с одним из них вина, приглядеться к его ладу и повадкам».

Это было в неракском замке. Вечером он выслал всех из комнаты, приказал ввести пленника, снять с него кандалы и остался с глазу на глаз со своим убийцей; их разделял только стол.

— Капитан Сакремор, мне хочется услышать от вас, как убивают. Каково быть убитым — это мне, может быть, тоже придется испытать, но не вы меня убьете.

Расскажите мне об убийстве из-за угла, смело и честно, как солдат. Ну?

У офицера были злые глаза, а так — красавец. Но то была красота опустошенного человека, выроodka. Сидел, вежливо наклонив голову, чистокровный дворянин родом из Италии, язвительная ирония в его чертах уже говорила за себя. Он не ответил.

Генрих подвинул к нему стакан с вином; пленник чопорно поблагодарил и выпил до дна. — А ведь вас, может быть, отравили, капитан Сакремор.

Капитан вежливо высказал свое удивление:

— Сир! У вас же есть столько других способов убить меня!

— И какой, по-вашему, я выберу?

— Достоинейший, сир, — поединок, — сказал убийца, прикрыв свою хитрость легкомыслием.

— Господин Шарль де Бираг, я не шучу. Вы прибыли в нашу страну с прежним канцлером, который заточал в тюрьмы наших поместных дворян и там душил их, чтобы старая королева могла унаследовать их достояние. Вам обещано, если вы меня убьете, куча золотых пистолей испанской чеканки. Благодаря вашим успехам на поле боя вам дали имя «Сакремор» [29. — Головорез (франц.)], но вы по природе все-таки Бираг.

— Сир, вам угодно меня позорить, я же, наоборот, предлагаю вам честно сразиться. Как ваш убийца, я стал вам равен, поэтому вы здесь и сидите со мною так поздно, в мертвой тишине ночи.

— Знаю, — отозвался Генрих. — В этот час вы мне равны. Скажите, что бы вы сделали, если бы ваша затея вам удалась?

— Я бы остался служить у короля Франции — он же и направил меня сюда.

— Вы лжете и лгали бы, даже если бы золото, которым набиты ваши карманы, не было испанским.

— Согласен, — кивнул Бираг. — Но в этом королевстве я действительно бы остался, ибо самое слабое государство для меня самое лучшее. Обитатели страны, где я живу, должны враждовать со всем светом и с самими собой — тогда они мне поистине соотечественники и служат моему делу. Я знаю, сир, что если вы останетесь живы, то все это измените: вот почему я покушался вас убить и пошел бы на это даже без всяких денег.

Тут Генрих увидел, что в мерзости человек может идти прямым путем и быть стойким. Никогда бы он этого не подумал. — Сакремор, вы достойны вашего боевого прозвища или почти достойны. — С этими словами он выложил свой кинжал на середину стола. — Ну, кто первый, Сакремор!

Едва он произнес эти слова, как рука убийцы рванулась к кинжалу, но натолкнулась на руку Генриха. Враги тотчас отняли руки и опустили их под стол.

Лишь взоров они не отводили, вливаясь друг в друга глазами, готовые к прыжку, подстерегая, содрогаясь от особого наслаждения этой схватки. Тем временем Генрих придумал, чем ошеломить врага.

— Сакремор, не ждите больше денег из Испании. Я дал туда знать, что вы их предали и теперь работаете на меня.

Услышав это, убийца оскалил зубы, в своей ненависти он уже перестал быть красавцем. Его пылающая злобой рожа вызывала невольный ужас, может быть, поэтому ему и дали такое имя; тут он улучшил минуту и схватил кинжал.

Генриху оставалось только опрокинуть стол, что он и сделал. Стол был тяжелый; чтобы не быть придавленным, убийце пришлось пустить в ход обе руки, и он выронил кинжал.

Поднявшись, он бросился к двери, выскочил в открытую галерею и припустился по ней, легкий, точно девчонка.

— Сакремор! Оставайтесь. У меня вы заработаете много денег.

Пиф-паф, — кто-то скатился с лестницы. Оказывается, выстрелил часовой во дворе. И нет больше Сакремора.

«А жаль! Смелый малый, и у меня он опять стал бы честным. Погибнуть случайно, и после такой ночи!» Генрих совсем позабыл, что он сам выдержал эту

ночь и это испытание. Не нужно дрожать даже перед убийцей.

Зов

Валуа тоже отбивался от убийц своего королевства и своих собственных; сидел с ними вместе за столом и жил под вечной угрозой. В те дни он созвал в Блуа Генеральные штаты. Король искал там убежища; и сейчас же за ним отправился Гиз, да и вожаки Лиги преследовали его по пятам, все шестнадцать; каждый ведал одним кварталом в Париже. Кроме того, туда переправили всякий сброд из столицы: он должен явиться угрозой для благоразумных представителей провинций, на которых рассчитывал Валуа. Нет, разум здесь не в чести, его стараются отогнать подальше. Короля осаждает шайка флагелантов [30. – Флагеланты – средневековая религиозная секта, видевшая единственный путь к искуплению грехов в публичных бичеваниях и самобичеваниях.] он вынужден принять их приветливо, он ведь сам когда-то участвовал в их представлениях, так как очень любил всякие переодевания. Брат его покойного любимчика Жуайеза изображает распятого Иисуса; чудовищно искаженные персонажи мистерий врываются в убежище несчастного короля, у Христа течет из ран настоящая кровь, римские солдаты громяют ржавым оружием, они вдруг бросаются в середину взволнованной толпы. Жен-мироносиц изображают капуцины, тем громче они завывают, стонут и кидаются наземь. И вот под ударами бичей падает и сын человеческий. Подними же его, Валуа! А если не поднимешь, то изменишь религии. Уж где-где, а в этой давке мы до тебя доберемся, достаточно одного ножа. На самом деле им было страшно самих себя и своего порочного опьянения.

Разве мог всему этому сочувствовать какой-нибудь ученый юрист, заседавший в королевском парламенте? А между тем этих господ тоже заставили принять участие в бесчинстве! Ученость нелегко забыть, и ясный разум не затмится по приказу. Но затмение происходит легче у того, кто вовлечен в движение масс: он уходит в безрассудства с головой, и если обычно размышлял слишком усердно, то, захваченный массовым гипнозом и чувством национальной общности, он вдруг начинает «реветь белугой». Председатель Нейи немало в этом преуспел: ему удалось тронуть даже тирана Валуа; а как раз против него-то ему и поручили восстановить своими слезами обиженный народ, в то время как некий проповедник Буше должен был добиться того же яростным кипением своего гнева. Каждый

действовал на свой лад, и герцог Гиз пожимал немало замаранных рук, хотя это было ему весьма противно.

Герцогу Гизу все становилось противным: его роль народного героя, его пылкая дружба с Испанией, его отношения с людьми. Окруженный испанскими головорезами, которые следили за каждым его шагом, он был принужден бесстыдно предавать собственного государя всемогущему послу дона Филиппа. Ему приходилось говорить:
— Мы надеемся, что ваш повелитель-король окажет нам помощь, если наш государь вздумает опереться на гугенотов. — Гиз сам предпочел бы сделаться гугенотом, лишь бы не повторять то и дело подобные заявления.

Его тщеславие, его жажда поклонения, которым его незаслуженно окружали, — все это были только слабости, и они-то и толкнули его на ошибочный жизненный путь. Гиз не мог этого не понимать, его род был достаточно умен. Только самые ничтожные люди способны возомнить себя великими, если какое-либо движение изолгавшегося и обезумевшего сброда вдруг вознесет их на вершины, где им совсем не место. «Да здравствует наш вождь!» — слышит то и дело такой вот герцог Гиз, а ему хочется спрятаться или разогнать всю эту свору — пусть встанут опять за свои прилавки.

Больше всего он жаждет помириться с королем. Тогда король назначит его наместником всего королевства, но еще до того, как Армада вернется с победой из Англии и испанцы достигнут предела в своей наглости. Гиз намерен еще прежде выступить против них. И Генеральные штаты собрались в Блуа ради этой единственной цели.

Когда-то королю пришлось им обещать, что он искоренит еретиков; теперь он должен объявить о том, что король Наваррский лишается своих прав на французский престол. Король делает попытки уклониться от этого. Сам Генрих Наваррский пишет Штатам послание; и все-таки они торжественно провозглашают его притязания незаконными. Они отказывают ему в его правах первого принца крови.

Едва Генрих узнал об этом, как он забыл и своих убийц и свою музу, а вместе с романтикой и свой страх. Он отправился воевать. Почему? И король и Лига — все обратились против него одного, а их воюющие процессии предаются такому духовному

распутству, которое ему отвратительнее всякого Сакремора. Пусть жизнь тяготеет к злу и к убийству, и все же она не хочет, чтобы ради этого лицемерили и попирали разум. Генрих двинулся на Бретань, но в обход, через все королевство, чьи представители тем временем его торжественно отвергли и отстранили. Он сражался с королевскими войсками и войсками Лиги, — на этот раз они были для него одно, ибо он ожесточился. Очутиться уже на прямом пути к престолу — и опять, как в самом начале, кануть в поток событий, снова стать чужаком! Славная победа при Кутра — и вдруг опять все начинается сначала: болота, мелкие городишки, засады, бедный дворянин падает, сто врагов сдаются в плен, град, буря, мы берем замок на морском побережье. Эх, если бы наша пушка прибыла пораньше! Дурацкая штука — сражаться с морем и ветрами!

И все же в пылу схваток он забывал о своем раздражении и гневе; был рад, что жив, дышит, хотя враги и старались не давать ему жить и дышать, рад, что завоевывает землю — хоть по кусочкам. Однажды в полдень, сидя один под деревом, только что едва избежав смерти, еще задыхаясь после стремительного движения, он принимает за свою трапезу; он окидывает все вокруг каким-то растерянным взором. Как широка эта страна, вдаль она словно сливается с небом, она безмолвствует, и только море грозно гремит. Она не хочет Генриха, она его даже не знает, и если бы не глубокое и стойкое мужество его духа, он мог бы опасаться, что ему каждый раз придется начинать все сначала, как пришлось теперь. Без конца возвращаются все те же картины: болота и засады, сотня пленных, падает ничком бедный дворянин, бушует буря, идет град, а я должен овладеть замком на морском побережье. Если бы вовремя прибыла наша пушка! На ладони, черной от пороха, лежит его обед — корка хлеба и яблоко.

Он голоден, но не поддается унынию. Его привело сюда долгое жизненное странствие, а когда-то давно были горы, озаренные солнцем, он смеялся и переходил радостно журчащие ручьи. Еще молодым попал он в школу несчастья, научился думать, пока от прихотливых изгибов мысли у него не начали горько кривиться губы, по крайней мере, временами. А вернувшись домой, он понес бремя обычных тягот жизни, подобно каждому, у кого голодное тело и шкура, которую легко продырявить. Довольно невелики были сперва эти тяготы, а возьмешься за них как следует, и они вдруг вырастают. Ныне он прославлен, его ненавидят, обожают, боятся — и ему дано узнать, что тяготы жизни могут снова опуститься до

уже пройденных ступеней. И вот под деревом, стоя, съедает он свой убогий обед.

В тот же час король Франции принимал посла Мендосу. Посол получил сообщение о победе Армады и приказал немедля отпечатать и распространить эту радостную весть. Затем он поехал из Парижа в Шартр; он хотел перво-наперво в самом почитаемом соборе вознести благодарственные молитвы пресвятой деве. После этого он отправился к королю, который жил тогда в епископском дворце. — Victoria! [31. — Победа! (исп.).] — с достоинством возвещал посол каждому встречному, наконец вошел к королю и показал ему письмо. Тогда король протянул другое, полученное позднее: англичане обстреляли Армаду, пятнадцать кораблей потоплено и пять тысяч человек убито. О высадке в Англии нечего было и думать.

Мендоса попытался все целиком опровергнуть, а если кое-что здесь и правда, это не мешает ему сохранить свое величие. Потоплено пятнадцать кораблей? Да их в Армаде сто пятьдесят, прямо исполины, настоящие башни из дерева. А пять тысяч убитыми — это для десантной армии почти незаметная убыль, уже не говоря о том, что к ней идет подкрепление.

Но только на самом деле никакое подкрепление уже не шло: оно было заперто в Голландии. Король Франции учтиво восхитился плавучими башнями, которые были построены доном Филиппом с величайшей предусмотрительностью. К сожалению, их высота имела свой недостаток — корабельные пушки могли стрелять только по далеким целям; и еще огорчительнее то, что адмирал Дрейк быстро открыл слабое место гордого флота. На своих челнах выскочил он из Плимутской гавани, подъехал под самые борта исполинов и пробил их. И какая несправедливость: само небо точно встало на сторону противника, — еще и сейчас, когда мы разговариваем, вихри уносят испанские корабли в разные стороны, иные даже в Ледовитое море, и там они разбиваются в щепки!

Испанец никогда не смеется, иначе посол наверняка бы рассмеялся над этими презренными наскоками бурь или Англии на мировую державу. Но он лишь безмолвствовал и презирал. А король ему в том не препятствовал; так они и стояли друг перед другом в каменной зале, оба не снимая шляп. Первыми осмелели несколько придворных.

— Английская королева торжествует! — проговорил довольно громко Крийон. А кто-то добавил:

— Елизавета показала народу на белом коне.

— Великий народ! — решительно заявил полковник Орнано. — Счастливый народ, он спасен, он свободен и любит свою лучезарную королеву. Что значит сорок пять лет для красоты королевы, которая победила!

Тут Бирон, старинный враг Генриха Наваррского, сказал:

— В этом народе царит единодушие. Мы тоже должны бы стать единодушными. — И сейчас же среди собравшихся началось какое-то движение, из уст в уста, передавалось чье-то имя, пока лишь вполголоса.

Король покинул залу, за ним посол. Король шагал по сводчатым переходам: он шествовал величественно, как это умели делать Валуа. У одного из окон во двор он приостановился, и показал вниз. Посол увидел около трехсот турок-каторжников, которых испанцы обычно сажали на свои суда гребцами. Посол спросил, откуда они. — С одного из кораблей Армады, выброшенного на берег, — пояснил король. Посол потребовал их выдачи. Вместо ответа король встал перед окном. Турецкие невольники, упали на колени и, подняв голову, вопили: — *Misericordia!* [32. — Милосердия! (исп.)]. — Король смотрел на них несколько мгновений, затем отвернулся: — Это надо обсудить.

Иные из его придворных позволили себе заметить:

— Это уже обсуждалось. Во Франции нет рабства. Кто ступил на французскую землю, тот свободен. Наш король вернет этих людей своему союзнику султану.

Король притворился, будто не слышит, но с тем большей учтивостью проводил посла до дверей. А тому, несмотря на его чванство, пришлось вытерпеть еще немало унижительного. И впереди и позади него заговаривали о том, что взяты пленники самых разнообразных национальностей, — Испания всех принудила быть гребцами на ее судах. Французы тоже не избежали рабского ярма. — А ведь это наши солдаты и соплеменники! Во что хочет Испания превратить нас? В рабов. Как и все остальные народы земли! — Впервые об этом заговорили при французском дворе в тот день, когда разнеслась весть о гибели Армады.

Посол уже отбыл, но король не уходил к себе; казалось, он чего-то ждет, никто не знал, чего, многие полагали, что он снова погрузился в обычную безучастность. Поэтому придворные стали выражать свои мнения еще свободнее и повторяли все решительнее, что весь народ-де французского королевства должен единодушно защищать свою свободу по примеру Англии. Да, эта страна избежала самой страшной участи; оказывается, испанцы везли на своих кораблях все орудия пыток, применяемые инквизицией. При католической дворе Франции были и протестанты — явные и тайные, и кому-то из них пришлось на ум заявить: — Свобода мысли, вот в чем дело; только она обеспечит нам наши права и наше единство. — А вместо того, чтобы заставить говоривших это замолчать, придворные начали нашептывать друг другу чье-то имя, — то же, что и раньше, только уже громче; и Бирон, опять этот Бирон, обратился к королю со словами:

— Сир! Король Наваррский... лучше, чем я полагал; человек крайне редко признает свои ошибки. Я же готов признать их.

В эту минуту появился Гиз: его прислал Мендоса, чтобы он заставил короля подчиниться. Гиз был готов это сделать, он сейчас же перешел к угрозам, ссылаясь на то, что тридцать тысяч испанских солдат стоят во Фландрии. И вдруг голос: — А где стоит король Наваррский? — Тщетно ждал Гиз, что Валуа вмешается. Король Франции сам должен был бы это сделать, но за пресыщением обычно следует апатия. А голос:

— Сир! Призовите короля Наваррского.

Ни возражений, ни гнева. Гиз и его Лига вскоре отдадут испанцам крепость на границе с Фландрией, они будут и дальше служить врагу и притеснять своего короля. Но сегодня для герцога Гиза знаменательный день, гибель Армады открыла ему глаза на самого себя. И опять тот же голос:

— Король Наваррский!

В стороне от своего войска стоит под деревом Генрих. Страна эта широка и вдали сливается с небом, оно безмолвно, лишь море грозно гремит. Генрих слышит, как его окликают по имени.

Хоровод мертвецов

Мыслями он далеко, он слышит многое. Как прежде, он предается ежедневным

трудам, но сейчас на него будет возложена куда более высокая задача. Он делает свое дело, стоя обеими ногами на привычной, тяжелой земле, а вместе с тем ждет призыва, внутренне приподнятый, перенесенный в иные сферы.. В эту пору ожидания Генрих находился там, куда его приводила война, но уже и не там — поистине ближе к богу. «И я говорю, как Давид: бог, до сих пор даровавший мне победы над врагами, поможет мне и впредь». Так говорил он и даже больше: «Я лучше, чем вам кажется» — новые для него слова.

А в Ла-Рошели церковное собрание занималось его грехами; он же упражнялся в терпении, смиренно слушал упреки пасторов и не отвечал, хотя мог бы ответить: «Добрые люди, мелкие души, кто выстоял в школе несчастья, нес тяготы жизни и не поддался духовным искушениям, сколько их ни оказалось? Уже одних ваших разоблачений относительно моей дорогой матушки хватило бы, чтобы отнять у ее сына мужество, я же сохранил верность от рождения присущей мне решительности!» Но этого он не сказал пасторам в Ла-Рошели и не хвалился этим перед своей подругой, графиней Грамон. Ей он сообщал только о фактах, уже совершившихся: о своих победах над армией французского короля, а затем, что король убил наконец, все-таки убил герцога Гиза.

Генрих уже давно на это рассчитывал; его сведения о событиях при французском дворе были точны, и еще яснее стал он понимать людей. Он видел Валуа на собрании его Генеральных штатов; здесь были почти одни сторонники Лиги: во время выборов царил свирепейший террор. И эти люди точно одержимы самой наглой и низкой ненавистью и уже не знают, что им придумать. Одним махом отменяют все налоги, какие только были введены королем за четырнадцать лет его царствования; но, отнимая у него последние остатки сил и власти, они тем самым отнимают последнюю силу у королевства и у самих себя. Таковы последствия четырнадцатилетнего натравливания черни и мнимого народного движения. Ведь и капля точит камень. Важно только хорошенько вдолбить это в людские головы: действительность в конце концов подчиняется, становится воплощенной нелепостью, и столь долго проповедуемая ложь вызывает пролитие настоящей крови. Кроме того, все это мещане, они тупы и глубоко невежественны в делах веры, государства,

всего человеческого. В их глазах добродушный Валуа — тиран, а его благопристойное государство — сплошная мерзость. Они клянутся в том, что их сообщество, созданное для разграбления и растерзания королевства, не только сулит «свободу», но и даст ее. Совсем отменить налоги — вот чего им еще не хватает и о чем они уже четырнадцать лет кричат по всей стране.

Жены этих избранников, этих взбаламученных Лигой аптекарей и жестянщиков пляшут голые на улицах Парижа. Идея принадлежит герцогине де Монпансье, сестре Гиза, фурии Лиги: процессии должны стать еще прельстительнее вследствие столь неприкрытого безумия. Но обыватели решают, что она зашла слишком далеко. Их много, и они вовсе не намерены все вместе лезть головой вперед в адское пламя или допустить, чтобы их ошалевшие жены прыгали туда нагишом. Главное — они не хотят платить. И вдобавок они поглощены обычными жизненными противоречиями. Отсюда мимолетный бунт против шайки жадных авантюристов, которым Париж обязан своим теперешним состоянием. Поэтому Гиз и вынужден одуматься: необходимо действовать так, чтобы отступление для всех было отрезано. Решающее событие должно свершиться, король должен умереть.

Король был в то время так беден, как не бывал даже Генрих Наваррский. Его двор разбежался, последние сорок пять дворян поглядывали по сторонам, ища таких государей, которые бы могли им платить. Генрих узнает, что Валуа есть нечего. В кухне погас очаг. «Разве я не сам задул его, когда разбил при Кутра лучшие войска короля? Я должен ему помочь. Теперь он просит у Гиза. А тот клянчит у Лиги. Но что поделаешь с этими мещанами, это самые тупоумные люди в государстве, на них-то легче всего опереться бессовестному вожаку. Только пусть не заходит слишком далеко. Гиз считает, что король теперь уже не человек; но Гиз не король, и он нас не знает. Его посланцы заявляют, что нашему государству пришел конец, но из глубины веков к нам еще притекает древняя сила. Я хочу помочь Валуа»...

До Генриха доходит весть, что Гиз совсем обнаглел.

Он уже забывает всякую осторожность: поселился в замке в Блуа, где живет король, чтобы крепче держать его в руках. А почему бы Валуа не держать его?

У Гиза все ключи – это верно; но он теперь не получает никаких сведений, ибо король хоть и поздно, а перестал наконец доверять своей матери, он выгнал ее наушников, и она уже лишена возможности шпионить и предавать, а ведь только этим она и жива. От души желаю тебе удачи в твоих тайных начинаниях, мой Валуа. Но только ты слишком одинок для таких необычайных решений. Гиз ничего знать не хочет; несмотря ни на все предупреждения – чуть не по пять раз на дню, – он рискует жизнью; на то у него есть немало причин, Генрих их угадывает. Во-первых, Гиз высокомерен; он, как и всегда, окружен блестящей свитой, а думать об опасности не желает. Следовательно, бывают минуты, когда он беззащитен, и такой минуты достаточно. Высокомерие приведет его к гибели – не только потому, что оно влечет за собой неосторожность. Гиз считает, что он слишком хорош для той роли, которую ему приходится играть: уж Генрих-то знает насквозь товарища своих детских игр. «Моего Гиза прямо спирает от высокомерия, он не выносит дыхания своих людей! Что до меня, то будь я негодяем и Гизом, я бы охотно терпел их запах: ведь от них несет чесноком, вином и потными ногами. Но вот когда воняет Испанией – этого я не терплю. Кроме того, Гиз смешон».

Тут мысли Генриха – сидел ли он у ночного лагерного костра или под деревом наедине с собой – доходили и до забавной стороны всего этого. Гиз надеется на свое счастье. Он не намерен скучать, вернул двор, пирует и развлекает всех этих проходимцев, а с ними и Валуа, вместо того чтобы его убить. Путается с женщинами, больше чем следует, – мы-то уж извели это наслаждение и по себе знаем, что оно вызывает пресыщение и уныние. От него очень устают, особенно такие Голиафы, как Гиз. Впрочем, кто знает, может быть, он и хочет только одного – усталости. Высокомерие, уныние, излишества – все, вместе взятое, в конце концов, только для того, чтобы закрыть на все глаза и ждать удара. Мы сами совсем недавно пережили подобное искушение. Даже усы поседели.

Когда прискакал верховой с вестью, что герцога Гиза убили в опочивальне короля, а король глядел из-за полога кровати, Генрих не удивился; он был доволен. Все подробности этого события: как был каждый из ударов нанесен кинжалом другого убийцы и как они были разъярены и обезумели и сами себе не верили, что совершили наконец это дело, – все это Генрих выслушал совершенно

спокойно. Бывало, он плакал на полях сражений, а тут нет. Они повисли на ногах умирающего, и все-таки он протащил их через всю комнату, до постели Валуа, который содрогался, неистовствовал и ликовал так жутко, что мороз подирал по коже, и он действительно наступил поверженному Гизу на лицо, как некогда наступил Гиз мертвому адмиралу Колиньи. Бог ничего не забывает, вот что понял Генрих. И если бы рухнули все законы, его закон останется незыблемым.

Последнюю ночь Гиз провел с Сов; так же лежал и Генрих с этой женщиной перед своим побегом. К нему у нее не было любви, она тогда просто облегчила ему бремя великого одиночества. Своего единственного владыку и повелителя ей было суждено утомить последней, так что поутру герцога в его сером шелке еще пробирал озноб, пока другие не ввергли его в последний холод. Прощай, Гиз, и привет Сов! Король торжествует. Кардинала Лотарингского он приказал удавить в темнице, третьего брата, Майенна, разыскивают, желаю благополучно найти его! Хоровод мертвецов не останавливается весь этот восемьдесят восьмой год, и самые знатные присоединяются к нему за день до рождества. Повесь их в Париже, мой Валуа! Уже сутки, как повешен президент де Неи, глава купечества, который «ревел белугой». Один дворянин, находившийся под покровительством Гиза, оказывается, торговал человеческим мясом. На виселицу его, Валуа! Хоровод мертвецов начался с нашего отравленного кузена Конде, нас самих подстерегают убийцы — и меня и тебя. Хотя это не мы торговали человеческим мясом. Вешай смелей, Валуа!

Так говорит тот, кто сам отпустил на волю немало своих «убойников» и даже пытался приучить себя просиживать с ними ночь. Но настает минута, когда уже не можешь смиряться со злом, которое живет в человеческой природе. В ней есть и своя доброта, она знает об этом, и тем менее простительна ей злоба. С самого возникновения человеческого рода его добролюбивые представители вели борьбу во имя разума и мира. Оз или человечность — все это выглядело очень смешным; а такие слова, как «воин духа», люди находят нелепыми, если сами они грубы и глупы и хотят оставаться такими. Вот перед вами король по имени Генрих, он мог бы колесовать и вешать сколько вашей душе угодно: ведь вы сами его на это вызываете слишком уж злыми издевками над его здравым разумом. Бесчинства,

неразумия – вот все, на что вы до сих пор толкали этого Генриха за его добрую волю. Хоровод мертвецов, продолжайся! До конца года осталась еще целая неделя.

Я только и жду той минуты, когда мне сообщат, что покойную королеву Наваррскую тоже удавили. А если еще умрет ее мать, тогда я смогу прочесть благодарственную молитву Симеона: «Ныне отпускаеши раба твоего, владыко» [33. – В Евангелии от Луки (II, 25–35) рассказывается о некоем праведнике Симеоне, которому было предсказано, что он не умрет, пока не узрит мессию (спасителя). Увидев в храме младенца Христа, он произнес благодарственную молитву, первые слова которой здесь приведены.]

Так говорил он и писал, таково было его настроение после убийства в Блуа. Он надеялся, что Валуа отправит на тот свет и свою драгоценную сестрицу Марго и еще более драгоценную мамашу – мадам Екатерину. А последняя между тем и в самом деле умерла – и даже без постороннего вмешательства: уж слишком потрясено было все ее хрупкое существо смертью Гиза, а также тем, что никто не хотел верить, будто в этом убийстве могли обойтись без нее. Быть обвиненной в том, на что уже нет сил, – это очень тяжело для старой убийцы. Ей оставалось одно – покинуть сей бранный мир. Неужели она в самом деле мертва? Эта весть поразила Генриха. Его пророчество все-таки сбылось, а он не любил убивать. И ему стало страшно за свою бывшую Марго. Хоровод мертвецов, остановись!

Стремиться друг к другу

Но этот хоровод давно уже нельзя остановить. Генрих, который продолжает вести партизанскую войну, едет верхом в сильный мороз и под панцирем цепенеет от стужи; приходится сойти с коня и хорошенько поразмяться, чтобы согреться. Немного позднее, после еды, он вдруг почувствовал какой-то особый, странный холод. И отчетливо понял, что теперь и ему, быть может, придется вступить в хоровод мертвецов. У него начиналось воспаление легких.

Это было в маленькой деревушке, и заболел он столь тяжело, что пришлось его оставить в доме помещного дворянина. Стекла звенели от мороза, лихорадка все усиливалась, и, казалось, всякая надежда на то, что он выживет, исчезла; только

он один и не терял ее. Он говорил себе: «Я хочу совершить предназначенное мне. Не напрасны были мои труды». Он думал, что говорит вслух, а на самом деле едва шептал: «Да будет воля твоя». А воля божия, без сомнения, в том, чтобы Генрих продолжал бороться и завершил то, что начал, хотя сегодня он и лежит завернутый в простыню, словно Лазарь, обвитый пеленами; и кризис, который, может быть, его еще спасет, должен наступить всего через несколько часов.

В то время, как уже не раз он видел небо разверстым, в королевстве происходили события точно перед началом более светлых и чистых веков: повторялась в основных своих очертаниях какая-то страшная эпоха глубокой древности. Хоровод мертвецов, пляска св. Витта, крестовый поход детей, чума, тысячелетнее царство, белки закатившихся глаз, ослепших иногда только от самовнушения... Все словно с цепи сорвались. Хе-хе, говаривала возвышенная духом молодежь на манер монашка «Яков, где ты?» Наконец-то можно с людьми не церемониться. Теперь уж не до смеху. И кто еще веселился во вторник на масленой, тот больше не посмеется. Не ходите в церковь — так берегитесь. А коли проповедник назвал тебя по имени — знай: домой ты живым не вернешься. Шпионить, доносить, выдавать, подводить под топор, хе-хе! А в награду за поклеп ты займешь место оклеветанного или приберешь к рукам его дело: теперь все так. Поэтому даже почтенные горожане стали негодьями. При иных порядках они будут вести себя в высшей степени достойно, можете не сомневаться, они всегда подчиняются обстоятельствам. Сейчас они бессовестные негодяи. И все это не от них самих, причина не в них. В чем же, спрашивается?

Этот кривой сброд с закатившимися глазами больше всего ненавидит разум. Какой-нибудь недоучившийся студент, но который держит нос по ветру, врывается в аудиторию профессора, избивает его, запрягивает в тюрьму и садится на его место. Молодой врач обвиняет старого, который ему мешает: оказывается, тот не поздоровался с прачкой. Так же действует и мелкий чиновник: чем раньше он был покорнее, тем больше наглеет перед верховными судьями королевского парламента. Пусть подчинятся ему и провозгласят новое право — от имени единой нации, единство же она обретет лишь после отмены мышления. Так бывало и раньше. Поэтому же их жены пляшут на улицах в одной сорочке.

Председателя суда в Тулузе чернь убила. Сначала баррикады, потом убитого судью тащат на виселицу, где уже болтается чучело короля. Верховный судья противился низложению короля, поэтому они повесили и его за компанию. Последний

Валуа был человек слабый и несчастный, его не раз толкали на преступления. И все же перед концом его жизни ему выпала на долю высокая честь — стать ненавистным не из-за всего содеянного им зла, а только из-за вражды одичавших масс к разуму и человеческому достоинству, и даже сделаться символом этих качеств, как ни мало был он для этого пригоден.

Он бродил, словно призрак, в своей лиловой одежде — цвет траура, который носил по брату и матери. Но, казалось, он носит его по Гизу, которого сам убил.

Гиз был ему не по плечу. И это деяние, единственное в его жизни, отняло у него все силы. Будь то не последний Валуа, а кто-нибудь другой, оно, бесспорно, толкнуло бы его вперед. Но он думает только о том, что теперь надо пустить в ход крайние меры, надо всех ужаснуть, иначе убитый настигнет его. Какое уж тут мужество, какие трезвые размышления — ведь у меня нет выбора. Мне нужны солдаты, и пока враги еще ошеломлены ударом, их всех нужно уничтожить. Сюда, Наварра!

Валуа в своем лиловом кафтане, бледный и молчаливый, никого не вспоминал столь часто. Как призрак, бродил он по комнатам замка в Блуа, одинокий и всеми покинутый: ведь он самой церковью лишен престола, и присяга уже не связывает его подданных. Депутаты Генеральных штатов разъехались по городам королевства.

А государя его столица не впустила бы или скорее они бы там захватили и прикончили его; но так — он отлично это понимал — они поступили бы лишь потому, что люди находятся сейчас в каком-то особом состоянии, и его не назовешь иначе,

как бессилием. Беснующееся бессилие. Уж Валуа-то знал, что это такое, на собственном опыте, он умел отличать слабость от здоровой способности к действию. Эта способность есть у другого лагеря. «Наварра!» — думал он с окаменелым лицом; но он не призывал его, не дерзал призвать. Ведь Генрих —

гугенот, как может король послать его против своей католической столицы, он,

вдохновитель Варфоломеевской ночи! Наварра, конечно, вернул бы его обратно в

Лувр, но зато Валуа получил бы в придачу войну с мировой державой, которая

оставалась все такой же грозной, как и прежде.

Гибель Армады была единственной вспышкой молнии, озарившей угрюмое небо над последним Валуа. Но он уже не успеет понять, что насмерть ранена и сама мировая

держава. Это уже касается его наследника. А наследник французского престола начнет свое царствование без земли, без денег, почти без войска; но достаточно ему в одном-единственном и совсем не значительном сражении разбить наемников и холопов Испании – и что же? Вздох облегчения вырвется у всех народов.

Для Валуа все это скрыто мраком, каждый звук, доносящийся извне, замирает. Вокруг нет никого, кто позвал бы Наварру. И за стенами никого, кто бы трепетал, опасаясь Наварры; разве иначе они дерзнули бы отнять у бедного короля его последние доходы, и это после того как он совершил свое великое, единственное деяние? В комнате стало холодно, король забрался в постель. Он страдал от болей, от нелепых болей: его мучил геморрой. И несколько оставшихся при нем дворян издевались над ним, оттого что он плакал.

«Наварра! Приди! Нет, не приходи. Я плачу не из-за своей задницы, а оттого, что мое единственное деяние оказалось бесполезным. Теперь ты бы смог показать, на что ты годен. Но и тут ничего не выйдет. А все-таки я знаю, ты тот самый, я могу тебе довериться. Тебя я объявлю наследником, хотя бы десять раз от тебя отрекся. Никого нет у моего королевства, один ты остался; я дорого заплатил, чтобы это понять. Взгляни, Наварра, как я несчастен! Никогда мое несчастье не бывало столь тяжким и глубоким, как после моей напрасной попытки освободиться. Совершив свое деяние, я воскликнул: «Король Парижа умер, наконец-то я король Франции!». Но не называй меня так, никакой я не король. Зови меня Лазарем, если ты явишься сюда, Наварра. Нет, не надо! Нет, приди!».

Им обоим, разделенным огромными пространствами королевства, приходится трудно. Генрих меж тем благополучно перенес кризис. Он вскоре поправился – и уже больше никогда не предавался тем помыслам о насильственной смерти, которые предшествовали его тяжелой болезни. Он говорил о кончине господина де Гиза весьма сдержанно: – Мне с самого начала было ясно, что господам Гизам не по плечу такой заговор и что нельзя довести его до конца, не подвергая опасности свою жизнь. – Таковы были его выводы; с ними король Наваррский согласовал и

свое поведение: стал еще осмотрительнее и многим казался чересчур скромным.

Разве он уже отрекся от благородной и смелой задачи – отбить Валуа у его врагов? Правда, этих врагов великое множество на всем пространстве, отделяющем

его от короля. Друзья знавали Генриха, когда он был еще отчаянным сорванцом.

Притом в пустяках. И вдруг такая сдержанность, сир, в большом и серьезном деле?

Он чувствовал, что старые друзья недовольны им; эти старейшие из гугенотов,

передававшие от отца к сыну обычай умирать за свою веру; те самые, кто под

Кутра, молясь, опустились на колени, почему и пал тогда Жуайез; а теперь они

недовольно ворчали, сами еще не зная, почему. Прийти на помощь королю-католику,

– вот чего им хотелось, но если бы им это сказали, они бы не поверили и не

признались бы в своем желании. А Генрих полагал, что сначала это желание должно

в людях как следует созреть – тогда появится возможность осуществить его. Так

же, как сообщили Генриху, обстояло дело и с Валуа. Несчастный последыш покинул

свое прежнее убежище, его приютил город Тур; этот город лежал среди пашен на

обоих берегах Луары, в сравнительно спокойном месте его мятущегося королевства.

Там Валуа надеялся дождаться, пока достаточное число его дворян вспомнят о нем.

Тем временем его уцелевший фаворит Эпернон собирал для него пехоту. Но могло

случиться и так, что враги успеют застигнуть его раньше и возьмут в плен. Положиться можно только на одного Наварру; и куда это он запропастился?

«Я,

король католиков, – думает Валуа, которому едва удастся сколотить кой-какое

войско. – Как бы еще не разбежались мои солдаты, если я призову гугенота!».

Генрих же думал: «Он позовет меня, когда этого захотят его люди; а до этого

рано. Я стремлюсь к тебе всем сердцем, Валуа». Он держал свои мысли в тайне, но

именно ради них и пригласил к себе своего Морнея в первый день марта. Это происходило в маленьком городке, который ему не пришлось покорять: город сам

открыл перед ним ворота. Генрих и Морней ходили по открытой галерее, освещенные

лучами весеннего солнца, и никогда еще его свет не казался им таким обновленным

и полным надежды.

— Что-то изменилось, — сказал Генрих. — Теперь меня призывают со всех сторон. Города спорят из-за того, кому раньше сдаваться. Или добрые люди спятили, или это весна виновата?

— Может быть, сир, тут еще одна причина: они не хотят, чтобы вы даром теряли время?

— А куда мне торопиться? — отозвался Генрих, и сердце у него забилося, но только потому именно, что он отлично знал, какое дело надо сделать как можно скорее и в последнюю минуту колебался. Долго-долго трудился он, шаг за шагом, в поте лица своего пробиваясь к цели. И вот ее уже видно, он мог бы рвануться вперед, но он в нерешительности, он не делает последнего движения, он вдруг не чувствует в себе былой уверенности. Возможность удачи уже не так очевидна, как казалось раньше, когда цель была еще далека и все мучительные труды и усилия были еще впереди. Принц крови, а ноги все в земле. Пусть говорит его друг, пусть решает господин дю Плесси-Морней, для чего же еще он добродетелен и мудр?

— Сир, вам и двух месяцев нельзя терять на пустыки. Надо спасать Францию. Вы должны со всеми силами, какие можете собрать, двинуться к Луаре.

— Там стоит король, — сказал Генрих, и сердце у него екнуло.

— Именно поэтому.

— И я должен на него напасть, Морней?

— Вы ему друг, сир, и он станет вашим другом, ведь десять его армий не смогли вас уничтожить.

— Разве десять, Морней? Столько положено трудов и усилий? Да, а теперь у Валуа нет больше ни одной, Лига его проглотит живьем. Вы говорите, господин дю Плесси, что я должен прийти ему на помощь? Что ж, я не прочь. Надо подумать.

Последствием этого разговора было то, что он решил купить какой-нибудь город, стоявший на его пути, чтобы без излишних боев пройти по земле королевства: это он, который сотни раз рисковал своей жизнью, чтобы завоевать клочок земли! Теперь же предстояло завоевать всю страну. Но брать приступом стены, жечь дома и оставлять на улицах трупы — все это Генриху уже давно

опостылело. И он рад бы обойтись без всего этого: ведь он хочет стать совсем не таким королем, как остальные. И он покупает города, которые не сдаются без боя, а позднее будет покупать даже провинции, но сначала волей-неволей придется одержать еще много побед и состариться, не снимая доспехов. А иначе даже за деньги его королевство не образумится, не захочет стать богатым и сильным.

Вот какие печальные истины вынашивал в себе веселый король Генрих Наваррский, все равно, признавал он их или только смутно чуял. Был он, правда, еще слишком молод, но жизнью основательно к ним подготовлен. Какое счастье, что рядом с ним Морней, этот святой человек; Морней – зрелый муж в самом глубоком значении слова, и он не перестанет верить, несмотря на весь свой ум и на всю людскую злобу, которой видит вокруг себя так много! Он верит в силу слова, исходящего от господина. Важно его сохранить таким, каким оно изшло от бога, – истинное и ясное; и тогда оно будет непреложным. Поэтому Морней от имени своего государя обратился с воззванием ко всем жителям королевства. Пусть среди французов воцарятся согласие и единство.

Он вопрошал, чего, собственно, достигли люди всеми этими несчастными войнами, насилиями, миллионами убитых, да еще расшвыривая столько золота, что его не возместит никакой рудник? И отвечал, вернее заставлял читателя ответить: достигнуто лишь обнищание народа. И то, что государство в горячке и лежит при смерти. Бедствиям несть числа. Он спрашивал: доколе же будем терпеть?

Он обращал свой вопрос сначала к дворянству и горожанам и давал тут же те ответы, которые им подсказывала их собственная выгода. Затем его тон становился более торжественным, он обращался к народу, называл его закромами королевства, нивой Государства, ибо трудом народа кормятся правители, его потом утоляют свою жажду. Кто защитит тебя, народ, когда дворянство станет попирать тебя ногами?

Морней писал, а через него говорил Генрих: да, дворяне будут попирать тебя ногами, жители городов высосут из тебя все соки. На эти два сословия надеяться нечего, у народа одна надежда – на своего короля. Спокойствие и безопасность

может дать только король, — пусть сами догадаются, какой. Король гонимых и бедняков, победитель серебряных рыцарей и откупщиков. Но так как воззвание было написано от имени Генриха, то Морней не забыл принести за него клятву верности королю Франции. Если Генриху Наваррскому с благословения божия когда-нибудь удастся осуществить свой план до конца, то и тогда он останется послушен королю. А ему наградой послужит его чистая совесть. С него довольно, если все благомыслящие люди будут свободны.

В этом воззвании Морней из осторожности не упоминал еще об одном сословии, чтобы не раздражать его, ибо не слишком надеялся на примирение с ним. С духовенством ничего не поделаешь, и слепая сила ненависти, в данном случае воплощенная в Лиге, не может быть сразу укрощена — даже с помощью правды. Однако все увидели, что в словах Генриха она есть. Уверенность Морнея полностью оправдалась. Правда изливала вокруг себя неожиданный свет. Трудно было поверить: значит, нам разрешено согласие и единство? До сих пор это никогда не разрешалось. Что же произошло? Даже оба короля дивились, хотя их неудержимо тянуло друг к другу. Но препятствия не устранены. Наварра и не помышляет о перемене религии только ради того, чтобы унаследовать королевство. А Валуа, как всегда, торгуется с Лигой. И все-таки он довел до сведения Морнея, что готов встретиться, а к Генриху послал свою сводную сестру, мадам Диану.

Оба короля заключили перемирие на год, однако оба хотели бы, чтобы оно было вечным. Между тем Генрих двинулся в путь со своим войском. И так как города, мимо которых он проходил, охотно впускали его, то он быстро приближался к Туру. Король собрал там свой парламент. Его юристы оказались весьма благоразумными, а чем ближе подходил Наварра, тем они становились смелее. В конце концов они внесли договор между королями в свод законов французского королевства. Случилось это двадцать девятого апреля. А тридцатого показался король Наваррский со своим войском.

Было воскресенье, день стоял солнечный и ясный.

Бедному Валуа казалось, будто он прямо воскрес из мертвых. В первый раз у него не было страха, что Лига его захватит и увезет. Ведь приближался его брат

Наварра. Король слушал обедню, когда оба войска встретились у ручья, в трех милях от города; дворяне французского короля со своими полками и старые гугеноты. И те и другие, не останавливаясь — это было бы не по-дружески, — смешали ряды, сообща разнуздали лошадей и принялись их поить из того же ручья. Эти занятия помешали им пуститься в ненужные разговоры и праздно глазеть друг на друга. А увидали бы они постаревшие лица, тела, исполосованные шрамами; поняли бы, что и другие, не только они, испытали немало горя, вспомнили бы свои сожженные дома, убитых близких, двадцать лет междоусобиц. И, конечно, не смогли бы во время своего первого мирного свидания не вспомнить Варфоломеевской ночи — нет, этого не смогли бы ни виновники, ни жертвы. Кто-то предложил снять недоуздки и въехать с лошадьми в ручей. А король Наваррский ждал позади и не вмешивался; вперед он выслал командующего своей пехотой.

Впереди, у ручья, солдаты говорили: — Граф Шатильон, — и не хотели верить. И все-таки было воскресенье, день стоял солнечный и ясный, сын адмирала Колиньи один вышел навстречу маршалу д'Омону и обнял его. Люди вокруг них расступились и обнажили головы. И когда это все же свершилось и дошло до людских сердец, между обеими армиями началось братание.

Король последовал примеру своих солдат. Он не хотел толкать войска к примирению. Они должны были опередить желания своих начальников и даже удивиться, как это они себе позволили такую смелость. В замке Дю Плесси, на том берегу, король Франции ждал короля Наварры, он передал ему, что просит его переправиться через реку. Услышавшие это предложение могли подумать, что Валуа еще недостаточно научен несчастьями, и предположить дурные намерения. Замок Дю Плесси стоит на слиянии Луары и Шера. Тот, кто здесь переправляется, остается без прикрытия, отовсюду может прогреметь предательский выстрел, а на узкой косе Генрих будет беззащитен и окажется во власти Валуа. Несколько приближенных короля Наваррского усиленно ему не советовали это делать; но он не поддавался уговорам, сел в лодку с несколькими дворянами и телохранителями, даже не сняв шляпы с белым плюмажем и красного короткого плаща. И каждый видел издали, кто именно едет.

Он благополучно пристал к другому берегу, ибо так хотел господь, а еще потому, что уж очень сильна была тоска Валуа по Генриху; Наварра понял это на собственной тоске и потому был уверен, что находится в безопасности. Затем приближенные французского короля проводили его в замок. Валуа тем временем поджидал его в парке, — король пришел на целый час раньше и в душе тревожился, хотя внешне был похож на спящего и все не решался спросить: «Да где же он? Не случилось ли с ним несчастья?». Окруженный возвратившимися к нему придворными, он ни одного не спрашивал о том, что его волновало. Но вдруг слышит, что Наварра в замке; тогда, позабыв обо всем, Валуа побежал навстречу. Только пробежав несколько шагов, он, наконец, вспомнил о том, что он монарх, и придал себе должную осанку; в парке было полно народу — и придворные и простой люд. Король Франции прошел половину пути навстречу Генриху. И половину пути прошел король Наваррский.

Он спустился по ступеням лестницы, ведущей из замка в парк. Все увидели, что он одет, как солдат, куртка сильно вытерта панцирем на плечах и с боков. Бархатные панталоны в обтяжку были цвета увядшей листвы, плащ ярко-алый, серую шляпу украшали белые перья и прекрасный аграф. Все это разглядели во всех подробностях, и двор и народ. Кроме того, многие заметили, хотя и с неохотой, что борода у него уже седеет. Навернулись у Генриха на глазах слезы или нет, на это никто не обратил внимания, хотя плакал он легко, как могли еще помнить его старые знакомцы. Но даже им было трудно узнать это исхудавшее лицо, ставшее еще худее, чем бывают лица обычно; тем длиннее кажется его свисающий нос; на переносице глубокая полукруглая морщина; брови напряженно приподняты. Это не простое лицо, и только выражение решительности делает его лицом солдата. Ничто уже не напоминает в нем болезненного пленника Лувра. Этот Наварра идет твердым шагом навстречу королю.

На полпути их отделил друг от друга поток людей. И вот оба стоят, взорами ищут друг друга в толпе, здороваются, раскрывают объятия. Они бледны, их лица почти суровы. В это мгновение они еще только стремятся друг к другу, а в следующее все уже будет по-иному. Мир! Мир! Вот она, наконец, эта минута справедливости и добра!

— Дорогу королю! — кричит охрана; толпа расступилась, и когда король Наваррский предстал перед его величеством, он склонился перед ним, а Валуа его обнял.

Вторая Книга Царств, глава I, стихи 19 и 25

В одно прекрасное утро появился оставшийся в живых брат Гиза Майенн с отрядом конницы, чтобы схватить короля. И, конечно, предатели, которых вокруг него всегда было достаточно, завели короля туда, где он, без сомнения, бы погиб. Какой-то мельник узнал его по лиловому кафтану и сказал: — Сир! Куда вы? Там засели фрятисты! — Майенн уже начал наступление. Отважный Крийон не смог удержать предместье и возвратился в город с таким малым числом солдат, что ему пришлось самолично запирать городские ворота. Короля Наваррского уже не было, но он отъехал недалеко, и за ним послали. И полутора тысячам аркебузирова-гугенотов удалось спасти Валуа. Члены Лиги хотели было хитростью остановить их натиск; они закричали: — Храбрые гугеноты, мы воюем не против вас, только против короля, а ведь он вас предает! — В ответ раздался залп.

Все же немногочисленный отряд гугенотов вынужден был под конец отступить; они отходили медленно, неохотно, продолжая стрелять, и треть из них была перебита. Крийон, солдат короля, с тех пор заявлял о своем пристрастии к гугенотам. Видя, что друзей у их государя теперь прибавилось, сражавшиеся почувствовали новый прилив вдохновенного мужества и решимости — настолько, что сам Валуа устремился на поле боя. А Лига бежала без всяких причин — единственной оказался страх. Как счастлив был Генрих, что ему уже не нужно биться против короля, только против врагов короля. Это давало ему внутреннее удовлетворение, а оно дороже иной крепости. Он привел к королю свои войска, перешел мост с тысячью двумястами конников и четырьмя тысячами аркебузирова, и когда те предстали перед Валуа, король спросил: — Почему все они бодры и веселы, разве нет больше войны? — А Генрих ответил: — Сир! Хотя мы днем и ночью на коне, но это добрая война. — И Валуа понял; он впервые рассмеялся от всей души, смеялся и Генрих.

Король, охваченный новым порывом мужества, собрал к лету пятнадцать тысяч швейцарцев, и притом без денег. Вместе с его собственными войсками и отрядами

Наварры у него оказалось сорок пять тысяч солдат, сильное войско; оно должно было вернуть ему столицу королевства – и могло это сделать. А тем временем войско Майенна прямо таяло, и в конце концов у него осталось всего пять тысяч солдат; ни испанцев, ни немцев не было уже и в помине, ибо если народ вовлечен в движение обманное и постыдное, то достаточно свежего дуновения мужества, как все рухнет, и никакие массы это движение уже не поддержат. Даже в осажденном Париже вдруг зароптали открыто. Люди в коричневых сутанах не могли появляться на улицах без оружия. А где же Лига? Где правящая партия? От этого чудовища осталось, в сущности, немного – оно состоит теперь наполовину из бесноватых и наполовину из трусов. И, кроме этих двух человеческих разновидностей, там нет никого.

Старые полководцы короля толком не знали, нужно ли начать осаду Парижа. Осада могла очень затянуться; а если она ни к чему не приведет, войско Лиги, наверно, опять увеличится. Однако на этом настаивал Генрих Наваррский, пользуясь всем своим авторитетом. – Решается судьба королевства, – говорил он. – Не забывайте: мы пришли сюда, чтобы целовать этот прекрасный город, а не поднять на него руку. – Он сказал еще многое, отчего взятие столицы стало казаться задачей более славной, чем какая-либо иная. А смелому верят, и это дает ему силу. Поэтому тридцатого июля королевское войско взяло Сен-Клу, центр города и мост. Король остался в Сен-Клу, а Наварра занял другое предместье.

Два дня спустя, когда он и его храбрый отряд только что сели на коней, вдруг мчится галопом какой-то дворянин и шепчет ему на ухо несколько слов. Наварра тотчас поворачивает коня. Он берет с собою в Сен-Клу двадцать пять дворян. – Сир, зачем вы едете к королю? – Друзья его только что пырнули ножом в живот! – Они замолчали, пораженные, а когда заговорили меж собой, то лишь вполголоса. Тут, конечно, вся Лига постаралась, говорили они. Эта партия, да и все движение таковы, что не способны честно бороться, а только убивать горазды. Монахи в Париже не даром предсказывали чудо, они знали, какое! Вот чудо и свершилось,

правда, оно приняло вид убийства. И к нашему государю явились трое молодых людей: они поклялись поступить, как Юдифь, только от их руки-де должен пасть новый Олоферн. Да руки коротки – он умеет справляться со своими убийцами. А бедняга Валуа – нет. Кто же его пырнул?

Скажи пожалуйста, какой-то монашек, двадцать лет ему, толстогубый такой, наверно, одним был из вожаков этой самой возвышенной духом молодежи, а теперь дворяне Наваррского короля, приехав, увидели во дворе только растерзанный коричневый комок. Почему-то, свершив свое дело, он не пытался бежать: стал лицом к стене и шепчет: «Яков, где ты?» А его самого так звали – Яков.

Наследник престола находился в комнате умирающего: сначала можно было думать, что рана не столь опасна, и все-таки она оказалась смертельной, но в минуту смерти наследника не было подле Валуа, он куда-то уходил. Когда он вернулся, первыми упали к его ногам шотландские гвардейцы покойного короля и воскликнули: – О, сир! Теперь вы наш король и государь!

В первую минуту Генрих не понял, несмотря на всю веру в свое предназначение. Им овладел страх и грозное предчувствие: «До сих пор я сражался только за свое дело, теперь же становлюсь на место побежденного, он лежит заколотый убийцей, а как-то еще я буду лежать в свой смертный час?» Опустив голову, поднялся он по лестнице, вошел в опочивальню и долго смотрел на умершего. Мы ведь и тут еще, на земле, видим умерших – очами духа видим мы несравненно большее число умерших, чем живых; и кто осознает это, ему кажется, что обитает он в одном мире с ними и он с ними говорит. И Генрих Наваррский сказал, обращаясь к усопшему Генриху Валуа: «Краса твоя, о Израиль, поражена на высотах твоих! Как пали сильные на брани. Сражен Ионафан на высотах твоих».

А у тела уже молились два монаха, некий господин д'Антраг поддерживал подбородок умершего. Новому королю еще предстоит немало хлопот с этими господами, а также и со всеми остальными, которые вдруг набились в комнату, словно по уговору. Они глубже надвигали шляпы, вместо того чтобы снять их перед новым королем, или бросали их на пол и громко клялись: – Лучше тысячу раз умереть, лучше сдаться любому врагу, чем пустить на престол короля-гугенота. – Они старались, чтобы в этих словах звучала вера и убежденность, но в них звучала фальшь, особенно потому, что некоторые из этих господ тотчас после

убийства уже присягнули наследнику. Но тогда их пугала мысль о собственной судьбе; они еще не стоворились предать королевство и идти с Лигой. После совместного обсуждения они решили, что это самое надежное. Ведь у Филиппа Испанского золота было все еще больше, чем у кого-либо на земле.

Но не от Генриха могли они скрыть свои намерения: он ни на миг не поверил в их пламенное благочестие. Генрих приказал сшить себе траурное платье из лилового кафтана покойного: он спешил, и у него не было денег на матерью. Лиловый кафтан ушили, но придворные его все же узнавали и подталкивали друга локтем из презрения к бедности короля: тут уж не разживешься. Они отправили в покои Генриха посольство с требованием переменить веру, и притом немедленно. Неотъемлемым признаком королей Франции является-де миропомазание из священного сосуда и коронование рукою церкви. Генрих побледнел от гнева. Пусть думают, что от страха, ибо в это мгновение он, казалось, был у них в руках: ведь они не могли знать, что он давно привык иметь дело с убийцами.

Он отказался выполнить их требование с таким величием, какого они от него не ожидали: занимая престол, он не отречется от своей души и сердца. Потом окинул взглядом собравшихся. Тут была вся знать, но кого же они выслали вперед, кому предоставили держать слово перед Генрихом? Некому д'О, всего-навсего О, да он и с виду таков: пузатый молодой человек, который благодаря милостям прежнего короля стал лодырем и вором; один из тех, кто поделили между собой страну и доходы. Так за тем им еще нужен какой-то король? И этот бесчестный негодяй осмелился его, человека, который всю жизнь боролся, наставляя на путь истины и ссылаясь на единство нации! Да, ведь в назидания пускаются обычно бесчестные люди! Генрих пристально посмотрел на него и заговорил с особенной твердостью: — Среди католиков моими сторонниками являются все истинные французы и все честные люди, — После столь явного оскорбления присутствующие смолкли — и оттого, что это бросил им человек с решительным лицом, и оттого, что это была правда.

Но таких людей убедить еще легче, если за дверью слышится звон оружия. И вот дверь распахивается, топая, входит один из солдат, Живри, он кричит: — Сир!

Будем смелы — и вы король! Отступают только трусы. — После этого все, кого он разумел, исчезли. Потом явился Бирон, он хотел заверить Генриха, что уж швейцарцы-то ему не изменят. Правда, одних швейцарцев мало, их не хватит. «Но зато есть Бирон, костлявый, суровый человек, уже в летах, а все-таки он может, опираясь на большие пальцы рук, обойти вокруг стола; он был моим врагом, и настолько благороден, что признал свою ошибку. И он является ко мне, хотя мои дела и обстоят очень плохо». — Бирон! Дайте мне прижать вас к сердцу. С такими, как вы, нельзя не победить.

На земле и на небе

В течение последующих пяти дней новый король видел, что его войско тает и тает, как перед тем таяло войско Лиги. Маршал Эпернон, который был еще так недавно опорой королевства, нарочно поссорился с Бироном, чтобы потом заявить: он, маршал Эпернон, при таком короле не будет вести войну — это же разбой на большой дороге. Сказал и удалился в свое королевство, в Прованс. У каждого из них было по маленькому королевству, которое они себе отхватили от провинций, входивших в состав большого; туда-то он и удалился, забрав с собой своих дворян и всех солдат. У нового короля не было никакого способа удержать их. Принять католичество? Тем скорее покинут его эти же люди. И заслужил бы он только презрение своих собственных соратников и единомышленников, а также иноземных друзей; и уж тогда ни из Англии, ни из Германии солдат не жди.

В те дни, полные отчаяния, он написал со своим Морнеем обращение к французам, в котором заявлял, что гарантирует обеим религиям их прежнее положение. Сам он оставляет за собой право принять ту, которую будет исповедовать большинство его соплеменников. Он не указал точно срока, но он знал, что это случится. Когда он будет крепко держать в руках и королевство и непокорную столицу, только тогда, и притом — только по доброй воле. Став неограниченным повелителем королевства, он дарует своим прежним единомышленникам полную свободу совести, таково было его решение; принял ли он его ради них или из уважения к самому себе, чтобы не дать пощечину всему, чем он был раньше, —

не все ли равно? Он тот король, который выпустит впоследствии Нантский эдикт и будет всей своей властью защищать свободу. Он принимает это решение и прозревает будущее именно в эти пять дней, когда почти все вокруг него разбегаются и другой, наверно, бросился бы за ними, чтобы их вернуть.

А тем временем столица, которую он все еще осаждал, дошла до последних крайностей безумия. Немногочисленные люди, сохранившие трезвость суждения, предпочли бы даже, чтобы вернулся их погибший вождь Гиз. Оставленное им наследие превосходило все, что они видели при его жизни. И в сравнении со своей сестрицей Монпансье Гиз был прямо-таки мудрецом. Она же ликовала и бесновалась и бросилась на шею гонцу, принесшему весть о смерти «тирана». Ей не давало покоя только то, что умирающий Валуа мог уже не узнать, кто именно подослал, к нему коричневого монашка. Это Гиз протянул из могилы руку и нанес тебе удар!

Герцогиня заставила свою мать, мать обоих убитых Гизов, говорить с алтаря к народу, и та действительно доводила людей до исступления своим кликушеством, ибо через эту старуху вопил весь Лотарингский дом, его гнусность, распутство и тайное безумие, толкавшее его на все совершенные им злодеяния. Герцогиня хотела немедленно провозгласить королем своего брата Майенна, но тут она получила отпор от испанского посла. Его государь, дон Филипп, окончательно решил, что теперь Франция – всего лишь испанская Провинция; его войска заняли Париж. Под защитой своего повелителя Лига могла предаваться любым неистовствам. Мать «Якова-где-ты?» привезли из деревни и воздавали ей почести, точно пресвятой деве. Изображения коричневого парня и обоих Гизов были выставлены на алтаре, и им усердно поклонялись. Не часто в истории выпадали на долю почтенных горожан, простолюдинов и особенно возвышенной духом молодежи такие дни, когда можно невозбранно ходить вниз головой; хорошо еще, что они, при всех злоупотреблениях религией, не обладали серьезной и честной верой: ибо тогда все это было бы просто чудовищно – и беснование, и упоение, – хотя оно и так чудовищно, если поразмыслить...

Это были те самые дни, в которые Генрих, стоя перед запертыми воротами города и всеми покинутый, все же оставался тверд в своем решении спасти разум и защитить свободу. Но сначала нужно вырвать королевство из когтей мирового владыки. И Генрих не отступит в Гасконь и не бежит в Германию. Он слышит

голоса, которые советуют ему и то и другое, они кажутся голосами человеческого, здравого смысла; притом ведь находишься в положении, из которого как будто нет выхода. Но один он знает: трудно оставаться твердым. Отвагой завоевываешь доверие, доверие дает силу, сила же – мать побед, победами мы укрепим наше государство и обезопасим нашу жизнь

Восьмого августа он снялся с лагеря. Останки покойного короля Генрих проводил только часть пути. Обстоятельства не позволяли предать их земле с подобающей торжественностью. Затем он разделил надвое свое войско, от сорока пяти тысяч солдат у него осталось всего десять-одиннадцать тысяч. Маршала Омона и своего протестанта Ла Ну он послал, дав каждому по три-четыре тысячи солдат, на восточную границу, чтобы они прикрывали королевство от нового вторжения испанских войск. А сам с полсотней аркебузирова и семьями конников решил принять на себя все силы противника, сколько их ни было в стране, но именно там, где он наметил.

Он двинулся на север, к Ла-Маншу, в надежде на помощь английской королевы, которая первая нанесла удар мировому владыке. Если бы поддержка со стороны Елизаветы не представлялась ему возможной, Генрих никогда бы не стал рассчитывать на то, что город Дьепп откроет перед ним ворота. Двадцать шестого он стал у стен Дьеппа, и тотчас ворота растворились. Эта поспешность была порождена тревогой. Вот появляется, прорвавшись сюда из подозрительных далей, главарь разбойничьей шайки – ибо кто же он еще? Называет себя королем, а страны нет; полководцем – а нет солдат. Жена и то от него сбежала. С другой стороны, никто не знает, когда подоспеют силы великолепного Майенна и что еще до тех пор может случиться. Вдруг английские корабли примутся обстреливать с моря несчастный город, а с суши уже напирают солдаты Генриха. И вот город выбирает зло, которое считает наименьшим, и открывает ворота. Держа в руках огромные ключи, стоят на коленях отцы города, подносят хлеб-соль, а также бокал с вином, которое, может быть, отравлено. Но король разбойников поднимает с мостовой толстого старика, точно пушинку, и говорит, обращаясь ко всем: «Друзья мои, прошу вас, не надо этой шумихи! Все у нас по-хорошему, и этого мне достаточно. Добрый хлеб, доброе вино и приветливые лица».

Кубок он так и не выпил, чего они не заметили, пораженные тем, что он оказался столь беззаботным и простым. Они же были потомками норманнов, с более тяжелой кровью, чем у него. Их город стоял на месте, открытом для вражеских ударов, и его граждане встречали частые напасти выдержкой и мужеством. Но сохранять вдобавок веселое расположение духа! Взять у молодой девушки из рук розу, шутить и каждому что-нибудь обещать! А есть у него что дарить-то? Они все же пересчитывают его небольшой отряд, горсточку всадников, жалкую пехоту. Потом размышляют и спрашивают друг друга: — И он с этим намерен завоевать герцогство Нормандию? Не может быть! — А дело обстояло так, что «с этим» он намеревался завоевать все королевство, от края до края. Жители просто не поняли его, когда он заявил об этом во всеуслышание: для людей, лишенных воображения, бесспорным казалось обратное.

Так же как жители Дьеппа, действовало и большинство обитателей других городов — ибо они ничего не могли предугадать, даже каков будет ближайший час этой действительности, хотя каждый мнил, что уж он-то знает ее, как свои пять пальцев. Они до самого конца не замечали, что все их представления — просто бредовый сон, а не правда жизни. Какое бы всемогущество Лига себе ни приписывала, она оставалась только ночным призраком и от сияния солнца должна была исчезнуть. Но, как ни странно, они этого не сознавали. Напротив, ту восходящую истину, которую нес с собой новый король, эти люди встречали, озабоченно хмурясь, хотя испытывали скорее сомнения, чем ненависть; так было не только с жителями Дьеппа, но со всеми. Тут, конечно, примешивался и страх, затаенное тревожное предчувствие: а вдруг новый король — воплощенная человеческая совесть? Как же так? И неужели «этим» намерен он завоевать герцогство Нормандию? Нет, невозможно! И когда он потом победил — достаточно было ему выиграть одну битву, — они поняли: он получит королевство. Поняли из конца в конец по всей стране, что занялся долгожданный день.

— Ну что, Дьепп! — воскликнул Агриппа д'Обинье, уже исполненный поэтического вдохновения. — Не только под Дьеппом стоим мы на этой мгlistой равнине, между поросшими лесом холмами и рекою Бетюн, где мы роем траншеи, и я даже снял башмаки, так горяча работа. Здесь находится одна лишь наша телесная оболочка; как земляные черви, голые, мы пробиваем ходы в глине, роем два окопа, один

позади другого, чтобы устоять, когда по равнине на нас двинется злобный враг. И мы стараемся здесь укрепиться по всем правилам человеческого искусства и зацепиться за этот клочок земли. С тылу у нас деревня Арк, а над нею — крепость. Еще дальше нам послужит заслоном город Дьепп, если придется отступать, и мы даже можем надеяться на помощь английских кораблей.

— Ну и хватил, Агриппа, — заметил Рони. — Отступать мы не будем.

А дю Барта вставил: — Пожалуй, даже не сможем — когда протянем ноги на этом поле.

— Господа! — остановил их Роклор. Однако Агриппа не оторвался от своих мыслей, или, вернее, своего стихотворения: — Конечно, наша телесная оболочка находится здесь, на этом поле под Арком, где слева от нас река, справа поросшие кустами холмы, серые от тумана, и между ними деревенька Мартеглиз.

— С харчевней и хорошим вином. Я пить хочу, — вставил Роклор.

— Когда на этом поле мы протянем ноги, — повторил вполголоса дю Барта и сосчитал слоги.

Агриппа: — Но где же мы духом? Не в харчевне и не на равнине среди других мертвецов! Духом мы уже в будущем — после сражения, после победы. Ибо кто же не знает, что мы должны победить. Даже враг это почувял. Майенн и его легионы уже спешат сюда и жаждут лишь одного: чтобы мы их разбили.

— Где уж там, — заметил Рони холодно и трезво. — Майенн идет сюда отнюдь не за этим, он хочет захватить короля — он сам говорил и воображает, что очень силен и куда как хитер.

Агриппа: — И все же в тайном закоулке сердца он жаждет того же, чего жаждет весь мир — не только Дьепп и взволнованное королевство. Мы должны их спасти от Испании и от них самих. Мы сломили власть мирового владыки. Мы боремся не с ними.

— А с их испорченностью и слепотой, — добавил дю Барта.

Агриппа же торжественно: — Друзья! Нашей победы ждет все человечество, самые дальние страны взирают на нас и все гонимые. С нами молитвы униженных, угнетенных, а также совесть мыслителей, она говорит за нас.

Даже Рони согласился с этим:

— Мы действуем в полном согласии с гуманистами всего Старого света. Но это не стоило бы и ломаного гроша, если бы гуманисты умели только думать, а не ездить верхом и сражаться.

— А они умеют, — подтвердили Роклор и дю Барта. Рони сказал:

— Морней объявил всем королевствам и республикам, что именно мы должны свергнуть мирового владыку. Морней послал Фаму, и вот по всем странам летит она, трубя в трубу, возвещая о том, что мы бьемся за право и свободу — они наши святые. И что мы выступаем от имени добродетели, разума и меры — они наши ангелы.

Роклор спросил вызывающим тоном:

— Разве вы сами в это не верите, господин Рони? — Но тот ответил:

— Поверить я готов и в это и еще во многое. А вот иметь мне хотелось бы несколько тысяч ливров из вьюков толстяка Майенна.

Дю Барта заговорил со всей силой, какую дает твердое знание, и со странными интонациями, точно гость, который пришел откуда-то с вестью и скоро должен возвратиться.

— Нет, не на этом поле протяну я ноги, — можете мне поверить. Всем нам еще суждено сквозь земной удел увидеть клочок голубого неба. Повержена будет нами десятикратная сила врага, и я слышу, как облегченно вздыхают народы и посланцы республик и пускаются в путь, чтобы поклониться нашему королю и заключить с ним союз.

Рони хотелось вставить: «Ну, ты перехватил. Ведь это лишь незначительная победа, четыре тысячи солдат, которые держатся, зацепившись за самый край материка и королевства; по человеческому разумению такая горсточка ничего не может решить. Но, может быть, мой король больше, чем король без страны? И послы будут действительно спешить к нему? Да нет, куда уж там. Ну, а Фама? — возразил он самому себе. — А взирающий с надеждою мир? А этот король?» Тут он взглядом с господином де Роклором, и тот кивнул ему молча и уверенно. Для всех этих людей, называвших себя червями, для строителей земляных укреплений, которые они возводили, босые, зарывшись ногами в землю, правда сделалась

отчетливо зрима, хоть и плотен был окружавший их туман. Им первым, в виде великого исключения, было дано знать ближайший час действительности.

Агриппе осталось только прочесть те строки, которые в нем уже звучали; остальные приготвились слушать.

Явись, о господи! Завесы больше нет
Меж нами и тобой. Сияньем ты одет.
Мелодией звучат небесные просторы.
То — сонмы ангелов, то — их святые хоры.

Проговорив эти слова, Агриппа умолк, ибо туман действительно расступился, над их головой показался овальный клочок неба, брызнул свет, и они своими глазами увидели — что именно, потом никто из них не рассказал. Но это были те святые и ангелы, которых они перед тем призывали, и все стояли в овале света. Лицами, одеждой и доспехами они походили на самых прекрасных и отважных богов древности. А среди них совершенно ясно виден был сам Иисус Христос в образе человека.

Псалом LXVIII [34. — В русском синодальном переводе библии — псалом LXVII.]

Под Арком, в траншее, Генрих выговаривает своему маршалу Бирону за то, что они вот уже неделю ждут нападения противника. Майенн стоит за лесом, и никакой перестрелкой его оттуда не выманишь. В такой туман он сражаться не будет. Но этот же туман мог оказаться немалым преимуществом для меньшего войска. Генрих хочет навязать неприятелю бой. Старик не советует. — Вы меня послушались, сир, и не засели в этом паршивом Дьеппе! Это такая паршивая дыра! — Она так и кишит предателями, — добавляет Генрих. А маршал: — Вы разбираетесь в людях, мне на себе пришлось в этом убедиться. Зато я лучше вас вижу преимущества того или другого поля боя. Никакой туман не должен заставить вас уйти с этого широкого, отовсюду защищенного четырехугольника. Можете быть уверены, что здесь вы удержитесь. Здесь за вас сами условия местности: с тыла крепость, слева река с болотистыми берегами, недоступными ни для конницы противника, ни тем менее для его пушек. А стрелять издали в тумане он не может.

— Зато наши пушки, — пробормотал Генрих. — Где они у нас? В том-то и весь

секрет! Вот будет сюрприз!

Бирон взглянул вокруг, они помолчали. Потом маршал пожал плечами: — И справа

Майенн не может напасть, холмы поросли кустарником, лощины очень узкие.

Ему

остается только одно — двинуться со стороны леса, через открытое поле.

Сир! Вы

будете ждать его между вашими двумя полевыми укреплениями: передовое

защищают

пятьсот ваших гугенотов, когда-то я с ними имел дело, знаю. Но там места

достаточно, и вы можете выстроить по фронту еще пятьдесят конников.

— Вы все тщательно продумали, Бирон, это знают и войска. У меня солдат не так много, и поэтому каждый способен судить сам обо всем и все видеть.

Его

боевой пыл не слеп, а вызван пониманием. И наше преимущество в том, что нас

мало.

мало.

— Сир, ваше лицо закрыто от меня прядью тумана, и я не вижу, смеетесь вы или

нет.

Генрих шепнул ему на ухо: — И туман скроет от врага, как нас мало и как удачно мы расположились, — закончил он и провел рукой от одной точки широкой

равнины до другой: там было шесть опорных пунктов, он знал каждый и

находил их

даже среди тумана.

Ни Генрих, ни Бирон не упомянули о том, что само собой разумелось: туман защищал, но он таил в себе также опасность и для тех и для других. Весь день

крались в обе стороны невидимые лазутчики. В гигантской армии Лиги то и дело

возникла беспричинная тревога. А в королевском войске люди прикладывали ухо к

земле и слушали. Наутро Майенн решил больше не ждать, пока туман

рассеется; он

ударил по врагу. Майенн владел военным искусством, он напал неожиданно

или

думал, что неожиданно. Он не стал двигаться по равнине, а послал отряд

пехоты —

всего триста немецких ландскнехтов — в обход, через холмы. Если его

сведения

верны, то король собственной особой стоит справа от второй линии

укреплений.

Прячась за кустами и в тумане, надо обойти и захватить его; таким

маневром

Майенн надеялся сразу же выиграть бой. Захватив короля, немцы кинутся ко

второй

линии окопов, атакуют с тыла первую, а там соединятся с конницей Лиги.

Если

взять все укрепления и королевскую гвардию, то от войска Генриха останутся на открытой равнине всего две-три кучки, готовые сдаться. Так рисовал себе противник тот бой, который он собирался начать. Но судьба готовила ему совсем иное.

Первую линию укреплений занимал Бирон, а вторую Генрих. Бирон опирался на часовню, которую намерен был удерживать со всем присущим ему упорством. У старика было всего шестьдесят конников, но такие глаза, которые и сквозь туман увидели ползущего через кусты ландскнехта. Он послал к королю вестового. Когда триста немцев, задыхаясь от долгого пути, ползком прибыли на место, их уже ожидали, и им осталось только с умильным видом поднять руки. Они уверяли, что в душе они сторонники короля; поэтому им помогли перебраться через ров, даже не отняли оружие, и король коснулся их рук. Однако намерения у них были несколько иные. Это открылось, когда мощные отряды Лиги, пешие и конные, обрушились на защитников первой линии. Но здесь стояли пятьсот аркебузирова – ревнителей истинной веры, и трудно пришлось бы тому, кто захотел бы их одолеть. Легкой кавалерии врага все же удалось прорваться в замкнутое пространство между двумя линиями окопов. Но там двадцать шесть дворян короля верхами налетели на нее, выскочив из тумана, – причем туман мешал определить их число, – и погнали перед собою неприятельскую конницу прямо к часовне; а тут они натолкнулись на Бирона и его шестьдесят солдат.

Ландскнехты, стоявшие у второй линии окопов, постепенно забывали о своей преданности королю. Они заметили, что отряды Лиги прорвались в замкнутое пространство. Того, что произошло потом, они не уразумели, вернее, уразумели слишком поздно, во всяком случае, они мгновенно опять стали врагами. Им удалось вызвать этим большое замешательство. Бирона, спешившего сюда, сбили с лошади. Тот же немец, который сбросил маршала, приставил пику к груди самого короля и потребовал, чтобы Генрих сдался: ведь тогда этот малый был бы обеспечен на всю жизнь. К сожалению, он опоздал, ибо его сотоварищи были уже разбиты на внутреннем поле; в пылу усердия он этого не заметил. И он видит вдруг, что его окружают всадники. Они вот-вот его прикончат. Лицо немца становится глупее глупого, а король смеется и приказывает отпустить его.

Но тут Бирон разгневался. Он сильно ушибся и с трудом влез на своего коня;
никто еще не видел, чтобы он хоть раз в своей жизни свалился с лошади. А теперь свидетелем оказался сам король; однако Генриху все равно, он хохочет. Что ж, если ему нравится ощущать острие немецкой пики на своей груди, — его дело. — О!
Я не могу похвастаться кротостью, ни благодушием. Отдайте мне этого негодяя!

Старик был костляв, как и его старая кляча, взгляд его опять стал железным, таким помнил его Генрих в дни их вражды. Вот он, прежний враг, он покачивается на коне — сухой и длинный; ни грохот, ни суতোлка сражения не могут отвлечь его от мысли о каре и мести. — Вы, Бирон, такой, а ландскнехт этакий. А мне приходится жить со многими людьми. — Король сказал это спокойно, уже слегка отвернувшись. Он спешил и стоял внизу, на дне окопа; всаднику, сидевшему па лошади, он представлялся маленьким: маленький серый панцирь, пышный плюмаж из белых перьев. Но тем сильнее вдруг почувствовал Бирон отделявшее их расстояние, и не только расстояние между королем и подданным — тайной узостью и мощью человеческих глубин дохнуло, на него снизу, на него, кого люди прозвали «смерть на дне». Кто этот человек там, внизу, — шутник? Игрок, готовый что угодно поставить на карту? Слезливый мальчишка? Нет, склонись, Бирон, это король, — так ясно мы этого еще никогда не чувствовали. Все говорят: он добр. Все видят: он весел. Да, — наверно. Так проносятся светлые птицы по темному небу. Все это верно, — и мягок он и силен духом, особенно же в нем сильно, если уж говорить откровенно, справедливое презрение к людям.

Тут Бирон повернул коня и понесся к своей часовне; ибо вокруг нее шел бой, а он решил, с еще небывалым упорством, отстоять ее — отстоять для такого короля.

Огромная армия Лиги не смогла взять лагерь гугенотов, защищенный двумя укреплениями. Ее гнали направо, через холмы, до самой деревеньки. Бирон продолжал удерживать часовню, и пока вокруг нее шел бой, враг невольно угодил в болото слева. Там на его отряды ринулось гораздо больше королевских солдат, чем он когда-либо предполагал встретить. И никому не пришло на ум, что это могли

быть все одни и те же солдаты. Конники короля, которых он провел галопом через все огромное поле боя, налетели неожиданно, уничтожили несколько отрядов вместе с их командирами и тут же исчезли в тумане. Противник пустился вслед и потерял направление. Куда идти? Против кого? Он искал короля; но тот уже давно умчался, чтобы еще тому-то оказать поддержку. На врага наступали все новые полки, а в действительности это были все те же. Его крупные соединения изматывались поодиночке, изматывались, прежде чем они успевали вспомнить, что представляют собой мощную армию. Настала минута, когда часть главных сил вступила на топкую почву, и она осела под тяжестью стольких тел. Тщетные попытки вернуться, смятение, многих засосало болото. А передние напоролась на швейцарцев.

В ложбине, скрытые кустарником, стояли вдоль ржи королевские швейцарцы, прикрывая деревню Арк, и они легли бы на месте все до последнего, но не пропустили бы ни одного из врагов короля. Эти люди, оторванные от родины и совершенно одинокие на клочке чужой земли, были из Золотурна и Гларуса, ими командовал их же полковник Галлати. Они выставили пики, — с этого места их не сдвинуть, — и уперлись в землю, широко расставив ноги: они не уступят никакому натиску превосходящих сил врага, они все лягут здесь костями. Однажды перед ними мелькнули в тумане белые перья, такой плюмаж носил только король. Он сказал им: — Мои швейцарцы! Сейчас вы защищаете меня. В следующий раз я вызволю ваш отряд. — Они поняли его, хотя он говорил на другом языке, чем они, и даже не на французском — тот они знали. Он называл их *Souisses* [35. — Швейцарцы.]. Он был им друг и обещал их полковнику Галлати, что, сделавшись наконец королем Франции, в благодарность поможет свободной Швейцарии избавиться от ее притеснителей. Слово короля и для него и для них было священно. Он хотел быть в будущем только союзником свободных народов. А они были из той же породы, как и те верные своей присяге швейцарцы, которые в день убийства адмирала Колиньи удерживали лестницу, пока не пал последний.

Швейцарцы удерживали ложбину. Всадники короля — шеренгой в пятьдесят человек — все вновь и вновь вылетали из-за окопов, пехота билась не на жизнь, а на смерть, в шести местах, Бирон отстаивал часовню, — и это были все те же люди, тогда как противник успевал перевести дух, заменяя одних людей другими. Рукопашная, пальба из пистолетов прямо в лицо, но не раньше, чем удастся

рассмотреть цвет перевязи. Подсовывают копьё под сиденье всадника и — вон его
из седла, наземь его! Какой-то важный дворянин из войска Лиги — вздумал,
лежа
на земле, поливать бранью молодого протестанта, который сшиб его: — Тебя
высечь надо, сопляк! — Но ему уже не подняться — он сломал себе шею. А у
часовни пал один из семьи Ларошфуко, — Осия, — совсем библейское имя.
Под Рони
и Бироном были убиты лошади. Лошадей было, увы, больше чем достаточно,
ибо их
седоки, лежа у них же между копытами, издавали стоны, которые слышала
только
земля. Над умирающими, как всегда, бушевала жизнь, и сейчас ее голосом
был
грохот сражения.

Короля с его белым плюмажем видели возле часовни, в ложбине у реки, в
окопах, на равнине — словом, повсюду; его видел каждый в отдельности и
все
одновременно. Он окликал их, попавших в туман и в беду, чтобы они
выстояли и
победили. Он выкрикивал славные имена, носители которых связали с ним
свою
судьбу, а если до сих пор чье-либо имя еще не было славным, то он
прославит
его. Генрих проезжал мимо молодого полковника, командовавшего его легкой
кавалерией, сына Карла Девятого от простой женщины из народа. «Валуа! Я
знаю
тебя и не забуду — ни тебя, ни твой дом. Вы пребудете в душе моей
навек». И
уже несся дальше. «Монгомери! Ришелье! Я сделаю вам сюрприз! Рони! Ла
Форс, где
беда — так и бог туда. Бирон! Ты видишь? Туман поднимается? Поднимается,
должен
подняться, это так же верно, как и то, что с нами бог и мы должны
победить.
Ларошфуко, я для тебя сюрприз приготовил, скоро ты услышишь раскаты
грома!»

Нагнувшись с седла, хватает он воина за плечо, и тот падает, но не так,
как
падает живой. Убитого, во всех доспехах, прислонили стоймя к стене
часовни. —
Осия? Ты? — спрашивает Генрих про себя, и не хочет верить тому, о чем
опрашивает. — Скоро грянет удар грома, но этот уже не услышит его. Нас
должны
спасти пушки крепости Арк, только бы поднялся туман и можно было навести
их. У
меня в окопе есть нормандец-пират, он скажет мне с точностью до одной
минуты,
когда поднимется туман. Услышь это напоследок, мой Осия! — Бездыханный
лежит
Ларошфуко при дороге, как лежал когда-то в замке Лувр в ночь резни
другой, из

того же рода. Так лежат мертвые при дороге. А король несется дальше.

Вот он у швейцарцев. Держитесь, — скоро конец. Невозможно, их смяли. Ложбина у реки все-таки сдана, и сдана часовня. Остатки королевского войска удерживают только траншеи у моста и подумывают уже об отходе на Арк и Дьепп.

— Кум, — обращается Генрих к полковнику-швейцарцу, — вот и я, кум, тут умру вместе с вами или вместе завоюем славу. — Говорит, а сам видит, как видят и все остальные, что плотные ряды врагов надвигаются с тяжелой мощью, вот-вот навалятся и придавят, словно гробовой доской, и его и его королевство. И он содрогается. «Прочь! Дальше! Это еще не конец: а мои гугеноты?» — И вот он зовет их, стойких защитников первой линии укреплений; ветеранов Жарнака, соратников господина адмирала, оставшихся в живых после двух десятилетий борьбы за свободу совести. Ревнителю истинной веры! И они слышат его призыв, они видят его белые перья, выходят из окопа — самого первого, который эти железные воины удерживают с утра.

Утром их было пятьсот, и они шагают так, словно их и теперь еще столько же. И с ними рядом идут убитые. Впереди — пастор Дамур. Его имя Дамур. — Господин пастор, начинайте псалом, — говорят король, и они поют. Напасть на врага, когда он упоен блеском и гордыней, — так бывало и в прежних битвах, при Кутра так было. И всегда врагу приходилось плохо. Даже этот многомогущий враг пугается, услышав псалом; он остановился, он в смятении.

Явись, господь, и дрогнет враг!
Его поглотит вечный мрак.
Суровым будет мщение.
Всем, кто клянет и гонит нас,
Погибель в этот грозный час
Судило провиденье.

Заставь, господь, врагов бежать,
Пускай рассеется их рать,
Как дым на бранном поле.
Растает воск в огне твоём.
Восторжествуем мы над злом,
Покорны божьей воле.

Наконец туман поднимается — и тут же загремели с крепости Арк пушечные

выстрелы. Там, где враг подошел поближе, ядра рвут и бьют его. Это победа, и она спасет королевство. Господь или совсем не дает, или уж дает полною мерой то, что принадлежит ему, — царство, силу и славу. Это тоже сегодня узнает Генрих, исполненный страха божия. Колиньи, сын адмирала, является к нему и приводит с собой из Дьеппа, за который уже нечего опасаться, семьсот солдат, и вот к старым аркебузирам, ревнителям истинной веры, присоединяются еще семьсот.
— Бог тебя посылает, Колиньи!

Генрих не жаловался и не молился, пока дела обстояли плохо, вернее даже — отчаянно плохо, но в счастье он взывает к господу, чтобы в счастье склониться перед ним. Долгие часы, исполненные грозной опасности, перепахивал он копытами своего коня поле битвы, всюду принимал участие в схватках, и каждый из его маленьких отрядов верит, что он все время с ним. Теперь он может остановиться. В туман и неизвестность бросал он имена, и эти имена он еще более прославил. И всюду, где ни появлялись белые перья его шлема, он укреплял в людях отвагу и твердость. Швейцарцам он принес свою верность — в ответ на их верность. Он говорил с мертвецами при дороге. Он учил маршала Бирона, и тот понял, кто перед ним. Судьба дала ему счастье. Его день уже давно начался, но лишь после того, как рассеется туман, этот день взойдет, сияя. Ему скоро минет тридцать шесть лет, но это была пока только молодость. По его лицу, которое просветлено скорее тяжелой борьбой и перенесенными страданиями, чем радостью, текут смешанные с потом слезы!

С обеих сторон теснят врага его старые воины, борцы за свободу, борцы за истинную веру; силы противника сломлены, а люди Генриха поют. Буйное ликование, в небесах гудит набат, толпа праведных дергает незримые веревки колоколов.

Хвалу мы богу воздадим
Напевом радостным своим,
Беспечные, как дети.
Дарует нам победу он.
Грех в битве будет посрамлен.
Исчезнет зло на свете.

Так час за часом, день за днем

Мы господу псалмы поем
В восторге бесконечном.
Бог — наша сила и оплот.
Величья полный, он грядет,
Назвав себя предвечным.

Moralité

Le triomphe final ne sera pas seulement acheté par ses propres sacrifices:
Henri assiste à l'immolation d'êtres qu'il aurait voulu conserver. Déjà il avait dû faire ses adieux à sa compagne des années difficiles. Il faut encore que le Valois, son prédécesseur, s'en aille, et pourtant Henri, l'ayant sauvé de la main de ses ennemis, l'affectionnait d'une manière très personnelle. Son esprit y était plus content, préférérant se mettre d'accord avec le passé, que de le renier. Avec le sens de la vie, on se plie à bien des necessités. La moins acceptable, pour un esprit bien fait, est celle de voir s'accumuler les désastres. Trop de personnages ayant été mêlés a son existence viennent d'être emportés par les catastrophes, et la mort a voulu trop bien lui déblayer le chemin.

Sur le champs de bataille d'Arques le roi Henri, en nage d'avoir tant combattu, pleure pendant que résonne le chant de la victoire. Ses larmes, c'est la joie qui en cause quelquesunes. D'autres, il les verse sur ses morts, et sur tout ce qui finit avec eux.

C'est sa jeunesse qui, ce jour là, prit fin.

Поучение

Окончательное торжество будет куплено не только ценой его собственных жертв:
Генрих становится свидетелем того, как приносятся в жертву люди, которых он хотел бы сохранить. Ему уже пришлось проститься с подругой его первых трудных лет. Суждено также уйти Валуа, его предшественнику, а между тем Генрих спасал его от руки врагов, чувствовал к нему искреннюю приязнь. «Дух его испытывает

большее удовлетворение», примиряясь с прошлым, чем отвергая его. При
здравом
взгляде на жизнь часто покоряешься тому, что необходимо. Менее всего
приемлемо
для истинного ума мириться с нарастающим потоком бедствий. Слишком много
людей,
участников его судьбы, унесены катастрофами, и смерть уж чересчур усердно
постаралась расчистить ему путь. На поле битвы при Арке король Генрих,
весь
залитый потом после стольких боев, плачет под песнь победы. Это слезы
радости,
другие он проливает об убитых и обо всем том, что кончилось вместе с
ними.

В этот день кончилась его молодость.

ПРИМЕЧАНИЯ

1.

Да поможет она мне в этот час (гасконск.).

2.

Победить или умереть! (лат.).

3.

Наваррский коллеж (лат.).

4.

Нострадамус Мишель (1505-1566) – знаменитый астролог. Был лейб-медиком
Карла Девятого.

5.

В оригинале *moralités* (поучения) даны только по-французски, без
немецкого перевода.

6.

«Любовь» (лат.).

7.

«Флер» — по-французски «цветок».

8.

Перевод Вл. Микушевича.

9.

Наш Генрих (гасконск.).

10.

Страстей (франц.).

11.

Бей! Бей! (франц.)

12.

Доказательство невинности обвиняемого, основывающееся на том, что в момент совершения преступления он находился не там, где оно было совершено, а в другом месте. Здесь в переносном смысле.

13.

Боль причиняют (лат.)

14.

Цель вождлений своих сжимают в объятых и телу Боль причиняют (лат.).

Лукреций «О природе вещей», IV, 1078-1080. Перевод Ф. Петровского.

15.

Боль причиняют душе (лат.).

16.

Теренций, «Братья», 219.

17.

Слава нашему Генриху! (гасконск.)

18.

«Безумный мудрец» (лат.).

19.

Перевод Вл. Микушевича.

20.

Нет ничего более близкого народу, чем доброта (лат.).

21.

В русском синодальном переводе библии – псалом 87-й.

22.

В русском синодальном переводе библии – 20-й.

23.

Все обнаруживающие себя изъяны наименее опасны (лат.).

24.

Цитата из Апокалипсиса (Откровения св. Иоанна Богослова), III, 16.

25.

Во всех изысканиях разума самое трудное — это начало (лат.).

26.

Нелегко одержать победу над пьяными... (лат.).

27.

Фама — римская богиня Молвы.

28.

В русском синодальном переводе Библии это Псалом 118.

29.

Головорез (франц.).

30.

Флагеланты — средневековая религиозная секта, видевшая единственный путь к
искуплению грехов в публичных бичеваниях и самобичеваниях.

31.

Победа! (исп.).

32.

Милосердия! (исп.).

33.

В Евангелии от Луки (II, 25-35) рассказывается о некоем праведнике Симеоне, которому было предсказано, что он не умрет, пока не узрит мессию (спасителя). Увидев в храме младенца Христа, он произнес благодарственную молитву, первые слова которой здесь приведены.

34.

В русском синодальном переводе библии – псалом LXVII.

35.

Швейцарцы.